

ANNALES CONTEMPORAINES

**СОВРЕМЕННАЯ
ЗАПИСКИ**

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
и ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛЬ**

LXIX

1939

ПАРИЖЬ

ANNALES CONTEMPORAINES

СОВРЕМЕННАЯ ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛЬ

LXIX

1939
ПАРИЖЪ

Imprimerie «Union», 13, rue Méchain, Paris

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. М. Алдановъ. — НАЧАЛО КОНЦА. | 5 |
| 2. Н. Берберова. — ОБЛЕГЧЕНИЕ УЧАСТИ. | 78 |
| 3. Бор. Зайцевъ. — ПУТЕШЕСТВІЕ ГЛѢБА. | 137 |
| 4. Гайто Газдановъ. — НОЧНАЯ ДОРОГА. | 170 |
| 5. СТИХОТВОРЕНІЯ: А. Браславскаго, В. Злобина, Вяч. Иванова, Ю. Мандельштама, Т. Остроумовой, Ник. Оцупа, П. Ставрова, Федорова, Э. Чегринцевой, А. Штейгера, В. Шишкова. | 204 |
| 6. Ф. Степунъ. — ВОСПОМИНАНІЯ. | 216 |
| 7. Л. Сабангѣвъ. — ТОЛСТОИ ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МІРѢ. | 238 |
| 8. Вл. Ходасевичъ. — ТРИ СТИХОТВОРЕНІЯ. | 253 |
| 9. Н. Берберова. — ПАМЯТИ ХОДАСЕВИЧА. | 256 |
| 10. В. Сиринъ. — О ХОДАСЕВИЧѢ. | 262 |
| 11. Г. Адамовичъ. — КОММЕНТАРИИ. | 265 |
| 12. Н. Бердяевъ. — ПАРАДОКСЪ ЛУЖИ. | 272 |
| 13. В. Зѣньковскій. — НА ТЕМЫ ИСТОРИОСОФИИ. | 280 |
| 14. Е. Юрьевскій. — ЧѢМЪ МОЖЕТЪ БЫТЬ СЕЙЧАСЪ СОЦИАЛИЗМЪ? | 294 |
| 15. Н. Авксентьевъ. — «ФРОНТЪ МИРА» И РОССИЯ | 318 |
| 16. О. Фельтгеймъ. — КОНЕЦЪ ССЫЛКИ. | 329 |
| КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ. | |
| 17. В. Вейдле. — ПЕТЕРБУРГСКІЯ ПРОРОЧЕСТВА. | 345 |
| 18. М. К. — ЯВЛЕНІЕ ВАЛЬСА. | 355 |
| 19. Н. Лосскій. — ФИЛОСОФІЯ И ПСИХОЛОГІЯ ВЪ СССР. | 364 |
| 20. Ю. Рапопортъ. — КОНЕЦЪ ЗАРУБЕЖЬЯ. | 373 |

21. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| В. Вейдле. — Амари (М. Цетлинъ): Кровь на снѣгу. | 282 |
| П. Бицилли. — Г. Адамовичъ: На Западѣ. | 383 |
| М. Алдановъ. — И. А. Бунинъ: Лика. | 385 |
| М. Цетлинъ. — М. А. Алдановъ: Начало конца. | 387 |
| Г. Федотовъ. — Авт. Ладинскій: Голубь надъ Понтомъ. | 389 |
| В. Мирный. — Ирина Одоевцева: Зеркало. Романъ. | 390 |
| В. С. М. — Арсеній Формаковъ: Фаяна. Романъ. | 391 |
| С. Савельевъ. — Борисъ Зайцевъ: Москва. | 391 |
| В. Вейдле. — В. Ф. Ходасевичъ: Некрополь. | 393 |
| В. Вейдле. — Walter Schubart: Europa und die Seele des Ostens. — Nadejda Gorodetzky: The Humiliated Christ in Modern Russian Thought. — Nicolas Berdiaev: Les sources et le sens du communisme russe. | 394 |
| В. В. З. — Прот. С. Четвериковъ: Молдавскій старецъ Паисій Величковскій. | 396 |
| Антонъ Крайній. — Объ одной книжкѣ. | 397 |
| Ив. Херасковъ. — Annales de l'Institut Kondakov. | 398 |
| П. Бицилли. — Владимірскій сборникъ въ память 950-лѣтія крещенія Руси. | 400 |
| Н. Кульманъ. — Извѣстія Академіи Наукъ СССР. | 402 |
| Д. Одинецъ. — Pierre Pascal: Avvakum et les débuts du gascol. La crise religieuse au XVII ^e siècle en Russie. | 406 |
| С. Мельгуновъ. — Е. Тарле: Нашествіе Наполеона на Россію. | 411 |
| В. Маклаковъ. — А. И. Фенинъ: Воспоминанія инженера. | 413 |
| В. Рудневъ. — В. Вонлярлярскій: Мои воспоминанія. 1852-1939. | 416 |
| В. Рудневъ. — К. В. Озолъ: Мемуары посланника. | 417 |
| А. Мейендорфъ. — В. Н. Sumner: Russia and the Balkans. | 419 |
| Н. Вакаръ. — Basil Paneuko: Autour du problème ukrainien. | 421 |
| Списокъ новыхъ книгъ, поступившихъ для отзыва въ редакцію « Современныхъ Записокъ ». | 423 |

Начало конца *)

IX.

Засѣданіе суда начиналось въ часть дня, — самое удобное время: какъ быть съ завтракомъ, если надо ѣхать въ Версаль? Вермандуа рѣшилъ позавтракать въ одномъ версальскомъ ресторанѣ, гдѣ хозяинъ, человекъ съ совѣстью, отлично жарилъ бараньи котлеты и считалъ по цѣнамъ, доступнымъ для бѣднаго, очень бѣднаго, хотя знаменитаго, писателя. Авансъ подѣ все не выходившій греческій романъ уже давно былъ цѣликомъ истраченъ, — а куда ушли деньги, совершенно непонятно. Завтракъ въ одиночествѣ, хорошій, съ полубугылкой бордосскаго вина (больше нельзя), былъ въ послѣднее время однимъ изъ немногихъ оставшихся въ жизни удовольствій.

Легкая боль въ боку отравила то праздничное, давно забытое, что было въ отъѣздѣ съ утра за городъ и что на этотъ разъ совершенно не соответствовало причинѣ поѣздки. Наканунѣ позвонила по телефону графиня де Белланкомбръ и предложила ѣхать вмѣстѣ въ ея автомобиль. «Катастрофа!» — подумалъ онъ съ ужасомъ въ спѣшныхъ поискахъ предлога для отказа. — «Я былъ бы счастливъ!.. Но позвольте, вы-то зачѣмъ ѣдете на это дѣло?» — «Ахъ, мнѣ очень интересно. Согласитесь, что дѣло удивительное и въ социальномъ, и въ психологическомъ отношеніи. Въдь это же Раскольниковъ! А главное, мнѣ хочется услышать васъ!» — «Дорогой другъ, вы говорите такъ, точно я буду лѣтъ партію Зигфрида! Я не теноръ, я свидѣтель». — «Но вы не совсѣмъ обыкновенный свидѣтель. Такъ ѣдемъ?» — «Я въ отчаяніи... Вы когда вы-

*) См. «Совр. Зап.» № № 62, 63, 65, 66, 68.

ѣжаете?» — «Ровно въ одиннадцатъ». — «Это ужасно! У меня въ двѣнадцатъ назначено дѣловое свиданіе». — «Какъ жалко!» — сказала графиня, — «мы возьмемъ Серизье, онъ досталъ намъ билеты въ судъ. Право, онъ очень милый человѣкъ, у меня напрасно было противъ него предубѣжденіе». — «Милѣйшій человѣкъ. Если-бъ только онъ не называлъ себя социалистомъ». — «Оставьте, пожалуйста. Такъ никакъ не можете? Неужели нельзя отложить это свиданіе? Мы вмѣстѣ позавтракаемъ въ Трианонъ, а?» — «Я въ совершенномъ отчаяніи, но это невозможно: проклятая дѣловая встрѣча со скучнѣйшимъ человѣкомъ, назначена ровно на двѣнадцатъ». — «Ну, такъ мы будемъ вмѣстѣ обѣдать или ужинать, въ зависимости отъ того, когда кончится этотъ ужасный процессъ... А можетъ быть, вы не очень любите Серизье?» — «Я его обожаю!» («попаль-таки вождь пролетаріата въ графскій домъ», — сказалъ себѣ Вермандуа и подумалъ, что о немъ самомъ, вѣроятно, говорятъ приблизительно то же). — «Значитъ, до завтра. Вы не можете себѣ представить, какъ меня волнуетъ это дѣло и этотъ несчастный юноша. Я не сплю вторую ночь». — «Мнѣ извѣстна нѣжность вашей ангельской души». — «Ахъ, не шутите, все это ужасно! Что за молодежь теперь пошла! Такъ до завтра». — «До завтра, до свиданья, дорогая», — сказалъ онъ съ облегченіемъ.

Были, конечно, плюсы и минусы. Плюсъ: не надо разговаривать три часа съ этой старой дурой, съ ея идиотическимъ мужемъ и съ вождемъ пролетаріата. Минусъ: автомобиль пришлось нанять на свои деньги. Но съ другой стороны, давно слѣдовало бы сдѣлать старой дурѣ какую-нибудь politesse. Вермандуа былъ съ графиней въ столь дружескихъ отношеніяхъ, что и цвѣтовъ почти никогда не приносилъ, — а если приносилъ, то дешевенькіе, — въ видѣ charmante pensée: «Другъ мой, увидѣлъ сегодня первыя фіалки и подумалъ о васъ». Charmante pensée примѣнялась и въ отношеніи другихъ дамъ, у которыхъ онъ

обѣдалъ (впрочемъ, обѣдалъ почти всегда по ихъ настоящему требованію); въ зависимости отъ сезона, фіалки замѣнялись другими недорогими цвѣтами: «другъ мой, сегодня появился первый ландышъ, я надѣюсь, вы его еще не видѣли»... Но теперь, при самой экономной разновидности дружескихъ отношеній, грозно надвигалась необходимость что-то сдѣлать. «А если-бы я поѣхалъ въ ихъ автомобиль и завтракалъ съ ними въ Трианонѣ, это было бы л о с л ѣ д н е й к а п л е й, переполняющей чашу. Пришлось бы по меньшей мѣрѣ позвать ихъ на обѣдъ!» Его не такъ пугали расходы по обѣду; но въ послѣдній годъ Вермандуа все чаще себѣ говорилъ, что, когда жить осталось очень, очень мало, то странно и глупо тратить время на общеніе съ людьми, да еще неинтересными. «Пока можно подождать съ обѣдомъ: была лишь предпослѣдняя капля. У минуса оказался свой дополнительный плюсики»...

По дорогѣ въ Версаль онъ мрачно думалъ о томъ, сколько мѣста занимаютъ въ его жизни совершенно ничтожныя дѣла и соображенія, — такія, какія могли бы быть у любого лавочника или маркиза. «Надо, надо имѣть сердце горѣ», — подумалъ онъ (хоть думалъ это серьезно и печально, но подобныя слова и мысленно не могъ произнести иначе, какъ въ кавычкахъ). Немногочисленные друзья Вермандуа находили, что онъ очень измѣнился въ послѣдніе годы, сталъ чрезвычайно нервенъ и раздражителенъ. «Вы не видите, въ немъ произошелъ настоящій душевный переломъ! Положительно, это кризисъ!» — говорила графиня съ радостно-испуганнымъ видомъ, точно рѣчь шла о серьезной болѣзни, принявшей, къ счастью, благопріятный оборотъ.

Говорили, что и здоровье его вдругъ сильно пошатнулось. Дѣйствительно, при очередномъ визитѣ къ врачу неожиданно-негаданно (въ мысляхъ ничего такого не имѣлъ!) выяснилось, что сразу пришли въ разстройство и почки, и печень, и что-то еще, а давленіе крови вдругъ оказалось

равнымъ двадцати, и требовалось его понизить возможно скорѣе. — «Но вѣдь прошлый разъ все было въ порядкѣ?» — горестно-изумленно говорилъ Вермандуа съ выраженіемъ обиды и упрека въ голосѣ. Врачъ, очевидно не чувствовавшій за собой вины, пожалъ плечами. — «Удивляться надо именно тому, что все до сихъ поръ было въ порядкѣ. Все-таки не забывайте, что вы вступили въ восьмой десятокъ»... Это выраженіе, хотя и безспорно вѣрное, не понравилось Вермандуа: не деликатно выражаются люди. «Un septuagénaire» — и слово какое непріятное! — «Вы однако нисколько не должны тревожиться», — объяснилъ врачъ, — «опасности нѣтъ ни малѣйшей. Въ семьдесятъ лѣтъ органы человѣческаго тѣла и не могутъ работать какъ въ двадцать. Въ ваши годы человѣкъ почти всегда живетъ не на проценты съ капитала, а на капиталъ, но капиталъ вашего организма большой и, если его беречь, то хватить надолго». Докторъ любилъ выражаться образно. Онъ еще усилилъ разныя запретительныя мѣры, дасть лекарства, и давленіе крови скоро дошло до восемнадцати. Встрѣчая теперь въ газетахъ слова «septuagénaire» или «vieillard» (иногда писали еще противнѣе: «un septuagénaire robuste»), Вермандуа морщился съ самымъ непріятнымъ чувствомъ. «Да, какъ незамѣтно пришла старость! Какъ я могъ допустить до этого!»

И словно врачъ сглазилъ, тотчасъ послѣ визита появилась легкая боль въ боку, пока очень легкая. Кромѣ того, изъ-за политическихъ событій въ мірѣ отвращеніе отъ людей еще усилилось у Вермандуа и приняло острую форму. Это было въ сущности, какъ онъ себя говорилъ, единственной постоянной величиной въ его умственномъ и душевномъ уравненіи: все остальное мѣнялось безпрестанно, съ быстротой, его самого удивлявшей и тревожившей. Нехороши были и денежныя дѣла: не кончивъ греческаго романа, онъ не могъ взять авансъ подъ другой. Въ общемъ трудно было даже сказать, что теперь главное: боль въ боку, давленіе крови, невидимое, неощу-

щаемое, но гдѣ-то дѣлающее свое скверное дѣло, или безденежье, или то, что творилось въ мірѣ, — а вѣрнѣе, все это взятое вмѣстѣ. Друзья Вермандуа замѣчали, что измѣнился самый тонъ его разговоровъ, прежде почти всегда благодушно-насмѣшливый до утомительности: онъ сталъ выражаться рѣзко, началъ терять прежнюю словоохотливость, а иногда (впрочемъ, не такъ часто) въ гостяхъ молчалъ весь вечеръ, особенно въ тѣхъ домахъ, куда его приглашали именно для того, чтобы угостить имъ собравшихся, какъ гастрономовъ угощаютъ старымъ коньякомъ. — «Пусть угощаетъ однимъ моимъ именемъ!»

Жаловались на Вермандуа и его политическіе единомышленники: коммунисты и друзья коммунистовъ сокрушенно отмѣчали въ немъ новое, старческое равнодушіе. Онъ оставилъ безъ отвѣта, — впрочемъ, больше по забывчивости, — два приглашенія на митинги. Протесты еще подписывалъ, но неохотно. За подписью подъ послѣднимъ протестомъ къ нему пріѣзжалъ нѣмецкій эмигрантъ Зигфридъ Майеръ и что-то говорилъ на ужасномъ французскомъ языкѣ, и надо было его слушать съ горячимъ сочувствіемъ, и на прощанье требовалось крѣкопрочувствованно пожать руку, и Вермандуа продѣлалъ все это, — однако нѣмецкій эмигрантъ былъ ему чрезвычайно противенъ. «Я слѣдилъ за собой чтобы не сказать: «Гейль Гитлеръ!» Впрочемъ, если-бы пріѣхалъ въ гости реакціонеръ, то мнѣ тотчасъ захотѣлось бы послать привѣтственную телеграмму Сталину»... Не такъ давно онъ получилъ предложеніе съѣздить въ Москву, причемъ вскользь было сказано, что Государственное издательство было бы радо выпустить русскій переводъ книги, которую онъ могъ бы написать о своемъ путешествіи, — разумѣется, на самыхъ лучшихъ условіяхъ. Хотя деньги были ему очень нужны, онъ отвѣтилъ вѣжливо-уклончиво. «Да, слабъ человекъ, и въ особенно опасныя минуты надо бы имѣть передъ глазами какое-либо наглядное, страшное изображеніе, — вотъ какъ автомобилистовъ на опасныхъ

поворотахъ дороги предупреждаютъ дощечками съ изображеніемъ черепа и скрещенныхъ костей»... Однако въ дѣлахъ житейскихъ большевистское настроеніе у него сказывалось еще съ большей силой, чѣмъ прежде. Онъ считалъ себя единственной во Франціи знаменитостью безъ состоянія и иногда подолгу думалъ о томъ, что сдѣластъ, если выиграетъ милліоны въ Національную Лотерею (впрочемъ, билетовъ не покупалъ, — развѣ только навязывали случайно). Богатыхъ же людей Вермандуа ненавидѣлъ все сильнѣе.

За заставой Сень-Клу его машину обогналъ огромный великолѣпный автомобиль, въ которомъ сидѣли господинъ и дама. Несмотря на то, что люди были ему незнакомы, онъ и на этотъ разъ почувствовалъ припадокъ ненависти. Разумѣется, литература, кромѣ бульварной, водевильной и кинематографической, рѣшительно никому ненужна, это баловство другой эпохи, иначе и у стараго писателя былъ бы свой автомобиль, какъ у хамовъ и спекулянтовъ. Печень и воображеніе сразу подсказали ему все: богатый биржевикъ, здоровый, невѣжественный, хитрый, только что нажившій милліоны, везетъ за городъ любовницу. Или, можетъ быть, они бѣгутъ въ Америку? Въдѣ война не за горами. Эти люди, которымъ мѣсто на каторгѣ, пользуются защитой законовъ и общественнаго строя. Они принимаютъ министровъ и писателей, они жертвуютъ деньги на благотворительныя дѣла, они получаютъ ордена, они общество, они интеллигенція, они разсуждаютъ о литературѣ. «Я увѣренъ, у него въ чемоданѣ романъ Эмиля (надѣюсь, не мой). Да, я отлично понимаю Альвера», — кровожадно подумалъ Вермандуа, — «убилъ одного изъ такихъ господъ, экое преступленіе! Ихъ всѣхъ со временемъ повѣсятъ на фонаряхъ и очень хорошо сдѣлаютъ. Жаль только, что многіе изъ нихъ умрутъ раньше естественной смерти»...

Затѣмъ боль въ боку прошла и мысли его стали менѣе жестокими. Онъ съ усмѣшкой подумалъ, что все-га-

ки не можетъ себя причислить къ числу жертвъ общественнаго строя, хотя ѣдетъ на taxi вмѣсто собственнаго автомобиля. «Не со вчерашняго дня все это существуетъ, и думало объ этомъ немало умныхъ людей, и ничего они не придумали, кромѣ развѣ фонарей. Чортъ съ ними, со спекулянтами!» «Чортъ съ ними» всегда нѣсколько его успокаивало.

Осеннее утро было очень хорошо, — «просто вставляй описаніе природы, какъ это дѣлаетъ Эмиль на каждой десятой страницѣ своихъ мануфактурныхъ издѣлій». Вермандуа, щурясь, читалъ названія улицъ (зрѣніе тоже слабѣло) и думалъ, что въ самыхъ именахъ этихъ — Севръ, Вирофлэ, Версаль, — есть нѣчто прелестное, плѣнительно-нѣжное, чего нѣтъ нигдѣ въ другихъ странахъ. Эта дорога была когда-то центральной артеріей міра. Теперь, на разныхъ Avenue de Versailles и Avenue de Paris, за каждый камень, за разваливающіеся дома, за трехсотлѣтнія лачуги еще цѣплялась небогатая, сѣрая, скучная жизнь или, сваливъ ихъ, строила что-то свое, тоже небогатое, сѣрое, плоское, скучное. «Да, судьбы Европы рѣшались между Тюилери и Версалемъ. Плохо рѣшались? Все же нѣсколько лучше, чѣмъ теперь!» Автомобиль замедлилъ ходъ, пропуская встрѣчный возъ, запряженный гнѣдымъ першерономъ. Въ видѣ этой огромной, тяжелой, неторопливой, необыкновенно симпатичной лошади было что-то успокоительное, тоже безспорно доказывавшее превосходство стараго времени надъ новымъ.

Въ Версалѣ Вермандуа велѣлъ шофферу остановиться у дворца и съ досадой почувствовалъ, что въ ресторанъ идти незачѣмъ: ѣсть совершенно не хочется. До начала засѣданія оставалось болѣе часа. Онъ немного погулялъ по городу, остановился, по непреодолимой привычкѣ, у витрины книжнаго магазина и увидѣлъ новую книгу Эмиля. На бумажной лентѣ было написано: «Vient de paraître. Enfin le livre qu'on attendait». Вермандуа выругался. «Онъ

теперь писать по роману каждые шесть мѣсяцевъ. Какое счастье, что ему за семьдесятъ пять!» (Эмилю всегда мысленно накидывалъ года три или четыре, и было очень пріятно, что Эмиль еще старше его). Прошелъ въ садъ и подумалъ, что, быть можетъ, находится тутъ въ послѣдній разъ въ жизни: «Надо бы проститься»... Онъ довольно часто прощался съ разными знаменитыми мѣстами. Въ отношеніи Севильи или Венеціи это все-таки было естественно. Но въ душѣ онъ не вѣрилъ, что можетъ навсегда разстаться съ Версалемъ: настолько это было свое, коренное, отъ него неотдѣлимое. Вермандуа остановился на лѣстницѣ и въ тысячный разъ полюбовался единственнымъ въ мірѣ зрѣлищемъ.

«Версаль, что такое Версаль?» — думалъ онъ. — «Порядокъ? Разумъ Франціи? Французская гармонія? Французскій здравый смыслъ? Все это не помѣшало драгоннадамъ, отмѣнивъ Нантскаго эдикта, бессмысленнымъ войнамъ. Но порядокъ Людовика XIV дѣйствительно ничего не теряетъ по сравненію съ нынѣшнимъ хаосомъ. Расинъ могъ не бояться, что въ одну прекрасную ночь его отравятъ ядовитыми газами. Онъ зналъ также, что его ни въ какомъ случаѣ не повѣсится взбунтовавшаяся чернь. Расинъ жилъ въ своемъ домѣ, со своимъ садомъ, со своими лошадьми, собаками. Нельзя подходить къ міру съ точки зрѣнія одного Расина. Однако и рядовому французскому крестьянину жилось тогда все-таки болѣе спокойно, чѣмъ теперь, — разумѣется, если онъ былъ католикъ. Зачѣмъ же ему было становиться протестантомъ? Онъ одинаково мало понималъ въ Боссюэтъ и въ Лютеръ... По существу, какъ писатель, Боссюэтъ выше Лютера, какъ мыслители, оба они вполне стоятъ другъ друга... Монархической идеѣ принадлежитъ прошлое, — а вдругъ ей принадлежитъ и будущее? Маловѣроятно? Но на моихъ глазахъ происходили событія еще гораздо менѣ вѣроятныя. Въ этомъ дворцѣ, въ этомъ паркѣ нѣтъ на самомъ дѣлѣ той ясности, которую обычно имъ приписываютъ,

но въ нихъ есть необыкновенное величіе и необыкновенная увѣренность, — ихъ строилъ человѣкъ, знавшій, или по крайней мѣрѣ убѣжденный, что строить на столѣтія. Ни наша трещащая по всѣмъ швамъ демократія, ни тѣмъ менѣе Гитлеръ и Сталинъ, этой увѣренности не имѣютъ: какъ приступить къ постройкѣ версальскаго дворца (во всѣхъ фигуральныхъ смыслахъ слова), когда во вторникъ въ палатѣ опаснѣйшая интерпелляція? Зачѣмъ строить Версаль, если задолго до окончанія постройки, быть можетъ, окажешься на фонарѣ? Версаль неповторимъ, какъ неповторимы площадь св. Марка или Парижскій соборъ Божьей Матери. При Людовикѣ XIV этому не грозила ни малѣйшая опасность, тогда какъ теперь все можетъ быть разрушено аэропланами въ нѣсколько минутъ. Разумѣется, человѣчество идетъ назадъ, несмотря на техническій прогрессъ, или, вѣрнѣе, вслѣдствіе технического прогресса. Абсолютное количество зла растетъ въ мірѣ со сказочной быстротой. Что до зла относительнаго, приходящагося въ среднемъ на долю одного человѣка, то объ этомъ судить трудно. Вѣроятно, и оно выросло со времени Людовика, ибо твердая увѣренность въ загробной жизни съ огромнымъ избыткомъ покрывала отсутствіе оспопрививанія и желѣзныхъ дорогъ»...

Вполнѣ безнадежныя съ циничнымъ оттѣнкомъ мысли тоже всегда немного его успокаивали, какъ «чортъ съ ними». Вермандуа погулялъ по саду. Прощаніе рѣшительно не выходило, но свое обычное дѣйствіе версальское зрѣлище произвело. «Только мы, французы, это чувствуемъ, и только мы могли это создать. При чемъ тутъ въ сущности Людовикъ XIV? Это создалъ французскій народъ. Король, въ жилахъ котораго была развѣ десятая доля чисто-французской крови, быть можетъ чувствовалъ это меньше, чѣмъ вонъ тотъ садовникъ, всю жизнь подрѣзывавшій кусты въ волшебномъ саду. И ужъ во всякомъ случаѣ меньше, чѣмъ я. Утраченъ ли нами геній нашихъ предковъ? Быть можетъ, правды

этого садовника работали тутъ при Людовикѣ, и почему же имъ было превосходить своего потомка? Измѣнилось другое: простые люди Франціи, познавъ прелесть земной курицы въ супѣ, о которой только мечталъ Генрихъ IV (да и то не мечталъ, а вралъ для потомства) и которую имъ все-таки дала демократія, стали производить за одну ночь меньше потомства, чѣмъ прежде. И съ неумолимостью закона большихъ чиселъ на авансцену исторіи выдвигаются другіе народы, гораздо менѣе одаренные, но и менѣе заботящіеся о супѣ своихъ дѣтей и внуковъ. Подъ руководствомъ полоумныхъ вождей, они въ рекордное время (судьба породила ихъ для идиотскихъ рекордовъ) построятъ Коричневый домъ, вдвое большій, чѣмъ Версальскій дворецъ».

Вермандуа прошелъ назадъ, съ отвращеніемъ поглядывая на собравшихся у входа во дворецъ туристовъ. Среди нихъ преобладали именно люди, не заботящіеся о воскресной курицѣ въ супѣ потомства. «Пріѣхали любоваться, а скоро можетъ прилетять, чтобы сжечь»... Онъ обвелъ глазами толпу нѣмцевъ (или людей, казавшихся ему нѣмцами) и опять почувствовалъ припадокъ острой злобы. «Да, я могу подъ нее подвести идейную основу, — въ самомъ дѣлѣ мнѣ трудно любить тѣхъ, кто завтра явится сжигать мои сокровища. Но дѣло все-таки не въ одной идейной основѣ. Что же дѣлать, если это у меня въ крови, какъ у собакъ нелюбовь къ кошкамъ, если у расоваго кретинизма есть отдаленная біологическая природа. Зная же это чувство за самимъ собой, какъ могу я возмущаться имъ въ невѣжественномъ малярѣ? То, что хочеть сдѣлать Гитлеръ, испоконъ вѣковъ дѣлали другіе, и среди нихъ больше всего было именно французовъ, и ужъ я-то никакъ не могу говорить, что «времена измѣнились»: люди какъ были звѣри, такъ звѣрми и остались. Въ чемъ же разница, которую я лишь чувствую и которая для меня имѣетъ большую несомнѣнность, чѣмъ математическія истины. Какой идеей

можно прикрыть завоеванія Людовика XIV? Универсальность французской культуры? Вовсе не такъ было необходимо, чтобы голландскіе и нѣмецкіе лавочники изучали въ школѣ, а затѣмъ всю жизнь уродовали нашъ божественный языкъ. Но все же мнѣ ясно: одно дѣло Людовикъ и тѣмъ болѣе Наполеонъ, и другое дѣло — невѣжда, написавшій бездарную книгу, — событія, быть можетъ, сдѣлають ее гениальной, на зло и посрамленіе тому, что еще останется отъ человѣческаго разума, столь раздутаго рекламой 18-го столѣтія. Конечно, эстетическое чувство не мирится съ возможностью міровой гегемоніи Германіи вообще и нынѣшней Германіи въ частности. Однако эстетическое чувство — мѣрило ненадежное... Какая досада, что среди нихъ по ошибкѣ родились Гете и Шопенгауеръ! Шиллера и Канта я имъ, такъ и быть, дарю»...

Онъ устроился на террасѣ кофейни. Ъсть ему попрежнему не хотѣлось, — «да, скоро, вѣрно, отпадетъ и эта радость», — заказалъ сэндвичъ и чашку кофе, неожиданно оказавшагося недурнымъ. Вдругъ его окликнулъ знакомый голосъ. Оглянувшись съ досадой, Вермандуа увидѣлъ графиню де Белланкомбръ. Ее сопровождалъ мужъ, на лицѣ котораго висѣла такая улыбка, точно онъ рассчитывалъ сейчасъ же услышать что-то чрезвычайно остроумное. — «Какъ? Вы уже здѣсь? А дѣловое свиданіе?» — «Дорогая графиня, я только что пріѣхалъ». — «Понимаю! Вы просто хотѣли отъ меня отдѣлаться», — смѣясь, сказала графиня тономъ, явно показывавшимъ, что она подобное предположеніе считаетъ совершенно невозможнымъ. Вермандуа улыбнулся, и его улыбка свидѣтельствовала о томъ же: «вотъ вѣдь какія можно высказывать смѣшныя предположенія». — «Вашъ туалетъ умопомрачителенъ!» — сказалъ онъ по привычкѣ, хоть едва ли замѣтилъ вообще, какъ одѣта графиня. — «Неужели вы успѣли позавтракать въ Трианонъ?» — «Конечно, успѣли, очень пріятно позавтракали, вашъ другъ»

Серизье очень милъ. Мы пошли погулять, такъ какъ еще рано. Сначала его проводили въ судъ. Ахъ, тамъ уваженіе къ нему необычайное: всѣ, адвокаты, чиновники, подходили къ нему, чуть ли не представлялись!..» — «Такъ каждый американскій гражданинъ имѣетъ право пожать руку президенту Соединенныхъ Штатовъ». Графиня засмѣялась. Смѣхъ и улыбка у нея были очень милые, дѣтскіе. — «Я рада, что вы опять въ хорошемъ настроеніи... Но какая удача, дорогой другъ! Я всегда мечтала — осмотрѣть нашъ Версаль подъ вашимъ руководствомъ!» — «Благодарю за это нашъ»... Графъ де Белланкомбръ мрачно подумалъ, что и экзотическая жена его, и этотъ ученый внукъ лавочника имѣютъ одинаковое право называть его Версаль «нашимъ». — «Полноте, дорогая, вы здѣсь все знаете такъ же хорошо, какъ я». — «Знаю, но, разумѣется, не такъ, какъ вы. Жаль только, что остается всего четверть часа, надо идти на процессъ этого несчастнаго». — «Графиня, вы точно хотите дать тему для передового романиста или для репортера социалистической газеты: «гадко было смотрѣть на эту толпу р а з р я ж е н н ы х ъ дамъ, явившихся сюда, какъ на зрѣлище, полюбоваться видомъ обреченнаго человѣка». Хотя и то сказать, зачѣмъ же передовыя газеты печатаютъ подробнѣйшіе отчеты о подобныхъ процессахъ, если имъ это зрѣлище такъ гадко?» — «Но вы переводите разговоръ. Умоляю васъ, объясняйте, рассказывайте. Вѣдь вы, несмотря на ваши взгляды, человѣкъ восемнадцатаго столѣтія. Когда я разговариваю съ вами, мнѣ всегда кажется, что вы сейчасъ вытащите табакерку съ нюхательнымъ табакомъ. Почему вы не носите кафтана и башмаковъ съ красными каблуками?»

Графъ удовлетворенно подумалъ, что теперь разговаривать станетъ легче: и ученая, и неученая шарманки заведены. Дѣйствительно, по дорогѣ въ судъ Вермандуа, въ своемъ прежнемъ тонѣ, рассказывалъ анекдоты о Версаль, впрочемъ особенно не стараясь: зналъ, что этимъ

собесѣдникамъ, по полному ихъ невѣжеству, можно сообщать и общеизвѣстное. — «...Вотъ отсюда поднялся шаръ Монгольфе». — «Какъ, развѣ это было въ Версаль?» — «Да, здѣсь произошло это роковое событіе, которое окончательно погубить цивилизацію, впрочемъ близкую и къ естественной смерти». — «Кто погубить? Воздушные шары?» — «Скажемъ, аэропланы, не все ли равно? Все это великолѣпіе будетъ сожжено и разрушено... Вы помните фантазію Себастіана Мерсье?» — «Я всегда восхищаюсь вашей учливой манерой выражаться: не «не помню», а не знаю, и честно въ этомъ сознаюсь». — «Бываютъ и еще болѣе позорныя признанія. Себастіанъ Мерсье, памфлетистъ 18-го вѣка, написалъ книжку: «2440-ый годъ». Авторъ, видите ли, просыпается въ 2440 году въ Версаль и ничего не узнаетъ: груда развалинъ, и на нихъ плачетъ сѣдой нищій: ничего не осталось отъ лучшаго въ мірѣ дворца, созданнаго гениемъ и гордостью одного человѣка». — «А нищій отчего плачетъ? Ему-то что?» — «Вашъ вопросъ не лишенъ основательности, но, разумѣется, этотъ нищій — самъ Людовикъ XIV, тоже какъ-то воскресшій въ 2440 году». — «Какой ужасъ!» — «Самое замѣчательное въ этой плохой книжкѣ то, что она была написана за нѣсколько лѣтъ до великой революціи. Помните, одинъ изъ идіотовъ Конвента предлагалъ повѣсить на Версальскомъ дворцѣ надпись: «Maison à louer», а другой требовалъ, чтобы мѣсто дворца тирановъ было распахано плугомъ. Плугомъ! Тогда еще не было аэроплановъ». — «Съ вами погуляешь, тотчасъ становится весело. Сколько времени однако вы намъ еще даете? Если до 2440 года, то я, пожалуй, согласна». — «Нѣтъ, нѣтъ, афоризмъ «послѣ насъ хоть потопъ» устарѣлъ. Мы съ вами еще покатаемся по волнамъ потопа».

Они шли неторопливо, Вермандуа все говорилъ: онъ дѣйствительно зналъ анекдоты о каждомъ версальскомъ камнѣ. Рассказывать было легче, чѣмъ разговаривать съ графиней, которая впрочемъ не давала инициативъ пе-

рейти окончательно въ руки противника. — «...Согласитесь однако, что безъ Людовика XIV всего этого не было бы! Общій стиль Версаля создалъ именно онъ». — «Разумѣется. Я этого не отрицаю. Знаете ли вы кстати, откуда взялся стиль этихъ старыхъ домовъ: тесаный камень, перемежающійся кирпичемъ? Желая унижить вельможъ, Людовикъ запретилъ имъ строить дома цѣликомъ изъ тесаного камня: пусть не смѣютъ за мной гоняться! Тогда гений нашихъ архитекторовъ и создалъ эту очаровательную выдумку: кирпичъ съ камнемъ. Такъ создался въ мѣрѣ архитектурный стиль семнадцатаго вѣка». — «А сады?» — «Сады создалъ не король, а Ленотръ». — «Но король за это пожаловалъ ему дворянство», — сухо сказалъ графъ. — «Это вѣрно. Ленотръ въ отвѣтъ попросилъ, чтобы на его дворянскомъ гербѣ изобразили лопату и серпъ, онъ былъ человекъ съ большимъ достоинствомъ». — «Милый обличитель тирановъ, что бы вы ни говорили, я вѣчно буду благодарна королю-солнцу за ту прекрасную мысль, которая пришла ему въ голову на нашу общую радость: создать Версаль». — «Я тоже. Эта мысль, кстати, пришла королю-солнцу потому, что изъ Сень-Жерменскаго дворца ему была видна королевская усыпальница въ Сень-Дени: онъ не хотѣлъ постоянно имѣть передъ глазами мѣсто своего будущаго упокоенія. Капризы деспотовъ имѣютъ иногда самыя неожиданныя и благотворныя послѣдствія для искусства. Вотъ графъ недоволенъ Сталинымъ, а можетъ быть, сейчасъ какой-нибудь неизвѣстный совѣтскій поэтъ пишетъ въ честь диктатора оду, которая окажется чудомъ поэзіи». — «Какой парадоксъ!» — сказалъ графъ, понимавшій, что на десять замѣчаній его спутниковъ онъ все же обязанъ вставлять хоть одно, — «большевистскій диктаторъ и Людовикъ XIV! Во всякомъ случаѣ, вы не можете отрицать, что при король-солнцѣ не было той безотвѣтственности и тѣхъ злоупотребленій, какія сейчасъ происходятъ во всемъ мѣрѣ. Николай Фу-

ке все-таки, за хищенія въ казнѣ, просидѣлъ девятнадцать лѣтъ въ крѣпости и тамъ умеръ. Мыслимо ли это теперь? Тогда былъ человѣкъ, ни въ комъ не нуждавшійся и стоявшій выше подозрѣній. Есть ли такіе люди теперь?» — «Людовику XIV дѣйствительно незначѣмъ было производить хищенія у частныхъ лицъ: онъ совершенно свободно и открыто грабилъ государство», — сказалъ Вермандуа, тотчасъ позабывшій свои недавнія мысли. — «Ахъ, я обожаю зданія конюшенъ!» — поспѣшно замѣтила, графиня, почувствовавшая нѣкоторую раздраженность въ разговорѣ, — «разскажите намъ о конюшняхъ». Вермандуа сообщилъ, сколько лошадей было у Людовика XIV, и какія были кареты, и кто ѣздилъ на лошадахъ масти *gris perle*, а кто на лошадахъ масти *feuille morte*. — «Когда васъ не станеть, не будетъ больше и Версаля: въ самомъ дѣлѣ, кто еще, кромѣ васъ»... — «И десятка другихъ чудаковъ». — «...Кто еще, кромѣ васъ, знаетъ все это? Молодое поколѣніе думаетъ только о спортѣ. Кстати, по поводу молодого поколѣнія, намъ надо торопиться». — «Да, да», — отвѣтилъ, морщась, Вермандуа. Онъ вдругъ съ непріятнымъ чувствомъ вспомнилъ, что сейчасъ придется давать показанія. — «Вотъ и судъ. На этомъ мѣстѣ *le grand veneur*»... «Пора бы все-таки шарманкѣ остановиться!» — сердито подумалъ графъ, бывшій вообще въ очень дурномъ настроеніи духа: онъ совершенно не желалъ присутствовать на процессѣ, — если дѣло затянется, то и бриджа вечеромъ не будетъ.

У входа въ зданіе суда приставъ и полицейскіе провѣряли билеты. Въ галереѣ было наскоро устроено нѣсколько телефонныхъ будокъ. Фотографы узнали Вермандуа. Тотчасъ вспыхнулъ магній. Графиня застыла съ очаровательной улыбкой: вотъ что значитъ случайно оказаться въ обществѣ знаменитаго человѣка. — «Свидѣтели сюда. Прошу васъ, мэтръ», — почтительно сказалъ приставъ, показывая, что знаетъ, съ кѣмъ имѣеть

дѣло. Принявъ подобающій случаю видъ, Вермандуа прослѣдовалъ на полагавшееся свидѣтелю мѣсто. Возбужденіе, вызванное у него чашкой крѣпкаго кофе, сразу исчезло. Он подумалъ, что такъ непріятно входитъ только въ больницы, въ полицейскія учрежденія и въ суды.

Х.

Гуль пробѣжалъ по залу. Въ отгороженное для подсудимаго подобіе клѣтки вошелъ, въ сопровожденіи полицейскихъ, Альвера. Это было отступленіемъ отъ правилъ: предсѣдатель разрѣшилъ показать фотографамъ преступника до начала засѣданія. Фотографы, размѣстившіеся гдѣ кто могъ, — въ проходѣ передъ адвокатской скамьей, позади предсѣдательскаго стола, на перилахъ помѣщенія для присяжныхъ, — щелкали аппаратами при вспышкахъ магнія.

Преступникъ стоялъ на своемъ мѣстѣ, опутивъ низко голову. Впечатлѣніе онъ сразу произвелъ самое неблагоприятное. Бывалые судебные хроникеры тотчасъ отнесли Альвера къ разряду симулянтовъ. «Увидите, онъ будетъ изображать дурачка», — прошепталъ кто-то у скамьи защиты. Мадмуазелль Мортъе, очень милая и изящная въ своей новенькой тогѣ, съ негодованіемъ оглянулась на говорившаго. Серизье еще не появлялся. Свидѣтели заняли свои мѣста. — «Слава Богу, ихъ всего четыре. Къ обѣду кончимъ», — довольно громко сказала репортеръ вечерней газеты. — «Ну, это еще неизвѣстно. Считайте: прокуроръ часть, защитникъ полтора»... — «Полтора говорить не будетъ, въ такомъ дѣлѣ ничего не выжмешь». — «Онъ выжметъ! Когда смертный приговоръ, имъ со-вѣстно говорить меньше, чѣмъ полтора часа»...

Вермандуа съ изумленіемъ и ужасомъ смотрѣлъ на своего бывшего секретаря. «Просто другой человекъ.

узнать нельзя! Но какъ я раньше не видѣлъ, что у него лицо дегенерата? И эти потухшіе идиотическіе глаза!..» Онъ встрѣтился взглядомъ съ Альвера, тотъ вздрогнулъ и отвернулся. Вермандуа старательно закивалъ головой, изображая на лицѣ бодрую привѣтливую улыбку. Публика, переполнившая оба яруса зала, была видимо разочарована преступникомъ. «Какъ на бояхъ быковъ неинтереснаго быка встрѣчаютъ свистомъ»... Шептались и присяжные, не знавшіе, можно ли имъ шептаться.

Послышались два удара, звонокъ, всѣ встали. Въ залъ вошли судьи. Предсѣдатель, сѣденькій, очень добродушный старичекъ въ очкахъ, сѣлъ на свое кресло, окинулъ взглядомъ мѣста для публики, для присяжныхъ, для журналистовъ, пожалъ плечами при видѣ фотографовъ, теперь снимавшихъ судейскій столъ, и сталъ шептаться съ сосѣдомъ, ожидая конца безпорядка. Видъ его ясно говорилъ, что это — совершенное неприличіе, но что же дѣлать? Интересъ публики къ судебнымъ дѣламъ вообще былъ мало понятенъ предсѣдателю, а интересъ къ этому процессу непонятенъ совершенно. Конечно, требовалось, чтобы онъ самъ, прокуроръ, защитникъ, присяжные продѣлали полагавшееся; однако ни малѣйшаго сомнѣнія въ исходѣ дѣла не было. Предсѣдатель зналъ наизусть все, что скажетъ прокуроръ, и все, что скажетъ защитникъ. Въ показаніяхъ подсудимаго еще могли быть кое-какіе варианты (тоже опредѣленные и давно извѣстные), но и это ни малѣйшаго значенія не имѣло. Пошептавшись съ сосѣдомъ, старичекъ въ мантии слабо улыбнулся Серизье, еще кое-кому въ залѣ, затѣмъ внимательно, но безъ всякаго интереса оглядѣлъ подсудимаго и тоже рѣшилъ, что намѣчается вариантъ симуляціи сумасшествія или идиотизма. Это былъ и вообще невыгодный для обвиняемаго вариантъ, а въ настоящемъ дѣлѣ, въ виду вполне опредѣленной экспертизы, вариантъ совершенно безнадежный. Во всякомъ случаѣ дѣло было легкое, никакого напряженія со стороны предсѣдателя не

требованнее. Онъ былъ этому радъ не по лѣни, — работалъ цѣлый день, — а потому, что, будучи человѣкомъ очень добрымъ, не любилъ суроваго, пристрастнаго допроса, къ которому по долгу службы приходилось прибѣгать весьма часто. Предпочиталъ въ судѣ тонъ благодушный, почти отеческій; при разборѣ дѣлъ объ убійствахъ такой тонъ былъ однако неумѣстенъ. Предсѣдатель подождать конца балагана, укоризненно взглянул на фотографовъ и обратился къ Альвера. На лицѣ у старика тотчасъ появилось выраженіе, приблизительно означавшее: «ну, ври, ври, только не задерживай».

— Accusé, voulez-vous donner vos nom et prénoms?

Еле разслышавъ отвѣтъ, онъ задалъ второй вопросъ:

— Entendez-vous bien quand je vous parle?

— Oui, Monsieur le Président, — сказала Альвера нѣсколько громче. Всѣ жадно его слушали. Предсѣдатель смотрѣлъ на него поверхъ очковъ: «ну да, намѣренъ разыгрывать идиота». Спросивъ о томъ, гдѣ и когда родился обвиняемый, онъ сказалъ: «Садитесь». («Сѣсть! сѣсть!» — прошептала полицейскій), старческой скороговоркой произнесъ, обращаясь къ Серизье: «Je rappelle au Défenseur les termes de l'article 311 et l'invite à s'y conformer»... При этомъ предсѣдатель снова слегка улыбнулся знаменитому адвокату: что-жъ дѣлать, законъ. Затѣмъ онъ повернулся направо и совершенно другимъ, хотъ не менѣе привычнымъ, тономъ произнесъ:

— Messieurs les Jurés, voulez-vous vous lever.

Присяжные встали. Медленно, торжественно, раздѣльно предсѣдатель отчеканилъ наизусть:

— La Cour va recevoir votre serment. Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'accusé Alvera Ramon Gregorio Gonzalo (онъ еле замѣтно пожалъ плечами), de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclai-

ration; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre»... (онъ остано-вился и помолчалъ, какъ бы вопросительно глядя на присяжныхъ). «A l'appel de son nom, chacun des jurés répondra en levant la main: «Je le jure».

Послѣ того, какъ присяжные, откликаясь на именной вызовъ, одинъ за другимъ сказали «Je le jure», председа-тель пригласилъ обвиняемаго внимательно слушать все, что будетъ говориться, и велѣлъ огласить обвинитель-ный актъ.

Альвера не слушалъ ничего. У него мучительно болѣ-ла голова. Онъ расшибъ ее ночью очень сильно. Однако, кромѣ огромной шишки подъ волосами, никакихъ на-ружныхъ поврежденій не было. Сторожъ утромъ замѣ-тилъ, что заключенный смертникъ сегодня не въ такомъ состояннн, какъ обычно, но это было естественно передъ рѣшеніемъ судьбы. «А можетъ и притворяется?» Разо-бравъ, что у заключеннаго болитъ голова, сторожъ при-несъ ему изъ аптечки облатку кальмина. Для заявки вра-чу основаній не было, да не было уже и времени. Альве-ра безъ чужой помощи надѣлъ, вмѣсто арестантскаго, свое прежнее платье. Онъ кое-какъ соображалъ, что про-исходить, но все было очень, очень туманно и съ каждой минутой туманнѣе. Ъсть ему не хотѣлось, онъ еле при-тронулся къ ѣдѣ, хоть ѣда въ этотъ день была значитель-но лучше обычнаго. Передъ уводомъ въ судъ черезъ вну-треннн дворъ (тюрьма была рядомъ) преступнику дали чашку кофе, и онъ ненадолго почувствовалъ себя бодрѣе.

Пока человекъ въ странномъ костюмѣ скучно и моно-тонно читалъ обвинительный актъ, Альвера осматривалъ залъ. Изъ людей его интересовалъ только Вермандуа; по-спѣшно спросилъ себя, надо ли поклониться, и рѣшилъ,

что не надо: отвернулся, сдѣлалъ видъ, будто не видитъ. Снова подумалъ онъ о своемъ бывшемъ патронѣ лишь гораздо позднѣе — и уже больше не могъ его найти; зачѣмъ-то старался вспомнить, когда именно удалили изъ зала свидѣтелей: до допроса, или послѣ допроса, или передъ чтеніемъ обвинительнаго акта.

Другихъ людей онъ не зналъ, кромѣ защитника и помощницы. Альвера обратилъ вниманіе на то, что все здѣсь, въ залѣ, скромное, дешевенькое. Стѣны были выкрашены желтой краской съ коричневымъ бордюромъ, — подумалъ, что эти два цвѣта, коричневый и желтый, не идутъ другъ къ другу: «какой же надо было взять? синий? черный?» Противъ него была высокая дверь, тоже коричневая, — куда она ведетъ: что за ней? Замѣтилъ, что изъ шести лампъ, спускавшихся съ потолка на стержняхъ, горятъ только четыре, а тѣ двѣ, что подальше отъ предсѣдательскаго суда, не горятъ. «Почему? Неужто изъ экономіи? Или испортились? Какъ же тутъ мѣняють лампочки? Высоко, на стулѣ не доберешься, вѣрно приносятъ лѣстницу. Но и при четырехъ свѣта достаточно, должно быть, очень сильныя лампочки»... Замѣтилъ и то, что выключатель находился позади кресла предсѣдателя: «Развѣ онъ самъ тушитъ?» Позади судейскаго стола, подальше, висѣла еще какая-то бумажка съ надписью, но что написано, разглядѣть было со скамьи подсудимыхъ невозможно. На стѣнахъ были большіе картонные плакаты: «*Défense absolue de fumer et de s'écouter*», и одинъ изъ нихъ висѣлъ около стоявшаго на полкѣ мраморнаго бюста женщины съ распущенными волосами. Альвера догадался, что это богиня правосудія, Фемида, — подумалъ, что она была чья-то дочь, Юпитера, что ли? нѣтъ, не Юпитера, и что ее рисовали съ повязкой на глазахъ, съ вѣсами въ одной рукѣ и съ мечомъ въ другой, — вспомнилъ картинку изъ лицейской книги. «Но у той какъ будто ни меча, ни вѣсовъ». Это было ему непріятно: «Если не Фемида, такъ кто

же?..» Затѣмъ онъ осмотрѣлъ сидѣвшихъ за столами людей, въ красныхъ и черныхъ мантияхъ, — тѣхъ самыхъ людей, которые должны его приговорить къ смертной казни. Они не произвели на него никакого впечатлѣнія. «Напрасно не носятъ париковъ, вѣдь лысые же, въ парикахъ было бы лучше»... Столъ тоже былъ какой-то убогій: зеленое сукно едва спускалось съ краевъ, точно не хватило денегъ на большой кусокъ сукна, и стояли на столѣ простыя фаянсовыя вещи, дешевенькія лампочки. Альвера прикинулъ въ умѣ: тридцать франковъ, не больше. Моя стоила девятнадцать франковъ девяносто». На мгновенье у него сжалось сердце: вспомнилъ о своей комнаткѣ, о вещахъ, которыя покупалъ съ такой любовью, подолгу присматриваясь въ магазинахъ, соображая, гдѣ дешевле и лучше. Но тотчасъ онъ оставилъ эти воспоминанія и сталъ снова разсѣянно разглядывать публику. Часть ея стояла за барьеромъ внизу, часть въ верхнемъ этажѣ. «Неужели нельзя было поставить для нихъ стулья или хоть скамьи? Странно... Что-жъ, они будутъ такъ стоять до вечера, тѣсно прижатые одинъ къ другому?» Подумалъ, что ужъ ему-то во всякомъ случаѣ придется здѣсь сидѣть до конца, т. е. часовъ до шести или до семи? «Сегодня навѣрное не кончимъ»... Онъ устроился поудобнѣе на твердой скамьѣ, точно все дѣло для него заключалось только въ неудобствѣ и скукѣ. Сѣлъ какъ то на бокъ, опустивъ на лѣвую руку все сильнѣе болѣвшую голову. Публика стояла отъ него довольно далеко, при усилившейся у него близорукости онъ лицъ почти не могъ разглядѣть. Потомъ попробовалъ прислушаться къ тому, что невнятно и скучно читалъ челоуѣкъ въ странномъ костюмѣ, но не могъ: непріятно, ни къ чему. Все же, когда въ обвинительномъ актѣ впервые была упомянута его фамилія, онъ вздрогнулъ, — какъ въ лицѣ при неожиданномъ вызовѣ къ доскѣ. И съ этой минуты сознаніе у него стало быстро тускнѣть. Въ концѣ чтенія длиннаго обвинительнаго акта онъ уже плохо по-

нималъ то, что происходило. Ему все больше хотѣлось спать.

Серизье приподнялся и шопотомъ обратился къ своему подзащитному съ какимъ - то незначительнымъ вопросомъ. Мгновенно вскочила и мадмуазель Мортье, сидѣвшая рядомъ съ патрономъ и счастливая до предѣловъ возможнаго: въ газетахъ ея фамилія упоминалась теперь неизмѣнно; по направленію фотографическихъ аппаратовъ ей было ясно, что она будетъ на всѣхъ снимкахъ. Мадмуазель Мортье тоже наклонилась къ Альвера, и видъ у нея былъ при этомъ такой, точно отъ вопроса Серизье зависѣло рѣшительно все. Альвера посмотрѣлъ на своихъ защитниковъ мутнымъ взглядомъ, хотѣлъ что-то отвѣтить и не отвѣтилъ. «Что это съ нимъ сегодня?» — подумалъ съ недоумѣніемъ Серизье (онъ ничего не зналъ о случившемся ночью). Безтолковые отвѣты Альвера на первые вопросы председателя удивили адвоката. «Очевидно, рѣшилъ притворяться идиотомъ, — ужъ слишкомъ грубо! Впрочемъ, все равно онъ погибъ», — подумалъ Серизье. Не получивъ отвѣта, онъ сдѣлалъ жестъ, означавшій «ладно, потомъ», и грузно опустился на скамью.

Въ залѣ было много версальскихъ адвокатовъ, пришедшихъ послушать знаменитаго столичнаго товарища. Похожая на мужчину дама въ тогѣ, въ очкахъ, съ злыми глазами, съ пышной шевелюрой, поглядывая съ ненавистью на мадмуазель Мортье, вполголоса, но все же довольно явственно объясняла знакомому, что Серизье совершенно не годится для такой защиты. «Надо было обратиться къ...», — говорила она, называя имена, — «Серизье все-таки второй сортъ». — «Вермандуа заплатилъ ему большія деньги?» — «Вѣроятно. Даромъ онъ выступать не станетъ». — «Во всякомъ случаѣ очень мило съ его стороны». — «Со стороны Вермандуа? При его заработкахъ, пять или даже десять тысячъ никакого значе-

ня не имѣютъ». — «Какое у него умное лицо!» — «У Альвера? Опомнитесь: лицо совершеннаго кретина!» — «Нѣтъ, я говорю о Вермандуа», — «Ахъ, о Вермандуа, да... Впрочемъ, тоже ничего особеннаго. Да и писатель онъ никакой, это совершенно раздутая знаменитость»... — «Нѣтъ, все-таки не говорите, у него есть замѣчательныя вещи»... — «Какія?» — «Да вотъ хотя бы... Сейчасъ не могу вспомнить заглавій, но очень интересныя». — «Ни одной. Рѣшительно ни одной. Онъ давно исписался».

XI.

Свидѣтели въ отведенной имъ комнатѣ почтительно предложили Вермандуа самое лучшее мѣсто, стулъ подъ лампой. Онъ поблагодарилъ и ласково-демократически обмѣнялся съ ними нѣсколькими словами. Это все были простые люди: полицейскій, задержавшій Альвера, булочникъ, нанесшій ему при арестѣ страшный ударъ бутылкой, консьержка дома, въ которомъ жилъ преступникъ. Отдавъ долгъ демократизму, Вермандуа развернулъ полуденную газету. Однако, читать ему не хотѣлось. Онъ все морщился съ крайне неприятнымъ чувствомъ, вспоминая лицо убійцы. «...C'est malheureux quand même! Quelle figure qu'il a!» — говорила вполголоса консьержка.

Скоро въ залъ позвали перваго свидѣтеля, за нимъ, всего минутъ черезъ пять, второго. «Слава Богу, долго не держать, дѣло идетъ быстро»... Наконецъ, приставъ, почтительно наклонивъ голову, пригласилъ Вермандуа. Нерѣшительной, чуть сѣменящей походкой онъ вышелъ къ тому мѣсту, откуда полагалось показывать. По залу пробѣжалъ гулъ, снова вспыхнулъ магній, защелкали аппараты. Предсѣдатель терпѣливо подождалъ, вздохнулъ и почтительно обратился къ свидѣтелю. Не спросилъ объ-

имени и профессіи, — самъ назвалъ ихъ — и привелъ Вермандуа къ присягѣ.

— ...Что вы можете показать по этому дѣлу?

— Я предпочелъ бы отвѣчать на вопросы.

— Обвиняемый былъ вашимъ секретаремъ до того дня, когда совершилъ свое преступленіе?.. Вы его знали. Какого мнѣнія вы о немъ были?

— Самого лучшаго. Онъ всегда производилъ на меня отличное впечатлѣніе. Былъ въ высшей степени исправенъ и добросовѣстенъ въ работѣ, справлялся съ ней превосходно, былъ всегда учтивъ и любезенъ («уже клятвопреступникъ», — подумалъ Вермандуа.). — У меня, кажется, никогда не было болѣе исправнаго и толковаго секретаря.

— Угодно ли сторонамъ?.. — спросилъ предсѣдатель, подавляя зѣвокъ.

— Замѣчали ли вы въ Альвера когда-либо признаки душевной ненормальности? — спросилъ прокуроръ.

— Никогда. Это былъ очень милый, образованный и разумный молодой человекъ, — отвѣтилъ Вермандуа и спохватился. Серизье тотчасъ пришелъ ему на помощь.

— Значить, онъ своими душевными качествами всегда производилъ на васъ вполне благопріятное впечатлѣніе?

— Въ высшей степени благопріятное.

— Вы, нашъ знаменитый писатель (Вермандуа сдѣлалъ сконфуженный жестъ и склонилъ голову на бокъ), вы, одинъ изъ всѣми признанныхъ сердецѣдовъ, должны понимать психологію людей. Какое объясненіе вы можете дать этому преступленію?

— Могу сказать только одно: я былъ совершенно пораженъ! Просто не могъ прийти въ себя отъ изумленія. Это ужасное дѣло такъ не связывалось въ моемъ умѣ съ милымъ молодымъ человекомъ, котораго я зналъ... Ничѣмъ, кромѣ внезапнаго умопомѣшательства, я его преступленія объяснить не могу.

— Господа присяжные, я прошу васъ запомнить эти слова, особенно для насъ цѣнныя въ связи съ личностью человѣка, отъ котораго они исходятъ, — произнесъ Серизье проникновеннымъ голосомъ.

— Я желалъ бы задать еще вопросъ, — сказалъ прокуроръ. — Нуждался ли Альвера?

— Этого я не могу сказать. Авансовъ онъ у меня, кажется, не бралъ, хотя я, конечно, не отказалъ бы ему въ авансѣ.

— Авансовъ не бралъ ни разу, хотя могъ брать? Отсюда вѣдъ съ полной очевидностью слѣдуетъ, что обвиняемый въ деньгахъ не нуждался.

— Я этого не знаю, — отвѣтилъ Вермандуа, смутившись: опять показалъ не то, что нужно. На лицѣ у Серизье было недовольное выраженіе.

— Разрѣшите спросить васъ, какое жалованье онъ у васъ получалъ? — спросилъ ласково прокуроръ.

— Свидѣтель, вы имѣете право не отвѣчать на вопросы, если вы этого не желаете, — разъяснилъ председатель. Оба они почувствовали нѣкоторую неловкость. Присяжные насторожились: имъ было интересно, но всѣ понимали, что не отвѣчать на такіе вопросы — несомнѣнное право каждого гражданина: на этомъ строится государственный порядокъ.

— Онъ у меня получалъ пятьсотъ франковъ въ мѣсяцъ. Это, конечно, небольшая сумма по нынѣшнимъ временамъ. Правда, мой секретарь и работалъ всего по два часа въ день. Я собирался увеличить его жалованье по своей инициативѣ, онъ объ этомъ не просилъ, но я не успѣлъ... («Да, не очень щедро платилъ великій писатель», — подумалъ Серизье).

— Была ли у него еще какая-либо работа?

— Не знаю. Помнится, онъ занимался перепиской или чѣмъ-то такимъ.

— Я отлично понимаю, что вы не могли платить дороже за столь незначительный трудъ, — сказалъ проку-

роръ еще болѣе ласковымъ голосомъ. Ему было особенно пріятно использовать свидѣтеля защиты, благо представлялся удобный случай. — Но я хотѣлъ бы разъ навсегда положить конецъ сказкамъ относительно нищеты этого молодого человѣка. Онъ получалъ у васъ пятьсотъ франковъ въ мѣсяць. Деньги не столь ужъ малыя, господа присяжные засѣдатели. Каждый изъ васъ знаетъ честныхъ людей, которые и такого заработка не имѣютъ. Кромѣ того, какъ удостовѣрилъ свидѣтель, у Альвера были еще другіе заработки...

— Это невѣрно, — вмѣшался Серизье, — свидѣтель этого не удостовѣрялъ. Онъ сказалъ, что о другихъ заработкахъ подсудимаго не имѣетъ свѣдѣній.

— Простите, свидѣтель заявилъ, что другіе заработки у Альвера были: переписка и что-то еще. Мы это впрочемъ знали и до показанія свидѣтеля. Именно работа по перепискѣ и свела обвиняемаго съ несчастнымъ Шартье, о которомъ все-таки не слѣдовало бы забывать и защитнику...

— Я ни о чемъ не забываю! — сказалъ Серизье, вставая и повышая голосъ (всѣмъ стало ясно, что готовится инцидентъ). — Я ни о чемъ не забываю! Память жертвы для насъ такъ же священна, какъ для представителя обвиненія, и мы не позволимъ никому насъ обвинять въ обратномъ! (мадмуазелль Мортье, тоже приставъ, смотрѣла съ негодованіемъ на прокурора: да, мы не позволимъ!..) — Но это сейчасъ къ дѣлу не относится, господинъ генеральный адвокатъ! Побочные заработки Альвера составляли совершенные гроши. Несчастный вель полуголодное существованіе, я это докажу въ своей рѣчи. И я рѣшительно протестую противъ попытокъ придать показаніямъ свидѣтеля тотъ смыслъ, котораго они не имѣли и имѣть не могли!

— А я рѣшительно протестую, — сказалъ прокуроръ, тоже вскочивъ и повысивъ голосъ, — противъ попытокъ защиты набросить тѣнь на государственнаго обвините-

ля, представляющаго интересы общества! Я свидѣтельскихъ показаній не извращаю, мэтръ Серизье!

— Я этого и не говорилъ!

— Вы именно это сказали! Это слышали всѣ!

Поднялся крикъ и гулъ. Репортеръ вечерней газеты радостно написалъ на листкѣ посрединѣ строчки слово «инцидентъ», подчеркнул его два раза и сталъ писать со скоростью ста словъ въ минуту: «Brusque sursaut de flammes. L'avocat général acère ses griffes, mais il a affaire à forte partie. M^e Cerisier bondit. La voix, si riche d'accents, du célèbre avocat, gronde. Dans un superbe mouvement d'éloquence il conjure son éminent adversaire»... Прокуроръ и адвокатъ, стоя, орали другъ на друга, и дѣйствительно звучный голосъ Серизье заглушалъ голосъ его противника. — «Il ne me plaît pas que»... — «Maitre, je ne suis ici ni pour vous plaire ni pour vous déplaire!» — «...Tant qu'il s'agira de parler pour l'infortune, il sortira de mon cœur des accents...» — «Maitre, vos accents ne m'ôteront pas le courage de mon devoir!» — «...Monsieur l'avocat général, je représente ici les intérêts sacrés! Je m'appelle la Défense!» Въ залѣ произошло сильное движеніе. Только предсѣдатель слушалъ совершенно равнодушно, даже безъ малѣйшаго интереса. Онъ зналъ, что инциденты необходимы вообще, а на такомъ процессѣ въ особенности: и прокурору, и защитнику хочется оживить дебаты и прочистить голосъ. Когда они покричали минуты двѣ или три, ровно столько, сколько было нужно, предсѣдатель предложилъ имъ успокоиться. Сначала впрочемъ и самъ хотѣлъ было немного покипятиться для порядка, но раздумалъ.

— Альвера, — обратился онъ къ подсудимому. — Не скажете ли вы намъ сами, сколько вы зарабатывали въ мѣсяцъ? («Встать, встать!» — прошепталъ полицейскій рядомъ съ подсудимымъ). Альвера всталъ и уставился мутнымъ взглядомъ на предсѣдателя. Тотъ повторилъ вопросъ.

— Я... я зарабатывалъ много, — сказалъ глухо Альвера и сѣлъ. По залу пробѣжалъ ропотъ. «Симуляція скверная», — пробормоталъ журналистъ. Прокуроръ многозначительно обвелъ взглядомъ ложу присяжныхъ и скамейки журналистовъ.

— Господа присяжные, — сказалъ онъ подчеркнуто-спокойнымъ тономъ, — вопросъ о средствахъ подсудимаго мы подробно рассмотримъ позднѣе, какъ это и обѣщаетъ мой краснорѣчивый противникъ. Все же я хотѣлъ бы, чтобы вы запомнили факты. Альвера получалъ у свидѣтеля регулярное, вполне обезпеченное, жалованіе въ пятьсотъ франковъ въ мѣсяцъ. Кромѣ того, у него была переписка, оплачивавшаяся изъ расчета: полтора франка за страницу машиннаго текста. Онъ самъ показалъ на предварительномъ слѣдствіи, что за рукопись, переписанную для звѣрски убитаго имъ человѣка, который давалъ ему средства къ существованію, онъ долженъ былъ въ день убійства получить сорокъ восемь франковъ. Эта рукопись была послѣдней частью заказа. Въ общемъ заказъ несчастнаго Шартъе далъ убійцѣ около двухсотъ франковъ. Допустимъ, что такіе заказы бывали не каждый день... Хотя переписку въ Парижѣ достать нетрудно: есть люди и даже цѣлые бюро, только этимъ и существующіе... — Допустимъ, что переписка давала обвиняемому всего пятьсотъ франковъ, или четыреста, или даже триста, въ мѣсяцъ. Значитъ, у него было дохода восемьсотъ, не такъ мало для одинокаго человѣка. Я, конечно, не знаю, что считаетъ «совершенными грошами» одинъ изъ самыхъ прославленныхъ адвокатовъ Франціи, — сказалъ прокуроръ язвительно (Серизье изобразилъ на лицѣ негодованіе, хотя эти слова противника были ему пріятны), — но не у всѣхъ французскихъ гражданъ есть милліоны, господа присяжные засѣдатели. Можетъ быть, не всѣ милліонеры и среди васъ, и ужъ конечно, вы знаете во Франціи, какъ и я, честныхъ людей, которые работаютъ цѣлый день, живутъ тоже на восемьсотъ

франковъ въ мѣсяцъ, или даже на еще меньшую сумму, однако убійствами и грабежомъ не занимаются, въ отличіе отъ этого иностраннаго юноши, такъ оплатившаго намъ за оказанное ему гостепріимство.

Онъ сѣлъ. По скамьямъ присяжныхъ пробѣжалъ и тотчасъ замолкъ одобрительный гулъ. Серизье почувствовалъ, что по этому вопросу потерпѣлъ полное поражение, быть можетъ даже роковое; впрочемъ, онъ все равно попрежнему не имѣлъ ни малѣйшей надежды на спасеніе головы подсудимаго.

— Оставимъ этотъ вопросъ, оставимъ демагогію, — сказалъ онъ со сдержаннымъ негодованіемъ (голосъ его и выраженіе лица ясно показывали, что негодованіе именно сдерживается). — Для васъ, господа присяжные, не имѣть и не можетъ имѣть никакого значенія, иностранецъ ли обвиняемый или не иностранецъ. Мы — во Франціи, господи́нь генеральный адвокатъ, во Франціи, у которой есть тысячелѣтнія традиціи правосудія (эти слова могли бы при желаніи дать возможность создать новый инцидентъ, но оба противника были удовлетворены первымъ и ко второму не очень стремились). Къ тому же, какой иностранецъ Альвера? Вы его слышали, господа присяжные, онъ говоритъ по-французски какъ мы съ вами... Возвращаясь къ свидѣтелю, я его просилъ бы высказаться нѣсколько подробнѣе о личности подсудимаго.

Вермандуа вздохнулъ и произнесъ свое слово. Теперь былъ очень остороженъ, точно имѣлъ дѣло съ мошенниками, — но надо было помогать одному извратителю истины противъ другого. Кратко упомянулъ объ ужасной обстановкѣ, въ которой прошли годы дѣтства Альвера, о новой психологіи, создавшейся у людей послѣ войны. — «Вы поймете мою мысль, господа судьи, — сказалъ онъ, стараясь говорить возможно болѣе ясно, естественно и вразумительно. — Въ тѣ ужасные четыре года люди привыкли къ мысли, что убить человѣка очень просто» (по

залу пронесся легкой ропотъ: можетъ быть, у другого писателя столь осторожно выраженная мысль сошла бы гладко, но коммунистическія симпатіи Вермандуа были слишкомъ извѣстны. Прокуроръ (пожалъ плечами). — «Вы понимаете, господа судьи, что я не сравниваю ремесла солдата съ ремесломъ убійцы, но я говорю объ атмосферѣ, въ которой выросло это несчастное поколѣніе... Затѣмъ онъ перешелъ къ вредной роли кинематографа (о газетахъ не упомянулъ: въ залѣ было много журналистовъ, — незначѣмъ раздражать печать). Упомянулъ и о соблазнахъ большого города, особенно страшныхъ для бѣднаго молодого человѣка, не могущаго себѣ позволить ничего, кромѣ самаго необходимаго. И наконецъ, перешелъ къ необыкновенной нервности Альвера. — «Онъ всегда производилъ на меня впечатлѣніе человѣка весьма порядочнаго (прокуроръ олять пожалъ плечами), но неуравновѣшеннаго и болѣзненно воспринимающаго социальные контрасты и социальные несправедливости». — На эту тему Вермандуа говорилъ минутъ пять, и говорилъ хорошо, хоть ему было очень совѣстно. Залъ слушалъ его настороженно, какъ будто съ нѣкоторой враждебностью. Не слушали только два человѣка: Альвера, который попрежнему сидѣлъ изогнувшись на бокъ, закрывъ лицо лѣвой рукой, да еще предсѣдатель: онъ все это слышалъ тысячу разъ, зналъ заранѣе наизусть, и совершенно этимъ не интересовался: надо это слушать, какъ надо спрашивать свидѣтелей: «клянетесь ли вы говорить правду, всю правду и только правду?»

— Благодарю васъ, — сказалъ съ чувствомъ Серизье, когда Вермандуа кончилъ. — Мы не забудемъ, что это блестящее слово, столь исполненное человѣчности, доброты, мудрости, принадлежитъ не только писателю, составляющему гордость Франціи, но и признанному во всемъ мірѣ знатоку человѣческой души. Господа присяжные, быть можетъ, вы признаете вмѣстѣ со мной, что психологическія наблюденія г. Луи-Этьенна Вермандуа

стоять заключенія трехъ среднихъ врачей - экспертовъ, особенно если принять во вниманіе, что господа эксперты говорили съ несчастнымъ Альвера десять минутъ, а нашъ знаменитый писатель зналъ его чрезвычайно близко. Я больше вопросовъ не имѣю, — сказалъ защитникъ, садясь съ такимъ видомъ, точно теперь уже не могло быть ни малѣйшихъ сомнѣній въ оправдательномъ вердиктѣ.

Узнавъ, что и прокуроръ больше не имѣетъ вопросовъ, предсѣдатель поблагодарилъ свидѣтеля и сообщилъ ему, что онъ теперь имѣетъ право остаться въ залѣ. Вермандуа поклонился, сѣлъ поближе къ выходу и минутой черезъ три незамѣтно вышелъ.

На улицѣ онъ немного отдышался, но тоска и отвращеніе у него все росли. Увидѣвъ кофейню, онъ послѣшно туда направился, занялъ мѣсто въ самомъ дальнемъ углу и, несмотря на запрещеніе врача, несмотря на повышенное давленіе крови, спросилъ большую рюмку арманьяка.

XII.

Къ великой радости репортеровъ, дѣло шло быстрѣе, чѣмъ ожидали. Свидѣтелей было мало, эксперты оказались не словоохотливые, прокуроръ говорилъ всего полчаса. По общему мнѣнію, рѣчь его была очень сильна. «Далеко пойдетъ! Прекрасный ораторъ», — замѣтилъ съ уваженіемъ въ тонѣ сотрудникъ вечерней газеты, хоть ему за долгіе годы работы одинаково надоѣли и краснорѣчивые прокуроры, и краснорѣчивые адвокаты. Онъ уже успѣлъ пробѣжать въ своей газетѣ отчетъ о первой части засѣданія (секретарь редакціи ничего не выпустилъ, и инцидентъ далъ не менѣе шестидесяти франковъ). — «Ваше счастье, все пойдетъ вамъ, утренней печати», — весело сказалъ онъ сосѣду. — «При нѣкоторой удачѣ вердикта можно ждать къ семи». — «Не думаю. Когда выно-

сится смертный приговоръ, присяжнымъ всегда совѣстно совѣщаться недолго: они будутъ дѣлать видъ, что взвѣшиваютъ все самымъ тщательнымъ образомъ». — «А что же тутъ собственно взвѣшивать?» — «Разумѣется, нечего. Прокуроръ могъ ограничиться одной фразой: «требую его головы», этого было бы совершенно достаточно». — «Серизье, кажется, сегодня въ ударѣ». — «Какъ мнѣ надоѣлъ этотъ субъектъ, и сказать вамъ не могу. Въ палатѣ и въ партіи его больше не слушаютъ, а ужъ здѣсь онъ распустить перья: тутъ обязаны слушать». — «Вотъ Вермандуа. Я думалъ, онъ уѣхалъ домой, нѣтъ, вернулся все-таки». — «Надо же имѣть совѣсть»...

Трибуны для публики были теперь менѣе полны, чѣмъ въ началѣ засѣданія: и стоять было утомительно, и преступникъ всѣхъ разочаровалъ, и дѣло оказалось не очень интереснымъ: въ сущности, обыкновенное убійство съ цѣлью грабежа, прикрытое какими-то анархическими шутками, отъ которыхъ на судѣ обвиняемый, повидимому, вообще отказался. Его отвѣты были безсодержательны до нелѣпости; если симуляція, то очень неумѣлая. Графъ де Белланкомбръ уѣхалъ въ самомъ дурномъ настроеніи духа. Ссоры съ женой не было, но вышелъ холодокъ: она непременно желала остаться. — «Въ такомъ случаѣ я пришлю за вами машину, я очень усталъ, я поѣду домой». — «Сдѣлайте одолженіе». — «Если вы готовы уѣхать тотчасъ послѣ рѣчи — какъ его? — вашего друга, то я могу васъ подождать». — «Я останусь до конца: до приговора».

Предсѣдатель предоставилъ слово защитнику. Въ залѣ опять произошло движеніе. Серизье всталъ, оправилъ привычнымъ движеніемъ рукава тоги и обвелъ медленнымъ взглядомъ залъ. Его судебныя рѣчи не имѣли такого отклика въ печати, какъ политическія. Тѣмъ не менѣе онъ очень волновался, — главнымъ образомъ по добротѣ: дѣло шло о человѣческой жизни. Какъ старый адвокатъ, онъ отлично зналъ, что спасти Альвера

можетъ развѣ только чудо. Но это ни въ чемъ не мѣняло его человѣческаго и профессиональнаго долга: надо сдѣлать все, рѣшительно все, для спасенія головы подзащитнаго. Планъ рѣчи былъ давно готовъ, ходъ судебного разбирательства почти ничего не измѣнилъ, но вопросъ, какъ подойти къ присяжнымъ, оставался для защитника неяснымъ, сколько онъ къ нимъ ни приглядывался за время засѣданія. Серизье занялъ позицію, — партнеровъ было нѣсколько: прокуроръ, присяжные, журналисты, публика, — помолчалъ выжидательно съ минуту, — въ залѣ установилась полная тишина, — и началъ тихимъ голосомъ:

— *Messieurs de la Cour, messieurs les Jurés...* — Такъ, нѣсколько по старинному, онъ всегда начиналъ свои судебныя рѣчи. Помолчалъ еще немного и заговорилъ медленно, дѣлая для начала остановки послѣ каждыхъ двухъ-трехъ словъ. — *Très brèves... très sincères, très simples... seront les observations que j'ai à vous présenter...* — «Это значитъ не менѣе, чѣмъ полтора часа», — рѣшилъ про себя предсѣдатель.

Вермандуа оставался въ кофейнѣ очень долго. Забывъ о давленіи крови, вопреки всѣмъ врачебнымъ указаніямъ, онъ за первой рюмкой арманьяка спросилъ вторую, и хотя выпилъ ихъ чуть не залпомъ, настроеніе у него лучше не стало. «Въ моемъ показаніи ничего постыднаго не было», — угрюмо думалъ онъ. — «Если и сказалъ нѣсколько словъ, которыхъ говорить не слѣдовало, то это было тотчасъ исправлено. Я говорилъ разумно, не мямлилъ, не запутался. Все, что я могъ сдѣлать, я сдѣлалъ, и этотъ человѣкъ съ языкомъ безъ костей (разумѣлся Серизье), конечно, сумѣетъ использовать мое показаніе. А если газеты останутся недовольны, то видитъ Богъ, мнѣ это совершенно безразлично» (онъ мысленно себя провѣрилъ: дѣйствительно ли видитъ это Богъ? Да, почти безразлично). «Въ чемъ же дѣло и почему у меня та-

кое ощущеніе, будто я участвовалъ въ недостойномъ дѣлѣ? Судъ? Право карать? «Не судите да не судимы будете»? Нѣтъ, все это ко мнѣ не относится и относиться не можетъ. Я государственникъ, суда никогда не отрицаю».

Онъ вынулъ изъ кармана газету. Агонія Гихона... Аэропланы генерала Франко потопили снова англійскій пароходъ... По опубликованнымъ въ Токио даннымъ, китайцы, съ начала мирнаго проникновенія японцевъ въ Китай, потеряли не мѣнѣе ста тысячъ человекъ убитыми... Въ Берлинѣ, за попытку воссозданія коммунистической партіи, казнены Адольфъ Рейнте и Робертъ Штаммъ... Въ Бѣлоруссіи четырнадцать совѣтскихъ служащихъ признались, что подмѣшивали толченое стекло въ муку для красной арміи, и приговорены къ смертной казни... Последнее сообщеніе было особенно неприятно Вермандуа; оно не укладывалось въ графу фашистскихъ звѣрствъ. Но и независимо отъ этого, такая концентрація зла въ одномъ номерѣ газеты поразила его, несмотря на пріобрѣтенную въ послѣдніе годы привычку. «Да, чортъ дѣлаетъ, что можетъ, онъ на прямомъ пути къ всемогуществу»...

Вбѣжавшій въ кофейню разносчикъ принесъ вечернюю газету. Непонятнымъ чудомъ, въ ней уже описывалось его появленіе въ судѣ. Инцидентъ былъ поданъ въ особенно эффектной формѣ, съ большимъ заголовкомъ, — Вермандуа и не замѣтилъ, что все это было такъ драматично. Помѣстили и его фотографію, правда, старую. — «Это изъ ихъ коллекціи на случай внезапной смерти. Скверная фотографія, надо бы дать имъ другую. Снимокъ изъ залы суда, вѣрно, попадаетъ въ слѣдующее изданіе. Или то были фотографы утреннихъ газетъ?» Репортеръ писалъ объ его показаніи безъ враждебности: газета была скорѣе правая, но Вермандуа находился въ вѣ очень добрыхъ отношеніяхъ съ главнымъ редакторомъ, въ газетѣ былъ даже какъ-то напечатанъ его раз-

сказъ. Смысль замѣтки былъ тотъ, что знаменитый писатель, со свойственной ему гуманностью, развивалъ очень благородныя и возвышенныя мысли, однако злодѣя нужно казнить. Названъ былъ Вермандуа: «le célèbre écrivain». Это все же чуть-чуть его задѣло: могли сказать «l'illustre écrivain»...

Онъ расплатился и снова отправился въ судъ. Тамъ его почтительно пропустили, уже не спросивъ билета. И опять Вермандуа охватило чувство вродѣ того, что бываетъ у здороваго человѣка при входѣ въ больницу, съ ея лекарственнымъ запахомъ и гигиенической чистотой: какъ бы уйти возможно скорѣе и возможно дальше. Когда онъ на цыпочкахъ вошелъ въ залъ суда, Серизье начиналъ рѣчь. Вермандуа сѣлъ не на прежнее мѣсто, а поближе къ выходу. «Надо будетъ улучшить минуту и убѣждать»... Немного посидѣть было необходимо ради графини и особенно изъ уваженія къ бесплатно защищавшему адвокату. «Послушаемъ, послушаемъ, что онъ скажетъ»...

Серизье говорилъ о жалкой, нерадостной жизни несчастнаго юноши, объ ужасной атмосферѣ, въ которой воспитывается молодое поколѣнiе бѣдныхъ, о социальныхъ контрастахъ между небывалой роскошью людей, создавшихъ на войнѣ огромныя состоянiя, и нищетой низшихъ классовъ. «Конечно, онъ рискуетъ», — мрачно думалъ Вермандуа, — «для завтрашняго номера социалистической газеты все это превосходно, но какъ отнесутся присяжные? Впрочемъ, и я говорилъ то же самое, да ничего другого и нельзя сказать»...

Онъ взглянулъ на присяжныхъ. «Какъ будто слушаютъ внимательно, но судя по ихъ лицамъ, рѣчь должна производить на нихъ какъ разъ обратное впечатлѣнiе. Особенно, вонъ тотъ: просто Торквемада». Вермандуа перевелъ взглядъ на судейскiй столъ. «Эти совершенно не слушаютъ, особенно предсѣдатель. Да и въ самомъ дѣ-

лѣ онъ все это слышалъ тысячу разъ: вѣдь это и въ восемнадцатомъ вѣкѣ были общія мѣста, а теперь каждый адвокатъ хранить въ памяти сотни такихъ штамповъ, не только готовыхъ мыслей, но и готовыхъ словъ. Ихъ гуманные пассажи даже узнать можно по необыкновенной красотѣ и правильности, какъ по необыкновенной красотѣ и правильности легко отличить фальшивые зубы. Тутъ нѣтъ и не можетъ быть плагиата, такъ какъ и дословное заимствование здѣсь необходимость: въ мѣрѣ совершались сотни тысячъ преступленій, и выступали по нимъ сотни тысячъ адвокатовъ, и о доброй половинѣ преступниковъ можно было сказать приблизительно то, что онъ сейчасъ говорить. Было бы нетрудно замѣнить его граммофономъ, какъ и прокурора... Точно такъ же здѣсь предрѣшено все: вердиктъ, приговоръ, казнь. Бездушный аппаратъ, тщательно, хоть неумѣло, скрывающій свою полную бездушность и даже прикидывающійся особенно гуманнымъ. Именно поэтому работа налаженной вѣсками, торжественной, внѣшне-красивой, а внутренне-безобразной машины и создаетъ впечатлѣніе ненужной зловѣщей комедіи»...

Онъ вздрогнулъ, услышавъ свою фамилію. «...Monsieur Louis Etienne Vermandois», говорилъ вкрадчиво-почтительно Серизье, — «avec son intelligence supérieure de grand écrivain, avec sa lucidité de psychologue connaissant les abîmes de l'âme humaine, Monsieur Vermandois, gloire des lettres françaises, n'est-il pas venu vous demander miséricorde pour le pauvre déséquilibré... Ah, Messieurs les Jurés, Dieu soit s'il y a des heures poignantes dans le ministère que je tâche de remplir (онъ повысилъ голосъ). C'est une noble mission que la nôtre, Messieurs les Jurés! Quand un homme, un malheureux, est abandonné par ses amis, traqué par les pouvoirs publics, maudit par tout le monde, c'est une noble mission, vous dis-je, que de le défendre contre tous! C'est ainsi, Messieurs les Jurés, qu'un prêtre se dresse devant le con-

damné, s'attache à lui et l'accompagne jusqu'au lieu de l'exécution à travers les clameurs et les hurlements de la foule qui ne veut pas comprendre»...

По мѣстамъ для публики пробѣжаль тотчасъ подавленный гуль восхищенья. «Онъ въ самомъ дѣлѣ говорить очень хорошо. Гдѣ же мнѣ до него? То, что я сказалъ въ нѣсколькихъ словахъ, онъ размахетъ на часъ, а если будетъ нужно и на три часа, и рѣчь его будетъ литься такъ же плавно, и такъ же будутъ на мѣстѣ доводы, числа, наклоненія, роды, и онъ не сдѣлаетъ ни единой ошибки противъ ихъ отвратительнаго ораторскаго жаргона, и будутъ чередоваться модуляціи, повышенія, пониженія голоса, на которыя я не могъ бы пойти даже подѣ страхомъ смертной казни. Но почему у меня раздраженіе противъ него? Онъ добросовѣстно изучилъ дѣло, защищаетъ превосходно, тратитъ время, отказывается отъ денегъ. Правда, онъ дѣлаетъ это для меня, и не сдѣлалъ бы, вѣроятно, если-бъ Альвера не былъ моимъ секретаремъ. Правда, съ такой же легкостью онъ могъ бы произнести по этому дѣлу и обвинительную рѣчь, если-бъ его пригласили на роль гражданского истца. Они требуютъ оправданія или казни въ зависимости отъ того, кто первый къ нимъ обратился... Но съ моей стороны не очень достойно вспоминать объ этомъ теперѣ... Эта хорошенькая барышня, его помощница, повидимому, влюблена въ него, — вотъ на меня читательницы не смотрятъ съ такимъ восторгомъ въ глазахъ... Прокуроръ что-то записываетъ, у него тоже созданъ шедевръ на эту же тему: такъ Корнель и Расинъ писали «*Bérénice*» одинъ на зло другому. Но прокуроръ знаетъ, что по бѣ да ему обезпечена. Да и Серизье мнѣ говорилъ, что не имѣетъ ни малѣйшей надежды на смягчающія обстоятельства... Все предрѣшено, слѣдовательно, все комедія. И вообще о правосудіи можно было говорить лишь до появленія государственнаго бандитизма. Теперѣ, когда въ мірѣ «законными правительствами» вполнѣ безнаказанно совер-

шаются чудовищныя по безстыдству преступленія, уголовный судъ сталъ полнымъ торжествомъ лицемѣрія. Но именно этого адвокатъ сказать не можетъ... Онъ прислушался. Серизье переходилъ къ разбору уликъ. Закончивъ общую социальную-философскую часть своей рѣчи, онъ доказывалъ, что заранѣе обдуманнаго намѣренія не было и что собственное признаніе Альвера тутъ никакого значенія имѣть не можетъ:

— «...Avoué, Monsieur l'avocat général? Oui, Monsieur l'avocat général, Alvera a tout avoué! La volonté criminelle? Il l'a reconnue. La préméditation? Il l'a reconnue aussi. Il a tout reconnu, il a tout reconnu, la tête fracassée par un terrible coup de bouteille, il a tout reconnu après un interrogatoire dont je n'ai pas été témoin, après un interrogatoire de quelques heures dans lequel il ne fut pas soutenu par son défenseur... (прокуроръ возмущенно пожалъ плечами). Ah, Monsieur l'avocat général, si la torture existait aujourd'hui, si un homme se présentait dans cette enceinte, dégagé de ses fers, mais la figure ensanglantée et les os brisés, lui diriez-vous en voyant couler son sang, lui diriez-vous: tu n'as rien à dire: tu as avoué!..»

Прокуроръ вскочилъ съ негодованіемъ. Даже председатель нѣсколько насторожился. Всѣ репортеры въ залѣ записывали съ необычайной быстротой, гулъ въ публикѣ усилился. Однако инцидента не вышло; Серизье отступилъ съ боями: онъ призналъ, что физическихъ насилій надъ Альвера при допросѣ не было, но обратилъ вниманіе присяжныхъ на сильнѣйшее моральное давленіе, которое долженъ былъ испытать неуравновѣшенный юноша, съ сознаниемъ, помраченнымъ страшнымъ ударомъ при арестѣ. Затѣмъ онъ очень ясно, толково и логично разобралъ вопросы о переписанной рукописи, о револьверѣ, объ украденной суммѣ денегъ и доказалъ, что заранѣе обдуманнаго намѣренія не могло быть и не было. Система его доводовъ была умна и убѣдительна. Серизье теперь говорилъ безъ лафоса, очень просто, въ духѣ но-

вой школы Анри Робера. Отъ вопроса о заранѣе обдуманномъ намѣреніи онъ перешелъ къ экспертизѣ и какъ слѣдуетъ справился съ экспертами: отпустивъ имъ нѣсколько очень сдержанныхъ похвалъ, явно походившихъ на насмѣшку, искусно далъ понять присяжнымъ, что это весьма незначительные врачи, отнюдь не ученые, въ сущности простые чиновники, вдобавокъ отнесшіеся къ дѣлу не слишкомъ добросовѣстно: выяснилъ, что на изслѣдованіе Альвера они потратили не болѣе четверти часа времени, — конечно, время этихъ князей науки драгоценно, но здѣсь дѣло идетъ о человѣческой жизни!.. Онъ процитировалъ что-то изъ книги настоящаго князя науки, знаменитаго профессора Фуко: въ книгѣ говорилось о крайнемъ легкомысліи судебныхъ экспертизъ и приводились убѣдительные примѣры. Этой цитатой Серизье всегда пользовался въ тѣхъ случаяхъ, когда надо было поколебать впечатлѣніе отъ экспертизы; для обратныхъ случаевъ онъ имѣлъ цитату изъ труда другой знаменитости. И наконецъ, медленно, съ разстановкой, проникновеннымъ тономъ, онъ напомнилъ присяжнымъ, что для нихъ мнѣніе экспертовъ совершенно необязательно: таковъ основной принципъ всего французскаго законодательства. Перейдя въ область гражданскаго права, гораздо болѣе ему привычную, Серизье прочелъ статью 323-ью, прямо предписывающую суду не считаться съ экспертизой, если она противорѣчитъ внутреннему убѣжденію судей. «...Quant au code d'Instruction Criminelle, il n'avait même pas à affirmer cette règle qui est le corollaire indiscutable du régime des preuves morales»... Кромѣ предсѣдателя, всѣ слушали его очень внимательно. Рѣчь имѣла явный и большой успѣхъ. — «Онъ просто гениаленъ! Изумительная рѣчь! Теперь смягчающія обстоятельства обезпечены, я ручаюсь!», — восторженно шептала незнакомому сосѣду графиня де Белланкомбрь.

«Да, безъ нихъ было бы, разумѣется, гораздо хуже»,

— думаль Вермандуа, совершенно примиренный съ защитникомъ, — «и слова его о пыткѣ по существу справедливы. Нашъ судебный аппаратъ неизмѣримо выше существовавшего до революціи, неизмѣримо выше и того, который дѣйствуетъ въ странахъ фашистской диктатуры (онъ опять съ неудовольствіемъ вспомнилъ о не укладываемыхся въ графу людяхъ, разстрѣлянныхъ за подмѣшиваніе толченого стекла въ муку для красной арміи). Судъ присяжныхъ, какъ они ни тупы (онъ взглянулъ на Торквемаду), безспорно лучший изъ всѣхъ существующихъ судовъ. Но мы, по косности нашей, ухитрились и его превратить въ мертвую бездушную машину. И приблизительно то же самое можно сказать о всѣхъ нашихъ свободныхъ учрежденіяхъ. При своемъ несовершенствѣ, при всѣхъ своихъ огромныхъ недостаткахъ, они лучшія въ мірѣ. Однако бѣда, великая бѣда, въ томъ, что отлетѣлъ отъ нихъ духъ человѣчности, составлявшій главную ихъ силу, что мы потеряли чувства гражданской гордости, что мы слова «декларация правъ человѣка» не можемъ произнести безъ улыбки, хотя въ этой декларациі каждое слово — правда, обогрѣнная кровью. Бѣда въ томъ, что наши учрежденія раздѣлены косностью, равнодушіемъ, корыстью, интригой, что мы ухитрились изъять изъ нихъ духовную сущность и тѣмъ самымъ ихъ обратили въ нелѣпую и ненужную пантомиму. Люди, создавшіе свободныя учрежденія, не предвидѣли духа, въ которомъ ихъ созданье будетъ осуществляться поколѣніемъ, больше ничѣмъ, кромѣ денегъ, не интересующимся или соскучившимся по новому, непривычному и неизмѣримо сквернѣйшему. Говорятъ, что это новое «несвойственно французскому характеру». Если, по стеченію трагическихъ обстоятельствъ, среди безоружнаго народа окажется вооруженной многочисленная шайка разбойниковъ, то она съ нашимъ національнымъ характеромъ считаться не будетъ или его передѣляетъ»...

Ему вспомнились слова, которыя онъ цитировалъ на

обѣдѣ у Кангарова: «Non dum est finis. Haec autem initia»... И тутъ же онъ подумалъ, что за этотъ день перешелъ отъ большевистскихъ настроеній къ монархическимъ, а отъ монархическихъ къ еще какимъ-то демократическимъ особаго оттѣнка. «Въ самомъ дѣлѣ, надо бы лечиться»... Но онъ тотчасъ себя отвѣтилъ, что никакое леченіе не поможетъ. «Ярлыка своего я, вѣроятно, никогда не измѣню, а взгляды для внутренняго потребленія буду мѣнять часто, иногда, какъ сегодня, въ предѣлахъ нѣсколькихъ часовъ»... Внезапно онъ встрѣтился взглядомъ съ графиней де Белланкомбръ, которая восторженно ему улыбулась и свела руки, какъ бы аплодируя. Было впрочемъ не совсѣмъ ясно, къ кому относятся ея восторги: къ его ли показанію или къ рѣчи защитника? Графиня протелеграфировала, что взволнована до послѣдней крайности и что имъ надо возможно скорѣе объединиться. Вермандуа закивалъ головой въ знакъ того, что понялъ: «Непремѣнно, непремѣнно. Онъ кончается»... Голосъ Серизье снова повысился. Въ обдуманыхъ переходахъ отъ строго-логическаго анализа къ высокому подъему была особенность его таланта. Всѣ почувствовали, что рѣчь его подходитъ къ концу.

«...L'heure est venue pour vous, Messieurs les Jurés, de tendre une main secourable à un pauvre dément. Si vous trouvez que l'action qui vous est dénoncée est due à un cœur endurci et sanguinaire... si vous trouvez que cet enfant de vingt ans n'a pas été assez malheureux, alors condamnez-le sans pitié... Mais une erreur de jugement est vite commise, Messieurs, et les morts ne reviennent pas. Le couperet de la guillotine tombe dans un sens unique, l'échafaud est, hélas, irréparable. Je vous abandonne une âme malade et tourmentée, je vous livre Gonzalo Alvera, triste victime d'une triste fatalité! Serez-vous inflexibles? Ah, puissé-je vous épargner un repentir! Au milieu des incertitudes morales, mettez la main sur votre conscience et prononcez. J'ai rempli mon devoir...

Messieurs les Jurés, allez remplir le vôtre... Nous attendons de vous la vie ou la mort... Allez!»

Послѣднія слова его были произнесены задыхающимся шопотомъ, чѣмъ и оправдывалась ихъ форма. Серизье тяжело опустился на скамью, измученный и счастливый. Въ залѣ естественно не апплодировали, но по выраженію лицъ, по шедшимъ къ нему токамъ восторга, да и по собственному ощущенію, онъ понималъ, что говорилъ превосходно, что произвелъ сильное впечатлѣніе, что сдѣлалъ все для спасенія несчастнаго преступника. Мадмуазелль Мортье только протянула къ нему руки, — слова были излишни. Вытирая лобъ платкомъ, онъ повернулся къ Альвера и сказалъ ему нѣсколько ободрительныхъ словъ, — тотъ попрежнему молча смотрѣлъ на него мутнымъ изглаголомъ.

Прокуроръ, вполнѣ увѣренный въ результатахъ процесса, ограничился лишь весьма краткимъ возраженіемъ: заявилъ протестъ противъ странныхъ намековъ по адресу слѣдственныхъ властей и отвѣтилъ на доводы защитника объ отсутствіи заранѣе обдуманнаго намѣренія. Серизье тоже сказалъ всего нѣсколько словъ, зная, что добавить къ рѣчи больше нечего. И хотя прокуроръ говорилъ объ «insinuations qui ne sauraient atteindre la justice française», а защитникъ воскликнулъ: «Pourquoi cette affirmation inexacte, indigne de vous et de nous, Monsieur l'avocat général?» — тонъ обоихъ противниковъ былъ весьма любезный, и каждый изъ нихъ съ величайшей похвалой отзывался о талантѣ другого.

Вермандуа смотрѣлъ на присяжныхъ. «Торквемада упрямо молчитъ. Его не прошибло»... Онъ на цыпочкахъ вышелъ въ тускло освѣщенную двумя лампочками галлерею и наткнулся на графиню де Белланкомбръ, которая умоляла пристава пропустить ее къ защитнику. Графиня была въ необычайномъ возбужденіи. Увидѣвъ Вермандуа, она метнулась къ нему и схватила его за руки. — «Ахъ, это было изумительно! Я въ жизни не слышала такой рѣ-

чи! Я просто потрясена! А вы?» — «Я тоже, дорогая». — «Нѣтъ, вы не такъ говорите! Онъ превзошелъ самъ себя. И не я одна это думаю: около меня дико восторгались люди, которые навѣрное не любятъ социалистовъ». — «Да, я съ вами согласенъ. Очень хорошая рѣчь». — «Очень хорошая рѣчь! Не очень хорошая, а изумительная!» — воскликнула графиня и, очевидно, по своему объяснивъ себѣ умѣренность похвалы, добавила: — «Ваше показаніе было тоже необыкновенное! Какъ жаль, что вы говорили только четыре минуты: я смотрѣла на часы. Вы были совѣстью суда, и я совершенно увѣрена, что ваше показаніе и эта рѣчь спасутъ ему голову, я увѣрена совершенно!» — «Не надѣйтесь, дорогой другъ, нѣтъ ни одного шанса изъ тысячи». — «Вы ошибаетесь! Я увѣрена, что вы ошибаетесь!.. Вы, кажется, большей части дебатовъ и не слышали?» — «Да, я сначала былъ запертъ въ комнатѣ свидѣтелей, а затѣмъ отправился на свѣжій воздухъ отдышаться. Жажду узнать, что происходило въ моемъ отсутствіи. Это какъ въ кинематографѣ, когда быстро и безсвязно показываютъ наиболѣе завлекательныя сцены изъ фильма, который пойдетъ только на будущей недѣлѣ... А гдѣ графъ?» — «Онъ уѣхалъ. Обѣщаль прислать за мной автомобиль, но боюсь, что я не дождусь, тогда, надѣюсь, вы меня довезете?» («Верхъ удачи», — подумалъ Вермандуа, — «и болтать съ ней часъ, и еще платить за автомобиль»). — «Я буду счастливъ»... Она вдругъ бросилась къ двери. Тамъ показался Серизье. «Сейчасъ бѣжать? Нѣтъ, нельзя: рѣшительно не на что сослаться». Онъ подошелъ къ адвокату и тоже наговорилъ ему комплиментовъ.

— ...Это одна изъ лучшихъ рѣчей, которыя я когда-либо въ жизни слышалъ.

— Полноте, вы меня конфузите.

— Думаете ли вы, что есть надежда?

— Ни малѣйшей.

— Не можетъ быть! Я не вѣрю! — сказала графиня.

— Вотъ вы увидите, что они признають смягчающія обстоятельства! Я непременно хочу быть при объявленіи вердикта. Когда, по-вашему, онъ будетъ вынесенъ?

— Помилуйте, какъ же я могу это знать?

— Но есть ли у насъ часъ времени?

— Думаю, что есть. Во всякомъ случаѣ, присяжнымъ заказанъ обѣдъ.

— Если такъ, то нельзя ли намъ втроемъ пообѣдать въ ресторанѣ?

— Это, къ сожалѣнію, невозможно. Я не могу покинуть зданіе суда. Мало ли что можетъ быть.

— Тогда съ вами вдвоемъ, дорогой другъ?

— Я очень радъ, — отвѣтилъ Вермандуа безъ восторга: плати и за обѣдъ, и за автомобиль. «Но зато пріема она у меня тогда не дождется!»

— Хотите сейчасъ? Вѣдь мы завтракали очень рано... Постойте, — сказала она, обращаясь къ адвокату. — А этотъ несчастный? Онъ получить обѣдъ?

— Да, конечно.

— Нельзя ли что-нибудь для него сдѣлать. Ну, бутылку вина, сладкое, что-нибудь. Умоляю васъ... — Она поспѣшно вынула изъ сумки сто франковъ. — Вы все можете, вы здѣсь царите, я видѣла. Нельзя ли передать эти деньги ему?

— Ему нельзя, но тюремному начальству для него можно, у нихъ тамъ есть кантина и я знаю, что кто-то посылалъ ему туда деньги, — сказалъ Серизье, давая понять, что кто-то это Вермандуа. — Кое-что сдѣлать для него и я... Я передамъ деньги.

— Отлично, благодарю васъ! Но если можно, чтобы ему и сегодня, сейчасъ дали чего-нибудь, вина или коньяку, а? Благодарю васъ, дорогой другъ! («Онъ уже тоже дорогой другъ. Какое быстрое повышение въ чинѣ»). Пойдемъ, пойдемъ... Но предупреждаю васъ, наскоро, я почти ничего ѣсть не буду. Поэтому не надо въ Триаконъ, пойдемъ куда-нибудь ближе. Если вы мнѣ дадите немного

холоднаго мяса съ салатомъ и бокаль шампанскаго, я буду вамъ благодарна навѣкъ... У меня расходились нервы!.. Вотъ и это освѣщеніе»... «Что холодное мясо, это хорошо. Но еще шампанскимъ ее поить!» — подумаль Вермандуа впрочемъ благодушно: ему самому хотѣлось поѣсть и выпить. — Вы знаете, я въ судѣ, кажется, сто лѣтъ не бывала, и все себя представляла по «Воскресенію» Толстого. Вы помните?

— Кто же этого не помнить?

— Однако, это карриатура, неправда ли, дорогой другъ?

— Я не нахожу, но, какъ вы знаете, я чуждъ христіанскимъ настроеніямъ. Кромѣ того, Толстой пошелъ по линіи наименьшаго сопротивленія, положивъ въ основу своего романа случай судебной ошибки. Вѣдь судебная ошибка все же не общее правило вашихъ учреждений. И, наконецъ, меня всегда угнетали гуманныя клише, даже толстовскія, — сказалъ Вермандуа и пожалѣлъ о сказанномъ: въ гуманныхъ клише, кромѣ Толстого, могъ быть сегодня признанъ виновнымъ и Серизье, да и онъ самъ.

— Я догадываюсь, что вы относитесь къ суду вообще иронически. Совершенно напрасно, — возразилъ адвокатъ, прикрывая улыбкой легкое раздраженіе: ему не понравился тонъ Вермандуа. — Извините меня, иронизировать очень легко, и смѣшныя стороны можно найти въ чемъ угодно. Гуманныя клише вамъ не нравятся, но кары тоже вамъ не нравятся. Чего же вы хотите? Думаю, что въ гуманности надо знать мѣру. Господа скептики, а равно и крайніе гуманисты, отрицающіе право судить и карать, пока ничего лучшаго вмѣсто «нашихъ учреждений», вмѣсто суда присяжныхъ и уголовного кодекса, не изобрѣди. И пока они ничего лучшаго не изобрѣтутъ, мы вправѣ не очень считаться съ ихъ насмѣшливо-враждебнымъ отношеніемъ къ суду и къ адвокатурѣ. Я принципиальный противникъ смертной казни, но я не нахожу, что убійць надо отпускать на свободу или помѣщать въ

больницы, если, разумеется, они въ самомъ дѣлѣ не душевно-больные.

— Ахъ, не говорите этого, ради Бога! — сказала графиня. — Вотъ мы сейчасъ пойдемъ въ ресторанъ, будемъ пить шампанское, а этого несчастнаго отведутъ въ камеру, гдѣ онъ будетъ мѣсяць или два ждать казни?.. Нѣтъ, нѣтъ, я этому не вѣрю! Я просто не могу, не могу этому повѣрить послѣ вашей рѣчи, послѣ вашего показанія! — Полузакрывъ глаза, она поднесла къ вискамъ ладони. Вдругъ у нея на глазахъ выступили слезы. Она еще хотѣла что-то сказать и заплакала. Вермандуа смотрѣлъ на нее съ удивленіемъ. «Да, она очень добра, и въ сущности я совершенно напрасно надъ ней потѣшаюсь»... — «Извините меня, я дура», — съ трудомъ выговорила графиня, — «но я все воспринимаю музыкально, и это тоже, и здѣсь очень страшное, правда? Я увѣрена, вы понимаете?.. Вотъ эти тусклыя лампы... Должно быть, и у Альвера въ камерѣ такой странный свѣтъ»...

Серизье смущенно отошелъ, тоже очень удивленный. Онъ ничего музыкально не воспринималъ, однако и ему стало страшно. Удовлетвореніе отъ блестящей рѣчи у него сразу исчезло. Онъ подумалъ о томъ, что теперь могъ переживать Альвера. «Надо подойти къ нему и сказать что-нибудь, слова ободренія... Но какія слова? Языкъ не повернется. Да, хуже всего эти часы ожиданія приговора»... Нелегко было вообще говорить съ человѣкомъ, котораго онъ только что публично называлъ на всѣ лады нолундистомъ и полоумнымъ («правда, я его предупредилъ, что это говорится для присяжныхъ»); но еще тягостнѣе было то, что слова ободренія могли звучать лишь крайне фальшиво: ни малѣйшей надежды на спасеніе головы преступника у него не было. Серизье не сомнѣвался, что Альвера притворяется сумасшедшимъ. «Еще вчера онъ бесѣдовалъ со мной довольно разумно»... Мысль о томъ, что въ человѣкѣ можетъ въ одинъ день произой-

ти важная перемена, была чужда адвокату. Онъ изобразилъ на лицѣ бодрую улыбку и быстро прошелъ къ подсудимому.

XIII.

«И жизнь его потекла живо, какъ течетъ жизнь многихъ парижанъ и толпы многихъ иностранцевъ, наѣзжающихъ въ Парижъ. Въ девять часовъ утра, схватившись съ постели, онъ уже былъ въ великолѣпномъ кафе съ модными фресками за стекломъ, съ потолкомъ облитымъ золотомъ, съ листами длинныхъ журналовъ и газетъ, съ благороднымъ приспѣшникомъ, проходившимъ мимо посѣтителей, держа великолѣпный серебряный кофейникъ въ рукѣ. Тамъ пилъ онъ съ сибаритскимъ наслажденіемъ свой жирный кофей изъ громадной чашки, нѣжась на эластическомъ упругомъ диванѣ»...

Вислиценусъ засмѣялся и положилъ корешкомъ вверхъ раскрытый толстый томъ Гоголя. «Я и не зналъ, что парижскія кофейни такъ ослѣпительны. Точно такъ же описывалъ онъ красоты Днѣпра и римское небо... Вотъ и я отдаюсь «сибаритскому наслажденію». Этотъ номеръ гостиницы, конечно, не такъ великолѣпенъ, тутъ нѣтъ модныхъ фресокъ за стекломъ и благороднаго приспѣшника- гарсона, но я тоже нѣжусь на эластическомъ упругомъ диванѣ и, если сегодня освобожусь рано, то пойду вечеромъ въ облитый золотомъ кинематографъ. Сибаритство вправду существуетъ на всѣ возрасты и на всѣ карманы»...

Онъ былъ настроенъ прекрасно. Чувствовалъ себя значительно лучше, вѣроятно оттого, что бросилъ курить. Сначала рѣшилъ было бросить сразу, разъ навсегда, потомъ разрѣшилъ себѣ постепенность: пять папиросъ въ день, три, двѣ. Теперь Вислиценусъ выкуривалъ за день одну папиросу, — позволялъ себѣ ее днемъ въ шестомъ

часу, и съ утра ждалъ этой минуты. Сердечныхъ припадковъ не было уже довольно давно. «Да, это и есть счастье», — думалъ онъ, вспоминая ужасную, нестерпимо-нарастающую боль съ «*sensation de mort imminente*». — «Счастье просто и элементарно: отсутствие болѣзни, отсутствие нищеты, — синонимъ практической свободы, той свободы, которая, какъ бы ни лгали люди, для нихъ неизмѣримо цѣннѣе, чѣмъ право участія въ выборной комедіи или право чтенія дрянныхъ книгъ и газетъ».

Хоть ему было нѣсколько стыдно, онъ не могъ не сознавать, что его душевному спокойствію способствовало и прекращеніе слѣжки. На улицахъ онъ больше не замѣчалъ плюгаваго челоуѣка неизвѣстной національности. Слѣжка вызывала у него не страхъ, а душевную тревогу, особенно непріятную потому, что вопросъ «Гестапо или ГПУ?» такъ рѣшенъ и не былъ. «Во всякомъ случаѣ, они поступили правильно, уничтоживъ этотъ ненужный расходъ: матерой звѣрь одряхлѣлъ, больше не страшенъ и ничего злодѣйскаго не предпринимаетъ. Матерой звѣрь теперь и свое освобожденіе видитъ въ томъ, что сбросилъ съ себя шкуру звѣря»...

«Да, освобожденіе», — думалъ Вислиценусъ, — «вѣдь еще мѣсяцъ тому назадъ я размышлялъ о самоубійствѣ. Люди, боящіеся смерти, говорятъ, что самоубійство — выходъ малодушный. Это вздоръ, конечно. Я зналъ немало людей покончившихъ съ собой, и среди нихъ ни одного труса не было, тогда какъ тѣ, что обвиняли ихъ въ малодушіи, дѣйствительно не всегда принадлежали къ храбрецамъ. Никакихъ теоретическихъ возраженій противъ самоубійства у меня нѣтъ и теперь: въ жизни могутъ быть и часто бываютъ положенія, когда въ самомъ дѣлѣ ничего другого не остается. Именно смерть не постыдная, даже, быть можетъ единственная не постыдная? Но я-то, я теперь зачѣмъ сталъ бы кончать съ собой? Отъ страха смерти? Вѣдь это просто глупо: грудная жаба не ракъ, особыми мученьями не грозитъ,

умрешь въ одну минуту. Или изъ-за п а т а? Да вотъ же нашель какой-то выходъ. Позорный? Нѣтъ, ничего позорнаго въ немъ нѣтъ. Я ни отъ чего не отказываюсь. Я даже не считаю свою жизнь ошибкой. Не было ошибки пока я искренно, или почти искренно, вслѣдъ за какими-то, тоже почти искренними, народолюбцами, хотѣлъ расплыться въ народной массѣ, сохранивъ факелъ или свѣточъ или еще что-то въ этомъ родѣ. Все остальное лишь логически, на основаніи разныхъ Энгельсовъ и Бельтовыхъ, умственной второстепенности которыхъ я тогда не замѣчалъ, вытекало изъ факела. Можетъ быть, и желаніе расплыться было не такъ у насъ сильно? Да, конечно, Ильичъ былъ великій политическій шахматистъ и любилъ людей, даже своихъ, не больше, чѣмъ Ласкеръ любить пѣшки своей партіи. Силу его, помимо геніальности, именно составляла ненависть ко всему и х н е м у, — то, что было и у меня и что, къ сожалѣнію, стало исчезать или, вѣрнѣе, распространилось также на насъ. Однако, лживости у насъ у всѣхъ, у пѣшекъ, тогда не было. Лживой насквозь была только пора послѣ смерти Ильича, когда личный, годами накопившійся, капиталъ порядочности, вѣры, убѣжденій уже былъ почти цѣликомъ растраченъ послѣ первыхъ кровавыхъ лѣтъ, а мы еще продолжали твердить о факелѣ, о свѣтломъ будущемъ, о революціонномъ подъемѣ, о міровомъ пожарѣ и т. п. Троцкій продолжаетъ вѣрить въ это и по сей день или, ради біографа, дѣлаетъ видъ будто вѣрить. На самомъ дѣлѣ, всѣмъ намъ понемногу стало ясно, что, хотя врагъ побѣжденъ, а выходитъ кабакъ» (онъ употребилъ мысленно болѣе крѣпкое слово). «Привычка къ брошюрному міровоззрѣнію осталась — такъ вышедшій въ люди мѣщанинъ продолжаетъ пить чай въ прикуску. Остался условный и смѣшной жаргонъ, вродѣ sportivaго: одинъ теннисистъ побилъ другого теннисиста, и могучая рыжая кобыла отомстила за свое пораженіе на прошлогоднихъ скачкахъ, — этого не надо понимать

дословно... Буржуазную мораль мы отвергли — и, разумеется, отлично сдѣлали, — но такъ называемая революціонная вывѣтрилась очень быстро. На самомъ дѣлѣ, и тогда въ краткіе годы празднованія побѣды, все уже было какъ сейчасъ. Съ той, правда, важной для насъ, разницей, что при евреяхъ, при Троцкомъ, Каменевѣ, Зиновьевѣ, какъ прежде при Ильичѣ, террора противъ своихъ не было, — просто евреи не догадались, — а грузинъ первый догадался, что отлично можно и противъ своихъ: какъ это скажется въ расчетѣ на десятилѣтія, неизвѣстно, а сейчасъ, въ расчетѣ на годы или мѣсяцы, — даже очень выгодно... Я тогда совсѣмъ собрался въ Китай поднимать желтую расу, такъ удачно поднявъ бѣлую»...

Онъ лѣниво взялъ было книгу: ужъ очень ему надоѣли эти мысли, тонъ которыхъ больше не отвѣчалъ его планамъ. «Нѣтъ, что-то все-же недодумано... Нѣтъ, нѣтъ, я не «кающійся большевикъ», да и въ «кающагося дворянина» больше не вѣрю. И то была такая же — ну, пусть чуть лучшая — олеографія, олеографическая выдумка народолюбцевъ, прикрывавшая борьбу за власть (какъ у декабристовъ), или честолюбіе, или просто спортивные инстинкты и моду; тогда привилегированную молодежь тянуло на революцію, какъ еще раньше на службу въ гвардіи, а теперь на теннисъ и на велосипедные рекорды. Дальше что? Если даже по такимъ побужденіямъ взялись въ молодости за факелы и мы, то это рѣшительно ничего не мѣняетъ въ цѣнности дѣла. Нѣтъ, я отказываюсь лишь отъ немногаго, преимущественно отъ олеографіи. Но въ мои годы каждый человѣкъ имѣетъ право на отставку съ мундиромъ и пенсіей, я не виноватъ, что, по случайности, одновременно съ выслугой лѣтъ замѣтилъ простую элементарную жизнь, простое элементарное «счастье», которое проглядѣлъ за Бельтовыми и Энгельсами. Революціонный мундиръ я навсегда снимаю, а пенсія моя очень скромная: хлѣбъ, уха, дешевенькое вино, да солнце на остающіеся годъ или два жизни. И очень можетъ быть, что

ничего новаго тутъ нѣтъ, и что въ этомъ своемъ освобожденіи я перекликаюсь (по нынѣ принятому, хоть идиотскому, выраженію) съ многими другими революціонерами, жившими и умершими давнымъ давно. Счастье? Что такое счастье? Вполнѣ возможно, что молодые арійскіе жеребята въ расистской конюшнѣ вполнѣ счастливы. Конюшенная философія отлично можетъ давать счастье, но я ея не хочу, и никакой теперь не хочу, и пусть гады истребляютъ гадовъ, а я и передъ не-гадами расшаркиваться передъ смертью не стану»...

Онъ подумалъ, что и къ Надѣ идти незачѣмъ. «У нея въ глазахъ скользяла боль, та боль, которая какъ будто что-то «искупаетъ». Можетъ быть, боль оттого, что она любовница Кангарова? Или просто оттого, что ей очень, очень хочется выйти замужъ. Со мной она тогда чувствовала себя неловко, и выраженіе у нея было такое, какое можетъ быть у человѣка, выходящаго изъ уборной и натыкающагося на знакомую даму... Я больше не люблю ее, иначе мнѣ не хотѣлось бы думать о ней цинично. Да вѣрно я и прежде ее не любилъ, и никого вообще въ жизни не любилъ по настоящему. Развѣ въ ссылкѣ Марью Васильевну? Но это было отъ скуки, и физиологія прикрывалась олеографически «единомысліемъ», такъ что я и самъ не могу сказать, въ кого я собственно былъ влюбленъ, въ женщину или въ большевичку, и былъ ли вообще влюбленъ или «искалъ вѣрнаго товарища по работѣ»: мы тогда ухитрялись и самихъ себя обманывать съ большимъ искусствомъ. Я долго себя увѣрялъ, что у борца для личной жизни нѣтъ времени: борцы — монахи революціи. Возможно, что я проворонилъ жизнь или лучшее въ жизни. А когда влюбился (взять въ кавычки?), — вышло еще глупѣе, да вдобавокъ и гадко. Даже поэтамъ, — а ужъ на что ловкіе и опытные глупы! — не удалось сдѣлать поэтической старческую любовь. Для стариковъ это, разумѣется, драма, но на свѣтѣ есть много довольно противныхъ драмъ. Люди же моло-

дые, — а тутъ хозяева они — всегда надъ этимъ смѣялись и, несмотря на болѣе или менѣе талантливое творчество престарѣлыхъ поэтовъ, влюбленный старикъ въ литературѣ — почти такая же комическая фигура, какъ развратный старичекъ (или старикашка), да въ сущности и большой разницы нѣтъ. Знай сверчокъ свой скверный одинокій шестокъ. Что дѣлать? Есть философія, есть карты, есть политика, рыбная ловля, мысли о безсмертіи души, собираніе почтовыхъ марокъ... Мало ли что можно дѣлать, да гдѣ же сказано, что человѣкъ всегда можетъ найти вполне удобный для себя выходъ?» — опять подумалъ онъ. — «Надя, конечно, надо мной смѣялась, и она была права, и незачѣмъ обманывать себя мыслью, что, если-бы Надя жила со мной, а не съ Кангаровымъ, то это было бы неизмѣримо лучше, чище и благороднѣе. Да, разумеется, деревня, глушь, больше ничего не остается. И газетъ читать не буду, или ужъ развѣ мѣстную французскую. А выйдутъ деньги, — тогда увидимъ. Въдь и грудная жаба обо мнѣ все же вспомнить рано или поздно, вѣрнѣе рано. Во всякомъ случаѣ не будетъ того чувства, которое было до сихъ поръ: чувства человѣка въ лифтѣ, застрявшемъ между двумя этажами»...

Послѣ окончательнаго расчета по должности, у него осталось восемь тысячъ франковъ собственныхъ, — гораздо больше, чѣмъ онъ думалъ. Сдавъ деньги, онъ отнесъ свой остатокъ въ банкъ, — ему съ непривычки было смѣшно, что у него теперь собственный «текущій счетъ»: отрицателямъ и врагамъ буржуазной цивилизаціи постоянно приходится пользоваться ея благами. По дорогѣ изъ банка домой онъ остановился на набережной. Убогіе парижскіе рыбловы сидѣли надъ водой съ удочками, — этотъ видъ всегда его смѣшилъ: рыбная ловля на Сенѣ! Вспомнилъ съ обычнымъ умиленіемъ Енисей — и вдругъ мысли объ освобожденіи, давно у

него носившіяся, опредѣлились по новому. «Да, вѣдь это еще остается!» — подумалъ Вислиценусъ съ внезапно нахлынувшей радостью. «Зачѣмъ же тогда сидѣть въ Парижѣ, гдѣ восемь тысячъ уйдутъ въ полгода? Лучше уѣхать въ глушь, тамъ жизнь втрое дешевле и въ сто разъ спокойнѣе. Человѣкъ созданъ для солнца и для деревни»... Почему-то ему вспомнился Каstellанъ, крошечный городокъ въ Провансѣ, въ которомъ онъ былъ когда-то проездомъ, еще до войны. Въ воспоминаніи осталась прелестная старинная площадь, залитая, до глазной боли, бѣлымъ южнымъ свѣтомъ. Больше не помнилъ рѣшительно ничего. «Можетъ быть, тамъ и рѣки нѣтъ, или въ ней нѣтъ ни единой рыбы? Во всякомъ случаѣ, и рѣка, и рыба найдутся гдѣ-нибудь по близости, въ какой-либо деревушкѣ, столь же милой, столь же солнечной, столь же уютной. Поѣзжу, поищу, тамъ и поселюсь на остатокъ своихъ дней. Жить гдѣ тебя никто не знаетъ, вставать съ зарей, ложиться съ заходомъ солнца. Что-жъ, цѣлый день заниматься рыбной ловлей, какъ порою на Енисеѣ? Тогда была Марья Васильевна и на полкахъ всевозможные Энгельсы, — теперь ужъ безъ Энгельсовъ. Правда, и Енисея въ Провансѣ нѣтъ, но вѣдь дѣло не въ уловѣ. Въ той идиллической ссылкѣ была еще охота. Съ грудной жабой охотиться нельзя, да и дорого, а рыбная ловля почти ничего не стоитъ и не такъ утомляетъ, напротивъ. Если же станетъ скучно, то буду писать воспоминанія», — подумалъ онъ съ усмѣшкой, — «американскій издатель вѣдь теперь, для отставныхъ политическихъ дѣятелей, разновидность американскаго дялюшки. Денегъ хватить больше, чѣмъ на годъ. Въ деревушкѣ вѣрно можно жить и на пятьсотъ франковъ въ мѣсяць. Какіе расходы? Сниму избу, онъ теперь во Франціи отдаются чуть не даромъ. Мяса все равно лучше ѣсть поменьше, — будетъ своя рыба, а къ ней картошка, хлѣбъ, дешевенькое мѣстное вино, которое у нихъ иногда бываетъ лучше дорогихъ, прославленныхъ. Еще расходы на газету, на бума-

гу, на рыболовную снасть, на спиртовую лампу. Развѣ мнѣ впервой жить на гроши? Да я всю жизнь до революціи жилъ рублей на двадцать пять въ мѣсяць... Какъ же я не подумалъ объ этомъ раньше? Но раньше я не зналъ, что у меня останется восемь тысячъ. Жить въ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ ни одного русскаго, ни ГПУ, ни Гестапо, ни Нади, ни Кангарова. Годъ проживу спокойно, а тамъ будетъ видно. Скорѣе всего умру, и меня похоронять на казенный счетъ по распоряженію мэра. И вотъ какъ закончить свою довольно бурную жизнь человѣкъ, называвшійся Нееемъ, Чацкимъ, Ураловымъ, Кирджали, Дакочи, Вислиценусомъ и чертъ знаетъ какъ еще... Полагалось бы, разумѣется, «умереть на рукахъ» у кого-нибудь (тоже идиотское выраженіе: никто никогда ни на чьихъ рукахъ и ни въ чьихъ «объятіяхъ» не умиралъ), но можно отлично умереть безъ «рукъ», безъ «урны», безъ рѣчей, безъ вранья, безъ «Памяти стараго борца»... — Онъ былъ счастливъ какъ давно не былъ.

На слѣдующій день Вислиценусъ обошелъ нѣсколько магазиновъ, торговавшихъ рыболовными принадлежностями; долго присматривался къ витринамъ, затѣмъ входилъ, справлялся о цѣнахъ, бралъ прейсъ-куранты, гдѣ были. Онъ купилъ все, что требовалось, истратилъ около трехсотъ франковъ и какъ зачарованный не могъ любоваться купленнымъ. «Въ сущности, я не могу и самъ сказать, гдѣ причина и гдѣ слѣдствіе: уйду ли я въ символическій Каstellанъ отъ политическаго пата, или патъ образовался оттого, что я почувствовалъ потребность уйти? Вѣрнѣе, тутъ нѣтъ ни причины, ни слѣдствія: это случилось одновременно. Но служить больше я не могу. Всѣ преступленія, всѣ гнусности, всю пролитую кровь можно было терпѣть, пока была вѣра, что мы строимъ новую жизнь; а когда оказалось, что все, къ общей искренней или злобной радости, ведетъ благополучно въ кабакъ, то и дѣлать мнѣ съ ними больше нечего. Уйти къ другимъ? Печатать въ капиталистическихъ из-

даняхъ разоблаченія о нашихъ дѣлахъ и людяхъ? Нѣтъ, слуга покорный!» — думалъ онъ съ отвращеніемъ.

Съ рыбной ловлей былъ отчасти связанъ и Гоголь. Вислищеву съ вспомнилъ, что въ «Мертвыхъ Душахъ» очень соблазнительно описана рыбная ловля у Пѣтуха. Онъ разыскалъ это мѣсто, прочелъ и рѣшилъ перечитать все. «Вѣдь собственно самыя лучшія книги — тѣ, что впервые читаешь между пятнадцатую и восемнадцатую годами. Въ Кастелланъ захвачу съ собой нѣсколько такихъ книгъ»... Вначалѣ впрочемъ многое его раздражило: и увѣренно-неправильный языкъ («нѣтъ тутъ у писателей никакого божественнаго права»), и то, что Гоголь великосвѣтскія сплетни называлъ «камеражами», очевидно производя слово отъ «камеры»? и то, что онъ — какъ то съ вызовомъ или для увеселенія читателей? — говорилъ «свекруха» вмѣсто «свекрови», «скандальозъ» вмѣсто «скандала»; что въ домѣ Костанжогло (веобычайно противный — тоже съ вызовомъ противный — субъектъ) не было «фресковъ»; что бабы называютъ помѣщика «Серебро ты сердечное»; что Улинька была «блистающаго» роста, что она «въ двухъ-трехъ мѣстахъ схватила неизрѣзанный кусокъ ткани, и онъ прильнулъ и расположился вокругъ нея въ такихъ складкахъ, что ваятель перенесъ бы ихъ тотчасъ на мраморъ»... Раздражила его и болтливость, — «отчего же не употребить этого слова?» «Какому счастливцу принадлежалъ этотъ закоулочекъ? А помѣщику Тремалаханскаго уѣзда Андрею Ивановичу Тѣтѣтникову, молодому тридцатичетырехлѣтнему господину, коллежскому секретарю, неженатому, холостому человѣку. Что же за человѣкъ такой, какого нрава, какихъ свойствъ и какого характера былъ помѣщикъ Андрей Ивановичъ Тѣтѣтниковъ? Разумѣется, слѣдуетъ спросить у сосѣдей»... «Тутъ все лишнее, что ни слово. Если господинъ тридцатичетырехлѣтній, то не зачѣмъ разъяснять, что молодой, а если холостой, то

естественно неженатый, и уѣздъ названъ Тремалаханскимъ изъ остроумія, чтобы посмѣшить, и все это въ общемъ недалеко ушло отъ «шпрехенъ-зи дейтчей» и «можете себѣ вообразить, судырь ты мой» его же почтмейстеровъ. Капитанъ Копѣйкинъ — пародія на самого автора, и рассказывалъ капитанъ не менѣе интересно, чѣмъ самъ онъ писалъ... Вислиценусъ продолжалъ читать съ насмѣшкой (теперь вездѣ и во всемъ видѣль ложь). «Очень талантливый, гениальный былъ обманщикъ, но обманщикъ. Никакихъ идеаловъ у него не было, все это вранье, его «идеалы» — такая же фальшивка, какъ благородные приспѣшники парижской кофейни. Съ истиннымъ удовольствіемъ онъ описывалъ только Ноздревыхъ и Коробочекъ (ихъ-то описалъ безподобно). А что скромно обѣщаль подать читателямъ «мужа, одареннаго божескими доблестями» (неужто «божескими?»), и «чудную русскую дѣвицу, какой не сыскать въ мірѣ», мужа и дѣвицу, передъ которыми «мертвыми покажутся всѣ добродѣтельные люди другихъ племенъ» (ужь будто всѣ?), то отъ этихъ олеографій онъ первый померъ бы со скуки, это былъ обманъ, самое обыкновенное національное бахвальство, какъ у разныхъ Загоскиныхъ, вдобавокъ неискреннее: старался подмаслить цензуру, какъ Коробочка засѣдателя, да и Загоскиныхъ боялся, — подхалимажъ той эпохи. Думалъ, что положилъ конецъ «Юріямъ Милославскимъ», а его собственныя олеографическія Муразовы ничѣмъ не лучше «Юріевъ Милославскихъ», даже хуже, потому что съ претензіями, съ философіей и съ вызовомъ: «откупщикъ? презираете? а онъ въ сто разъ лучше васъ всѣхъ?..»

Прочитавъ до конца книгу, Вислиценусъ, снова ее перелистывая, думалъ о ней и, какъ ни странно, по поводу нея — о себѣ, о своей жизни, о своемъ дѣлѣ, о большевикахъ. «Какіе-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступаетъ такое время, что мужики должны быть помѣшники и нарядиться во фраки, а помѣшники нарядить-

ся въ армяки и будутъ мужики... Нужно было прибѣгнуть къ насильственнымъ мѣрамъ. Князь былъ въ самомъ разстроенномъ состояніи духа»... — «Это ему казалось смѣшнымъ предѣломъ глупаго и невозможнаго. А вотъ мы, если мужиковъ во фраки не нарядили, то ужъ помѣщиковъ въ армяки навѣрное. И его добродѣтельный князь съ «насильственными мѣрами» (фигура умолчанія) — тотъ же высокопоставленный стахановецъ изъ нашихъ художественныхъ шедевровъ, такой же выдуманный, такой же глупый, и такой же скверный. «Само собой разумѣется, что пострадаетъ и множество невинныхъ. Что-жъ дѣлать? Дѣло слишкомъ безчестное и вопіеть о правосудіи»... Вотъ въ чемъ добродѣтельный князь и его создатель видѣли правосудіе! Не далеко же ушли отъ насъ. У нашихъ нынѣшнихъ гоголятъ невинные, правда, никогда не страдаютъ»...

Ему самому стало совѣстно. «Какое же тутъ сравненіе? Вѣдь это одна изъ самыхъ прелестныхъ, изумительныхъ книгъ, существующихъ въ мірѣ! «Мертвыя Души» можно читать десять и пятьдесятъ разъ, я впервые прочелъ въ корпусѣ, читалъ въ эмиграціи, читалъ въ тюрьмѣ, читалъ въ ссылкѣ, читаю теперь тутъ, и всегда съ наслажденіемъ, и, разумѣется, не отъ того, что въ ней разоблачаются взяточники и мошенники. Онъ хотѣлъ заклеить мить и неожиданно «возвелъ въ перлъ созданія», — выраженіе гадкое, однако это такъ: возвелъ. Мнѣ все равно, брали взятки или нѣтъ его чиновники, — хоть каждый изъ нихъ вышелъ симпатичнѣе Костанжогло, — но жизнь ихъ была милая, обильная, счастливая и даже поэтическая, и мнѣ при чтеніи этой книги всегда — задолго до освобожденія — хотѣлось жить во время Чичикова, путешествовать въ его бричкѣ, ѣсть въ его гостиницѣ поросенка съ хрѣномъ, запивать фруктовой блины у Коробочки, возить съ собой томъ «Герцогини Лавальеръ», ловить рыбу у Петра Петровича Пѣтуха и разговаривать съ нимъ (онъ премилый) или хотя бы съ Се-

лифаномъ, — ужь лучше, чѣмъ съ Кангаровымъ-Московскимъ»...

«Кучеръ ударилъ по лошадямъ, но не тутъ то было: ничего не пособилъ дядя Митяй. «Стой, стой!» кричали мужики: «садись-ка, ты, дядя Митяй, на пристяжную, а на коренную пусть сядетъ дядя Миняй»... — «Въ этомъ удивительномъ человѣкѣ, въ числѣ десятка другихъ персонажей, сидѣлъ и газетный фельетонистъ. Пушкинъ, Толстой не унизились бы до такого остроумія. Да онъ и самъ не зналъ, во имя чего издѣвается надъ мужиками. Чичиковъ торговалъ мертвыми душами, — а надо было торговать живыми. Съ точки зрѣнія дяди Митяя, пожалуй, было пріятнѣе, чтобы продавались мертвыя души, а не живыя, въ томъ числѣ его собственная. Дядя Митяй былъ въ правѣ не раздѣлять идейнаго возмущенія автора. Но мы кое-какъ сдѣлали мораль басни комической безсмыслицей: отъ красавца Костанжогло ничего не осталось, а дядя Митяй, слава Богу, здравствуетъ»...

Только теперь Вислиценусу стало ясно, почему онъ вдругъ впалъ въ нелѣпую мысленную полемику съ Гоголемъ. «Да, конечно, это былъ великій, гениальный писатель, и у него было божественное право, и онъ могъ пользоваться любыми выраженіями, — вотъ какъ Достоевскій писалъ «текущій моментъ», хоть этого выраженія теперь себѣ не позволяютъ и провинціальныя журналисты. Книга эта вышла о вѣчномъ, но совершенно не такъ, какъ того хотѣлъ авторъ. О вѣчномъ, или о долгомъ, и ужь во всякомъ случаѣ и о насъ: мы сторона въ этомъ дѣлѣ. Никуда не неслась Русь «какъ необгонимая тройка» и въ его время, — но у него это былъ стилистическій приѣмъ, а у насъ на этомъ строилось все! Въ Руси дяди Митяя мы, большевики, измѣнили немногимъ больше, чѣмъ добродѣтельный князь и благочестивый откупщикъ. Хотѣли натравить дядю Митяя на дядю Миняя, пользуясь тѣмъ, что у одного десятиной земли и двумя коровенками больше. Но вѣдь и это не удалось, хоть мы

очень старались и хоть натравливанье — самый легкий видь политической работы. Да, разумѣется, Чичиковъ сидитъ въ комиссіи Госплана, Маниловъ пишетъ статьи въ газетахъ, Кифа Мокіевичъ состоитъ въ союзѣ безбожниковъ, «насильственныя дѣйствія» стали болѣе жестокими, внуки князя роютъ каналы, — но дядя Митяй остался въ своей деревнѣ, да въ сущности почти и не измѣнился, хоть записался въ колхозъ. Мы кончимся, какъ кончились князь-стахановцы, а это море останется, и что съ нимъ будетъ, никому неизвѣстно. Вѣроятно, въ концѣ концовъ все выйдетъ какъ хочетъ дядя Митяй, — да будетъ его святая воля»...

Однако настроиться на весело-циничный ладъ ему не удалось. «Что же мы сдѣлали? Для чего опоганили жизнь и себя? Для чего отправили на тотъ свѣтъ милліоны людей? Для чего научили весь міръ никогда не виданному по беззащитности злу? Объявили, что все позволено, показали, что все позволено, а свелось дѣло къ перемѣщенію Чичикова и Кифы Мокіевича, только безъ органичности гоголевской жизни, безъ ея уюта и раздолья, — некуда больше скакать тройкѣ, — достаточно проскакала, — и вмѣсто социалистическаго мужа съ божескими доблестями выходитъ на сцену крѣпкій звѣренышъ, получившій воспитаніе въ пріютѣ для безпризорныхъ и высшее образованіе въ комсомолѣ»...

Вислиценусъ взглянулъ на часы: пора ѣхать къ Надѣ. «Посижу полчаса, поболтаемъ о лустякахъ, она скажетъ, что у меня прекрасный видъ, что грудная жаба — пустая болѣзнь, что я на пути къ полному выздоровленію, лишь бы строго соблюдать предписанія профессора Фуко. Кангаровъ, вѣроятно, не появится: благоразумнѣе не встрѣчаться съ опальнымъ бояриномъ. Ну, поѣду, если условлено. Ей это еще менѣе нужно, чѣмъ мнѣ, но и время наше не столь ужъ драгоцѣнно. Останусь у нея до шести, затѣмъ назадъ, пообѣдаю, и либо въ кинематографъ, либо

домой, доканчивать «Римъ». Жаль, скверная погода... Вспомнилъ съ досадой, что вечеромъ назначено свиданіе съ Зигфридомъ Майеромъ. «Чего еще этому нужно? Вѣдь сказалъ же ему, что ѣду сегодня за городъ, въ санаторію, что вернусь поздно, что послѣзавтра уѣзжаю. Нѣтъ, необходимо встрѣтиться! Какія-нибудь сплетни, любопытный человѣчекъ, все ему надо знать: куда, когда, зачѣмъ... Надо бы позвонить, что не приду»...

Онъ лѣниво (сразу облѣнился послѣ освобожденія) поднялся съ дивана и сталъ одѣваться: на диванѣ лежалъ безъ пиджака, по-гоголевски уютно. Взглянулъ съ досадой на пиджачекъ: пятна, и пуговица виситъ на ниточкѣ. Вислиценусъ досталъ изъ шкафа второй, болѣе новый, костюмъ. Разсѣянно разсовалъ по карманамъ бумажникъ, перо, мелочь, автобусные билетки. Надѣлъ воротничекъ, — язычекъ высовывается, — все равно («а годъ тому назадъ такъ къ ней не пошелъ бы»). Справился по записной книжкѣ, какъ ѣхать. Надя все объяснила по телефону подробно. «Если по желѣзной дорогѣ, то быстрѣе, и отъ вокзала къ намъ ближе. Но автобусы ходятъ на ятъ, я вамъ совѣтую поѣхать въ автобусѣ, всего пятьдесятъ минутъ ѣзды, отличная прогулка. Надо слѣзть тамъ, гдѣ увидите кабачекъ «Taverne du Puits sans vin», такое странное названіе... Да вамъ и кондукторъ покажетъ, они знаютъ, туда теперь всѣ ѣздятъ въ автобусахъ, кромѣ буржуевъ, у которыхъ свои машины. А отъ остановки идти минутъ десять, надѣюсь, это васъ не пугаетъ?»

Вислиценусъ вышелъ изъ гостиницы, оглянулся: нѣтъ шпика. Съ пріятнымъ чувствомъ онъ отправился къ подземной дорогѣ, спустился на станцію, дышать тотчасъ стало тяжело. «Это не отъ грудной жабы, метро отравляетъ жизнь и здоровымъ: вѣдь разсадникъ микробовъ, сюда солнце никогда не проникаетъ»... Вспомнилъ, что скоро наступитъ часъ папирасы, и съ неудовольствіемъ замѣтилъ, что не взялъ съ собой портсигара: въ пиджакъ

и жилеть переложилъ вещи изъ стараго костюма, а въ брюки нѣтъ; онъ папирасы и спички носилъ въ карманѣ брюкъ. «Куплю по дорогѣ другія, запаса тогда хватить въ Провансѣ надолго. А если цѣлый мѣсяць не будетъ припадковъ, то можно и увеличить немного норму»...

XIV.

— «Вамъ тутъ выходить, мосье», — сказала необыкновенно болтливыи кондукторъ, почти не умолкавшій за все время поѣздки, — «вотъ по этой дорогѣ пойдете вверхъ, второй поворотъ направо и прямо къ рошѣ. За ней увидите санаторію, большое зданіе, три этажа. Слепой еще ошибется, а ужъ кривой ни за что». — «Идти минутъ десять?» — «Это какъ идти. Скороходъ добѣжитъ и въ пять, а такъ, дай Богъ чтобы въ четверть часа. Радости въ такую погоду мало, лучше сидѣть дома». Пассажиръ въ черномъ пальто соскочилъ, оглянулся и поднялъ воротникъ пальто. «Чтобы жить въ этой санаторіи, надо сначала купить свой автомобиль, тогда очень удобно, а то»... — «Значить, по этой дорогѣ прямо?» — «По этой самой, второй поворотъ направо. Если же вамъ не къ спѣху, то можно посидѣть тутъ въ кабачкѣ и выпить глотокъ вина, вонъ тотъ мосье такъ и дѣлаетъ»... «Нестерпимый народъ — присяжные весельчаки, славящіеся на весь околородокъ остроуміемъ», — подумалъ Влищенусъ, чувствуя, что ему неприятна демократическая фамилиарность. Онъ поблагодарилъ кондуктора и вышелъ изъ автокара. — «Удачнаго леченья, мосье», — пожелалъ кондукторъ и какъ-то особенно жизнерадостно дернулъ звонокъ. «Можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ переждать дождь: лучше опоздать, чѣмъ прийти въ невозможномъ видѣ. Вотъ она, «Taverne du Puits sans vin»... Это былъ убогій кабачекъ въ древнемъ полуразвалившемся одноэтажномъ строеніи. «Домику лѣтъ триста, только во Франціи такіе встрѣчаешь».

Человѣкъ въ черномъ пальто посторонился на порогѣ, но самъ не вошелъ, видимо не соблазнившись. Въ уютномъ полутемномъ кабачкѣ у стойки женщина съ фигурой, напоминавшей кринолинъ, болтала съ блузникомъ въ синихъ, вытертыхъ до предѣловъ возможнаго, панталонахъ. Въ углу за столикомъ сидѣли еще два человѣка. Больше не было никого. «Стаканъ горячаго вина», — спросилъ Вислиценусъ, садясь за столикъ у окна. «Закурить? Нѣтъ, тамъ за чаемъ: будутъ сразу всѣ наслажденія, палироса, Надя, чай... Я тоже впадаю въ тонъ этого кондуктора».

Онъ отодвинулъ занавѣску. Небо было гнетущее, безнадежно сѣрое; мѣсто поразило его унылымъ, почти зловѣщимъ, видомъ: тощія мокрая деревья, уходящая вверхъ къ рошѣ скучная дорога. «Какой былъ смыслъ устраивать тутъ кабачекъ? Неужели только для автобусовъ? Впрочемъ, во всей Франціи тысячи кабачковъ существуютъ неизвѣстно какъ и зачѣмъ: кормится при нихъ хозяинъ, больше ему ничего и не нужно. «Taverne du Puits sans vin»? Вѣрно, что-то произошло въ этой лачугѣ сто или двѣсти лѣтъ тому назадъ, люди и забыли давно, что именно, но кабачекъ, перемѣнивъ пятьдесятъ владѣльцевъ, сохранилъ то же названіе».

Кринолининаго вида хозяйка принесла вино, ругнула погоду и изъ уваженія къ новому человѣку повернула выключатель. Освѣтились полки съ безчисленными бутылками, полными и пустыми, въ стоячемъ и въ лежачемъ видѣ. «Vous vous ruinez, patronne», — сказалъ, смѣясь, блузникъ. Вислиценусъ отхлебнулъ вина и задумался о томъ же: о новой жизни въ солнечномъ Провансѣ. «Въ эти часы буду въ своей избѣ заниматься домашнимъ хозяйствомъ: варить уху, что ли?» — въ самыхъ словахъ этихъ было нѣчто, вызывавшее у него улыбку. — «Не забылъ ли, какъ варятъ, съ енисейскихъ временъ? На столѣ свѣжій хлѣбъ, деревенское масло, соленое, чудесное, бутылка вина, потомъ чай. Въ самомъ дѣлѣ, чего

же еще нужно для счастья?..» Ему вдругъ стало весело. «А можетъ быть, удастся себя починить на свѣжемъ воздухѣ? Можетъ, лѣтъ десять проскриплю, — чѣмъ чортъ не шутить? А чѣмъ бы еще могъ пошутить чортъ? Вдругъ Надя пріѣдетъ ко мнѣ въ гости? Вѣдь и Кангаровъ боленъ. Было бы весьма кстати, если-бъ его похоронили, съ «Вы жертвою пали», на Красной Площади... Удивительно, что каждый изъ насъ непременно кому-нибудь отъ всей души желаетъ скорой смерти»..

Допивъ вино, взглянулъ въ окно, — дождь какъ будто сталъ затихать. «Нельзя дольше ждать: стемнѣетъ, дороги не найдешь».. «*Quei sale temps*», — сказала снова хозяйка, получая деньги. «Да, жаль, что жить пришлось въ такое *sale temps*», — весело подумалъ онъ, — «въ двадцать первомъ вѣкѣ вѣрно будетъ лучше. Но и въ двадцатомъ ничего, если на югѣ, на солнцѣ, подальше отъ людей».. Вислиценусъ вышелъ изъ кабачка и съ наслажденіемъ вдохнулъ сырой, — «деревенскій!» — воздухъ. Онъ направился по указанной ему дорогѣ; подъемъ былъ довольно крутой: «Какъ бы отъ подъема еще не приключился въ гостяхъ припадокъ, только этого не хватало бы»..

За кабачкомъ потянулся заборъ съ сиротливыми, разодранными афишами, голые кусты, росшіе косо, подъ неправдоподобнымъ угломъ къ землѣ. Проѣхалъ велосипедистъ, видимо направлявшійся въ кабачекъ. Мелькнуло еще какое-то жилое строеніе съ освѣщеннымъ окномъ. Затѣмъ пошли пустыри. День кончался, но еще не совсемъ стемнѣло. Гдѣ-то вдали просвистѣлъ паровозъ, — въ протяжномъ злобномъ свистѣ было что-то совершенно неожиданное, — откуда тутъ желѣзная дорога? «Въ самомъ дѣлѣ, она сказала, что въ санаторію можно ѣхать и по желѣзной дорогѣ. Вѣроятно, вокзалъ по другую сторону».. Изъ-за дождя Вислиценусъ шелъ довольно быстро. «Эхъ, мокрый приду, башмаки грязные», —

подумалъ онъ. — «Чай будетъ, надѣюсь, горячій»... Онъ радостно вспомнилъ о папиросѣ. «А Надя? Да, все-таки съ удовольствіемъ увидаю и Надю... Вотъ сейчасъ первый поворотъ. Второй, должно быть, вонъ тамъ, гдѣ неприятно свѣтится дорога. Неуютно это, когда два свѣта»...

Впереди кто-то показался на углу, оглянулся и пошелъ дальше, тоже въ направленіи къ второму повороту. «Что это случилось неприятное?» — безпокойно подумалъ Вислиценусъ. Далеко, справа, наверху вдругъ зажглись правильнымъ рядомъ крошечные огоньки. «Это, вѣрно, санаторія. Конечно, идти еще минутъ десять. И полдороги не сдѣлалъ... Да вѣдь это тотъ, что ѣхалъ со мной въ автобусъ!» — внезапно, съ очень неприятнымъ недоумѣніемъ, вспомнилъ онъ, — «гдѣ же этотъ субъектъ былъ, пока я сидѣлъ въ кабачкѣ?..» Вислиценусъ остановился, повернулся назадъ и увидѣлъ, что за нимъ, на нѣкоторомъ разстояніи, такъ шагахъ въ двадцати, идутъ два человѣка. Сердце у него сильно забилося: это были тѣ самые люди, которые одновременно съ нимъ молча сидѣли въ углу кабачка. «Да, конечно, тѣ же!.. Конечно!..» Несмотря на сумерки, ошибиться было невозможно. — «Что такое?.. Неужели?..» Онъ поспѣшно опустилъ руку въ задній карманъ брюкъ — и съ ужасомъ вспомнилъ, что, вмѣстѣ съ папиросами, оставилъ дома револьверъ. Сорвавшись съ мѣста, онъ быстро пошелъ дальше. — «Какъ же это можетъ быть?.. Майеръ?.. Да, я ему сказалъ, куда ѣду. Но если не Майеръ?..» Дрожащій красноватый свѣтъ на дорогѣ у второго поворота усилился. «Тамъ кто-то ѣдетъ»... Еще ускоривъ шаги, Вислиценусъ снова оглянулся: тѣ тоже шли быстрѣе. «Нѣтъ сомнѣнія!..» Поспѣшно, почти бѣгомъ, онъ подошелъ къ повороту. Справа, по боковой дорогѣ, совсѣмъ близко, — очень медленно ѣхалъ огромный автомобиль съ низкими красными огнями. «Что это!» — сказалъ шопотомъ Вислиценусъ и остановился. Сердце стучало все страш-

нѣе. Вдругъ онъ почувствовалъ боль, ту самую, рѣзущую, нарастающую съ бѣшеной быстротой. «Припадокъ! Сейчасъ смерть! Гестапо или ГПУ? Но если ГПУ, то Надя!..» Рядомъ съ шофферомъ сидѣлъ рыжій человѣкъ съ звѣрскимъ лицомъ. «Это онъ! Но гдѣ же, гдѣ я его видѣлъ?!» — задыхаясь отъ невыносимой боли, успѣлъ подумать Вислиценусъ. Онъ схватился рукой за сердце. Мелькнулъ желтоватый досчатый ящикъ.

XV.

«Съ ума сойти!» — подумала Надежда Ивановна и со вздохомъ положила на столъ прекрасное самопишущее перо съ моднымъ, прозрачнымъ резервуаромъ, — подарокъ Кангарова-Московского ко дню ея рожденія. — «Разорился на этотъ Паркеръ», — сказалъ онъ, вручая подарокъ и цѣлуя ее (самый обыкновенный отеческій, вдобавокъ праздничный, поцѣлуй), «хоть и не полагается называть цѣну подарка, а тебѣ по секрету скажу: триста пятьдесятъ франчей...». Она взглянула на часы: четверть шестого. Вислиценусъ обѣщаль прїѣхать въ пять. Правда, точно рассчитать поѣздку изъ Парижа въ санаторію нелегко: автобусы по этой линіи ходятъ не очень регулярно. «Можетъ, дождь задержалъ?.. Просидеть, вѣрно, часа полтора. До обѣда успѣю еще немного поработать, и, разумѣется, послѣ обѣда весь вечеръ!..» Надя съ нѣкоторой гордостью вспомнила, что, когда вечеромъ работаешь, то потомъ заснуть трудно: такъ и у всѣхъ писателей, даже у самыхъ настоящихъ. «Ничего не подѣлаешь...» Она шла и на бессонную ночь — или, вѣрнѣе, на бессонный вечеръ, — черезъ полчаса все-таки засыпала, несмотря на напряженную умственную работу.

Ожиданіе гостя мѣшало творчеству: «Чуть только распишешься, — онъ, красавецъ, придетъ, надо будетъ спрашивать его о здоровьи и дѣлать видъ, что очень инте-

ресуешься. Зачѣмъ я его позвала?» — съ досадой подумала Надежда Ивановна. Она пересилила себя, — нельзя терять время, — снова взяла перо и стала править конецъ главы: «Все было об'ято оранжевымъ пожаромъ осени. Под ногами как-то тяжело вздыхали лужи. Евгений Горский вошелъ в мастерскую. — «Еремеичъ!, — светло сказал он, — «нынче выпустимъ шестьдесятъ первый. Будемъ соревноваться, старик. Небось, работаемъ на оборону, на оборону нашей советской страны!». — «И то будемъ, Евгений Евгеньевичъ», — отвѣтил Еремеичъ, — «мы тоже кой-что понимаемъ, чай, недаромъ прошли гражданскую». — «Небось, Царицына не забылъ, братокъ?». — «Не такой былъ переплет, чтобъ забыть!..». Недобрый огонекъ вспыхнулъ в стальныхъ глазахъ стоявшаго у мотора Карталинскаго».

Съ Карталинскимъ дѣло не ладилось. Человѣкъ, выдающій иностраннымъ фашистамъ и бѣлогвардейцамъ тайны авіаціоннаго производства СССР, очевидно, никакого снисхожденія не заслуживалъ и не могъ рассчитывать на снисхожденіе. Значить, высшая мѣра? Но примѣнять высшую мѣру Надеждѣ Ивановнѣ не хотѣлось. Прежде всего, описывать разстрѣлы нельзя: не напечатать. Надя и не знала въ точности, какъ и гдѣ производятся разстрѣлы; слышала только передававшіеся шопотомъ рассказы о «Кораблѣ Смерти», о «Черномъ Воронѣ», — вѣроятно, устарѣлые. Да и неприятно описывать казнь, хотя бы казнь диверсанта и вредителя. «Дать десять лѣтъ? Нѣтъ, за это десяти лѣтъ никогда не дадутъ!.. А главное, человѣкъ со стальными глазами былъ не такъ ужъ отвратителенъ Надеждѣ Ивановнѣ: ей было жаль Карталинскаго.

Надя погрѣшила противъ совѣсти: тему выбрала отчасти съ расчетомъ на то, чтобы легче было устроить. Женька, работавшій въ одномъ изъ московскихъ журналовъ, посоветовалъ прислать редакціи на выборъ два рассказа: «Который лучше понравится, тотъ и помѣстимъ» (Надежда Ивановна, конечно, понимала, что «по-

мѣстимъ» было сказано, для большаго величія, вмѣсто «помѣстятъ»). Онъ далъ еще совѣтъ, — пусть хоть одинъ изъ разказовъ будетъ о вредительствѣ: «если о вредителяхъ и диверсантахъ, то намъ трудно отказать, тутъ, понимаешь, запятая». Это не очень понравилось Надѣ: ея первый разказъ былъ просто о любви, объ одной исторіи, случившейся съ молодой, очень красивой совѣтской дѣвушкой, служившей по дипломатическому вѣдомству за-границей. Сюда никакъ нельзя было прицѣпить вредителей и диверсантовъ.

Второй разказъ пришлось написать иначе. Впрочемъ, это тоже была исторія молодой, очень красивой совѣтской дѣвушки, и тоже исторія любовная, однако, на фонѣ диверсии и вредительства. Дѣйствіе происходило на авіаціонномъ заводѣ. Надя никогда въ жизни авіаціонныхъ заводовъ не видѣла, но на одномъ изъ нихъ служилъ Василій Васильевичъ, молодой инженеръ, приславшій изъ Москвы милое письмо, — «объясненіе въ любви не объясненіе въ любви, а такъ вродѣ». Онъ былъ портретно изображенъ подъ именемъ Евгенія Евгеньевича (Евгеній было любимое имя Надежды Ивановны); только глаза были другіе, черные, чтобы никто изъ читателей не догадался, — а если догадается самъ Василій Васильевичъ, то ничего, пусть. Евгеній Евгеньевичъ былъ инженеръ-летчикъ. У Нади возникли сомнѣнія: бываютъ ли инженеры-летчики? можетъ быть, сами инженеры никогда не летаютъ? Однако, для интриги это было необходимо: именно во время полета въ душу Евгенія Горскаго закрадывалось страшное подозрѣніе.

«Все-таки, что же это съ Вислиценусомъ?», — подумала Надя съ недоумѣніемъ. На столѣ былъ приготовленъ чай, не санаторскій, а собственный. «Дѣтка, они за тѣ-комплэ берутъ двѣнадцать франчей съ рыла», — объяснилъ Надеждѣ Ивановнѣ Кангаровъ, въ тонѣ котораго чувствовалось уваженіе къ людямъ, умѣющимъ такъ драть, — «а за рюмку дряннаго порто — десять!». Она приняла это

къ свѣдѣнію. Вдобавокъ, не хотѣла, чтобы угощеніе ея гостя было поставлено въ общій счетъ, хотя Кангаровъ предоставилъ ей полную свободу: «Лопай, дитя мое, что хочешь. Захочешь птичьяго молока, — требуй!» — ласково-отечески говорилъ онъ. Птичьяго молока въ санаторіи не было, а чай былъ неважный: поджаренный хлѣбъ съ масломъ, — «за версту слышно, какъ жуешь», — лимонъ, молоко и въ умѣренномъ количествѣ печенье. Надя все сдѣлала на свои деньги, очень хорошо и безъ большихъ затратъ. Утромъ съѣздила въ Парижъ, купила обыкновенный рâté вмѣсто страсбургскаго пирога, красную икру вмѣсто зернистой и баниульсъ вмѣсто портвейна, — «выдамъ за портвейнъ, не такой ужъ онъ знатокъ, не разберетъ». На кругомъ столѣ стояли графинъ, тортъ, сэндвичи трехъ сортовъ (третій былъ спеціальностью Нади: что-то сложное, неясное, увѣнчанное кусочкомъ томата). Право заваривать чай было ею молчаливо завоевано, подъ предлогомъ, что она пьетъ чай по-русски. «Охъ, недоволенъ управляющій: косится на нашъ чайникъ», — сказала въ первый разъ Надежда Ивановна. — «Пусть этотъ воръ и мошенникъ перекоситъ свои безстыжіе глаза!» — возмущенно отвѣтилъ Кангаровъ-Московский.

— «Не психуйте, Станислав Михайловичъ», — спокойно-повелительно сказала Оля. Карталинскій вспыхнул. — «Вы раскаетесь!» — произнес онъ грязнымъ голосом. — «Не думаю. Не пришлось бы раскаяться вам. Советскому Союзу не нужны такие люди, какъ вы». В эту минуту дверь моторной мастерской съ криканьемъ отворилась, пропел ласково ноту ми, и послышался натужный гуд самолета»...

Этой фразой Надежда Ивановна осталась довольна, тутъ править нечего. Очень хорошъ грязный голосъ, лишь бы въ типографіи не набрали «грозный». Одно только было досадно: о двери, поющей ноту ла, она, помнится, читала у кого-то изъ знаменитыхъ совѣтскихъ авторовъ. «Ну, за нѣсколько лѣтъ, вѣрно, всѣ забыли, да

у меня не ла, а ми, не всё же двери одинаково настроены и не всёми писателямъ имѣть абсолютный слухъ», — лукаво подумала Надя. Главное все-таки не въ подробностяхъ: подробности предестныя, какъ у самыхъ лучшихъ писателей. Главное въ интригѣ: что же дѣлать съ Карталинскимъ?

На минуту она отвлеклась и размечталась. Разсказъ примутъ и тотчасъ напечатаютъ, онъ будетъ имѣть успѣхъ, — ну, не очень большой, не шумный, а все-таки, — заплатятъ деньги, пригласятъ писать постоянно, придутъ запросы изъ другихъ журналовъ. Дальше могу писать по разсказу въ недѣлю. Очень скоро наберется на книгу... Она представила себѣ томикъ небольшого формата, въ темно-синемъ переплетѣ, съ серебряной надписью, или въ сѣромъ, съ надписью въ два цвѣта: красный и черный, и чтобы въ кружкѣ былъ какой-нибудь рисуночекъ, а на оборотѣ тисненныя цифры: «4 р. 50 к.». Заглянула мысленно и на послѣднюю страницу: «Отв. редактор... Тех. редактор... Корректор... Уполном. Главлита... Тираж 40.000»... «Отчего же не можетъ быть сорокъ тысячъ?» И еще будетъ обращеніе: «Читатель! Сообщи свой отзывъ об этой книге, как о содержании, так и об оформлении, указав возраст и профессию». Надежда Ивановна представила себѣ, какъ ей за-границу будутъ пересылаться сотни отзывовъ отъ людей разныхъ возрастовъ и профессій. «Кое-кому надо будетъ отвѣчать. Ну, что-жъ, писатели всегда этимъ занимались... Но Карталинскій? Все-таки, какъ быть съ Карталинскимъ?»

Объ этомъ она думала много и упорно. Было намѣчено нѣсколько вариантовъ. По первому, на заводъ просто являлись представители особаго отдѣла, и читателю предоставлялось догадаться объ участи диверсанта. По второму варианту, отвѣчая на вопросъ районнаго прокурора Томиной, Карталинскій холодно говорилъ: «Вы правы. Я разоблачен. Дальнейшіе объяснения считаю излишними». И по застывшей маске его лица никто не мог

сделать вывода, о том что испытывало в эту минуту страшное подобие человека». Этот вариант нравился Надеждѣ Ивановнѣ; тутъ страшное подобие человѣка было не такъ ужъ безнадежно отвратительно. «Евгеній Горскій долженъ получить награду. Неприятно... Олѣ это будетъ не совсѣмъ по душѣ: ея женихъ получилъ награду за разоблаченіе человѣка, котораго разстрѣляютъ. Миѣ, по крайней мѣрѣ, было бы не по душѣ. Какую, кстати, награду за это даютъ? Можно спросить у Вислиценуса, онъ навѣрное знаетъ».

Надежда Ивановна снова взглянула на часы и встревожилась: что же это, тридцать пять минутъ шестого! «Неужели не нашель? или просто забыль?». Она хотѣла было позвонить по телефону, но сообразила, что не имѣетъ смысла: если Вислиценусъ забыль, то теперь выѣзжать не стоитъ: отъ него ѣхать полтора часа... «Подождетъ онъ, пока я его позову опять! Такъ не поступаютъ!... Если дождь, такъ на то есть зонтики». Она подошла къ круглому столику и съѣла сандвичъ, все размышляя о концѣ разсказа. Насчетъ сообщника Карталинскаго сомнѣній быть не могло. Надя вернулась къ письменному столу, перелистала рукопись и прочла: «Врешь, очкастый боров!» — заревел Цымбал и, изогнувшись, со страшной силой ударил Шейдлера по переносице. Шейдлер вскрикнулъ истошным нутряным криком и упал, обливаясь густой, изсиня-багровой кровьюю. — «Дела-то, ахти, дела-то!» — прошептала с ужасом в голосе старая Матвеевна».

Это тоже было недурно, право, очень недурно. Но Карталинскій? Быль еще третій вариантъ: въ диверсанта влюблялась Томила. — «Ваша судьба в моих руках», — сказала тихо районный прокурор («сказала»? «сказалъ»? Нѣтъ, «сказала»). Я могла бы направить дело на прекращение или во всяком случае в обвинительном заключении ударить по Карлу Шейдлеру. Но...». Допустимость этого варианта вызвала большія сомнѣнія: и районный

прокуроръ не пошла бы вѣрно на такой рискъ, и не начинать же еще новое вредительское дѣло съ районнымъ прокуроромъ, и редакторъ едва ли напечатаетъ. «Съ ума сойти!» — опять сказала себѣ Надежда Ивановна. Вдругъ ее озарило. Въ камерѣ районнаго прокурора навѣрное былъ портретъ Сталина. Что, если, взглянувъ на это лицо, Карталинскій, въ порывѣ душевнаго раскаянія, перейдетъ на сторону совѣтской власти! Тогда ему можно назначить три года работъ, онъ перекуется и станетъ новымъ человѣкомъ!

Надя задумалась: ей было неловко. «Въ чемъ дѣло! Всѣ такъ пишутъ! Неправдоподобно? Но такой переломъ надо, разумѣется, подготовить психологически. Можно будетъ показать, что Карталинскій уже давно сомнѣвался въ фашистскомъ дѣлѣ, что онъ лишь подчинялся шантажу Шейдлера. Нужно все это хорошенько вылизать изнутри, какъ дѣлали Толстой и Достоевскій. Я, конечно, не Толстой и не Достоевскій, но я говорю о методахъ... Во всякомъ случаѣ, при такомъ концѣ напечатаютъ непременно. Развѣ только если это уже у кого-нибудь изъ писателей есть? Нѣтъ, кажется, нѣтъ... Похожее есть, а такого нѣтъ. И авиационные заводы тоже не очень использованы», — Надежда Ивановна, приступая къ разсказу, просмотрѣла всѣ журналы за три года. «Главное, попасть въ первый разъ, чтобъ гдѣ-нибудь напечатали. А потомъ я совсѣмъ иначе буду писать, безъ всякаго подхалимажа. Только бы помѣстили, Господи, только бы помѣстили! Ну, хорошо, натяжка, подхалимажъ, вранье, но вѣдь это деталь, а все остальное, право, очень мило. Притомъ вѣдь это новелла»...

Слово «новелла», дѣйствительно, значилось въ подзаголовкѣ разсказа. Это означало, что разсказъ не вполне бытовой. То-есть, онъ, пожалуй, реалистическій, но съ нѣкоторымъ скрытымъ символическимъ смысломъ. «Ей Богу, есть символика», — думала Надя съ обидой на критиковъ, которые еще могли признать ее «бытович-

кой», — она знала, что рассказы съ символикой по рангу самые высшіе, — «я хотѣла сказать... Ну да все равно, это дѣло критиковъ выяснить, что я хотѣла сказать... А вдругъ редакторъ струсить, что новелла, давно что-то никто новелль не пишетъ. Неужели не примуть?..» Надежда Ивановна тутъ же твердо рѣшила остановиться на четвертомъ вариантѣ. «Ужъ тогда не посмѣютъ не принять! Да и въ художественномъ отношеніи это не плохо: Карталинскій такой человекъ, что вполне могъ перековаться. И критики пусть тогда попробуютъ ругать»... Она снова испуганно себѣ представила все, что вообще способны написать критики: «У автора замѣтно старанье, но, къ сожалѣнію, нѣтъ никакого таланта»... «Неопытность и безпомощность молодой писательницы вызываютъ улыбку состраданія»... «Какъ жаль, что авторъ «новеллы» («непремѣнно возьметъ въ кавычки, проклятый») не занимается какимъ-нибудь полезнымъ трудомъ»... Или просто: «Какая бездарная пошлятина напечатана въ послѣдней книгѣ журнала!..». — «Неужто они будутъ, однако, такіе подлецы и негодяи!» — въ ужасѣ думала Надежда Ивановна.

Она отложила тетрадку. «Вечеромъ буду писать, а завтра все непремѣнно кончу. Перепишу въ двухъ экземплярахъ, одинъ оставляю себѣ, другой пошлю Женкѣ. Или нѣтъ, лучше въ трехъ: въ одномъ журналѣ не примутъ, пошлю въ другой. Въдь у нихъ «рукописи не возвращаются», такъ разбойники и объявляютъ... Значить, Вислиценусъ не придетъ? Либо онъ заболѣлъ, либо это большое свинство! Если онъ придетъ въ шесть, то рискуетъ встрѣтить амбассадера»... Надежда Ивановна засмѣялась, представляя себѣ эту встрѣчу. «А когда-то амбассадеръ говорилъ «Командармъ Ивановичъ»... Она отщипнула и съѣла мармеладинку съ торта. Хотя Вислиценусъ поступилъ съ ней такъ безобразно, Надѣ было весело. «Былъ бы Женка тутъ, можно было бы съ нимъ потанцовать подъ радіо»... Надежда Ивановна подошла къ ап-

парату и пустила въ ходъ колдовство. Мѣрный благородный голосъ спикера сообщалъ новости: «...Le duc et la duchesse de Windsor ont terminé leur voyage à travers l'Allemagne, après avoir eu l'occasion de visiter en détail, sous la conduite du docteur Ley, chef du front du travail, la plupart des organisations du parti national-socialiste»... «On parle beaucoup ces temps-ci d'entente cordiale, de solidarité des démocraties française et britannique. Il convient de signaler le rôle patriotique considérable que jouent les «Fines gueules», cette élite gastronomique française, qui rend aujourd'hui visite à nos amis d'outre-Manche. Les marchands de vin de la Cité, aux traditions et privilèges séculaires, ont organisé en leur honneur une brillante réception dans une charmante hostellerie des bords de la Tamise, dont le propriétaire, un vieil ami de la France, a amassé quelques poudreuses bouteilles...» «M^e Dominique Cerisier fera signer demain son pourvoi en cassation à Gonzalo Alvera condamné à mort, pour un double assassinat, par la Cour d'assises de Versailles...» «Le célèbre orchestre de Cuban Boys nous est revenu après une tournée triomphale à l'étranger. Il nous apporte le Chévéré, un lamento nègre d'une rare beauté. Jamais encore l'âme noire, sauvage et sentimentale à la fois, ne s'est exprimée aussi fidèlement et avec une telle puissance»...

(Продолжение слѣдуетъ)

М. Алдановъ.

Облегченіе участи

1.

Мамаша, маманъ, маменька жила на седьмомъ этажѣ громаднаго стараго дома. Весь этажъ отдавался по комнатамъ; въ каждой комнатѣ люди ѣли, спали, готовили и въ общій корридоръ, по вечерамъ, выносили ведра съ отбросами. Стариннаго устройства водяной лифтъ портился черезъ день, свѣтъ не всегда горѣлъ на лѣстницѣ, не имѣвшей оконъ, чугунная дверь на улицу была слишкомъ тяжела, и потому мамаша почти никогда не выходила: въ лавку бѣгала сосѣдка, въ гости мамаша отправлялась либо въ своемъ этажѣ, либо этажемъ ниже, — домъ былъ заселенъ русскими, и только въ церковь — по большимъ праздникамъ — она спускалась, и потомъ долго поднималась, стуча зонтикомъ, дыша, чуть не плача. А когда ей говорили знакомые, встрѣченные у свѣчнаго ящика: «Зашли бы какъ нибудь, Клавдія Ивановна, чайку попить», въ мысляхъ былъ все лифтъ да лифтъ, темный, заворотъ этажей, крутыя, обшмыганныя ступени. «Нашли тебѣ мѣсто, и сиди, — думалось ей, — а то еще уйдешь — не вернешься, застрянешь между этажами, или задохнешься пѣшкомъ». Алеша-же находилъ, что квартирка у маманъ очень удачная, что чѣмъ выше жить, тѣмъ чище воздухъ. Когда онъ приходилъ, онъ настежь открывалъ окно, выходившее на глухое, круглое зданіе, похожее на земной шаръ, — то былъ газовый заводъ. А за нимъ была видна безконечная городская муть домовъ, крышъ, оконъ, какая-то башня, которая то пропадала, то появлялась снова, то съ флагомъ, то безъ, то съ усѣченной макушкой, то съ ста-

туей ангела на ней. «Какая вы счастливая, маманъ, — говорилъ Алеша, — что живете такъ покойно, не нервно», — и садился пить чай съ пирогомъ, кренделемъ, вареньемъ, читать газеты, которыя носилъ съ собой, а иногда разсѣянно уставлялся неподвижными глазами въ трясущійся проборъ, жидкіе волосы, въ сухія руки съ кривыми пальцами. «Я даю вамъ полную возможность жить въ свое удовольствіе, — говорилъ онъ, — и самъ живу въ полное свое удовольствіе. Достаточно мы въ жизни промучились съ вами, теперь — ассе, ассе, ассе. Вы имѣете электрическое освѣщеніе, теплый клозетъ, солнце — и штору, если охота отъ него закрыться; у васъ функционируетъ центральное отопленіе, и документъ вашъ въ полномъ прядкѣ. Все это, маманъ, называется комфортомъ, да, да! И мы съ вами имѣемъ его, потому что я — слава Богу!»

Она сидѣла за столомъ, кивала ему, улыбаясь и, не глядя внизъ, вязала ему толстый, бѣлый свитеръ на спицахъ, а передъ ней на столѣ лежала картинка моднаго журнала, на которой былъ изображенъ молодой человекъ съ длиннымъ, коричневымъ лицомъ, выпятившій молодецкую грудь въ толстомъ, бѣломъ свитерѣ. Она смотрѣла и вязала, что-то считая про себя, и выходило очень похоже; клубокъ бѣлой шерсти шевелился у нея на колѣняхъ. А Алексѣй Георгіевичъ открывалъ и закрывалъ окна, пробовалъ, дѣйствуютъ ли задвижки, зажигалъ и тушилъ свѣтъ, прыгалъ, не скрипитъ ли паркетъ, дергалъ — прочно ли виситъ занавѣска.

— Вотъ лифтъ у насъ вчера опять не ходилъ, — говорила она грустно, — что-то чинили; говорятъ, въ подвалѣ испортилось. Да такъ и не починили, бросили.

Но онъ мало слушалъ ее; онъ говорилъ самъ, либо молчалъ, читалъ. Когда онъ рассказывалъ ей, то никогда ни однимъ словомъ не упоминалъ про дѣла, которыми занимался, про людей, съ которыми водился, а вспоминалъ вслухъ что-нибудь давнее, какъ со старымъ союзникомъ, съ которымъ уже нѣтъ настоящаго, но зато есть прошлое,

и какое прошлое! — долгое, боевое, обнимъ памятное навѣки, обоими чтимое: ею — потому что ея Алеша былъ его героемъ, и имъ — по той же причинѣ. Или онъ рассказывалъ ей о какой-нибудь покупкѣ, о блюдѣ, съѣденномъ въ ресторанѣ, о чемъ-нибудь необыкновенномъ, видѣнномъ на улицѣ. Но прошлое, ихъ обоихъ сорокалѣтнее прошлое, было живѣе этого ничтожнаго, ничѣмъ не согрѣтаго настоящаго.

— А помните, мамаша, когда мы на Сиверской жили, помните, еще у меня такой костюмчикъ синій былъ, въ то лѣто, когда папаша уже не жилъ съ нами, и кража была серебра, помните, какой я тогда былъ энергичный, полный мальчикъ? И мечталъ дрессировать ежей, выступать въ циркѣ?

Она, конечно, помнила.

— Сегодня иду, смотрю: дѣти въ скверѣ кораблики пускаютъ. Техника, мамаша, коснулась даже этихъ глупыхъ затѣй. И разстроился я: почему это мнѣ на роду написано было довольствоваться плоскодонками изъ древесной коры?

Онъ смотрѣлъ передъ собой большими, голубыми глазами, вспоминая какой-то русскій прудъ, какія-то ветлы, свои голыя колѣнки, свои собственные, толстыя; подвернутые надъ колѣнками штаны. Когда это кончилось?

— Кончилось дѣтство, мамаша, какъ-то вдругъ. Со школой, что ли? Какъ пошелъ я съ чернымъ ранцемъ за плечами, какъ лошелъ, какъ пошелъ-пошелъ... Такъ прямо будто до сего дня и не останавливался. Все иду... На завтракъ вы мнѣ давали тридцать копѣекъ, а я на двѣнадцать кушалъ, а восемнадцать откладывалъ. А потомъ, когда вы въ Москву меня послали, помните, я на гостиницѣ съэкономилъ страшныя деньги. Дайте-ка карандашъ.

Она кивала головой, крестилась, ловила пальцемъ слезу изъ старыхъ глазъ.

— А теперь, Алешенька, а теперь-то!

— Просто смѣшно, какія деньги съэкономилъ. Да, мно-

го чего было. А главное — вѣдь здѣсь все съ начала пришлось начать. Здѣсь вѣдь уже не выѣдешь на томъ-на семь, какъ у насъ. Здѣсь совсѣмъ другое оказалось нужно. Но я родился европейцемъ, мнѣ просто смѣшно было бы въ Россіи жить.

— Однимъ бы глазомъ увидѣть!

— Мнѣ часто говорятъ: Асташевъ, неужели вы русскій? вы совсѣмъ нашъ.

Потомъ она прижимала къ себѣ его рыхлое, вялое тѣло, его чистыя руки съ розовыми ладонями и нѣжными треугольными ногтями, гладила старыми руками его синій пиджакъ, его свѣтлые волосы, всматривалась въ круглое, млажавое лицо, всегда младенчески выбритое.

— Умница мой, — говорила она, — утѣшеніе мое.

Онъ цѣловалъ ее, еще разъ смотрѣлъ на часы, и такъ какъ былъ девятый часъ, уходилъ.

— Куда идешь теперь? — спрашивала она, — не завелъ ли себѣ какую душеньку?

Онъ отвѣчалъ, аккуратно застегивая хорошо сшитое пальто:

— Мамаша, я не имѣю никакого права заводить себѣ душеньекъ. Плодить нищихъ не въ моемъ вкусѣ. Для здоровья иногда увлекаюсь, но жениться — минимумъ три года подожду.

— Ну, Господь тебя сохранить, — шептала она, такъ и не узнавъ, куда онъ шель. За всѣ эти годы у нея ни разу не возникло подозрѣнія.

Черезъ полчаса онъ уже звонился у широкой полированной двери, гдѣ лѣстница была въ коврахъ, а внизу у зеркала стояли пальмы.

— Это, вѣрно, Алексѣй, — говорилъ женскій голосъ за стѣной, пока прислуга помогала ему раздѣться.

— Да, это я, маменька, — отвѣчалъ онъ. — Здравствуйте.

— Здравствуй, хищникъ. Ну, кого нынче обглодалъ?

Онъ подходилъ здороваться. Обыкновенно бывалъ

еще кто-нибудь, и Ксенія Андреевна держалась съ нимъ надменно-игриво.

— Вы слышали: «маменька»! — восклицала она, а крашенные рыжіе волосы, низкій бюстъ, слои напудренной шеи безжалостно выдавали въ ней что-то почти старушечье. — Ты старишь меня, бандить.

Это была вторая жена Алешинаго отца, его мачеха, одержавшая когда-то надъ Клавдіей Ивановной большую жизненную побѣду.

Онъ расцвѣталъ здѣсь какимъ-то особеннымъ, рѣдкимъ цвѣтомъ, округло садился въ кресло, сытно острилъ, самъ хохоталъ густо и громко, масляно смотрѣлъ на Ксенію Андреевну, на гостя или двухъ — чиновныхъ, не бѣдныхъ, которыхъ маменька приголубливала. Несмотря на разницу лѣтъ, Алеша умѣлъ поддержать ихъ особый разговоръ, гдѣ дѣйствовали все какіе-то члены, председатели и вице-председатели, гдѣ обсуждались выборы въ какой-то комитетъ, или совѣтъ комитета, или президіумъ совѣта. Евграфъ Евграфовичъ намекалъ на возможность кандидатуры Юлія Федоровича въ ревизіонную комиссію. Одинъ гость дѣлалъ многозначительное лицо, другой гость считалъ перебаллотировку неминуемой, маменька ядовито и очень къ мѣсту интриговала въ пользу адмирала Вязминитинова, передавашаго кому-то какія-то благотворительныя суммы.

Алексѣй Георгіевичъ внезапно требовалъ шампанскаго, рассказывалъ веселый анекдотъ, цѣловалъ ручки Ксеніи Андреевнѣ, велъ себя какъ избалованное сокровище, кото-рому все позволено, потомъ становился почтительнымъ, нѣжнымъ, вынималъ изъ кармана контротарку въ легкомысленный театръ, дарилъ ее всѣмъ вмѣстѣ и откланивался.

Алексѣй Георгіевичъ прожилъ часть жизни съ отцомъ, часть жизни съ матерью, мѣсяцъ тамъ, недѣлю тутъ, зиму тамъ, лѣто тутъ. Ему было девять лѣтъ, когда отецъ его бросилъ семью, сошелся съ женщиной, которая назы-

вала себя актрисой, и продолжалъ неаккуратно и скудно содержать Клавдію Ивановну съ двумя дѣтьми: имъ и сестрой Нютой, умершей черезъ годъ отъ менингита. Онъ ходилъ въ реальное; жили на Пескахъ, въ темной квартирѣ съ однимъ ходомъ, заставленной прежней, громоздкой, скучной мебелью. Изъ комнаты въ комнату вели какія-то окошки, чтобы было свѣтлѣе, и тамъ у потолоковъ плели паутину толстые пауки. Ихъ никогда не снимали озабоченныя чистотой крашенныхъ половъ и крахмаленіемъ занавѣсокъ мать и нянька. И иногда, по вечерамъ, окруженные собственной парчей и женскимъ суевѣріемъ, пауки выбѣгали на середину потолоковъ и тамъ кидались другъ на друга, сосали другъ друга, и высосавъ, сохли, сморщивались и падали.

Возвращаясь изъ реального, Алеша сейчасъ же садился за столъ въ своей, заставленной шкапами и корзинами, комнатѣ, гдѣ недѣлями не открывалась фортка, сидѣлъ такъ до вечера, писалъ сочиненія, рѣшалъ задачи, въ исторіи и русскомъ языкѣ заглядывая на одну главу далѣе того, что требовалось, чтобы уже знать, о чемъ будетъ рѣчь завтра. У него была надъ столомъ орѣховая полочка, и тамъ стояли латинскіе подстрочники, гектографированныя рѣшенія теоремъ, книга «Образцовыя сочиненія для VI, VII и VIII классовъ», другая: «Самоучитель по физикѣ», третья — «Билеты по географіи и отвѣты на нихъ». По каждому предмету требовался въ классѣ одинъ учебникъ, а у него ихъ было нѣсколько: были Сиповскій, Саводникъ, Незеленовъ, Смирновскій, были Краевичъ и Цингеръ, были Лебедевъ, Смирновъ и Янчинъ, были Киселевъ и Давыдовъ, а по исторіи — Илловойскій, Платоновъ, Виноградовъ, Беяярминовъ, Елпатьевскій и еще неизвѣстно кто, потому что первый листъ былъ вырванъ. Всѣ эти учебники Алексѣй Георгіевичъ пріобрѣталъ путемъ мѣны: бралъ изъ узенькаго шкапа со шторками материнскія книги: Пушкина, Лермонтова, Мамина-Сибиряка и Шеллеръ-Михайлова, а иногда и переводные романы Золя, и вымѣ-

ниваль ихъ въ реальномъ (тамъ всѣ уже знали его) на учебники, которые ученики всѣхъ классовъ сплавляли ему — не только свои, но и старшихъ сестеръ и братьевъ.

Онъ былъ первымъ ученикомъ, сидѣлъ подь самой кафедрой, на первой скамейкѣ, былъ очень долго меньше всѣхъ ростомъ, и такъ какъ его фамилія начиналась на А, то отовсюду его было видно, все начиналось съ него — и парное шествіе, и экзамень, и классная перекличка, и какое-нибудь привѣтствіе говорилъ всегда онъ, и инспектору отвѣчалъ тоже онъ, и отвѣтственность за чистую доску и мѣлки тоже почему-то несъ онъ; и при всемъ томъ никто никогда не позавидоваль ему.

По субботамъ Алеша изъ реальнаго домой не возвращался, а ѣхаль на четырнадцатомъ номерѣ къ Сѣнной. Отца его за годъ до этого за какія-то не совсѣмъ безобидныя продѣлки исключили изъ сословія присяжныхъ повѣренныхъ, и теперь онъ «ходилъ по дѣламъ». Квартира была совсѣмъ приличная, съ золоченымъ фризомъ въ приемной, бархатомъ, шкурами и даже лакеемъ — грязноватымъ, прыщеватымъ малымъ съ сальными волосами и носомъ, какъ говорится, на лафетѣ. Алеша уважалъ и отца, и лакея, и эту квартиру, и новую жену. Это была настоящая женщина, первая женщина, которую удалось ему видѣть близко — одѣтую, полуодѣтую, раздѣтую, здоровую, больную. Это была настоящая женщина, имѣвшая какое-то необъяснимое отношеніе къ отцовскому бумажнику, и вблизи нея всегда было тревожно, весело и нехорошо.

До утра понедѣльника онъ оставался здѣсь, и жизнь его въ эти два дня нисколько не походила на жизнь у Клавдіи Ивановны. По субботамъ у мамыши номеръ два былъ журфиксъ — въ гостиной пили чай, остряли и сплетничали гости. И онъ, отложивъ уроки на послѣ, на ночь, сидѣлъ, выпучивъ глаза, въ какомъ-нибудь креслѣ, не имѣя силъ уйти, мысленно стягивая съ женщинъ ихъ шелковыя въ подборахъ и воланахъ платья, мысленно заползая въ мужчинъ, глотая вмѣстѣ съ эклерами, песочными, лодочками,

буше, всѣ слова и словечки, сыплющіяся, какъ горохъ, какъ дробь, какъ бисеръ.

Вечеромъ обѣдали втроемъ: папаша, лысый, съ длинными, въ стороны стоящими усами, краснотубый, бровастый, похожій на обложку цыганскаго романа тѣхъ временъ; мамаша Ксенія Андреевна, въ сквозномъ капотѣ, съ падающими на плечи рукавами, и онъ. Иногда послѣ обѣда отецъ съ женой уѣзжали въ театръ; онъ слонялся по квартирѣ долго, разсматривалъ содержимое ящичковъ — запертыхъ и незапертыхъ, — потомъ садился за уроки. Иногда въ театръ брали и его — въ оперетку, въ фарсъ, къ Суворину. Однажды, въ воскресенье днемъ, его повезли на «Ревизора» въ Александринскій, и онъ чрезвычайно заинтересовался «Ревизоромъ», потому что въ классѣ недавно шла о Гоголѣ рѣчь.

Но обыкновенно, въ воскресенье, онъ вставалъ поздно, читалъ за чаемъ газеты, отъ доски до доски, какъ романъ, отъ нововременскихъ покойниковъ до сентиментальныхъ объявленій. Послѣ завтрака Ксенія Андреевна брала его гулять. Они шли улицами, Невскимъ, Садовой, шли въ Лѣтній садъ, гдѣ встрѣчали знакомыхъ. Ахъ, Боже мой! Чей это юноша? Это — мой сынъ, говорила она, неправда ли странно, что у меня такой взрослый сынъ? Озадаченный знакомый молча улыбался. Развѣ онъ не похожъ на меня? И когда все выяснялось, много бывало смѣху, уловокъ съ ея стороны, и много плоскихъ остроумій съ другой.

Засыпая ночью, Алексѣй Георгіевичъ слышалъ, какъ отецъ его ссорится съ Ксеніей Андреевной, какъ что-то разбивается — кувшинъ или флаконъ, какъ падаетъ стулъ, какъ шопотъ и крикъ ихъ становятся все непринужденнѣе, все самозабвеннѣе. Утромъ онъ уже никого не видѣлъ. Лакей подавалъ ему стаканъ чаю, онъ съѣдалъ булку и шелъ быстрой, катящейся своей походкой на остановку трамвая. Зимой горѣли на улицахъ огни въ снѣгу и туманѣ и, разсѣкая мракъ, вагонъ катилъ, дребезжа звоночкомъ, и

Алеша сидѣлъ и смотрѣлъ на подпоясанныхъ бабъ, на женщинъ, на закутаныхъ въ лисы и соболи дамъ, и находилъ, что въ нихъ во всѣхъ почти есть для него что-то соблазнительное.

Въ понедѣльникъ изъ реального онъ возвращался домой. Клавдія Ивановна прилипла къ его шинели, выходила изъ кухни нянька, и онъ обѣ принимались его пытаться: что онъ кушалъ, и не заголодался ли, и не озябъ ли, и не обидѣлъ ли его кто-нибудь? Онъ отстранялъ ихъ, на ходу говорилъ: Да все то же, какъ не надоѣсть, право. Ксенія Андреевна себѣ новую шубу заказала, съ хвостами. Папаша, кажется, лошадей собираетъ заводить.

Воткнувъ этотъ гвоздь въ материнское сердце, онъ шелъ рѣшать задачи, утѣздивъ круглый подбородокъ (на которомъ очень долго ничего не росло) въ мягкую ладонь. И всю недѣлю шло это ученіе, это стараніе, этотъ потъ, пока опять не подступалъ конецъ недѣли, какъ неожиданный, незаконный завитокъ на скучномъ, казенномъ строеніи.

Голубоглазый, тихій, сочетавшій, когда нужно, постыдность (подать, принести) и положительность, съ бѣлымъ, серьезнымъ лицомъ, онъ былъ поведенія отличнаго, ни съ кѣмъ особенно не сближался, не игралъ ни въ перья, ни въ карты и денегъ займа не давалъ. Онъ росъ, и постепенно выяснялось, что кромѣ своихъ учебниковъ онъ не читалъ ничего, но зато зналъ, что требовалось, наизусть; когда ему сдѣлалось шестнадцать лѣтъ, онъ услышалъ вокругъ разговоръ о женщинахъ — разговоръ былъ очень дѣловой и сухой, будто дѣло шло о выборѣ факультета или обязательномъ говѣннѣ великимъ постомъ. Это было въ одну изъ субботъ. Вечеромъ онъ былъ у отца, уже обдумавъ планъ дѣйствій, и поздно ночью, когда всѣ спали, натянулъ штаны и босой пошелъ къ кухаркѣ, еще молодой, красивой, вороватой женщинѣ, а черезъ полчаса уже былъ у себя — за это время не разжавъ рта, не произнеся ни одного слова, такъ что кухарка въ концѣ концовъ сказала ему:

Да что же это вы, Алешенька, все молчите? Какой строгій, хоть и маленький.

Въ двадцать лѣтъ онъ потерялъ отца, а Ксенія Андреевна въ это время была въ Кисловодскѣ, водилась съ генералами, съ подпоручиками, носила бѣлыя кружевные юбки, сочинила и издала патріотическій романъ. Алеша оставался въ Петербургѣ съ Клавдіей Ивановной, служилъ въ совѣтскомъ учрежденіи, голодалъ, въ униженныхъ мысляхъ делѣялъ какіе-то гордые, бонапартовы планы, не умѣя даже дать имъ названія, и въ эти-то годы и родилась въ немъ эта звѣриная ненависть къ власти, къ народу, къ странѣ. Принцъ крови, столбовой дворянинъ не могли бы съ такой слюной и дрожью мыслить о происшедшемъ, какъ дѣлалъ это онъ.

Все было ему ненавистно: громадное пространство, которое уже одно должно было привести къ гибели, потому что невозможно сдержать до бездорожныхъ границъ въ полицейскомъ порядкѣ лушцащій сѣмячки, сморкающійся въ руку народъ; безпорядокъ въ исторіи, вплоть до послѣпетровскаго престолонаслѣдія, который онъ воспринималъ, какъ чью-то непростительную глупость, которую теперь приходилось ему расхлебывать; ненавистенъ былъ весь девятнадцатый вѣкъ, казавшійся апокалипсическимъ знаменіемъ, и каждое десятилѣтіе котораго говорило о будущемъ проклятымъ языкомъ пророчествъ; онъ любилъ вспоминать о четырехъ послѣднихъ проигранныхъ войнахъ; о дохматыхъ, нечесанныхъ «передовыхъ», пополамъ съ охранниками засѣдавшихъ и вмѣстѣ съ охранниками бросавшихъ свои бомбы.

Когда границы раскрылись, и въ 1925 году онъ оказался въ Парижѣ, то называлъ Россію — совдепией, большевиковъ — товарищами, Ленина — нѣмецкимъ агентомъ, вѣрилъ, что самъ чудомъ избѣжалъ разстрѣла, говорилъ, что четырнадцатилѣтнія рожаютъ тамъ на государственнѣйшій счетъ отъ неизвѣстныхъ отцовъ, а мужики ѣдятъ челоуѣчину. Потомъ это прошло, о Россіи онъ забылъ. На-

чалась новая жизнь на новомъ мѣстѣ. И вначалѣ была такая схватка съ ней, что его едва не зашибло на смерть.

Они жили за городомъ, въ холодной комнатѣ вдвоемъ. Клавдія Ивановна ходила стирать поденно. Онъ смотрѣлъ, какъ изъ не старой, грузной, еще крѣпкой женщины, она превращается въ старуху, мучимую грыжей, съ кровото-чащими мозолями на отстиранныхъ пальцахъ. Онъ бѣгалъ по городу. Что онъ умѣлъ? Что могъ дѣлать? Служить въ конторѣ, мыть посуду въ ресторанахъ, быть разсылнымъ въ русской кондитерской, ходить предлагать по квартирамъ пылесосы? Онъ все это и дѣлалъ, коченѣя, недоѣдая, дрожа надъ каждой заработанной копѣйкой. Если бы онъ могъ украсть такъ, чтобы никто никогда объ этомъ не узналъ, онъ укралъ бы, но онъ не зналъ, какъ и гдѣ дѣлаются темныя дѣла.

Даже въ этой нищенской раскачкѣ, между однимъ грошевымъ днемъ и другимъ, его тянуло въ одну опредѣленную сторону, и онъ успѣвалъ выбирать, всему предпочитаемая коммисіонныя дѣла, долгую, бесплодную бѣготню по лѣстницамъ и дворамъ — сидѣнію на мѣстѣ. Ему говорили: найдите человѣка, который хотѣлъ бы приобрести пианино (или швейную машинку, или радиоаппаратъ, а не то — велосипедъ, энциклопедическій словарь, усовершенствованную половую щетку). Онъ искалъ — и не находилъ, чувствовалъ подошвами каменный, сырой холодъ мостовой, сердцемъ — сотни ступенекъ, и все-таки все не отпускалъ смутной надежды, на этой именно мостовой, на этихъ лѣстницахъ увидѣть свое благополучіе. Къ концу третьей зимы, когда Клавдію Ивановну свезли въ больницу и рѣзали, онъ воспользовался тѣмъ, что она не увидитъ газетъ и далъ объявленіе: Ксенію Андреевну Асташеву просилъ откликнуться сынъ. Въ контору газеты пришло письмо. Ксенія Андреевна давала ему свой адресъ, просила немедленно пріѣхать къ ней и удивлялась, какъ это до сихъ поръ ни Надежда Петровна, ни Василій Васильевичъ, ни Женя Соколова, ни Сипатьевы не сказали

ему, что она въ Парижѣ. Онъ никогда не зналъ этихъ людей.

Она все поняла въ ту минуту, когда онъ вошелъ, и хотя сама она измѣнилась не мало (было сорокъ, стало пятьдесятъ), но онъ измѣнился еще больше нея: появилась въ лицѣ какая-то темная одутловатость, примятость, голосъ сталъ громче, словно Алеша былъ отъ чего-то въ постоянномъ возмущеніи; быстрымъ и тусклымъ сдѣлался взглядъ, и ротъ расплзся по лицу, блѣдный и влажный. Онъ не зналъ еще, можно ли ей сказать, или надо, заложивъ большой палецъ за пройму жилета, дымя папирисой, которую она ему протягиваетъ, занестись въ разсказъ, съ храпомъ и пѣной, по такимъ дорогамъ, которыя и не снились.

— Ну, симпатичный блондинъ, — сказала она низкимъ голосомъ, жилистой рукой теребя у шеи цѣпочку, знакомую ему съ дѣтства, — разсказывай. И дурака не валяй.

Комната была не ея, она снимала ее меблированную, но комната была дорогая, съ красными шелковыми шторами, съ роялемъ (не нуженъ ли ей пылесось? нѣтъ, навѣрное не нуженъ). На столѣ стояли три бутылки — угощеніе, которымъ она собиралась его подчивать, а ему хотѣлось телячей отбивной, горячей ветчины, говядины, говядины, жареной или вареной.

— Пропаль я здѣсь, — сказалъ онъ, положилъ незажженную папирису обратно на столъ, посмотрѣлъ внизъ себѣ на руки, на обкусанные пальцы. — Не придумаете ли чего, маманъ?

Она заставила его выпить стаканчикъ бенедиктина, отъ чего у него тепло и сахарно помутилось въ мысляхъ. Закинувъ большую, нарядную ногу на ногу, показывая шелковое колѣно, подъ короткой, узкой юбкой, она сидѣла передъ нимъ — не молодая, не старая, крашенная, жилистая, самоувѣренная, курила, не улыбаясь, — улыбаться было нечему.

— Я тебѣ дамъ шансъ, — сказала она басомъ, глядя

на него проникательно. — Слушай внимательно, первый ученикъ. Подожди, я принесу тебѣ закусить. Тамъ отъ завтрака осталось.

Она вышла. Ея духи остались въ воздухѣ; крѣпкіе; тяжелые. Онъ оглядѣлся. Кто она? Что она? Вотъ утро наступаетъ, она встаетъ, что дѣлать? Куда идетъ? Чѣмъ за все платить?

Она вернулась. Ростбифъ съ горчицей и хлѣбомъ. Онъ съѣлъ. Выпилъ еще ликеру. Горчица и бенедиктинъ. Ему понравилось — когда-нибудь надо будетъ повторить, когда у него будетъ и на то, и на другое.

— Слушай. Прежде всего — обо мнѣ. У меня есть французъ. Царство небесное Георгію Ивановичу, — она плотно перекрестилась, — такого второго въ мірѣ нѣтъ: талантъ, темпераментъ, наша старая гвардія, рысакъ-человѣкъ. Да что тебѣ говорить объ этомъ, ты — сынъ. Помни одно: былъ необыкновенный мужчина. Но этотъ под-вернулся — сказка, романъ! — въ поѣздѣ. Зацѣпило его, какъ леща на крючокъ. Четвертый годъ содержитъ. Интеллигентный до высшей степени, великолѣпныхъ кровей, музыкантъ. Въ государственныхъ дѣлахъ — дока, но сейчасъ въ отставкѣ. Одно плохо: за семьдесятъ.

— Ахъ ты Боже мой! — вздохнулъ онъ сочувственно.

— Что-жъ ты ахаетъ? Подумаешь! Для хорошо сохранившагося мужчины совсѣмъ не много. Вѣдь и мнѣ не шестнадцать. Но все-таки опасно. Этой осенью отъ сердца едва не умеръ. А есть семья, жена, дѣти, есть еще любовница, съ которой тридцать лѣтъ связанъ, есть еще актриска одна, стерва страшная, живетъ съ министрами — ему нужна для дѣлъ, онъ у нея встрѣчается съ полезными людьми. Словомъ, я даю тебѣ шансъ. Вмѣсто того, чтобы ходить уговаривать людей обзавестись ненужными предметами — застрахуй его въ мою пользу.

— Какъ вы сказали? — не понялъ онъ, но по ея лицу догадался, что она подошла къ самому важному.

— Ты пьянъ? Отъ одной рюмки? Я говорю: пойди,

сдѣлайся агентомъ по страхованію отъ смерти, то-есть не отъ смерти, а на случай смерти. Ты встрѣтишься съ нимъ у меня, подружисься. Только при немъ уже не «маманъ», а очень что-нибудь отдаленное, «ма кузинъ», на примѣръ, причемъ съ мужней стороны, на двадцатой водѣ... на кисель... Онъ спроситъ тебя: чѣмъ же вы занимаетесь, молодой человѣкъ? Ты увидишь, онъ настоящій баринъ, утонченный, до высшей стелени культурный, прямо академикъ въ разговорѣ. Ты расскажешь ему случаи изъ практики, объяснишь, что такое оставить нищими близкихъ. Смертью не пугай, этого никто не любитъ, но намеки о пятомъ актѣ, о занавѣсѣ, который падаетъ неожиданно и навсегда.

Онъ засмѣялся тонко, уже совсѣмъ пьяно, привычки не было пить. Ахъ, маманъ, какая вы! Какая добрая, милая, умная! Я поцѣлую васъ, я непременно поцѣлую васъ! Вы мнѣ всегда совершенствомъ казались. Я даже когда-то волновался отъ вашихъ пеньюаровъ. Дайте хоть ручку, если не хотите иначе, какъ мать сына.

— Дуракъ, — сказала она, невольно польщенная.

И вдругъ онъ протрезвѣвъ, подобрался, прокашлянуль.

— А что, если не выйдетъ? То-есть я хотѣлъ спросить: а что если выйдетъ?

— Получишь проценты. Если доведешь до полмилліона — это большія деньги будутъ.

— Да вѣдь навѣрное это обойдется ему въ цѣлый капиталъ, если онъ такъ не молодъ.

— Обойдется. Но онъ богатъ.

Адеша помолчалъ, потрогалъ стаканы, облизнуль сладкій палець.

— А потомъ что?

— Нужно имѣть первые пять тысячъ франковъ, — сказала она просто, и сама выпила, полуприкрывъ глаза.

Онъ посмотрѣлъ на нее и вдругъ опять засмѣялся, но уже по другому — влажнымъ, мечтательнымъ смѣхомъ.

— А вѣдь хорошо бы было, маменька, дорогая, — за-

бормоталъ онъ, и что-то счастливое засвѣтилось у него въ лицѣ. — Ахъ, какъ хорошо бы было! Неужели это возможно? И такимъ честнымъ, такимъ добрымъ путемъ? Я, вы знаете, маменька, я вѣдь люблю честное, я совсѣмъ не подлець какой-нибудь; никого не могъ бы убить, на-примѣръ, и даже ограбить не могъ бы. Въ жизни своей ничьей жены не соблазнилъ, клянусь, предпочиталъ всегда свободныхъ женщинъ, и за мной, если вспомнить, настоящихъ грѣховъ никакихъ и нѣтъ. За что я страдаю такъ? — застылъ онъ, выжидая, пока слезы уйдутъ подъ вѣки, — Боже мой, за что? Характеръ у меня не плохой, я чистоплотенъ, вѣжливъ, а если я не читаю тамъ стиховъ какихъ-нибудь, или въ концерты не хожу — такъ вѣдь это же не преступленіе.

Она слушала его бормотаніе. Въ комнатѣ смеркалось. Шелковыя куклы на диванѣ никли длинными носами въ фестоны пестрыхъ своихъ платьевъ. Потомъ она встала, зажгла свѣтъ, напудрилась, надѣла высокую, странную шляпу и увела его съ собой въ магазины. И ей было пріятно, что онъ молодъ, недурень собой, чѣмъ-то по прошлому такъ близокъ, и что они вмѣстѣ сдѣлають это дѣло, которое ей не даетъ покоя вотъ уже годъ.

Когда теперь онъ вспоминалъ — очень рѣдко — объ этомъ старикѣ, которому оказалось шестьдесятъ девять лѣтъ (онъ узналъ его точный возрастъ, когда, по всѣмъ правиламъ страхового искусства, явился къ нему уже съ врачомъ для осмотра, для подписанія полиса и перваго взноса), — когда онъ вспоминалъ теперь объ этомъ очаровательномъ, сребровласомъ, хрупкомъ старикѣ, который подарилъ ему, когда все было кончено, записную книжечку, въ которую сбоку былъ воткнуть карандашикъ, а потомъ, очень скоро, умеръ, ему казалось, что это было такъ давно, на порогѣ дѣтства и зрѣлости. О, какимъ онъ былъ стыднымъ щенкомъ, когда нищенствовалъ, и падалъ, и давалъ объявленіе, и везъ Клавдію Ивановну изъ больницы домой, опять въ нетопленную комнату, опять на по-

денную работу! Но вспоминалъ онъ объ этомъ очень рѣдко, и постепенно даже все это — встрѣча съ Ксеніей Андреевнѣй, новыя рубашки, «ма кузиня», вечерніе шахматы съ мосье Роберомъ, перелистываніе нотъ на люпитрѣ, когда онъ уютно и нѣжно разбиралъ Шумана, все это такъ согнулось и скривилось въ памяти, что становилось противно и смѣшно вызывать его изъ мыслей, гдѣ оно дремало. Жизнь шла теперь такая другая, такая бойкая, гладкая, жилъ онъ такъ свободно, такъ увѣренно, позволялъ себѣ такія встрѣчи и настолько былъ самъ себѣ хозяиномъ, что иногда свисталъ какой-нибудь модный фокстроттъ на всю чисто убранныю, удобную, холостую квартиру.

2.

Утро было свѣжее, яркое; уже два раза успѣло выблеснуть солнце, и два раза обрушивался дождь, лакируя мостовую. Небо было лазурно и черно, вѣтеръ по животному раздражалъ ноздри, когда Алексѣй Георгіевичъ вышелъ въ котелкѣ, съ зонтикомъ и портфелемъ, пошелъ по тротуару и свернулъ къ остановкѣ автобуса. Лицо его блестяло, только что вымытое, въ глазахъ была ясность и синева — во всей его внѣшности было что-то, что соответствовало этому утру, этому часу, воздуху, погодѣ, — что-то здоровое, крѣпкое, напряженное и безпокойное.

Онъ еще не совсѣмъ привыкъ къ своему новому кварталу, куда переселился съ мѣсяцъ тому назадъ. Мѣстожителства свои Алексѣй Георгіевичъ мѣнялъ довольно часто, уѣзжалъ, не оставляя адреса. Это обычно совпадало съ концомъ какого-нибудь романа. «Красиво оборвать», «не взять послѣдняго аккорда», — такъ называлъ онъ ликвидацию своихъ отношеній съ женщинами. Думая въ послѣднее время чаще по-французски, нежели по-русски, онъ и по-французски уже зналъ всевозможныя подходящія этому выраженія. Онъ въ то же время гораздо лучше вя-

зались съ самимъ существомъ его романовъ, такъ какъ предметы романовъ были все больше французенки — русскихъ женщинъ Алексѣй Георгіевичъ не любилъ.

Дыханіе его было смѣсью крѣпкаго кофе и одоля. Онъ никогда не курилъ. Въ головѣ былъ адресъ одного крупнаго дѣловаго человѣка, домашній адресъ — по конторамъ Асташевъ старался не ходить. Алексѣй Георгіевичъ спѣшилъ, чтобы застать кліента дома. Мысли шли въ привычномъ направленіи. Раннимъ утромъ онъ бывалъ весь вниманіе. Предстоялъ трудовой день.

Въ кіоскъ онъ купилъ газету — французскую предпочиталъ русской, и правую — лѣвой.

Въ автобусѣ была недурненькая, и онъ долго смотрѣлъ. Онъ былъ любопытенъ до женщинъ, любилъ наблюдать за незнакомыми: какъ пудрятся, о чемъ говорятъ, какъ поправляютъ волосы, какъ скрещиваютъ ноги. Онъ вышелъ въ пустынной, широкой улицѣ, гдѣ въ этотъ часъ гуляли однѣ собаки, да переговаривались другъ съ другомъ пасущія собакъ горничныя. Голубая, вся въ локонахъ, овчарка, съ пробритой спиной, уступила ему дорогу.

Онъ шелъ вдоль садовъ. Вѣтеръ во всю шуршалъ листопадомъ. Чортъ возьми, какой садъ, какой домина! Бѣлый особнякъ, черная дверь, — и уже ничего не слышно, потому что ступаешь по такому мягкому, теплomu, песочному, такому толстому и ворсистому, что кажется — осталяешь слѣды, какъ въ бархатной пыли.

Въ одномъ узкомъ зеркалѣ отразилось другое, и тамъ, въ томъ другомъ, онъ увидѣлъ край накрытаго стола, парокъ надъ чашкой, и чей-то локоть, и еще дверь, и уже не зналъ, куда идти: въ ту ли, черезъ зеркада, или въ эту, ближайшую, куда его приглашала рука пожилого, бритаго человѣка въ лакейской курткѣ, съ пенснэ на черномъ шнурѣ.

— Доложите: Асташевъ, — сказала Алексѣй Георгіевичъ, не мѣняя выраженія своего румянаго лица. У него

была фамилія, и онъ никогда не пытался объяснять въ прихожей, что она значитъ, зачѣмъ онъ пришелъ.

Кабинетъ былъ бѣлый, какъ больничная палата, съ бѣлой кожаной мебелью такой глубины, что диванъ и кресла только и ждали, какъ бы затянуть въ свою топь присѣвшаго человѣка. Въ эту бѣлизну ковра, кресель, телефона, стекляннаго письменнаго стола, изъ бѣлой двери вошелъ человѣкъ громаднаго роста, крѣпкаго сложенія, съ мертвой скукой въ лицѣ. Онъ посмотрѣлъ на Алексѣя Георгиевича, дернулъ головой въ сторону и оперся о столъ двумя кулаками, приготовясь слушать.

— Задержу васъ не болѣе пяти минутъ, ни секундой болѣе, — сказалъ Асташевъ увѣсисто, серьезно, словно хотѣлъ въ первомъ же словѣ выразить, какъ онъ молодъ и какъ солиденъ, а голубые глаза чистотой и прозрачностью говорили о честности, о непосредственности, о православномъ крещеніи, о томъ, что еще немного, и природа превратитъ ихъ въ глаза дѣвушки, монастырки, беззавѣтно уступившей судьбѣ. — Я позволю себѣ сообщить вамъ важную новость.

— Сколько мнѣ это будетъ стоить? — хрипло и равнодушно спросилъ дѣловой человѣкъ, еще не понимая, кто передъ нимъ, и держа въ равновѣсіи тяжелый корпусъ на разставленныхъ ногахъ.

— Ни копѣйки, если вы не пожелаете ея воспользоваться. Я пришелъ сказать вещь, которая покажется вамъ ужаснымъ трюизмомъ. Мы всѣ с м е р т н ы. Меня къ вамъ направилъ Федоръ Григорьевичъ.

— Никакого Федора Григорьевича не знаю, — сказалъ дѣловой человѣкъ, сдѣлавъ непроницаемое лицо.

— Вотъ часы: я обѣщалъ, что задержу васъ недолго. Они укажутъ мнѣ время. Когда-нибудь они укажутъ н а м ъ время. Да, да не будемъ закрывать глаза: колоколь ударитъ для всѣхъ.

Дѣловой человѣкъ опустилъ кулаки, толкнулъ ногой кресло и повалился въ него.

— Чего же вы от меня хотите?

— Я пришелъ къ вамъ, чтобы напомнить, — и Алексѣй Георгіевичъ тоже опустился, но съ опаской, чтобы не потонуть. — Мы всѣ живемъ въ непростительномъ легкомыслии. Вѣдь когда-нибудь она придетъ. Посмотрю я тогда на вашу жену, на дѣтей. Посмотрю я тогда на васъ самихъ. Вы объ этомъ думали?

Онъ приложился подбородкомъ къ полупустому, мягкому своему портфелю и посмотрѣлъ вдаль съ мечтой.

— Мы даемъ вамъ возможность обезпечить семью — ничего не бояться. Довольно того, что въ послѣднюю минуту придется и безъ того о многомъ подумать — душа тамъ, или что, я конечно не вѣрю, но многіе вѣрятъ. Страшно, все-таки, и всѣмъ одинаково. Мы даемъ возможность и близкимъ предаться горю на всѣ сто процентовъ, не заботясь о хлѣбѣ насущномъ въ первые дни. Ахъ, эти первые дни!.. Мы платимъ вѣрно, легко, весело, мы платимъ быстро, чѣмъ платитъ Банкъ де Франсъ, пока вы лежите, пока покойникъ еще лежитъ на столѣ. И вамъ прямой расчетъ застраховаться на случай смерти, которая все равно придетъ.

— А, вотъ вы кто, — протянулъ дѣловой человѣкъ и провелъ рукой, холеной и блѣдной, по темному, жесткому лицу.

Алексѣй Георгіевичъ продолжалъ, уже нѣсколько спокойнѣе:

— Платить вы будете каждое первое число. Я совѣтую вамъ застраховаться въ миллионъ. Среднія деньги. У каждаго человѣка есть минуты, когда онъ думаетъ о своемъ концѣ, простите, я говорю такъ откровенно, такъ просто объ этомъ, но вѣдь мы — одни. Эти минуты страшны, потому что то, что насъ ждетъ, неизбежно, понимаете, неизбежно, какъ то, что сегодня, по любой погодѣ, наступитъ вечеръ. Пусть вы будете телефонировать, продавать, покупать, спѣшить, или пусть вы сейчасъ вотъ ляжете спать на этомъ диванѣ, онъ наступитъ. И она наступитъ

тоже, и вотъ это все, — Асташевъ зашипаль бѣлое, нѣжное мясо у себя на рукѣ — это все кончится. И что тогда?

Перерывъ — двѣ секунды. Но толкнувъ дверь плотнымъ бокомъ, вошла та самая голубая овчарка; медленно, самоувѣренно вскочила на диванъ, прошлась, оставляя мокрые слѣды на сафьянѣ, на коврѣ, на сафьяновой подушкѣ. Дѣловой человѣкъ не видѣлъ ее и не двигался.

— Какой у васъ прелестный песикъ... Разрѣшите узнать вашу возрастъ?

— Зачѣмъ вамъ? И вообще зачѣмъ...

— Неужели вы не догадались? Чѣмъ ближе къ концу, тѣмъ крупнѣе взносы: больше шансовъ. Въ пятьдесятъ лѣтъ — однѣ возможности, въ шестьдесятъ — другія. Въ семьдесятъ... Но вамъ не семьдесятъ, меня не обманешь! Одна подпись ваша и все будетъ сдѣлано.

— Больше шансовъ для чего? — медленно блѣднѣя, словно уставая на глазахъ и не имѣя силъ прогнать, обрвать пришедшаго, спросилъ дѣловой человѣкъ.

— Для того, чтобы превратиться въ тяжелый, обременительный и скоро портящійся предметъ, — быстро бросилъ въ него Асташевъ. — Вы навѣрное сидите и думаете: зачѣмъ мнѣ страховаться, когда есть дома, капиталы, процентныя бумаги... Ахъ, позвольте по сему случаю рассказать вамъ не анекдотъ, а фактъ. Пришелъ я вотъ такъ тоже къ одному большому ученому — не говорю «великому», потому что никогда никого не называю этимъ словомъ, это мой принципъ. Ученый говоритъ: помилуйте, зачѣмъ мнѣ страховаться, у меня десять томовъ научной работы, въ каждомъ томѣ по тысячѣ страницъ. Этого и на дѣтей и на внуковъ хватить. И что же вы думаете? Не прошло двухъ лѣтъ, онъ умеръ, и пришелъ какой-то недоросль, въ развязной брошюркѣ разоблачилъ старика, и теперь эти десять томовъ — Асташевъ неожиданно звонко свистнулъ, — и вдовѣ нечего кушать, такъ-таки нечего.

Дѣловой человѣкъ внезапно выпрямился, посмотрѣлъ на собачьи слѣды, незамѣтно трудно вздохнулъ.

— Спасибо. Я подумаю, — сказалъ онъ такъ, будто и въ самомъ дѣлѣ собирався долго думать надъ услышаннымъ. — Прощайте.

— Еще два слова, — вскричалъ Асташевъ, но уже приготовился сильными ногами выскочить изъ кресла. — Ни въ коемъ случаѣ не думайте, или думайте объ этомъ какъ можно меньше. Ваша подпись — все. — Онъ вытрясъ изъ портфеля листъ голубого картона съ разводами. — Вотъ здѣсь, въ уголку. А то еще одинъ пѣвецъ (баритонъ извѣстный, не могу назвать его — профессиональная тайна) думалъ-думалъ, да и умеръ. Развѣ мы можемъ знать, что съ нами будетъ?

— Уходите. Довольно, — неподвижно глядя передъ собой, сказалъ дѣловой человѣкъ, и желтые бѣлки его опухшихъ глазъ напомнили дешевую целулоидную дѣтскую игрушку. — Тичеръ, ты наслѣдилъ, пошелъ вонъ. Аутъ! Генералъ, возьмите Тичера.

Вошелъ лакей въ пенснэ на лентѣ и вывелъ овчарку. Дѣловой человѣкъ тяжело шевельнулся и началъ выползать изъ кресла. Алексѣй Георгіевичъ, какъ пружина, выскочилъ изъ своего.

— Будьте благоразумны, — сказалъ онъ опять чисто, честно и преданно. — Если мы не знаемъ, что будетъ съ нами тамъ, то мы вполне можемъ устроить свои дѣла здѣсь.

— Оставьте меня, — произнесъ дѣловой человѣкъ softly тихо, будто обращаясь къ кому-то третьему, стоящему между нимъ и Асташевымъ, или даже къ тому креслу, которое не отпускало его.

Наконецъ, онъ всталъ. Мертвая скука его лица омрачилась теперь еще чѣмъ-то, окаменѣлость темнаго овала казалась страшной.

— ...я оставляю вамъ свою карточку, — говорилъ Асташевъ, и опять его розовые пальцы пришли въ движеніе, ловя что-то, скользившее изъ портфеля.

— Не нужно. Я очень занятъ. Генераль, проводите страхового агента:

Алексѣй Георгіевичъ, вострепенувшись, пошелъ къ дверямъ, къ другимъ, къ лаковымъ, къ стекляннымъ. Онъ былъ весь вниманіе. Въ головѣ его уже былъ новый адресъ. Бушевали деревья въ узкихъ садахъ, вдоль которыхъ онъ шелъ, играя зонтикомъ. Собакъ уже не было, горничныхъ тоже. У автомобилей стояли на вытяжку шоферы, ожидая господъ, да два повара-китайца шли на рынокъ, звонко разсуждая по-китайски.

Мимо. Закрѣпить шлагбаумъ для мыслей пріятныхъ и развлекательныхъ о томъ, что понесутъ повара съ рынка: лангуста, куропатку, ананасъ. Онъ думалъ: есть ли у дѣловаго человѣка жена? Навѣрное глупая, привередливая баба, проигрывающая лѣтомъ въ казино, объѣдающаяся пирожными со сбитыми сливками. Есть ли у дѣловаго человѣка дочь? Эдакое скучающее, влюбчивое, мѣтящее въ иностранца созданіе (правильный подходъ!). Гдѣ бы найти ихъ, гдѣ бы побесѣдовать? Можетъ быть, у него есть сынъ? Да, конечно, у него есть сынъ, и адресъ этого сына даже записанъ у Асташева въ книжкѣ. Фильмовое дѣло, кабинетъ весь въ звѣздахъ, междузвѣздное верченіе, крученіе, гдѣ-то подъ самымъ небомъ, на Елисейскихъ поляхъ. Завтра пойти, уговорить, надавить. Намотать какія-то связи, оставить и тамъ свой слѣдъ. Но это — завтра, на сегодня же назначены еще три визита.

Городъ, улицы, этотъ быстрый бѣгъ встрѣчной жизни, онъ плавалъ въ немъ привычно и свободно, ему было въ немъ удобно, — гражданину, налогоплательщику... но не солдату! Подданства онъ не перемѣнилъ, конечно. «Французъ въ душѣ», говорилъ онъ часто, но паспортъ оставался тотъ же, никчемный, международный, впрочемъ, нисколько не мѣшавшій ему. Онъ не желалъ связывать свою судьбу, свою милую, теплую, крѣпкую, единственную жизнь съ цѣлой страной, съ государствомъ, въ которомъ не всегда бывало спокойно, въ которомъ иногда тоже тво-

рились безобразія. И деньги свои онъ держалъ въ американскомъ банкѣ, чтобы въ какую-то бурную, тряскую минуту уѣхать, уплыть, улетѣть, и подъ всѣми парусами продолжать свое счастливое, трудовое и, Боже мой, какое все-таки утлое существованіе.

— Отъ Ивана Степановича Бессера, — произнесъ онъ съ поклономъ, входя въ несвѣжую, но большую, всю заставленную дешевой стариной гостиную, и чувствуя особое удовольствіе отъ пожатія мягкой, какъ будто только что вымытой руки хозяина. — Простите, если помѣшалъ, но Иванъ Степановичъ непремѣнно просилъ къ вамъ зайти.

— Садитесь, садитесь, голубчикъ, — и небольшой, рыжеватый, толстенькій хозяинъ, съ выкаченными неумными глазами подвелъ его къ столику, гдѣ неустойчиво дрожали цвѣты въ вазѣ.

— Отниму у васъ минимумъ времени и сообщу — увы! — то, что по долгу службы сообщать обязанъ: занавѣсь рано или поздно упадетъ.

Хозяинъ ахнулъ и всплеснулъ руками.

— Ахъ, я понялъ. Не напоминайте. Это ужасно! Неужели же до сихъ поръ не изобрѣли ничего противъ этого? Вотъ въ Америкѣ писали про какія-то пилюли... И это называется прогрессъ!

Алексѣй Георгіевичъ даже улыбнулся:

— Какія же пилюли, помилуйте. Все на свѣтѣ, отъ букашки до генія, имѣетъ конецъ. Развѣ пилюли что-нибудь помогутъ?

— Тогда пускай намъ скажутъ, что тамъ! Вѣдь для чего-нибудь же служатъ всѣ ихъ академіи, университеты, лабораторіи всякія? Нѣтъ, нѣтъ, я не могу говорить объ этомъ, не хочу, перемѣнимъ тему. Я знаю, Иванъ Степановичъ застраховался въ сто тысячъ, и я тоже рѣшилъ застраховаться въ сто тысячъ, и даже жену мою застраховать въ сто тысячъ (на двоихъ вы мнѣ сдѣлаете скидку?). Но будемъ все это обдѣлывать незамѣтно, тихо, не будемъ

думать о смыслѣ нашихъ актовъ. Я ночи спать не буду. Я боюсь.

Асташевъ опять улынулся и слегка поклонился въ знакъ согласія.

— Мы и не говоримъ. Мы уже и забыли, о чемъ была рѣчь. Если борьба невозможна, надо постараться принять мѣры, чтобы все прошло гладко, какъ можно незамѣтно; чтобы была выплачена сумма...

— Ахъ, кстати, говорятъ, вы не всегда аккуратно выплачиваете?

— Аккуратнѣе Англійскаго банка.

— Но съ вами иногда судятся?

— Одни симулянты. Прошу васъ даже въ шутку этого не говорить.

— Ахъ, какъ интересно, значить бываютъ симулянты? А самоубійцамъ вы платите?

— За что же? — и Асташевъ сдѣлалъ непріятное, обиженное лицо. — Однимъ невоздержаннымъ движеніемъ человѣкъ зачеркиваетъ назадъ всю свою жизнь, за что же его награждать? Онъ отъ этого получается человѣкъ небывшій, химера. Мы — за нормальный конецъ. И потому мы можемъ платить только бывшимъ, существовавшимъ, но кончившимся.

— Очень интересно. Продолжайте, пожалуйста. Я позову жену.

Онъ всталъ, открылъ дверь въ сосѣднюю комнату и ласково сказалъ:

— Милая, выйди... Ничего, гость простить.

Вошла женщина, непричесанная, въ капотѣ, съ русскимъ широкимъ лицомъ и полной фигурой безъ корсета.

— Прошу васъ, продолжайте.

Алексѣй Георгіевичъ, принаравливаясь къ женскому пониманію, вкратцѣ изложилъ дѣло, по которому пришелъ.

— Ну ясно, — сказала хозяйка, почесавъ въ волосахъ.

— Въ Америкѣ давно всё страхуются. Это мы здѣсь отстали.

Изъ портфеля выскользнули прямо въ руки Асташева листы печатные, листы писанные, листы съ пробѣлами, которые нужно было заполнить. Онъ быстро нашель въ графѣ сумму, что-то подсчиталь.

— Какъ это интересно, милая, — сказалъ хозяинъ, подписывая то тутъ, то тамъ, — одинъ изъ насъ получить за другого.

— Ну естественно. Очень удобно.

Алексѣй Георгіевичъ то тутъ, то тамъ промокаль подписанное квадратомъ розоваго кляксъ-папира.

— И съ какого же дня?

— Съ этой вотъ минуты.

— Ты слышишь, милая, какъ это интересно: мы уже застрахованы.

Она тоже подписалась, гдѣ было нужно, и Асташеву, несмотря на его отказы, сейчасъ же выписали чекъ. Онъ все уложилъ, зацѣпилъ перо о карманъ и началъ прощаться. Его долго благодарили, уговаривали остаться завтракать и дали ему адресъ семейнаго знакомаго («Родного дяди Жени Соколовой, вы, навѣрное ее знаете?»): онъ давно изъявляль желаніе...

Уже въ дверяхъ Асташевъ спросиль, когда можно будетъ прислать доктора.

— Ахъ, не надо, не надо, — вскричалъ хозяинъ со слезами въ голосъ, — онъ найдетъ всякія болѣзни... Правда, милая, не надо?

Но Асташевъ сказалъ, что безъ этого нельзя, и они согласилсь, и опять поблагодарили его, и попросили поблагодарить Ивана Степановича за его постоянную о нихъ заботу.

Быль часъ завтрака. Въ недорогомъ, чистомъ, какомъ-то казенномъ ресторанѣ, гдѣ его хорошо знали, и гдѣ справа отъ него сидѣли всегда одни и тѣ же, чрезвычайнo много и вкусно ѣвшіе, южане, а слѣва тоненькая жен-

щина съ большимъ носомъ и яркимъ ртомъ, онъ завтракалъ каждый день и исключеній не дѣлалъ даже по воскресеньямъ. Онъ ѣлъ медленно, читалъ газету, подсчитывалъ на газетѣ какія-то цифры, записывалъ что-то въ книжку, соображалъ, иногда требовалъ адресъ-календарь и мягко листалъ его среди тарелокъ. Вина онъ никогда не пилъ; ему подавалась бутылка минеральной воды. Два слова о погодѣ гарсону, бросокъ въ сторону большеносоной женщины (не похорошѣла ли со вчерашняго дня?), полупоклонъ сосѣдямъ. Вареная рыба и жаркое, или жаркое и сладкое, кофе, тортъ. Три куска сахара въ маленькую, бѣлую чашку съ трещиной. Послѣ завтрака онъ шель мыть руки, чистить ногти, гребешкомъ чесалъ волосы и плоской щеткой, которую носилъ съ собой, стряхивалъ съ плечъ и груди перхоть и крошки. Потомъ онъ выходилъ, — въ рукахъ зонтикъ и портфель, въ мысляхъ — новый путь, новый адресъ. Въ этомъ городскомъ конвейерѣ, по трансмисси, не имѣющей ни начала, ни конца, ни перерыва, онъ ѣдетъ, передвигается, движется, какъ спица, какъ гайка, и ему это такъ же естественно дѣлать, какъ дереву расти на одномъ мѣстѣ.

— Перметте.

Но его не впустили. Пріоткрылась шель въ двери, блеснулъ глазъ; мужской голосъ сказалъ:

— Да, это я. А вы кто?

— Я уже заходилъ однажды, но не засталъ. Я...

— Щетки продаете? Швейныя машинки?

Алексѣй Георгіевичъ постарался вдвинуться однимъ плечомъ.

— Облегчаю самое тяжелое. Страхую отъ смерти.

Дверь поддалась и сейчасъ же надавила на него, придавила такъ, что зонтикъ вошелъ, а портфель остался снаружи.

— Подите вонъ! — и тотъ, кто стоялъ въ передней, брякнулъ въ рукъ чѣмъ-то металлическимъ, это была связка ключей. — Отъ жизни не боитесь?

— То-есть какъ это отъ жизни? — Асташевъ оторопѣлъ, гдѣ-то блеснула мысль: а вдругъ и это возможно?

— Къ чорту! — крикнулъ человѣкъ, щемя его дверью все сильнѣе. — Плевать я хотѣлъ на нее. Не испугаетъ! Отъ жизни, отъ жизни, отъ адовой жизни ищу страхователя.

— Но позвольте, я совершенно не заслужилъ. Я долженъ сказать вамъ что-то очень важное.

— Что въ ящикъ сыграемъ? Ну и пусть. Только этого и жду.

— Но жену, дѣтей, — лепеталъ Алексѣй Георгиевичъ, стараясь высвободиться изъ щели, — оставите нищими...

— Жену, дѣтей? — крикнулъ голосъ истерически. — Старой дурѣ на молодого любовника, стервецамъ — для игры на скачкахъ. Убирайтесь, не нужно.

— Со мной никто такъ...

— Вонь! Вонь! — и Асташевъ почувствовалъ, какъ что-то уперлось ему въ грудь и толкнуло его, онъ понатужился, выскочилъ изъ двери, рванувшись вбокъ, и у самаго его розоваго лица она хлопнула такъ, что дрогнулъ домъ. — Съ утра шляются, — визжалъ голосъ за дверью, — пылесосы, пишушій машинки!

Но Асташевъ только жирно плюнулъ, попавъ чуть выше замочной скважины. «Азія, — произнесъ онъ громко, — монголы», и не спѣша спустился, раскрылъ зонтикъ, потому что накрапывалъ дождь, и пошелъ, успокаиваясь, утишая кровь. И вдругъ вспомнилъ: еще одно мѣсто, еще одно имя. Назначенное на сегодня рандеву. Самое занимательное изъ всего, что предстояло.

Но прежде, чѣмъ отправиться на это рандеву, къ скульптору Энгелю, у котораго онъ уже два раза былъ и каждый разъ не могъ закончить своего съ нимъ разговора, онъ рѣшилъ съѣздить въ то страховое общество, отъ лица котораго дѣйствовалъ, и гдѣ обычно бывалъ каждый день, подъ вечеръ.

Громадная зала, въ которой сидѣло около двухсотъ

служащихъ и въ которой обычно толпилось не менѣе ста человѣкъ посѣтителей, была разгорожена рѣшетками, въ рѣшеткахъ были продѣланы окошечки, надъ каждымъ окошечкомъ былъ номеръ, была надпись. Асташевъ, пожавъ нѣсколько рукъ, легонько хлопнувъ кого-то по спинѣ и получивъ въ свою очередь нѣжный ударъ по плечу, прошелъ къ отверстию пятьдесятъ третьему, надъ которымъ было написано «смертные случаи». Впрочемъ, теперь, овладѣвъ французскимъ языкомъ въ совершенствѣ, онъ уже зналъ что слово «смерть» вообще никогда не употреблялось сидящимъ въ этомъ окошечкѣ усатымъ, немолодымъ, въ высокомъ воротничкѣ служащимъ, но употреблялось слово «кончина», звучавшее гораздо пріятнѣе для уха посѣтителя.

Продѣлавъ все, что полагается, съ двумя сегодня полученными страховками, назначивъ докторскій визитъ, получивъ необходимые бланки — дополнительные къ голубымъ листамъ съ разводами, и выслушавъ привычныя слова о томъ, что онъ одинъ изъ удачливѣйшихъ ходокъ во всемъ, сто лѣтъ существующемъ, обществѣ, онъ узналъ между прочимъ, что вчера поступило извѣстіе о смерти одного кліента, застрахованнаго имъ лѣтъ восемь тому назадъ. Онъ обѣщаль завтра же съѣздить къ нему, велѣлъ барышнѣ, сидѣвшей въ глубинѣ смертнаго окошечка, найти дѣло этого заказчика, и пока она выбирала изъ толстой папки одинъ изъ первыхъ полисовъ, мѣченыхъ его рукой, онъ поговорилъ съ сосѣднимъ окошечкомъ, съ надписью «личные несчастные случаи».

Въ пять часовъ дня онъ былъ уже у Ангеля.

Мокрыми тряпками замотанныя глиняныя бабы, кусокъ каменнаго торса съ разставленными ногами, только что отлитая изъ бронзы квадратная морда извѣстнаго боксера, съ усѣченнымъ затылкомъ и заросшимъ бронзовымъ мясомъ громаднымъ ухомъ, громоздились въ прохладной, высокой мастерской, куда его ввелъ самъ Ангель,

маленькій, сухой, въ длинномъ бѣломъ балахонѣ, безбородый, безбровый, похожій на японца.

— Ждалъ васъ, очень ждалъ, — говорилъ онъ, растягивая тонкія, зеленоватыя губы и показывая ротъ, полный тяжелыхъ, сплошныхъ зубовъ, перевѣшивающихъ впередъ все его слабое, хрупкое лицо. — Вы такъ удивительно объясняли въ прошлый разъ, зачѣмъ пришли, что мнѣ захотѣлось опять васъ послушать. Вы такъ странно говорили, будто васъ прислали съ того свѣта для напоминанія (вы вѣдь не со всѣми же такъ говорите?). А я не могъ тогда, у меня натура сидѣла, вотъ эта (онъ ткнулъ дѣтской рукой въ кусокъ каменнаго торса, и показалось невѣроятнымъ, что такой великанъ приходилъ къ нему и не задавилъ его). Я много думалъ обо всемъ этомъ потомъ, въ первый разъ пришлось мнѣ такъ думать объ этомъ. И я понялъ, что если остаться съ моей увѣренностью, что тамъ ничего нѣтъ, то жить невозможно. Вы курите?

— И не курю, и не философствую, — сказала Асташевъ, перебираясь съ неустойчиваго табурета, на который почему-то сѣлъ, на мягкій шерстяной диванъ, стоящій въ углу мастерской. — Въ прошлый разъ мы говорили съ вами о двухстахъ тысячахъ. При вашей относительной молодости — прямой расчетъ.

— Хорошо, — отвѣтила Энгель, задумчиво и сильно потирая двумя пальцами свой узкій, желтый лобъ. — Но не это главное. А вотъ то, что вы пришли ко мнѣ съ этими вашими разговорами и о пятомъ актѣ, занавѣсъ, финалъ, о томъ, что все имѣетъ конецъ, со всѣми этими сравненіями не Богъ вѣсть какого вкуса, вотъ что важно, и страшно важно для меня. Вы мнѣ сдѣлались необходимы. Мнѣ показалось, что вы облегчите продумать до конца весь этотъ ужасъ.

— Польщенъ.

— Есть что-то въ васъ такое коробящее... Впрочемъ, потомъ о васъ, сначала — обо мнѣ, потому что, не спавъ

много ночей подряд и вот уже двѣ недѣли почти совсѣмъ не работая, я сталъ во всемъ сомнѣваться: мнѣ начало казаться, что если есть здѣсь, то есть и тамъ, то-есть тамъ не можетъ не быть, если здѣсь такое. Я поколебался въ своей увѣренности, и отъ этого мнѣ стало немножко легче.

— Помилуйте, — вскричалъ Асташевъ и улыбнулся самой прямодушной изъ своихъ улыбокъ. — Что же тамъ можетъ быть? Вѣдь вамъ не шестнадцать лѣтъ, вы опытные, бывалы, навѣрное даже (не обижайтесь!) развратны. Какія же могутъ быть сомнѣнія въ томъ, что тамъ ничего нѣтъ? И что вы нашли здѣсь такого, что бы ввело насъ въ заблужденіе относительно тамъ? Вкусная ѣда, молоденькія женщины, красоты природы, комфорта и обеспеченность жизни.

— Нѣтъ, что-то еще есть, — настойчиво сказалъ Энгель и внимательно посмотрѣлъ на Асташева.

— Ей Богу не вижу. И повѣрьте, что когда я говорю «вкусная ѣда», то говорю объ изрѣдка стѣдаемыхъ деликатессахъ, а вовсе не о томъ, чтобы наѣдаться каждый день до отвала и болѣть. А о женщинахъ: было время — красѣли, потѣли, вздыхали (можетъ быть, не лично я), но сейчасъ-то уже каждому ясно, что такое есть эта любовь. И сами женщины поняли. А если нѣтъ — тѣмъ хуже для нихъ.

— Нѣтъ, это все не то. Я самъ не знаю, но что то еще есть, кромѣ этого. Иначе быть не можетъ.

— Искусство? Литература? Было и это. Читали до зари, увлекались политикой (я впрочемъ — никогда). И въ этомъ кое-что теперь уразумѣли. Научились. Что же остается?

Энгель отошелъ къ окну и тамъ смотрѣлъ въ сентябрьскія сумерки.

— Но вѣдь такъ думая, какъ же жить? Какъ же умирать?

— Какъ жить? А вотъ вы послушайте: шель я сего-

дня утромъ къ одному кліенту. Кобелекъ за сучкой на тротуарѣ ухаживаль. И знаете, что я про себя воскликнулъ? Какъ просто счастье! — онъ засмѣялся.

Энгель вернулся къ дивану, замялъ окурокъ въ блюдечко и медленно сказалъ:

— Но что дѣлать тому, кто такъ не можетъ?

— Стараться устроиться наиболѣе цѣлесообразно. Привыкать мѣры. Лечиться, работать, жить, какъ всѣ живутъ. Застраховаться. Государство зиждется на такихъ, какъ я и какъ вы, а не на мечтателяхъ и неудачникахъ. Круговая порука трезвыхъ людей облегчать себѣ жизнь и смерть.

— Нѣтъ, этого мало.

Асташевъ мелькомъ посмотрѣлъ на часы подѣ обшлагомъ, повертѣлъ въ рукахъ какую-то книжку и снова положилъ ее рядомъ съ собой.

— Мое дѣло маленькое, — сказалъ онъ, какъ бы извиняясь. — Напоминать людямъ, что неизбежное придетъ и что нужно заблаговременно обставить его наиболѣе выгоднымъ и удобнымъ способомъ.

Косые глаза Энгеля опять съ какой-то грустной надеждой уставились въ круглое, гладкое лицо Алексѣя Георгіевича. Оба помолчали.

— Я воображаю, — заговорилъ Энгель уже болѣе равнодушно, — какой у васъ опытъ съ людьми. Вѣдь навѣрное нѣкоторымъ отъ вашего присутствія очень не по себѣ. Вы могли бы писать записки. Вы можете быть ихъ и пишете?

Асташевъ пріосанился.

— У меня къ литературѣ очень большія требованія, — сказалъ онъ съ достоинствомъ, — если бы я сталъ писателемъ, то во всю копался бы въ человѣческой душѣ и сдѣлался бы чѣмъ-нибудь среднимъ между Толстымъ и Достоевскимъ, но по-французски.

Опять оба помолчали. Наконецъ, Асташевъ, все время ловившій въ мысляхъ прерванную нить, нашель слова, которыя искалъ:

— Итакъ, позвольте подвести итоги: вы испуганы, вы

смущены. Но вы не перестаете думать и о практической сторонѣ дѣла. Я сегодня принесъ всѣ нужныя бумаги; такъ какъ вамъ нѣтъ сорока лѣтъ, то дѣло обойдется даже безъ медицинскаго осмотра, достаточно одного анализа, и если отсутствуеѣтъ сахаръ...

— Послушайте, — сказалъ Энгель съ дѣтскимъ удивленіемъ, — зачѣмъ мнѣ страховаться? Я совершенно одинъ, у меня нѣтъ ни жены, ни дѣтей, ни племянниковъ. Я живу, работаю, продаю, даю деньги тому, у кого ихъ нѣтъ и кто меня объ этомъ проситъ, ношу костюмъ четы-ре года и ѣмъ одну зелень. Я не буду страховаться.

Асташевъ вдругъ рѣзко всталъ.

— Позвольте, — сказалъ онъ звонко и злобно, — я прихожу къ вамъ въ третій разъ, и сижу у васъ, и объясняюсь съ вами. Мое время стоитъ дорого. Зачѣмъ же вы просите меня приходить? Если вамъ не для кого страховаться, вы должны были мнѣ сказать объ этомъ раньше. Вы дѣлаете большую глупость: вы молоды, вы здоровы, вы можете застраховаться на дожитіе.

— Не сердитесь на меня, пожалуйста, — сказалъ Энгель и повернулся спиной къ Асташеву. — Я просилъ васъ придти потому, что мнѣ казалось, вы что-то знаете, вы вѣроятно сами не замѣчаете, около чего вы ходите. Скажите же мнѣ только одно: какъ вы себѣ представляете, какъ это будетъ?

Асташевъ уже надѣвалъ пальто въ передней.

— Какъ съ зайцемъ на охотѣ, какъ съ мухой въ стаканѣ, — сказалъ онъ сердито. — Я — селфъ мэдъ мэнъ, и меня эти подробности не касаются.

Онъ взялъ зонтикъ и портфель, приподнялъ шляпу надъ головой и, ни слова не сказавъ болѣе, вышелъ. Энгель, вытирая вспотѣвшія ладони носовымъ платкомъ, пошелъ къ окну смотрѣть ему вслѣдъ. Окно мастерской выходило на площадь и онъ видѣлъ, какъ Асташевъ вышелъ, какъ пошелъ, какъ подозвалъ таксомоторъ, сѣлъ въ него и уѣхалъ.

День кончался. У Клавдіи Ивановны попрежнему не дѣйствоваль лифтѣ; онѣ пилѣ чай, она вязала. Говорили сегодня о политикѣ и Алеша пытался объяснить мамашѣ, что пролетаріатѣ это тѣ, отъ которыхъ дурно пахнетѣ. Потомѣ онѣ ушелѣ, и у Ксеніи Андреевны былѣ уже совсѣмѣ спокоенѣ и веселѣ.

— Маменька, — говорилѣ онѣ, закусывая холодной телятиной и выбирая минуту, когда адмиралѣ и губернаторѣ не слушали, — я вчера отъ васѣ поѣхалѣ въ Табарнѣ, съ двумя канканерками, до поздней ночи. Угощалѣ икрой, поилѣ шампанскимѣ. Дайте мнѣ на всякій случай адресѣ доктора Маркелова. Разстались, какѣ товарищи.

Она качала головой съ нескрываемымѣ удовольствіемѣ и груднымѣ своимѣ шопотомѣ отвѣчала:

— Отсядѣ подальше, гробовщикѣ: отъ тебя твоими покойниками пахнетѣ.

3.

Онѣ познакомился съ ней года два тому назадѣ, она жила съ двумя старыми тетками въ томѣ же домѣ, гдѣ и Ксенія Андреевна, только внизу, и однажды зашла сказать, что если придетѣ Вязминитиновѣ, то чтобы непременно спустился къ нимѣ, потому что сегодня заходилѣ кто-то, кто видѣлѣ недавно его сына въ Москвѣ; словомѣ, было какое-то порученіе, которое она пришла исполнить. Маманѣ даже не взглянула на нее: хорошо, я скажу. Но когда пришелѣ Вязминитиновѣ, она забыла о Женѣ, и на слѣдующій день Женѣ пришлось придти опять; она настойчиво просила простить ее за беспокойство и оставила Вязминитинову записку. Асташевѣ опять былѣ тутѣ. Онѣ всталѣ, поздоровался, спросилѣ, была ли Женя на модной пьесѣ, въ которой играетѣ актриса съ изумительнымѣ бюстомѣ; Женя покраснѣла, глаза у нея блеснули

горячо, но строго, и она сказала, что въ театры совсѣмъ не ходитъ, такъ какъ вечерами всегда занята.

— А въ кинематографы? — спросилъ онъ, разглядывая ее внимательнѣе.

— Охъ, каждый день, — отвѣтила она. — Вѣдь я служу кассиршей.

На ней было шерстяное, синее платье съ пуговками, которыя шли по худенькой груди отъ ворота къ поясу.

— Какія въ высшей степени оригинальныя пуговицы, — сказалъ Асташевъ и хотѣлъ дотронуться до одной изъ нихъ. Она отшатнулась, глаза ея стали темными (а были свѣтло-карими), и быстро подбирая и подкручивая на затылкѣ свои свѣтлые волосы съ золотымъ отливомъ, она ушла. И онъ увидѣлъ вдругъ, что она тонка и стройна, въ мѣру высока, съ высокою таліей и длинными, прямыми ногами.

— Ея мать вторымъ бракомъ за графомъ Лодеромъ, — сказала Ксенія Андреевна; — тетки у нея полуумныя, въ страшной строгости ее держатъ. А она невинная, между прочимъ, голову даю, невинная. Феноменально, но фактъ.

Черезъ недѣлю онъ столкнулся съ ней у парадной двери.

Онъ уходилъ домой, она возвращалась съ работы. «Вотъ тутъ, — онъ указалъ на ея черную сумочку, — вы носите всю вашу кассу». — «Нѣтъ, — отвѣтила она, — я сдаю деньги хозяину, онъ заходитъ за ними». — «Ахъ, какъ жалко, а то бы я обокралъ васъ въ какомъ-нибудь переулкѣ». Она улыбнулась смущенно: «А въ кассѣ у меня почему-то лежитъ револьверъ, — сказала она довѣрчиво, — я не знаю, зачѣмъ онъ собственно лежитъ, я не умѣю стрѣлять». — «Развѣ бываютъ такія крупныя суммы?» — «Въ томъ-то и дѣло, что нѣтъ. Я думаю, его просто кто-нибудь забылъ, обронилъ. Вотъ уже годъ какъ у меня тамъ хранятся пять перчатокъ, — все съ правой руки, двѣ связки ключей, пудреница, зажигалка, булавка

съ фальшивымъ камнемъ. Такъ и лежать». — «Хотите пройтись немножко? Еще рано и вечеръ хорошій». — «Нѣтъ, — отвѣтила она, — меня ждуть дома». И словно не договоривъ чего-то, она подала ему худую руку въ замшевой перчаткѣ. «Развѣ у васъ нѣтъ флирта и вы всегда возвращаетесь во время?» — «У меня нѣтъ флирта и никогда его не было», — отвѣтила она и ушла.

«А вѣдь она красива, красива! Мила, невинна, тонка, молода; у нея веселый взглядъ и грустный голосъ, и странно, что она до сихъ поръ не замужемъ. Ей навѣрное подъ тридцать», — думалъ онъ дорогой, но на слѣдующій день онъ уже не помнилъ о ней, и когда, черезъ мѣсяць, опять столкнулся съ ней на лѣстницѣ, не узналъ ее.

Онъ обернулся, и она обернулась въ одно и то же время, и въ темнотѣ оба остановились. «Вы со службы? Такъ поздно?» — «Всегда въ это время, въ безъ четверти одиннадцать». — «И завтра, и каждый день?». Она вдругъ опомнилась отъ этихъ вопросовъ и не отвѣтила, посмотрѣвъ, не глядя. «Вы похорошѣли, — сказалъ онъ, — за то время, что мы не видались. А какъ поживаютъ пуговики? Всѣ на мѣстѣ? И до сихъ поръ все нѣтъ флирта?»

Она медленно раздвинула накрашенный длинный ротъ, показала ровные бѣлые, узкіе зубы, и серьезно сказала:

— Если не считать васъ.

И ушла въ тьму нижней площадки, и когда онъ зажегъ свѣтъ, шаги ея стихли, и только гдѣ-то хлопнула дверь.

Каждый вечеръ онъ встрѣчалъ ее, но уже не на лѣстницѣ, а на улицѣ, и они нѣсколько минутъ разговаривали, и всегда находилось о чемъ. Онъ провожалъ ее до дому, слушая рассказы о службѣ, о теткахъ, о матери, о подругахъ. «Хорошенькія?» — спрашивалъ онъ, и она отвѣчала: «Вродѣ меня, не очень».

— Изъ того, что вы каждый вечеръ приходите къ Ксеніи Андреевнѣ, я заключаю, — сказала она однажды,

смущенно улыбаясь, — что у васъ тоже нѣтъ флирта сейчасъ, если не считать меня.

Но онъ отвѣтилъ съ неожиданной прямоотой:

— Флирта нѣтъ, но есть одна знакомая дама, у нея корсетная мастерская, она, конечно, французенка. Къ ней можно придти и къ двѣнадцати ночи, раньше даже нечего дѣлать. Но она мнѣ, кажется, скоро надоѣстъ. Вы мужчине не знаете, мы — страшныя свиньи. Впрочемъ, за то насъ и любятъ.

Она твердымъ шагомъ дошла до двери, и, прощаясь, блѣдная, сказала, что завтра у нея начинается отпускъ. «Какъ, среди зимы? Куда же вы поѣдете?» — «Никуда. Развѣ нужно непременно куда-нибудь ѣхать?»

Потомъ тетки ея перемѣнили квартиру. Онъ никогда не спрашивалъ о Женѣ, но иногда она вспоминалась ему такимъ слабымъ, стройнымъ, гибкимъ растеніемъ, почти прозрачнымъ, немножко ядовитымъ. Потомъ онъ забылъ о ней.

Умерла та самая тетка, у которой были деньги, и Женя съ другой никакъ не могли вступить въ наслѣдство. Шли мѣсяцы, жить стало трудно. Былъ споръ, близился судъ, завѣщанія не нашли. Жизнь стала совсѣмъ другой — ограниченной во всемъ, очень тихой. Женя всю жизнь работала, всегда содержала себя, но теперь на ея жалованіе жило двое, причемъ оставшаяся въ живыхъ старуха была слаба и всегда болѣла, и обратиться за помощью было не къ кому, потому что эта была сестра Женинаго отца, и мать Жени была съ ней въ давней ссорѣ.

Днемъ и вечеромъ Женя сидѣла въ кабінѣ небольшого, наряднаго кинематографа, такъ что посѣтители видѣли обычно только ея руки, тонкіе пальцы съ накрашенными, темно-красными, длинными ногтями и кольцомъ съ агатомъ, вдѣланнымъ въ платину. Иногда кто-нибудь, изъ покупавшихъ билетъ, старался выгнуться, дышалъ въ отверстие стекла, заглядывалъ ей въ лицо, но она, не поднимая головы, отмѣчала что-то карандашомъ, отрывала

зеленый билетъ, давала изъ коробочки серебряную и мѣдную сдачу. И все шли ей въ руки эти билетныя книжки, десятки книжекъ, которыя она аккуратно прятала въ ящикъ, тотъ самый, въ которомъ лежали пять чужихъ перчатокъ, пудреница и зажигалка. И иногда подкрадывалась къ ней кошачьими шагами надежда, что Асташевъ вдругъ придетъ — не за ней, не къ ней, а придетъ въ кинематографъ, какъ зритель, купить у нея билетъ, и она даже поздоровается съ нимъ за руку въ стеклѣ, прорѣзанномъ такъ низко.

Теперь она жила далеко, на другомъ берегу Сены, и уже никогда не могла бы встрѣтиться съ нимъ ночью, и тѣ прошедшія встрѣчи, когда, какъ ей казалось, онъ ждалъ ее, вспоминались ей чѣмъ-то безумнымъ, чѣмъ-то вѣчнымъ; она думала, о томъ, что вотъ она живетъ и уже давно о немъ ничего не знаетъ, ходитъ ли онъ попрежнему къ Ксеніи Андреевнѣ, живетъ ли съ владѣлицей корсетной мастерской, попрежнему ли онъ улыбается широко и весело, и аккуратно одѣтъ, и немножко толстъ? Ей становилось такъ грустно, когда утромъ, заспанная, въ халатикѣ, съ синевой у глазъ, она стояла надъ закипавшимъ кофейникомъ, и рѣшала написать ему письмо, причемъ первая фраза была уже придумана: «Не я — Евгения, но вы должны были бы называться Евгениемъ, милый Алексѣй Георгиевичъ, потому что я, совсѣмъ какъ Таня Ларина, пишу вамъ это письмо». Она понимала въ эти утра, что никогда не напишетъ ему, никогда не попроситъ подарить ее своимъ чувствомъ, или именемъ. «Но что же дѣлать, что же мнѣ дѣлать?» — спрашивала она свое большое тусклое окошко, отъ котораго зимой шелъ холодъ, и которое лѣтомъ допускало теплый шелестъ душистыхъ кустовъ сосѣдняго садика, который былъ виденъ внизу, какъ въ колодецѣ.

Бывали дни такой сонной тоски или дѣловой, суетливой скуки, что мерцаніе въ памяти его голоса, его походки, всего его облика, уходило, и возвращалось къ ней

еще болѣе нѣжнымъ и обезкровленнымъ; когда она, усталая, оставалась одна. Комнаты своей у нея не было, она спала въ столовой, рядомъ жила тетка — это теперь была вся ихъ квартира. Женья никогда ни къ кому не ходила въ гости и никого не звала къ себѣ, потому что на разговоры у нея не было времени, да она и не умѣла разговаривать. Постепенно она перестала ходить и къ матери, потому что ей казалось, она стѣсняетъ мать; постепенно она отстала отъ подругъ. Теперь всѣмъ стало ясно: она бѣдна, она одинока, ей выпала жизнь тусклая, безъ счастья, безъ восторговъ, и удивительны были въ ней ея естественное изящество, длинные глаза, золото гладкихъ и легкихъ волосъ, и длинныя ноги, которыя она любила одѣвать въ грубыя туфли и тонкіе чулки, такъ что сквозили волоски и отчетливо была видна родинка надъ костью.

Толстая старуха съ трудомъ передвигавшая ноги, обремененная наслѣдственной тяжбой, привыкшая къ жизни праздной и сытой, иногда молчала по цѣлымъ днямъ. Женья писала за нее письма адвокатамъ и нотаріусамъ, кормила ее въ постели или въ креслѣ, потомъ уходила на службу, какъ во снѣ видѣла передъ собой мѣняющуюся хвостъ людей, пришедшихъ развлечься, — и такъ проходилъ ея день, и она думала о томъ, что это и есть жизнь, а то бываетъ еще и горе.

Почти не рѣшая — она не услѣдила, какъ это сдѣлалось, — однажды, осенью, послѣ того, какъ она года полтора не видалась съ Асташевымъ, она вздумала пойти къ Ксеніи Андреевнѣ. Въ касетъ кинематографа ее замѣнили на этотъ вечеръ, и она все въ томъ же шерстяномъ синемъ платьѣ, уѣхала, сама не зная зачѣмъ, и не умѣя объяснить себѣ этого поступка, на ту улицу, гдѣ онѣ когда-то жили. Домъ показался ей совсѣмъ чужимъ и мрачнымъ, подъѣздъ разволновалъ ее воспоминаніями. Но ничего же не было, ничего рѣшительно не сказалъ онъ ей, да и не нужно ей было его словъ. Она поднялась, и уже въ пе-

редней слышала его голосъ. Но предлога, которымъ она могла бы объяснить свое появленіе, она такъ и не нашла.

Но предлогъ былъ совершенно и не нуженъ. Ксенія Андреевна была въ какомъ-то нервномъ, повышенномъ настроеніи и заключила ее въ свои сильныя, душные объятія. Кромѣ Асташева было еще два гостя, оба незнакомыхъ Женѣ.

— Женечка Соколова, — сказала Асташевъ, — нельзя ли васъ угостить ликеромъ съ горчицей?

И вдругъ онъ почувствовалъ звѣриную радость отъ ея присутствія.

Она пила маленькими глотками и улыбалась, и удивлялась этому воздуху, въ которомъ совсѣмъ по другому дышалось, чѣмъ всюду на землѣ: что-то было пряное въ этой шолкомъ отливавшей, еще прямой, крашеной старухѣ, въ двухъ мужчинахъ, видимо зараженныхъ этой пряностью, и грубо и страшно ухаживавшихъ за ней, и наконецъ, что-то особенное было въ Асташевѣ, въ Алешѣ Асташевѣ, какъ она про себя называла его, что-то вдругъ близкое, рѣшительное, мѣнявшее ее самое навѣки.

— Ну, если вамъ очень хочется, то такъ и быть, расскажите, — говорилъ онъ, забывая, что только что самъ просилъ ее рассказать, какъ она поживала все это время. Но она молчала, сіяя блѣднымъ лицомъ, смотря въ его круглые, голубые глаза.

— У васъ такіе голубые глаза, какіе бываютъ только у дѣтей или у очень древнихъ стариковъ, — сказала она съ большой любовью

— Мнѣ это миллионъ разъ говорили, — засверкала онъ зубами, и она замѣтила, что сбоку появился золотой. — Послушайте, душечка, вы когда-нибудь цѣловались съ женщиной?

— Нѣтъ, — отвѣтила она, и покачала своими золотыми волосами.

— Какая же вы должно быть тогда дурочка!

Они оба засмѣялись. И вдругъ ей захотѣлось распла-

катся. Она минутъ пять просидѣла неподвижно, молча, пока онъ рассказывалъ «совершенно правдивое происшествіе» изъ собственной жизни, и хотя дѣло касалось женщины, Женя слишкомъ была занята тѣмъ, что дѣлалось въ ней самой, чтобы понять, что онъ ей говорить.

«Я его совсѣмъ не знаю. За что я люблю его? За его красоту? Но онъ навѣрное только одной мнѣ кажется прекраснымъ, да и развѣ я могу любить кого-нибудь за красоту? Вонъ какъ онъ некрасиво ѣсть, да и вообще, если бы онъ дѣйствительно былъ красавецъ, онъ бы уже давно былъ женатъ. Холостыхъ красавцевъ не бываетъ. Я люблю его, можетъ быть, за его вниманіе ко мнѣ? Но гдѣ это вниманіе? Если онъ однажды спросилъ меня про пуговицы этого платья, то вѣдь это еще не доказываетъ, что онъ запомнилъ самое меня. Я люблю его за все, за эту грубость, за кажущуюся его подлость, за разбойный смѣхъ, за хамство нѣкоторыхъ движеній»...

— Я долженъ вамъ признаться, Женечка, я тоже никогда ни съ кѣмъ не цѣловался, — и онъ сдѣлалъ преступное лицо. — Времени не было. Что другое — было, а вотъ насчетъ поцѣлуевъ — все какъ-то не успѣвалъ. Вообще, я всегда спѣшилъ ужасно. И знаете, что я вамъ скажу: когда мнѣ было шестнадцать лѣтъ, то былъ одинъ будильникъ, у кухарки въ комнатѣ, тикалъ безбожно громко. Вѣдь такъ я и не удосужился разсмѣтрѣть: комодъ тамъ былъ, или подоконникъ, или просто полка какая-нибудь — ей Богу! Жизнь коротка, а дѣла много.

«А что если это и есть предѣлъ возможнаго счастья, — думалось ей, — и лучше этихъ минутъ не будетъ никогда, никогда?»

— Вы знаете, что сейчасъ было бы самое интересное? — сказалъ Алексѣй Георгіевичъ, — пойдемте куда-нибудь. Пойдемте хоть къ вамъ въ кинематографъ. Возьмемъ самую дорогія мѣста.

— Нѣтъ, зачѣмъ же въ кинематографъ. Да и поздно. Да и картина тамъ сегодня такъ себѣ.

— Ну такъ поѣдемъ на Выставку. Я еще не была на Выставку. А вы были?

— Я ходила съ тетей, но почти ничего не видѣла.

— Съ тетей. А сегодня пойдете съ дядей. Только тоже ничего не увидите.

Это было осенью, въ годъ Всемирной Выставки, той самой, которая такъ исказила на нѣсколько мѣсяцевъ Парижъ и исчезла, не оставивъ ни эпохи, ни памятника, не оставивъ въ памяти большинства людей ничего, кромѣ обилія и беспорядка свѣта, предметовъ и толпы.

Когда они взошли на мостъ, въ густой, пружинившей съ четырехъ сторонъ толпѣ (Асташевъ велъ Женю подъ руку, чтобы не потеряться), и надъ ними, въ лунномъ сентябрьскомъ небѣ, длительно и текуче разсыпался залпъ фейерверка, была уже ночь, и это празднество, которое больше поражадо зрителей, чѣмъ ихъ заражало, уже клонилось къ концу. Подъ мостомъ была тяжелая, лиловая отъ свѣтовыхъ фонтановъ Сена, гдѣ дрожали, меркли, вспыхивали и качались огни; съ береговъ ввысь неслись ракеты, разрывались, разлетались дѣтскими воздушными шарами въ глубокой, черной высотѣ; тысячи шаровъ, млечнымъ путемъ текли по небу, пропадали, послѣдніе становились похожи цвѣтомъ и размѣромъ на плывущій мимо нихъ мѣсяцъ. Съ Эйфелевой башни ревѣла металлическая музыка, хоръ голосовъ, органъ, отъ звуковъ котораго рябило въ глазахъ; сирена рыдала вдаль, и опять сыпалось въ небо, потерявъ верхъ и низъ, золото римскихъ свѣчь, и падало въ темноту плывущаго, заблудившагося облака.

Все качалось — вода подъ мостомъ, толпа на берегу, воздухъ, пронзенный свѣтомъ; плакалъ потерявшійся ребенокъ, прижатый къ периламъ моста; городской продирался къ нему сквозь толщу шатающихся тѣлъ. И Женя, дышащей дымомъ ракетъ и этой ревущей откуда-то музыкой, казалось, что все это, весь этотъ задуманный кѣмъ-то праздникъ, на самомъ дѣлѣ низринуть въ этотъ го-

родъ, въ этотъ вечеръ, такимъ, какимъ онъ долженъ былъ бы быть гдѣ-то, гдѣ нѣтъ ни печали, ни воздыханій, ни жаркой человѣческой тѣсноты, ни обмана; ни разлуки, ни убожества картонной декорации пивного павильона, а есть только хорей собственнаго сердца, какъ моторная лодка несущагося по озеру счастливыхъ слезъ.

Потомъ они сидѣли на поплавокѣ, пока все не погасло. Онъ говорилъ, что она должна придти къ нему, что русскія женщины вообще ужасныя ломаки. Когда мимо проходила какая-нибудь женщина, онъ сейчасъ же смотрѣлъ ей вслѣдъ и дѣлалъ замѣчаніе.

— У меня опредѣленный вкусъ, — говорилъ онъ, потягивая изъ соломинки, заломивъ шляпу на затылокъ. — Мнѣ чаще нравились брюнетки, чѣмъ блондинки. Была у меня лѣтъ пять тому назадъ одна блондинка. Боже мой, какъ она мордовала меня, какъ мордовала. Мы, мужчины, страшныя свиньи, вамъ, Женечка, еще многому учиться предстоитъ. Предлагаю вамъ поступить ко мнѣ въ обученіе.

Ей теперь уже не казалось, она знала, твердо, ясно, что этотъ вечеръ не повторится больше, онъ останется единственнымъ, и надо сдѣлать что-нибудь, чтобы продлить его, потому что ночь, потому что утро, оборвутъ все, сомнутъ все, сломаютъ ей жизнь. Она не думала больше: за что, почему, любить его, все, отъ его имени, до его непобѣдимой никакими французскими словечками русскости, нравилось ей, томило ее; и зачѣмъ, зачѣмъ, передъ кѣмъ и для кого нужно было объяснять и оправдываться? Она никогда не сидѣла такъ съ мужчиной ночью на палубѣ неподвижной яхты (которая могла, только не хотѣла двинуться въ кругосвѣтное путешествіе, въ сказочныя страны, яхты съ погашенными огнями); ей казалось, что вдвоемъ съ нимъ можно было бы прожить нестрашную, голубиную жизнь, или полжизни, или хотя бы четверть жизни, — никогда, ни съ кѣмъ ей не хотѣлось прожить даже сутки. Она думала о томъ, что въ чемъ-нибудь она да

поможетъ ему, рядомъ съ нимъ, незамѣтно и храбро, — и кое-чего, чего онъ не могъ одинъ, и чего она не умѣла одна, они вмѣстѣ, можетъ быть, достигнуть.

Въ полной тьмѣ толпа валила теперь къ выходамъ. Они оба шли скорымъ шагомъ вмѣстѣ со всѣми къ остановкѣ метро. Ей было въ одну сторону, ему — въ другую.

— Проводите меня до постельки, — сказала онъ, удерживая ея руку въ своей, — объ этомъ никто не узнаетъ. Не будьте провинціалочкой.

Но она вырвала руку, бросилась внизъ по лѣстницѣ, остановилась, оглянулась, вспомнивъ, что онъ не сказалъ ей когда и гдѣ они опять увидятся, но его уже не было, сверху на нее шла толпа усталыхъ, измятыхъ, пыльныхъ и потныхъ людей. Они проводили ее и въ вагонъ, и по улицѣ шли съ ней, вплоть до самаго ея дома, и даже кто-то вошелъ съ ней и поднялся за ней — этажемъ выше. Зато, когда она осталась одна у себя на диванѣ, въ столовой, гдѣ всегда пахло ѣдой, слезы вдругъ закапали ей на руки, она не знала, что ей дѣлать съ ними, какъ подобрать, какъ остановить. Слишкомъ жестоко было это приближеніе къ ней совсѣмъ чужого человѣка, вышедшаго навстрѣчу изъ милліона другихъ ему подобныхъ, котораго она до сихъ поръ не знала, чѣмъ-то отмѣченнаго для нея, заслонившаго ей міръ; въ этомъ приближеніи она угадывала рокъ, грань жизни, и обѣими руками сжимая себя грудь, шептала его имя.

Лилъ сильный дождь, дулъ вѣтеръ, было совсѣмъ по осеннему холодно, сыро и скучно, когда спустя четыре очень долгихъ, мучительныхъ для Жени дня, онъ пришелъ за ней въ кинематографъ. Было около половины одиннадцатаго. Она сдавала кассу хозяину, шель послѣдній сеансъ, и Асташевъ, увидя хозяина, спокойно сказалъ ей: «Бонсуаръ, шер!» отряхивая зонтикъ. Она потеряла голосъ отъ счастья и стыда, досчитала деньги и талоны,

и что-то прибирая, и запирая, и туша свѣтъ надъ собой, нѣсколько разъ оглянулась на него и улыбнулась ему. Онъ разглядывалъ плакаты на стѣнахъ, повернувшись къ ней спиной.

Когда они вышли, таксомоторъ уже ждалъ. «Куда? — спросила она, — уже поздно». Онъ подтолкнулъ ее молча, и когда они сѣли, не глядя ей въ лицо, сказалъ быстро и сухо:

— Я не изъ тѣхъ, которые обнимаются въ машинѣ. Не бойтесь. Во-первыхъ, — это неудобно, не комфортабельно. Во-вторыхъ... Какъ вы себя сегодня чувствуете?

— Куда мы ѣдемъ? — опять спросила она и увидѣла бутылку шампанскаго, торчащую у него изъ кармана.

— Женечка, Женечка, — сказалъ онъ съ досадой, — вы ужасно много задаете вопросовъ.

— «Вся жизнь моя была залогомъ», — сказала она тихо и опустила лицо въ руку. — Это — изъ Онѣгина.

— Хорошая опера, — отвѣтилъ онъ и прокашлялся.

— Вы любите музыку? — и лицо ея освѣтилось такой радостью, что онъ даже удивился.

— Люблю. Но мало приходится слышать. Ну вотъ, мы пріѣхали.

Они вышли. Отъ дождя, лившаго ливня, она сейчасъ же вбѣжала въ подъѣздъ. Онъ расплатился и, распахнувъ пальто, и куда-то въ боковой карманъ пряча мелочь, пошелъ прямо на нее, обнялъ, вдавилъ въ дверь, поцѣловалъ, поймалъ ее за локти и, не давая опомниться, молча обнимая и торопя, потащилъ къ лѣстницѣ.

— Отпустите меня, милый Алексѣй Георгіевичъ, отпустите, — зашептала она, — я вамъ что-то скажу. Я боюсь. Въ другой разъ приду. Я не буду шумѣть, я тихонько. Выпустите меня. — Онъ больно и какъ-то ужъ очень умѣло скрутилъ ей руки назадъ и жадно поцѣловалъ ее въ губы два раза, шаря по ея груди. Она поймала его руку, не столько чтобы остановить ее, сколько для того, чтобы

удержаться самой за нее. И такъ держась, она вошла за нимъ въ его квартиру:

Она вышла оттуда, когда была еще ночь, въ темнотѣ нащупала кнопку электричества. Она тихо подошла къ пролету лѣстницы и заглянула внизъ. Тамъ, совсѣмъ близко, стоялъ лифтъ — она находилась на первой площадкѣ. Тогда она сошла внизъ, открыла дверь на улицу и постояла немного. Рѣдкіе фонари были притушены, ни вправо, ни влѣво не было никого.

Она пошла пѣшкомъ. За всю дорогу она встрѣтила не болѣе десятка прохожихъ, двухъ городскихъ, нѣсколько автомобилей и одну высокую деревенскую арбу съ цвѣтной капустой, державшей путь на Центральный рынокъ. Она шла около часу. Когда она проходила по мосту, она остановилась. Сна, вздутая дождемъ, казалась неподвижной, какъ сало. Женя перекрестилась и ниже перегнулась къ водѣ. Въ это время кто-то за ея спиной проѣхалъ на велосипедѣ, и тѣнь ѣдущаго прошла по ней. Она разогнулась и пошла дальше. Когда она вернулась къ себѣ, она увидѣла, что было четыре часа.

Она сняла шляпу, но осталась въ пальто, и въ однихъ чулкахъ осторожно вошла къ теткѣ въ комнату. Старуха тяжело и ровно дышала. Женя въ темнотѣ подошла къ ночному столику, выдвинула ящикъ и пошарила въ немъ, но найти то, что хотѣла, она не нашла. Съ ящикомъ въ рукахъ, она ушла на кухню, зажгла свѣтъ и стала искать снова — попадались лекарства: строфантъ, аспиринъ, нашелся, наконецъ, и гарденаль. Но въ стеклянной трубочкѣ оставалось всего восемь таблетокъ. Тогда она двумя кухонными полотенцами, при помощи хлѣбной пилы, законопатила дверь, потушила свѣтъ, и открыла газъ.

«Господи, — думала она, сидя передъ плитой, и не мигая смотря въ ничѣмъ не завѣшенное окно, гдѣ красное отъ огней, низкое, словно дымомъ схваченное небо висѣло надъ землей, — Господи, если Ты есть, сдѣлай, чтобы мнѣ стало страшно, сдѣлай такъ, чтобы я опомни-

лась. Если Ты есть и если душа моя захотѣла этого, сдѣлай, чтобы хоть тѣло удержало меня, отвратилось, спасло бы себя и меня отъ грѣха, помоги, если Ты есть, хотя бы по животному опомниться. — Но держа шипящую резиновую трубку въ рукѣ, Женя вдругъ почувствовала не отвращеніе, а еще болѣе страстное желаніе смерти, и именно во всемъ ея разбитомъ тѣлѣ, а не только въ сознаниі, все какъ бы потянулось къ небытію и тьмѣ. Душа, можетъ быть, въ эту минуту, не разлучаясь, но, наоборотъ, крѣпче обнимаясь со своей оболочкой, помогая ей, двинулась куда-то, со звономъ колоколовъ, съ разрывомъ ракетъ, въ исчезающій, тающій, бѣлый Млечный путь. На одну единственную минуту хватило полнаго ихъ сліянія, въ которомъ и душа и тѣло были одинаково согласны во всемъ. Съ тяжелой силой жизнь еще разъ ударила Женѣ въ уши, и все погасло въ безпамятствѣ, въ которомъ нѣтъ видѣній.

4.

— Поздравьте меня, — сказалъ Алексѣй Георгіевичъ, — сегодня я сдѣлалъ, или почти сдѣлалъ, одно дѣло, за которымъ гонялся три недѣли.

Немолодой, усатый человѣкъ въ высокомъ воротничкѣ, перегнулся къ нему, и въ сосѣднихъ окошечкахъ тоже зашевелились.

— Надо вспрыснуть, — сказалъ кто-то.

Асташевъ уже кивалъ направо и налѣво.

— Непремѣнно, сегодня же. Мало того, — онъ оставилъ на мгновеніе, — я сегодня завязалъ такія связи...

— Господа, онъ будетъ директоромъ, — воскликнулъ кто-то изъ-за своего стола, изъ-подъ зажженной лампы:

— Но я вовсе не желаю быть директоромъ, — и Асташевъ счастливо засмѣялся. — Я вполне доволенъ своей судьбой.

Онъ повернулся на каблукъ и пошелъ между столами, угощая вправо и влѣво всѣхъ встрѣчныхъ папиросами, которыя нарочно для этого покупалъ. Ощущая легкость и прочность въ ногахъ, онъ отправился бродить по улицамъ, смотрѣть въ витринахъ галстуки. Было холодно и пасмурно, но онъ сегодня такъ былъ полонъ собой, что не замѣчалъ ни погоды, ни женщинъ. На восьмомъ этажѣ, въ маленькой конторѣ на Елисейскихъ поляхъ, гдѣ всего-то и было мебели, что пустой письменный столъ, стулъ для хозяина и кожаное кресло для гостя, онъ познакомился съ сыномъ дѣлового человѣка, русскимъ, но уже не говорящимъ по русски, и тотъ обѣщалъ ему подсунуть отцу въ добрую минуту полисъ для подписи на милліонъ.

Асташевъ сейчасъ же перешелъ на тонъ опытнаго заговорщика, стихалъ, когда на каблучкахъ вбѣгала безбровая, охрой пудренная, секретарша, а когда безъ доклада, въ пестромъ пальто, высокой, плечистый, вошелъ извѣстный летчикъ, подписавшій здѣсь недавно контрактъ на участіе въ какой-то фильмѣ, и крошечная, полупустая комната сейчасъ же наполнилась такъ что и самый звукъ голосовъ сталъ другимъ, Алексѣй Георгіевичъ всталъ, чтобы уйти.

— Не нужно ли тебѣ застраховаться? — спросилъ директоръ конторы, — вѣдь ты окачуришься навѣрное прежде другихъ. Странно, что до сихъ поръ не сломалъ себѣ шею.

Летчикъ бросилъ на столъ двѣ громадныя, свѣтлыя перчатки.

— Насъ страхуетъ компанія, — сказалъ онъ, мелькомъ взглянувъ на Асташева.

— Это ничему не мѣшаетъ, — вступилъ тотъ. — Здѣсь не мѣсто и не время, но позвольте сказать, что компанія васъ страхуетъ по казенному, гуртомъ, а вы можете это сдѣлать еще и индивидуально. Всегда пріятно дѣйствовать индивидуально. И даже въ рай, по моему, веселѣе войти.

какъ путешествующему за свой страхъ и рискъ, нежели какъ экскурсанту, участнику групповой поѣздки.

— Какая чепуха! За этотъ индивидуализмъ надо платить бѣшенныя деньги.

— Летающіе платятъ всего на одиннадцать процентовъ больше, чѣмъ платятъ ползающіе по землѣ.

Директоръ конторы расхохотался.

— Онъ утѣшаетъ тебя. Послушай, дай ему свой адресъ, онъ зайдетъ и объяснитъ тебѣ съ глаза на глазъ, что ожидаетъ тебя на томъ свѣтѣ.

— Никогда не говорю про тотъ свѣтъ, — весело сказалъ Асташевъ, — съ меня вполне довольно и этого. Мы живемъ не въ степи, а въ столицѣ міра.

Летчикъ изъ широкаго, лакированнаго бумажника вытащилъ свою визитную карточку, и, стараясь не выронить какихъ-то фотографій, передалъ ее Асташеву.

— Зайдите... когда-нибудь, — сказала онъ равнодушно. — Я живу очень далеко, за городомъ. Это на поѣздѣ.

Алексѣй Георгіевичъ поблагодарилъ обоихъ и низко при этомъ поклонился.

Ему было такъ легко, такъ хорошо, онъ чувствовалъ себя такимъ свѣжимъ, молодымъ, спокойнымъ, что хлебнувъ отвратительнаго зеленого напитка у стойки, гдѣ угощали восьмерыхъ служащихъ страхового общества, онъ сталъ только еще веселѣе и пріятнѣе. Позавтракалъ онъ чѣмъ-то вкуснымъ и острымъ, и часамъ къ двумъ почувствовалъ, что на сегодня довольно, что онъ устроитъ себѣ нынче маленькое развлеченіе, отдохнетъ, наберется силъ, чтобы завтра съ утра выѣхать за городъ, къ летчику. Онъ никогда ничего не откладывалъ, и вся его работа всегда шла по горячему слѣду.

Черезъ три часа онъ былъ у Ксеніи Андреевны; эти три часа онъ провелъ въ одномъ домѣ, гдѣ былъ только зрителемъ, не участникомъ, и этого съ него на сегодня было вполне достаточно. Въ этомъ домѣ, дорогомъ и открытомъ только днемъ, его знали: когда онъ являлся,

швейцарь спрашивалъ: желаетъ ли онъ въ лѣвую дверь или въ правую? За лѣвой дверью были женщины, за правой — кресла и экранъ. Онъ ходилъ черезъ разъ. Сегодня очередь была за экраномъ.

Но въ этотъ часъ Ксеніи Андреевны дома не бывало. Прислуга открыла ему, онъ прошелъ въ гостиную, снялъ башмаки, легъ съ ногами на диванъ, взялъ газету и велѣлъ принести себѣ чаю съ лимономъ. Газета была вчерашняя. Онъ читалъ ее отъ нечего дѣлать и, странно, но то ли отъ состоянія его пищеваренія, то ли отъ того, что онъ такъ долго просидѣлъ въ душной и совершенно нѣмой темнотѣ, но ему ничего уже не было интересно сегодня, и дремота ходила гдѣ-то совсѣмъ близко.

Газету онъ читалъ ежедневно, и всегда съ однимъ и тѣмъ же чувствомъ: а ну-ка посмотримъ, что-то они еще подѣлываютъ, о чемъ кипятъ, въ какой просакъ попадаютъ? Всякая новость, касающаяся Россіи, вызывала въ немъ усмѣшку: какъ, господа, вы еще существуете? Зато, когда ему приходилось смотрѣть фотографіи, гдѣ кто-нибудь одинъ, въ отличной парѣ военныхъ сапогъ, привѣтствовалъ тысячи въ такихъ же сапогахъ, что-то въ немъ тайно и счастливо трепетало. Только такой должна быть власть въ его представленіи, только такой: единоличной, все объясняющей, разрѣшающей и запрещающей.

И тогда онъ мечталъ, и мечты его, какъ у многихъ, неумѣющихъ мечтать, были далеки отъ дѣйствительности, въ которой онъ жилъ, отвлеченны и нелѣпы. Онъ мечталъ о порядкѣ — о человѣкѣ, могущемъ держать въ рукахъ всю Европу, а слѣдовательно и весь міръ. И тогда онъ, Асташевъ, закажетъ себѣ вотъ такіе же блестящіе, ловкіе сапоги, какъ орденскій знакъ людей, принадлежащихъ великой дисциплинѣ. Онъ окажется необходимымъ, гораздо болѣе необходимымъ міру, чѣмъ сейчасъ, потому что сейчасъ — всѣ равны: здоровые и боль-

ные, ловкачи и неудачники, а тогда нужны будутъ одни Асташевы, Асташевы, Асташевы...

Онъ читалъ, бѣгая глазами. Горный инженеръ въ припадкѣ умопомѣшательства зарѣзалъ жену и двухъ дѣтей; открылась собачья выставка; на Формозѣ ощущались подземные толчки; поднятіе цѣны на электричество; въ Бельгii — министерскій кризисъ; самоубійство нѣкоей мадемуазель Дюпонъ: сосѣди были привлечены сильнымъ запахомъ газа. Когда они взломали дверь... Въ запискѣ она просила простить ее за безпокойство и писала, что умираетъ отъ нераздѣленной любви.

Когда онъ проснулся, въ комнатѣ было уже совсѣмъ темно. Ксенія Андреевна все не возвращалась. Онъ обулся, написалъ на клочкѣ бумаги: «Маманъ, не хотите ли нынче сходить куда-нибудь, повеселиться? Надѣньте самое шикарное ваше декольте. Зайду въ восемь». И такъ какъ дѣлать ему было рѣшительно нечего, онъ отправился къ Клавдіи Ивановнѣ, онъ не былъ у нея всѣ эти дни.

Клавдія Ивановна лежала въ постели. У нея болѣли зубы, ее лихорадило; въ комнатѣ было неубрано, и ничего вкуснаго не было сготовлено къ чаю.

— Вы знаете, маменька, — сказалъ онъ, садясь у постели, — мнѣ ужасно неприятно, что вы больны. Ей Богу, посидѣли бы, поболтали бы уютно, — и онъ почувствовалъ, что настроеніе, собственно, начало падать у него еще раньше: еще до сна на диванѣ.

— Пять дней не приходилъ, — сказала она, грѣя рукой опухшую щеку. — Здоровъ ли? Съ кѣмъ пропадалъ? Хорошо ли кушалъ?

Онъ пригорюнился, отвѣтилъ не сразу.

— Неужели пять дней? Я, маменька, и не вижу, какъ время бѣжитъ. Даже грустно немножко дѣлается — молодость такъ и пройдетъ. Да и прошла ужъ! Отчего это у меня настроеніе вдругъ испортилось? Было такое здоровенное настроеніе. Это вы на меня подѣйствовали — ко-

гда вы больны, у меня душа не на мѣстѣ. Вы не встанете, маменька? Ей Богу, попили бы чаю...

Она покачала головой.

— Это оттого, Алеша, что ты все одинъ да одинъ.

Онъ разстегнулъ двѣ нижнія пуговицы жилета, облокотился о колѣни и положилъ лицо на руки.

— Жениться мнѣ, что ли? — спросилъ онъ съ усмѣшкой, но въ голосѣ была серьезность, и Клавдія Ивановна вся вострепелась подъ одѣялами. — На какойнибудь эдакой молоденькой, скромной, влюбленной по уши. Скажутъ: русская, нищая... Да, конечно, но зато чистенькая, умыта добродѣтелью. Два года въ одномъ платьѣ ходить. Служить.

— Алешенька, — тихо простонала Клавдія Ивановна, боясь его спугнуть.

— Свили бы мы съ ней гнѣздышко. Я вѣдь теперь — слава Богу! Не сейчасъ, такъ когда же? Могу себѣ позволить. Дѣти у насъ были бы, маменька, я вамъ скажу для смѣха, такія рыжеватенькія — что я, что она, оба свѣтлые. — Онъ поднялъ голову, потрогалъ лампу, горѣвшую на ночномъ столикѣ и покачался на стулѣ.

— Мнѣ все это такъ сейчасъ въ голову пришло — пустыя мечтанія! Больше для васъ, чѣмъ для себя. Мы могли бы тогда поселиться всѣ вмѣстѣ, я бы холостыя штуки свои бросилъ. Нѣтъ такого человѣка, кажется, который бы хоть когда-нибудь о чемъ-нибудь не помечталъ. Была бы у насъ прислуга — такая пожилая, степенная, все бы для насъ дѣлала. И ничего бы всѣмъ намъ не надо было больше, правда?

Клавдія Ивановна приподнялась на худомъ локтѣ и уронила слезу въ подушку.

— Влюбленъ, Алеша?

Онъ посмотрѣлъ на нее, и вдругъ какая-то жесткая, сухая тѣнь прошла въ его свѣтлыхъ глазахъ.

— Вы, маменька, не можете перестать жить фантазіями, — сказалъ онъ и всталъ. — Что я — гимназистъ? Если

ужъ жениться, то по крайней мѣрѣ, чтобы приданое было, чтобы и вамъ, и намъ, и всѣмъ было хорошо.

Онъ особенно досадовалъ сейчасъ на этотъ намекъ, который онъ подалъ ей о жизни втроемъ. Ему пришлось бы тогда отказаться навсегда отъ Ксеніи Андреевны. Это, конечно, было бы невозможно.

Онъ ушелъ очень скоро, съ какой-то тяжестью въ душѣ, вспомнивъ о своей запискѣ, оставленной Ксеніи Андреевнѣ и соображая, куда можно было бы съ ней пойти. Тамъ, въ гостиной, завѣшенной шелковыми платками и кусками полинялыхъ матерій, сидѣли Вязминитиновъ и Евграфъ Евграфовичъ и играли въ пикетъ. Маменьки все еще не было. Онъ походилъ вокругъ, съѣлъ грушу и, не прощаясь, снова ушелъ, оставивъ въ передней, на видномъ мѣстѣ, портфель и зонтикъ.

Мамаша Клавдія Ивановна. Мамаша Ксенія Андреевна. Удачно обдѣланное дѣльце, сытный завтракъ, экранъ въ извѣстномъ ему домѣ, отложенныя въ банкъ деньги, двѣ-три мысли о судьбѣ Европы и возможный билетъ въ любое вечернее заведеніе, гдѣ у входа съ поклономъ ждетъ его швейцаръ. Вотъ и жизнь его, и онъ имѣетъ право сказать: «я — слава Богу». А если иногда все слегка надоѣдаетъ, то вѣдь это бываетъ не чаще, чѣмъ разъ въ десять лѣтъ. Правда, въ совершенномъ механизмѣ, у тѣхъ существъ, что носятъ эти изумительные твердые и гладкіе сапоги, перебоевъ не бываетъ во всю жизнь, и значить онъ, Асташевъ, индивидъ переходнаго періода, что дѣлать! Утѣшимся тѣмъ, что все относительно, и индивидъ переходнаго времени есть существо передовое по сравненію съ мадемуазель Дюпонъ, умирающей отъ нераздѣленной любви, по сравненію со скульпторомъ Ангелемъ, питающимся морковью. И если въ минуты какой-то безпричинной тоски не можешь бѣжать къ людямъ будущаго (не хватаетъ настоящей марсіанской прыти въ славянскомъ, рыхломъ естествѣ) и нѣтъ еще, не выдумали, марширующихъ, хоромъ поющихъ объединеній для такихъ,

какъ онъ, переходныхъ («а насъ много, насъ очень много, насъ гораздо больше, чѣмъ вы думаете!»), то уйдемъ къ людямъ прошлаго, которые чѣмъ-то въ эти минуты безпокойны для насъ, и раздражающи, и необходимы.

Вечеръ былъ холодный, сырой, городскіе камни и огни неподвижны въ черномъ сумракѣ улицъ. О, эти бульвары, идущіе по окраинѣ города, по которымъ теперь онъ ходитъ хозяиномъ, и на которыхъ когда-то думалъ умереть въ отрепьяхъ, униженный и нищій. «Не страшно, господа, не страшно», — бормоталъ онъ, шагая упругимъ шагомъ, и уже издали различая темный домъ Энгеля. «Вы — богема, — собирался сказать ему Асташевъ, — и я богема, когда надо. А потому къ вамъ вѣдь можно въ этотъ поздній часъ?»

— Спасибо, что зашли, спасибо, — сказалъ радостно Энгель, узнавъ гостя и долго держа его за руку. — Здравствуйте. Хотите посидѣть немножко? У васъ усталый видъ. Вы — пѣшкомъ?

Оба вошли въ мастерскую.

— Очень я вамъ радъ, милый вы человекъ, — говорилъ Энгель, — хотя вы мнѣ теперь совсѣмъ больше не нужны. Совсѣмъ.

Асташевъ выговорилъ быстро:

— Застраховались помимо меня?

— Помимо васъ. Но не застраховался. Успокоился. Сядьте куда нибудь, отдохните.

На диванѣ неподвижно лежалъ большой, черный мужчина, въ пыльномъ, черномъ пиджакѣ, сильно измятомъ, и сѣрыхъ полосатыхъ брюкахъ. Онъ не спалъ, но какъ будто только что проснулся.

— Художникъ Харинъ, сегодня изъ Флоренціи, — сказалъ Энгель. — Мишенька, пожалуйста спи, мы тебѣ мѣшать не будемъ.

Художникъ Харинъ поворочался съ минуту, нашель удобное мѣстечко, и затихъ.

На двухъ табуретахъ, у самага окна, гдѣ оба отража-

лись, они съѣли, и Асташевъ сложилъ свои пухлыя руки на колѣняхъ, потому что дѣвать ихъ было некуда.

— Это пришло не сразу. Можетъ быть, еще и не окончательно, но уже отъ одного намека стало легче. Вы только не подумайте, что я въ церковь зачастилъ, исповѣдуюсь, причащаюсь, иконы развѣсилъ. Нѣтъ. Но теперь я знаю, что надо Бога. Надо молитву. Иначе нельзя.

— Поздравляю васъ, — сказалъ Асташевъ. — У меня есть старая мамаша, я ей непремѣнно о васъ расскажу.

Энгель запахнулъ свой балахонъ, поежился, похлопалъ себя по карманамъ и нащупалъ курево.

— Я вамъ такъ благодаренъ за то, что вы ходили ко мнѣ. Если бы вы знали, что со мной сдѣлалось еще послѣ того, перваго раза! Жилъ такъ, какъ всѣ живутъ, и вдругъ появленіе ваше — какъ труба архангела. Теперь я знаю, что смерть, какъ страсть, объяснить нельзя, надо почувствовать. Нѣкоторые живутъ до старости и имъ не открывается, другіе, можетъ быть, съ этимъ вырастаютъ. Ко мнѣ, значитъ, пришло въ тридцать восемь лѣтъ. Вы спросите: что же пришло? Не могу на это отвѣтить — слова всѣ такія стертыя: «сознаніе неизбѣжности», «увѣренность въ собственномъ концѣ», — и выводы изъ этого. Простите, опять сравню: «она все шептала: твоя», — это поется въ какомъ-то романсѣ, и мы уже не реагируемъ. Но если вдуматься!

— «А она, страсти полна», — поправилъ Асташевъ. — Въ граммофонѣ слышаль.

— Мнѣ кажется: здѣсь узелъ всей человѣческой мудрости — въ чувствѣ смерти, въ мысли о концѣ. Потому что все можно понять, а этого понять нельзя, все можно допустить, а этого нельзя. Я отъ мыслей своихъ изъ этого окна однажды чуть не выскочилъ. Но путь мой былъ вѣренъ. Когда вы были въ послѣдній разъ, я уже зналъ, что невозможно безъ Бога; но еще не умѣлъ сказать. Теперь я счастливъ.

— Отъ души поздравляю васъ. Видимо, и здоровье

ваше тоже за это время поправилось. Цвѣтъ лица какъ будто лучше.

Энгель улыбнулся, перевѣсивая самъ себя громадными своими зубами.

— Маленькая надежда, вѣсомъ не болѣе, можетъ быть, рѣсницы, не кончиться, что-то исправить, за что-то отвѣтить; увидѣть кого-то, встрѣтить... когонибудь дорогого, отъ воспоминанія о комъ невозможно удержать слезъ, но главное — быть, быть, продолжаться, хоть какънибудь. Теперь я знаю, что это такое. Эта рѣсница перевѣшивается для меня вселенную, и даже самыя сомнѣнія кажутся мнѣ блаженствомъ по сравненію съ тѣмъ, чѣмъ я раньше жилъ.

— Значитъ, бываютъ все-таки сомнѣнія?

Энгель сжалъ свои костлявыя руки въ два темныхъ кулачка и приставилъ ихъ къ груди.

— О, уже совсѣмъ не тѣ, что были раньше.

Асташевъ пошевелилъ ногами подъ табуретомъ.

— Я, пожалуй, пойду, — сказалъ онъ, — зашелъ, какъ говорится, на огонекъ, а попалъ на пожаръ души.

— Да, — радостно воскликнулъ Энгель, — идите теперь. Мнѣ совсѣмъ уже больше ничего отъ васъ не нужно.

Асташевъ всталъ. Какъ былъ, въ пальто и съ котелкомъ въ рукахъ, онъ прошелся по мастерской, медленно оглядывая ее, словно уходить ему не хотѣлось. На столѣ стояло глиняное, плоское блюдо, съ блестящей, темно-зеленой поливой.

— Миленькій предметъ, — сказала Алексѣй Георгиевичъ задумчиво.

— Хотите — подарю? — и Энгель уже прижалъ блюдо къ худой своей груди. — Мнѣ все равно хотѣлось подарить вамъ чтонибудь на память. За напоминаніе. Возьмите это. Оно совсѣмъ недорогое, но оно красивое, на него можно чтонибудь положить.

Асташевъ не отказался. Съ блюдомъ подмышкой онъ

вышелъ, попрощавшись съ Ангелемъ и молча поклонившись спинѣ художника Харина.

На улицѣ онъ вздохнулъ свободно. Ему было душно весь вечеръ. Онъ теперь только понималъ: ему стало душно и тяжело въ сумракѣ сеанса, и вотъ съ тѣхъ поръ, весь день и уже часть ночи, онъ носитъ въ себѣ эту духоту, эту тоску. Надо непремѣнно уготовить себѣ въ жизни какое-то отступленіе — десять лѣтъ во всю, а теперь пора: пикеть съ Вязминитиновымъ, или рыбную ловлю, или семейное счастье, или еще что-нибудь, для заполнения свободного времени. «Я развивался всегда гармонически, — думалъ онъ, — и въ сорокъ лѣтъ пришла ко мнѣ эта естественная мысль. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ всю жизнь, какъ вьючное животное; случайныя женщины; конторскія шуточки; бойкая дама маманъ съ кавалерами. Довольно. Захотѣлось чего-то, вдругъ засосало еще третьяго дня, отъ ночи съ Женечкой. Денегъ не взяла. Милая дѣвочка. Была такъ напугана!»

Онъ шелъ и шелъ, неся незавернутое зеленое блюдо, какъ чиновники носятъ бумаги на подпись; ходьба была ему пріятна. Докторъ отъ ожирѣнія совѣтовалъ ему какъ можно больше ходить. Эта ночная ходьба механически возвращала ему равновѣсіе, но все не хотѣлось домой. Въ третій разъ сегодня отправлялся онъ къ Ксеніи Андреевнѣ. Было уже поздно куда нибудь ѣхать, но можно было досидѣть у нея до полуночи такъ, чтобы наконецъ захотѣлось спать.

Онъ позвонилъ два раза. Издалека раздались шаги, ея шаги, тяжелые, но все еще быстрые; даже домашнія туфли были у нея на французскихъ каблукахъ. Она пріоткрыла дверь. «Ты? Что случилось?» Онъ отвѣтилъ: «Не спится чего-то. Пустите. Я тутъ оставилъ зонтикъ. Вотъ вамъ блюдо въ подарокъ. На него можно что нибудь положить».

— Она въ шелковой, съ яркими цвѣтами, пижамѣ, пере-

дивансь, мерцаа, повела его по темной квартирѣ въ спальню, сѣла на кровать, закурила.

— Собиралась ложиться. Только что вернулась. Вообрази: эта дѣвушка (я-то, дура, думала, что она дѣвушка!) имѣла ами и вчера застрѣлилась.

Онъ стоялъ надъ ней, смотрѣлъ ей въ лицо и дѣлалъ видъ, что еще не понялъ, самъ на себя удивляясь, что понялъ сразу. Почему онъ понялъ? Вѣдь это необъяснимо, вѣдь это таинственно. Какъ могъ онъ догадаться, что Ксенія Андреевна говоритъ про нее?

— Нѣтъ, отравилась газомъ. Хозяинъ кинематографа сказалъ, что наканунѣ вечеромъ за ней приходилъ какой-то господинъ. Она жила съ нимъ, — это ясно. Можетъ быть, она ожидала отъ него ребенка? Можетъ быть, она надоѣла ему? Ахъ, какіе же вы всѣ подлецы!

Онъ быстро спросилъ:

— Какой господинъ? Его ищутъ?

— Неизвѣстно какой. Зачѣмъ его искать?

— Была записка?

Онъ самъ не понималъ, что съ нимъ происходитъ: онъ чувствовалъ освобожденіе отъ двухдневнаго кошмара: раздумій, совѣсти, мечты и грусти. Онъ опять былъ совершенно свободенъ, совершенно спокоенъ, легкокъ тѣломъ и крѣпокъ душой.

— Сядь здѣсь. Прости, я не причесана, ну да для меня ты не мужчина, я вотъ и зубы уже сняла... Ты знаешь, ея тетка такъ растерялась, что прислала за мной — что-жъ, ближе никого у нихъ не нашлось, что ли? Мать за весь день даже не показалась.

— Стерва, — спокойно сказалъ Алексѣй Георгиевичъ.

— Хорошо, я Юлія Федоровича на улицѣ встрѣтила, взяла его съ собой. Онъ распорядился. Вѣдь тетка дѣло начинать хотѣла, да какое же дѣло, если ее нашли въ кухнѣ, съ трубкой въ зубахъ, то-есть съ газовой трубкой. У меня до сихъ поръ руки холодныя.

— Успокойтесь, — сказалъ онъ громко и твердо, —

эта особа ввела насъ съ вами въ заблужденіе. Если она была такъ чувствительна, зачѣмъ было красить губы и ногти, пришивать себѣ на платье какія-то пуговки? Непослѣдовательно, неблагоразумно.

— Ее навѣрное любовникъ бросилъ.

— Маманъ, что вы говорите! Что же, васъ никогда не бросалъ любовникъ? Если женщины будутъ травиться оттого, что ихъ бросили, родъ человѣческой прекратится. Надо умѣть жить, надо умѣть переживать: смѣло, красиво.

— Поддецы вы всѣ, — повторила она, съ жеманной грубостью.

Онъ поцѣловалъ обѣ ея руки, которыя теперь, безъ колець, были неузнаваемо стары. Потомъ подошелъ къ туалету и, съ дѣтства питая странную привязанность ко всѣмъ вещамъ женскаго обихода, подушился, напонадилъ, прошелся щеткой по волосамъ, пуховкой по подбородку, понюхалъ какую-то мазь, пощелкалъ ножницами.

— Я знаю людей, — сказалъ онъ, чистя себѣ ногти. — Охъ, какъ я ихъ знаю, мамаша! Они всегда сами виноваты во всемъ, они заслуживаютъ той участи, которую имѣютъ. Я могъ бы многое объяснить Толстымъ и Достоевскимъ, но въ наше время ихъ нѣтъ, а есть только какіе-то Черные, Бѣлые, Горькіе и Сладкіе, съ которыми мараться не стоитъ.

Она, повиснувъ на спинкѣ кровати обѣими руками и качая босыми, синеватыми ногами, смотрѣла на него.

— Самоубійство, по-моему, есть самый непростительный фактъ, какой только имѣется въ природѣ, — и онъ заложилъ пальцы за проймы жилета, выпятивъ грудь. — Недаромъ, кое гдѣ они строго запрещены. Разрушить все назадъ! И замѣчали вы, маменька, всегда изъ какой-то самолюбивой трусости: ахъ, карточного долга нечѣмъ отдать! Ахъ, предложенія руки и сердца не сдѣлалъ, а женской слабостью моей воспользовался!

Онъ умолкъ, смотря въ зеркало. Она ждала, что онъ

еще скажетъ. Ея землистое лицо, намазанное на ночь чѣмъ-то жирнымъ, упавшая низко грудь, волосы, въ послѣднее время ставшіе мѣдными, и еще живые, еще блестящіе, хоть и въ мѣшкахъ, глаза, были совершенно неподвижны. Внезапно, она сжала съ хрустомъ обѣ руки и глухо сказала:

— Алеша, какъ я люблю тебя! Какой ты умный, какой глубокой, элегантный. Воображаю, сколько бабъ у тебя на шеѣ виснеть. Молодецъ ты мой!

Онъ съ минуту ощущалъ въ груди горячую гордость, потомъ, когда отпустило, вскочилъ, взбилъ ей подушку.

— Ложитесь, устали вы. О бабахъ не волнуйтесь: не допускаю, чтобы висли. Спокойной ночи.

Она, лѣниво кутаясь въ какую-то шаль и зѣвая пустымъ ртомъ, проводила его до передней.

И онъ пошелъ. Зонтикъ, портфель. Мягкія руки качаются изъ стороны въ сторону, впередъ и назадъ. Бойкія ноги давятъ камни. Въ темноту улицъ, въ мракъ города, на крѣпкой асташевскій сонъ, чтобы утромъ опять — къ летчику, за городъ, — по солнцу, по вѣтру, въ вычищенномъ котелкѣ, дальше, дальше, шагомъ прочнымъ, резиновымъ, какъ подошвы — гражданинъ, налогоплательщикъ, потребитель (но не солдатъ!) — мимо людей, границъ, съ мимолетнымъ паспортомъ въ карманѣ, самопишущей ручкой въ другомъ, въ туманъ, въ зной, въ сѣрый дождикъ, разъ-два, лѣвой, лѣвой, тѣнюю проползая по всему, что встрѣтилось, угощая папиросами, намекая, напоминая, низко кланяясь, оставляя свой слѣдъ, дальше, дальше, безъ конца дальше, уже немножко дряблый, уже лысѣющій, съ золотомъ въ самой распахистой улыбкѣ, уже чуть-чуть тяжелѣе дышашій, качающій на ходу блѣдный жиръ младенческихъ щекъ, по лѣстницамъ, по перекладкамъ, по шоссеинымъ дорогамъ, гдѣ мчится автомобиль, по рельсамъ, гдѣ ходитъ поѣздъ, еще, еще, мимо кладбищъ, женщинъ, памятниковъ, закатовъ.

Н. Берберова.

Путешествіе Глѣба *)

Часть вторая.

.....
Красавецъ привыкъ дѣйствовать самостоятельно. Но прежде чѣмъ окончательно рѣшить о Глѣбѣ, его перездъ къ нимъ, спросилъ жену.

Олимпиада мало знала Глѣба, встрѣчала всего раза два — отнеслась вполне равнодушно.

— Пускай живетъ. Только чтобы мнѣ не мѣшалъ.

Красавецъ объяснилъ, что племянникъ у него нешумный и «серьезный»: его еще въ дѣтствѣ звали Herr Professor.

— Это мнѣ все равно. Какой тамъ профессоръ, мальчишка, конечно. Только чтобы носъ очень не задиралъ, не важничалъ: терпѣть этого не могу.

Красавецъ поцѣловалъ ее въ шейку.

— Душечка, объ этомъ говорить не приходится. Глѣбъ — мой племянникъ, нашей породы. Слѣдовательно, воспитанный молодой человѣкъ.

— Вотъ и пусть у себя въ комнатѣ сидитъ, уроки учитъ. Воспитанный, такъ и слава Богу.

Въ первый-же день воспитанный молодой человѣкъ явился изъ училища, опоздавъ на часъ.

Глѣбъ считалъ уже себя довольно взрослымъ, той заурканности, какъ въ гимназій, у него не было, все-же показалось неприятнымъ, что на новомъ мѣстѣ появляется онъ, отсидѣвъ лишній урокъ.

..... *) См. «Совр. Зап.» № № 60, 62, 67.

Красавца дома не было. Его встрѣтила Олимпиада, по домашнему въ капотъ — свѣжая, здоровая, жезала тянучку — совершенно покойная.

— Твои вещи привезли нынче со Спасо-Жировки. Все тамъ у тебя въ комнатѣ.

И какъ хозяйка — не враждебная, но и довольно безразличная, провела Глѣба на новое его жилье. Объ опозданіи даже не спросила.

Глѣбъ увидѣлъ кожаный чемоданъ свой, путешествовавшій съ нимъ уже изъ Людинова въ Калугу, изъ Калуги въ Нижегородскій Илѣвъ, оттуда на Спасо-Жировку и теперь сюда. Да, значить ужъ поселился...

Онъ все-таки былъ нѣсколько смущенъ.

— Вы знаете, у насъ въ Училищѣ вышла сегодня такая глупость, такое безобразіе...

И рассказалъ о Бодри.

Олимпиада доѣла тянучку, повела на него великолѣпнымъ своимъ синимъ глазомъ.

— Это все чепуха. На то и мальчишки, чтобы учителей дразнить. Меня самое сколько разъ въ гимназіи безъ обѣда оставляли. А ты... вонъ скоро будешь взрослый, за гимназистками начнешь бѣгать, по угламъ цѣловаться... Только ужъ, пожалуйста, никакой не Herr Professor, первый ученикъ. Не люблю тихонь.

Она улыбулась, довольно даже ободрительно.

— Комната, кажется, ничего себѣ? Умойся, приходи въ столовую. Дуня накрываетъ.

Глѣбъ безъ затрудненія выполнилъ программу. Комната его, хоть и во дворъ, большая, свѣтлая. Да и вообще квартира славная — свѣжее все, заново отдѣланное, добротное. Просторно, паркеты сіяютъ, фасадъ на Никитскую, напротивъ церковь. Домъ угловой — другія окна въ переулочекъ (Глѣбово тоже). Ему понравилось въ этомъ новомъ вѣздѣ нѣчто взрослое, самъ онъ себѣ показался крѣпче, самостоятельнѣй. Да, онъ почти «молодой человѣкъ». Близкой семьи нѣтъ, но живетъ у дяди,

какой онъ ни на есть Красавецъ, все-таки докторъ извѣстный, у него молодая жена... — Тетушки должны быть много старше, толстыя и добродушныя, и скучныя. Значить, не всегда вѣдь такъ...

Въ столовой былъ накрытъ для Глѣба приборъ. Олимпиада сидѣла въ качалкѣ у окна, выходящаго на Никитскую — слегка покачивалась, читала газету. Часы тикали. Глѣбъ молча ѣлъ супъ. Подымая голову, разсматривалъ Олимпиаду.

Она совсѣмъ была еще молода и недавно замужемъ, но вполне вошла въ роль — такъ-бы и быть ей дамой калужской, наигрывать на роялѣ «Молитву Дѣвы», читать романы Мордовцева, философствовать съ молодыми людьми о томъ, что лучше: имѣть и потерять, или ждать и не дожидаться. Главное-же, ѣсть, ѣсть... — за кофе розанчики, за обѣдомъ индюшекъ и пироги, за дневнымъ чаемъ торты, среди дня конфеты. Олимпиада была вся крѣпкая и сильная, здоровой купецкой закваски, обильно созданная — женскую стихію ея Красавецъ вѣрно почувствовалъ, не разочаровался.

Олимпиада отложила газету, обернулась къ Глѣбу.

— Тебѣ плохо тутъ будетъ по Никитской шататься. Я люблю у окна сидѣть и все вижу. Кто кого ждетъ, кто за кѣмъ ухаживаетъ.

Глѣбъ усмѣхнулся, но не смущенно.

— Да я по Никитской вовсе и не шатаюсь.

— Почему же это?

Олимпиада спросила такимъ тономъ, будто Глѣбъ дѣлаетъ странный промахъ.

— Неинтересно.

Олимпиада протянула къ столу руку, взяла маленькій серебряный портсигаръ, вынула папиросу, неторопясь закурила. Не мѣняя позы пускала дымъ то изъ ноздрей, слегка вздрагивавшихъ, внизъ, то изъ рта — подъ малымъ угломъ вверхъ. Все это имѣло такой видъ, что вотъ прочно, у себя дома молодая, пріятная женщина курить

и покачивается въ качалкѣ и никакой силой ея не сдвинешь, что-то она свое чувствуетъ, о чемъ-то думаетъ, очевидно нехитромъ, но неколебимомъ, какъ неколебима сама Калуга, всѣ Терехины и Фирсовы, Коноплины, Ирошниковы — во всѣхъ лавкахъ, магазинахъ и лабазахъ.

— Неинтересно! А что-же тебѣ интересно? Учиться? Ты, говорятъ, хорошо учишься?

Тутъ Глѣбъ почувствовалъ нѣкоторое смущеніе. Даже чуть покраснѣлъ.

— Да, учусь хорошо. Но... — слегка запнулся, а потомъ все-таки досказалъ:

— Это мнѣ тоже неинтересно.

Олимпиада пустила весь дымъ въ его сторону.

— Понимаю. Сама терпѣть не могла учиться... Значить, ты вовсе не такой первый ученикъ, какъ о тебѣ рассказываютъ. Тѣмъ лучше.

Глѣбово смущенье оттого еще происходило, что ему казалось — вотъ сейчасъ она начнетъ спрашивать, допытываться, кто онъ, да что онъ... Глѣбъ меньше всего желалъ-бы отвѣчать на вопросы такіе. Онъ еще основательнѣе уткнулся въ ѣду, опустил занавѣсъ и теперь ужъ нельзя было-бы дознаться, что за этимъ занавѣсомъ: молча сидѣлъ и ѣлъ ученикъ пятого класса Калужскаго реального училища — худенькій, съ довольно большою головой, нѣжнымъ цвѣтомъ лица и прохладными глазами.

Олимпиада, впрочемъ, не приставала. Она покуривала, покачивалась въ качалкѣ, посматривала на Никитскую. «Съ кѣмъ это мадамъ Левандовская?» Жена акцизнаго проходила по той сторонѣ съ молодымъ человѣкомъ, котораго Олимпиада не знала. Завела себѣ когонибудь? Ну, на здоровье. Запомнимъ, но разстраиваться не будемъ. Впечатлѣній довольно много: прокатилъ на шикарномъ парѣ Каштановъ, розовый сѣроглазый купчикъ (навѣрно къ «своей» — всегда въ эти часы ѣздитъ), прошелъ тоненькій поручикъ-артиллеристъ. Капитанъ Ингерманландскаго полка Длужневскій, красный, съ рыжими усами,

сильно выпивающій, проползъ съ худошавою женой — неинтересно. Наконецъ, подкатилъ на резинкахъ и Красавецъ — у него начинается пріемъ.

Красавецъ развѣзжалъ по больнымъ въ палевыхъ перчаткахъ и довольно странномъ матовомъ полу-цилиндрѣ — считалъ, что это придаетъ ему солидность. Глѣбъ доѣдалъ печеное яблоко, когда душистый, оживленный, слегка покачивая брюшкомъ на тоненькихъ ножкахъ въ лакированныхъ ботинкахъ, вошелъ дядюшка.

Увидѣвъ Глѣба, распахнулъ объятія.

— Ну, вотъ! Вотъ и милый юноша подъ моимъ кровомъ. Радъ видѣть!

И важно выпятить губы, наморщившись какъ любила изображать Собачка, поцѣловалъ Глѣба въ щеку.

— Надѣюсь, что Олимпіадочка хорошо тебя поселила? Сынъ дяди Коли у меня какъ въ своемъ домѣ. (Красавецъ всегда называлъ брата «дядя Коля»).

Глѣбъ поблагодарилъ: все отлично. Олимпіада чуть-чуть улыбнулась.

— Оказывается, Глѣбъ вовсе не такой зубрила, какъ я думала.

Красавецъ былъ уже возлѣ нея. Для такого русско-польскаго пана грѣхъ было-бы задержаться, опоздать къ «мурмуровой» ручкѣ пани.

Красавецъ получилъ и ручку и сахарную шейку, и съ другой стороны шейку — послѣ скучныхъ больныхъ надо-же нравственно встряхнуться, тѣмъ болѣе, что черезъ нѣсколько минутъ опять больные — теперь въ его кабинетѣ.

Къ нѣжностямъ Красавца отнеслась Олимпіада не враждебно, но и безъ подъема: обычное и каждодневное. Она взяла со стула афишу, помахала ею предъ лицомъ Красавца.

— Видишь? Открывается сезонъ. Чтобы ложа намъ была, абонементъ.

Красавецъ откинулъ назадъ остатки волосъ на головѣ, губы сложились трубочкой, величественно заявилъ:

— Душечка, не безпокойся.

Потомъ обернулся къ Глѣбу.

— Олимпіадочка и сама поеть. Какой голосъ! Вотъ ты услышишь... меццо-сопрано...

Олимпіада поднялась, расправила могучее свое тѣло — корсетъ слегка хрустнулъ. Въ передней раздался звонокъ.

— Иди, иди къ своимъ больнымъ.

Красавецъ еще разъ поцѣловалъ ей ручку и тотчасъ — уже съ другимъ, дѣловымъ видомъ, нахмуривъ лобъ, въ сознаниі докторской своей значительности, вышелъ: съ пациентами будетъ онъ или покровительственно-важень (если бѣдные), или слегка развязень (съ дамами средняго возраста), или — если особа съ вѣсомъ — почитителень, даже заискивая. Мудрость жизни Красавецъ постигъ давно. Но слѣсъ да и женoлюбіе удалить изъ него могла-бы лишь могила.

Глѣбъ пошелъ къ себѣ. Олимпіада въ залу, за рояль. И довольно скоро стали доноситься оттуда переливы ея низкаго, не безъ пріятности, голоса:

«Ми-и-лая, ты услышь ме-ня,

«Подъ окномъ стою-у-у, я-а съ гита-ро-ю!»

Глѣбъ раскладывалъ свои книжки, учебники, карандаши, краски. Развѣшивалъ въ шкафу скромное ученическое снаряженіе. Вынулъ фотографію матери — прекрасное, спокойное лицо: все правильно, все въ порядкѣ. Взглядъ матери не могъ объяснить смысла, цѣли Глѣбова существованья, но говорилъ безмолвно, на языкѣ убѣдительноѣйшемъ, что хоть и нельзя понять, но дѣлать надо слѣдующее: учиться, ибо такъ заведено — и отецъ учился, и она сама. Жить — сохранять порядочность, благообразіе. Это благообразіе было главной чертой самой матери. Не стараясь навязывать, неизмѣнно отпечатывала она его во всѣхъ, кто съ нею встрѣчался. И вотъ мать

пришла уже въ жизнь Глѣба, обликомъ для сравненія: что одобрила-бы она, то хорошо. Что нѣтъ — плохо.

«Та-акъ взгляни-и-жь на меня
 «Хоть од-динъ только разъ
 «Яр-р-че майскаго дня
 «Чу-удный блескъ твоихъ гла-азъ!
 «Ми-и-лая, ты услы-шь ме-ня...»

Глѣбъ былъ нѣсколько возбужденъ, взволнованъ. Справный, пестрый день! Уроки готовить не хотѣлось — рѣшилъ пройтись, пока еще не стемнѣло.

На Никитской было прохладно, сентябрьски-прозрачно, верхи старинныхъ, съ каменными аркадами и зубцами торговыхъ рядовъ, времянь Екатерины, пламенѣли въ закатѣ — скоро угаснутъ. Глѣбъ спустился по улицѣ внизъ, мимо гостиницы «Кулонъ», гдѣ останавливались помѣщички, прїѣзжіе артисты-гастролеры, инженеры. Пересѣкъ большую площадь, въ направленіи къ Собору: съ трехъ сторонъ очерчивали его, прямоугольникомъ, присутственныхъ мѣста и Семинарія. Съ четвертой — городской садъ. Глѣбъ именно туда и шель. Олимпиада сказала-бы: на свиданіе — и ошиблась-бы. Просто прошагалъ главной аллеей липъ къ площадкѣ надъ Окой. Садъ, съ кіоскомъ для музыки, довольно густой и теперь ужъ темнѣвшій (гуляющихъ сейчасъ мало), остался позади. Глѣбъ на площадкѣ надъ рѣкой. Слева рядомъ пестренькій ресторанъ «Кукушка» — павильонъ, куда гимназистамъ и вовсе нельзя входить. А внизу Ока. Она течетъ справа налево, въ верховьяхъ ея Орель, по широкимъ лугамъ, принимая въ себя Угру, Яченку, подходит она къ Калугѣ.

Когда Глѣбъ смотрѣлъ теперь вправо, гдѣ за Окою и боромъ заходило солнце, ему казалось, что рѣка идетъ изъ удивительныхъ просторовъ, сама-собою, безъ конца-начала. Такъ она шла въ раннемъ его дѣтствѣ, мимо частокда будаковского сада, такъ-же будетъ идти, когда самое имя его истлѣветъ и уйдутъ всѣ кого онъ любилъ. А

сейчасъ протекаетъ эта Ока мимо Калуги теперешней, и онъ живъ, все чего-то ждетъ. Туда, влѣво — пристань у понтоннаго моста, гдѣ все еще стоятъ: «Князь Владиміръ Святой», «Екатерина»... Ниже Спасо-Жировка, два года жизни его, нынче утромъ еще нѣчто дѣйствительное, а сейчасъ ужъ видѣніе, какъ и тѣ Будаки, и Овчурино, какъ Алексинъ, Рязань, Илѣвъ: смутно мелькнуло все это въ его мозгу.

На той сторонѣ, за мостомъ, подымался большакъ. Двойной рядъ березъ и ракитъ ведетъ къ Перемышлю, къ тому Козельску, гдѣ Оптина, къ Сухиничамъ и Устамъ.

Глѣбъ стоялъ и смотрѣлъ. Солнце садилось. Баржа медленно шла по Окѣ. Кое-гдѣ огоньки зажглись — въ слободѣ за рѣкой, въ Ромодановскомъ, направо на взгорьѣ. Родина разстилалась предъ нимъ въ спокойномъ приближеніи ночи.

.....

Калуга городъ старинный, выросшій на берегу Оки съ той-же естественностью, какъ таинственною силой дубъ выгоняется изъ жолудя. Медленно, столѣтіями заквашивалась и всходила жизнь — не особенно бурно: всегда, кажется, находилась Калуга въ сторонѣ отъ руслъ главныхъ. Главное происходило иногда неподалеку, все-таки и не здѣсь. Отъ татарщины прикрыли лѣса Козельска. Въ Смутное время участь Россіи рѣшалась сѣвернѣе — но здѣсь жила одно время Марина Мнишекъ, домъ ея сохранился. Пытался двинуться сюда Наполеонъ, но не дошелъ — видно, судьба мѣста этого была скромнѣе и незамѣтнѣй. И весь вѣкъ девятнадцатый полусонно прошелъ надъ Калугой. Навѣрно, не одна жизнь человѣческая протекала здѣсь съ достоинствомъ — а извѣстенъ и скромный герой Калуги, рядовой Архипъ Осиповъ. Все-таки общій духъ города на Окѣ, съ торговлею полотномъ, веревками, съ баржами, плотами, ципулинскими пароходами, къ концу девятнадцатаго вѣка слишкомъ ужъ отзывалъ безвѣтріемъ.

Такая, другая-ль была Калуга, именно здѣсь надлежало проходить дѣтскимъ и юнымъ годамъ ученія Глѣба. Пока жилъ со своими, на Никольской у Тарховой, въ квартирѣ на Спасо-Жировкѣ, чувствовалъ онъ себя еще на родномъ островкѣ — мать, Лиза, Соня-Собачка, это свой, дѣтски-семейный міръ. Теперь, на Никитской, своего ничего не осталось, а Калуги появилось много — чуть не вся жизнь Красавца прошла тутъ, Олимпіада-же просто порожденіе города. Съ дѣтства возрастала въ семьѣ купеческой, не изъ богатыхъ, но съ достаткомъ, среди ситчиковъ отцовской лавки въ торговыхъ рядахъ, училась въ гимназіи калужской, гуляла по Никитской съ гимназистами, рано начала цѣловаться съ офицерами, лакомила калужскимъ тѣстомъ — произведеніемъ медвяно-мучнистымъ, очень тогда прославленнымъ (вряд-ли кому, кромѣ калужанина записного, могло-бы оно понравиться).

Нельзя сказать, чтобы Глѣбу Олимпіада была неприятна, или стѣсняла его. Молодая и синеокая, бѣлорукая, держится просто, почти по товарищески, разгуливаетъ въ халатахъ, ѣсть тянучки, напѣваетъ въ залѣ за роялемъ сантиментальные романсы... — взрослая тетушка, говорящая ему «ты», нѣчто въ этомъ и нравилось. Все-же Глѣбово бытіе наглухо отдѣлялось и отъ Олимпіады, и отъ Красавца, и отъ Калуги.

Олимпіада мало чѣмъ кромѣ себя занималась, но и она это замѣтила.

— Я тебя все-таки не пойму, — сказала ему однажды: — чтò ты за такой за малый? Что у тебя на умѣ?

Глѣбъ усмѣхнулся.

— Ничего.

— Нѣтъ, это ты врешь. Ты очень приличный, вѣжливый... Нѣтъ, все-таки... почему тебя въ дѣтствѣ звали Herr Professor?

— Это одинъ нѣмецъ придумалъ...

И Глѣбъ разсказаль о Дрець, ожидавшейся войнѣ съ Германіей, о дѣтской пушкѣ.

— Вонъ какой! Помалкиваль, помалкиваль, да и чуть изъ пушки не выпалилъ...

Олимпиада осталась при своемъ: приличный, вѣжливый... но со странностями. И гордый.

Глѣбъ, однако, ничего страннаго не дѣлаль. Онъ просто выходиль изъ дѣтски-отроческаго, не достигъ еще взрослости, былъ томимъ и возбужденъ — и переломнымъ своимъ возрастомъ, и одиночествомъ, и нелюбовью къ дѣлу, которымъ занимался — лишь самолюбіе, желаніе первенства подталкивали. Въ одномъ Олимпиада была права: Глѣбъ, хоть и держался вѣжливо, но того чувства превосходства, которымъ былъ отравленъ съ дѣтства, скрыть не могъ. Оно не давало ему радости. Скорѣе, даже, накладывало на одиночество его еще большую черту горечи — отдѣляло, уединяло.

Къ счастью, Олимпиада мало обращала на него вниманія и не была самолюбива — иначе могла бы и возненавидѣть.

О томъ, какъ ему жить самому, чѣмъ заниматься, думать онъ и раньше. Теперь входиль въ возрастъ, когда начинается волновать и другое, обширнѣйшее: что такое человекъ, для чего живетъ, что за гробомъ, есть-ли безсмертіе. Еще съ Устовъ, того вечера осеняго съ огонькомъ на кладбищѣ, пронзила Глѣба смерть. Рѣдко-ли, часто-ли возвращался онъ къ этому, но вопросъ въ немъ сидѣлъ — то заглушаясь, то обостряясь. Отвѣтить на него онъ не могъ, какъ и не могъ представить себѣ своей смерти: вѣрнѣе, жизни всего вокругъ безъ себя. Легко было вообразить его, Глѣба, въ гробу, но какой-то другой, неумершій Глѣбъ смотрить на него со стороны — этого Глѣба невозможно погасить. Миръ не можетъ существовать безъ диковатаго гимназиста изъ Калуги. Ухотить-ли этотъ гимназистъ безслѣдно? Безслѣдно-ли гибнуть тѣ, кого онъ любиль? Есть-ли отвѣтъ за прегрѣше-

ніа, или все — лишь пустой, бессмысленный водоворотъ? Гдѣ предѣлы міра, какова безконечность ночного неба? Существоеть-ли рай, существоеть-ли адъ?

Разсуждать обо всемъ этомъ было не съ кѣмъ. Со-сѣдъ Клягинъ занятъ гимназистками и еще женщинами попроще, Сережа Костомаровъ погруженъ въ уроки, его красныя, симпатичныя уши, бобрикъ, капелька пота на веснушчатомъ носу — все это отдано наукѣ, о безмер-тіи-же онъ отвѣтитъ только если это задано о. Парфені-емъ «къ слѣдующему разу». Тогда слово въ слово, по катехизису, отвѣтъ дать, равно и о томъ, что такое вѣ-ра. Вообще если «задано», то на все отвѣтитъ. Оставал-ся самъ о. Парфеній, но онъ преподаватель.

О. Парфенія не такъ давно назначили въ Училище. Было извѣстно, что онъ академикъ, хотя довольно мо-лодой, но уже въ городѣ извѣстный. Высокій, очень ху-дой, съ сѣрыми огромными глазами, въ коричневой ря-сѣ, сверхъ которой большой золотой крестъ... Мало по-хожъ на учителей вродѣ Козла, Михаила Михайлыча, Бо-дри. Въ классъ входилъ медленно, большими шагами, слегка залахивая рясу, худой рукой придерживая жур-наль. Классъ вставалъ. Читали молитву. Молча крести-лись, начинался его часъ. О. Парфеній откидывалъ рукою густыя волосы, садился бокомъ, слегка горбясь, нерѣд-ко рассказывалъ. Спрашивалъ и уроки. Глѣба поражало его спокойствіе. Трудно представить себѣ о. Парфенія раздраженнымъ — Глѣбъ его и не видѣлъ такимъ. Но въ молчаніи его и во взглядѣ было тоже не совсѣмъ про-стое: разумѣется, онъ зналъ нѣчто, чего не знали Глѣбъ, Клягинъ, Сережа Костомаровъ. Иногда лицо его было доброе и задумчивое, иногда вдругъ проступало и иное — слегка насмѣшливое, скромно-высокомѣрное. «Да, вы этого, разумѣется, не запомнили: Вѣрнѣе — и не прочли. Да, конечно, конечно...» Привыкъ, и не удивляется чело-вѣческой нерадивости, равнодушію. Естественно вѣдь, что

пухлый блондинъ Клягинъ съ полипомъ въ носу, часто сморкающійся, мало занятъ загробной жизнью.

Глѣбу о. Парфеній нравился. Отношенія у нихъ были хорошія, но напряженныя. Можетъ быть, они другъ другу были нужны, другъ друга безпокоили. Глѣбъ находился въ томъ настроеніи ранней юности, когда все хочется самолично пересмотрѣть, удостовѣриться, потрогать руками. Если-же не выходитъ, долой. Истина должна быть моею, или никакой. И такъ какъ представить себѣ до конца безконечность, смерть, «инобытіе» невозможно, Глѣбъ склоненъ былъ, вопреки о. Парфенію съ его коричневою рясой, все это отрицать. Его и тянуло, и мучило, и отталкивало. Говорить открыто съ о. Парфеніемъ было невозможно — о. Парфеній начальство, а религія обязательна, какъ математика, русскій языкъ. Явно несогласаться съ о. Парфеніемъ насчетъ безсмертія или ада такъ-же бессмысленно, какъ съ Александромъ Григорьевичемъ касательно площади круга.

О. Парфеній занималъ и тревожилъ Глѣба. Въ немъ чувствовалъ онъ сильнаго защитника того, въ чемъ самъ сомнѣвался или склоненъ былъ отрицать. Тревожилъ и Глѣбъ о. Парфенія — тѣмъ, что именно въ немъ, лучшемъ ученикѣ класса, ощущалъ онъ скрываемое противодѣйствіе. Съ другими было попроще, но и безнадежнѣй. Выучилъ урокъ и отвѣтилъ. Велятъ пойти въ церковь — сходить. Глѣбъ-же что-то переживалъ, а направлено у него все это въ сторону. Можно было считать, что у него есть свои собственные вкусы и взгляды, пусть и мальчишескіе, но упорные.

Однажды ученикъ Ватопедскій, при повторительномъ курсѣ Ветхаго Завѣта, рассказывалъ о пророкѣ Елисеѣ. Когда дѣло дошло до исторіи съ его лысиной, дѣтьми, посмѣявшимися надъ ней и медвѣдемъ, котораго Елисей на нихъ выпустилъ, Глѣбъ довольно громко сказалъ:

— Какая жестокость!

Сереза съ удивленіемъ поднялъ на него свѣтлые, по-

корные глаза. О. Парфеній таинственно улыбнулся. Эту улыбку можно было перевести на русскій языкъ такъ: «Всегда найдутся, конечно, задорные мальчики, готовые исправлять Ветхій Заѣтъ, но отъ этого онъ не проиграеть».

Ватопедскаго о. Парфеній прервалъ и со слегка играющей, даже какъ бы змѣящейся улыбкой, поглаживая золотой, наперстный крестъ, сталъ говорить о томъ, какъ легкомысленно подходить къ Ветхому Заѣту съ сегоднешними мѣрками. Это другой міръ, и до пришествія Спасителя душа человѣческая была иная. Въ томъ-то и величіе Новаго Заѣта, что отмѣнено ветхозаѣтное «око на око».

— А тутъ и не око за око. Они только посмѣялись, а онъ ужъ медвѣдя. Какое-же око?

Сережа взялъ подъ партой Глѣба за колѣнку. Милые глаза его выражали почти ужасъ. Глѣба-же точно подмывало — раздражала невозмутимость о. Парфенія. О. Парфеній посмотрѣлъ на него съ тою-же снисходительной усмѣшкой, которая еще болѣе его возбуждала.

— Да и вообще, не намъ обсуждать дѣйствія тѣхъ, кого избралъ Господь.

— Я хочу только понять, — тихо, но упрямо сказалъ Глѣбъ.

Ватопедскій продолжалъ свой отвѣтъ. О. Парфеній закрылъ глаза, нѣсколько секундъ просидѣлъ такъ. Потомъ открылъ ихъ, серьезно, внимательно посмотрѣлъ на Глѣба. Теперь во взорѣ его не было ни снисхожденія, ни усмѣшки. Вновь прервавъ Ватопедскаго, онъ обратился къ Глѣбу тоже негромко, такъ что даже не всѣ слышали.

— Быть можетъ, со временемъ многое такое поймете, что сейчасъ васъ волнуетъ и кажется темнымъ.

На это Глѣбъ уже ничего не отвѣтилъ и ни онъ, ни о. Парфеній не мѣшали больше Ватопедскому. Тотъ благополучно кончилъ все повѣствованіе свое. Получилъ четыре.

А послѣ урока Глѣба самъ подошелъ въ корридорѣ къ о. Парфенію, медленно и задумчиво бредшему наверхъ, во второй этажъ. Глѣбъ прямо взглянулъ ему въ глаза — въ первый моментъ они расширились не безъ удивленности — но тотчасъ посвѣтлѣли.

Глѣбъ былъ смущенъ, почти робокъ.

— Отецъ Парфеній, не подумайте, что я хотѣлъ осудить, или вообще... мнѣ только интересно выяснить...

О. Парфеній улыбнулся.

— Я и не сомнѣвался.

Полуобнявъ Глѣба, онъ взошелъ съ нимъ на лѣстницу и направился не въ учительскую, а въ дальній конецъ корридора, насквозь прорѣзавшаго зданіе. Здѣсь у окна, откуда видны были заснѣженные крыши, сады Калуги, они разговаривали. Глѣбъ былъ смягченъ, перешелъ въ то настроеніе, когда хочется со всѣмъ согласиться и когда даже пріятно ощущеніе чужой власти и авторитета — силы, къ тебѣ благожелательной, съ которой идти въ ногу такъ радостно. О. Парфеній говорилъ уже не объ Елисеѣ, а о томъ настроеніи — онъ назвалъ его вѣрой — при которомъ мучительные вопросы сами собою отходятъ, замѣняясь другимъ. Глѣбу въ эту минуту казалось, что онъ уже чуть-ли не вѣритъ, и это зависитъ не отъ того, что какіе нибудь доводы его убѣдили, а отъ чувства: что-то спокойное, свѣтлое, съ чѣмъ радостно жить, ощущалъ онъ въ эти минуты. И понялъ-бы еще больше, если-бъ о. Парфеній сказалъ ему, что тогда въ классѣ, сначала внутренно раздражившись на Глѣба, онъ самъ во время отвѣта Ватопедскаго обратился къ Богу съ молитвою — о собственномъ своемъ умягченіи... Но этого онъ Глѣбу не сообщилъ.

Раздался звонокъ — уже къ слѣдующему уроку. Надо было спѣшить, предстояла математика — Александръ Григорьичъ. О. Парфеній успѣлъ лишь сообщить на прощанье, что скоро Калугу и Училище посѣтитъ знаменитый протоіерей о. Іоаннъ Кронштадтскій.

— Замѣчательная личность. Вотъ кто много можетъ вамъ дать. Вы увидите!

Въ дверяхъ класса своего Глѣбъ почти столкнулся съ Александромъ Григорьичемъ. Высокій, худой, въ застегнутомъ вицмундирѣ, онъ имѣлъ видъ загадочный. Не безъ легкой насмѣшливости, расширивъ каріе глаза съ оранжевымъ ободкомъ, поджавъ губы, сказалъ Глѣбу:

— Пора, пора. Въ классъ, въ классъ. Да, это я говорю! (И любезно усмѣхнулся: нельзя было понять, упрекаетъ онъ, или поощряетъ, но впечатлѣніе всегда — точно подстегиваетъ).

— Перемѣна окончилась, мой урокъ! Мой. Класснаго наставника. И богословіе окончено.

Онъ еще разъ колко улыбнулся, сѣлъ за свой столикъ, развернулъ журналъ.

Ватопедскій тоже видѣлъ Глѣба съ о. Парфеніемъ.

Нагнувшись къ нему, шепнулъ сочувственно:

— По поведенію баллъ сбавляетъ?

Александръ Григорьичъ вызвалъ очереднаго подсудимаго.

.....
Калужскому архіерею, благодушному старику съ рыхлыми руками и сладковато-ладаннымъ запахомъ, продолжавшему заниматься сочиненіемъ стиховъ, не особенно улыбался пріѣздъ Іоанна Кронштадтскаго. Іерархически онъ ничто предъ епископомъ. Но о. Іоаннъ не просто протоіерей. Слава его прошла уже по всей Россіи, а главное, его высоко чтутъ въ Петербургѣ — въ Синодѣ и при Дворѣ. По слухамъ, весьма расположенъ къ нему молодой Государь. Мало-ли что... шепнуть здѣсь что нибудь, недовольство высказать — поди потомъ, отчитывайся...

Но съ этой стороны Владыка могъ быть покоенъ: ни Консисторія, ни приходы, ни епархіальныя дѣла нисколько о. Іоанна не занимали. Онъ пріѣхалъ къ больной, по вызову знакомыхъ, сейчасъ-же началъ разѣзжать по городу — да и на Подворьѣ у Владыки, гдѣ остановился,

сразу появилось то возбужденіе, оживленіе, народъ, жаждущій его видѣть, что сопровождало о. Іоанна всюду. «Великой духовности іерей», говорилъ о немъ Владыка. «Молитвенникъ, украшеніе Церкви. Но воодушевленіе иногда и чрезмѣрное. Этакая нервность...» Владыка покачивалъ головой, находилъ, что напримѣръ «іоаннитки» доходятъ до болѣзненности — и этимъ слегка утѣшалъ то ревнивое чувство, которое у него появилось: о. Іоаннъ держался съ нимъ почтительно, но сразу заслонилъ собою все. Въ эти дни не было въ городѣ архіерея, а былъ пріѣхавшій изъ Петербурга о. Іоаннъ Кронштадтскій — и на служеніи въ Соборѣ, переполненномъ какъ подѣ Свѣтлое Воскресеніе, всѣ взоры, волненіе, обожаніе были сосредоточены на о. Іоаннѣ. Въ городѣ говорили уже объ исцѣленіяхъ по его молитвамъ, объ облегченіи страданій, удивительныхъ исповѣдяхъ и обращеніяхъ. Большинство вѣрило, или относилось сочувственно. Но были и скептики.

Красавецъ наморщивалъ губы и усы съ видомъ глубокомысленнымъ.

— Безъ религіи, разумѣется, невозможно. На ней держится общество, государство... Но увлеченія, экстазъ... Всѣ разговоры объ исцѣленіяхъ, чуть-ли не воскрешеніяхъ, я нахожу лишними. Въ этомъ безспорно — много женской истеричности.

Олимпиада доѣдала борщъ, улыбнулась.

— Вотъ онъ и выходитъ тебѣ конкурентъ, тоже цѣлитель... Смотри, практику отобьетъ.

Красавецъ слегка вспыхнулъ.

— Душечка, совершенно не къ мѣсту. Я вовсе не о томъ говорю.

Олимпиада протянула ему черезъ столъ бѣлую руку — въ перстняхъ, надушенную, заткнула ею ротъ и пощекотала пальцемъ усы.

— Шучу, шучу. Тебя весь городъ знаетъ. Столько больныхъ какъ у тебя ни у кого нѣтъ.

Красавецъ отлбызалъ ручку и успокоился, какъ младенецъ, которому дали соску.

Послѣ словъ о. Парфенія объ Іоаннѣ Кронштадтскомъ Глѣбъ ждалъ его прїѣзда съ интересомъ. Онъ немного даже готовился. Взялъ въ училищной библіотекѣ книгу Фаррара, съ увлеченіемъ читалъ объ Аванасіи Великомъ, его борьбѣ съ аріанами, приключеніяхъ, скитаніяхъ, о Вселенскомъ Соборѣ. Когда о. Іоаннъ посѣтитъ ихъ классъ, о. Парфеній, разумѣется, вызоветъ Глѣба. Вотъ тогда онъ и покажетъ, что въ Калугѣ тоже кое что знаютъ и умѣютъ рассказывать. Глѣбъ мысленно уже видѣлъ, какъ о. Іоаннъ, восхищенный его познаніями, обнимаетъ его, цѣлуетъ и благословляетъ.

День посѣщенія не былъ извѣстенъ. Глѣбу очень, конечно, хотѣлось, чтобы онъ совпалъ съ урокомъ Закона Божія — нѣсколько вооружился и въ Евангеліи, Ветхомъ Завѣтѣ, даже въ Катехизисѣ, который не любилъ, подзубрилъ покрѣпче, что «вѣра есть уповаемыхъ извѣщеніе, вещей обличеніе невидимыхъ».

Въ среду (Закона Божія у Глѣба какъ разъ и не было) на второмъ урокѣ вдругъ по классамъ забѣгали надзиратели. Учителя, забравъ журналы свои, полу-смущенно и полу-испуганно уходили, точно въ чемъ-то были виновны. Ученики строились попарно. «Іоаннъ Кронштадтскій! Іоаннъ Кронштадтскій!» Толкомъ никто ничего не зналъ. Знаменитый священникъ изъ Петербурга, а чѣмъ прославился, что именно дѣлаетъ — неизвѣстно, никто не потрудился рассказать. Ясно было одно: начальство встревожено, суматоха такая-же, какъ при появленіи Окружного Инспектора.

Училище вытянули въ два ряда во всю длину верхняго корридора. Глѣбъ былъ доволенъ, что попалъ въ первый рядъ — и онъ лучше увидитъ, и его увидятъ. Ждали нѣсколько минутъ. Внизу сдержанный глухой гулъ. Надзиратель, вытянувшись на площадкѣ парадной лѣстницы, вторымъ повернутымъ маршемъ выходившей въ корри-

доръ, сдѣлалъ вдругъ страшные глаза: надзиратели при ученикахъ тоже встрепенулись, грозно замерли — въ корридорѣ стало совсѣмъ тихо. На площадку, къ бюсту Александра III-го поднялось снизу нѣсколько человѣкъ, предъ ними низко склонился надзиратель. Впереди всѣхъ худенькій священникъ въ лиловой шелковой рясѣ съ большимъ наперстнымъ золотымъ крестомъ, который онъ придерживалъ рукою. Лицо очень русское, почти просто-народное, съ рѣдкой бородкой, полусѣдой, все испещрено морщинками, сложно и путано переплетавшимися — онѣ могли, при нервной выразительности облика, слагаться въ тѣ, иные узоры, накидывать свою сѣть, снимать ее, освѣщать, омрачать. Но надъ всѣмъ господствовали глаза, какъ-бы хозяева мѣстности. Блѣдно-голубые, даже слегка выщѣтніе, несли они легкую, играющую живость, невѣсомо-духовную, какъ легокъ и суховатъ тѣломъ и властными руками былъ этотъ о. Іоаннъ, нѣкоторыми считавшійся почти святымъ.

За нимъ шелъ директоръ, учителя, слегка поблѣднѣвшій о. Парфеній.

Взоръ о. Іоанна былъ разсѣянъ. Онъ сказалъ что-то директору — полному, среднихъ лѣтъ математику съ бачками — тотъ отвѣтилъ почтительно. И о. Іоаннъ оказался прямо уже предъ шеренгою.

— Ну вотъ, дѣти, ну вотъ... съ вами Божіе благословеніе! Благослови васъ Господь!

Глѣба удивилъ его высокій, рѣзкій и довольно неприятный голосъ. Будто даже онъ выкрикнулъ это.

О. Іоаннъ перекрестилъ ихъ широкимъ, летящимъ крестнымъ знаменіемъ, пошелъ вдоль рядовъ. Лицо его какъ-бы отсутствовало. Вполголоса онъ иногда произносилъ отдѣльные слова, долетало: «Господи, сохрани... Благослови, Господи...»

Глѣбъ ждалъ не безъ волненія. Старичекъ поровнялся съ нимъ, шелковая лиловая ряса чуть-чуть задѣла. Но о. Іоаннъ не взглянулъ на Глѣба. Блѣдно-голубые его гла-

за, мелкія морщинки на лицѣ мгновеннымъ видѣніемъ проплыли — и вотъ уже далекѣ. Молился онъ? Искаль глазами и не находилъ? — Какъ будто связи не было. Продолжалось обычное: директоръ, Александръ Григорьевичъ, учителя... И лишь въ самомъ концѣ, у окна, гдѣ стоялъ первый классъ, о. Іоаннъ вдругъ остановился.

— Поди сюда, поди, рыженькій... ну, ты, вихрастенъкій, выходи...

Сосѣди подтолкнули. Мальчикъ лѣтъ десяти, въ веснушкахъ, съ милымъ перепуганнымъ лицомъ, выступилъ изъ шеренги. Это былъ сынъ купца Ирошникова. Фарра онъ не читалъ, учился средне, мечталъ лишь о томъ, чтобы не провалиться на экзаменѣ — тятенька можетъ выдрать. Теперь, когда его выпихнули впередъ, сразу рѣшилъ, что дѣло плохо: какъ нибудь не такъ одѣтъ, шептался съ сосѣдями, шевелился...

Но старичекъ, отъ бороды и рясы котораго пахло ладаномъ, ласково къ нему наклонился.

— Во святомъ крещеніи имя?

— Федотъ, — прошепталъ молодой хлѣботорговецъ.

— Федотушка, маленькій... вихрастенъкій. Учись, учись, преуспѣвай. Какъ въ молитвѣ-то сказано: родителямъ на утѣшеніе, церкви и отечеству на пользу.

Сѣтъ морщинокъ развѣхалась, улыбка освѣтила все лицо. Онъ поцѣловалъ Федота въ самый вихоръ, поднялъ руку, широкимъ, сіяющимъ крестомъ благословилъ.

— Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

— Руку цѣлуй, руку... — шепталъ надзиратель. — Руку-то, батюшкѣ...

Федотъ потянулся, едва успѣлъ коснуться губами сушеной руки. Директоръ, Александръ Григорьевичъ, о. Парфеній ласково смотрѣли на него — раньше онъ этой ласковости не замѣчалъ.

— Одинъ изъ примѣрнѣйшихъ нашихъ учениковъ, — сказалъ директоръ о. Іоанну, уже повернувшему назадъ, быстро направлявшемуся къ лѣстницѣ.

— Примѣрнѣйшихъ, лучшихъ... — разсѣянно бормоталъ о. Іоаннъ и вдругъ опять улыбнулся. — Всѣ примѣрнѣйшіе. Дѣтки всѣ лучшіе.

Потомъ собралъ свои морщинки, поправилъ наперстный крестъ и неприятнымъ, рѣзкимъ и высокимъ голосомъ сказалъ:

— Душевно благодарю, что показали вашихъ милыхъ воспитанниковъ. А въ данное время тороплюсь, меня ожидаютъ въ убѣжищѣ для престарѣлыхъ...

Глѣбъ слишкомъ много думалъ, даже мечталъ объ Іоаннѣ Кронштадтскомъ, многое со встрѣчей этой связывалъ. Если въ о. Парфеніи нѣчто нравилось, укрѣпляло, что же — прославленный о. Іоаннъ, сердцецвѣдецъ, почти прозорливецъ... А вотъ онъ прошелъ мимо, торопливо, ничего не сказавъ. Благословилъ какъ обычно священники, вниманіе обратилъ лишь на Федота. Почему именно на него?

Глѣбъ былъ разочарованъ. Посѣщеніе это не только ничего ему не дало, но будто укрѣпило смутную, неприятную въ немъ самую область, отъ которой онъ радъ былъ бы отдѣлаться.

Черезъ нѣсколько дней, когда о. Іоаннъ былъ уже далеко, Глѣбу случилось выйти изъ Училища вмѣстѣ съ о. Парфеніемъ. Уроки кончились, ученики разошлись — Глѣбъ задержался въ библіотекѣ: возвращалъ Фаррара.

Всю ночь шелъ снѣгъ и продолжалъ еще идти. Его навалило довольно много, весь садъ хорошо укрытъ, беззвучно, безжизненно, но и свѣтло. Лишь къ директорскому розовому дому тропка, да къ воротамъ ученики успѣли протоптать цѣлую дорогу.

О. Парфеній былъ въ мѣховой шапкѣ, шубѣ, огромныхъ калошахъ, какъ всегда худой, шелъ запахивая одежду на впалой груди, слегка горбясь. Глѣбъ стѣснялся его, хотѣлъ обогнать незамѣтно. О. Парфеній самъ его остановилъ.

— Какое-же впечатлѣніе произвелъ на васъ и вашихъ товарищей о. Іоаннъ Кронштадтскій?

Они шли очень медленно, вдоль деревяннаго забора. Клены училищнаго сада, гдѣ гулялъ осенью Глѣбъ съ Сержей Костомаровымъ, склонялись въ снѣговой тяжести надъ переулкомъ. Глѣбъ чувствовалъ себя несвободно.

— Онъ вѣдь такъ мало у насъ побылъ...

— Къ сожалѣнію. Но здѣсь всѣ хотѣли его видѣть. Онъ не могъ долго оставаться въ Училищѣ.

Глѣбъ чувствовалъ, что въ немъ что-то подбирается, стягивается.

— Интересно было-бы поговорить съ нимъ... А такъ что-же... онъ прошелъ мимо. Вы спрашиваете, о. Парфеній, про товарищей... Имъ это совсѣмъ неинтересно.

О. Парфеній шагаль медленно, но большими шагами. Сильно горбился.

— А вамъ?

— Онъ со мной и слова не сказалъ!

Въ голосъ Глѣба что-то дрогнуло.

— А почему-же бы ему именно съ вами говорить?

— Нипочему... Съ кѣмъ хочеть, съ тѣмъ и разговари-ваетъ.

О. Парфеній поднйалъ на него глаза, слегка улыбнул-ся — улыбка эта не была его удачей.

— Но я долженъ сказать, — продолжалъ Глѣбъ: — если вы меня спрашиваете... Онъ мнѣ вообще не понравился.

О. Парфеній шелъ молча. Усмѣшка, которую не любилъ у него Глѣбъ, не сходила съ лица.

— Не понравился! — произнесъ тихо.

Глѣба точно что подмывало. О. Парфеній шагаль беззвучно, пухлый снѣгъ подъ нимъ не скрипѣлъ. Рукой придерживалъ воротъ шубы на впалой груди. Видъ у него былъ такой: «Я иду и молчу, но отлично все знаю» — Глѣбъ это чувствовалъ и начиналъ волноваться.

— Получилось вродѣ парада, онъ какъ будто началь-

ство... мы ему совершенно не нужны... И годось у него неприятный.

— Да, ужь съ этимъ ничего не подѣлаешь. Какимъ Богъ наградилъ.

Прошли еще нѣсколько шаговъ.

— Не думаете-ли вы, — сказать вдругъ о. Парфеній, уже безъ усмѣшки, серьезно, но отдаленно: — что въ однихъ почувствовалъ о. Иоаннъ равнодушіе, въ другихъ, неравнодушныхъ... — противленіе. И вотъ благословилъ Федотика Ирошникова — который, говоря по правдѣ, очень славный мальчикъ, хотя и мало замѣтный.

Глѣбъ перебросилъ ранецъ изъ одной руки въ другую (въ старшихъ классахъ за спиной носить его считалось уже не наряднымъ).

— Возможно.

— А въ общемъ жаль, что пребываніе его было столь кратко... Я думалъ, что онъ произведетъ на учениковъ больше дѣйствія.

— Я тоже отъ него многого ждалъ.

О. Парфеній опять загадочно усмѣхнулся.

— Вамъ, разумѣется, хотѣлось, чтобы онъ на васъ обратилъ вниманіе, съ вами говорилъ...

— Мнѣ ничего этого не хотѣлось, — сказалъ Глѣбъ: точно дверцей отгородился.

Переулокъ, по которому они шли, упирался въ Воскресенскую, противъ церкви Іоанна Богослова. Глѣбу было налѣво, о. Парфенію направо. Глѣбъ снялъ фуражку и поклонился.

— Какую книгу вы мѣняли сегодня въ бібліотекѣ? — спросилъ о. Парфеній.

— Отдалъ Фаррара... Тамъ... объ Аванасіи Великомъ, Отцахъ Церкви...

— Хорошая книга. А что взяли?

— Ничего.

— Почему-же такъ?

— Спрашивалъ Золя, но его въ нашей бібліотекѣ не оказалось.

— Золя!

Глѣбъ продолжалъ тихо, почти съ вызовомъ:

— Придется взять въ городской бібліотекѣ.

О. Парфеній поклонился и медленно зашагалъ по Воскресенской вверхъ. Глѣбъ — внизъ.

.....

Глѣбъ могъ быть доволенъ: насчетъ Золя вышло отлично, съ о. Парфеніемъ держался онъ независимо, въ концѣ концовъ тотъ ничего ему и не возразилъ.

Объ Іоаннѣ Кронштадтскомъ Глѣбъ сказалъ то, что думалъ.

Но хорошаго настроенія не получалось. Онъ довольно мрачно шагалъ по Воскресенской, весь побѣлѣвъ отъ снѣга, тихо и беззвучно заметавшаго эту Калугу.

Когда вошелъ въ переднюю красавцевой квартиры, изъ залы донеслось пѣніе. Дверь полуоткрыта, за роялемъ Олимпиада.

Глѣбъ сумрачно прошелъ по корридору къ себѣ въ комнату. Не хотѣлось ни слышать пѣніе это, ни видѣть никого. Вотъ его столъ, книги, сплошной снѣгъ за окномъ, прохожіе въ переулкѣ и медленно наползающая муть ранняго вечера. Уроки, учителя!

Положивъ рюнецъ, онъ вдругъ почувствовалъ, что никакихъ уроковъ къ завтрашнему дѣлать не станетъ, въ Училище утромъ не пойдетъ. А что, собственно, дѣлать? Да ничего. Вотъ взять, одѣться, выйти въ эту начинающуюся метель, да и зйти Богъ вѣсть куда...

Пѣніе прекратилось. Въ корридорѣ шаги, тяжеловатые, знакомые. Олимпиада отворила дверь.

— Ты что-то нынче позже...

— Въ бібліотекѣ былъ.

Олимпиада сѣла на край постели, заложила могучую ногу за ногу.

— Хмурый сегодня, господинъ профессоръ... какъ тебѣ еще въ дѣтствѣ звали?

— Никакъ.

Олимпиада закурила.

— Я понимаю. Тебѣ скучно. Уроки да уроки, учителя эти разные...

— Нѣтъ, мнѣ не скучно.

Глѣбъ медленно переходилъ въ то состояніе упорнаго противодѣйствія, въ которомъ сладить съ нимъ было нелегко. Олимпиада курила невозмутимо. Ея синіе глаза были покойны.

— Вотъ какое дѣло: нынче въ Дворянскомъ Собраніи концертъ. Замѣчательный пианистъ этотъ, пріѣзжій... Забыла фамилію, но молодой такой. Анна Сергѣевна говоритъ — прямо удивительный. Вотъ и идемъ, я тебя беру. Мужъ Анны Сергѣевны сегодня занятъ, ему нельзя. Она прислала два билета.

— Какая Анна Сергѣевна?

Глѣбъ зналъ какая, но спросилъ нарочно. Олимпиада объяснила. Глѣбъ сказалъ: она вице-губернаторша, билетъ навѣрно дорогой.

— Это тебя не касается. У насъ съ ней особенный счетъ.

Глѣбъ сперва заявилъ, что навѣрно ей неприятно будетъ сидѣть съ гимназистомъ. Потомъ, что у него много уроковъ.

— Ну, и садись сейчасъ-же. Для того и пришла, чтобы тебя предупредить.

Глѣбъ возразилъ, что не успеетъ, а если успеетъ, то можетъ быть поѣдетъ.

— Экій Байроновичъ упрямый, — равнодушно сказала Олимпиада. — Не можетъ быть, а просто къ восьми надѣвай мундиръ. И все тутъ. Вѣдь мундиръ есть? — И никакихъ гвоздей, — прибавила она вдругъ довольно круто. — Не разводи нюни.

Глѣбъ пытался-было еще такъ защищаться: онъ дол-

жень получить разрѣшеніе отъ начальства, а теперь уже поздно... Но Олимпіада встала, расправила великолѣпное свое тѣло, потянулась и, не слушая его, сказала, что въ половинѣ восьмого у подъѣзда будетъ извозчикъ и одной ей ѣхать нельзя.

Когда она вышла, Глѣбъ почувствовалъ облегченіе. Онъ почти радъ былъ ѣхать, не надо лишь это показывать... Анна Сергѣевна очень изящная дама, онъ это зналъ, Олимпіада ей помогаетъ на базарахъ благотворительныхъ, въ человѣколюбивыхъ начинаніяхъ. Красавецъ у нея завсегдатай, играетъ въ винтъ, лѣчитъ. Жутко немножко, что такая сосѣдка, но и занятно, конечно.

Уроки онъ сдѣлалъ быстро, все теперь шло по иному. Въ семьомъ часу занялся собою — съ видомъ жертвы, противъ воли ведомой на закланіе. Однако, агнецъ вымылся, причесался, надѣлъ крахмальный стоячій воротничекъ, вычистилъ однобортный свой мундиръ. Надѣвъ его, все вертѣлся передъ зеркаломъ: крахмальный воротничекъ долженъ ровно-узкой полоской выдаваться надъ мундирнымъ воротникомъ, — а на горлѣ маленькій червяк галстучекъ. Несмотря на «мрачное» настроеніе Глѣбу нравилось, что онъ наряденъ, блѣдноватъ, что когда садится, надо расправлять фалды мундира: точно онъ молодой офицеръ.

Если-бы Соня-Собачка видѣла его сейчасъ, могла-бы похохотать съ Лизой и подразнить. Но ни Сони, ни Лизы не было, Олимпіада хоть и запросто держится, все-же совсѣмъ другая, никакъ и никогда не своя. Впрочемъ, для сегодняшняго вечера это и лучше. Глѣбу нравилось, что онъ выѣзжаетъ съ молодой и нарядной дамой, старше его однако, и не такой пріятельницей по Устамъ, какъ Соня, Лиза. Съ ней выходило параднѣе.

Въ началѣ восьмого онъ подошелъ къ комнатѣ Олимпіады. Не спѣша, не раздумывая, отворилъ дверь. У большого трюмо горѣли свѣчи, Олимпіада, спиной къ Глѣбу, предъ зеркаломъ, какъ разъ въ эту минуту подняла

вверхъ руки съ легкимъ въ нихъ платьемъ — блеснули бѣлая ея плечи, голая спина, кружевное бѣлье — но мгновенно платье сверху закрыло все.

Увидѣвъ Глѣба, она усмѣхнулась, отошла за ширму. Глѣбъ смутился.

— Виноватъ, извини...

— Ничего. Опоздалъ, профессоръ. Если бы минуты на двѣ раньше... а то опоздалъ.

Олимпіада пошуршала за ширмой, вышла розовая, вся свѣжая и благоухающая, легкая даже въ крупности своей. Улыбалась весело, оживленно.

— Чего тамъ. Все въ порядкѣ.

Взявъ съ туалета флаконъ, опрокинула на руку, подушила Глѣбу лобъ, шею, мундиръ на груди.

— Вотъ и отлично. Мундирчикъ хоть куда. Значить, ѣдемъ.

Подошла къ окну, отдернула портьеру.

— Кузьма подавъ. Смотри пожалуйста, стихло, и даже луна.

Синяя тѣнь лежала на Никитской отъ ихъ дома — очерчивалась рѣзко и ломано, дальше снѣгъ блестялъ искрами въ лунѣ, сіяли накатанныя полоски. По нимъ рѣяло отраженье дыма изъ трубы — таяло, уносилось. Церковь на той сторонѣ была зеленая. Лихачъ стоялъ у подъѣзда.

Онъ мчалъ ихъ рѣзко — оцѣпенѣвшею въ лунѣ площадью, мимо Собора, сахарною громадой воздымавшагося, мимо городского сада къ губернаторскому дому и Дворянскому Собранію.

Глѣбъ, высаживая Олимпіаду, былъ не совсѣмъ уже тотъ что сидѣлъ нынче въ Училищѣ, мрачно домой возвращался и дома упорствовалъ. Но и все было другое — изъ луннаго вечера естественно пронеслись они съ Олимпіадою въ блескъ заль съ люстрами, въ свѣтъ на бѣлыхъ колоннахъ, рядами вытянутыхъ къ эстрадѣ. Тамъ отбле-

скиваетъ онъ въ темномъ лакѣ рояля, а въ глубинѣ Императрица на стѣнѣ, Екатерина съ розовыми щеками, пудренная, во весь ростъ у стола, со скипетромъ въ рукѣ — наискосокъ Александръ въ бѣлыхъ лосинахъ, со взбитымъ на головѣ кокомъ, на фонѣ дымныхъ сраженій..

Олимпиада вела Глѣба среднимъ проходомъ между стульями, все впередъ. Въ третьемъ ряду остановилась, взглянула на билеты и взяла налѣво. Темноглазая, худощавая дама улыбалась ей въ нѣсколькихъ шагахъ. Олимпиада подошла. Онѣ дружески поздоровались.

— А это племянникъ мой, разрѣшите представить.

Анна Сергѣевна привѣтливо на племянника взглянула.

— Знаю немножко... заочно.

И протянула руку.

— Отлично, что пришли. Любите музыку?

Глѣбъ пробормоталъ нѣчто будто и утвердительное. Какъ, по совѣсти, могъ сказать, что музыку очень любить, когда почти и не зналъ ея — Семирамиды да Эгмонты Лизиныхъ Устовъ, да нѣсколько Шопеновъ Софьи Эдуардовны? Если-же отвѣчать вполнѣ правильно, слѣдовало-бы опредѣлить такъ: знаній не имѣлъ, но дѣйствию былъ подверженъ.

Анна Сергѣевна сидѣла межъ Глѣбомъ и Олимпиадою. Глѣбъ смотрѣлъ въ программу, видѣлъ имена: Бетховень, Шопень, Листъ, слышалъ разговоръ Олимпиады съ сосѣдкою, чувствовалъ себя отдѣленнымъ. Все на своихъ мѣстахъ, все свѣтло и понятно. Прекрасно, что эта изящная дама съ нѣжнымъ профилемъ, чахоточной тонкостью лица, брилліантовою брошкой, слабо благоухающая духами, съ нимъ рядомъ. И онъ, ученикъ пятого класса Глѣбъ, разумѣется, случайно на мѣстѣ вице-губернатора. Но онъ въ то-же время (душою своей) и слегка плаваетъ въ этомъ залѣ, чуть выше, такъ же легко, какъ хрустальный и невѣсомый свѣтъ, наполняющій все вокругъ.

— А вотъ и онъ, видите, какой юный.

Въ залѣ раздался мягкій, но полный плескъ. Къ роялю, поднявшись изъ артистической, подошелъ молодой человѣкъ во фракѣ и бѣломъ галстукѣ, довольно стройный, съ кругло-приятнымъ, полудѣтскимъ лицомъ. Анна Сергѣевна зааплодировала. Глѣбъ тоже. Молодой человѣкъ сдержанно, привычно раскланивался направо, налево. Потомъ сѣлъ за рояль.

По мѣрѣ того какъ онъ игралъ, Глѣбъ все прочіе отходилъ въ тотъ особенный міръ, уголокъ котораго показался ему нынче въ соединеніи луннаго свѣта со свѣтомъ сіяющей этой залы, блескомъ женскихъ глазъ рядомъ, во всемъ томъ остро-радостномъ очарованіи, что было вокругъ. Нельзя было понять, какъ именно юноша Гоманъ вызывалъ къ бытію міры новыя — но вызывалъ: со сверхъестественной легкостью, хрустальною, нечеловѣческой, къ свѣту и очертанію присоединялся звукъ — всѣ эти сложные, тонкія, воздвигающіяся, низвергаемая воздушныя и невидимыя построенія, гдѣ-то кѣмъ-то созданныя, теперь колдовски воспроизведенныя.

Они мѣняли окружающее. Заступали мѣсто Калуги и губернаторовъ, учениковъ, уроковъ, чередованія дней. Глѣбъ впервые испыталъ тогда то ощущеніе отъ музыки, которое потомъ приходило и сильнѣе: казалось, что тяжести и преграды и невозможности вообще нѣтъ — въ этомъ полуфантастическомъ бытіи можно, на примѣръ, двинуться наискосокъ черезъ всю залу, снизу вверхъ на хоры или наоборотъ... — все объято однимъ потокомъ, неуловимымъ и невѣсомымъ, въ немъ все по иному: взять, на примѣръ, Аншу Сергѣевну подъ руку и беззвучно — не то проплыть, не то вынестись въ лунно-зеленоватые міровые просторы.

Гофманъ игралъ съ антрактомъ. Глѣбъ вставалъ, ходилъ съ Олимпіадою и Анною Сергѣевной въ толпѣ, въ сіяніи люстръ. Губернская эта толпа не была-ли для него отголоскомъ пережитого? Другая толпа, не такая, какъ

всегда. Все другое. Излученіе и сіяніе — въ брилліантахъ Анны Сергѣевны, въ звукахъ Гофмана, въ сверканіи бѣлыхъ колоннъ Собранія.

Разговаривая съ Олимпиадою, Анна Сергѣевна иногда тихо на него улыбалась. Вѣроятно, видъ Глѣба и самъ говорилъ за себя.

Когда кончилось и второе отдѣленіе, Гофманъ раскланивался съ той-же пріятностью и легкостью, слегка прижимая руки къ сердцу, склоняя полу-мальчишескую, съ боковымъ проборомъ, круглую голову. Онъ стоялъ на эстрадѣ въ своемъ фракѣ и бѣломъ галстукѣ, уходилъ, выходилъ, улыбался — а наконецъ и совсѣмъ ушелъ, чтобы запахнувшись въ шубу, на лихачѣ укатить къ «Куло-ну», поужинать, лечь спать и утромъ съ раннимъ поѣздомъ летѣть по сонной Россіи въ другой городъ, обольщать другихъ дамъ, другихъ гимназистовъ.

Глѣбъ, Анна Сергѣевна, Олимпиада выходили изъ Собранія. Екатерина, Александръ въ лосинахъ, люстры и колонны, Имперія, вносившая въ каждый городъ Россіи Европу и анти-скиѣское, все это отошло, какъ и Гофманъ со своими каскадами. Они вошли въ ночь.

Анна Сергѣевна спросила Глѣба, доволенъ-ли онъ. Глѣбу хотѣлось отвѣтить что-нибудь замѣчательное, особенное... — Но ничего замѣчательнаго не получилось, кромѣ того, что онъ былъ сейчасъ счастливъ и этого скрыть нельзя.

Олимпиада обернулась къ Аннѣ Сергѣевнѣ.

— А вѣдь какъ ѣхать не хотѣлъ! Вы бы посмотрѣли, какъ приходилось уламывать. Вотъ ужъ эти мужики!

Анна Сергѣевна засмѣялась. Они не могли сразу найти извозчика — шли втроемъ мимо губернаторскаго дома, рядомъ съ городскимъ садомъ. Морозъ усилился. Луна зашла, небо темновѣздное — синева съ золотомъ.

Глѣбъ вель подъ руку Анну Сергѣевну. Она ступала осторожно. Рядомъ, какъ могучая крѣпость, Олимпиада въ малиновой ретондѣ.

Анна Сергѣевна подняла руку, указала въ небѣ златистое дубль-вз.

— Это какое созвѣздіе?

Глѣбъ полонъ былъ сейчасъ дыханіемъ ночи, звѣздъ, ледяной безконечности. Но рядомъ ощущалъ милую прелесть, земную. На морозѣ слабо пахло духами...

Онъ тихо и безъ колебанія отвѣтилъ:

— Кассіопея.

Извозчикъ на углу все-таки оказался. Олимпиада хотѣла-было посадить Глѣба третьимъ, между ними. Онъ ни за что не сѣлъ. Онъ ихъ усадилъ, самъ пошелъ пѣшкомъ, ему нравилось такъ шагать по морозу, по закорячливому снѣгу улицъ, со скрипомъ, визгомъ подъ ногой, нравилось видѣть надъ собой Кассіопею. Въ ней какая-то музыка, онъ не могъ сказать точно какая, но былъ ею полонъ, все теперь другое, гдѣ этотъ странный утекшій день, библіотека, о. Парфеній, мракъ, печаль?

Его ходъ былъ легкимъ, можетъ быть, даже, онъ почти и бѣжалъ. Глаза Анны Сергѣевны, брилліанты, запахъ духовъ... Глѣбъ былъ радъ, что онъ одинъ, что восторгъ тѣснить его.

.....

Черезъ нѣсколько дней, въ Училищѣ, послѣ урока гимнастики, когда оставалось еще минутъ двадцать свободного времени, Глѣба вызвалъ къ себѣ Александръ Григорьевичъ. Онъ имѣлъ видъ спокойный, задумчивый и довольно важный — стоялъ у окна большого корридора, заложивъ руку за спину и подбрасывая ею фалду вицмундира: это занятіе онъ любилъ. Увидѣвъ Глѣба, слегка улыбнулся — улыбка скользнула по блѣдному лицу съ карими, умными глазами — нельзя было понять, насмѣшливая или сочувственная.

— Вотъ, вотъ именно. Съ вами хотѣлъ поговорить. Съ вами.

Глѣбъ относился къ Александру Григорьевичу съ уваженіемъ, нѣкоторымъ смущеніемъ. Не совсѣмъ онъ про-

стой. Говорили, что въ молодости считался рѣдкихъ дарованій математикомъ, долженъ былъ быть оставленъ при Университетѣ, но не вышло — попалъ въ провинцію. Теперь онъ инспекторъ въ Калугѣ и Глѣбовъ классный наставникъ. Два года назадъ женился на бывшей своей ученицѣ Катѣ Крыловой. Живетъ уединенно близъ Никольской, въ одноэтажномъ кирпичномъ домикѣ. Иногда, проходя по переулку, можно видѣть его за окномъ: укутавшись въ плэдъ (изъ-за склонности къ простудамъ), подолгу, неподвижно читаетъ. Глѣбъ иногда о немъ думалъ. Онъ представлялся ему вродѣ астролога или чернокнижника, въ жизни его будто нѣкая тайна. Богъ знаетъ, можетъ быть, сидя въ своихъ креслахъ, шарфахъ, плѣдахъ вдругъ да и откроетъ онъ новое дифференціальное исчисленіе.

Но сейчасъ онъ прежде всего начальство.

— Съ вами, и вѣтъ о чемъ-съ...

Александръ Григорьичъ таинственно поджалъ губы, расширилъ глаза: не то, чтобы они приняли угрожающее выраженіе, но все-таки на чемъ-то настаивали.

— Я знаю, что вы хорошо учитесь. Да, да. И превосходно-съ... Такъ и надо. Да, такъ и надо.

Онъ медленно повелъ Глѣба за собой по корридору, все побалтывая фалдой вицмундирной — рука его за спиной.

— Но не одно это. Жизнь юноши состоитъ не изъ одного ученія. Человѣкъ живетъ-съ, и юноша живетъ-съ. Въ юношѣ уже слагается будущій гражданинъ...

Глѣбъ шагаль рядомъ. Смутно онъ уже чувствовалъ, куда клонитъ Александръ Григорьичъ.

— Мнѣ извѣстно, что вы посѣщаете театры. А накануняхъ были даже и въ концертѣ — не предупредивъ вашего класснаго наставника! — онъ расширилъ глаза, повернулъ голову и настолько приблизилъ блѣдное свое лицо къ Глѣбу, что тотъ увидѣлъ всѣ жилки глаза и блѣдно-оранжевый ободокъ зрачка.

Глѣбъ призналъ свою вину. И нѣсколько вспыхнулъ,

сказавъ, что случайно и въ послѣднюю минуту получилъ билетъ отъ Анны Сергѣевны, вице-губернаторши. Ему пріятенъ былъ звукъ словъ: «Анна Сергѣевна» — и то, что какъ будто она сама его позвала.

— Принимаю во вниманіе, что васъ пригласили за нѣсколько часовъ до концерта. И, разумѣется, не возражалъ-бы ни противъ музыки, ни противъ общества, въ которомъ находились. Не возражалъ-бы. Да, да, да! (Онъ подкидывалъ рукой сзади фалду). Не возражалъ-бы. И все-таки — я долженъ знать, гдѣ находятся и что дѣлаютъ ученики ввѣреннаго мнѣ класса... — онъ опять расшрился глаза.

— Но это еще не все. Не все-съ! Я вообще замѣчаю въ васъ въ послѣднее время нѣчто новое... Мало того, что вы начинаете вести разсѣянный образъ жизни, да, разсѣянный... — въ васъ наблюдаются и нѣкоторыя черты, мало подходящія и къ вашему возрасту, и къ положенію воспитанника Училища.

Маленькія ноги Александра Григорьевича, въ сапожкахъ на высокихъ каблукахъ, негромко, но четко отстукивали. Паркетъ блестѣлъ. Глѣбъ старался идти съ нимъ въ ногу — это было не такъ легко: Александръ Григорьевичъ хотя выше средняго роста, но шагалъ мелко. Они проходили мимо стеклянныхъ дверей, тамъ классы. Привычнымъ взоромъ заглядывалъ туда Александръ Григорьевичъ. За стекломъ ученики на партахъ, учитель за своимъ столикомъ. Что-то они говорилъ, но отсюда казались тѣнями, какъ въ нѣмомъ синема.

Александръ-же Григорьевичъ припомнилъ Глѣбу и странность послѣдняго его русскаго сочиненія («Москва, какъ много въ этомъ звукѣ для сердца русскаго слилось» — Глѣбъ неожиданно осудилъ Москву), и его теологическія уклоненія и, наконецъ...

— Вы, кажется, читаете Эмиля Золя?

Глѣбъ на этотъ разъ былъ въ довольно мирномъ, быть можетъ слегка и смущенномъ духѣ.

— Да, Александръ Григорьичъ, читаю.

Александръ Григорьичъ высоко подбросилъ за спиной фалду. Проходя въ эту минуту мимо четвертаго класса, сдѣлалъ ученику Евстигнѣву, занимавшемуся подсказомъ, страшные глаза, погрозилъ пальцемъ.

— А между тѣмъ, Золя пакостный писатель. Да, я вамъ говорю: пакостный. Засоряетъ и отравляетъ душу юноши.

Дойдя до конца корридора, они повернули назадъ. Золя былъ вполне разгромленъ. Глѣбъ, впрочемъ, не особенно его и защищалъ. И когда Александръ Григорьевичъ спросилъ его, чѣмъ онъ больше сейчасъ занимается, Глѣбъ отвѣтилъ для него неожиданно, отвѣтъ удивилъ:

— Астрономіей и рисованіемъ.

— Астрономіей!

Александръ Григорьевичъ опять расширилъ глаза, но теперь не угрожающе.

— И хорошо-съ. Но что-же вы собственно дѣлаете?

Глѣбъ нѣсколько преувеличилъ, но его ходъ оказался правильнымъ, да это и не была вполне выдумка: не только потому, что показалъ Аннѣ Сергѣевнѣ Кассіопею, но онъ дѣйствительно этой зимой кое-что читалъ о небѣ, досталъ звѣздный атласъ и находилъ большую радость въ томъ, чтобы отыскивать и наблюдать звѣзды. Нѣкоторые вечера, когда Красавецъ съ Олимпіадой уѣзжали, онъ дѣйствительно проводилъ надъ Фламмаріономъ. Юпитеры и Венеры, Веги и Кассіопеи становились ему друзьями. Они пригодились и сейчасъ.

Насчетъ рисованія Александръ Григорьевичъ Глѣба тоже одобрилъ. Посовѣтовалъ обратиться къ Михаилу Михайлычу. Глѣбъ промолчалъ. Онъ отлично зналъ, что ужъ именно этого-то никогда и не сдѣлаетъ.

— А Золя бросьте читать. Пакостный писатель. Я вамъ говорю. Пакостный.

Ночная дорога

«И вспоминая эти годы, я нахожу в них начала недугов, терзающих меня, и причины раннего, ужасного моего увядания.

Бабель.

Нѣсколько дней тому назадъ во время работы, глубокой ночью, на совершенно безлюдной въ эти часы площади St-Augustin, я увидѣлъ маленькую телѣжку типа тѣхъ, въ которыхъ обычно ѣздятъ инвалиды. Это была трехколесная телѣжка, устроенная какъ передвижное кресло; впереди торчало нѣчто вродѣ руля, который нужно было раскачивать, чтобы привести въ движеніе цѣль на заднія колеса. Телѣжка съ удивительною медленностью, какъ во снѣ, обогнула кругъ свѣтящихся многоугольниковъ и стала подниматься по бульвару Haussman. Я приблизился, чтобы лучше ее рассмотреть; въ ней сидѣла закутанная, необыкновенно маленькая старушка; видно было только ссохшееся, темное лицо, уже почти нечеловѣческое и худенькая рука такого же цвѣта, съ трудомъ двигавшая руль. Я видѣлъ уже неоднократно людей похожихъ на нее, но всегда днемъ. Куда могла ѣхать ночью эта старушка, почему она оказалась здѣсь, какая могла быть причина этого ночного переѣзда, кто и гдѣ могъ ее ждать? Я смотрѣлъ ей вслѣдъ, почти задыхаясь отъ сожалѣнія, сознанія совершенной непоправимости и остраго любопытства, похожего на физическое ощущеніе жажды. Я, конечно, не узналъ о ней рѣшительно ничего. Но видъ этого удаляющагося инвалиднаго кресла и медленный его скрипъ, отчетливо слышный въ неподвижномъ и холодномъ воздухѣ этой ночи, вдругъ пробудили во мнѣ то ненасытное

стремленіе непремѣнно узнать и попытаться понять многія чуждыя мнѣ жизни, которое въ послѣдніе годы почти оставило меня. Оно всегда было безплодно, такъ какъ у меня не было времени, чтобы посвятить себя этому. Но сожалѣніе, которое я испытывалъ отъ сознанія этой невозможности, проходитъ черезъ всю мою жизнь. Позже, когда я думалъ объ этомъ, мнѣ начинало казаться, что это любопытство было въ сущности непонятнымъ влеченіемъ, потому что оно упиралось въ почти непреодолимыя препятствія, происходившія въ одинаковой степени отъ матеріальныхъ условій и отъ природныхъ недостатковъ моего ума, и еще оттого, что всякому сколько-нибудь отвлеченному постиженію мнѣ мѣшало чувственное и бурное ощущеніе собственнаго существованія. Кромѣ того, я упорно не могъ понять страстей или увлеченій, которыя мнѣ лично были чужды; мнѣ, напримѣръ, приходилось каждый разъ дѣлать надъ собой большое усиліе, чтобы не считать всякаго человѣка, съ беззащитной и слѣпой страстью проигрывающаго или пропивающаго всѣ свои деньги, просто глупцомъ, не заслуживающимъ ни сочувствія, ни сожалѣнія — потому что въ силу случайности я не выносилъ алкоголя и смертельно скучалъ за картами. Такъ же я не понималъ донжуановъ, переходящихъ всю жизнь изъ однихъ объятій въ другія — но это по другой причинѣ, которой я долго не подозрѣвалъ, пока у меня не хватило мужества продумать это до конца, и тогда я убѣдился, что это была зависть, тѣмъ болѣе удивительная, что во всемъ остальномъ я былъ совершенно лишентъ этого чувства. Возможно, что и въ другихъ случаяхъ, если бы произошло какое-то неуловимое измѣненіе, оказалось бы, что тѣ страсти, которыхъ я не понималъ, тоже стали бы мнѣ доступны и я такъ же подвергся бы ихъ разрушительному дѣйствию и на меня съ такимъ же сожалѣніемъ смотрѣли бы другіе, чуждые этимъ страстямъ, люди. И то, что я ихъ не испытывалъ, было, быть можетъ, всего лишь проявленіемъ инстинкта самосохраненія, болѣе сильнаго во

мнѣ, повидимому, чѣмъ въ тѣхъ моихъ знакомыхъ, которые проигрывали свои жалкіе заработки на скачкахъ или пропивали ихъ въ безчисленныхъ кафе.

Но безкорыстному моему любопытству ко всему, что окружало меня и что мнѣ съ дикарской настойчивостью хотѣлось понять до конца, мѣшалъ, помимо всего остального, недостатокъ свободнаго времени, происходившій въ свою очередь оттого, что я всегда жилъ въ глубокой нищетѣ и заботы о пропитаніи поглощали все мое вниманіе. Однако, это же обстоятельство дало мнѣ относительное богатство поверхностныхъ впечатлѣній, какого у меня не было бы, если бы моя жизнь протекала въ иныхъ условіяхъ. У меня не было предвзятаго отношенія къ тому, что я видѣлъ, я старался избѣгать обобщеній и выводовъ; но, помимо моего желанія, вышло такъ, что два чувства овладѣваютъ мною сильнѣе всего, когда я думаю объ этомъ — презрѣніе и жалость. Сейчасъ, вспоминая этотъ печальный опытъ, я полагаю, что, я, можетъ быть, ошибался и эти чувства были напрасны. Но ихъ существованіе въ теченіе долгихъ лѣтъ не могло быть ничѣмъ преодолено и оно теперь такъ же непоправимо, какъ непоправима смерть, и я не могъ бы отъ нихъ отказаться, это было бы такой же душевной трусостью, какъ если-бы я отказался отъ признанія того, что глубоко во мнѣ жила несомнѣнная и непонятная жажда убійства, полное презрѣніе къ чужой собственности и готовность къ измѣнѣ и разврату. И привычка оперировать воображаемыми, никогда не происходившими — повидимому, въ силу множества случайностей — вещами, сдѣлала для меня эти возможности болѣе реальными, чѣмъ если-бы они происходили въ дѣйствительности; и всѣ они обладали особенной соблазнительностью, несвойственной другимъ вещамъ. Нерѣдко, возвращаясь домой послѣ ночной работы по мертвымъ парижскимъ улицамъ, я подробно представлялъ себѣ убійство, все, что ему предшествовало, всѣ разговоры, оттѣнки интонацій, выраженія глазъ — и дѣйствующими лица-

ми этихъ воображаемыхъ діалоговъ могли оказаться мои случайные знакомые или почему либо запомнившіеся прохожіе или, наконецъ, я самъ въ качествѣ убійцы.

Въ концѣ такихъ размышленій я приходилъ обычно къ одному и тому же пблущушенію-полувыводу, это была смѣсь досады и сожалѣнія по поводу того, что на мою долю выпалъ такой неутѣшительный и ненужный опытъ; и что въ силу недѣльной случайности мнѣ пришлось стать шоферомъ такси. Все или почти все, что было прекраснаго въ мірѣ, стало для меня точно наглухо закрыто — и я остался одинъ, съ упорнымъ желаніемъ не быть все же захлестнутымъ той безконечной и безотрадной чело-вѣческой мерзостью, въ ежедневномъ соприкосновеніи съ которой состояла моя работа. Она была почти сплошной, въ ней рѣдко было мѣсто чему-нибудь положительному и никакая гражданская война не могла сравниться по своей отвратительности и отсутствію чего-нибудь хорошаго съ этимъ мирнымъ, въ концѣ концовъ, существованіемъ. Конечно, это объяснялось еще и тѣмъ, что населеніе ночного Парижа, рѣзко отличалось отъ дневного и состояло изъ нѣсколькихъ категорій людей, по своей природѣ и профессіи чаще всего уже заранѣе обреченныхъ. Но кромѣ того, въ отношеніи этихъ людей къ шоферу всегда отсутствовали сдерживающія причины — не все ли равно, что подумаетъ обо мнѣ человекъ, котораго я больше никогда не увижу и который никому изъ моихъ знакомыхъ не можетъ объ этомъ рассказать? Такимъ образомъ, я видѣлъ моихъ случайныхъ кліентовъ такими, какими они были въ дѣйствительности, а не такими, какими они хотѣли казаться, — и это соприкосновеніе съ ними почти всякій разъ показывало ихъ съ дурной стороны. При самомъ безпристрастномъ отношеніи ко всѣмъ, я не могъ не замѣтить, что разница между ними была всегда невелика, и въ этомъ оскорбительномъ уравненіи женщина въ бальномъ туалетѣ, живущая на Avenue Henri-Martin, немногимъ отличалась отъ ея менѣе удачливой сестры, ходившей по

тротуару, какъ часовой, отъ одного угла до другого; и люди почтеннаго вида изъ Passy и Auteuil такъ же униженно торговались съ шофферомъ, какъ выпившій рабочій съ rue de Belleville; и довѣрять никому изъ нихъ было нельзя, я въ этомъ неоднократно убѣждался. Я помню, какъ въ началѣ своей шофферской работы, я остановился однажды у тротуара, привлеченный стономъ довольно приличной дамы лѣтъ тридцати пяти съ распухшимъ лицомъ; она стояла, прислонившись къ тротуарной тумбѣ, стонала и дѣлала мнѣ знаки; когда я подъѣхалъ, она попросила меня прерывающимся голосомъ отвезти ее въ госпиталь; у нея была сломана нога. Я поднялъ ее и уложилъ въ автомобиль; но когда мы приѣхали, она отказалась мнѣ платить и заявила вышедшему человѣку въ бѣломъ халатѣ, что я своимъ автомобилемъ сбиль ее и что, падая, она сломала ногу. И я не только не получилъ денегъ, но еще и рисковалъ быть обвиненнымъ въ томъ, что называется невольнымъ убійствомъ. Къ счастью, человѣкъ въ бѣломъ халатѣ отнесся къ ея словамъ скептически и я поспѣшилъ уѣхать. И впоследствии, когда мнѣ дѣлали знаки люди, стоящіе надъ чьимъ-нибудь распростертымъ на тротуарѣ тѣломъ, я только сильнѣе нажималъ на акселераторъ и проѣзжалъ, никогда не останавливаясь. Человѣкъ въ прекрасномъ костюмѣ, вышедшій изъ гостиницы Клэриджъ, котораго я отвезъ на Ліонскій вокзалъ, далъ мнѣ сто франковъ, у меня не было сдачи; онъ сказалъ, что размѣняетъ ихъ внутри, и ушелъ — и больше не вернулся; это былъ почтенный, сѣдой человѣкъ съ хорошей сигарой, напоминавшій по виду директора банка, — и очень возможно, что дѣйствительно директоръ банка. Однажды, послѣ очередной клиентки, въ два часа ночи, я освѣтилъ автомобиль и увидѣлъ, что на сидѣньѣ лежитъ женская гребенка съ вкрапленными въ нее брилліантами, по всей вѣроятности, фальшивыми, но видъ у нея былъ, во всякомъ случаѣ, роскошный; мнѣ было лѣнь слѣзать, я рѣшилъ, что возьму эту гребенку позже. Въ это время меня

остановила дама, — это было на одной изъ авеню возлѣ Champs de Mars, — въ собольемъ *sortie de bal*; она поѣхала на Avenue Foch; послѣ ея ухода, я вспомнилъ о гребенкѣ и посмотрѣлъ черезъ плечо. Гребенки не было, дама въ *sortie de bal* украла ее такъ же, какъ это сдѣлала бы горничная или проститутка.

Я думалъ объ этомъ и о многихъ другихъ вещахъ почти всегда въ одни и тѣ же утренніе часы. Зимой было еще темно, лѣтомъ свѣтло въ это время и никого уже не было на улицахъ; очень рѣдко встрѣчались рабочіе — безмолвныя фигуры, которыя проходили и исчезали. Я почти не смотрѣлъ на нихъ, такъ какъ зналъ наизусть ихъ внѣшній обликъ, такъ же, какъ зналъ кварталы, гдѣ они живутъ и другіе, гдѣ они никогда не бываютъ. Парижъ раздѣленъ на нѣсколько неподвижныхъ зонъ; я помню, что одинъ изъ старыхъ рабочихъ — я былъ вмѣстѣ съ нимъ на бумажной фабрикѣ возлѣ Boulevard de la Gare — сказалъ мнѣ, что за сорокъ лѣтъ пребыванія въ Парижѣ, онъ не былъ на Елисейскихъ Поляхъ, потому что, объяснилъ онъ, онъ тамъ никогда не работалъ. Въ этомъ городѣ еще была жива, — въ бѣдныхъ кварталахъ, — далекая психология чуть-ли не четырнадцатаго столѣтія, рядомъ съ современностью, не смѣшиваясь и почти не сталкиваясь съ ней. И я думалъ иногда, разъѣзжая и попадая въ такія мѣста, о существованіи которыхъ я не подозрѣвалъ, что тамъ до сихъ поръ происходитъ медленное умираніе средневѣковья. Но мнѣ рѣдко удавалось сосредоточиться на одной мысли въ теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго времени, и послѣ очередного поворота руля, узкая улица исчезала и начиналось широкое авеню, застроенное домами со стеклянными дверьми и лифтами. Эта бѣглость впечатлѣній нерѣдко утомляла вниманіе и я предпочиталъ закрывать глаза и не думать ни о чемъ. Никакое впечатлѣніе, никакое очарованіе не могло быть длительнымъ при этой работѣ — и только потому я старался вспомнить и разобрать то, что мнѣ удалось увидѣть за

очередную ночную поѣздку, изъ подробностей того необыкновеннаго міра, который характеренъ для ночнаго Парижа Всегда, каждую ночь, я встрѣчалъ нѣсколькихъ сумасшедшихъ; это были чаще всего люди, находящіеся на порогѣ сумасшедшаго дома или больницы, алкоголики и бродяги. Въ Парижѣ много тысячъ такихъ людей. Я заранее зналъ, что на такой-то улицѣ будетъ проходить такой-то сумасшедшій, а въ другомъ кварталѣ будетъ другой. Узнать о нихъ что-либо было чрезвычайно трудно, такъ какъ то, что они говорили, бывало обычно совершенно безсвязно Иногда, впрочемъ, это удавалось. Я помню, что одно время меня особенно интересовалъ маленькій, невзрачный человекъ съ усиками, довольно чисто одѣтый, похожій по виду на рабочаго и котораго я видѣлъ примѣрно каждую недѣлю или каждыя двѣ недѣли, около двухъ часовъ ночи, всегда въ одномъ и томъ же мѣстѣ, на Avenue de Versailles, на углу, напротивъ Pont de Grenelle. Онъ обычно стоялъ на мостовой, возлѣ тротуара, грозилъ кумо - то кулаками и бормоталъ едва слышно ругательства. Я могъ только разобрать, какъ онъ шепталъ: *salaud... salaud!*. Я зналъ его много лѣтъ — всегда въ одни и тѣ же часы, всегда на одномъ и томъ же мѣстѣ. Я заговорилъ, наконецъ, съ нимъ и послѣ долгихъ разспросовъ мнѣ удалось выяснить его исторію. Онъ былъ по профессіи плотникъ, жилъ гдѣ-то возлѣ Версаля, въ двѣнадцати километрахъ отъ Парижа и могъ пріѣзжать сюда поэтому только разъ въ недѣлю, въ субботу Шесть лѣтъ тому назадъ онъ вечеромъ повздорилъ съ хозяиномъ кафэ, которое находилось напротивъ и хозяинъ ударилъ его по физиономіи. Онъ ушелъ и съ тѣхъ поръ затаилъ противъ него смертельную ненависть. Каждую субботу онъ пріѣзжалъ вечеромъ въ Парижъ; и такъ какъ онъ очень боялся этого ударившаго его человека, то онъ ждалъ, пока закроется его кафэ, пилъ, набираясь храбрости, въ сосѣднихъ *bistros* одинъ стаканъ за другимъ, и когда, наконецъ, его врагъ закрывалъ свое заведеніе, то-

гда онъ приходилъ къ этому мѣсту, грозилъ незримому хозяину кулакомъ и шопотомъ бормоталъ ругательства; но онъ былъ такъ напуганъ, что никогда не осмѣливался говорить полнымъ голосомъ. Всю недѣлю, работая въ Версалѣ, онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ субботы, потомъ одѣвался по праздничному, и ѣхалъ въ Парижъ, чтобы ночью, на пустынной улицѣ произносить свои едва слышныя оскорбленія и грозить въ направленіи кафэ. Онъ оставался на Avenue de Versailles до разсвѣта — и потомъ уходилъ по направленію къ Porte de St-Cloud, время отъ времени останавливаясь, оборачиваясь и помахивая маленькимъ, сухимъ кулакомъ. Я зашелъ потомъ въ кафэ, которое держалъ его обидчикъ, засталъ тамъ пышную рыжую женщину за прилавкомъ, которая пожаловалась на дѣла, какъ всегда. Я спросилъ ее, давно ли она держитъ это кафэ, оказалось, что три года, она переѣхала сюда послѣ смерти его прежняго владѣльца, который умеръ отъ апоплексическаго удара.

Около четырехъ часовъ утра я обычно ѣхалъ выпить стаканъ молока въ большое кафэ противъ одного изъ вокзаловъ, гдѣ зналъ всѣхъ рѣшительно, начиная отъ хозяйки, старой дамы, съ трудомъ жевавшей сандвичъ вставными зубами, до маленькой пожилой женщины въ черномъ, которая не разставалась съ большой клеенчатой сумкой для провизіи, она постоянно таскала ее съ собой; ей было лѣтъ пятьдесятъ. Она обычно тихо сидѣла въ углу и я недоумѣвалъ, что она здѣсь дѣлаетъ въ эти часы: она была всегда одна. Я спросилъ объ этомъ у хозяйки: хозяйка отвѣтила, что эта женщина работаетъ какъ другія. Въ первое время такія вещи удивляли меня, но потомъ я узналъ, что даже очень пожилыя и неряшливыя женщины имѣютъ свою кліентуру, и нерѣдко зарабатываютъ не хуже другихъ. Въ эти же часы, появлялась смертельно

пьяная, худая старуха съ беззубымъ ртомъ, которая входила въ кафэ и кричала: *des clous! des clous!..**) и потомъ, когда нужно было платить за стаканъ бѣлаго вина, которое она пила, она неизмѣнно удивлялась и говорила гарсону: *non, mais tu charries!* У меня создалось впечатлѣнiе, что другихъ словъ она вообще не знала, во всякомъ случаѣ, она никогда ихъ не произносила. Когда она приближалась къ кафэ, кто-нибудь, оборачиваясь, говорилъ: *et voilà des clous qui arrivent.* Но однажды я засталъ ее въ разговорѣ съ какимъ-то мертвецки пьянымъ оборванцемъ, который крѣпко держался двумя руками за стойку и покачивался. Она говорила ему — такими неожиданными въ ея устахъ словами:

— *J'te jure, Roger, que c'est vrai. Tu l'sais bien, Roger. Je t'aimais beaucoup, Roger. Mais quand tu es dans un état semblable...* И потомъ, прервавъ этотъ монологъ, она снова закричала: *des clous!.. des clous!..* Затѣмъ она исчезла въ одинъ прекрасный день, въ послѣднiй разъ прокричавъ — *des clous!* — и больше никогда не появлялась; нѣсколько мѣсяцевъ спустя, заинтересовавшись ея отсутствiемъ, я узналъ, что она умерла.

Раза два въ недѣлю въ это кафэ являлся человекъ въ беретѣ, съ трубкой, котораго называли *Mr. Martini*, потому что онъ всегда заказывалъ *Martini*, это происходило обычно въ одиннадцатомъ часу вечера. Но въ два часа ночи онъ былъ уже совершенно пьянъ, понялъ всѣхъ, кто хотѣлъ, и въ три часа, истративъ деньги, — обычно около двухсотъ франковъ, — онъ начиналъ просить хозяйку отпустить ему еще одинъ *Martini* въ кредитъ. Тогда его обычно выводили изъ кафэ. Онъ возвращался, его снова выводили и потомъ гарсоны просто не пускали его. Онъ не возмущался, пожималъ покатыми плечами и говорилъ: — «Я нахожу, что это смѣшно. Смѣшно. Смѣшно.

*) «*Gagner des clous*» — на арго значитъ ничего не зарабатывать.

Все, что я могу сказать». — Онъ былъ преподавателемъ греческаго, латинскаго, нѣмецкаго, испанскаго и англійскаго языковъ, жилъ за городомъ, у него была жена и шесть душъ дѣтей. Въ два часа ночи онъ излагалъ философскія теоріи своимъ слушателямъ, обычно сутенерамъ или бродягамъ и ожесточенно съ ними спорилъ; они смѣялись надъ нимъ, помню, что они особенно хохотали, когда онъ наизусть читалъ имъ Шиллеровскую «Перчатку» по-нѣмецки, ихъ забавляло, конечно, не содержаніе, о которомъ они не могли догадаться, а то, какъ смѣшно звучитъ нѣмецкій языкъ. Я нѣсколько разъ отводилъ въ сторону Mr. Martini, и предлагалъ ему ѣхать домой, но онъ неизмѣнно отказывался и всѣ мои доводы не оказывали на него никакого дѣйствія; онъ былъ, въ сущности, доволенъ собой, и — къ моему удивленію — очень гордъ, что у него шесть человѣкъ дѣтей. Однажды, когда онъ былъ еще наполовину трезвъ, у меня былъ съ нимъ разговоръ, онъ упрекалъ меня въ буржуазной морали и я, разсердившись, закричалъ ему:

— Развѣ вы не понимаете, чортъ возьми, что бы кончите больничной койкой и бѣлой горячкой и ничто васъ отъ этого уже не можетъ удержать?

— Вы не постигаете сущности галльской философіи, — отвѣтилъ онъ. — Что? — сказала я съ изумленіемъ. — Да, — повторилъ онъ, набивая трубку, — жизнь дана для удовольствія. Только тогда я замѣтилъ, что онъ пьянѣе, чѣмъ мнѣ показалось сначала; оказалось, что въ тотъ день онъ явился часомъ раньше, чѣмъ всегда, чего я не могъ учesty.

Съ годами его сопротивляемость алкоголю уменьшалась, такъ же, какъ его ресурсы, его переставали вообще пускать въ кафэ; и въ послѣдній разъ, когда я его видѣлъ, гарсоны и сутенеры стравливали его съ какимъ-то бродягой, стремясь вызвать между ними драку, потомъ ихъ толкнули обоихъ, они упали и Mr. Martini покотился по тротуару, затѣмъ на мостовую, гдѣ и остался лежать

нѣкоторое время, — подъ зимнимъ дождемъ, въ жидкой ледяной грязи. — Это, если мнѣ не измѣняетъ память, вы называете галльской философией, — сказалъ я, поднимая его. — Смѣшно. Смѣшно. Очень смѣшно, — все, что я могу сказать, — повторялъ онъ, какъ попугай. Я усадилъ его за столикъ. — У него нѣтъ денегъ, — сказалъ мнѣ гарсонъ. — Если бы только это, — отвѣтилъ я. Mr. Martini вдругъ протрезвился. — Въ каждомъ случаѣ алкоголизма есть какое-то основаніе, — сказалъ онъ неожиданно. — Можетъ быть, можетъ быть, — разсѣянно отвѣтилъ я. — Но вы, напримѣръ, отчего вы пьете?

— Отъ огорченія, — сказалъ онъ. — Моя жена презираетъ меня, она научила моихъ дѣтей презирать меня и единственный смыслъ моего существованія для нихъ, это, что я даю имъ деньги. Я не могу этого вынести и вечеромъ ухожу изъ дому, я знаю, что все потеряно.

Я посмотрѣлъ на его залитый грязью костюмъ, ссадины на лицѣ, сиротливые, маленькіе глаза подъ беретомъ.

— Я тоже думаю, что уже ничего нельзя сдѣлать, — сказалъ я.

Я зналъ въ этомъ кафэ всѣхъ женщинъ, проводившихъ тамъ долгіе часы. Среди нихъ бывали самые разные типы, но онѣ сохраняли свою индивидуальность только въ началѣ карьеры, затѣмъ, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, усвоивъ профессію, становились совершенно похожими на всѣхъ другихъ. Большинство было изъ горничныхъ, — но бывали исключенія — продавщицы, стенографистки, довольно рѣдко кухарки и даже одна бывшая владѣлица небольшого гастрономическаго магазина, исторію которой знали всѣ: она застраховала его въ крупную сумму, потомъ подохла, и такъ неловко, что страховое общество отказалось ей заплатить; въ результатѣ магазинъ сгорѣлъ, а денегъ она не получила. И тогда они съ мужемъ рѣшили, что она будетъ пока что работать именно такимъ образомъ, а потомъ они опять что-нибудь откроятъ. Это была довольно красивая женщина лѣтъ три-

дцати; но работа эта настолько захватила ее, что уже через год разговоры о томъ, что она опять откроет магазинъ, совершенно прекратились, тѣмъ болѣе, что она нашла постоянного кліента, почтеннаго и обеспеченнаго человѣка, который дѣлалъ ей подарки и считалъ своей второй женой; онъ выходилъ съ ней въ субботу и въ среду вечеромъ, два раза въ недѣлю и потому въ эти дни она не работала. Моей постоянной сосѣдкой по стойкѣ была Сюзанна, маденькая и густо раскрашенная бѣлокурая женщина, очень склонная къ особенно роскошнымъ платьямъ, браслетамъ и кольцамъ; одинъ передній зубъ въ верхней челюсти она сдѣлала себѣ золотымъ, и это такъ нравилось ей, что она поминутно смотрѣлась въ свое маленькое зеркальце, по собачьи поднимая верхнюю губу. — Красиво, все-таки, — сказала она однажды, обратившись ко мнѣ, — неправда ли? — *Moi, je trouve que c'est idiot*, — сказалъ я. Съ тѣхъ поръ она стала относиться ко мнѣ съ нѣкоторой враждебностью и изрѣдка задѣвала меня. Особенное ея презрѣніе вызывало то, что я пилъ всегда молоко. — Ты все молоко пьешь, — сказала она мнѣ дня черезъ три, — не хочешь-ли моего? Она очень любила перемѣны, иногда пропадала на нѣсколько ночей, — это значило, что она работала въ другомъ районѣ, потомъ, однажды, исчезла на цѣлый мѣсяцъ и когда я спросилъ гарсона, не знаетъ ли онъ, что съ ней стало, онъ отвѣтилъ, что она устроилась на постоянное мѣсто. Онъ сказалъ иначе, именно, что у нея теперь постоянное положеніе, *elle a une situation*, — и оказалось, что она поступила въ самый большой публичный домъ Монпарнасса. Но она и тамъ не удержалась, ей нигдѣ не сидѣлось. Она была еще очень молода, ей было двадцать два или двадцать три года.

За кассой, каждую ночь, съ восьми часовъ вечера до шести часовъ утра, сидѣла сама хозяйка этого кафэ, которое стоило нѣсколько милліоновъ. Въ теченіе тридцати лѣтъ она спала днемъ, и работала ночью; днемъ ее замѣ-

нялъ ея мужъ, почтенный старикъ въ хорошемъ костюмѣ. У нихъ не было дѣтей, не было даже, кажется, близкихъ родственниковъ и всю свою жизнь они посвятили этому кафэ, какъ другіе посвящаютъ ее благотворительности или служенію Богу или государственной карьерѣ; никуда не ѣздили, никогда не отдыхали. Впрочемъ, однажды, хозяйка не работала около двухъ мѣсяцевъ — у нея была язва желудка, она пролежала это время въ кровати. У нея давно было очнь крупное состояніе, но оставить работу она не могла. По внѣшнему виду она походила на любезную вѣдьму. Я разговаривалъ съ ней нѣсколько разъ и она разсердилась на меня однажды, когда я ей сказалъ, что ея жизнь, въ сущности, такъ же загублена, какъ жизнь Mr. Martini. — Какъ вы можете меня сравнивать съ этимъ алкоголикомъ? — и я вспомнилъ, съ нѣкоторымъ опозданіемъ, что люди, способныхъ понимать сколько-нибудь безпристрастное сужденіе, особенно, касающееся ихъ лично, существуетъ ничтожнѣйшее меньшинство, можетъ быть, одинъ на сто. Самой Madame Duval ея жизнь казалась законченной и полной опредѣленнаго смысла — и въ какой-то степени это было вѣрно, она была дѣйствительно законченной и даже совершенной по своей полной бесполезности. Теперь предпринимать что бы то ни было было уже слишкомъ поздно. Но она никогда не согласилась бы съ этимъ. — Вотъ, Madame, когда вы умрете... — хотѣлъ я сказать, но удержался, рѣшивъ, что изъ-за отвлеченнаго, въ сущности, вопроса не стоитъ портить съ ней отношеній. И я сказалъ, что, можетъ быть, я ошибаюсь и что мнѣ такъ кажется потому, что самъ я чувствовалъ бы себя неспособнымъ къ такому тридцатилѣтнему подвигу. Она смягчилась и отвѣтила, что, конечно, далеко не всякій можетъ это сдѣлать, но что зато она теперь увѣрена въ одномъ: конецъ своей жизни она проживетъ спокойно — такъ, какъ будто теперешній ея возрастъ, ея послѣдніе шестьдесятъ три года были не концомъ, а началомъ ея жизни. Я могъ ей много возразить и на это, но

промолчалъ. Позднѣе я понялъ, что она ни въ какой степени не была исключеніемъ, ея примѣръ былъ чрезвычайно характеренъ; я зналъ миллионеровъ съ грязными руками, трудившихся по шестнадцати часовъ въ день, старыя шофферовъ, у которыхъ были доходные дома и земли и которые, несмотря на одышку, изжогу, геморрой и вообще почти отчаянное состояніе здоровья, — все же продолжали работать изъ-за лишнихъ тридцати франковъ въ день; и если бы ихъ чистый заработокъ опустился бы до двухъ франковъ, они все равно работали бы до тѣхъ поръ, пока въ одинъ прекрасный день не могли бы встать съ кровати и это былъ бы ихъ кратковременный отдыхъ передъ смертью. Одинъ изъ гарсоновъ этого кафэ былъ тоже замѣчательнъ: это былъ счастливый человѣкъ. Я узналъ это однажды, во время короткаго философскаго разговора, который началъ какой-то пожилой мужчина неопредѣленнаго вида, кажется бывший шофферъ. Онъ заговорилъ о лотереѣ и сказалъ, что она похожа на солнце; какъ солнце вращается вокругъ земли, такъ крутится колесо лотереи. — Солнце не вращается вокругъ земли, — сказалъ я ему, — это неточно; и лотерея не похожа на солнце. — Солнце не вращается вокругъ земли? — спросилъ онъ иронически, — а кто тебѣ это сказалъ? Онъ говорилъ совершенно серьезно; тогда я его спросилъ, грамотенъ ли онъ вообще, и онъ обидѣлся на меня и все пытался узнать, откуда у меня могутъ быть болѣе достовѣрныя свѣдѣнія о небесной механикѣ. Авторитета ученыхъ онъ не признавалъ и увѣрялъ, что они знаютъ не больше насъ. Тутъ въ разговоръ вмѣшался гарсонъ, который сказалъ, что все это неважно, а важно, чтобы человѣкъ былъ счастливъ. — Я никогда такихъ людей не видѣлъ, — сказалъ я. И тогда онъ съ нѣкоторой торжественностью въ голосѣ отвѣтилъ, что мнѣ, наконецъ, представляется эта возможность, потому что въ данную минуту я вижу счастливаго человѣка. — Какъ? — сказалъ я съ изумленіемъ, — вы считаете себя совершенно счастливымъ чело-

вѣкомъ? Онъ объяснилъ мнѣ, что это именно такъ: оказывается, у него всегда была мечта — работать и зарабатывать на жизнь — *gagner sa vie en travaillant* — и она осуществлена: онъ совершенно счастливъ. Я внимательно на него посмотрѣлъ: онъ стоялъ въ своемъ синемъ передникѣ, съ засученными рукавами, за влажной цинковой стойкой; сбоку слышался голосъ *Mr. Martini*, — смѣшно, смѣшно, смѣшно, — справа кто-то хрипло говорилъ — *j'te dis que c'est mon frangin, tu comprends?* рядомъ съ моимъ собесѣдникомъ, который былъ убѣжденъ во вращеніи солнца вокругъ земли, толстая женщина — бѣлки ея глазъ были покрыты густой сѣтью красныхъ жилокъ — объясняла своему покровителю, что она не можетъ работать въ этомъ районѣ, — *j'y trouve pas, j'y trouve pas*. И въ центрѣ всего этого стоялъ гарсонъ, Мишель; и желтое его лицо было дѣйствительно счастливо. — Ну, милый мой, поздравляю, — сказалъ я ему. И уже ухавъ оттуда, я все вспоминалъ его слова: *j'avais toujours un rêve, monsieur, toujours: gagner ma vie en travaillant*. Это было еще болѣе печально, пожалуй, чѣмъ *Mr. Martini* или *Madame Duval* или толстая Марсель, которая не находила клиентовъ на Монпарнасѣ; и ея дѣла были дѣйствительно плохи, пока какой-то догадливый человекъ не сказалъ ей, что ея красота несомнѣнно будетъ оцѣнена въ другомъ районѣ, съ менѣе рафинированной клиентурой, именно на *Halles* и она дѣйствительно стала работать тамъ; черезъ полгода я видѣлъ ее въ одномъ изъ кафэ *Boulevard Sébastopol*, она еще раздобрѣла и была гораздо лучше одѣта. Я рассказалъ о счастливомъ гарсонѣ одному изъ моихъ алкогольныхъ собесѣдниковъ, котораго прозвище было Платонъ — за склонность къ философіи — это былъ еще не старый человекъ, проводящій каждую ночь въ этомъ кафэ, у стойки, за очереднымъ стаканомъ бѣлаго вина. Подобно *Mr. Martini* онъ кончилъ университетъ, жилъ одно время въ Англии, былъ женатъ на красавицѣ, былъ отцомъ прекраснаго мальчика, и обез-

печеннымъ человѣкомъ; я не знаю, какъ и почему все это очень быстро отошло въ прошлое, но онъ оставилъ семью, родственники отъ него отказались и онъ остался одинъ. Это былъ милый и вѣжливый человѣкъ; для француза онъ былъ необыкновенно образованъ, онъ зналъ два иностранныхъ языка, литературу и въ свое время готовилъ даже философскую тезу, не помню точно какую, чуть-ли не о Беме; и только въ послѣднее время память его стала сдавать и губительныя слѣдствія алкоголя начали сказываться на немъ достаточно явственно — чего не было въ первые годы нашего знакомства. Жилъ онъ на очень незначительную сумму денегъ, которая ему тайкомъ давала его мать — и этого хватало только на одинъ сэндвичъ въ день и на бѣлое вино. — А ваша квартира? — спросилъ я какъ-то. Онъ пожалъ плечами и отвѣтилъ, что онъ за нее вообще не платитъ и что когда хозяинъ угрозилъ ему репрессіями, Платонъ отвѣтилъ, что если тотъ что-нибудь противъ него предприметъ, то онъ подожжетъ шнурокъ отъ патрона съ динамитомъ и взорветъ домъ и такимъ образомъ, въ нѣкоторомъ родѣ пойдетъ навстрѣчу требованіямъ хозяина, — который жилъ тамъ же, — потому что послѣ этого ему уже никогда не придется заботиться о какой бы то ни было квартирной платѣ какого бы то ни было изъ своихъ жильцовъ. Платонъ рассказывалъ это тихимъ голосомъ, совершенно спокойно, но съ такой непоколебимой искренностью и увѣренностью, что я ни на минуту не усомнился въ его готовности это сдѣлать. Самымъ страннымъ, однако, мнѣ казалось, что Платонъ имѣлъ архаическія, но очень твердыя убѣжденія государственнаго порядка, все должно было основываться, по его словамъ, на трехъ принципахъ: религія, семейный очагъ, король. — А алкоголизмъ? — спросилъ я, не удержавшись. Онъ совершенно спокойно отвѣтилъ, что это второстепенная и даже необязательная подробность. — Вотъ вы, напримѣръ, не пьете, — сказалъ онъ, — но это мнѣ не мѣшаетъ васъ разсматривать какъ

нормальнаго человѣка; конечно, жаль, что вы не французъ, но это не ваша вина. Къ счастливому гарсону онъ отнесся скептически и сказалъ, что къ такимъ примитивнымъ существамъ неприменимы наши представленія о счастіи; но онъ допускалъ, что по своему гарсону могъ быть счастливъ, — какъ собака, или птица, или обезьяна, или носорогъ — подъ утро Платонъ начиналъ говорить вещи несуразныя; это былъ удивительный по своему неожиданному спокойствію бредъ; но понятія его путались, онъ сравнивалъ Гамлета съ Пуанкаре и Вертера съ тогдашнимъ министромъ финансовъ, который былъ толстымъ старикомъ, идеально далекимъ отъ какого бы то ни было сходства съ Вертеромъ въ какомъ бы то ни было отношеніи. Я зналъ наружность этого министра, потому что какъ-то стоялъ со своимъ автомобилемъ въ очереди у Сената, въ которомъ происходило ночное засѣданіе и всѣ мои товарищи надѣялись, что они будутъ развозить сенаторовъ; былъ уже пятый часъ утра. Но въ послѣднюю минуту во дворъ Сената въѣхало нѣсколько автобусовъ, на которыхъ сенаторы отбыли домой. Когда послѣдній автобусъ съ надписью «prix unique 3 frs» уже отходилъ, изъ двора Сената вышелъ министръ финансовъ и, увидя отходящій автобусъ, побѣжалъ за нимъ сколько было силъ; я не могъ удержаться отъ смѣха, но мои товарищи ругали его послѣдними словами за скупость. Съ той ночи я хорошо запомнилъ — я видѣлъ его тогда совсѣмъ вблизи — его фигуру, животъ, одышку, разстегнутую шубу, въ которой онъ былъ тогда и безпокойно-тупое выраженіе его лица.

Я разговаривалъ съ Платономъ о счастливомъ гарсонѣ въ ночь съ субботы на воскресенье, это бывала самая безпокойная ночь въ недѣлю; въ кафэ появлялись совершенно неожиданные посѣтители, большинство было пьяныхъ. Унылый старикъ съ сѣдыми усами пѣлъ срывающимся голосомъ бретонскія пѣсни, двое бродягъ спорили по поводу какого-то прошлогдняго, насколько я понялъ, ин-

цидента; одна изъ постоянныхъ посѣтительницъ кафэ, женщина удивительной некрасивости, съ плоскимъ, лягушечьимъ лицомъ, но считавшаяся хорошей работницей, говорила, приблизившись вплотную къ пятидесятилѣтнему человѣку съ почетнымъ легиономъ — ее кто-то напоилъ въ эту ночь — *faut que tu m'comprennes, dis, faut que tu m'comprennes, dis,* — и слушавшій ее совершенно посторонній мужчина, особеннаго типа энергичнаго пьяницы, наконецъ не выдержалъ и сказалъ: — *у а pas à comprendre, l'es qu'une salope et pis c'est tout.* Какой-то худощавый пожилой человѣкъ съ выраженіемъ неподдѣльной тревоги въ глазахъ пробился сквозь толпу и сталъ просить *M-me Duval*, чтобы она разрѣшила ему вскарабкаться наверхъ, по одной изъ колоннъ кафэ, — только до потолка и обратно, — вы видите, *Madame*, я совершенно корректенъ. Только одинъ разъ, *Madame*, только разъ... и плотный метръ-д'отель вывелъ его изъ кафэ и предложилъ ему, уже на улицѣ, попробовать взлѣзть на фонарный столбъ. Снаружи, вдоль запотѣвшихъ стеколъ кафэ, время отъ времени, проходили два полицейскихъ — какъ тѣнь отца Гамлета — сказалъ я Платону. Потомъ въ туманномъ и холодномъ разсвѣтѣ субботніе посѣтители кафэ исчезали; мутно горѣли фонари надъ троттуарами, на поворотахъ скользкой мостовой шуршали шины рѣдкихъ автомобилей. — *Je finis ma journée tous les matins,* — сказалъ Платонъ, съ которымъ мы вышли изъ кафэ, — *en remerciant le Tout Puissant Seigneur d'avoir créé le monde dans lequel nous vivons.* — И вы увѣрены, что Онъ дѣйствительно хорошо сдѣлалъ? — Я убѣжденъ въ этомъ совершенно, какъ бы я ни былъ несчастенъ и пьянъ, — сказалъ онъ со своимъ всегдашнимъ спокойствіемъ. Я проводилъ его до угла *Avenue du Maine*, по дорогѣ онъ говорилъ о Тулузѣ-Лотрекѣ и Жерарѣ де Нервалѣ и я сразу представилъ себѣ ужасную смерть Нервала, маленькую и жуткую улочку возлѣ *Châtelet* и висящее его тѣло и эту, точно выдуманную чьей-

то чудовищной фантазіей, черную шляпу на головѣ повѣшеннаго.

Я имѣлъ возможность проводить иногда нѣсколько часовъ въ этомъ кафѣ, потому что ставилъ автомобиль у вокзала, въ ожиданіи перваго поѣзда, который приходилъ въ половинѣ шестого утра; и отъ двухъ часовъ ночи до этого поѣзда, когда другіе шофферы играли въ карты или спали въ машинахъ, я предпочиталъ уходить въ кафѣ, или гулять, если была хорошая погода. Только это вынужденное бездѣйствіе дало мнѣ возможность ближе познакомиться со всѣми кліентами *M-me Duval*. Оно было почти всегда вознаграждено; каждую ночь я уходилъ отсюда все болѣе и болѣе отравленнымъ этой жизнью — и мнѣ понадобилось все-таки нѣсколько лѣтъ для того, чтобы впервые подумать обо всѣхъ этихъ ночныхъ жителяхъ какъ о живой человѣческой падали, — раньше я былъ лучшаго мнѣнія о людяхъ и несомнѣнно сохранилъ бы много идиллическихъ представленій, которые теперь навсегда недоступны для меня, какъ если бы зловонный ядъ выжегъ во мнѣ ту часть души, которая была предназначена для нихъ. И та мрачная поэзія человѣческаго паденія, въ которой я раньше находилъ своеобразное и трагическое очарованіе, перестала для меня существовать и я полагаю, теперь, что ея возникновеніе было основано на незнаніи и ошибкѣ, той ошибкѣ, которая оказалась такой непоправимой для Жерара де Нерваль, упомянутаго Платономъ въ нашемъ утреннемъ разговорѣ. И люди, создавшіе ее, и которыхъ тянуло туда, какъ ихъ тянетъ смерть, лишены даже того утѣшенія, что умирая, они видѣли вещи такими, какими онѣ были дѣйствительно и какими онѣ ихъ описали; ихъ заблужденіе было столь же несомнѣнно, сколь несомнѣнно было, что влюбленный въ бывшую владѣлицу гастрономическаго магазина почтенный человѣкъ, съ которымъ она выходила по средамъ и субботамъ, былъ неправъ, считая ее своей второй женой. И можетъ быть слѣдовало позавидовать двумъ кліентамъ Сюзанны, ко-

торыхъ я однажды видѣлъ: оба были хорошо одѣты и по-видимому состоятельныя, и оба вошли въ кафэ, одинаково улыбаясь, и одинаково опираясь на бѣлыя палки; они были слѣпые. Сюзанна подсѣла къ нимъ, и я со стороны смотрѣлъ на нихъ троихъ и представлялъ себѣ, какъ должны для нихъ изъ темноты звучать голосъ и смѣхъ Сюзанны. Затѣмъ они ушли втроемъ въ гостиницу, расположенную напротивъ и Сюзанна ихъ бережно — потому что это были кліенты — переводила черезъ площадь. Черезъ часъ они вернулись; слѣпые еще остались сидѣть за столикомъ, а Сюзанна подошла къ стойкѣ и стала рядомъ со мной. — Все молоко? — спросила она. — Они не могли оцѣнить твою красоту, — сказалъ я, не отвѣчая, — и подумать, что они даже твоего золотого зуба не видѣли. — Это вѣрно, — отвѣтила она и вдругъ съ неожиданнымъ и дѣтскимъ любопытствомъ въ глазахъ сказала, что они ее, конечно, не могли видѣть, но зато ощупали всю и что ей было шекотно. Проходя мимо нихъ, я остановился на секунду; на ихъ ровныхъ слѣпыхъ лицахъ, была та беззащитная и особенная улыбка, которая характерна только для слѣпыхъ.

Какъ и въ прежніе періоды моей жизни, въ Парижѣ мнѣ удавалось лишь изрѣдка и на короткое время увидѣть то, въ чемъ я былъ вынужденъ жить, со стороны, такъ, если бы я самъ не участвовалъ въ этихъ событіяхъ. Это было какъ воспоминанія о нѣкоторыхъ пейзажахъ, было результатомъ какого-то зрительнаго постиженія, которое потомъ уже навсегда оставалось въ моей памяти; и какъ воспоминаніе о запахахъ, оно было окружено цѣлымъ міромъ другихъ вещей, сопутствовавшихъ его появленію. Оно возникало обычно, не выходя изъ длиннаго ряда предыдущихъ видѣній, только прибавляясь къ нему и отсюда появлялась возможность сравненія различныхъ и послѣдовательныхъ жизней, которыя мнѣ пришлось вести и которыя казались мнѣ далекими и печальными, независимо отъ того, происходило ли это теперь или много лѣтъ то-

му назадъ. И тогда трагическая нелѣпость моего существованія представала передо мной съ такой очевидностью, что только въ эти минуты я отчетливо понималъ вещи, о которыхъ человѣкъ не долженъ никогда думать, потому что за ними идетъ отчаяніе, сумасшедшій домъ или смерть. Но какъ это ни странно, за такими мыслями никогда не слѣдовала идея самоубійства, которой я былъ совершенно чуждъ, всегда, даже въ самые страшные моменты моей жизни; и я зналъ, что ее не нужно было смѣшивать съ тѣмъ постояннымъ и жгучимъ желаніемъ каждый разъ, когда изъ туннеля къ платформѣ подходилъ поѣздъ метро, — отдѣлиться на секунду отъ твердаго, каменнаго края перрона и броситься подъ поѣздъ, такимъ же движеніемъ, какимъ съ трамплина купальни я бросался въ воду. Но вотъ, прошли тысячи поѣздовъ, и каждый разъ, когда я спускаюсь на платформу метро, я испытываю нелѣпое желаніе улыбнуться и сказать самому себѣ — здравствуйте, — въ интонаціи котораго были бы одновременно и насмѣшка и увѣренность въ томъ, что всѣ остальные поѣзда метрополитена такъ же пройдутъ мимо меня, какъ предыдущіе. Это чувство — тянетъ сдѣлать одно и на этотъ разъ дѣйствительно послѣднее движеніе, — я знаю давно; оно же охватывало меня, когда я ѣхалъ на автомобильѣ вдоль хрупкихъ перилъ моста черезъ Сену и думалъ: еще немножко нажать на акселераторъ, рѣзко повернуть руль — и все кончено. И я поворачивалъ руль на нѣсколько дюймовъ и тотчасъ же выпрямлялъ его, и автомобиль, дернувшись въ сторону перилъ, выправлялся и продолжалъ свой прежній, безопасный путь. А въ тотъ разъ, — въ знойную и черную ночь въ Константинополѣ, — когда мнѣ грозила дѣйствительная опасность паденія съ шестого этажа, этого чувства у меня не было, а было непреодолимое желаніе спастись во что бы то ни стало. Я попалъ тогда въ отчаянное положеніе. Былъ громадный пожаръ въ азіатской сторонѣ города, и изъ моего окна на четвертомъ этажѣ я видѣлъ только тусклое, красное заре-

во; домъ, въ которомъ я жилъ, находился на Рега, въ центрѣ европейскаго квартала. Я рѣшилъ подняться на крышу и довольно легко добрался туда съ глухой каменной площадки, окруженной съ четырехъ сторонъ стѣнками, высота которыхъ доходила мнѣ до уровня глазъ. Я выбрался оттуда на черепичную, почти плоскую крышу и пошелъ по ней въ томъ направленіи, откуда, по моимъ расчетамъ, должно было быть хорошо видно пожаръ. Заревѣ дѣйствительно стало нѣсколько ярче и въ немъ началъ проступать черный фонъ, но все-таки даже самагаго пламени нельзя было увидѣть. Постоявъ минутъ десять, я пошелъ обратно. Была совершенно темная ночь, не было ни звѣзды, ни луны, я шелъ наугадъ и не думалъ, что могу ошибиться. Наконецъ я дошелъ до края площадки и сталъ спускаться, спиной впередъ. Когда край крыши былъ на уровнѣ моихъ глазъ, я вытянулъ носки ногъ; но пола подъ ними не было. Это меня удивило, я опустился ниже, потомъ, наконецъ, повисъ на вытянутыхъ рукахъ, держась пальцами за черепицу, но пола опять не досталъ. Тогда я повернулъ съ усиліемъ голову вбокъ и посмотрѣлъ внизъ: очень далеко, въ страшной, какъ мнѣ показалось, глубинѣ тускло горѣлъ фонарь надъ мостовой; а я висѣлъ надъ задней глухой и совершенно ровной стѣной дома, надъ этой шестиэтажной пропастью. Рубашка на мнѣ съ неправдоподобной быстротой стала влажной. Я держался за черепицу — мнѣ сразу показалось, что она скользитъ и сползаетъ — одними пальцами, и не могъ рассчитывать ни на чью помощь. Въ первую секунду я испыталъ необыкновенный ужасъ. Затѣмъ, я сталъ подниматься наверхъ. Передъ этимъ въ Греціи, съ однимъ изъ моихъ товарищей, я тренировался, чтобы поступить въ циркъ въ качествѣ акробата и то, что для средняго чело-вѣка было бы невозможнымъ, мнѣ было сравнительно нетрудно. Прижимаясь къ стѣнѣ лицомъ и грудью, я подтянулъ тѣло наверхъ, захватилъ черепицу уже на сгибъ сначала правой, затѣмъ лѣвой кисти, потомъ медленно, безъ

того ритмическаго и почти необходимаго толчка, который дѣлается въ гимнастическихъ упражненіяхъ, но которымъ здѣсь я не могъ рисковать, такъ какъ секундная потеря равновѣсія грозила мнѣ паденіемъ, я поднялъ локоть правой руки и сразу поднялся на нѣсколько сантиметровъ — и все остальное было уже легко; но я еще отползъ по крышѣ нѣкоторое разстояніе, чтобы удалиться отъ края. Потомъ я безъ труда нашелъ площадку и спустился къ себѣ въ комнату: изъ зеркала на меня глядѣло мое лицо, искаженное, запачканное известкой, съ совершенно чужими глазами. Это все было много лѣтъ тому назадъ, но я помню этотъ взглядъ сверху на тусклый фонарь надъ неровными камнями мостовой — одинъ изъ тѣхъ вѣчныхъ пейзажей утопающаго въ глубокой ночи города, которые потомъ я столько разъ видѣлъ въ Парижѣ. И въ минуты рѣдкихъ и внезапныхъ просвѣтленій мнѣ начинало казаться совершенно необъяснимымъ, почему я ночью проѣзжаю на автомобилѣ по этому громадному и чужому городу, который долженъ былъ бы пролетать и скрыться, какъ поѣздъ, но который я все не могъ проѣхать, — точно спишь и силичишься и не можешь проснуться. Это было почти такое же мучительное ощущеніе, какъ невозможность избавиться отъ груза воспоминаній; въ противоположность большинству моихъ знакомыхъ, я почти ничего не забывалъ изъ того, что видѣлъ и чувствовалъ; и множество вещей и людей, изъ которыхъ теперь уже нѣкоторыхъ давно не было въ живыхъ, загромождали мои представленія. Я запоминалъ навсегда однажды увидѣнное лицо женщины, помнилъ свои ощущенія и мысли чуть ли не за каждый день на протяженіи многихъ лѣтъ и единственное, что я забывалъ съ легкостью, были математическія формулы, содержаніе нѣкоторыхъ, давно прочитанныхъ, книгъ и учебниковъ. Но людей я помнилъ всѣхъ и всегда, хотя громадное большинство ихъ не играло въ моей жизни важной роли.

И когда я думалъ о томъ, какъ нелѣпо сложилась моя

жизнь за границей, передо мной тотчасъ же вставали первыя времена моего пребыванія въ Парижѣ, когда я работалъ на разгрузкѣ баржи въ St-Denis и жилъ въ баракѣ съ поляками; это былъ преступный сбродъ, прошедшій черезъ нѣсколько тюремъ и попавшій наконецъ туда, въ St-Denis, куда человѣка могъ загнать только голодъ и полная невозможность найти какую-либо другую работу. Никто изъ нихъ не зналъ по-французски, такъ же, какъ не знали этого языка и другіе — двое русскихъ, прѣхавшихъ съ нѣмецкихъ шахтъ, одинъ бѣглый испанецъ, нѣсколько португальцевъ и маленькій итальянецъ съ нѣжнымъ лицомъ и бѣлыми руками, тоже неизвѣстно почему попавшій изъ Милана во Францію, — мои товарищи по работѣ. Когда мы выстроились утромъ, пришелъ директоръ, полный мужчина съ заплывшими глазами подъ золотымъ пенснэ; онъ осмотрѣлъ насъ и потомъ сказалъ шефу, который его сопровождалъ:

— Это просто бѣглые каторжники.

Но никто изъ нихъ не понялъ этой фразы и они всѣ искательно и выжидательно улыбались. Всѣ поляки были страстными игроками въ карты и послѣ работы до поздней ночи играли между собой на послѣднія деньги; затѣмъ неизмѣнно оказывалось, что кто-то изъ нихъ уличенъ въ передергиваніи, кто-то другой — въ кражѣ и между ними начиналась дикая драка, и я просыпался, оттого, что на меня падало чье-то тѣло; и въ рѣшительный моментъ я всегда видѣлъ, какъ съ крайней койки поднимался испанецъ; онъ торопливо одѣвался и уходилъ на часъ или два; онъ ничего не понималъ изъ того, что говорилось, но, повидимому, долгій жизненный опытъ научилъ его, что въ критическія минуты предпочтительнѣе находиться подальше. И когда все утихало, въ дверь просовывалась его узкая голова, онъ возвращался и снова ложился спать. Я выдержалъ двѣ недѣли этой жизни; рядомъ со мной жилъ русскій, спокойный и атлетическій мужчина, относившійся ко всему рѣшительно, даже къ

своей собственной судьбѣ, съ совершеннымъ безразличіемъ. Онъ былъ настолько силенъ физически, что восьмичасовое тасканіе шестипудовыхъ мѣшковъ его не утомляло; и когда я послѣ перваго дня работы лежалъ въ совершенномъ безсиліи на своей койкѣ, то засыпая, я услышалъ, какъ онъ сочувственно пробормоталъ: — замотался парнишка. Иногда онъ пѣлъ низкимъ голосомъ пѣсни собственнаго сочиненія и вовсе неожиданнаго содержанія. Любимая его пѣсня начиналась такъ: «Настрою я лиру на...» — слѣдовало непристойное ругательство.

Былъ конецъ ноября, по утрамъ уже былъ иной; во время работы становилось жарко, но потомъ я начиналъ мерзнуть; къ тому же нерѣдко шли длительные дожди и я въ концѣ концовъ однажды утромъ не всталъ на работу, сказавшись больнымъ, проспалъ до одиннадцати часовъ и затѣмъ ушелъ, унося съ собой небольшой чемоданчикъ, въ которомъ помѣщалось все мое имущество. День былъ солнечный и теплый — и даже ужасная нищета безотраднѣйшаго St-Denis показалась мнѣ въ тотъ разъ мѣнѣе рѣзкой. Мнѣ вскорѣ, однако, пришлось вернуться въ St-Denis, на этотъ разъ въ депо сѣверныхъ желѣзныхъ дорогъ Франціи, куда я поступилъ мыть паровозы. Когда мнѣ сказали впервые «мыть паровозы», я былъ удивленъ, я не зналъ, что ихъ моютъ; потомъ выяснилось, что эта работа заключалась въ промываніи внутреннихъ трубъ паровоза, на которыхъ образовались отложенія. Эта работа была нетрудная, но неприятная; она происходила въ открытомъ помѣщеніи, зимой вода была ледяная и послѣ перваго же часа я обычно промокалъ съ головы до ногъ, какъ если бы попалъ подъ проливной дождь; и въ январьскіе и февральскіе дни нельзя было не мерзнуть отъ этого; къ концу рабочаго дня у меня начинали стучать зубы. Я согрѣвался только въ баракѣ, который былъ значительно чище на этотъ разъ и всегда жарко натопленъ. Онъ былъ населенъ исключительно русскими; сре-

ди нихъ я узналъ одного моего стараго знакомаго, котораго я въ прежнія времена встрѣчалъ въ Севастополѣ, это былъ партизанскій атаманъ, человѣкъ довольно незаурядный. Въ давнія времена онъ былъ мастеромъ на Обуховскомъ, кажется, заводѣ въ Россіи, затѣмъ, въ гражданскую войну, сформировалъ въ Сибири, куда онъ попалъ неизвѣстно почему, партизанскій отрядъ. Въ одномъ изъ очередныхъ столкновеній отрядъ былъ разбитъ частями красной арміи и Максъ — его звали Максъ — попалъ въ плѣнъ. Ему удалось, однако, бѣжать и онъ пѣшкомъ добрался изъ Сибири въ Крымъ. Теперь я встрѣтилъ его въ этомъ депо, — онъ былъ тогда высокимъ старикомъ съ бритой головой и черными, улыбающимися глазами. Не зная почти ничего по-французски, онъ получалъ въ часъ, примѣрно, столько, сколько я получалъ въ день, и когда я его спросилъ о причинѣ такого жалованья, онъ отвѣтилъ, что французы вообще о работѣ не имѣютъ представленія и что ихъ мастера никуда не годятся, а онъ, Максъ, профессиональный русскій мастеръ, — это вродѣ какъ ихній главный инженеръ. Онъ разказалъ, что когда онъ поступалъ, его подвергли разнымъ испытаніямъ и послѣ этого, не споря, назначили ему максимальный окладъ; онъ не имѣлъ опредѣленной работы, его звали всюду, гдѣ что нибудь не ладилось. Онъ починалъ электричество, вытачивалъ на станкѣ какія-то сломанныя части машинъ, производилъ необходимые расчеты и въ общемъ работалъ не спѣша и презрительно поплеывая на полъ. Онъ былъ страстнымъ любителемъ поэзіи; я узналъ это однажды вечеромъ, когда онъ мнѣ сказалъ съ сокрушеніемъ:

— Вотъ, смотрю я на тебя и мнѣ грустно становится, какая теперь молодежь сволочная пошла. Я на тебя двѣ недѣли уже смотрю. Ты бѣ хоть разъ книжку какую въ руки взялъ. А ты, какъ вечеръ, такъ и залился въ городъ, а приходишь ночью, что это за жизнь?

И онъ сталъ разказывать мнѣ, что когда былъ моло-

дымъ, то очень много читалъ и всѣмъ интересовался. Потомъ онъ меня спросилъ, имѣю ли я какое нибудь представление о литературѣ и читалъ ли я когда нибудь стихи. Услышавъ мой отвѣтъ, онъ обрадовался, даже приподнялся съ койки и сказалъ, что завтра вечеромъ, въ субботу, онъ поведетъ меня въ одно мѣсто и тамъ мы поговоримъ о поэзи. На слѣдующій вечеръ мы пошли въ маленькое кафэ, у входа онъ сказалъ мнѣ, показывая на хозяйку:

— Поговори съ ней по-французски, закажи краснаго вина. Пусть она почувствуетъ, что мы тоже можемъ по-французски.

Я заказалъ бутылку вина, онъ покачалъ головой и сказалъ:

— Люблю, когда наши по-французски говорятъ, и гдѣ ты только научился?

Потомъ онъ спросилъ меня, знаю ли такихъ поэтовъ — онъ назвалъ десятокъ именъ. Я кивалъ головой. Онъ прочелъ вслухъ нѣсколько стихотвореній, у него была хорошая память; онъ читалъ стихи, закрывъ глаза и покачиваясь, съ необыкновеннымъ чувствомъ, но такъ, какъ ихъ читаютъ обычно актеры, то-есть забывая о ритмѣ и подчеркивая только смысловую послѣдовательность. Затѣмъ онъ сказалъ, что прочтетъ сейчасъ самое любимое свое стихотвореніе; онъ закрылъ глаза, лицо его поблѣднѣло и онъ началъ измѣнившимся голосомъ:

Къ позорной казни присужденный лежитъ въ цѣпяхъ венгерскій графъ...

Какъ всѣ всѣ простые и душевно наивные люди, онъ очень любилъ внѣшнюю роскошь описаній; судьба русскаго крестьянина трогала его меньше, чѣмъ участь венгерскаго графа или австрійскаго барона. Мнѣ часто приходилось наблюдать эту удивительную склонность людей къ совершенно чуждому имъ міру, роскошь котораго навсегда поразила ихъ воображеніе.

Въ тѣ времена я имѣлъ о Парижѣ очень приблизительное представленіе и видъ этого города ночью неизмѣнно поражалъ меня, какъ декорации гигантскаго и почти безмолвнаго спектакля, — длинныя линіи фонарей на уходящихъ бульварахъ, мертвые ихъ отблески на неподвижной поверхности канала St-Martin, едва слышное лепетаніе листьевъ на каштанахъ, синія искры на рельсахъ метро тамъ, гдѣ оно проходитъ надъ улицами, а не подъ землей. Теперь, когда я знаю Парижъ лучше, чѣмъ любой городъ моей родины, мнѣ нужно сдѣлать надъ собой большое усиліе, чтобы вновь увидѣть этотъ его почти исчезнувшій, почти потерянный обликъ. Но зато видъ его предмѣстій остался такимъ же; и я не знаю ничего болѣе унылаго и пронзительно печальнаго, чѣмъ рабочія предмѣстья Парижа, гдѣ, кажется, въ самомъ воздухѣ стелется вѣковая, безвыходная нищета, гдѣ жили и умерли цѣлыя поколѣнія людей, жизнь которыхъ по будничной своей безотрадности не можетъ сравниться ни съ чѣмъ, — развѣ только съ окрестностями бульвара Sébastopol, гдѣ столѣтіями стоитъ запахъ гнили и гдѣ каждый домъ пропитанъ этимъ невыносимымъ зловоніемъ. Постоянное мое любопытство тянуло меня къ этимъ мѣстамъ и я неоднократно обходилъ всѣ тѣ кварталы Парижа, въ которыхъ живетъ эта ужасная бѣдность, эта человѣческая падалъ; я проходилъ по средневѣковой узкой улочкѣ, соединяющей Boulevard Sébastopol съ Rue St-Martin, гдѣ днемъ подъ стекляннымъ навѣсомъ убогой гостиницы горѣлъ фонарь и на порогѣ стояла проститутка съ лиловымъ лицомъ и вылѣзшимъ мѣхомъ вокругъ шеи; я бывалъ на площади Моберъ, гдѣ собирались искатели окурковъ и бродяги со всего города, поминутно почесывавшіе невымытое тѣло, сквозившее сквозь неправдоподобно грязныя рубахи; я бывалъ возлѣ Menilmontant, Belleville, Porte de Clignancourt и у меня сжималось сердце отъ жалости и отвращенія. Но я никогда не зналъ бы многого, изъ того, что знаю, и половины чего достаточно, чтобы отравить на-

всегда нѣсколько человѣческихъ жизней, если бы мнѣ не пришлось сдѣлаться шофферомъ такси. До этого, однако, я былъ рабочимъ, потомъ студентомъ, потомъ служащимъ, потомъ занимался преподаваніемъ русскаго и французскаго языка, и только послѣ того, какъ выяснилась для меня совершенная несущественность этихъ занятій, я сдалъ экзаменъ на знаніе парижскихъ улицъ и управление автомобилемъ и получилъ необходимыя бумаги.

Работа на фабрикѣ оказалась для меня невозможной, не потому, что была особенно изнурительной; я былъ совершенно здоровъ и почти не зналъ физической усталости, особенно послѣ моего стажа въ St-Denis. Но я не могъ выдержать этого постоянного заключенія въ мастерской, я чувствовалъ себя какъ въ тюрьмѣ и искренне недоумѣвалъ: какъ могутъ люди всю жизнь, десятки лѣтъ жить въ такихъ условіяхъ? Правда, этому предшествовали, чаще всего, цѣлыя поколѣнія ихъ предковъ, всегда занимавшихся физическимъ трудомъ — и никогда, ни у одного изъ профессиональныхъ рабочихъ я не замѣчалъ протеста противъ этого невыносимаго существованія; все ихъ возмущеніе чаще всего сводилось къ тому, что они считали свой трудъ недостаточно оплачиваемымъ, но противъ принципа этого труда они не возставали, эта мысль никогда не приходила имъ въ голову. Я еще не зналъ въ тѣ времена, что разные люди, которыхъ мнѣ приходится встрѣчать, отдѣлены другъ отъ друга почти непреходимыми разстояніями; и живя въ одномъ городѣ и одной странѣ, говоря на почти одинаковыхъ языкахъ, такъ же далеки другъ отъ друга, какъ эскимось и австралиецъ. Я помню, что мнѣ никакъ не удавалось объяснить моимъ товарищамъ по работѣ, что я поступаю въ университетъ, они не могли себѣ этого уяснить. — Чему же ты будешь учиться? — Я отвѣчалъ, подробно перечисляя предметы, которые меня интересовали. — Ты знаешь, вѣдь это трудно, нужно знать много «особенныхъ словъ» — *faut les connaitre, des mots spéciaux pour ça*, — говорили они.

Потомъ одинъ изъ нихъ, наконецъ, заявилъ, что это невозможно; чтобы поступить въ университетъ, нужно кончить средне-учебное заведеніе, лицей, въ которомъ могутъ учиться только богатые люди, — *c'est pour les riches, mon vieux*. Я сказалъ, что у меня есть нужный аттестатъ. Они недоувѣрчиво качали головами, а одна работница мнѣ посовѣтовала бросить эти никому ненужныя вещи, она говорила, что это не для насъ, рабочихъ, — и уговаривала меня не рисковать, а остаться здѣсь, гдѣ, по ея словамъ, лѣтъ черезъ десять я могъ бы стать мастеромъ или начальникомъ группы рабочихъ. — Десять лѣтъ! — сказалъ я, — да я десять разъ умру за это время. — Ты плохо кончишь, — сказала она мнѣ напоследокъ.

Несмотря на то, однако, что я былъ совершенно чуждъ этимъ моимъ товарищамъ по работѣ, — фрезерщикамъ, сверлильщикамъ, слесарямъ, — у меня съ ними были прекрасныя отношенія и въ чисто человѣческомъ смыслѣ они были во всякомъ случаѣ не хуже, а часто даже лучше, чѣмъ представители другихъ профессій, съ которыми мнѣ пришлось сталкиваться и, во всякомъ случаѣ, честнѣе. Меня поражало, мнѣ не могло не imponировать то веселое мужество, съ которымъ они жили. Я зналъ, что это неправильно, такъ какъ то, что мнѣ казалось каторжнымъ лишеніемъ свободы, было для нихъ нормальнымъ состояніемъ, въ ихъ глазахъ міръ былъ иначе устроенъ, чѣмъ въ моихъ; у нихъ соответственно этому были изменены всѣ реакціи на него, какъ это бываетъ съ третьимъ или четвертымъ поколѣніемъ дрессированныхъ животныхъ, — и какъ это, конечно, было бы со мной, если бы я работалъ на фабрикѣ пятнадцать или двадцать лѣтъ. Но внѣ зависимости отъ того, чѣмъ объяснялась ихъ веселость, насмѣшливость и беззаботность — эти качества сами по себѣ были настолько хороши, что я не могъ не поддаться ихъ своеобразной привлекательности. Рѣзкую разницу, которая была между ними и мной и которая невольно подчеркивала несуразность моего положенія, мою неумѣ-

стность на фабрикъ, я старался сглаживать, какъ могъ, чтобы не привлекать постояннаго вниманія сосѣдей и черезъ нѣкоторое время я научился понимать и употреблять термины арго и сталъ одѣваться такъ же, какъ они. И вотъ тѣмъ, что по внѣшнему облику я началъ совершенно походить на рабочаго, я навлекъ на себя презрительное неудовольствіе одного изъ моихъ сосѣдей, высокаго чернобородаго человѣка, приходившаго въ мастерскую въ своемъ синемъ штатскомъ костюмѣ и съ университетскимъ значкомъ. Онъ былъ русскій, кончившій юридическій факультетъ, изъ Праги. Костюмъ его лоснился и былъ неправдоподобно неприличенъ, въ бородѣ всегда застревали желѣзныя стружки, такъ же, какъ въ его спутанныхъ волосахъ. У него было худое скуластое лицо съ большими глазами; онъ вообще былъ похожъ на одинъ изъ портретовъ Достоевскаго, который, кстати сказать, былъ его любимымъ авторомъ. Рабочіе и особенно работницы издѣвались надъ нимъ; разстраивали установку его сверлильнаго станка, прицѣпляли ему сзади на спину бумажные хвостики, говорили ему, что его вызываетъ начальникъ ателье, который и не думалъ этого дѣлать. Онъ плохо зналъ по-французски, и многого не понималъ изъ насмѣшекъ его товарищей по работѣ. Но относился онъ ко всему этому съ совершенно стоическимъ презрѣніемъ и только иногда по его глазамъ было видно, какъ тяжело ему это. Мнѣ было жаль его, я нѣсколько разъ вмѣшивался и объяснялъ, что стыдно издѣваться надъ человѣкомъ, который не въ состояніи отвѣтить. Но они, съ дѣтской жестокостью, черезъ нѣкоторое время снова начинали свои приставанія. Во время такихъ споровъ онъ обычно стоялъ въ сторонѣ, молчалъ и только глаза его, вообще очень выразительные, слѣдили за всѣми нами. Со мной онъ никогда не разговаривалъ. Но потомъ, однажды, онъ подошелъ ко мнѣ и спросилъ, правда ли, что я русскій, и, узнавъ это, сказалъ:

— И вамъ не стыдно?

— Чего же я долженъ стыдиться? — спросилъ я съ недоумѣніемъ.

И онъ объяснилъ мнѣ, что позоръ мой, — онъ такъ и сказалъ, — позоръ — заключается въ томъ, что меня никакъ нельзя отличить отъ рабочаго. — Вы такъ же одѣваетесь, какъ они, носите такіе же шарфы, такую же кепку, словомъ, у васъ такой же хулиганскій и пролетарскій видъ, какъ у нихъ.

— Вы меня извините, — сказалъ я, — но вѣдь лучше имѣть рабочее платье и переодѣваться, чѣмъ ходить въ нецѣлесообразномъ костюмѣ, у котораго, можетъ быть, есть то достоинство, что онъ сразу отличаетъ васъ отъ другихъ рабочихъ, но вѣдь это все вотъ уже полгода, одинъ и тотъ же костюмъ и онъ, мягко говоря, успѣлъ очень запацкаться. Это мнѣ кажется недостаткомъ.

— Судя по вашей манерѣ говорить, вы человѣкъ интеллигентный, — сказалъ онъ, — какъ же вы не понимаете, что это все неважно, а важно сохранить человѣческую сущность.

— Я не считаю, что чистый костюмъ является для этого такимъ препятствіемъ.

Но онъ произнесъ цѣлую рѣчь о томъ, что «бытіе опредѣляетъ сознание» и что противъ этого надо протестовать всѣми силами. Рабочихъ онъ не считалъ за людей и безгранично презиралъ. Потомъ онъ сказалъ, что революція у него отняла все, но что у него осталось нѣчто, бесконечно болѣе цѣнное и недоступное тѣмъ, кто сидитъ теперь въ его домѣ, въ Петербургѣ — Блокъ, Анненскій, Достоевскій, Война и Миръ. Никакія возраженія не могли его поколебать и я не сталъ на нихъ настаивать; я понималъ, какъ мнѣ казалось, что это было дѣйствительно единственное его богатство и кромѣ этого у него рѣшительно ничего не было на свѣтѣ. И несмотря на то, что онъ не былъ способенъ понять нѣкоторыя элементарнѣйшія вещи, я не могъ не почувствовать невольное уваженіе къ этому человѣку, видѣвшему только одну сторону

мира; все-таки то, что онъ такъ любилъ, заслуживало и отреченія и жертвъ. Зато онъ былъ совершенно чуждъ общихъ сожалѣннй, характерныхъ для такихъ же бывшихъ людей, какъ онъ, которыя я слышалъ и читалъ тысячу разъ и которыя, главнымъ образомъ, сводились къ вздохамъ о потерянномъ житейскомъ благополучиіи самаго мелкаго свойства.

Въ этой же мастерской недалеко отъ меня работалъ еще одинъ русскій, котораго я зналъ раньше, такъ какъ одно время учился вмѣстѣ съ нимъ. Онъ былъ старше меня на нѣсколько лѣтъ; я никогда не могъ выяснитъ ни его происхожденія, ни условій, въ которыхъ онъ росъ въ Россіи, потому что рассказы его объ этомъ были абсолютно невѣроятны, — и походили на описанія свѣтской роскоши въ дешевыхъ бульварныхъ книжкахъ. Я помнилъ только, что въ ихъ квартирѣ были какія-то совершенно чудовищныя, по его описанію, люстры и поваръ французъ. По-русски однако онъ говорилъ съ малороссійскимъ акцентомъ и отвлеченныя понятія никогда не фигурировали въ его разговорѣ. Заграницей въ фабричныхъ условіяхъ онъ былъ какъ рыба въ водѣ и совершенно не страдалъ отъ нихъ, для него скорѣе университетъ былъ бы трагедіей. Съ рабочими онъ легче дружилъ и сходилса, чѣмъ другіе, хотя почти не говорилъ по-французски. Работалъ онъ хорошо, былъ выносливъ и то, что онъ дѣлалъ на фабрикѣ, его живо интересовало. Онъ отличался еще исключительной бережливостью и анекдотической скупостью, питался только бульономъ, хлѣбомъ и саломъ, которое онъ купилъ сразу въ большомъ количествѣ за ничтожную цѣну, потому что, — объяснялъ онъ, — оно сверху было немного испорчено, и все откладывалъ деньги. Потомъ онъ купилъ прекрасные дорогіе часы на руку, — но они стояли всю недѣлю, онъ заводилъ ихъ только въ субботу и воскресенье, говоря, что иначе механизмъ изнашивается. Жизнь его была чрезвычайно проста — всю недѣлю онъ работалъ, возвращаясь съ фабрики, тотчасъ

ложился спать, въ субботу же шель сначала въ баню, затѣмъ въ публичный домъ. Та культура, съ которой ему пришлось соприкоснуться во время ученья, прошла для него совершенно безслѣдно; и никогда ни одинъ отвлеченный вопросъ не занималъ его вниманія. И долгое время мнѣ казалось, что всю его жизнь, всѣ его мысли, побужденія и чувства можно было свести, какъ въ алгебрѣ, къ двумъ-тремъ основнымъ формуламъ — все остальное было бесполезной и расточительной роскошью. Я не могъ предвидѣть беспощадную месть, которую ему готовила эта самая ненужная культура и отвлеченныя понятія, мнѣ всегда казалось, что противъ нихъ у него былъ природный и непобѣдимый иммунитетъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Гайто Газдановъ.

1.

Поѣздъ отчаливаетъ. Твой портретъ отплываетъ
Въ рамѣ окна, какъ на стѣнѣ, за стекломъ.
Молча ты отплываешь, скользишь, неживая;
Не отвѣчаешь, не машешь отвѣтнымъ платкомъ.

Слезы мои тебя украшаютъ сіяньемъ.
Блещущіе ореолы видны лишь мнѣ.
Память и вѣрность осиливаютъ разстоянье.
Времени нѣтъ, ничего осязательнаго нѣтъ.

2.

Какъ прежде, холодъ, дождь и вѣтеръ.
Какъ прежде, въ поискахъ ночныхъ
Я потерялъ тебя на свѣтѣ,
Теряю явь, врываюсь въ сны...

Свою разсѣянную память
Оберегаю, а ее
Уже охватываетъ пламя —
Воображеніе мое.

А. Браславскій.

МЕЖДУ СТРОКЪ.

Если хочешь душу спасти,
Не задерживайся въ пути.

Только знаешь ли, какъ спасти?

А не вѣришь ни въ адъ ни въ рай,
Тоже времени не теряй.

И разбойники входятъ въ рай.

Время тянется, но не ждетъ,
И не вѣченъ его полетъ.

Никого, никого не ждетъ.

Богъ увидитъ — спитъ человѣкъ.
И тогда пропадай навѣкъ,

Все равно, какой человѣкъ.

Владиміръ Злобинъ.

ВЕЧЕРНЯЯ ЗВѢЗДА.

Лѣсъ опрокинуть въ рѣкѣ.
Вечеръ въ ночномъ челнокѣ
Выплылъ, — и вспыхнулъ алмазь
Гдѣ-то въ бездонной рѣкѣ.

Видѣлъ я въ жизни не разъ
Въ сей вечерѣющей частъ,
Какъ выплывалъ онъ и гасъ,
Вечеръ, на сонной рѣкѣ:
Что же въ старинной тоскѣ
Слезы струятся изъ глазъ?

Словно приснилось лицо
Милой моей вдалекѣ;
Словно кольца на рукѣ
Вѣрное ищетъ кольцо.

ВОСХОДЪ СОЛНЦА.

Заплаканный восходъ уныло я встрѣчалъ.
 Зардѣвъ по краю, боръ дичился и молчалъ,
 И пряталъ межъ стволовъ испуганныя тѣни.
 Семья березъ, развивъ зеленой мрежей сѣни,
 Роняла капли слезъ при качкѣ вѣтерка.
 Сіяла зеркаломъ предчувственнымъ рѣка...
 Но клики первыхъ птицъ не раньше прозвучали,
 Чѣмъ, брызнувъ золотомъ сквозь облако печали,
 Украшшее зарю, — безопасно-горячи,
 Въ развороченный лѣсъ ударили лучи.

Вячеславъ Ивановъ.

ПАМЯТИ ТВОЕЙ.

1.

Тебя здѣсь нѣтъ, а я еще живу.
 Но тишину твою и безмятежность
 Какимъ угодно словомъ назову,
 Но лишь не тѣмъ, въ которомъ безнадежность.

2.

Радость моя, мы съ тобою разстались.
 Какъ мнѣ осилить безсрочность разлуки?
 Эти глаза мнѣ вчера улыбались,
 Ласковы были вчера эти руки...
 Развѣ не это въ житейской дорогѣ
 Словомъ однимъ называется: счастье...
 Были, конечно, у насъ и тревоги,
 Но и въ тревогахъ царило согласье.
 Помнишь — твои раздѣлялъ я страданья,
 Даже теперь, когда ты умирала?

СТИХОТВОРЕНІЯ

Если твое прерывалось дыханье,
Воздуха въ легкихъ и миѣ не хватало.

Что же насъ вдругъ разлучило съ тобою?
Точно ли такъ безысходна могила?
Или легла между нами чертою
Тайная сила, но свѣтлая сила?

Смерть? Но черты твои такъ просвѣтѣли,
Будто бы въ нихъ благодать отразилась,
Будто въ земной ты заснула постели
И въ безпечальной странѣ пробудилась.

3.

Я вѣрю, Господи, что это знакъ,
Въ которомъ благодать Твоя и сила,
Что вѣчный свѣтъ, а не могильный мракъ
Узнала днесъ раба Твоя Людмила.

Я вѣрю, что дарованъ ей покой,
Что Ты и жизнь ея и воскресенье
И отъ нея отвелъ Своей рукой
Болѣзни, воздыханья и сомнѣнья.

И даже то, что не могу понять,
Безъ ролота стараюсь я принять.

Лишь въ долгіе часы ночной тоски,
Забывшись, вдругъ протягиваю руку —
И нѣтъ отвѣтной, любящей руки...
Я все приму — но какъ принять разлуку?

4.

На темномъ моемъ небосклонѣ
Ты яркой звѣздой загорѣлась,
Ты солнцемъ любви засіяла.

Въ душѣ моей, черствой и скучной,
Какъ солнце, ты вызвала къ жизни
Напрасно дремавшія силы.

Была ты звѣздою и солнцемъ,
Тревогой моею и счастьемъ,
Мученьемъ моимъ и наградой.

Склоняется солнце на Западъ,
И звѣзды мерцають и гаснуть,
И крестъ на могилѣ поставлень,

Но звѣзды свѣтили — и будутъ!
Но солнце сіяло — и будетъ!
Безсмертье твое несомнѣнно.

Юрій Мандельштамъ.

...И когда возгоралась звѣзда,
Въ осіянномъ зарей небосклонѣ,
Я любила встрѣчать поѣзда
На прохладномъ, вечернемъ перонѣ.
Замедляя тяжелый разгонъ
И вонзаясь широкимъ разрѣзомъ,
Подходилъ за вагономъ вагонъ,
Громыхая усталымъ желѣзомъ.
И свистѣли стоящимъ давно,
И звонили въ звонки ожидавшимъ,
И огнями ржавѣло окно
На послѣднемъ, пустомъ уѣзжавшемъ.
И когда, за далекимъ мостомъ,
Умирало протяжное эхо,
Я тихонько молилась о томъ,
Кто не ждалъ, не стоялъ, не приѣхалъ.

Татіана Остроумова.

1.

На побережьѣ горъ у волиъ окаменѣлыхъ,
Гдѣ ель надъ пропастью и вѣтеръ молодой,
Гдѣ чувства цѣльныя тысячекѣтій цѣлыхъ
У набожныхъ крестьянъ и у меня съ тобой, —

Какъ странно было бы не видѣть только Бога
Во всемъ, что какъ трава и какъ дитя живетъ
И передъ чѣмъ всегда и техника убога
И даже вымысль и знанія расчетъ.

Такъ просто все вокругъ въ любое время года,
Такъ согласуется съ вращеніемъ земли...
И смерть приходитъ здѣсь какъ зимняя погода
И новая весна мерещится вдали.

2.

Когда разрушенъ міръ хотя бы по Декарту
И все, что намъ дано, покажется мечтой,
Когда спасеніе поставлено на карту
И надо выходить на битву съ пустотой, —
Дрожащая рука поставитъ понемногу
На мѣсто рухнувшихъ созданія частей
Почти такой же міръ и такъ же близкій Богу,
Какъ тотъ, незыблемый для большинства людей...
Собьешься, торопясь, — страданіе исправитъ
Нетерпѣливую заносчивость ума,
И новая душа твореніе прославитъ
По старому: «И вотъ все хорошо весьма».

3.

Стоитъ распятыя на горѣ
Въ снѣгу въ открытомъ полѣ...
И мнѣ бы умереть въ добрѣ
Вотъ такъ по Божьей волѣ...

Но чтобы городская плоть
 Съ ея ошибокъ адомъ
 Не такъ висѣла, какъ Господь,
 А какъ разбойникъ, рядомъ...

4.

О, моя звѣзда.
 Разъ такое можетъ быть
 Въ образѣ такомъ,
 Это мнѣ поможетъ жить
 И передъ концомъ,
 Пусть уничтожающимъ, —
 Съ міромъ навсегда
 Я благославляющимъ
 Распрощаюсь: да.

5.

Отъ любви и нѣжности больной
 Черезъ нашу новую разлуку,
 Черезъ все, чѣмъ жили мы съ тобой,
 Я тебѣ протягиваю руку.
 Наша молодость уже прошла,
 Но еще сильнѣе чѣмъ когда-то —
 И не ту, которой ты была, —
 Я люблю тебя передъ закатомъ
 И цѣлую каждый волосъ твой
 Возлѣ пряди съ юности сѣдой.

Пальчиками слабо отвѣчая
 На пожатіе руки моей,
 Черезъ горы изъ другого края
 Ты отозвалась душою всей:
 Вотъ и отдыхаемъ понемногу
 Мы отъ многого, чѣмъ жизнь томить,
 Вывела тебя я на дорогу,

Гдѣ звѣзда съ звѣздою говорить.
Скоро, скоро на дорогѣ млечной
Разойдемся для разлуки вѣчной.

Если же и для умершихъ есть
Гдѣ-то тамъ хоть что-нибудь живое,
Черезъ все, чего уже ни счесть,
Ни измѣрить звѣздно-голубое
Я тебѣ останусь какъ сейчасъ
Ближе матери, жены и друга.
Что бы ни разъединяло насъ,
Неразрывные какъ точки круга
Въ рѣяньѣ Сатурнова кольца
Будутъ наши смежными сердца.

Ник. Оцупъ.

*

Поговоримъ теперь о томъ, о семь,
О горести моей, о бѣдствіи твоёмъ,
О счастья, о войнѣ, о синема,
О глупости людской и объ игрѣ ума,
(Какой пустой, безпутный — пятый часъ!),
О томъ, что въ городѣ никто не знаетъ насъ,
За поворотомъ насъ никто не ждетъ,
Свобода пѣсни намъ печальныя поетъ,
И скука сквозь вечерніе огни
Жужжащимъ роємъ осѣняетъ дни...

Но все — въ бесѣдѣ двухъ друзей неуголимой,
Въ развратѣ словъ — все будетъ мимо, мимо...

*

Утро разсвѣтною пылью туманится
 Въ розовомъ облакѣ перистыхъ чайній,
 День начинаютъ святыя и пьяницы
 Для ожиданій, намековъ, раскаяній.

...Какъ на бѣду ничего не случается.
 Жить очень хочется. Жизнь продолжается.

П. Ставровъ.

1.

Растаялъ снѣгъ по горнымъ высямъ
 И лишь клочками кое-гдѣ
 Бѣлѣтъ, какъ обрывки писемъ,
 На фиолетовой грядѣ.

Трава прозрачнѣй изумруда.
 Старо и вѣчно ново все-жъ.
 Но средь сіяющаго чуда
 Ты, сердце бѣдное, покуда,
 Какъ снѣгъ оставшійся живешь.

2.

Жизни нѣтъ. Жизнь куда-то ушла,
 Гдѣ-то въ мутной дали затерялась,
 И глядитъ изъ пустого угла
 На меня самого моя жалость.

Гдѣ-то глухо пронылъ пароходъ.
 Постучалась... должно-быть, къ сосѣду.
 А ко мнѣ ужъ никто не прійдетъ,
 Да и я никуда не поѣду.

Федоровъ.

НАСЛѢДСТВО.

У дѣвочки огромные глаза,
прозрачная и тоненькая кожа.
Проказница, шалунья, стрекоза,
она, безспорно, на отца похожа.

Изъ платьицевъ поношенныхъ своихъ,
все торопясь, мгновенно вырастаетъ,
и скоро будетъ тѣсенъ ей мой стихъ
и этотъ домъ, и наша жизнь простая.

Я по ночамъ, приданое копя,
перекалю любовь въ стихотворенья.
Есть въ завѣщаніи, наслѣдница моя,
недвижимая нѣжность отреченій...

И вновь гремитъ, гремитъ судьба моя,
и снова свѣтъ давно сгорѣвшихъ молній.
По сундукамъ раскладываю я
все, что самой не удалось исполнить.

Я бережно припрячу кружева
всѣхъ лучшихъ пѣсень, ангельскаго пѣнья,
и прочныя, столѣтнія слова
славянскаго произношенья.

А наверху, какъ нищую суму,
я положу растраченную душу,
но знаю я, твои глаза поймутъ,
и все услышатъ маленькія уши.

Эмилиа Чегринцева.

Какъ закричать, чтобъ донеслось въ тюрьму
За этотъ валъ и черезъ стѣны эти,
Что измѣнили здѣсь не всё ему,
Что не совсѣмъ покинуть онъ на свѣтъ...

Я видѣлъ сонъ, что я къ тебѣ проникъ,
 Съялъ на постель и охватилъ за плечи,
 (Вѣдь онъ давно навѣрное отвыкъ
 Отъ нѣжности и тихой братской рѣчи).

Но дружба есть, на самомъ дѣлѣ есть,
 И нѣжность есть — стыдливая, мужская...
 Не долгъ, а честь, особенная честь
 Сказать объ этомъ — глазъ не опуская.

А. Штейгеръ.

ПОЭТЫ.

Изъ комнаты въ сѣни свѣча переходитъ
 и гаснетъ... плыветъ отпечатокъ въ глазахъ,
 пока очертаній своихъ не находитъ
 беззвѣздная ночь въ темно-синихъ вѣтвяхъ.

Пора, мы уходимъ: еще молодые,
 со слискомъ еще не приснившихся сновъ,
 съ послѣднимъ, чуть зримымъ сияньемъ Россіи
 на фосфорныхъ рифмахъ послѣднихъ стиховъ.

А мы вѣдь, поди, вдохновеніе знали,
 намъ жить бы, казалось, и книгамъ расти,
 но музы безродныя насъ доканали, —
 и нынѣ пора намъ изъ міра уйти.

И не потому, что боимся обидѣть
 своею свободою добрыхъ людей...
 Намъ просто пора, да и лучше не видѣть
 всего, что сокрыто отъ прочихъ очей:

не видѣть всей муки и прелести міра,
 окна въ отдаленьѣ, поймавшего лучъ,
 лунатиковъ смирныхъ въ солдатскихъ мундирахъ,
 высокаго неба, внимательныхъ тучъ;

красы, укоризны; дѣтей малолѣтнихъ,
играющихъ въ прятки вокругъ и внутри
уборной, кружащейся въ сумеркахъ лѣтнихъ;
красы, укоризны вечерней зари;

всего, что томитъ, обвивается, ранитъ:
рыданья рекламы на томъ берегу,
текучихъ ея изумрудовъ въ туманѣ, —
всего, что сказать я уже не могу.

Сейчасъ переходимъ съ порога мірскаго
въ ту область... какъ хочешь ее назови:
пустыня ли, смерть, отрѣшеніе отъ слова, —
а можетъ быть проще: молчанье любви...

Молчанье далекой дороги телѣжной,
гдѣ въ пѣнѣ цвѣтовъ колея не видна,
молчанье отчизны (любви безнадежной),
молчанье зарницы, молчанье зерна.

Василій Шишковъ.

Воспоминанія

I.

Дѣтство. Деревня.

На высокомъ берегу впадающей въ Угру Шани, трудолюбиво обслуживающей турбины писчебумажной фабрики, стоитъ построенный широкимъ покоемъ желтый съ бѣлыми колоннами двухъэтажный домъ. Противъ главнаго подъѣзда, за традиционнымъ кругомъ акаціи, красуется гордость губерніи, построенная согласно устному преданію по проекту Растрелли, небольшая церковь. Съ сѣверо-востока ее охватываетъ тихій міръ прицерковнаго погоста: приземистые, все больше покосившіеся деревянные кресты, среди густыхъ кустовъ сирени и жасмина, а въ дальнемъ углу, гдѣ изъ-за кирпичной стѣны въ дождливую погоду хозяйственно попахиваетъ навозцемъ — крапива да лопухъ.

На конномъ дворѣ стоятъ до шестидесяти лошадей. Что помельче, прилежно хлопчутъ въ доходномъ прифабричномъ имѣніи: лѣсопилка, кирпичный заводъ, торфяныя болота. Громадные-же битюги, мѣрно мотая чуть ли не аршинными головами подъ тяжелыми дугами, изо дня въ день шагаютъ по ведущему въ Москву шоссе, доставляя на Николаевскій вокзалъ тяжелые тюки высококачественной писчей бумаги, главнымъ образомъ дорогого картона для игральныхъ картъ.

Отецъ — главный директоръ извѣстныхъ на всю Россію писчебумажныхъ фабрикъ. Мы занимаемъ прекрасную служебную квартиру въ 10 комнатъ. Помню зеленовато-коричневый полумракъ отцовскаго кабинета, лунный свѣтъ маминой мягкой гостиной, обитой голубымъ бархатомъ, душистый утренній воздухъ въ открытыхъ окнахъ нашихъ большихъ дѣтскихъ и всегда залитой золотымъ солнцемъ — вѣроятно, это царственный обманъ благодарной памяти — двусвѣтный, въ цвѣтахъ и растеніяхъ, залъ, съ двумя высокими, стеклянными дверями на охватывающей весь фасадъ дома балконъ. Когда похожій на

сумасшеднаго факира «артистъ эксцентрикъ, мелодекламаторъ и гриммо-мимико-портретистъ», «прѣздомъ въ Москву и Петербургъ» давалъ на фабриктъ свое «гала-представленіе», на немъ собрались и легко помѣстились всѣ служащіе фабрики со своими чалами и домочадцами. Подъ балкономъ, съ котораго лѣтомъ бывало такъ весело смотрѣть на разбросанные по зеленому газону яркіе, цвѣточные орнаменты — входъ въ сырую, душную, пахнущую землею оранжерею, съ таинственной и страшноватой дѣстничей въ дальнемъ углу за пальмами; по ней можно было иной разъ незамѣтно пробраться въ биллиардную, затѣйливую комнату съ каминомъ, очень высокими — чтобы всякому зрителю было видно, что происходитъ на зеленомъ сукнѣ — кожаными диванами вдоль стѣнъ и кѣями въ особыхъ стойкахъ. Зимними вечерами здѣсь разгорались настоящіи страсти и намъ съ братомъ бывало безконечно весело смотрѣть, какъ кто-нибудь изъ заѣзжихъ игроковъ, выбросивъ впередъ руку и по птичьему вытянувъ назадъ ногу, звонкимъ ударомъ направлялъ бѣлаго въ лузу.

Отецъ по всей своей сущности не былъ ни инженеромъ, ни коммерсантомъ, а случайно не состоявшимся ученымъ-естественникомъ. Больше всего въ жизни онъ любилъ сельское хозяйство и охоту. На заднемъ дворѣ за паркомъ у него подъ надзоромъ страннаго человѣка, котораго всѣ почему-то звали азіатомъ, размѣренно жили своею профессионально-спортивной жизнью около тридцати охотничьихъ собакъ. Тутъ были: грудастыя какъ боксеры, черныя, съ круглыми желтыми бровями и подпалинами гончія, плоскоголовыя, съ изогнутыми хребтами дегенеративно-аристократическія борзья и мои любимцы — женственно-печальнооокіе сеттера, съ длинною шелковистою шерстью. Шумные, охотничьи рассказы отца и его знакомыхъ о томъ, какъ борзья висятъ на «матеромъ» волкѣ, приводили насъ съ братомъ въ большой восторгъ. Надо ли говорить, что наслушавшись такихъ рассказовъ, мы въ отсутствіе отца часто сбѣгали въ его усталый волчьими шкурами кабинетъ, лихо «сѣдлали» подбитыхъ зеленымъ сукномъ «матерыхъ» и, схвативъ лѣвою рукою волчью загривки, беспощадно прокалывали деревянными кинжалами слегка пахнущія нафталиномъ сердца нашихъ жертвъ.

Лучшая пора деревенской жизни — лѣто. Какое неописуемое счастье выскочить рано поутру изъ постели, быстро одѣться, быстро выпить чаю и въ припрыжку пронестись по саду, парку, заглянуть на птичій дворъ, гдѣ, наливая кровью свои склеротическіе, генеральскіе черепа и подбородки, за-

бавно чванятся индѣйскіе пѣтухи, нервно подергиваютъ своими кокетливо-миниатюрными головками почему-то по вдовья одѣтыя Господомъ Богомъ цирарки и истошнымъ крикомъ предупреждая міръ о какой-то имъ однимъ вѣдомой опасности, смѣшнымъ пѣшимъ летомъ вдругъ сносятся къ тинистому пруду гуси и утки. Какое счастье послѣ птичьяго заглянуть на скотный дворъ, гдѣ рационально кормятся и доятся соловья сementалки и чернопѣгія холмогорки — странныя существа съ задумчиво устремленными вдаль безсмысленными глазами и гдѣ взволнованно хрюкаютъ, чавкаютъ и повизгиваютъ юркширскіе свињи и борова, аристократическіе соотечественники основателя фабрики Говарда, вислошекаго, тупоносаго, но все-же весьма благообразнаго англичанина, большой портретъ котораго виситъ надъ письменнымъ столомъ отца въ фабричной конторѣ...

Въ Россіи даже по мелочамъ западъ непременно окажется рядомъ съ востокомъ: перемахнувъ черезъ заборъ, мы съ братомъ уже сидимъ на крыльцѣ у татарина кумысника, котораго вмѣстѣ съ тремя ребрастыми кабылами отецъ ежегодно «за гроши» выписывалъ на лѣто, свято вѣря въ цѣлительную силу остро-кисловатаго напитка. Отведенная подъ татарское жильѣ и производство изба стоитъ недалеко отъ прачечной, у открытаго окна которой цыганистая красавица Груня, веселая и голосистая женщина, цѣлыми днями крахмалить и гладить дамскіе наряды. Нѣжно колеблемые утреннимъ вѣтромъ, они на длинныхъ шестахъ-вѣшалкахъ ежедневно проплываютъ разноцвѣтными облаками въ большой барскій домъ. У насъ каждое лѣто съѣзжается много гостей. Трудъ, по городскимъ понятіямъ, въ деревнѣ даровой. Вотъ и гофритъ Груня не разгибая спины кружевныя жабо, кофточки и платья, чтобы черезъ день, другой, снова бросить ихъ въ корыто съ мыльной водой. Боюсь, не вступила-ли милая Груня, голось которой я подросткомъ такъ любилъ слушать въ саду на вечерней зарѣ, въ большевицкую партію. Если и вступила, если и громила господъ, кто осудить ее? Въ теченіе всей нашей деревенской жизни никто въ барскомъ домѣ ни разу не задумался наль смысломъ ея стоянія у открытаго окна, не пожалѣлъ ея поистинѣ сизифовой работы и ея прекраснаго, быть можетъ опернаго голоса.

Время летитъ. Намъ надо поспѣть еще въ самый дальній уголь парка, гдѣ помѣщается съ трудомъ переносимое матерью любимое дѣтище отца — «вонючій» звѣринецъ. Въ крѣпко слаженныхъ и какъ въ заправскомъ зоологическомъ

саду обставленнихъ деревьями, пнями, камнями и колесами кѣткахъ сидятъ, лежатъ, кружатся, скучаютъ и волнуются волчата, лисицы, кунницы, хорьки, бѣлки, ежи, ястреба, совы и всякая иная лѣсная и полевая живность и нечисть средней полосы Россіи. Особую брезгливость мать испытываетъ къ непрерывной, хвостатой суетѣ всевозможныхъ крысъ, мышей и змѣй.

Долго заглядываться на все это звѣрье намъ съ братомъ впрочемъ не приходится. Ровно въ 8 мы верхами выѣжаемъ навстрѣчу нашему учителю, Ивану Васильевичу Власову, очень еще молодому человѣку съ ласково-застѣнчивой улыбкою, съ ласково свѣтящимися глазами и съ непослушною пепельною кудрею надъ лѣвою бровью. Мама, очень серьезно относящаяся къ своимъ обязанностямъ попечительницы народной школы, завѣдывать которой, не безъ ея вліянія, былъ съ годъ тому назадъ приглашенъ молодой учитель, упорно отстаиваетъ его какъ «искренняго идеалиста» и, главное, какъ «убѣжденнаго народника». Мы съ братомъ, конечно, безъ ума отъ этого тайнаго революціонера. И дѣйствительно, его преподаваніе русскаго языка и исторіи, живое и интересное, со всѣмъ не похоже на прекрасно продуманные, но нѣсколько педагогичныя уроки нѣмецкаго и французскаго языковъ нашей гувернантки, фрейленъ Штраусъ, въ распоряженіе которой мы поступаемъ къ 11-ти часамъ утра, послѣ того, какъ въ перерывѣ сбѣгаемъ поздороваться съ мамой, пьющей въ это время утренній чай на задней тѣнистой террасѣ и совѣщающейся съ Афимьей, что готовить на вечеръ и къ завтрашнему обѣду. «Какъ скучно, иной разъ жалуется мама, каждый день выдумывать, что готовить, а Афимья, у которой много усердія, но никакой фантазіи, никогда не предложитъ ничего новаго: все битки да бефъ-строгановъ, блинчики да «шпанскій вѣтеръ» (шпанскимъ вѣтромъ называлось у насъ безъ со сбитыми сливками, которое мастерски готовилъ старый поваръ Авдѣй, рассчитанный за то, что неискоренимо усвоилъ себѣ странную привычку — фунтами бросать масло въ огонь, чтобы «дружнѣе» разгорались дрова).

«Красный» Иванъ Васильевичъ и буржуазно-аристократическая англо-германка Штраусъ, въ своей молодости изучавшая педагогику въ Швейцаріи, такъ упорно трудятся надъ нашимъ обученіемъ, потому что мама очень боится, какъ-бы мы не провалились на приѣмномъ экзаменѣ во второй классъ реального училища (отецъ твердо высказался противъ классическаго образованія). Что намъ съ братомъ, хотя мы довольно

способны и вовсе не лѣнивыя дѣти, учиться жаркимъ, веселымъ лѣтомъ никакъ не охота — ясно. Мы и не очень стараемся; мама иной разъ приходитъ въ отчаяніе, но втайнѣ намъ сочувствуетъ, и, пугая проваломъ, послѣдняго лѣта нашего прекраснаго дѣтства намъ, слава Богу, не портитъ. А прекраснымъ оно дѣйствительно было, наше благоуханное, наше благословенное — о, сколько разъ и великими и малыми писателями уже воспѣтое, щедрое, барское, русское дѣтство.

Не сорвись наша жизнь со своихъ корней, не вскипи она на весь міръ смрадными пучинами своего вдохновеннаго окаянства, въ памяти остались-бы одни райскія видѣнія. Но Русь сорвалась, вскипѣла, «взвихрилась». Въ ея злой бѣдѣ много нашей собственной вины передъ нею. Кто это совѣстью понялъ, тому уже не найти въ прошломъ ничѣмъ не омраченныхъ воспоминаній.

Въ блужданіяхъ по далямъ прошлаго человѣку вѣдомы совершенно такіе же подъемы на вершины, съ которыхъ все какъ на ладони, что и въ его странствіяхъ по земнымъ просторамъ. Съ такой вершины міръ моего деревенскаго дѣтства видится мнѣ неохватною ширью и далью небесъ, полей, рѣкъ, лѣсовъ, снѣга, дождей... Природы въ немъ безконечно больше, чѣмъ комнатъ, учебы, чтенія и даже людей. Много только еще-музыки, главнымъ образомъ пѣнія. Поетъ мама и ея часто гостящая у насъ подруга.

Прошлое почти всегда живетъ борьбою съ настоящимъ. Не оттого-ли, что въ большевицкой Россіи перестали звонить колокола, небесные своды моего дѣтства вспоминаются мнѣ въ непрерывныхъ благовѣстныхъ оглашеніяхъ кондровской церкви.

Зимой, когда заваленная снѣгомъ деревня бывала такъ благодатно тиха, мощныя, гулкія и все-же мелкимъ дрожаніемъ дрожащія волны колокольнаго звона съ такою силою врывались въ пріоткрытую форточку (изъ окна въ дѣтской можно было увидать, какъ ловко перехватываетъ по веревкамъ старикъ звонарь), что казалось, звонятъ не на колокольникѣ, а въ домѣ, прямо тебѣ въ ухо.

Лѣтомъ, при открытыхъ окнахъ, благовѣсть даже и по самымъ большимъ праздникамъ какъ-то меньше замѣчался, отлеталъ отъ ушей, расплывался по міру. Въ Троицынъ и Спасовъ день, въ Воздвиженье, нарядная, пахнувшая дегтемъ, деревяннымъ масломъ, кумачемъ и махоркой деревенская толпа заливала не только церковный, но и задній барскій дворъ. Я конечно верчусь у коновязи. Изъ-подъ ногъ у меня то и дѣло вспархиваютъ задорно-веселые, драчливые воробы. Я влю-

бленъ во всѣхъ лошадей и всѣмъ своимъ существомъ чувствую, какъ непередаваемо мягки и нѣжны, отрывающіяся ради сахара на моей ладони отъ вялой травы, теплыя, морщинистыя, лошадиныя губы, какъ безконечно кротки, печальны и внутреннимъ свѣтомъ теплы милые, лошадиныя глаза надъ ветхою рядиною горбъ. /

Шестой августъ — яблочный Спасъ — въ деревнѣ большой праздникъ. На весь мѣръ пахнетъ скороспѣлою грушовкой. Въ сосѣднемъ саду штабсъ-капитанской вдовы Жучихи, сдаваемомъ въ аренду, въ этотъ день кипитъ особо упорная борьба между вооруженнымъ шалашомъ и шустрой, босоногой партизанщиной. У садовой калитки не умолкаетъ разноголосый вопль: «яденька, дай яблочко».

Шестой идетъ служба. Райски сладостный, земной духъ яблока сливается съ благовонными струеніями ладона. Не только душой, но всѣмъ своимъ тѣлеснымъ составомъ ощущаешь, какъ земля возносится на небо, а небо нисходитъ на землю. Кажется, никто еще не выразилъ того христіански-плотного, домашне-хозяйственного ощущения Божьей земли, безъ котораго немислима никакая деревенская, все равно помѣщачья-ли, крестьянская-ли жизнь, съ такою краткостью и полнотою, какъ подлинный сынъ трудового, православногo мѣра и выдуманной эпохой и самимъ собою коммунистъ Есенинъ, въ своей имеславски-литургической строкѣ: «Пухнетъ Божье Имя въ животѣ овцы». Есенинъ и большевизмъ очень большая и сложная тема. О ней рѣчь еще впереди. Пока же вернемся полъ своды моего родного, калужскаго неба. Право, оно никогда не было столь однообразно, какъ въ свое время любили говорить просвѣщенные цѣнители западно-европейскихъ курортовъ.

Жаркими, лѣтними днями надъ зычною, словно трубная мѣдь, желтизною необъятныхъ ржаныхъ полей, а равно и зимними морозными утрами, когда подъ встрясы бубенцовъ на пристяжныхъ, ковровыя сани на пѣвучихъ полозьяхъ самолетомъ проносились среди синихъ въ серебрѣ сугробахъ, оно бывало такимъ густымъ, такимъ сапфирно-яркимъ, какъ я его много лѣтъ спустя увидѣлъ на столь далекой отъ средней Россіи итальянской Ривьерѣ. Слова предсмертной записки несчастнаго марсельскаго самоубійцы: «а въ Тулѣ небо было ярче» — не такое уже преувеличеніе, въ особенности если принять во вниманіе преображающую силу тоскующей памяти.

Совсѣмъ инымъ вспоминается оно мнѣ «осеннею порою». Да, я утверждаю, что нигдѣ въ мѣрѣ надъ отходящею къ зим-

исму сну землею не поднимаются ввысь и не иставяють въ ней тѣ исполненныя свѣтлой печали и нездѣшняго звучанія небеса, подь которыми въ моей душѣ зародилось и выросло все, чѣмъ я сейчасъ живу и съ чѣмъ сойду въ могилу. И понынѣ, слыша въ себѣ музыку этихъ священныхъ дней, я вполне понимаю, какъ въ юной, но древней душѣ Бунинскаго Арсеньева могла въ Россіи зародиться и въ Россіи же вырасти любовь къ готикѣ и къ звуку органа.

Эти готическіе и все-же русскіе, торжественные и все-же скромные, непередаваемо тихіе сентябрьскіе дни (колодезная-ли бадья ударится о стѣнку сруба, схоронившееся-ли яблоко сорвется съ вѣтки — все слышно) постепенно смѣнялись совсемъ иными, поздне-осенними, хмурыми днями. Кто изъ насъ, выросшихъ въ деревнѣ, не знаетъ томящей скуки этихъ, быстро сокращающихся дней? Клочковатое, свинцовое небо мокрымъ брюхомъ низко нависаетъ надъ почернѣвшею соломою избъ и сараевъ. Передъ надворными службами рябятъ огромныя, непросыхающія лужи, черезъ которыя съ трудомъ перепрыгиваютъ мужичьи сапоги. Бабы, обмотанныя всякимъ старьемъ, съ коченѣющими отъ холода лиловыми руками, дорубливаютъ подь навѣсомъ капусту. За оконными рамами, еще одинарными и въ печныхъ трубахъ словно безумный воетъ и причитаетъ вѣтеръ. Уже недѣлю обѣщающей пройти и все снова принимающей лить дождь уныло барабанить по стекламъ классной комнаты и по нервамъ фрейленъ Штраусъ. Она не знаетъ, куда дѣваться отъ скуки, а мы не знаемъ, куда дѣваться отъ ея нервозъ.

Такъ въ быстромъ летѣ дней, отъ первой весенней капли до первой зимней пороши, отъ первой выставляемой рамы съ «протарарыкивающей» по шоссе тельгой до первой вставляемой, съ протапливаніемъ слегка дымящихъ печей, протекаетъ наша дѣтская жизнь. Какая-бы не стояла на дворѣ погода, у насъ на душѣ всегда солнечно. Ссоры съ братомъ, слезы, болѣзни, назиданія фрейленъ Штраусъ и мамыны огорченія нашимъ шалостями — всего этого, о чемъ я знаю, мнѣ съ вершины моей памяти уже не видно.

Если я сейчасъ сяду въ то кресло моей комнаты, въ которомъ я никогда не пишу и не читаю, въ которомъ лишь «пролетаю въ года — умереть» *) и привычнымъ движеніемъ души заботливо наложу на грамофонный дискъ моей памяти не стирающуюся отъ времени пластинку, съ золо-

*) Вариантъ строки А. Бѣлаго.

тою надписью «дѣтство», то передъ моими глазами поплывутъ одна за другой райскія картины той жизни, за которую сейчасъ такъ страшно расплачивается Россія. Часто думаю: за что и для какихъ цѣлей спасла меня отъ этой расплаты судьба?....

По зеленой обочинѣ екатерининскаго большака, подъ низко свисающими вѣтвями уже загрузившихъ желтизною березъ, мягко катится — дышло по колеѣ — глубокая коляска на резиновомъ ходу. Я сижу на откидной скамейкѣ. Противъ меня мама, въ наглухо застегнутомъ сѣромъ, шелковомъ пальто отъ пыли, а рядомъ съ нею молодая женщина въ желтомъ платьѣ и черной накидкѣ безъ шляпы. Женщина эта очень оживленно разговариваетъ съ мамой; ея грустные, каріе глаза блестятъ неестественнымъ блескомъ, на ея слегка скуластомъ лицѣ горятъ пятна румянца, а влажныя губы то и дѣло горячо открываются надъ ровными, бѣлыми зубами. Я знаю, что новая мамаина подруга — жена недавно поступившаго на фабрику инженера Филатова. Я чувствую, что вокругъ нея кружится какая-то грустная тайна. Эта тайна въ моемъ сознаніи связывается съ непонятнымъ мнѣ словомъ «туберкулезъ», какъ-то брошенномъ взрослыми во время разговора о Филатовыхъ, и я твердо увѣренъ, вѣроятно по звуковой ассоціаціи съ туберозой, что туберкулезъ очень красивый цвѣтокъ. Связь сидящей противъ меня женщины съ какимъ-то невѣдомымъ цвѣткомъ меня тревожить и плѣняетъ. Очень мнѣ тоже нравится, что ее зовутъ необыкновеннымъ именемъ — Любовь Мильевна. Она дѣйствительно очень мила и я чувствую, что я ее какъ-то по особенному люблю, совсѣмъ иначе, чѣмъ маму.

Позади коляски, играя нервными ушами и гнѣвно разбрызгивая пѣну съ мундштука, взволнованно идетъ вороной жеребецъ Падишахъ; надъ его головою ритмически приподымается и опускается мощная, плотная, но изящная фигура всадника въ свѣтлой фетровой шляпѣ и свѣтлыхъ желтыхъ перчаткахъ. И лошадь, и всадникъ какъ-то не по русски нарядны и картинны. Это красуется старшій инженеръ фабрики, балтіецъ съ польской фамиліей — Рынкевичъ.

Съ зеленого большака коляска сворачиваетъ на пыльный проселокъ, мягко вьющейся между скошеннымъ лугомъ и ветхимъ заборомъ полуразрушенной усадьбы. Надъ поломанными зубьями забора кое-гдѣ свисаютъ золотые подсолнухи и огненно-пышные георгины. Я вижу, какъ всадникъ быстро подскакиваетъ къ забору, срываетъ нѣсколько цвѣтковъ, и, погнавъ насъ, ловко бросаетъ ихъ на синій фартукъ коляски.

Перепрыгнувъ придорожную канавку, онъ черезъ секунду гарцуетъ по лугу. Не переставая разговаривать съ Любовью Мильевиной, сидящей слѣва отъ нея, мама черезъ свое правое плечо смотритъ на поляну и ея прекрасные, сѣрые глаза разсѣяно улыбаются дали. Во мнѣ подымается какое-то странное, мнѣ непонятное чувство: дѣти очень ревнивы.

На довольно большомъ разстояніи отъ коляски, — чтобы не глотать пыли — прилежно поспѣваетъ ровною рысцою, запряженная въ тяжелую охотничью линейку, папина тройка мелкорослыхъ, но очень выносливыхъ сибирячковыхъ. На линейкѣ кромѣ отца сидятъ мамина двоюродная сестра Машенька, влюбчивая, восторженная дѣвушка, только-что кончившая консерваторію и обожающая по вечерамъ, въ особенности при лунѣ, то бравурить въ залѣ расподіями Листа, то вздыхать ноктюрнами Шопена, Филатовъ — сырой, крупный человѣкъ въ круглыхъ очкахъ на кругломъ мясистомъ носу (его внѣшность у меня внослѣдствіи нерасторжимо слилась съ внѣшностью Пьера Безухова), Иванъ Васильевичъ, со своею врагинею, фрейленъ Штраусъ, братъ, по прозвищу Липочка и гончій кобель «Догоняй».

Почему какъ-то внезапно оживилась помѣщичья жизнь на берегахъ Угры и Шани, почему чуть-ли не каждую недѣлю, чаще всего по субботамъ и воскресеньямъ, въ живописные мѣста уѣзда стали съѣзжаться линейки и коляски подь «дарвалданье» (въ такой, къ слову сказать, очень убѣдительный глаголь слился у меня въ дѣтствѣ слова извѣстной пѣсни: «И колокольчикъ, даръ Валдая, запѣлъ уныло подь дугой») колокольчиковъ и бубенцовъ, я объяснить не могу. Думаю, что главную роль въ этомъ подъемѣ жизни сыграла мама, съютившая вокругъ себя своею артистичностью и музыкальностью всѣхъ наиболѣе интеллигентныхъ, живыхъ служашихъ фабрики и переэнакомившая ихъ съ прозябшими по своимъ угламъ помѣщичьими семьями. Московскіе гости, которыхъ всегда много съѣзжалось къ намъ на лѣто и осень, играли въ этомъ подъемѣ большую роль: казались многимъ провинціаламъ чѣмъ-то особенно интереснымъ и поэтичнымъ.

Естественно, что среди этой молодой компаніи быстро расцвѣла та атмосфера подсознательной перекрестной влюбленности, которая, волнуя тоскующую душу, еще не обременяетъ супружеской совѣсти. А гдѣ же вольнѣе, безпечнѣе и слабше аукаться чего-то небывалаго ждущимъ отъ жизни сердцамъ, какъ не въ благоуханно-тепломъ, медленно темнѣющемъ лѣсу, на опушкѣ котораго въ густомъ надрѣчномъ кустарникѣ по

веснамъ шелкають соловьи, эти невзрачные герои всѣхъ лунныхъ сказокъ жизни, лѣтомъ изъ глубины заываютъ въ дали бездомныя кукушки, а осенью пугаютъ слѣпые на солнечномъ свѣтѣ сычи...

Наѣзжали въ Шаняновскій лѣсъ самые разные люди: старозавѣтные борзятники Мажаровы, съ девятнадцатилѣтней дочкою Женей, часами ожидавшей у окна своей «свѣтелки», не замретъ ли за рѣкой у парома колокольчикъ, не свернетъ-ли кто-нибудь на дорогу въ Мажарово, развѣять сонъ и скуку отчаго дома, гдѣ поваръ въ бѣломъ колпакѣ ежедневно готовитъ рубленныя котлеты съ тараканами и всѣ диваны полны огромныхъ собачьихъ блохъ; морской офицеръ въ отставкѣ, печальный вдовецъ Крашенинниковъ, холеный, чистенькій, неизмѣнно одѣтый въ синій костюмъ человѣкъ, со своею дочерью Аничкой, петербургской курсисткой, увлекавшейся, какъ я впоследствии узналъ, Маркомъ и Бодларомъ и заплатившей за пророческій складъ своей души тяжелымъ душевнымъ недугомъ, приведшимъ ее, очаровательную двадцатилѣтнюю дѣвушку, боготворимую отцомъ наследницу благоустроеннаго имѣнія, къ самовольному уходу изъ жизни; помню, какъ заплаканная мама передавала кому-то послѣднія слова ея письма къ отцу: «для себя жить не стоитъ, а для другихъ не умѣю».

Непремѣнной участницей всѣхъ пикниковъ и деревенскихъ развлеченій, вплоть до большихъ псовыхъ охотъ, была Марія Николаевна Чертова, жгучая, плосколицая дама съ испанскимъ гребнемъ въ высокой, туго закрученной прическѣ. Дама эта обладала огромнымъ низкимъ альтомъ, разносившимся съ линейки, на которой она почему-то всегда особенно громко пѣла, съ поистинѣ иерихонскою зычностью. Съ ней былъ неразлученъ, съ году на годъ все больше нишавшій помѣщикъ, съ комическою наружностью курносаго донъ-Кихота: усы, эспаньолка и грустный взоръ съ постоянно дрожавшею въ немъ верхнею нотой цыганскаго романса. Этотъ гидальго Медынскаго уѣзда былъ страстнымъ любителемъ картежной игры. Когда у насъ раскрывались зеленые столы, онъ первымъ садился за карты и тасуя ихъ неизмѣнно напѣвалъ прокуренымъ баскомъ: «собирайтесь игроки, вынимайте кошельки». Кончилъ онъ плохо. Проигравъ все, что было за душой, онъ обмѣнялъ послѣднюю, давно уже рыскавшую по крестьянскимъ дворамъ борзую на каравай хлѣба и вышелъ съ этимъ караваемъ подмышкой легкою походкой изъ воротъ своей усадьбы. Какъ можно было въ Россіи девяностыхъ годовъ дойти до та-

кого конца — непонятно! Не то преступная безответственность, не то святая безопасность.

Теплый, августовский вечер. Иванъ Васильевичъ старательно затаптыкает костеръ, къ которому весь вечер таскала хворостъ и можжевелникъ отъ комаровъ. Фрейленъ Штраусъ скатываетъ пледъ «шотелэнь экоссе», явно недовольная тѣмъ, что мы опять поздно ляжемъ спать. Макуши сосенъ все гуще наливаются вечернимъ сумракомъ. Въ фонаряхъ маминой коляски уже зажжены толстыя стеариновые свѣчи; въ сущности онѣ не къ чему, но маминъ кучеръ, выписанный изъ Москвы, очень любитъ цивилизационныя достиженія. Вокругъ фонарей глубокий мракъ. Изъ его глубины, какъ будто-бы откуда-то издали, подъ тихіе переборы въроломной гитары, доносятся задумчиво-печальные голоса. Поютъ мама и Любовь Мильевна. Эта пѣснь объ отливѣ — «Въ отлива часъ не вѣрѣ измѣнѣ моря» — вызываетъ въ моемъ сердцѣ бурный приливъ какихъ-то сладостно-щемящихъ чувствъ.

Сборы окончены. Подъ колесами трещать сучья, экипажи медленно выѣзжаютъ на проселокъ и сворачиваютъ на шоссе, по которому въ этотъ поздній, для деревни уже ночной часъ (по холодку лошадей легче) тянутся нагруженные заштопу въ рогожи бумагою ломовые полки. Ломовики поспѣшно сдерживаютъ картузы и хватая битюговъ подъ уздцы, безъ всякой на то надобности, ради одного только почтенія, круто сворачиваютъ на обочину. Вотъ послѣдняя передъ ярко освѣщенными фабричными корпусами (работаютъ въ двѣ смѣны) деревня. Уже давно спитъ она крѣпкимъ, праведнымъ сномъ. Лишь гдѣ-то вдали за околицей наяриваетъ полупыльная фабричная гармоника. Встрѣчаемые и провожаемые собачьимъ брехомъ (впереди верхомъ Рынкевичъ, за нимъ коляска, линейка и шарабанъ, въ которомъ Марія Николаевна со своимъ поклонникомъ ѣдутъ къ намъ ночевать), мы съ грохотомъ, звономъ и пѣснями, словно на пожаръ, несемся сквозь тихую, мирную ночь.

Четкій топотъ копытъ по деревянному настилу плотины. Лихой взлетъ въ гору къ освѣщенному крыльцу. У крыльца уже ждутъ молодая, расторопная горничная Лиза и вѣчно хмурый въ сѣрой тужуркѣ лакей Николай, къ христіанскому имени котораго почему-то всѣми нами прибавлялось цирковое «рыжій», хотя Николай, по цвѣту своихъ не слишкомъ обильныхъ волосъ вокругъ ранней лысины, былъ скорѣе блондиномъ, чѣмъ рыжимъ.

По прїѣздѣ домой, мы съ братомъ конечно сразу-же идемъ

спать. Лежа въ постеляхъ мы еще долго прислушиваемся къ доносящемуся изъ зала веселому шуму. Къ нему-же прислушивается сквозь запретный сонъ и дремлющій на стулѣ въ буфетной Николай рыжій, то и дѣло по звонку бѣгающей на кухню и въ подвалъ — подогрѣть самоваръ, принести бутылку вина.

Ни отецъ, ни мать не были, да и по всему своему происхожденію и воспитанію, не могли быть крѣпостниками. Больше того: они были опредѣленно гуманными людьми, искренне желавшими какъ можно лучше устроить фабричныхъ рабочихъ и домашнюю прислугу. Мать даже любила подчеркивать, что она родилась въ годъ освобожденія крестьянъ, видя въ этомъ обстоятельстве, въ связи со своимъ положеніемъ на фабрикѣ, какое-то особое, возложенное на нее обязательство. Она не только протезировала идеалиста и народника Власова, не только подолгу бесѣдовала о народномъ воспитаніи съ молодымъ священникомъ, академикомъ, смѣнившимъ упитаннаго отца Никанора, имѣвшаго отъ природы гораздо больше склонности къ медицинѣ, чѣмъ къ богословію (въ холерный годъ онъ успѣшно лѣчилъ мужиковъ баклановкой, т. е. водкой съ перцемъ), но и сама всегда ходатайствовала за рабочихъ передъ отцомъ. Очень хорошо помню неопишемое волненіе у насъ въ домѣ, когда завѣдующій фабричнымъ лаккамеромъ, при попустительствѣ отца, заставилъ «дѣвокъ» мыть полъ въ Страстную субботу послѣ ранняго свистка. Маминому возмущенію не было границъ. Въ бурной словесной схваткѣ съ отцомъ она не безъ труда добилась отмѣны отданнаго распоряженія. Того-же Николая-рыжаго она взяла въ домъ, чтобы помочь ему справиться съ нанесеннымъ ему въ сосѣднемъ помѣстьѣ оскорбленіемъ дѣйствіемъ, звонкою пощечиной, «влѣпленной» добродушною, но взбалмошною барыней въ его снудную физиономію не за что иное, какъ за эту самую снудость. Не думаю, чтобы доброе мамино намѣреніе было по заслугамъ оцѣнено Николаемъ. Маминаго положенія, что человекъ ни при какихъ условіяхъ нельзя бить по лицу, онъ не раздѣлялъ (самъ дрался) и потому большой разницы между горячей помѣщицей и мамой, пытавшейся разбудить въ немъ «человѣка» и дававшей ему понять, что съ его недопустимо-сонной физиономіей ни до чего въ жизни не дойти, вѣроятно не чувствовалъ, тѣмъ болѣе, что на самомъ дѣлѣ онъ вовсе не былъ тѣмъ снудымъ судаккомъ, за котораго его всѣ принимали. Впоследствии выяснилось, что на табуреткѣ въ буфетной Николай-рыжій вовсе не дремалъ, а мечталъ, строя уже тогда грандіоз-

ные для деревенскаго лакея планы. Всѣми осмѣянный «рыжій» вышелъ въ большіе люди. Во время войны, одѣтый въ безукоризненный сюртукъ и при золотыхъ часахъ, онъ, въ память своей трехлѣтней службы у насъ въ домѣ, угощалъ меня и еще двухъ молодыхъ поручиковъ, возвращавшихся изъ лазарета на фронтъ, великолѣпнымъ обѣдомъ. Это было въ Клину. Кромѣ Клина Николай держалъ покзальный буфетъ не то въ Павловскѣ, не то въ Гатчинѣ.

Какъ мама ошибалась въ лицѣ и талантѣ Николая, такъ ошибалась она, вѣроятно, по всей линіи своего отношенія къ народу. Дѣло тутъ было, конечно, не въ ней лично, а во всемъ складѣ социальныхъ взаимоотношеній въ дореволюціонной Россіи. Злосчастность этихъ отношеній была не въ томъ, что господа не любили народа, а въ томъ, что и любя его, они его не знали. Доказать этого я не могу, но чувство какой-то неловкости отъ маминыхъ отношеній съ простолюдными во мнѣ до сихъ поръ осталось. Какъ женщина не очень счастливая въ бракѣ, она съ часто свойственно такимъ женщинамъ внимательностью прислушивалась и присматривалась къ личной жизни своего женскаго персонала. Мнѣ шелъ вѣроятно уже двѣнадцатый годъ, когда въ такъ называемой «зеленой» гостиной происходило запомнившееся мнѣ таинственное засѣданіе: нѣчто вродѣ суда чести надъ маминюю горничной Лизою, миловидною, изящною дѣвушкой, незаконною, какъ я узналъ впоследствии, дочерью большого петербургскаго барина. (Вопросъ о незаконныхъ дѣтяхъ, о гнѣвной и нервной барской крови въ жилахъ громившихъ помѣщичьи усадьбы крестьянъ, лишь мимоходомъ затронутый Бунинымъ въ его «Суходолѣ», представляется мнѣ, къ слову сказать, очень интересною, какъ социологическою, такъ и психологическою темою большевическаго бунта). Съ тревожно замирающимъ сердцемъ, безсознательно уже тянувшимся къ тайнѣ дѣвичьяго грѣха, ходилъ я, помнится, по полутемному корридору, прислушиваясь къ голосамъ за дверью. Мама говорила много и очень взволнованно, Лиза все только всхлипывала, изрѣдка слышались взвизги рѣзкаго голоса неизвѣстной мнѣ женщины полупочтеннаго вида въ кружевной накидкѣ, очевидно матери провинціальнаго донъ-Жуана, похитителя Лизинаго сердца, а можетъ быть и ея чести.

Когда дверь распахнулась, первую вышла мама, въ утреннемъ турецкомъ капотѣ, разстроенная и почти вдохновенная. Ея полная съ тонкимъ запястьемъ рука дружески лежала на передергивающихся отъ сдерживаемыхъ рыданій Лизиныхъ

плечахъ. Лизины родители, кучеръ Дормидонтъ съ женою, какъ то безразлично шли сзади. Прощаясь, они за что-то очень благодарили маму, кланялись, цѣловали руку, но на ихъ простыхъ, и все же непроницаемыхъ лицахъ, молчало выраженіе того пассивнаго осужденія всего того, чему они были свидѣтелями, съ которымъ и крестьяне Ясной Поляны смотрѣли на «блажь» Толстовскаго паханія. Иначе, впрочемъ, и быть не могло, такъ какъ отмѣненное 35 лѣтъ тому назадъ крѣпостное право фактически продолжало господствовать въ томъ помѣщичьи-фабричномъ укладѣ жизни, который я вѣроятно до конца своихъ дней продолжалъ-бы считать патріархальнымъ раемъ, если-бы не годы окопной, а затѣмъ и революціонной жизни вплотную съ подлиннымъ русскимъ народомъ.

Нѣтъ сомнѣній, ни за однимъ самодуромъ помѣщикомъ русской народъ никогда не былъ закрѣпленъ такою проклятою, кровавою крѣпью, какъ за Ленинымъ и Сталинымъ. Тѣмъ не менѣе — и въ этомъ величайшей упрекъ всѣмъ намъ, не отстоявшимъ Россіи отъ большевиковъ — большевизмъ осмыслится русскою исторіей, какъ окончательное раскрытіе русскаго народа. Я знаю, до чего трудно согласиться съ этою мыслью: высказывая ее, я чувствую, какъ сердце еще на концѣ пера сопротивляется ея начертанію. Тѣмъ не менѣе я увѣренъ, — не согласившись съ этою парадоксальною мыслью, невозможно хотя-бы въ общихъ чертахъ представить себѣ будущаго облика Россіи. Одна черта этой будущей Россіи кажется мнѣ несомнѣнной: какой-бы въ ней ни выкристаллизовался политическій строй, какой-бы въ ней ни сложился социальный и хозяйственный укладъ, того стараго, дореволюціоннаго народа, который людьми привилегированныхъ классовъ и почти всю барскую русскою литературою въ гораздо большей степени ощущался какимъ-то природно-народнымъ пейзажемъ, чѣмъ естественнымъ расширеніемъ человѣческой семьи, больше не будетъ. Изъ челоуѣкенавистнической, большевнической революціи русской народъ выйдетъ окончательно вочелоуѣчившейся стихіей. Разница между людьми высшихъ классовъ и многомилліоннымъ массовымъ народомъ исчезнетъ. Въ Россіи всѣ станутъ людьми, а вся Россія станетъ народомъ.

Благодаря этому перерожденію русская жизнь во многихъ отношеніяхъ станетъ лучше и справедливѣе, но какою-то своею таинственною красотою она оскудѣетъ. Съ исчезновеніемъ народа, какъ стихіи, измѣнится русское чувство природы и померкнетъ своеобразіе русскаго искусства.

Вотъ уже шестнадцать лѣтъ, какъ я покинулъ Россію. За эти годы я подолгу живалъ во многихъ прекраснѣйшихъ странахъ. Въ качествѣ добраго европейца я безоговорочно согласенъ признать, что Неаполитанскій заливъ, шхеры Швеціи и Норвегіи, снѣжныя горы Швейцаріи, безконечно живописнѣе Калужской губерніи. Тѣмъ не менѣе я нигдѣ не чувствовалъ открытой гностиками «души природы» съ такою непосредственностью и силою, какъ въ Россіи. Чувствомъ родины этой тайны не объяснишь. Современные нѣмцы, швейцарцы, французы и итальянцы не менѣе русскихъ любятъ природу своихъ странъ, но того остраго, чувственнаго осязанія ея одухотворенной плоти, ея космической души, которымъ такъ значительно даже и не первоклассное русское искусство, у современныхъ европейцевъ уже нѣту, и нѣтъ потому, что въ наиболѣе цивилизованныхъ странахъ Европы народъ уже давно какъ-бы раскиченъ по отдѣльнымъ индивидуальностямъ. Французскій и нѣмецкій народы — это прежде всего — люди; русскій, дореволюціонный, главнымъ образомъ, крестьянскій народъ — это еще земля. Миѣ думается, что особая одухотворенность, хочется сказать, человѣчность русской природы есть лишь обратная сторона природности русскаго народа, его глубокой связи съ землей. На этой связи и покоилась наша единственная по щедрости своей шири, по вольности своего дыханія, во многомъ, конечно, грѣшная, но все же прекрасная, барская жизнь.

Жизнь эта убита, ей никогда не воскреснуть. Въ Россіи, быть можетъ, возможно возстановленіе пореволюціонной монархіи, но въ ней невозможно возстановленіе того дореволюціоннаго быта, тоска по которому, что грѣха тайтъ, съ каждымъ годомъ все горше и слаше крѣпнеть въ душѣ. Слава Богу, въ ней крѣпнеть и другая тоска, тоска по тому русскому народу, который, не вѣдая, что творилъ, и не жалѣя себя, покончилъ съ этою жизнью и выбросилъ насъ на чужбину. Даже странно какъ-то: въ дни, когда несправедливые глаза отказываются смотрѣть на пріютившій тебя западно-европейскій міръ, передъ тобою встаютъ не родныя лица оставленныхъ друзей и близкихъ, а милые облики родныхъ калужскихъ мѣстъ, одни названія которыхъ: Шани, Шаняны, Шерстово, Кондрово, Ирандово, Угра, — звучать въ душѣ непередаваемой въ словахъ, ворожащей музыкой. Подъ эту музыку въ памяти всплываютъ цѣлыя толпы простого народа, окружающаго нашъ домъ, но не сливающагося съ людьми, живущими въ немъ.

Народъ — это вѣчно висячіе на задней садовой калиткѣ вихрастые, воздрястые, быстроглазые ребята, неустанно во-локушіе въ барскій домъ продать за копѣйку все, что попало: шуку, карася, ежа, ужа, сыча и какую-нибудь, по ихъ мнѣнію, диковинную лягушку (всѣ знали, что садовнику было приказано покупать для звѣринца всякую живность). Народъ — это молодья, веселыя бабы съ пѣвучими голосами, приносящія на кухонное крыльцо то рѣшета душистой лѣсной земляники, которой почему-то нѣтъ во всемъ мірѣ, то кошѣлки съ бѣлыми отборными грибами — «безъ единой червоточки». Народъ — это нищенки-побирушки, глубокія согбенныя старухи съ огромными мѣшками черезъ оба плеча, съ потухшими слезливыми глазами, съ мелко-изсѣченной коричневой кожей на жердястыхъ, въ пыли и глинѣ ногахъ. Народъ — это пестрыя сѣнокосныя рубахи и цвѣтистые платки, шумно и весело съ громкою заливчатою пѣсню возвращающіеся съ работъ на деревню, это сѣрые, мглистые въ осеннемъ ненастьѣ пахари, то и дѣло оступающіеся одною ногою въ свѣжую борозду, это какіе-то полумифическіе въ овчинныхъ тулупахъ, въ волчихъ и лисьихъ шапкахъ, въ сосульчатыхъ усахъ и бородахъ дѣды Морозы, шагающе рядомъ со своими тяжело нагруженными дровами розвальнями и охлывающе себя громадными желтыми рукавицами. Народъ — это гуськомъ спускавшіеся за мальчишкой поводыремъ съ Масловской горы слѣпые, что закативъ къ небу свои страшныя бѣлмы, ждуть у кухоннаго окна милостыни, оглашая дворъ гнусавымъ пѣніемъ «смердящаго Лазаря», наполняющимъ мое сердце тоской, жалостью и страхомъ, это говоруньи богомолки, которыхъ поять чаемъ въ буфетной и «бѣглые» монахи Тихоновой пустыни, въ два счета спроваживаемые со двора няней Сашей, почему-то считавшей эту обитель, въ отличие отъ «Оптиной», пристанищемъ всякихъ тунеядцевъ, а то и жуликовъ.

Изъ этой природно-народной стихіи, какъ бы расширяя собою человѣческой міръ знакомыхъ и прислуги, выдѣляются нѣсколько отдѣльныхъ фигуръ. Онѣ не то, что Иванъ Васильевичъ, Афимья, няня Саша и та прислуга, которая пьетъ чай въ «людской», но все же и они для насъ съ братомъ не «простой» народъ, а свои люди.

На огородѣ подлѣ осенними дождями въ нахлобученномъ рогожномъ кулѣкѣ прилежно пашетъ Афимьинъ мужъ Иванъ, низкорослый, коренастый, бѣлобрысый заика со свинообразнымъ, сконфуженнымъ лицомъ, на которомъ все моргаетъ и

дергается. Время от времени фабричная контора рассчитывает Ивана за запой, но Афимья, рыдая, клянется мамѣ, что его мужъ даль зарокъ, больше пить не будетъ, и его опять принимаютъ на службу.

Въ саду, по журавлиному подымая худыя, длинныя ноги, скорѣе всего отъ привычки осторожно переступать черезъ цвѣточные грядки, важно ходить садовникъ Чибись, свѣдаемый двумя страстями: нюхательнымъ табакомъ и латинскимъ языкомъ. Онъ увѣренъ, зная онъ всѣ цвѣточные названья по латыни, онъ могъ-бы съ успѣхомъ замѣнить ученаго садовода чеха, который только тѣмъ и беретъ, что курить черныя сигары и называетъ резеду «*reseda odorata*».

Въ заваленной свѣжимъ тесомъ и стружками, пахнувшей смолою, столярнымъ клеемъ и махоркой мастерской при самомъ вѣздѣ на конный дворъ, ловко работаетъ, покрикивая на подмастерьевъ и мальчишекъ, столяръ и телѣжникъ Павелъ Семеновичъ Селиверстовъ. Мужикомъ его не назовешь и даже на мастерового онъ не очень похожъ. Дородный, крупчатый, пухлорукій, онъ по наружности и повадкѣ скорѣе напоминаетъ зажиточнаго мельника или городского лавочника, чѣмъ фабричнаго столяра. Умница и говорунъ, онъ черезъ няню Сашу держитъ связь съ мамой и ловко добываетъ заказы на «любительскую» столярную работу для директорскаго дома (только въ 1919 году обмѣняли мы письменный столъ селиверстовской работы на два пуда ржаной муки). Прирожденный, какъ мнѣ теперь кажется, «лакей буржуазіи», скорѣе всего до смерти ненавидившій всѣхъ насъ (лакейская ненависть — самая злая), Павелъ Семеновичъ, по всей вѣроятности, быстро перекинулся къ большевикамъ и законоводилъ на фабрикѣ. Кончилъ онъ, думается, плохо. Но это уже мои домыслы.

Покровительница Павла Семеновича, Александра Ивановна Баскакова, или попросту няня Саша, уже явно принадлежала къ кругу той человѣческой семьи, въ недрахъ которой взрѣвало наше дѣтство. Какъ я сейчасъ понимаю, эта особая человѣчность няни Саши заключалась не въ ея человѣческихъ достоинствахъ (по чертамъ своего характера Александра Ивановна скорѣе напоминала лукаваго царедворца Шуйскаго, чѣмъ умилительную Арифу Родіоновну), а въ томъ, что вся ея жизнь, въ отличіе отъ жизни другой прислуги, протекала на нашихъ глазахъ. Спала она въ углу дѣтской на огромномъ кованномъ сундукѣ подъ тяжелыми, темными образами. Обѣдала въ проходной буфетной за маленькимъ столомъ, покрытымъ клеенкой. Бывали мы и на родинѣ няни Саши: въ Полот-

няномъ заводѣ, имѣніи Гончаровыхъ, со священною Пушкинскою надписью на бесѣдкѣ въ паркѣ. Не разъ посѣщали мы и ея ветхій домъ рядомъ съ кузницей, надъ воротами которой красовался вырѣзанный изъ кровельнаго желѣза черный съ ржавчиной скакунъ. Знали мы хорошо и несложное міросозерцаніе Александры Ивановны: ненависть къ нѣмкѣ Штраусъ и къ вихрастому Ивану Васильевичу, почтительную любовь къ земскому начальнику, князю Мещерскому, державшему крестьянъ въ ежовыхъ рукавицахъ, да къ древнему ветерану турецкой компаніи, георгіевскому кавалеру, никогда не снимавшему своего увѣшаннаго крестами и медалями мундира и отдававшему ей честь со всею четкостью старинной военной выправки. Надо-ли говорить, что наша няня, съ которой я бесѣдовалъ въ послѣдній разъ уже студентомъ, весьма не одобряла маминыхъ лирическихъ интервенцій въ «пакоствія» Лизины дѣла и считала за признакъ мужичьей темноты, что въ день ея Ангела, по распоряженію старшаго кучера Дермидона, ей запрягали для поѣздки въ Полотняный заводъ къ племяннику, державшему тамъ галантерейную лавку, не рессорную коляску, а плетеную телѣжку на дрожинахъ...

Какъ странно и какъ таинственно-непостижимо, что гдѣ-то въ далекой, недоступной, иной разъ кажется, давно уже несуществующей Россіи и посейчасъ еще, быть можетъ, живутъ тѣ самые люди моего дѣтскаго міра, о которомъ я пишу въ Дрезденѣ, смотря на спѣлыя яблоки за окномъ и минутами право не понимая какой мнѣ видится садъ: нашъ ли подмосковный, который въ 1919 году сторожилъ осенними ночами, вспоминая подъ улюлюкиваніе взбаламученной деревни райскія дали кондровскихъ садовъ, или культурный дрезденскій «*Apfelgarten*», принадлежащій солидному національному нѣмцу, свято вѣряшему въ то, что великій *Führer* скоро и въ Россіи наведетъ образцовый, нѣмецкій порядокъ... Но объ этомъ лучше не думать... А потому вернемся къ нянѣ Сашѣ.

Самымъ большимъ ея удовольствіемъ были ежегодныя поѣздки на ярмарку въ «Полотняный». Мама этихъ ярмарокъ не любила, но насъ съ Александрой Ивановной отпускала охотно. Передъ ярмаркой мы непременно заѣзжали къ няниному племяннику, еще молодому, чернобородому, но старозавѣтному купцу въ сапогахъ бутылками и длиннополымъ черномъ сюртукѣ. Къ чаю съ разными угощеніями (товаръ свой) подавались и крѣпкія наливки. Опрокинувъ рюмочку, другую, няня брала насъ за руки и мы всѣ трое въ величайшемъ волненіи бѣжали на ярмарку.

Я до сихъ поръ очень люблю народныя гулянья, много шатался по современнымъ, электрофицированнымъ по послѣднему слову науки парижскимъ, мюнхенскимъ и дрезденскимъ ярмаркамъ, но того настроенія, которое насъ съ няней охватывало на выселкахъ Полотнянаго завода, я никогда больше ни въ себѣ, ни въ гуляющемъ народѣ не находилъ. Въ чемъ тутъ тайна, кромѣ тайны дѣтства, сказать не легко, да и не хочется какъ-то вдаваться въ психологію. Скорѣе всего наши ярмарки веселили душу тою первичностью страстей и чувствъ, которыми была такъ сильна, да вѣроятно еще и осталась русская земля.

Боже, съ какою изступенною яростью, божась и ругаясь, торговали мужики лошадей: несчастные меренки и кобылки, съ гикомъ подхлестываемые не только продавцомъ и покупателемъ, но и всѣми непрошенными совѣтчиками и праздными зрителями, какъ ошалѣлые носились взадъ и впередъ передъ сгрудившимся народомъ, а кругомъ, какъ черти, — цыгане. Мы о нихъ уже много слышали страшнаго и тревожнаго: когда они таборомъ стояли въ Шерстовѣ, няня не выходила съ маленькой сестрой за калитку сада (дѣтей крадутъ) и каждый вечеръ вмѣстѣ съ Николаемъ провѣряла серебро въ буфетѣ. По дорогѣ на ярмарку, сѣдя на козлахъ рядомъ съ Дормидономъ, я узналъ отъ него, что «черномазые» лошади насквозь видятъ, но зато и первые жулики: года на зубахъ выжигаютъ, брюхо через соломинку надуваютъ, а для прыти подъ хвостомъ скилидаромъ мажутъ.

На другомъ концѣ бабы передъ ларьками съ ситцемъ, куначемъ, позументами, платками, кружевами, баретками... Купцы задуряютъ, ловко разжигаютъ нуждою придушенныя женскія страсти. Александра Ивановна всею душою сочувствуетъ бабамъ и, вспоминая свою молодость, тутъ же рассказываетъ намъ, что не купить бывало силъ нѣтъ, а купить — возвращаться страшно, того гляди мужикъ съ пьяна вожжами отхлещетъ. Я во все глаза смотрю на нее, стараясь представить себѣ дикую расправу: вѣдь няня такая почтенная и всѣми уважаемая женщина!

Меньше народа среди рядами разложеннаго на соломѣ гончарнаго товара, среди возовъ съ яблоками, арбузами, огурцами. Но и тутъ дымъ коромыслемъ, галдятъ, какъ воронье по веснѣ. Всякъ кому нужно и не нужно, нагнется къ горшку, къ сенюшкѣ, обстукать согнутымъ пальцемъ — нѣтъ ли какого изъяна.

Съ щегольскихъ кулацкихъ телѣгъ вкусно сыпятся въ большіе мѣшанскіе мѣшки горкой наложенныя мѣры восковой

антоновки. Весело побрякивают у самого уха между мозолистыми ладонями зеленые арбузы. Мнѣ страшно хочется съзорничать: такъ сдавить, чтобы треснулъ, да силы не хватаетъ!

Шумными толпами ходитъ народъ по ярмаркѣ. Больше всего веселится, конечно, молодежь, — парни, дѣвки, подростки, ребятишки. Для нихъ прежде всего и крутятся карусели подѣ хриплымъ, щербатымъ шарманки. Они же шумными компаніями протискиваются къ балаганамъ посмотрѣть на челоуѣка, пожирающаго пламя, на бородатую женщину, на лимонно-желтыхъ, морщинистыхъ лилипутомъ или на борьбу «всемірныхъ чемпионовъ», однимъ словомъ на всѣ безсмертные «номера» народныхъ гуляній.

Бойко торгуетъ трактиръ съ забавной выѣзской «Сборъ друзей въ березкахъ». Со ступеней его крыльца то и дѣло неуверенно спускаются подѣ руку подвыпившіе парни, у которыхъ все нараспашку: пиджаки, ворота, глаза, глотки и души. Они весело «пужаютъ» дѣвокъ, которымъ не страшно, и старательно орутъ, выводятъ на весь міръ то грустныя, то лихія пѣсельныя колѣнца. На лицахъ — море по колѣно. Только ли отъ выпитаго вина? Или и отъ того доверчиваго распах души, безъ котораго невозможно разливное, поднебесное веселье?

Наѣвшись вкусныхъ вяземскихъ пряниковъ и совѣтъ невкусныхъ стрючковъ, попробовавъ сбитня и квасу, накатавшись на карусели, насмотрѣвшись на всѣ «заморскіе» чудеса и ужасы, мы собираемся во-свои. Дормидонъ строго смотритъ съ козелъ и пока няня Саша заботливо укладываетъ свои многочисленные узлы въ задокъ пролетки, какимъ-то не совѣтъ своимъ, смущеннымъ голосомъ увѣщаетъ лошадей не баловать, хотя онѣ не проявляютъ къ тому никакихъ склонностей: вѣрный признакъ, что Дормидонъ слегка навеселѣ. Вначалѣ мы ѣдемъ степенно, не обращая никакого вниманія на спѣшащую мимо насъ мелкоту. Но вотъ сзади подходитъ извѣстный задира, знаменитый медыньскій барышникъ. Обгоняя нашу коляску на тройкѣ крупныхъ, сытыхъ коней, онъ весело подзадориваетъ насъ: «ну-ка, хрѣновскіе!» Дормидонъ быстро перехватываетъ вожжи и по широкому большаку ко всеобщему удовольствію разѣзжающейся ярмарки начинается дикій гонь... Куда? Неужели только «догнать и перегнать Америку»? Согласиться на этотъ большевицкій отвѣтъ значитъ безоговорочно признать, что вся первичность и полетность русскихъ страстей и мыслей, вся неизяснимая особенность Россіи, никогда не были ея сущностью, а всего лишь

признакомъ ея цивилизаціонной отсталости, какъ еще до большевиковъ утверждала западническая наука: «Пройдетъ-де нѣсколько десятковъ лѣтъ, Россія догонитъ Западъ, заживетъ опрятною, богатою, просвѣщенной жизнью, опомнится и отрѣзветъ». Пусть такъ, но хочется надѣяться, что Россія отрѣзветъ не только дѣляческою трезвостью буржуазнаго Запада, но и тою просвѣтленною трезвостью, безъ которой невозможно преображеніе народной души и устойчивое пареніе духовной культуры надъ экономически-политическими вершинами жизни. Я знаю, не надо пророчествъ и утопій, но не надо и малодушнаго унынія. Безъ вѣры въ очистительную силу страданій, причиняемыхъ міру зломъ, немыслима вѣра въ побѣду добра въ мірѣ, немыслима вѣра въ новую Россію!.

Первые злые раскаты собиравшейся революціонной грозы прогремѣли надъ тихимъ калужскимъ міромъ сразу-же послѣ коронаціи государя императора Николая II-го. Фабрика отпраздновала это событіе съ примѣрною щедростью и въ примѣрномъ порядкѣ. Мама, Любовь Мильевна и другія фабричныя дамы сами раздавали заготовленные на длинныхъ столахъ въ нашемъ саду подарки: по два фунта колбасы, по бутылкѣ водки, по французской булкѣ, женщинамъ выдавались пряники, орѣхи и головные платки. О томъ, выдавать-ли водку, поначалу долго совѣщались. Исправникъ боялся, какъ-бы не перепились и не начали-бы дебоширить. Побѣдили оптимисты и все обошлось очень мирно. Долго послѣ сожженія невиданнаго фейерверка слышалось повсюду нестройное пѣніе, но поутру всѣ во время встали на работу. Мамѣ очень понравилось это интеллигентски-народное братаніе и она, помнится, высказывала мысль, что надо было-бы повторять (безъ водки) такія празднества и по болѣе скромнымъ поводамъ. Черезъ недѣлю, произошло, однако, неожиданное событіе, омрачившее праздничные дни. Только-что поступившій на фабрику молодой, интеллигентный рабочій во время разговора съ писчебумажнымъ мастеромъ Сироткинѣмъ внезапно набросился на него съ кулаками. Разговоръ у нихъ начался съ Ходынки и очевидно перешелъ на политическія темы. Рабочаго на слѣдующій-же день прогнали за неблагонадежность, дѣло получило широкую огласку. Въ 1905 году Сироткинъ имѣлъ первую жертвою фабричнаго бунта. Сынъ крестьянина, съ малолѣтства увлекавшійся медициной и начавшій свою карьеру съ должности санитаря при фабричной больницѣ, Сироткинъ къ тридцати годамъ дослужился до весьма отвѣтственнаго мѣста старшаго писчебумажнаго мастера. Въ цѣляхъ самообразованія, онъ кромѣ книгъ самаго разнаго

содержанія съ невѣроятнымъ упорствомъ каждую свободную минуту читаль большую энциклопедію Брокгауза и Эфрона. Ему хотѣлось, какъ онъ любилъ говорить, охватить хотя бы «à vol d'oiseau» весь міръ и науку о немъ. Помню его бурные восторги послѣ возвращенія съ ошеломившей его Парижской выставки. Всѣ ужасы, что всѣмъ намъ довелось пережить за послѣднія десятилѣтія, не стерли въ моей памяти злосчастнаго выстрѣла въ спину Сироткина. Въ его лицѣ интеллигентски-пролетарская революція впервые, по крайней мѣрѣ на моей памяти, выстрѣлила въ крѣпкую, дѣльную и даровитую, въ крестьянскую, Ломоносовскую Русь.

Не успѣли у насъ въ домѣ забыть политическаго скандала съ Сироткинымъ, какъ разразилось слѣдующее, гораздо болѣе тяжелое событіе. Служившій у насъ когда-то лакей, болѣзненный, тишайшій человѣкъ съ темными, печальными глазами на блѣдномъ лицѣ, котораго мама рекомендовала въ содѣнное имѣніе на легкое мѣсто, — возить въ креслѣ старую барыню, — какъ будто-бы ни съ того, ни съ сего въ одно дѣйствительно прекрасное, лѣтнее утро взялъ да и перерѣзалъ бритвою горло своей барыни. Какъ и почему все это произошло — осталось не выясненнымъ. Еще недавно, вспоминая этотъ страшный случай, моя мать говорила мнѣ, что ей до нѣкоторой степени понятно, какъ замученный, больной человѣкъ можетъ убить сварливую старуху, но что ей никогда не понять, какъ она, такъ долго присматривавшаяся къ Сергѣю, могла не разглядѣть его подлиннаго лица, какъ могла ручаться за него, какъ за самое себя. «А впрочемъ, прибавила она, смотря на фотографію нашего кондровскаго дома, никто не разглядѣлъ лакейской бритвы въ рукахъ того народа, за который борода съ умирала наша интеллигенція! Какъ это могло случиться?» — Да, какъ? Въ попыткѣ отвѣта на этотъ вопросъ заключается, какъ мнѣ кажется, главный смыслъ нашей жизни въ разсѣяніи.

Повѣсть о моемъ милomъ деревенскомъ дѣтствѣ, — о дѣтствѣ, котораго больше уже никому и никогда не пережить въ Россіи, — окончена. Не тосковать о немъ, какъ тому учить мудрая строка стариннаго поэта, — я не въ силахъ, но благодарить судьбу за то, что оно мнѣ было даровано, я никогда не перестану. Я говорю съ тоскою — нѣтъ, и съ благодарностью — было.

Ф. Степунъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Толстой въ музыкальномъ мірѣ

Это было вечеромъ, московской зимой, въ тихой маленькой комнаткѣ, заставленной до отказа двумя фортепіанами, огромнымъ шкафомъ, столомъ и качалкой, заваленной грудями нотъ по угламъ и на инструментахъ — въ обители Сергѣя Ивановича Танѣева, насквозь пропитанной музыкальной атмосферой. Со стѣнъ смотрѣли большіе портреты Баха, Палестрины и самого Танѣева. Тутъ же былъ и онъ самъ, казавшійся огромнымъ въ этихъ маленькихъ комнатахъ, тучный и бородастый, серьезный и веселый въ одно время, какъ нѣкій привѣтливый «директоръ» музыкально-алхимической лабораторіи, въ которой мы, ученики, посвящались въ таинства контрапункта.

Мы (а «мы» — это были трое: я, мой покойный братъ, впоследствии профессоръ Московской консерваторіи и, нынѣ тоже покойный, Ю. Н. Померанцевъ, впоследствии дирижеръ, а тогда просто «Юшенька» Померанцевъ) — сидѣли кругомъ стола, погруженные въ рѣшеніе заданной намъ задачи, какъ раздался звонокъ, тогдашній (1893 г.), московскій, окраинный звонокъ съ проволокой и колокольчикомъ, безъ всякихъ признаковъ электричества. Мы, какъ всегда, ноль вниманія: было хорошо извѣстно, что по статуту Танѣевского дома, во время нашихъ уроковъ никого въ эту комнату не впускали, и даже самые важные люди (Чайковскій, Рубинштейнъ) выдерживались до окончанія урока... на кухнѣ (больше негдѣ было), гдѣ наслаждались куреніемъ въ трубу (въ комнатахъ у Танѣева было воспрещено курить). На этотъ разъ мы были удивлены, такъ какъ, несмотря на урокъ, дверь растворилась и вошелъ бородастый старый мужикъ, въ сѣрой рубахѣ, весь сѣрый и съ сѣрой бородой. Я его сразу узналъ (по картинкамъ), трудно было его не узнать, хотя вошедшая слѣдомъ за нимъ старая нянюшка Танѣева, Пелагея Васильевна (еще съ хрѣпостныхъ временъ!), раскачиваясь на короткихъ подагрическихъ ногахъ, сочла долгомъ возвѣстить:

— Левъ Николаичъ-съ!

Вышедшій изъ сосѣдней комнаты Танѣевъ представилъ насъ «мужику»:

— Вотъ молодые музыканты — будущіе композиторы...

Такъ состоялось мое знакомство съ Толстымъ. Мнѣ было двѣнадцать лѣтъ и я не могу сказать, чтобы я тогда интересовался взглядами Толстого на музыку. — такой интересъ и въ голову не приходилъ. Но, бывая у Толстыхъ, я не могъ не сдѣлать ряда косвенныхъ наблюденій надъ его «музыкальнымъ созерцаніемъ» — Толстой, не будучи ни въ какой мѣрѣ музыкантомъ, все-таки безусловно имѣлъ какое-то отношеніе къ музыкѣ, ей въ извѣстной степени интересовался, и болѣе того — самъ составлялъ часть московскаго музыкальнаго міра. Толстой самъ рѣдко бывалъ и на концертахъ и въ театрѣ — если бывалъ, то только на репетиціяхъ и всегда сидѣлъ въ глубинахъ ложи. Его стѣсняла его чрезмѣрная извѣстность и вытекавшія изъ нея житейскія неудобства. Достаточно было ему появиться въ людномъ мѣстѣ, какъ получался родъ переполоха — всѣ кидались «смотреть Толстого» и онъ оказывался въ кольцѣ любопытныхъ. Даже и на улицахъ онъ чувствовалъ себя не въ безопасности отъ своей популярности. Его мужицко-мѣщанская внѣшность, особенно когда онъ былъ въ шубѣ и шапкѣ и походилъ на какого-то зауряднаго старика, стараго слесаря или плотника, нѣсколько ограждала его — мнѣ даже приходило въ голову, не для того-ли онъ такъ «рядится»? Но во всякомъ случаѣ всегда былъ рискъ узнаванія этого прозрачнаго инкогнито во время его довольно частыхъ и всегда пѣшихъ прогулокъ по Москвѣ.

Такого рода популярность не удобна для ея обладателя, и я вполне понимаю, что мы рѣдко видали Толстого въ «пленимѣ» музыкальнаго міра. Но — гора сама шла къ Магомету, и музыкальный міръ самъ являлся къ Толстому, въ его домъ въ Хамовникахъ и даже въ Ясную Поляну. У Толстыхъ было то, что нынѣ называется «музыкальнымъ салономъ» — у нихъ собирались музыканты, музицировали, композиторы играли свои сочиненія. Черезъ этотъ салонъ считали долгомъ пройти и всѣ начинающіе артисты музыканты, и почти всѣ посѣщавшія Москву иностранныя знаменитости. Тамъ можно было увидѣть пианиста Гофмана, знаменитый «чешскій квартетъ» и т. д. Всѣ считали необычайно лестнымъ играть передъ Толстымъ и эта «игра передъ Толстымъ» потомъ сохранялась въ качествѣ красочнаго пятна въ біографіи почти всѣхъ побывавшихъ въ Москвѣ музыкантовъ. Правда, для знавшихъ уже тогда внутреннее устройство дома Толстыхъ и его фатальное и злополучное раздѣленіе на двѣ половины, «свѣтскую» и «темную» — половину Софьи Андреевны и половину Льва Николаевича — враждовав-

ція между собою, было ясно, что музыкальный салонъ въ сущности — дѣтище графини, а не Толстого, и что Толстой въ этотъ салонъ попадалъ только въ порядкѣ «неминуемаго сосѣдства». Графиня же любила музыку любовью обыкновенной дилетантки, не безъ значительной доли снобизма, направленного на «охраненіе классическихъ традицій», но и не безъ нѣкотораго пониманія. Ея самолюбію свѣтской женщины льстило, что у нея «музыкальный салонъ», что у нея собираются Танъевъ и Гофманъ, всѣ видные музыканты, она помимо того любила посѣщать концерты и бывала постоянной фигурой на всѣхъ симфоническихъ и квартетныхъ собраніяхъ Русскаго музыкальнаго Общества; здѣсь у нея было постоянное мѣсто въ креслахъ, рядомъ съ мѣстами С. И. Танъева и Ю. И. Блока, фабриканта пишущихъ машинъ и велосипедовъ — этимъ сосѣдствомъ она чрезвычайно дорожила и всегда требовала, чтобы оно было сохранено. Однако С. И. Танъевъ, «не любившій музыку», какъ онъ самъ выражался*), обычно отсутствовалъ и давалъ свое мѣсто одному изъ учениковъ, отчего очень часто я оказывался сосѣдомъ графини и наперникомъ ея музыкальныхъ изліяній. Въ то время она была уже очень пожилой женщиной, высокой и статной, но некрасивой и съ большими («берсовскими») зубами, нѣсколько жеманной и вычурной въ рѣчи и манерахъ. Ея музыкальныя симпатіи и вкусы, какъ и вкусы ея «салона», насколько я могъ замѣтить, всецѣло диктовались Танъевымъ, который въ ея глазахъ имѣлъ ореолъ непререкаемаго авторитета. Оттого тутъ культивировались классики, Чайковскій, Аренскій, Рубинштейнъ, Шопенъ, въ меньшей степени Шубертъ и Шуманъ, косо смотрѣли на молодую русскую школу, ненавидѣли Мусоргскаго, Вагнера, Листа, Берліоза и все послѣдующее.

Но на музыкальныя собранія въ домѣ Толстыхъ Л. Н. появлялся не такъ часто и лишь на короткое время, вызывая обычно своимъ появленіемъ панику среди присутствующихъ, которая успокаивалась, когда онъ вновь исчезалъ въ нѣдрахъ своей «половины». Очень многіе изъ «игравшихъ передъ Толстымъ» на самомъ дѣлѣ ограничивались играніемъ предъ графиней и только впоследствии вспоминали, какъ «Толстой плакалъ отъ ихъ игры». Насколько мнѣ доводилось наблюдать, его присутствіе ни въ какомъ случаѣ не окрыляло и не вдохновляло музыкантовъ — наоборотъ, по большей части оно ихъ угнетало и

*) Онъ говорилъ, что музыканты раздѣляются на любителей и специалистовъ: любители любятъ, но не знаютъ, а специалисты знаютъ, но не любятъ.

подавляло, какъ присутствіе нѣкоего опромнаго, чуждаго и по существу недоброжелательнаго авторитета. Толстой своихъ мнѣній о слышанной музыкѣ обычно не выражалъ, молчалъ, даже не говорилъ принятыхъ въ музыкальномъ мірѣ общихъ и ни къ чему не обязывающихъ комплиментовъ — и это его угрюмое молчаніе, часто не лишенное оттѣнка «недовольства» — истолковывалось исполнителями, смотря по ихъ темпераменту, или какъ «потрясеніе отъ восторга» или какъ неодобреніе.

Его острый, сѣрый, пронизывающій и въ то же время непроницаемый взоръ, въ которомъ мнѣ всегда чудилось нескрытое недоброжелательство, слѣдилъ внимательно — но не столько за музыкой, сколько за внѣшними аксессуарами музыкальнаго исполненія. Когда игралъ Танѣевъ, мнѣ всегда казалось, что онъ смотритъ, какъ Танѣевъ своимъ большимъ животомъ напираетъ на клавиатуру, какъ краснѣетъ и наливаеся его тучная апopleктическая шея — Баховская фуга оставалась гдѣ-то между Танѣевымъ и Толстымъ, а до послѣдняго дождилъ только Танѣевскій животъ. Чѣмъ менѣе симпатична была Толстому сама музыка, тѣмъ болѣе его вниманіе было направлено на эти аксессуары — но иногда мнѣ казалось, что Толстой нарочно отвлекается, чтобы не дать музыкѣ себя захватить.

Музыка не была безразлична для этой титанической, противорѣчивой и алогической природы. Она мучила его, была для него тяжелой и неразрѣшимой загадкой. Мучила она именно своей способностью, какъ онъ выражался, *з а р а ж а т ь* своей магичностью, тѣмъ, что помимо воли она куда-то уносила чело-вѣка и надѣляла его какими-то эмоціями. Онъ, анархически свободолубивый, не переносилъ этого вмѣшательства чужой силы, въ музыкѣ столь непосредственно очевидной (въ литературѣ можно было сослаться на ея «логическое и разумное убѣжденіе»), и онъ априорно не былъ убѣжденъ въ томъ, что это зараженіе не безгрѣховно, не аморально, не уподобляемо нѣкому наркозу. Музыка для него становилась грѣховной субстанціей, чѣмъ-то опьяняющимъ чело-вѣка и лишаящимъ его своей свободной воли. Музыка въ его представленіи въ высшей степени обладала даромъ того «зараженія» чело-вѣка, на которомъ онъ построилъ впоследствии свою «санитарную» эстетику. Кромѣ того, она была, съ точки зрѣнія его утилитарной морали и стремленія къ упрощенію жизни, какъ разъ явленіемъ жизнь усложняющимъ, отягощающимъ — «барской затѣей», выдумкой сытыхъ бездѣльниковъ, чѣмъ-то лишнимъ и теоретически совершенно ненужнымъ. Таково было его общее отно-

шеніе — совершенно независимое (какъ это у Толстого часто бывало) отъ реальныхъ симпатій къ данной музыкѣ. Толстой могъ наслаждаться данной музыкой и въ то же время признавать, что она — бесполезна, вредна, ненужна, грѣховна, что то, что она ему нравится, есть только свидѣтельство его испорченности и удаленности отъ человѣческаго идеала.

Въ очень категорической формѣ это двойственное отношеніе проявилось, когда Толстой, послѣ исполненія Гольденвейзеромъ сонаты Бетховена (*Quasi una fantasia*, именуемой обычно почему-то «лунной») — исполненія, къ слову сказать, суховатаго и весьма средняго — прослезился и сказалъ недовольно: «Какъ я испорченъ! На меня эта музыка все-таки дѣйствуетъ!»

Онъ не хотѣлъ заражаться музыкой, онъ противоборствовалъ этому зараженію и повидимому не могъ противустоять («все-таки дѣйствуетъ!») — и не зналъ, доброе или злое это зараженіе, грѣшное оно или святое. А воздѣйствіе на него, какъ на натуру стихійную, какъ на человѣка по организаціи психической «почти дикаго», по той яркости и непосредственности мірового ощущенія, коимъ онъ обладалъ, — воздѣйствіе было очень сильнымъ, тоже стихійнымъ, глубоко потрясающимъ и почти физиологическимъ. Многіе музыканты, «игравшіе передъ Толстымъ» (а кто не игралъ изъ нихъ?), рассказывали, какъ Толстой плакалъ отъ ихъ музыки. Это навѣрное правда, — не было ничего легче, какъ вызвать музыкой слезы у Толстого, она какъ-то непосредственно дѣйствовала ему на нервы. Не надо было для этого ни артистическаго исполненія, ни талантливой интерпретаціи, — болѣе того, не надо было даже музыки. Мнѣ довелось тоже «исторгнуть слезы изъ глазъ Толстого» и вотъ какъ это было, — рассказываю объ этомъ въ подтвержденіе «физиологичности» его воспріятія музыки. Когда въ Москвѣ установили въ Большомъ залѣ консерваторіи органъ въ 59 регистровъ, самый большой въ Россіи и въ то время второй или третій по размѣрамъ въ мірѣ, мнѣ пришлось въ голову показать его Толстому: принято было въ нашемъ московскомъ музыкальномъ мірѣ, чтобы Толстого информировали о всѣхъ музыкальныхъ событіяхъ и посвящали его во всѣ новости музыки. Толстой къ этому отнесся очень благосклонно, назначенъ былъ день и часъ свиданія и мы съ нимъ явились въ новый залъ. Смотрѣніе органа продолжалось долго — это вѣдь былъ цѣлый міръ, царство многихъ тысячъ большихъ и малыхъ, крохотныхъ и огромныхъ трубъ, среди которыхъ какъ въ лѣсу мы ходили во внутренностяхъ органа, причемъ было и странно и пріятно

смотрѣть, какъ этотъ бородатый старикъ съ легкостью молодого человѣка (ему было уже 75 лѣтъ) взбирался на приставныя лѣсенки и соскакивалъ съ помостовъ, одновременно перекидываясь съ французомъ настройщикомъ фразами на великолѣпномъ французскомъ языкѣ. Когда дѣло дошло до того, чтобы показать Толстому звучность отдѣльныхъ регистровъ, я нажалъ крайнюю ноту органнаго діапазона, знаменитое «нижнее до 32-футовой октавы» и вдругъ съ изумленіемъ увидѣлъ, что Толстой весь въ слезахъ. Музыки никакой еще не было, былъ только одинъ мощный и глубокій звукъ, и его было достаточно, чтобы вызвать у Толстого слезы.

Эти наблюденія и рядъ другихъ заставляютъ меня считать, что Толстой въ своемъ музыкальномъ «міросозерцаніи» былъ всецѣло въ стадіи диллетантизма. То, что онъ былъ при этомъ человѣкъ гениальный, какъ то еще обостряло эти характерныя черты диллетантскаго музыкальнаго воспріятія. Въ этомъ ничего неожиданнаго нѣтъ — Толстой музыкѣ не учился, музыкой специально не интересовался. По своему воспитанію и кругу онъ стоялъ въ сторонѣ отъ музыкальныхъ вліяній и думаю, что если бы жилъ независимой жизнью, то подобно большинству русскихъ «музыкальныхъ немусыкантовъ», въ частности его, аристократическаго круга, довольствовался бы самой незатѣйливой музыкой — народными пѣснями, цыганскими романсами (которые въ молодости онъ очень любилъ), простѣйшей салонной музыкой. Таковы же были и вкусы почти всей его семьи (братьевъ, сестеръ, сыновей, кромѣ Сергѣя Львовича, довольно хорошаго музыканта). Музыкальный міръ вторгался въ него, благодаря существованію «салона графини», вторгался въ количествѣ явно превышавшемъ его потребности и часто вопреки его желанію, но онъ самъ не искалъ его. Онъ вынужденъ былъ жить среди изысканной музыкальной атмосферы, созданной у него графиней С. А. по указаніямъ Таиѣева, изъ этой музыкальной атмосферы тщательно изгонялось все напоминающее диллетантизмъ и все вульгарное, даже вокальная музыка не была въ чести, тутъ царилъ строгій изысканный и академическій стиль — квартеты, фортепіанная музыка. Для Толстого это было все дѣйствительно излишне, все — порожденіе «роскоши и пресыщенія», ему ничего бы не стоило и вовсе обойтись безъ музыки, особенно безъ этой, которая какъ бы подчеркивала всю грѣшную искусственность этой жизни. Но какъ и во всемъ остальномъ, опрощеніе Толстого останавливалось на полдорогѣ (недаромъ Скрябинъ назвалъ его «бездарнымъ праведникомъ»). Въ своей неизмѣнной блузѣ и въ сапогахъ, напоми-

ная рождественскаго «ряженаго», Толстой сидѣлъ въ «салонѣ» и продолжалъ не безъ любопытства слушать отнюдь не «спрошенную» музыку, изрѣдка горюя о томъ, что онъ такъ испорченъ, что она ему все-таки нравится.

Танѣевъ былъ музыкальнымъ «геніемъ» салона графини задолго до моего появленія на горизонтѣ этого салона. Я точно не знаю, когда Танѣевъ самъ появился на этомъ горизонтѣ, но думаю, что задолго до 1893 года, — кругъ Танѣева и кругъ Толстого въ сущности были однимъ кругомъ Москвы, это были типично московскій кругъ фрондирующаго дворянства. Даже не знающіе другъ друга люди, принадлежавшіе къ этому кругу, рано или поздно были обречены на знакомство. Думаю, что начало дружбы Танѣева съ толстовскимъ домомъ надо отнести къ началу восьмидесятыхъ годовъ (знакомы они были какъ будто всегда). Танѣевъ былъ тогда человѣкъ молодой (25 лѣтъ), надежда музыкальнаго міра, любимый ученикъ Рубинштейна и Чайковскаго, вскорѣ весьма популярный и либеральный директоръ консерваторіи. Его роль въ салонѣ графини была совершенно естественна, тѣмъ болѣе что онъ въ тѣ годы былъ дѣйствительно огромнымъ музыкальнымъ авторитетомъ. Консерваторъ по убѣжденіямъ, поклонникъ классической старины — Баха, Палестрины, Бетховена и своего друга Чайковскаго, ненавистникъ новой русской школы; Мусоргскаго, Вагнера и почему-то и Брамса, Танѣевъ олицетворялъ собою академическое теченіе и свое мнѣніе привилъ и толстовскому салону. Тутъ впрочемъ онъ оппозиціи и не встрѣчалъ, его авторитетъ и вкусы самой графини это облегчали. Но онъ былъ косвенной причиной того, что новыя музыкальныя явленія въ салонѣ графини и въ поле зрѣнія Толстого не попадали, а если попадали, то въ специально препарированномъ видѣ, «чтобы надъ ними посмѣяться». Что касается самого Толстого, то «обработка» его мнѣнія была болѣе затруднительна: его сильная индивидуальность противилась всякому вліянію извнѣ — коль скоро Толстой его замѣчалъ, въ немъ развивался духъ противорѣчій. Толстому нравилась вообще очень небольшая область музыки и опредѣлить свойства этой области казалось мнѣ сначала очень трудно. Ему не нравилась вся новая музыка (начиная съ Берліюза) — уже и Шуманъ былъ поль сильнымъ вопросомъ, — но ему также не нравилось многое и изъ классиковъ, и изъ Чайковскаго; онъ былъ равнодушенъ къ Глинкѣ, музыку самого Танѣева выслушивалъ съ явнымъ недоумѣніемъ — въ этомъ впрочемъ онъ не отличался отъ большинства «публики». Уже значительно позже я нашелъ формулировку и

скрытую причину его, казалось бы, причудливыхъ музыкальныхъ вкусовъ и симпатій. Надо учесть то, что Толстой родился въ 1828 году, что онъ былъ значительно старше всего музыкальнаго міра, что изъ русскихъ великихъ и крупныхъ авторовъ только Глинка и Даргомыжскій были его въ сущности старшими сверстниками, а всѣ остальные были людьми слѣдующаго, младшаго поколѣнія. Его музыкальные вкусы даже въ условіяхъ музыкальнаго развитія не могли быть иными, какъ вкусами просвѣщеннаго человѣка сороковыхъ годовъ, — ясно, что ихъ «старомодность» не должна была казаться чѣмъ-то неожиданнымъ. Они и были такими. Кромѣ того у Толстого, какъ всегда у диллетантовъ, всегда было желаніе слушать музыку извѣстную или знакомую и всегда было нѣкоторое инстинктивное отталкиваніе отъ музыки неизвѣстной и незнакомой. Интересъ къ этой музыкальной неизвѣстности и какой бы то ни было «тоски по неизвѣстнымъ берегамъ» у него не было въ поминѣ. Болѣе того, какъ всѣ диллетанты, Толстой очень цѣнилъ въ музыкѣ помимо ея непосредственнаго эмоціональнаго воздѣйствія, еще ея замѣчательную способность и а п о м н а н і я: музыка, какъ извѣстно, обладаетъ свойствомъ будить воспоминанія тѣхъ миготъ, при которыхъ она была впервые услышана. Эти воспоминанія бывають настолько живы и ярки, что неопытными въ музыкѣ людьми нерѣдко принимаются за самое «содержаніе» музыки. Я много разъ замѣчалъ, что Толстому пріятнѣе всего та музыка, которую онъ слышалъ въ своей юности, которая напоминала ему годы юности. Это были: нѣкоторыя Бетховенскія сонаты изъ болѣе популярныхъ, ноктюрны Фильда, цыганскіе романсы, кое-что изъ русскаго романснаго репертуара — то, что составляло салонный репертуаръ сороковыхъ-пятидесятихъ годовъ. Я помню, какъ разъ Танѣевъ проигрывалъ Толстому при мнѣ новыя фортепіанныя пьески Аренскаго, котораго онъ очень любилъ. Проигравъ одну вещицу, онъ спросилъ мнѣнія Л. Н., на что получилъ слѣдующій весьма характерный отвѣтъ: «Нѣтъ, мнѣ это ничего не напоминаетъ».

Тѣмъ болѣе ничего не напоминала ему современная музыка, и къ ней у Толстого было заранѣе предвзятое отрицательное отношеніе. Музыка симфоническая, оперная производила на него еще болѣе тяжелое впечатлѣніе отъ того, что къ воспріятію всегда примѣшивалось сознаніе ненужности всего этого, всей этой массы людей, занятыхъ этимъ «какъ бы дѣломъ», а на самомъ дѣлѣ, по его убѣжденію, бездѣльемъ, пустяками. Въ оперѣ его раздражала неестественность и условность. Великой реальистъ, онъ не переносилъ вида неправды сценической,

его выводила изъ себя ходульность, драматическая несообразность, въ оперѣ, къ сожалѣнію, дѣйствительно нерѣдкая; его раздражали гримасы пѣвцовъ и ихъ нелѣпая жестикація. За деревьями онъ не видѣлъ дѣса музыкальной красоты, она отступала на какой-то чрезвычайно далекой планъ. Тѣмъ не менѣе онъ бывалъ на репетиціяхъ крупныхъ оперныхъ спектаклей, когда бывало что-нибудь интересное и значительное. Я помню его на нѣсколькихъ репетиціяхъ ученическихъ спектаклей консерваторіи и вынесъ впечатлѣніе, что на него помимо всего тягостно дѣйствовало и зрѣлище той артистической черновой работы, которая неминуема въ этихъ постановкахъ. Ему, художнику-аристократу, одиночкѣ, противна была эта работа скопомъ, въ которой ежеминутно возникали чисто человѣческія тренія и конфликты. Помню его и на репетиціи «Зигфрида» Вагнера, куда его увлекъ Танѣевъ, чтобы вмѣстѣ «посмѣяться» надъ ненавистнымъ вагнеризмомъ. Но эффектъ превзошелъ ожиданія и намѣренія Танѣева: тихій и ядовитый, онъ рассчитывалъ ограничиться плохимъ впечатлѣніемъ и нѣсколькими ироническими замѣчаніями со стороны Толстого, а Левъ Николаевичъ по настоящему разсердился, болѣе того — взбѣсился, чего Танѣевъ уже вовсе не хотѣлъ. По обыкновенію Толстой сидѣлъ позади въ ложѣ, чтобы не привлекать вниманія даже немногочисленной публики репетиціи. Съ самаго начала было видно, что Толстому все происходящее не по душѣ, и еле слышное бормотанье музыки на низкихъ нотахъ, и «отсутствіе мелодіи», и слишкомъ большой оркестръ («сколько людей отъ полезной работы отняли, чтобы лустяками заниматься»). Пока Зигфридъ препирался съ Миме и ковалъ свой картонный мечъ, Толстой еще кое-какъ терпѣлъ, дотерпѣлъ до второго акта. Но когда появился драконъ Фафнеръ съ паралитическимъ тѣломъ и съ угольной курительницей во рту, тутъ онъ уже не могъ вынести, — выскочилъ какъ ошпаренный изъ ложи и, прокричавъ сдавленнымъ голосомъ: «Это такая гадость, такая гадость!!», исчезъ, хлопнувъ дверь. Какъ извѣстно, эти его впечатлѣнія описаны потомъ въ его книгѣ «Что такое искусство», вскорѣ появившейся не безъ вліянія этого происшествія. Но справедливость требуетъ указать, что значительная масса неудовольствія и отвращенія Толстого была вызвана вовсе не музыкой Вагнера (миѣ все время казалось, что она вовсе до него не дошла), а сценическими впечатлѣніями и, что грѣха таить, въ нихъ дѣйствительно было много комическаго, условнаго и нелѣпаго, того, что и мы — уже тогда «вагнеристы» — чувствовали, но

что для насъ заслонялось впечатлѣніями музыки, а у Толстого вышло на первый планъ.

Логическій и рациональный Танѣевъ, усматривая ненависть Толстого къ Вагнеру и его любовь къ Бетховену (отвлекаясь отъ общей «грѣховности музыки»), рѣшилъ, что Палестрина, какъ авторъ еще болѣе древній, будетъ еще пріятнѣе Толстому. Въ этомъ упованіи онъ рѣшилъ пригласить Толстого на репетицію «Мессы *Primi Toni*» Палестрины въ исполненіи Синодальнаго хора. На репетиции былъ весь музыкальный міръ; я сидѣлъ въ послѣднемъ ряду партера у стѣнки; въ серединѣ исполненія я увидѣлъ Толстого, въ его обычномъ одѣяніи, который тихо, почти крадучись, вошелъ въ залъ и сѣлъ рядомъ со мной на свободный стулъ. Все время исполненія онъ спокойно ерзалъ на стулѣ, — мнѣ казалось, что онъ былъ недоволенъ тѣмъ, что Танѣевъ (его не было) его не встрѣтилъ. Но помимо того мнѣ скоро стало ясно, что и музыка Палестрины ему совсѣмъ не нравилась (опять было «непохоже» и «ничего не напоминало»). Я чувствовалъ какое-то нервное напряженіе и беспокойство изъ него исходящее. Наконецъ, онъ недовольно поднялся со стула и юркнулъ въ дверь — только и видѣли его. Пришедшій потомъ Танѣевъ очень горевалъ о томъ, что его не удержали (удержишь такого!).

Страннымъ, противорѣчивымъ и непонятнымъ былъ самый мыслительный аппаратъ этого сотканнаго изъ противорѣчій чело-вѣка. Иногда мнѣ казалось, что вообще Толстой, странно сказать, «вовсе не уменъ», иногда же, что для него работа мысли была тяжела, трудна и какъ то имъ самимъ презиралась, считалась ненужной. Его изумительная наблюдательность уживалась съ логической корявостью. При этомъ онъ всегда стремился во всемъ найти понятное и ненавидѣлъ «непонятное». Онъ какъ то стихійно былъ привязанъ къ реальности, изъ нея исходилъ и въ нее только и вѣрилъ. Онъ не признавалъ существованія ничего «необъяснимаго» и «чудеснаго», «таинственнаго», во всѣхъ этихъ вѣщахъ онъ всегда былъ склоненъ подозрѣвать обманъ и суевѣріе. Чудо было его личнымъ врагомъ — недаромъ онъ постарался избавить и Евангеліе отъ всѣхъ чудесъ. Я склоненъ подозрѣвать, что въ его недовѣрїи къ музыкѣ былъ и этотъ моментъ, — онъ смутно чувствовалъ въ музыкѣ тоже какое-то «чудо» и уже ненавидѣлъ его. Для него «понятнымъ» было привычное, обыденное («понятно» было, что дѣти рождаются отъ родителей, что солнце всходитъ, что тѣла падаютъ на землю), и все непривычное, рѣдкое, странное было для него маловѣроятнымъ. Не только религиозныя чудеса, но и «свѣ-

товой эфиръ» физиковъ былъ для него «мистикой» и «чепухой», и «вѣрующіе» въ него ученые столь же невыносимыми и смѣшными, какъ и вѣрующіе въ привидѣніе и въ «глазь». Христіанская догматика и современная химія и физика были для него одинаково «бреднями» и предметомъ ядовитѣйшихъ насмѣшекъ, вмѣстѣ со спиритизмомъ. Онъ подозрѣвалъ какое-то шарлатанство и нѣчто скрыто-мистическое и въ рентгеновскихъ лучахъ, которые тогда только что были открыты. Онъ не «вѣрилъ» даже въ такія вещи, какъ «шаровыя молніи», считая и ихъ выдумкой досужихъ фантазеровъ. Вообще къ наукѣ и къ «научнымъ объясненіямъ» онъ питалъ непонятное недовѣріе и презрѣніе. По этому поводу вспоминаю одинъ случай: разъ я встрѣтилъ его въ саду (дѣло было въ Ясной Полянѣ), я какъ разъ тогда только что поступилъ въ университетъ, — Л. Н. почему-то заинтересовался уменьшенными изображеніями, которые видѣлись въ отраженіи въ блестящемъ садовомъ шару. «Вотъ вы, ученые, — сказалъ онъ мнѣ, — какъ вы объясняете эти отраженія?» Я, чрезвычайно польщенный даннымъ мнѣ, хотя и не безъ скрытой ироніи, званіемъ ученаго, рѣшилъ ему подробно объяснить въ чемъ дѣло, и мы вдвоемъ усѣлись у столика. Гордясь своимъ знаменитымъ «ученикомъ», я началъ ему съ увлеченіемъ объяснять основы геометрической оптики. Толстой слушалъ, какъ мнѣ показалось, очень внимательно. Когда я кончилъ, онъ вздохнулъ и произнесъ равнодушно: «И вы думаютъ же такую чепуху!»

Но если мнѣ и доводилось вести съ нимъ бесѣды въ подобной научной области, то на бесѣды музыкальныя съ нимъ я не отваживался, даже и тогда, когда уже былъ не мальчикомъ, а студентомъ: я слишкомъ ясно представлялъ, что при опредѣленномъ расхожденіи основныхъ точекъ зрѣнія на музыку и при извѣстной нетерпимости Толстого къ несогласнымъ высказываніямъ, разговоръ станетъ споромъ, а спорить съ Толстымъ было какъ-то неуютно, да и бесплодно. Не убѣждавшійся даже научными аргументами, болѣе непреложными, онъ тѣмъ менѣе могъ убѣдиться аргументами эстетическими... Даже Танѣевъ, болѣе меня авторитетный въ музыкѣ, болѣе зрѣлый и болѣе «согласный» въ основныхъ чертахъ съ Л. Н., старый знакомый, почти другъ дома, и тотъ не отваживался, несмотря на свою прямолинейность и независимость, спорить съ Толстымъ о музыкѣ и всегда какъ-то ступшевывался и говорилъ лишь, когда зналъ, что его мнѣніе не идетъ въ разрѣзъ съ мнѣніемъ Л. Н., или когда онъ зналъ, что у Толстого вовсе по данному вопросу нѣтъ мнѣнія. Я думаю, что для показанія стиля толстовскаго

«звукосозерцанія» его «Крейцера соната» остается самымъ вѣскимъ документомъ: музыка, воспринятая какъ наважденіе, какъ наркотъ, въ атмосферѣ котораго зрѣть грѣхъ, какъ нѣчто способствующее чувственному соблазну. Намъ, музыкантамъ, казалось всегда удивительнымъ, почему Толстой выбралъ для иллюстраціи этихъ соблазнительно-грѣховныхъ способностей музыки сонату Бетховена, автора, столь далекаго отъ чувственности, скорѣе аскетическаго по стилю, и въ частности эту его скрипичную сонату, трагическую въ своей значительной части (въ той именно, которой приписывается Толстымъ такая грѣховная «магія»). Музыкальная литература обладаетъ очень большимъ запасомъ дѣйствительно эротическихъ примѣровъ, музыки дѣйствительно насыщенной чувственностью и способной на такой психологическій эффектъ. Но — Бетховень! Я часто задумывался надъ этимъ яркимъ примѣромъ того различія, съ какимъ одна и та же музыка дѣйствуетъ на людей различной музыкальной подготовленности. Толстой въ общемъ не такъ ужъ «любилъ» эту сонату; она для него была слишкомъ полна наважденіемъ и непонятными и оттого враждебными чарами, хотя она неизмѣнно попадала въ программу «любимыхъ» его вещей. Возможно, что съ этой сонатой у Толстого были связаны личныя воспоминанія эротическаго характера (нѣкоторыя детали въ «Крейцеровой сонатѣ» Толстого наводятъ на эту мысль), разъ образовавшись, онѣ для него уже навсегда связались съ ея музыкальной тканью. Возможно и то, что Толстой, человѣкъ «сороковыхъ годовъ», конечно, имѣлъ совершенно иное «звукосозерцаніе», непохожее на наше, которое развилось уже въ эпоху Вагнера, Шумана, Листа. Для насъ Бетховень былъ классикомъ съ момента нашего рожденія; для Толстого Бетховень былъ «новымъ» авторомъ, примѣрно какъ для меня Вагнеръ, ибо Бетховень умеръ за годъ до рожденія Толстого. Очень можетъ быть, что тогда эта музыка воспринималась всѣми, какъ непомѣрно страстная, безумная, стихійная, анархическая.

Разъ мы коснулись «Крейцеровой сонаты», то необходимо вспомнить и о той роли, которая въ послѣднее время часто приписывалась Танѣву, въ качествѣ побудительнаго повода для созданія этого произведенія. Указывалось, что будто Танѣвъ былъ чуть ли не оригиналомъ «героя» повѣсти и что его «романъ» съ графиней Софьей Андреевной былъ той реальной канвой, которая подала Л. Н. поводъ къ написанію «Крейцеровой сонаты». Чрезвычайно трудно разбираться вообще въ мотивахъ и въ реальныхъ поводахъ, которые для писателя могутъ

послужить стимуломъ для творчества. Указывалось, что будто Толстой, въ особенности послѣднее время, «ненавидѣлъ» Танѣева и раздражался имъ. Все это требуетъ существенныхъ разъясненій. Прежде всего, для всѣхъ, знавшихъ самого Танѣева, было достаточно ясно, что этотъ человѣкъ, робкій и застѣнчивый, мѣшковатый и тучный, съ обликомъ профессора университета (а отнюдь не артиста), деликатный и мягкій, разстѣянный и по-дѣтски невинный въ житейскихъ дѣлахъ, убѣжденный холостякъ, боявшійся молодыхъ женщинъ, принципиальный до смѣшного, до каррикатуры, съ почти гипертрофированнымъ чувствомъ чести и совѣстливости, трезвенникъ, но любившій сладко и сытно поѣсть, съ умомъ органически рациональнымъ и суховато скептическимъ, — что онъ менѣе всего подходилъ къ роли «соблазнителя», хотя бы въ союзѣ съ музыкой. Да и музыка Танѣева была вовсе не соблазнительная — суховатая, академическая, играть онъ любилъ больше всего органныя фуги Баха и мало игравшійся тогда послѣднія сонаты Бетховена и свои сочиненія, тоже суховатыя и академическія. Графиня С. А. была значительно старше Танѣева, лѣтъ на 16, она бы годилась ему въ матери, — во всякомъ случаѣ его отношеніе къ ней было, какъ къ старшему поколѣнію. Танѣевъ дѣйствительно бывалъ постоянно окруженъ, и именно пожилыми дамами, которыя любили въ немъ его житейскую безпомощность, его обликъ взрослому ребенку, который требовалъ попеченія и ухода, за которымъ надо было смотрѣть, водить его по улицамъ (отъ близорукости и раскосости глазъ онъ часто оступался и падалъ), кормить его сладкими пирожками и выслушивать отъ него разныя ядовитыя остроты, на которыя онъ блъ великій мастеръ и любитель. Въ ихъ число входили главнымъ образомъ три сестры Масловы и графиня С. А. Толстая. Танѣевъ, какъ кошка, привязывался не столько къ людямъ, сколько къ «домамъ», причемъ условіемъ привязанности бывала всегда эта заботливость и тотъ типично московскій стиль жизни, при которомъ можно было приходиться къ друзьямъ въ любое время дня и даже ночи. Въ этихъ домахъ Танѣевъ былъ своимъ человѣкомъ и эти дома любилъ, — къ числу ихъ относился и домъ Толстыхъ, онъ бывалъ тамъ очень часто, иногда каждый день, гостилъ у нихъ лѣтомъ въ Ясной Полянѣ по мѣсяцамъ, даже возилъ туда и свою старую нянюшку. Въ «любимыхъ домахъ» Танѣевъ любилъ и цѣнилъ весь ансамбль дома, никогда никого не выдѣляя въ особенности. Такъ и у Толстыхъ онъ всѣхъ любилъ, быть можетъ меньше всего самого Толстого, котораго слегка повидимому боялся, — точнѣе боялся, какъ очень дели-

катный человекъ, всегда возможныхъ съ его стороны вспышекъ и рѣзкостей.

Графиня С. А. безусловно нравился обликъ Танѣва, она отдыхала на немъ, на его спокойной и именно не волнуемой музыкѣ, ей нравился свѣтлый и ясный умъ его и передовые, либеральные взгляды: на «обыкновенности» Танѣва она отдыхала отъ необыкновенности своего гениальнаго мужа. Не думаю, чтобы съ ея стороны могли появиться какія-нибудь болѣе нѣжныя чувства, а съ его стороны безусловно ничего подобнаго не могло появиться просто изъ-за разницы лѣтъ и изъ-за свойства самаго темперамента Танѣва. Надо знать Танѣва, его безконечно деликатную натуру (даже собакамъ говорилъ «вы»), чтобы быть увѣреннымъ въ томъ, что онъ никогда бы не сталъ бывать въ домѣ запросто и часто, если бы чувствовалъ какую бы то ни было минимальную «необозность» своего положения. А между тѣмъ Танѣвъ именно особенно часто бывалъ въ домѣ Толстыхъ въ эту эпоху, начиная съ годовъ «Крейцеровой сонаты» и до начала нашего вѣка, даже можно сказать до 1906-7 годовъ. Очевидно, что если даже у Толстого и были поводы неудовольствія по адресу Танѣва, то они были скрываемы настолько умѣло, что чуткій Танѣвъ ихъ не замѣчалъ. Что же касается отношенія Толстого къ Танѣву, то, конечно, возможно, что онъ, импульсивный и стихійный, дико ревнивый даже въ старости, могъ что-то подумать про музыкальную дружбу Танѣва и графини, но безъ всякихъ основаній. Я никогда, впрочемъ, съ его стороны не наблюдалъ никакихъ эксцессовъ по адресу Танѣва, но охотно допускаю, что поводы для неудовольствія могли быть, хотя и въ иной сферѣ. Толстой могъ быть недоволенъ Танѣвымъ и за его слишкомъ опредѣленную приверженность къ «партии жены» (его преемникъ, Гольденвейзеръ, въ этомъ отношеніи повелъ свою политику прямо въ противоположномъ направленіи) и тѣмъ, что чувствовалъ, что по всѣмъ своимъ убѣжденіямъ Танѣвъ, эта плоть отъ плоти и духъ отъ духа русской либерально-дворянской интеллигенціи, не можетъ быть съ нимъ, съ Толстымъ, что онъ — «врагъ» въ этомъ смыслѣ. Онъ могъ быть недоволенъ и прямою Танѣва, которая компенсировалась только его деликатностью. Но въ нѣкоторыхъ вопросахъ Танѣвъ имѣлъ смѣлость имѣть свое независимое сужденіе и не соглашаться съ Толстымъ, иногда придавая этому несогласію ядовитую и саркастическую форму. Кромѣ того именно въ вопросахъ музыки въ Танѣвѣ чувствовалось, даже когда онъ ничего не говорилъ, сознание своего превосходства и извѣстное скептическое отношеніе къ «профа-

намъ», конемъ въ его глазахъ безусловно былъ Толстой, — тотъ это могъ чувствовать. Наконецъ, вообще въ послѣдніе годы Толстой все болѣе и болѣе тяготился окруженіемъ жены, въ которомъ предполагалъ какой-то перманентный заговоръ противъ него и его идей, раздражался и тѣмъ, что это окруженіе пухло и домъ ихъ становился какимъ-то проходнымъ дворомъ.

Какъ бы то ни было, хронологически появленіе «Крейцеровой сонаты» (около 1892-93 г.) не совпадаетъ съ расцвѣтомъ близости Танѣева къ Толстымъ (около 1894-1900 гг.); обратно, максимумъ «антитанѣевскихъ эксцессовъ», о которыхъ въ послѣднее время повѣствуется, падаетъ какъ разъ на годы, когда уже давно «Крейцера соната» была написана.

Если и признать, что близость тогда еще полного силъ, молодого, сравнительно знаменитаго и симпатичнаго графинѣ С. А. Танѣева въ то время, въ началѣ 90-хъ годовъ, могла вызвать въ Толстомъ что-либо относящееся къ настроеніямъ «Крейцеровой сонаты» и вызвать ея появленіе, то надо признать, что это былъ не настоящій, а нѣкій «сублимированный» Танѣевъ — страстный, соблазнительный, для вящей зротичности превращенный въ скрипача. Настоящій Танѣевъ все же попалъ въ «творчество» Толстого, но это вовсе не герой Крейцеровой сонаты, а всего-на-всего «Сергій Ивановичъ Сахатовъ» — отставной товарищъ министра изъ «Плодовъ Просвѣщенія». Танѣевъ былъ тоже Сергій Ивановичъ и тоже отставной директоръ консерваторіи — видъ у него былъ достаточно бюрократическій. Онъ самъ себя узнавалъ въ деталяхъ этого портрета. Но очевидно ему и въ голову не приходило чувствовать себя «причиной Крейцеровой сонаты». Я убѣжденъ, что Танѣевъ и не подозревалъ, что ему могутъ приписать такое амплуа, исходя изъ его музыкальной дружбы съ С. А., — а если бы узналъ, то воображаю его негодованіе и тотъ потокъ ядовитостей, который изошелъ бы изъ него. Вѣроятно же всего, что эта версія была дѣйствительно тоже своего рода «сублимаціей» отношеній Танѣева и графини, гипертрофированной людьми противоположной партіи, такъ какъ Танѣевъ относился къ партіи «графини» и естественно, что его не пощадилъ въ этой прискорбной борьбѣ, въ которой въ конечномъ счетѣ не было ни правыхъ ни виноватыхъ.

Л. Сабанѣевъ.



В. Ф. ХОДАСЕВИЧЪ

(1886—1939)

Три стихотворенія

(Изъ литературнаго наслѣдства).

Сквозь уютное солнце апрѣля —
Неуютный такой холодокъ.
И — смерчемъ по дорожкѣ песокъ,
И — смолкаетъ скворецъ пустомеля.

Тамъ надъ сѣвернымъ краемъ земли
Черносѣрая вздутая туча.
Котелки поплотнѣй нахлобуча,
Попроворнѣй два франта пошли.

И нодь шумъ градобойнаго гула —
 Въ сердцѣ гордомъ, веселомъ и зломъ:
 «Это молніи нашей изломъ,
 Это наша весна допорхнула!»

21 апр. 37.

**
 *

Не ямбомъ ли четырехстопнымъ,
 Завѣтнымъ ямбомъ, допотопнымъ?
 О чемъ, какъ не о немъ самомъ —
 О благодатномъ ямбѣ томъ?

Съ высотъ надзвѣздной Музикии
 Къ намъ ангелами занесенъ,
 Онъ крѣпче всѣхъ твердынь Россіи,
 Славнѣе всѣхъ ея знаменъ.

Изъ памяти изгрызли годы,
 За что и кто въ Хотинѣ палъ, —
 Но первый звукъ Хотинской оды
 Намъ первымъ крикомъ жизни сталъ.

Въ тотъ день на холмы снѣговые
 Камена русская взошла
 И дивный голосъ свой впервые
 Далекимъ сестрамъ подала.

Съ тѣхъ поръ, въ разнообразьи строгомъ,
 Какъ оный славный Водопадъ,
 По четыремъ его порогамъ
 Стихи російскіе кипятъ.

И чѣмъ сильнѣй спадаютъ съ кручи,
 Тѣмъ пѣнистѣй водоворотъ,
 Тѣмъ сокровенный ладъ пѣвучѣй
 И выше свѣтлыхъ брызговъ взлетъ —

Тѣхъ брызговъ, гдѣ, какъ сонъ, повисла,
Сіяя счастьемъ высоты,
Играя переливомъ смысла, —
Живая радуга мечты.

.....

Таинственна его природа,
Въ немъ спитъ спондей, поетъ пѣзонъ,
Ему одинъ законъ — свобода,
Въ его свободѣ есть законъ.

1938.

ПАМЯТНИКЪ.

Во мнѣ конецъ, во мнѣ начало.
Мной совершенное такъ мало!
Но все жъ я прочное звено:
Мнѣ это счастье дано.

Въ Россіи новой, но великой,
Поставятъ идолъ мой двуликій
На перекресткѣ двухъ дорогъ,
Гдѣ время, вѣтеръ и песокъ...

Владиславъ Ходасевичъ.

Памяти Ходасевича

Восемнадцать лѣтъ тому назадъ въ Петербургѣ хоронили Александра Блока. Изъ тѣхъ, что несли его гробъ изъ церкви къ могилѣ на Смоленскомъ кладбищѣ, сейчасъ, кажется, не осталось никого. Помню, что былъ жаркій августовскій день. Сѣдые волосы Андрея Бѣлаго развѣвались вокругъ темнаго его лица; Акимъ Волинскій и Кузмищъ шли рядомъ — оба сѣдые, пищие, голодные. Пясть былъ страшень въ своемъ горѣ, и вся въ черномъ, стройная, некрасивая отъ слезъ, провожала Блока Ахматова, написавшая потомъ о Смоленскомъ кладбищѣ свои знаменитые стихи.

Иными были похороны Владислава Ходасевича. Но какъ тогда, восемнадцать лѣтъ назадъ, у гроба Блока присутствовала тысяча зѣвакъ и кучка людей, оплакивавшихъ поэта, такъ и теперь, среди нѣсколькихъ сотъ присутствовавшихъ, были десятки людей, сознававшихъ, что они дѣлаютъ, при чемъ присутствуютъ; какъ тогда, въ смерти Блока, мы оплакивали свою молодость и Россію, такъ теперь — не имѣя ни молодости, ни Россіи — мы оплакивали нашу страшную изгнанническую судьбу.

Примириться съ тѣмъ, что мы здѣсь, а не тамъ — невозможно, какъ невозможно примириться со смертью. И примириться съ изгнаніемъ никогда не могъ Ходасевичъ, уважавшій Европу, но такъ и не полюбившій ее, и любить ее насъ не научившій. Онъ любилъ Россію, которой былъ лишенъ. Какъ онъ любилъ ее и что въ ней любилъ? Русскій языкъ, русскій гений, русскую поэзію, русскую гибель — то, о чемъ съ такой потрясающей силой сказано въ безсмертныхъ его стихахъ о кормилицѣ Еленѣ Кузиной, и что онъ пытался высказать въ недописанномъ отрывкѣ (неизданномъ. Цитирую по памяти):

Я родился въ Москвѣ; я дыма
Надъ польской кровлей не видалъ,
И ладонки съ землей родимой
Мнѣ мой отецъ не завѣшалъ.

Человѣкъ не русской крови, вѣрующій католикъ, онъ былъ величайшимъ и многозначительнѣйшимъ подтвержденіемъ идеи о Россіи, какъ самостоятельномъ и цѣлостномъ мірѣ, гдѣ еврей, полякъ, армянинъ, калмыкъ съ удивительной и необъяснимой силой дѣлаются сынами одной грозной, обожаемой и одновременно презираемой матери.

Россіи пасынокъ, о Польшѣ
Не знаю самъ, кто Польшѣ я?
Но восемь томиковъ — не больше, —
И въ нихъ вся родина моя.

И дѣйствительно — Польшѣ Ходасевичъ былъ никѣмъ. Его любовью къ Мишкевичу и Словацкому (особенно къ первому, который былъ, какъ онъ говорилъ, «не хуже Пушкина») ограничивались его отношенія съ родиной его отца.

Отецъ его былъ сыномъ польскаго дворянина (одной геральдической вѣтви съ Мишкевичемъ), бѣгавшаго «до лясу» въ 1833 году, во время польскаго возстанія. Дворянство у него было отнято, земли и имущества тоже. Отецъ Ходасевича сначала задумалъ было стать живописцемъ: онъ учился у знаменитаго Бруни и расписалъ въ Вильнѣ какую-то церковь, но съ годами пришлось бросить художество и перейти къ коммерціи. Одно время онъ былъ фотографомъ въ Тулѣ (гдѣ родились его старшія дѣти). Когда родился Ходасевичъ, его отецъ уже былъ владельцемъ перваго въ Москвѣ магазина фотографическихъ принадлежностей (на Б. Дмитровкѣ).

Мать его была крещеная еврейка, дочь Я. Брафмана, автора «Книги Кагала». Когда Ходасевичъ родился, обоимъ родителямъ было уже подъ пятьдесятъ. Они умерли въ одинъ годъ (1911-ый): мать была убита извозчицей лошадей, понесшей пролетку и опрокинувшей ее. Отецъ умеръ съ горя по матери, спустя мѣсяць. Ходасевичъ рассказывалъ, какъ въ день смерти матери онъ долго ходилъ по Москвѣ и ночью забрелъ въ какую-то извозничью чайную. Тамъ полупьяные, распаренные чаемъ извозчики обсуждали дневное событіе: какъ днемъ, на Тверской, лошадь убила старушонку...

Съ дѣтства и до самой смерти онъ былъ хворъ и слабъ. Его физическія недомоганія отчасти опредѣляли бытовой укладъ

его жизни. Въ его некрасивой внѣшности было изящество, въ движеніяхъ была легкость. Въ дѣтствѣ онъ мечталъ о балетѣ; въ юности былъ шеголемъ; въ совѣтскія времена страдалъ, когда пришлось носить полувоенную куртку (сшитую изъ фрака брата).

Дѣтство вспоминалось ему болѣзненно и нѣжно: лавка отца, дѣтскіе балы, ночи въ жару (корь, оспа), какіе-то ксендзы, ходившіе къ матери, встрѣча съ Майковымъ, первыя книги. Въ дѣтствѣ впервые испыталъ онъ то страшное, слезное чувство жалости, которое съ годами стало одной изъ основъ его тайной жизни. Это чувство иногда душило его. «Да вѣдь онъ счастливѣе, моложе, здоровѣе, богаче тебя! — говорили ему. — Ну чего ты его жалѣешь?» Въ послѣднія недѣли его болѣзни многіе такимъ же острымъ чувствомъ жалѣли его самого. «Ничего болѣе жалкаго нѣтъ на свѣтѣ, чѣмъ та дѣвочка, помнишь, у Арбатскихъ воротъ... зимой... нѣтъ, не могу!» Ничего болѣе жалкаго не было на свѣтѣ, чѣмъ онъ самъ, лежащій на грубомъ бѣльѣ городской госпитальной койки, въ желтыхъ, исхудавшихъ рукахъ держащій жестяную кружку съ остывшимъ липовымъ чаемъ.

Болѣзни и бѣдность... Съ того дня, когда онъ понялъ, что не будетъ ни купцомъ, какъ отецъ, ни юристомъ, какъ братья, а будетъ поэтомъ, и до послѣдняго своего часа онъ былъ бѣденъ. Сперва, до революціи, боролся съ бѣдностью литературной работой — переводами, халтурнымъ, безымяннымъ трудомъ въ различныхъ издательствахъ. Въ тѣ годы онъ былъ одинокъ и безпутенъ, и будучи самымъ молодымъ среди поэтовъ-символистовъ, несъ на своихъ, еще не окрѣпшихъ плечахъ всю тяжесть этого «направленія», сломившаго постепенно всѣхъ его старшихъ сверстниковъ. Въ годы революціи голодъ едва не убилъ его. Съ 1922 года, живя за границей, онъ постепенно даже слегка привыкъ къ вѣчнымъ тѣлеснымъ своимъ страданіямъ, къ вѣчной нехваткѣ денегъ. Газетная работа спасла его отъ нищеты, но не дала возможности ни писать стиховъ, ни работать надъ біографіей Пушкина. Онъ самъ писалъ объ этомъ такъ:

«Думаю, что послѣдняя вспышка болѣзни и отчаянія была вызвана прощаніемъ съ Пушкинымъ. Теперь и на этомъ, какъ на стихахъ, я поставилъ крестъ. Теперь нѣтъ у меня ничего. Значитъ пора и впрямь успокоиться и постараться выжить изъ жизни тѣ маленькія удовольствія, которыя она еще можетъ дать, а на гордыхъ замыслахъ поставить общій крестъ».

(19 іюля 1932 года).

Но что такое были эти «маленькія удовольствія», къ которымъ онъ пришелъ такъ поздно? Только въ самые послѣдніе годы жизни онъ нашелъ ихъ, хотя называть ихъ умѣлъ уже давно. Тридцать лѣтъ тому назадъ «маленькія удовольствія» были почти что запрещены тѣмъ «направленіемъ», къ которому онъ принадлежалъ. Ни Брюсовъ, ни Бѣлый никогда ничего подобнаго не искали. И рожденный слѣдомъ за ними, Ходасевичъ до послѣднихъ лѣтъ не умѣлъ ими пользоваться и ихъ любить: вмѣсто «маленькихъ удовольствій», онъ хорошо знакомъ былъ съ большими страданіями. Ничто внѣшнее, ни внутреннее ощущеніе жизни никогда не давало ему настоящей радости, не давало ему утѣшенія. Лишь въ самое послѣднее время, словно мира его съ міромъ и оправдывая напророченное имъ когда-то въ стихахъ,

«Цвѣтокъ, ребенокъ, звѣрь»

стали наполнять его душу какимъ-то печальнымъ и горькимъ счастьемъ.

Онъ былъ младшимъ въ томъ ряду поэтовъ, который въ самомъ началѣ XX вѣка блеснулъ и погасъ, и сейчасъ предстаетъ на желѣзный судъ нашего поколѣнія. О многихъ изъ этихъ поэтовъ Ходасевичъ писалъ, многихъ любилъ, со многими чувствовалъ, что сросся навѣки, но особо было его отношеніе къ Андрею Бѣлому: ни личная ссора въ Берлинѣ, въ 1923 году, ни «горестное вранье» (по выраженію Ходасевича) послѣдней книги Бѣлаго — ничего не могло уничтожить или исказить ту огромную, вполне безумную, «сильнѣе смерти» любовь, которую онъ чувствовалъ къ автору «Петербурга». Это было что-то гораздо большее, нежели любовь поэта къ поэту, это былъ непрерывный восторгъ, неустанное восхищеніе, которое дошло всей своей силой до послѣднихъ бредовыхъ ночей Ходасевича, когда онъ говорилъ съ Бѣлымъ сквозь муку своихъ физическихъ страданій и съ нимъ предвкушалъ какую-то невѣдомую встрѣчу.

По своему возрасту (онъ родился 29 мая 1886 года) Ходасевичъ принадлежалъ къ тому поколѣнію, которое не успѣло сказаться до 1917 года и которое непосредственно послѣ 1917 года почти никто уже не умѣлъ слушать, поколѣнію, задавленному сперва войной и революціей, потомъ — изгнаніемъ. Онъ, собственно, былъ поэтомъ безъ своего поколѣнія. Современники его либо рано умерли, либо перестали писать. Огромная часть ихъ покончила съ собой. Пересталъ писать стихи и онъ, потому что, несмотря на весь свой «классицизмъ», не могъ продолжать, не имѣя съ кѣмъ и для кого продолжать. Это было бы ужъ слишкомъ «въ антологическомъ родѣ».

Онъ самъ вель свою генеалогію отъ прозаизмовъ Державина, отъ нѣкоторыхъ наиболѣе «жесткихъ» стиховъ Тютчева, черезъ «очень страшные» стихи Случевского о старухѣ и балалайкѣ и «стариковскую интонацію» Анненскаго. Въ этомъ много вѣрнаго, но ядъ, который есть въ поэзіи Ходасевича, а главное — та точность и сила, съ которой онъ выдѣлилъ этотъ ядъ въ свои стихи — единственны въ русской литературѣ. И Тютчевъ, и Анненскій, если бы узнали его стихи, пошли бы къ нимъ навстрѣчу, потому что и въ ихъ душахъ были «пробѣлы отъ пролитыхъ кислотъ», какіе были въ душѣ Ходасевича.

Есть въ Россіи прекрасные поэты, безъ которыхъ можно прожить жизнь (Языковъ, Майковъ, Брюсовъ). Есть десять именъ, безъ которыхъ — нѣтъ русской поэзіи. Пусть пять изъ нихъ (Державинъ, Жуковскій, Пушкинъ, Лермонтовъ, Тютчевъ) будутъ спорны — о другихъ пяти будетъ вестись вѣчный споръ. Одни назовутъ Блока и Ахматову, другіе — Пастернака и Анненскаго. Но больше десяти все равно не наберется. Ходасевичъ сталъ одиннадцатымъ поэтомъ. Какъ въ сущности небогата русская поэзія — по сравненію съ итальянской живописью! Она идетъ вровень съ... германской музыкой.

Въ своей замѣчательной статьѣ «Поэзія Ходасевича» («Соврем. Зап.», 1928) В. Вейдле говорилъ о томъ, что искусство Ходасевича «возникло въ тотъ самый мигъ, когда онъ умеръ и воскресъ». Это *stirb und werde* относилось тогда къ его стихамъ «Тяжелой лиры». Сейчасъ вся статья обрѣла необычайно дѣйственный и своеобразный голось: все, въ ней сказанное (послѣ выхода послѣдней книги стиховъ Ходасевича «Европейская ночь»), могло быть сказано по с м е р т н о, должно было быть сказано посмертно. Въ тотъ день, когда окаменѣлъ человѣкъ, окаменѣли его стихи, которые до тѣхъ поръ «струились», какъ нѣчто живое, имѣющее или могущее имѣть продолженіе. И тѣмъ, что они окаменѣли, они зажили по новому, они воскресли къ безсмертію, — они стали памятникомъ его страдальческой жизни, памятникомъ его поэтического генія. Тотъ человѣкъ, который ходилъ между нами, имѣлъ друзей и враговъ, читалъ въ слезахъ «Полтаву», писалъ критику, тотъ человѣкъ, отъ котораго остались очки, перо, одежда, документъ — его больше нѣтъ. И новымъ свѣтомъ вѣчности засвѣтились въ день смерти его стихи, послѣдній раскатъ грома, полтораста лѣтъ гремѣвшаго надъ Россіей.

Друзья, друзья, быть можетъ скоро —
И не во снѣ, а на яву —

Я нить пустого разговора
Для всѣхъ неожиданно оборву,
И повинуюсь только звуку
Души, запѣвшей, какъ смычокъ,
Вдругъ подниму на воздухъ руку,
И затрепещётъ въ ней цвѣтокъ,
И я увижу и открою
Цвѣточный мѣръ, цвѣточный путь, —
О, если бы и вы со мною
Могли туда перешагнуть.

Уходя, онъ, дѣйствительно, какимъ-то мучительно-изящнымъ движеніемъ выпрастывалъ руку изъ-под больничнаго одѣяла и, какъ фокусникъ, (безсознательно), все старался вынуть изъ воздуха что-то легкое, драгоценное, чтобы уйти съ нимъ вмѣстѣ, туда, гдѣ можетъ быть, по вѣрѣ его, удалось ему соединиться съ матерью, съ Бѣлымъ, съ мыльнымъ другомъ его Гершензономъ, съ дальними и близкими, которыхъ онъ такъ много терялъ всю свою жизнь.

Н. Берберова.



О Ходасевичѣ

Крупнѣйшій поэтъ нашего времени, литературный потомокъ Пушкина по тютчевской линіи, онъ останется гордостью русской поэзіи, пока жива послѣдняя память о ней. Его даръ тѣмъ болѣе разителенъ, что полностью развился въ годы отупнѣнія нашей словесности, когда революція аккуратно раздѣлила поэтовъ на штатныхъ оптимистовъ и заштатныхъ пессимистовъ, на тамошнихъ здоровяковъ и здѣшнихъ ипохондриковъ, причемъ получился поучительный парадоксъ: внутри Россіи дѣйствуетъ ви́шній заказъ, внѣ Россіи — внутренній. Правительственная воля, прекословно требующая ласково-литературнаго вниманія къ трактору или парашюту, къ красноармейцу или полярнику, т. е. къ нѣкоей ви́шности міра, значительно могушестввеннѣе, конечно, наставленія здѣшняго, обращеннаго къ міру внутреннему, едва осязаемаго для слабыхъ, презираемаго сильными, побуждавшаго въ двадцатыхъ годахъ къ рюмованной тоскѣ по роstralной колоннѣ, а нынѣ дошедшаго до религиозныхъ заботъ, не всегда глубокихъ, не всегда искреннихъ. Искусство, подлинное искусство, цѣль котораго лежитъ напопрѣвъ его источника, т. е. въ мѣстахъ возвышенныхъ и необитаемыхъ, а отнюдь не въ густо населенной области душевныхъ изліяній, выродилась у насъ, увы, въ лечебную лирику. И хотя понятно, что личное отчаяніе невольно ищетъ общаго пути для своего облегченія, — поэзія тутъ ни приче́мъ: схема или Сена компетентнѣе. Общій путь, каковъ бы онъ ни былъ, всегда въ смыслѣ искусства плохъ именно потому, что онъ общій. Но, если въ предѣлахъ Россіи мудрено представить себѣ поэта, отказывающагося гнуть вью (напр., переводить кавказскіе стишки), т. е. достаточно безразсуднаго, чтобы ставить свободу музыки выше собственной, то въ Россіи запредѣльной легче, казалось бы, найтись смѣльчакамъ, чуждающимся какой-либо общности поэтическихъ интересовъ, — этого своеобразнаго коммунизма душъ. Въ Россіи и талантъ не спасаетъ; въ изгнаніи спасаетъ только талантъ. Какъ бы ни были тяжелы послѣдніе годы Ходасевича, какъ бы его ни томила наша бездарная эмигрантская судьба, какъ бы старинное, добротное человѣческое равнодушіе ни содѣйствовало его человѣческому угасанію, Ходасевичъ для Россіи спасенъ — да и самъ онъ готовъ былъ признать, сквозь желчь и шипящую шутку, сквозь холодъ и мракъ наставниихъ дней, что положеніе онъ занимаетъ особое: счастливое одиночество недоступной другимъ высоты. Тутъ

нѣтъ у меня намѣренія кого-либо задѣть кадилломъ: кое-кто изъ поэтовъ здѣшняго поколѣнія еще въ пути и — какъ знать — дойдетъ до вершинъ поэтического искусства, коли не загубить жизни въ томъ второсортномъ Парижѣ, который плыветъ съ легкимъ креномъ въ зеркалахъ кабаковъ, не сливаясь никакъ съ Парижемъ французскимъ, неподвижнымъ и непроницаемымъ. Ощущая какъ бы въ пальцахъ свое развѣтвляющееся вліяніе на поэзію, создаваемую за рубежомъ, Ходасевичъ чувствовалъ и нѣкоторую отвѣтственность за нее: ея судьбой онъ бывалъ болѣе раздраженъ, чѣмъ опечаленъ. Дешевая унылость казалась ему скорѣе пародіей, нежели отголоскомъ его «Европейской Ночи», гдѣ горечь, гнѣвъ, ангелы, зіяніе гласныхъ — было все настоящее, единственное, ничѣмъ не связанное съ тѣми дежурными настроеніями, которыя замутили стихи многихъ его полуучениковъ. Говорить о «мастерствѣ» Ходасевича бессмысленно — и даже кощунственно по отношенію къ поэзіи вообще, къ его стихамъ въ рѣзкой частности, ибо понятіе «мастерство», само собой рожая свои ковычки, обращаясь въ придатокъ, въ тѣнь и требуя логической компенсаціи въ видѣ любой положительной величины, легко доводитъ насъ до того особаго, задушевнаго отношенія къ поэзии, при которомъ отъ нея самой въ концѣ концовъ остается лишь мокрое отъ слезъ мѣсто. И не потому это грѣшно, что самые *poets anglots* все же нуждаются въ совершенномъ знаніи правилъ стихосложенія, языка, равновѣсія словъ; и смѣшно это не потому, что поэтъ, намекающій въ неряшливыхъ стихахъ на ничтожество искусства передъ человѣческимъ страданіемъ, занимается жеманнымъ притворствомъ, вродѣ того, какъ если бы гробовыхъ дѣлъ мастеръ сѣтовалъ на скоротечность земной жизни; размолвка въ сознаніи между выдѣлкой и вещью потому такъ смѣшна и грѣшна, что она подрываетъ самую сушность того, что — какъ его ни зови, «искусство», «поэзія», «прекрасное», — въ дѣйствительности неотдѣлимо отъ всѣхъ своихъ таинственно необходимыхъ свойствъ. Другими словами, стихотвореніе совершенное (а такихъ въ русской литературѣ наберется не менѣе трехсотъ) можно такъ поворачивать, чтобы читателю представлялась только его идея или только чувство или только картина или только звукъ, — мало ли что еще можно найти отъ «инструментовки» до «отображенія», — но все это лишь произвольно выбраныя грани цѣлаго, ни одна изъ которыхъ въ сущности не стояла бы нашего вниманія (и ужъ конечно не вызвала бы никакого волненія кромѣ развѣ косвеннаго: напомило какое-то другое «цѣлое», — чей-нибудь голосъ, комна-

ту, ночь), не обладай все стихотвореніе той сіяющей самостоятельностью. въ примѣщеніи къ которой опредѣленіе «мастерство» звучитъ столь же оскорбительно, какъ «подкупающая искренность». Сказанное далеко не новость, но хочется это повторить по поволу Ходасевича. Въ сравненіи съ приблизительно стихами (т. е. прекрасными именно своей приблизительноностью — какъ бываютъ прекрасными близорукіе глаза, — и добывающимися ея такимъ же способомъ точнаго отбора, какой сошелъ бы при другихъ, болѣе красочныхъ обстоятельствахъ стиха за «мастерство») поэзія Ходасевича кажется иному читателю не въ мѣру чеканной, — употребляю умышленно этотъ неаппетитный эпитетъ. Но все дѣло въ томъ, что ни въ какомъ опредѣленіи «формы» его стихи не нуждаются, и это относится ко всякой подлинной поэзіи. Мнѣ самому дико, что въ этой статьѣ, въ этомъ быстромъ перечнѣ мыслей, смертью Ходасевича возбужденныхъ, я какъ бы подразумеваю смутную его непризнанность и смутно полемизирую съ призраками, могущими оспаривать очарованіе и значеніе его поэтического гения. Слава, признаніе, все это и само по себѣ довольно невѣрный по формамъ феноменъ, для котораго лишь смерть находитъ правильную перспективу. Допускаю, что немало наберется людей, которые, съ любопытствомъ читая очередную критическую статью въ «Возрожденіи» (а критическія высказыванія Ходасевича, при всей ихъ умной стройности, были ниже его поэзіи, были какъ-то лишены ея бленія и обаянія), попросту не знали, что Ходасевичъ — поэтъ. Найдутся, вѣроятно, и такіе, которыхъ на первыхъ порахъ озадачитъ его посмертная слава. Кромѣ всего, онъ послѣднее время не печаталъ стиховъ, а читатель забывчивъ, да и критика наша, взволнованно занимаясь незадаивающей современной, не имѣетъ ни досуга, ни случая о важномъ напоминать. Какъ бы то ни было, теперь все кончено: завѣщанное сокровище стоитъ на полкѣ, у будущаго на виду, а добытчикъ ушелъ туда, откуда быть можетъ кое-что долетаетъ до слуха большихъ поэтовъ, пронзая наше бытіе своей потусторонней свѣжестью — и придавая искусству какъ разъ то таинственное, что составляетъ его невидѣлимый признакъ. Что-жъ, еще немного смѣстилась жизнь, еще одна привычка нарушена, — своя привычка чужого бытія. Угнѣшенія цѣтъ, если поощрять чувство утраты личнымъ воспоминаніемъ о краткомъ, хрупкомъ, тающемъ, какъ градина на лодоконникѣ, человеческомъ образѣ. Обратимся къ стихамъ.

В. Сиринъ.

Комментаріи

У литературы есть странное, с виду как будто взбалмошно-женское свойство: от нея мало чего удается добиться тому, кто слишком ей преданъ. Въ лучшемъ случаѣ получается Брюсовъ, пишущій съ удовольствіемъ и важностью, поощряемый общимъ уваженіемъ къ его «культурному дѣлу», переходящій отъ успѣха къ успѣху, — и внезапно проваливающийся въ небытіе... У Блока — въ каждой строчкѣ отвращеніе къ литературѣ, а останется онъ въ ней надолго.

Нѣкоторыя наблюденія опасны въ качествѣ рецепта. Мысль о «патентѣ на благородство», связанномъ съ отвращеніемъ къ литературѣ, можетъ, конечно, вызвать скверную игру въ усталость, или въ ироническое всепониманіе, со вздохами на поздне-римскій ладъ. «Ah, tout est vu, tout est mangé, plus rien à dire». Не только можетъ, но и вызываетъ... Это досадно, какъ всякое притворство, однако ничуть не колеблетъ самой мысли. Настоящій писатель пишетъ съ тоской и даже смятеніемъ, чувствуя, что все ускользаетъ, каждое слово предаетъ, какъ предаетъ солдатъ, старательный, но не понимающій замысла сраженія, — а графоманъ пишетъ «много и хорошо», хлопая себя по ляжкамъ послѣ работы, какъ Боборыкинъ. У Боборыкина нѣтъ видѣнія, и потому нѣтъ искаженія. У него слова только заполняютъ пустоту, зіяющую передъ нимъ до писанія, и онъ радуется разряду энергіи и наглядности результата.

Возраженія. Пушкинъ, глубочайшій «литераторъ», конечно, и кстати тоже покрикивавшій отъ удовольствія послѣ «Бориса Годунова». Но, во-первыхъ, Пушкинъ умеръ въ томъ возрастѣ, когда ощущенія такого порядка еще не успѣваютъ прорваться, — и вопросъ, чѣмъ былъ бы, что далъ бы Пушкинъ, проживи онъ нормально — долгую жизнь (вопросъ, блистательно, хоть и поверхностно затронутый Константиномъ Леонтьевымъ въ фантастическомъ предположеніи, какой получилась бы у Пушкина «Война и Миръ»), уже содержитъ въ себѣ опроверженіе торопливыхъ и квази-безапелляціонныхъ сужденій по Пушкину

тридцатисемилѣтнему (особенно, если вспомнить пушкинскіе стихи послѣднихъ лѣтъ, смутно похожіе на поздніе бетховенскіе квартеты или живопись Рембрандта, и уже какъ бы подтачивающіе всякую такую творческую радость, которая можетъ быть подточена, оставляющіе лишь неустранимое, рѣдко кому доступное, «холодный ключъ забвенія»). А во-вторыхъ, Пушкинъ былъ одушевленъ своимъ колумбовски-петровскимъ литературнымъ предназначеніемъ, и всякими авгіевыми конюшнями, которыя ему надо было расчистить. Другое возраженіе — Толстой, и его знаменитое «люблю жену, но романъ свой люблю больше, чѣмъ жену». Тутъ возраженіе — если въ него вдуматься, — оборачивается противъ самихъ возражающихъ. Именно потому толстовское бѣгство изъ литературы, или отъ нея, и полно смысла, что ему предшествовало такое упоеніе ею, — какъ вообще въ Толстомъ все чисто — духовное значительно тѣмъ, черезъ какія стихійныя и животныя толщи оно пробилось, не ослабѣвъ. Толстовское отвращеніе — урокъ тѣмъ, кто отвращается слишкомъ быстро, «на двухъ статейкахъ утомивъ кое-какое дарованіе»: сначала полюбите, господа то, что въ литературѣ достойно любви, а ужъ потомъ бѣгите, разочаровывайтесь! Иначе гримаса на лицѣ капризна и глупа.

Еще — «противъ». Прусть, пробковая комната, умираніе — и страстно-настойчивое дописываніе романа. Надо признаться, это самое вѣское «сонтра», и самое смущающее... Отвѣтить, объяснить какой-нибудь выдумкой было бы нетрудно, какъ вообще выдумать легко все! Но по правдѣ сказать, — отвѣтить нечего. Чувство долга? Стремленіе къ безсмертію, хотя бы и фальсифицированному? Скорѣй все-таки тутъ сказалось то «человѣческое, слишкомъ человѣческое», что было въ Прустѣ, чѣмъ то, что было въ немъ ослабленно-божественнаго.

Стопка рукописей на столѣ, — стихи и проза. Кто изъ этихъ авторовъ талантливъ, кто бездаренъ — не такъ интересно, при очевидной скромности талантовъ, и почти всякому въ наши дни доступномъ умѣннн затушевать бездарность. Но поговорить хотѣлось бы только съ нѣкоторыми. Съ тѣми, у кого въ первой же фразѣ слышится возможность будущаго, можетъ быть черезъ сорокъ лѣтъ, на вершинѣ успѣховъ, недоумѣннн передъ праздною, тщеславіемъ, кичливостью, пустотой, безсовѣстностью почти всего того, что принято называть литературой. Многие писатели связаны безмолвной круговой порукой, о которой никто кромѣ нихъ не догадывается.

Перечитывая Шекспира, — и изумляясь «до мозга костей, до корней волосъ» нѣкоторымъ совершенно невѣроятнымъ страницамъ.

Когда родилась новая литература? Когда Полоній подошелъ къ Гамлету съ вопросомъ «что вы читаете, государь?» — и Гамлетъ отвѣтилъ:

— Слова, слова, слова...

Былъ какъ будто ясный день. Все стояло на своихъ мѣстахъ, и все было отчетливо видно, до мельчайшихъ линий и очертаний. И вдругъ кто-то пріоткрылъ дверь, за которой мелькнулъ другой свѣтъ, другія тѣни, измѣняющія представленія о томъ, что знакомо было раньше.. Сравненіе примитивно, конечно, но передаетъ впечатлѣніе довольно вѣрно. Со «словами, словами, словами» что-то куда-то распахивается, — именно «что-то», «куда-то», потому что и до сихъ поръ никому еще не удалось подобрать нужныя, точныя выраженія для этого открытія.

Прошло триста лѣтъ, — и мы все еще живемъ Шекспиромъ, вѣрнѣе, идемъ шагъ за шагомъ въ найденномъ имъ направленіи. Какъ это на первый взглядъ ни парадоксально, Пушкинъ — при всей его общечеловѣчности впередъ въ духовной жизни Россіи, — въ области чисто творческой, личной, внѣ какихъ-либо національныхъ и историческихъ соображеній, обращенъ назадъ. Пушкинъ — противъ «Гамлета» (а въ особенности та охранительно-формальная критическая традиція, которая на Пушкина демонстративно предъявляетъ какія-то особыя права). По самому составу чувствъ, по матеріалу — Пушкинъ до «Гамлета», и ведетъ свою волшебную и безпроигрышную творческую игру безъ тѣхъ элементовъ, при которыхъ срывъ иногда неизбеженъ. Срывается сразу Лермонтовъ, будто въ колоду картъ ему подбросили какія-то двойки и тройки, съ которыми большого шлема не назначить.

Замѣчаніе на всякій случай: разсуждать — не значитъ умалять значеніе, или чего-либо «недооцѣнивать», тѣмъ болѣе въ данномъ случаѣ. На своемъ языкѣ, въ кругу своихъ понятій приблизительно то же говорилъ Бѣлинскій, — а онъ, хоть и не всегда поспѣвая за Пушкинымъ, понималъ его все-таки проще и глубже, чѣмъ Достоевскій, понявшій только самого себя. (Недолетъ мысли у Бѣлинскаго, перелетъ у Достоевскаго: но въ первомъ случаѣ Пушкинъ остается передъ нами, а во второмъ онъ позади, — и видны лишь будущія безконтрольныя мистическія фантазіи, вплоть до Андрея Бѣлаго).

Голомн ходиннь «вокругъ да около» какихъ-то необходимыхъ, въ каждой строчкѣ подразумеваемыхъ словъ, — а когда хочешь наконецъ извлечь ихъ въ чистомъ видѣ изъ потока привычныхъ періодовъ, оказывается, что они растворились въ нихъ почти безъ остатка.

Конечно, лирическія ссылки на «наше небывалое время», на «одинокчество», будто бы заставившее «многое взвѣсить и многое пересмотрѣть», на возвращеніе къ «голому человѣку на голой землѣ» — на границѣ пошлости... Если вообще объ этомъ говорить не слѣдовало, то теперь больше говорить объ этомъ рѣшительно невозможно! «*A consommer de suite*», какъ обозначается на оберткѣ скоропортящихся продуктовъ. Опрятность въ выраженіяхъ, и въ томъ, что выражается — добродѣтель обязательная.

Постараемся же говорить «опрятно» — о томъ, что достойно любви въ литературѣ, и что скорѣй вызываетъ усмѣшку. Какъ часто случается, мысль мелькнула въ результатѣ случайнаго впечатлѣнія: огромныя афиши на парижскихъ заборахъ, возвѣщающія о «Жаннѣ д'Аркъ, ораторіи въ двухъ частяхъ съ прологомъ и эпилогомъ, сочиненія Поля Клоделя». Мгновенно, какъ при вспышкѣ молнии, все представилось абсолютно отчетливо, сверкнули всѣ причины, доводы и слѣдствія, — а потомъ пришлось ощупью брести во тьмѣ, пытаюсь возстановить понятос.

Основная аксіома: надо писать правду, — т. е. вѣрно о вѣрномъ. Но тутъ же сомнѣніе: что такое правда? — и почему, самонадѣянно считая закономъ свой личный вкусъ, ты такъ увѣренъ, что въ ораторіи о Жаннѣ д'Аркъ ея быть не можетъ? Безотчетно, всѣмъ существомъ своимъ ощущая возможность обоснованія, упорствую — «Нѣтъ, ея быть не можетъ» —, но и недоумѣваю: почему? Исторія литературы бурно протестуетъ, проносясь въ сознаніи со всѣми своими чудесами, школами, «измами», вдохновеніями, сказками, причудами, — и вопіетъ, что бессмысленно сводить творчество къ грустному (и ужъ не бессильно ли старческому? — намекнетъ, разумѣется, кто-нибудь) перебиранію двухъ-трехъ мотивовъ, очищенныхъ отъ всякой позолоты. Однако, Богъ съ ней, съ исторіей искусства и литературы, неубѣдительною какъ всякая исторія, — и будемъ дѣлать то, что намъ кажется нужнымъ дѣлать, считаясь только съ настоящимъ, а не съ прошлымъ.

Надо взять бутылочку съ сѣрной кислотой — и облить все, что распустилось постыло-роскошнымъ цвѣтомъ вокругъ. Ничего не уцѣлѣетъ? Что же дѣлать — значить обойдемся безъ

букетовъ! Но что-нибудь уцѣлѣть навѣрно, и эти-то цвѣты уже не увянутъ у насъ въ рукахъ. Эти цвѣты не обмануть, — и самый скромный такой лепестокъ дороже всѣхъ бутафорскихъ клумбъ и рощъ, какъ бы ни были онѣ талантливо возвращены. Клодель чрезвычайно талантливъ, онъ большой поэтъ, но это ничуть не мѣняетъ дѣла, ничуть! Неинтересно играть въ интересную игру, а сочинять и слушать ораторіи изъ жизни святыхъ — неинтересно, и если это литература, хочется немедленно «возвратить билетъ» для входа въ нее.

«Вы всегда танцуете отъ печки», — сказала мнѣ какъ-то съ ласкѣ казовской трибуны какой-то язвительный оппонентъ —, «а печка эта Левъ Толстой!» Станцуемъ еще разъ, печка стоитъ того! Представимъ себѣ объявленіе, напримѣръ, о «Сергій Радонежскомъ, ораторіи въ двухъ частяхъ, сочиненія Льва Толстого» — кто же не почувствуетъ, что это совершенно невозможно! И вовсе не потому невозможно, чтобы не соответствовали жанръ и методъ писанія, а потому что уровень творческой серьезности не тотъ... А для нея, для этой серьезности, только и есть одно мѣрило — преданность правдѣ, не исключающей вымысла, конечно, но и не допускающей любованія литературными красотами съ сомнительно небеснымъ привкусомъ.

Еще по поводу «печки». Бунинъ и Алдановъ, къ глубокому моему удивленію, постоянно говорятъ, едва только зайдетъ о такихъ вещахъ рѣчь: величайшая книга въ мірѣ — «Война и миръ»! Что это значитъ, величайшая книга въ мірѣ, — и если даже принять такое понятіе, можно ли считать книгой, въ которой отражено величайшее творческое усиліе человѣческаго духа, «Войну и миръ»? Едва ли. Но, конечно, Толстой — писатель единственный, именно въ плоскости «серьезности», «антижюльничества», — хоть иногда, кажется, все на свѣтѣ отдалъ бы, чтобы уберечь отъ его бутылочки съ сѣрной кислотой поэзію міра, всю чуть-чуть лживую прелесть міра, Вагнера, Наполеона, многое другое! Шекспиръ не въ счетъ, съ нимъ у него простое недоразумѣніе.

Литературное собраніе съ христіанскими разговорами.

Личность, личность, личность — во всѣхъ падежахъ. Христіанство будто бы утверждаетъ личность, христіанство освящаетъ личность, — наперекоръ дьявольскому наваженію, стремящемуся къ ея позорной коммунистической гибели.

Со стороны зрѣлише наставительное и грустное. Одинокія души, мало-по-малу растерявшія всѣ живыя, животворящія свя-

зи съ міромъ — и потому, обостренно, надтреснуто-звенящія, — ищутъ «соломишки». Кто же приметъ ихъ, если не христіанство, — и куда имъ больше пойти? Тутъ иронизировать нечего, и «да сіяютъ образа эти вѣчно», какъ дважды, съ незабываемой интонаціей сказано въ предисловіи къ «Людемъ луннаго свѣта».

Но разумъ отъ своихъ правъ не отказывается. Личность абсолютная, самодовлѣющая, замкнутая въ себѣ — напрасно ищетъ опоры въ христіанствѣ, и напрасно обанкротившійся индивидуализмъ идетъ съ такихъ позицій въ атаку. Ему вообще не надо бы сейчасъ воевать. Ему лучше уйти въ себя, — и посмотрѣть, подсчитать, что осталось отъ бывшихъ «безсмысленныхъ мечтаній», корня столькихъ великихъ духовныхъ драмъ въ прошломъ вѣкѣ.

Самый догматъ грѣхопаденія и искупленія — т. е. самая основа христіанства — подрываетъ индивидуалистическое представленіе о личности. Если я отвѣтственъ за то, что кто-то до меня согрѣшилъ, если возможно освобожденіе мое отъ этого грѣха безъ моего участія въ этомъ дѣлѣ — значитъ я не вполне самъ по себѣ, значить «я во всемъ и все во мнѣ» и единчества нѣтъ, пока я самъ на его безнадежные просторы не вырвался. Даже крикъ о томъ, что «кровь Его на насъ и на дѣтяхъ нашихъ» входитъ въ этомъ смыслѣ въ евангельскій текстъ естественно, безъ логическаго противорѣчья, — хотя для кричавшихъ это вѣдь не была кровь божественная, создающая возможность исключенія! Личность, можетъ быть, и утверждена въ христіанствѣ, — но не та, не такая личность, какъ хотѣлось бы ея позднимъ, забывчивымъ защитникамъ, ведущимъ ее къ пропасти.

Докладъ читалъ совсѣмъ молодой человѣкъ, поэтъ, еврей, въ очкахъ, — слабымъ голоскомъ, растеряннo и по внутреннему звуку «не безъ музыки». Какой-то ягненокъ на эстрадѣ, смиренный, кудрявый, скромно ссылающійся на авторитеты — на отцовъ церкви.

Что ему Гекуба? До безразличія, до сопротивленія, до трагическаго «помогни моему невѣрью», — что ему религія, особенно такая загадочная, какъ эта? не слишкомъ ли легковѣсно и шатко увлеченіе? не надо было ли бы послать его обратно «въ жизнь», чтобы хорошенько покрутился онъ по ея омутамъ (не практическимъ, конечно, а «идейнымъ») — и набрался бы впе-

чатлѣннѣй? не прельстила ли его — и многихъ ему подобныхъ — именно музыка, поэтическая тональность, а не сущность христіанства, воспринятаго все-таки торопливо въ его обволакивающей, объщающей, утѣшающей гармоніи?

«Да не смущается сердце ваше...» Конечно, послѣ этого почти невозможно быть поэтомъ внѣ этого, если только у человѣка есть слухъ. Но не ищутъ ли сейчасъ многіе откликающіеся просто чего-то вродѣ подушки подъ голову, чтобы забыться, — только забыться?

Георгій Адамовичъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Парадоксъ лжи

«Вашъ отецъ діаволь...; когда говоритъ онъ ложь, говоритъ свое, ибо онъ лжець и отецъ лжи».

Отъ Іоанна, гл. 8, 44.

«Il y a toujours quelque mensonge dans l'ordre.

«Le mensonge est une systématisation qui recouvre une disharmonie».

«Un mensonge est à la racine de l'existence en tant qu'elle suppose la discordance utilisée au profit de la systématisation».

Fl. Paulhan «Le mensonge du monde».

Огромна роль лжи въ человѣческой жизни. Міръ захлебывается отъ лжи. На проблему лжи слишкомъ мало вниманія обратили философы. Лгутъ не только люди живые по природѣ, но и люди правдивые. Лгутъ не только сознательно, но и бессознательно. Люди живутъ въ страхѣ и ложь есть орудіе защиты. Структура сознания деформируется функцией лжи, порожденной страхомъ. Существуетъ нѣсколько типовъ лжи и наиболее интересенъ тотъ типъ лжи, который сознается не какъ грѣхъ и порокъ, а какъ долгъ. Элементарнымъ представляется типъ лжи корыстной, какъ средства для достиженія эгоистическихъ цѣлей. Есть типъ лжи безкорыстной, почти художественной, когда человѣкъ не дѣлаетъ различія между реальностью и собственной выдумкой. Этотъ типъ тоже не будетъ меня интересовать. Есть еще типъ лжи изъ состраданія, который можетъ быть спасеніемъ жизни другого человѣка. Правдивость не означаетъ формализма и педантизма. Нравственный актъ человѣка всегда творчески-индивидуальный и совершается для конкретнаго случая жизни, единичнаго и неповторимаго. Но наибольшее значеніе имѣетъ ложь социальная, утверждаемая какъ долгъ. Это она заполняетъ жизнь государствъ и обществъ, поддерживаетъ ци-

визитацию, это ею гордятся, какъ предохраненіемъ отъ распада и анархіи.

Глубоко укорененные въ массовое сознание мифы являются выраженіемъ этой лжи. Черезъ эти организованные мифы ложь управляетъ міромъ, охраняя человѣческія общества. Древніе мифы возникали изъ коллективнаго бессознательнаго творчества и въ основаніи ихъ всегда были какія-то реальности. Современнымъ мифамъ свойственна сознательно организованная ложь. Въ нихъ нѣтъ наивности. Это будетъ звучать пессимистично, но нужно признаться, что ложь кладется въ основаніе организациіи общества. Чрезъ нее, ничѣмъ не прикрытая истина могла бы привести къ концу всѣхъ вещей, къ распаду общества и государствъ, говорятъ защитники прагматизма лжи. Политика въ значительной степени есть искусство управленія человѣческими массами, т. е. предполагаетъ демагогію, т. е. предполагаетъ ложь. Это искусство пользуется мифами, которые не являются случайнымъ продуктомъ фантазіи, которые носятъ сознательно организованный характеръ. Мифъ одинаково создается о предметѣ любви и предметѣ ненависти, въ немъ сильныя эмоціи достигаютъ большой напряженности и конкретности. Эросъ и анти-эросъ одинаково вызываютъ работу восплавленной фантазіи, создающей образы. Ложь, признанная социалью-полезной, сейчасъ достигаетъ въ мірѣ столь небывалыхъ размѣровъ и настолько деформируетъ сознаніе, что ставится вопросъ о радикальномъ измѣненіи отношенія къ истинѣ и лжи, объ исчезновеніи самаго критерія истины. И раньше ложь играла немалую роль въ политической жизни. Въ дипломатіи всегда прибѣгали къ хитрости и коварству. Съ начала новаго времени макиавелизмъ вошелъ въ Европѣ въ систему управленія государствами. Но все же ложь не признавалась окончательно высшимъ принципомъ жизни, стремящейся къ возрастанію и могуществу. Измѣненіе отношенія къ истинѣ было уже у Ницше, у Маркса, въ прагматической философіи. Ницше уже говорилъ, что истина есть порожденіе воли къ могуществу. Маркъсъ учитъ, что познаніе истины связано неразрывно съ революціонной классовой борьбой и не можетъ быть истина отрѣщенной отъ этой борьбы. Прагматическая философія утверждаетъ, что истина есть полезное и плодотворное для процесса жизни. Такимъ образомъ истина цѣликомъ подчиняется витальному процессу, ея критеріемъ является возрастаніе могущества жизни. И это на практикѣ приводитъ къ тому, что перестаютъ искать истины, ищутъ силы. Но для пріобрѣтенія силы ложь можетъ оказаться плодотворнѣе истины. Ищутъ силы потому, что чув-

ствують себя погибающими въ мірѣ, который пришелъ въ жидкое состояніе, въ которомъ нѣтъ уже твердыхъ тѣлъ. Я помню, какъ на одномъ международномъ съѣздѣ въ Германіи, незадолго до пришествія Гитлера къ власти, былъ прочитанъ докладъ о настроеніяхъ нѣмецкаго студенчества и основной мыслью этого доклада была, что студенты перестали искать истины и ищутъ силы. Отсюда необычайная роль техники въ современной жизни.

Ложь есть главная основа т. и. тоталитарныхъ государствъ, безъ организованной лжи они никогда не могли бы быть созданы. Ложь внушается, какъ священнѣйшій долгъ, долгъ въ отношеніи къ избранной расѣ, въ отношеніи къ могуществу государства, въ отношеніи къ избранному классу. Это даже не сознается какъ ложь. Не признается ложью то, что усиливаетъ динамизмъ, служитъ возрастанію жизни, что даетъ силу въ борьбѣ. Ложь можетъ даже казаться единственной истиной. Хитрость разума, о которой говоритъ Гегель, превращается въ сознательную практику полезной лжи. У Гегеля была уже опасность релятивизаціи истины, подчиненія ея относительности исторіи. Ложь, которая въ огромныхъ размѣрахъ практикуется въ совѣтской Россіи и которая получила чудовищное выраженіе въ московскихъ процессахъ старыхъ коммунистовъ, есть діалектическая ложь. Ложь оказывается діалектическимъ моментомъ въ осуществленіи совершеннаго коммунистическаго общества. Каждый моментъ діалектическаго процесса релятивизируется для окончательнаго торжества логоса въ этомъ процессѣ, напр., старый коммунистъ, вѣрный коммунистической идеѣ, превращается въ фашиста, предшествующій моментъ этого процесса совершенно отрицается, но это признается необходимымъ для осуществленія цѣли даннаго процесса и т. д. Ложь въ фашизмѣ и національ-соціализмѣ носитъ не діалектическій, а витально-динамическій характеръ. Проповѣдь истребляющей ненависти къ евреямъ и марксистамъ нужна для усиленія динамизма, для возрастанія витальной силы. Все, что говорится о расовомъ или классовомъ врагѣ, обыкновенно есть ложь. Врагъ есть фикція, необходимая для взвинчиванія энтузіазма, для оправданія насилія, для возрастанія могущества. Фронты, которые образуются въ мірѣ, проникнуты ложью. Такъ называемый антикоммунистическій фронтъ есть ложь и шантажъ. Въ Германіи это есть просто орудіе международной политики и прикрытіе желанія раздѣла Россіи. Вообще же это есть концентрація корыстныхъ капиталистическихъ и фашистскихъ силъ. Но антифашистскій фронтъ, несмотря на существованіе реальной опасности фашизма во всемъ мірѣ, тоже заключаетъ въ себѣ

ложь, ибо фашистами называютъ всѣхъ антикоммунистовъ, что, конечно, невѣрно. Многіе сторонники капитализма являются либералами, а не фашистами. Фашизмъ же ликвидируетъ частный капиталъ и замѣняетъ его государственнымъ. Ложью является дѣленіе міра на два лагеря, это есть пріемъ войны. Въ дѣйствительности міръ гораздо сложнѣе, онъ не состоитъ изъ фашистовъ и коммунистовъ. На лжи также основаны политическія партіи. Демагогія, безъ которой не могутъ обойтись партіи, всегда предполагаетъ ложь. Лозунги, которые выставляютъ партіи во время предвыборной агитаціи, обыкновенно ничего не имѣютъ общаго съ ихъ реальной практикой. У всѣхъ возвышенныя цѣли, прикрывающія очень не возвышенные интересы.

Съ болѣе глубокой точки зрѣнія вѣрно обратное тому, что утверждаетъ прагматическая философія, что утверждаетъ всякая теорія, подчиняющая истину органическому витальному процессу. Съ большимъ основаніемъ можно было бы утверждать, что ложь полезна для завоеваній жизни и для организациіи силы въ этомъ мірѣ. Истина, чистая, не искаженная истина, можетъ быть вредна и разрушительна для организациіи порядка, для всякаго систематизированнаго прикрытія дисгармоніи. Это въ сущности и говоритъ Поланъ, единственный мыслитель, обратившій серьезное вниманіе на проблему лжи. Съ этимъ связанъ глубокой трагизмъ въ судьбѣ христіанства. Достоевскій въ гениальной Легендѣ о Великомъ Инквизиторѣ раскрылъ не только діалектику свободы и авторитета, но и діалектику истины и лжи въ организациіи царства міра сего, въ организациіи церкви и государства. Истина, раскрытая Христомъ, есть истина о безконечной свободѣ духа. Великій Инквизиторъ, устами котораго въ сущности говорятъ всѣ желающіе организовать мировой порядокъ, призналъ истину Христову разрушительной и анархической и для организациіи блага людей онъ захотѣлъ исправить дѣло Христа. Аргументацію Великаго Инквизитора почти дословно повторяетъ Шарль Моррасъ, вождь французскихъ монархистовъ, который считаетъ Евангеліе книгой разрушительной и анархической, но восхваляетъ католическую церковь за то, что она сумѣла превратить эту разрушительную и анархическую книгу въ силу, организующую порядокъ, т. е. «исправила» дѣло Христа. Было бы въ высшей степени несправедливымъ отнести Легенду о Великомъ Инквизиторѣ исключительно къ католицизму. Все историческое христіанство сумѣло превратить христіанскую истину, которая есть апокалиптической взрывъ міра, въ силу приспособленную къ этому міру, къ витальнымъ интересамъ этого міра. Тысячу разъ люди утвер-

ждали, что міръ можно спасти ложью и только ложью, что истина опасна для самаго существованія міра. И все вновь и вновь ставится передъ людьми вопросъ, можно ли, допустимо ли спасать міръ ложью? Можно ли отдать себя служенію истинѣ и рискнуть существованіемъ міра? И это значило, можно ли во имя истины рискнуть гибелью? Ложь можетъ поддержать организацію общества и государства. Но она внутренне разрушаетъ личность. Истина же укрѣпляетъ личность.

Достоевскій поставилъ глубокую проблему. Но по иному, столь же радикально поставилъ проблему Л. Толстой, самый правдивый писатель міровой литературы. Все творчество Л. Толстого направлено противъ лжи, есть художественное обличеніе лжи, на которой покоится цивилизація, государства, организація общества. Въ сущности Л. Толстой предлагаетъ всѣмъ рискнуть, все поставить на карту. Сущность толстовскаго ученія о непротивленіи заключается въ томъ, что когда человекъ перестанетъ сопротивляться злу насиліемъ, то начнетъ дѣйствовать самъ Богъ, вступить въ свои права божественная природа. Нѣтъ ничего легче, какъ критиковать ученіе Л. Толстого. Очень легко показать, что при непротивленіи всегда побѣдитъ зло. Но Толстой надѣялся на историческое чудо и во имя вѣры въ это чудо непосредственнаго вмѣшательства Бога предлагалъ рискнуть гибелью общества, государства и цивилизаціи, гибелью міра, который держится на лжи и насиліи, на законѣ, противоположномъ закону Бога. Христіане хотѣли устраивать на всякій случай свои дѣла такъ, чтобы дѣла хорошо шли даже если Бога нѣтъ. Л. Толстой прежде всего требуетъ отказа отъ соціально полезной лжи. Съ этимъ связано необыкновенное правдолюбіе его литературнаго творчества. Человекъ долженъ прежде всего перестать лгать передъ собой и передъ Богомъ, перестать закрываться отъ истины, которая можетъ причинить страданіе, которая не льститъ человеку, а иногда и прямо ему угрожаетъ. Любовь къ правдѣ есть основная добродѣтель и міръ болѣе всего въ ней нуждается. Міръ настолько изолгался, что потерялъ критерій истины. Человекъ пересталъ отличать реальность отъ продуктовъ воображенія, порожденныхъ изъ нѣдръ бессознательнаго, отъ мифовъ, обладающихъ витальной и соціальной полезностью. Творческое воображеніе можетъ быть путемъ познанія истины. Но очень всегда подозрительно дѣйствіе воображенія соціально выгодное и полезное, помогающее истребить врага, оправдывающее насиліе.

Наука любитъ истину и ищетъ истину, она не выноситъ лжи. Таковъ ея принципъ. Въ этомъ величіе науки. Настоящій уче-

ный — аскетъ. Но и научныя теоріи, разоблачающія иллюзіи и лживость сознанія (напр., Фрейдъ и психоанализъ), могутъ сами создавать миѡы, очень далекіе отъ реальности. Такъ, Фрейдъ создалъ настоящій миѡъ объ универсальномъ значеніи комплекса Эдипа, которымъ объясняется самое возникновеніе человѣческихъ обществъ. Онъ является тутъ не изслѣдователемъ миѡа, а созидателемъ миѡа. Интересно, что творческое воображеніе Фрейда тутъ дѣйствуетъ не въ направленіи полезномъ для витальнаго процесса, а въ направленіи очень пессимистическомъ. Философія самого Фрейда настолько слаба (я не говорю о его большихъ научныхъ заслугахъ), что она не можетъ обосновать и оправдать его любви къ истинѣ, разоблачающей ложь сознанія. Одинъ французскій сюрреалистъ сдѣлалъ изъ Фрейда тотъ выводъ, что нужно убивать отца и призываеь къ этому убійству. Фрейдъ соблазнился не оптимистическимъ, а пессимистическимъ миѡомъ. Наука склонна отрицать религіозныя реальности какъ миѡы, порожденные коллективнымъ безсознательнымъ. Но она создала миѡъ о наукѣ, какъ универсальномъ знаніи, рѣшающемъ всѣ вопросы. Сама наука любитъ истину, но сѣантизмъ есть ложь. Ученые сплошь и рядомъ практикуютъ ложь, полезную и выгодную для ихъ научной гордости. Современный романъ раскрываетъ очень горькія истины о человѣкѣ (Прустъ, А. Жидъ, Лавренсъ, романъ психологическаго анализа). Литература въ сущности говоритъ о диссоціаціи личности, объ утерѣ центра личности. Диссоціація личности и порождаетъ ложь. Но самое художественное творчество оказывается вовлеченнымъ въ этотъ процессъ разложенія личности. Зоркое различеніе реальностей есть актъ цѣлостной личности и оно необходимо для правдивости. Возрожденіе лживости есть процессъ соціальныи и процессъ индивидуально-психологическій.

Въ чемъ же причина исключительной роли лжи въ нашу эпоху? Это связано съ измѣненіемъ структуры сознанія. Необыкновенное возростаніе лжи въ мѣрѣ и лжи оправданной, не признаваемой какъ порокъ, опредѣляется прежде всего экстеріоризаціей совѣсти. Когда совѣсть, производящая нравственныя сужденія, переносится изъ глубины личности на коллективы и на динамику коллективовъ въ исторіи, то какая угодно ложь можетъ оказаться оправданной. И въ прошломъ ложь оправдывалась не личной совѣстью, а совѣстью коллективной, совѣстью національной, церковной, государственной, военной, классовой, партійной и т. п. Но никогда еще не происходило въ такихъ размѣрахъ изытіе совѣсти изъ глубины личности и перенесе-

нія ея на коллективныя реальности, какъ въ наше время. Личная совѣсть, личное нравственное сужденіе не только парализуются, но отъ нихъ требуютъ паралича. Личная совѣсть никогда не могла бы рѣшиться на такую ложь, на какую рѣшается совѣсть государства, націи, партіи, класса и т. п. Во имя интересовъ германской расы или пролетаріата можно допустить грандіозную и организованную ложь, которая претила бы личной совѣсти отдѣльнаго нѣмецкаго національ-соціалиста или русскаго коммуниста. Перерожденіе структуры сознанія выражается въ томъ, что за индивидуальнымъ сознаніемъ отрицается право даже опредѣлять реальности и отличать ихъ отъ факцій, это право признается лишь за коллективнымъ сознаніемъ. То, что индивидуальному сознанію представляется ложью, для коллективнаго сознанія представляется реальностью, хотя бы это противорѣчило самой ясной очевидности. Всякому, напр., ясно и очевидно, что демократическія государства не хотятъ войны и настроены пацифистски. Но для коллективнаго сознанія Германіи и Италіи ясно и очевидно, что именно демократическія государства хотятъ войны, диктатуры же не хотятъ войны и борются за миръ. Это есть ложь съ точки зрѣнія личного сознанія и совѣсти, но эта ложь превращается въ реальность съ точки зрѣнія коллективнаго фашистскаго сознанія, ибо способствуетъ могуществу диктатуръ. Для личного сознанія и совѣсти ясно, что разстрѣлянные въ СССР старые коммунисты были убѣжденными коммунистами до конца, а не фашистами и не шпіонами. Но для коллективнаго сознанія генеральной линіи коммунистической партіи ложь о старыхъ коммунистахъ есть реальность, необходимая въ діалектикѣ борьбы.

Ложь современнаго міра не есть ложь въ субъективномъ смыслѣ, въ смыслѣ грѣха субъекта, эта ложь есть выраженіе глубокаго перерожденія структуры сознанія. Изъ міра все болѣе исчезаетъ личная совѣсть и все меньше слышится ея голосъ. Но это не значитъ, что вообще совѣсть исчезаетъ, она мѣняетъ свой характеръ. Кристаллизуется коллективная совѣсть съ такой силой и въ такихъ размѣрахъ, что она совершенно подавляетъ въ человѣкѣ личную совѣсть. Человѣкъ принуждается ко лжи во имя того или иного пониманія коллективнаго блага. Ложь всегда есть въ значительной степени явленіе социальнаго порядка. Человѣкъ жетъ главнымъ образомъ другому и другимъ. И даже когда человѣкъ жетъ самому себѣ, то онъ это дѣлаетъ имѣя сознательно или безсознательно въ виду другихъ. Человѣкъ играетъ роль передъ самимъ собой, чтобы потомъ играть эту роль передъ другими. Диктаторъ всегда бываетъ че-

ловѣкомъ внутренне изоглавшимся, но эта лживость опредѣляется его ролью передъ міромъ. Соціальныя отношенія людей наполнены не только злой ложью, порожденной волей къ могуществу, но и невинной условной ложью. Невинная условная ложь можетъ быть условіемъ возможности человѣческаго общегитія. Такъ, напр., человѣкъ бываетъ вѣжливъ съ другимъ человѣкомъ, котораго ненавидитъ въ глубинѣ души. Ложь дѣлается зломъ, когда воля къ преобладанію и могуществу, не личному только, но и коллективному хочетъ себя во что-то ни стало реализовать. Воля къ могуществу можетъ быть свойственна индивидууму, но онъ всегда носитъ соціальный характеръ. «Сверхчеловѣкъ» Ницше непременно долженъ обнаружить себя въ соціальныхъ актахъ. И эти соціальныя акты непременно потребуютъ лжи. Воля къ могуществу не можетъ быть реализована иначе, какъ при помощи лжи. Христосъ говорилъ съ силой и въ Немъ была лишь чистая правда. Цезарь, диктаторъ можетъ приобрести силу лишь при помощи лжи. Безъ лжи можно реализовать лишь царство свободы. Свобода есть начало противоположное лжи. И подлинное освобожденіе человека есть освобожденіе отъ власти лжи. Количество лжи въ мірѣ опредѣляется появленіемъ централизованнаго коллективнаго сознанія, одержимаго волею къ могуществу. Этому должно противопоставить героическую борьбу за свободу духа, т. е. за правду, обличающую ложь. Это совѣсть не означаетъ индивидуализма. Человѣкъ есть существо коммюнитарное. Борьба не можетъ не быть направлена на созданіе новаго общества, новой общности людей. Но правда всегда означаетъ, что духъ опредѣляетъ общество, ложь же означаетъ, что общество опредѣляетъ духъ. Новое общество не можетъ быть создано дипломатіей, т. е. приспособленіемъ къ состоянію міра. Міръ такъ полонъ лжи, ложь настолько развѣдаетъ самыя возвышенныя человѣческія идеи, что одними силами міра, въ которомъ все релятивизировано, нельзя побѣдить ложь. Вѣра въ побѣду надъ ложью предполагаетъ вѣру въ существованіе силы, возвышающейся надъ міромъ, силы надмірной Истины, т. е. Бога. Даже если весь міръ зараженъ ложью, то все-таки есть Истина, чистая отъ всякой запятнаности ложью, и въ борьбѣ противъ лжи мы должны соединиться съ этой Истиной. Личная совѣсть опредѣляетъ наше отношеніе къ этой высшей Силѣ — Истинѣ, но это не есть совѣсть изолированная отъ другихъ людей, это есть совѣсть проникнутая чувствомъ духовнаго братства людей, братства въ Истинѣ, а не во лжи.

Николай Бердяевъ.

На темы исторіософіи

Последніе годы отмѣчены острой и настойчивой постановкой проблемы еврейства. Проблема эта вѣковая, но наше время внесло сюда особую страстность, доходящую нерѣдко до подлинной маниакальности. Помимо жестоких гоненій на евреевъ въ Германіи, своей безчеловѣчностью смутившихъ немало даже закоренѣлыхъ антисемитовъ, — сюда присоединилась проповѣдь нелѣпой теоріи расизма, проникающая, какъ зараза, въ цѣлый рядъ странъ. Все это рѣзко выдѣляетъ еврейскій вопросъ изъ большого комплекса другихъ трудныхъ проблемъ, которыми обременено наше время. Въ извѣстной мѣрѣ сюда присоединяется и крахъ или безсиліе традиціонной позиціи либерализма, — не въ томъ смыслѣ, что эта позиція оказалась невѣрна, — но позиція либерализма въ отношеніи къ еврейскому вопросу обнаружила явную недостаточность, неумѣние охватить всю сложность темы о еврействѣ. Чисто правовой подходъ къ этой темѣ не принесъ дѣйствительнаго разрѣшенія вопроса, — очевидно корни антисемитизма, злая вражда къ еврейству не могутъ быть парализованы извнѣ, черезъ одну правовую культуру. Конечно, система правопорядка, какъ это мы видимъ въ Англии и Америкѣ, въ извѣстномъ смыслѣ «упраздняетъ» еврейскій вопросъ, по крайней мѣрѣ снимаетъ его остроту — но въ то же время какъ разъ при правовомъ подходѣ къ темѣ еврейства, пожалуй, еще рѣзче обнажается загадочность еврейской судьбы. Тамъ, гдѣ тема о еврействѣ ставится въ условіяхъ безправія и гоненій, не до того, чтобы задумываться надъ этой загадочностью, тамъ элементарное чувство чужбности и логика правосознанія повелительно требуютъ борьбы за прекращеніе преслѣдованій и переходъ къ нормальному правопорядку, требуютъ отказа отъ системы ограниченій и изоляціи въ отношеніи къ евреямъ. Не только для христіанина, но и просто для человѣка, не впавашаго въ цинизмъ или готтентотскую мораль, какъ то неловко доказывать очевидную истину о равенствѣ всѣхъ людей, о недопустимости всякаго расоваго гоненія и антисемитизма въ ча-

стности. Въ порядкѣ моральномъ тутъ просто нѣтъ «проблемы», тутъ нечего доказывать, — и настоящая статья написана не для раскрытія того, что было и остается моральной аксіомой для тѣхъ, для кого еще существуетъ мораль. Намъ кажется однако своевременнымъ въ этой безспорной, но и скорбной темѣ коснуться другого, — подойти къ ней въ планѣ исторіософіи. Было бы фатально, если бы въ темѣ о еврействѣ мы ограничились протестомъ противъ антисемитизма и не почувствовали въ ней загадочной глубины, если бы тайна еврейской судьбы, тайна обреченности еврейства возводилась просто къ рецидивамъ варварства у народовъ, среди которыхъ живетъ еврейство. Варварство это, конечно, является фактомъ, но остается страннымъ и загадочнымъ таинственное «избраніе» еврейства въ качествѣ вѣчнаго объекта для проявленія варварства. Въ этомъ негативномъ смыслѣ судьба еврейства явно оказывается связанной съ какими-то центральными процессами въ исторіи, — и система правопорядка, хотя и смягчаетъ внѣшнія проявленія «теллурическихъ силъ», какъ игриво называетъ современное варварство Кайзерлингъ*), но не въ силахъ устранить самый историческій «фактъ», выпадающій на долю еврейства. Въдъ въ системѣ правопорядка, увы, возможенъ глубокой и даже страстный антисемитизмъ, — по существу можетъ быть даже болѣе страшный, чѣмъ тотъ, къ которому приучила насъ исторія. Въ качествѣ иллюстраціи этого сошлюсь на книгу знаменитаго философа Эдуарда Гартманна подъ названіемъ «Judenfrage», въ которой мы находимъ проповѣдь и цѣлую программу антисемитизма въ предѣлахъ системы правопорядка. Гартманнъ исходилъ изъ мысли, что насилія только унижаютъ коренное населеніе и, сообщая еврейству ореолъ мученичества, морально его усиливаютъ... Программа Гартманна не требуетъ впрочемъ разбора уже по одному тому, что антисемитизмъ всегда и вездѣ тяготеетъ къ вульгаризаціи, къ моральнымъ и правовымъ насиліямъ. Я не хочу къ тому же ослабить указаніемъ на книгу Гартманна положительное значеніе правовой идеи, а отмѣчаю только то, что въ правовомъ планѣ не все улавливается въ темѣ о еврействѣ, — тайна еврейской судьбы здѣсь просто не замѣчается.

Само понятіе «исторической судьбы» обыкновенно не принимается серьезно историками, — для нихъ это вообще есть нѣкая риторика, вѣстистое описаніе фактовъ. Я не берусь здѣсь

*) См. его книгу «La Révolution mondiale».

обосновывать понятие «исторической судьбы», скажу лишь кратко, что какъ разъ въ темѣ о еврействѣ безъ этого понятія трудно обойтись; что только пользуясь имъ, мы подходимъ къ болѣе глубокимъ и существеннымъ сторонамъ въ проблемѣ еврейства. Нельзя вѣдь не остановиться съ изумленіемъ передъ фактомъ, что еврейство, раздробленное и разсѣянное въ теченіе вѣковъ, осталось донинѣ единымъ. Еврейство не имѣетъ ни территоріи, ни государственности, но имѣетъ свою исторію, — вообще является субъектомъ, а не объектомъ историческаго процесса. Въ историческихъ судьбахъ еврейства есть дѣйствительное внутреннее единство, внутренняя законѣрность, свой «логость», и это и побуждаетъ думать объ особой «судьбѣ» еврейства. Сознаніе тайны еврейства не нужно возводить къ «мистическому страху» передъ нимъ (какъ это, напр., утверждалъ L. Blois въ своей извѣстной книгѣ «Le salut par les Juifs»), — но всякій, кто захочетъ вдуматься въ историческія судьбы еврейства, не можетъ не почувствовать, что есть въ этихъ судьбахъ дѣйствительно какая-то тайна. Если Ап. Павелъ говорилъ о Ветхомъ Заветѣ, что онъ «закрѣтъ покрываломъ» для тѣхъ, кто не принялъ Христа, — то и судьба еврейства послѣ разсѣянія закрыта еще плотнѣе и остается загадочной донинѣ. Чтѣ больше всего поражаетъ въ еврействѣ послѣ разсѣянія — это его единственная и исключительная живучесть, какъ національнаго цѣлаго. Чѣмъ держится и опредѣляется эта живучесть? Вѣками еврейство жило среди другихъ народовъ, будучи при томъ раздробленнымъ и распыленнымъ, и все же не растворилось въ этихъ народахъ, не растеряло самого себя. Если можно въ исторіи найти нѣсколько параллелей къ устойчивости еврейства, какъ національности, то эти параллели всецѣло объясняются языковой и бытовой обособленностью. Между тѣмъ еврейство обычно очень легко и быстро ассимилируется въ языковомъ отношеніи, крѣпко привязывается къ тому культурному типу, съ которымъ связано по мѣсту жительства, — да и въ быту, за вычетомъ религіозной обрядности, оно обычно сростается со средой. Тѣмъ не менѣе міровое еврейство, при всей глубинѣ культурныхъ и иныхъ различій между отдѣльными его частями, живущими въ разныхъ странахъ, остается единымъ въ своемъ духовномъ складѣ, единымъ въ внутреннихъ императивахъ жизни, опредѣляющихъ особую судьбу, особый путь еврейства. Можетъ быть это можно свести къ расовой, т. е. этнически-біологической особености еврейства? Но понятіе расы есть понятіе историческое, а не чисто біологическое: расы возникаютъ, растворяются, гиб-

нуть, возрождаются, вообще не являются непроницаемыми для биологических и духовных воздействий. Съ другой стороны разнообразіе условий, въ которыхъ жили и живутъ въками разныя части еврейства, само уже является факторомъ, ослабляющимъ исконное единство и понижающимъ духовно биологическую сопротивляемость еврейства воздействиямъ среды. Очевидно, дѣло не въ этнической біологіи, а въ какомъ-то факторѣ, не зависящемъ отъ біологіи. Можно было бы сослаться на понятіе «націи», чтобы объяснить историческую живучесть и поразительное единство еврейства, но тогда придется брать это понятіе не въ его историческомъ, а въ иномъ — сверхисторическомъ смыслѣ, ибо обычное понятіе націи является сугубо историческимъ понятіемъ. Если же нація таитъ въ себѣ независимость отъ историческихъ воздействий, то это уже означаетъ ея «сверхисторическую» сущность... Нѣтъ, по истинѣ судьба еврейства единственна и непостижима, — для пониманія ея безусловно нужно выйти за предѣлы обычныхъ историческихъ понятій.

Съ большимъ мастерствомъ развиваетъ эту мысль Гершензонъ въ его замѣчательномъ этюдѣ «Судьбы еврейскаго народа». Хотя его книга написана собственно противъ сіонизма, но исторіософская позиція Гершензона имѣетъ значеніе далеко за предѣлами этой спеціальной темы. Гершензонъ рѣшительно отвергаетъ всякую попытку найти «раціональное» разрѣшеніе еврейскаго вопроса и отбрасываетъ исторіософскій позитивизмъ, чтобы затѣмъ свести судьбу еврейства къ несенію особой сверхисторической миссіи. Иначе говоря, Гершензонъ ищетъ ключа къ темѣ о еврействѣ въ его особой мистической обреченности, которая опредѣляетъ и историческую неистребимость еврейства и его фатальную несливаемость съ другими народами. Не смущаясь радикальностью своихъ формулъ, Гершензонъ прямо заявляетъ, что всякая попытка раціонально разрѣшить тему еврейства, такъ сказать уложить ее цѣликомъ въ рамки исторической эмпири, есть и з м ѣ н а таинственной миссіи еврейскаго народа. Это миссія и даетъ, по Гершензону, ключъ къ объясненію исторической силы еврейства, — для него не только національная оболочка (еврейскій языкъ, культура), но даже и религіозная скръпа его не объясняютъ этой силы, этой исторической устойчивости еврейства. Гершензонъ даже признаетъ, что въ еврействѣ съ большой силой идетъ распадъ религіозной основы его единства, идетъ процессъ денационализаціи, — и все же еврейство остается и оста-

нется цѣльнѣмъ, скрѣпленное сверхисторической миссiей, врученной еврейскому народу.

Снимается ли этимъ покрывало съ той загадочности, которую мы находимъ въ судьбѣ еврейства? Едва ли, — ибо положительное раскрытiе основного тезиса Гершензона о сверхисторической миссiи еврейства расплывчато и неясно. Насколько силенъ Гершензонъ въ его критикѣ исторiософскаго позитивизма, настолько слаба его собственная конструкцiя. Вотъ нѣсколько иллюстрацiй этого, существенныхъ для попытки «снять покрывало». Предсказывая усиленiе процессовъ распада религiозной основы еврейства, Гершензонъ утверждаетъ, что еврейство идетъ все къ болѣеи «духовной бездомности, какъ уже наступила для него бездомность мiрская». Дальше онъ самъ ставитъ вопросъ, «куда ведетъ еврейство его народная воля (вдохновляемая сверхисторической миссiей. В. З.) — кто скажетъ?» «Вѣрно не безъ причины, читаемъ у него же въ другомъ мѣстѣ, еврейство отрывалось отъ всѣхъ якорей и теперь сбрасываетъ послѣднiй (религiозный. В. З.). Мы теперь можемъ съ увѣренностью предвидѣть: человѣкъ въ еврействѣ станетъ нищъ духомъ, но не къ этой ли цѣли стремится и все человѣчество? Разувѣренiе началось не только для еврейства: гѣмъ же недоумѣнiемъ, той же нищетой разума и тоской заблѣвають нынѣ всѣ горячiе сердцемъ, чистые духомъ, — и эта зараза будетъ шириться между людьми»...

Въ эсхатологической картинѣ, нарисованной Гершензономъ, еврейству усваивается особая миссiя — быть пионеромъ въ общемъ движенiи исторiи къ нѣкоей запредѣльной цѣли. Сама по себѣ мистичность такой исторiософской конструкцiи не отталкиваетъ насъ, ибо Гершензонъ правъ, что «судьбы народовъ еще меньше подвержены власти случая, нежели судьба одного человѣка». Поскольку рационализмъ въ исторiософiи (типа Гегеля) потерпѣлъ крушенiе, поскольку формула того же Гегеля о тождествѣ дѣйствительнаго и рациональнаго («все дѣйствительное — разумно») невѣрна, постольку приходится либо считать историческiя судьбы какого-либо народа «импровизацiей» исторiи (мысль Герцена), либо надо искать «смысла» исторiи въ сверхрациональномъ и сверхисторическомъ началѣ. Въ этомъ порядкѣ въ размышленiяхъ о тайнѣ еврейской судьбы намъ нечего заранѣе бояться того ухода въ мистическую исторiософiю, какой мы находимъ у Гершензона. Однако если мы присмотримся къ тому, какъ толкуетъ Гершензонъ таинственный логосъ исторiи вообще, то это во всякомъ случаѣ вызываетъ сомнѣнiя. Исторiя движется, по Гершензону, къ нѣ-

коей спиритуализации исторического бытия, къ отрыву исторіи отъ всего ея культурнаго и духовнаго содержанія (къ «нищенію духовной»). Цѣль исторіи сводится здѣсь къ тому, чтобы сбросить и развѣять именно то, что накоплялось самой исторіей; такое «развоплощеніе» историческаго бытія должно превратить его въ итогъ исторіи въ онтологическое ничто... Недаромъ въ одномъ мѣстѣ Гершензонъ говоритъ, что въ концѣ исторіи «всѣ мірскія цѣнности окажутся бутафорскими явствами». А вотъ другое странное мѣсто: «евреи больше всѣхъ народовъ были сыты своимъ Богомъ, оттого ихъ голодъ будетъ всего жгуче». Значитъ ли это, что въ концѣ исторіи религіозная жизнь умолкнетъ, настанетъ духовный голодъ и жизнь безъ Бога? Если да, то это значитъ, что центральная библейская идея спасенія, идея мессіанизма, питавшая еврейство искони, совершенно вывѣтривается, а съ ней выпадаетъ, конечно, и та сверхисторическая миссія, о которой говоритъ Гершензонъ... Формально схема Гершензона даетъ свое объясненіе судьбы еврейства, но цѣной глубокихъ противорѣчій. Ветхозавѣтный Израиль и еврейство въ разсѣяніи жили и живутъ духовно мессіанскими чаяніями, въ которыхъ и заключена духовная скръпя еврейства. Если же эта скръпя, т. е. сверхисторическая миссія еврейства заключается въ разрушеніи всѣхъ историческихъ цѣнностей, если пришло время для распада религіозной основы еврейства (что прямо и признаетъ Гершензонъ), для окончательнаго торжества «духовной бездомности», «духовной нищеты», тогда нынѣшняя миссія еврейства есть прямое отрицаніе и отверженіе того, что опредѣляло раньше судьбу еврейства. Еврейскому духу въ дѣйствительности всегда былъ и нынѣ остается чуждъ исторіософскій спиритуализмъ, ведущій къ «развоплощенію» историческаго бытія. Схема Гершензона, формально вѣрная въ томъ смыслѣ, что она ищетъ разгадки судьбы еврейства въ его особой миссіи, во всякомъ случаѣ въ факторахъ сверхисторическаго порядка, — по содержанию своему не объясняетъ ни прошлаго ни настоящаго въ жизни еврейства. У Гершензона чувствуется глубокое отчаяніе, мучительное чувство нарастающей пустоты въ еврейскомъ духѣ, и онъ строитъ цѣлую систему, напоминающую идею нирваны, въ которой тонетъ и пропадаетъ все, что накопляла исторія вѣками...

Я не собираюсь вести запоздалый споръ съ Гершензономъ и остановился на его книгѣ только потому, что въ діалектикѣ

исторіософскихъ конструкцій его позиція является очень важнымъ поворотнымъ пунктомъ. Его критика исторіософскаго позитивизма и упрощеннаго рационализма очень сильна, его поворотъ въ сторону мистицизма въ исторіософіи, т. е. въ сторону внесенія сверхисторическихъ понятій (какъ понятіе «сверхисторической миссіи»), намѣченъ убѣдительно. Неудача Гершензона въ дальнѣйшемъ построеніи опредѣляется, на нашъ взглядъ, тѣмъ, что онъ стремится понять тайну еврейской судьбы изолируя еврейство отъ всей исторіи, въ частности — толкуя судьбу еврейства въ ѣ его отношенія къ христіанству. Если невозможно понять судьбу еврейства изъ него самого, — хотя исторія еврейства остается внутренне единой и цѣльной, — то это означаетъ только то, что внутренняя завязка этой исторіи опредѣляется отношеніемъ еврейства къ чему-то, находящемуся въ его. И конечно здѣсь не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что такой опредѣляющей для судьбы еврейства сферой является христіанство, которое было изначала огромнымъ и потрясающимъ событіемъ внутри самого Израиля. Совершенно невозможно разсматривать христіанство какъ сферу, лишь внѣшне соприкасающуюся съ еврействомъ — наоборотъ, взаимоотношеніе еврейства и христіанства имѣетъ самое основное значеніе какъ для еврейства, такъ и для христіанства и безъ преувеличенія должно быть признано центральною темой исторіи. Такому религіозному подходу къ исторіи всячески противится секуляризмъ, очень глубоко въѣдрившійся въ наше сознаніе, но именно въ еврействѣ его религіозный міръ и его національная судьба такъ неразрывно, такъ интимно связаны одно съ другимъ, что чисто секулярное пониманіе еврейской судьбы прямо невозможно: она оказывается лишенной всякаго глубокаго смысла, предстаетъ передъ нами, какъ т р а г и ч е с к о е н а р о с т а н і е безсмыслицы. Лишь связывая изнутри судьбы еврейства (въ разсѣяніи) съ христіанствомъ, т. е. вдумываясь въ діалектику религіозной судьбы еврейства, мы можемъ «снять покрывало» и разгадать тайну еврейской судьбы. Суть дѣла здѣсь не въ томъ, что христіанство, столь глубоко донынѣ связанное съ Вѣтхимъ Заветомъ, слишкомъ грандіозно, чтобы считать его второстепеннымъ для судьбы еврейства фактомъ (какъ это находимъ и у Гершензона и у другихъ еврейскихъ писателей *), а въ томъ, что христіанство жи-

*) См., напр., книгу **І. М. Бикермана**: «Къ самопознанію еврея», гдѣ эта идея проводится очень ярко.

веть той же «сверхисторической миссіей», какой жилъ Ветхий Заветъ, какой духовно держится еврейство доннынъ. Поэтому либо логось исторіи, общая внутренняя ея смысловая определенность вообще не связаны съ идеей спасенія (которая и составляетъ содержаніе указанной «миссіи»), либо логось всемірной исторіи изнутри определяется этой идеей, — и тогда онъ опредѣляетъ историческія судьбы христіанскаго міра, но онъ же дѣйствуетъ таинственно и въ судьбахъ еврейства. Иначе говоря — либо нельзя понять тайны еврейства послѣ разсвѣнія, не связавъ его изнутри съ христіанствомъ (и обратно, конечно!), либо мы должны обречь себя на исторіософскій алогизмъ, на отрицаніе всякаго «смысла» въ исторіи и ограничиться простымъ описаніемъ фактовъ, безъ надежды уяснить себѣ то, что стоитъ позади этихъ фактовъ и опредѣляетъ ихъ содержаніе...

Въ общей философіи исторіи діалектика этого разсужденія всплывала не разъ, — напр., въ философіи исторіи Герцена. Я очень высоко цѣню исторіософскія построенія Герцена какъ разъ за его острую и непримиримую критику исторіософскаго рационализма, того упрощеннаго подхода къ философіи исторіи, который просто отождествляетъ «логось» исторіи съ фактическимъ движеніемъ исторіи. Раздвигая ихъ, Герценъ считаетъ только съ исторической эмпиріей; ему такъ же чужды упрощенный рационализмъ въ исторіософіи, какъ и поспѣшный детерминизмъ, и онъ приходитъ къ формулѣ, что исторія «импровизируется». Это значитъ, что смысловыя связи въ исторіи случайны, что въ исторіи нѣтъ никакого внутренняго логоса, а есть просто *évolution créatrice* — однако безъ той «инстинктивной разумности», которую находитъ Бергсонъ въ космическомъ процессѣ. Однако отвергая упрощенный рационализмъ, склоняясь въ сторону исторіософскаго алогизма, Герценъ почти вплотную подводитъ къ исторіософскому мистицизму, поскольку въ «импровизаціяхъ» исторіи можетъ неожиданно выступить явленіе, необъяснимое ни изъ слѣпой исторической необходимости (которую страстно отвергаетъ Герценъ), ни изъ чисто внѣшняго случайнаго сочетанія фактовъ. Все своеобразие философіи исторіи у Герцена заключается въ трагическомъ противопоставленіи творческой личности и слѣпой игры историческихъ силъ: категория «смысла» всецѣло входитъ лишь въ внутренній міръ личности, а внѣ ея есть только слѣпая и потому безсмысленная игра стихій. Отсюда черта глубокаго трагизма въ исторіософіи Герцена — онъ никогда не можетъ забыть о творческомъ и вдохновенномъ устремленіи личности къ

свободѣ, къ идеальнымъ задачамъ, но сама личность есть какой-то «выродокъ» исторіи, непостижимая въ ней случайность... Если нѣтъ внѣ личности ничего кромѣ *élan vitale*, а въ самой личности откуда-то появляется *élan vitale spirituel* (какъ предлагаетъ говорить Ad. Ferrière въ своей интересной книгѣ «*Le progrès spirituel*» *), — то откуда эта добавочная духовная сила въ человѣкѣ? Мы неизбежно становимся здѣсь передъ дилеммой: либо духовная сила въ человѣкѣ есть космическая и историческая случайность и тогда это усугубляетъ бессмыслицу бытія, — либо это не случайность, и тогда есть гдѣ-то метафизическая опора для этой духовности въ человѣкѣ... Герцень со всей рѣшительностью отбрасываетъ метафизику исторіи, построенную (у Гегеля, напр.) на ученіи объ имманентномъ исторіи логосѣ, — но что же мѣшать намъ связывать духовную силу въ человѣкѣ съ духовной инстанціей, стоящей внѣ міра, ему трансцендентной? Если не раздѣлять дѣтскаго страха передъ метафизикой вообще, то нечего бояться и въ исторіософіи выходить за предѣлы имманентныхъ исторіи силъ, разъ это нужно, чтобы уяснить себѣ смыслъ въ сплетеніи историческихъ фактовъ. Уже античная идея «рока» была исторіософски нужна въ свое время, чтобы связать во едино жизнь отдѣльнаго человѣка или цѣлаго народа: какъ разъ эта идея рока впервые и ставила передъ сознаніемъ загадочный фактъ такого единства. Мы только не можемъ принять ни античной мифологіи, выросшей вокругъ этой идеи рока, ни самой «слѣпоты» этого рока — но самый принципъ, т. е. необходимость выйти за предѣлы исторіи, чтобы понять связующій событія смыслъ, почему не можемъ мы принять, — особенно если не побоямся дать прямое религиозное истолкованіе этого?

Возвращаясь къ темѣ еврейства, мы должны признать, что эта тема повелительно требуетъ такого исторіософскаго построенія, при которомъ скорбная загадочность еврейской исторіи была бы освобождена отъ подозрѣнія въ пустой и трагической бессмыслицѣ. Всякая попытка «снять покрывало» съ исторіи еврейства имѣетъ право на существованіе, и если это ведетъ къ перестройкѣ застарѣлыхъ исторіософскихъ схемъ, почему этого бояться? Безспорно единство «исторической судьбы» еврейства въ разсѣяніи, непостижима, но тоже безспорна историческая живучесть еврейства. Совершенно законно спросить: куда и что движетъ еврейство? Каковъ «смыслъ» того ро-

*) Paris, 1927.

кового «избранія», которое пало на еврейство въ разсѣяніи?

Это приводитъ насъ вплотную къ той философіи исторіи, которая дана въ христіанствѣ. Правда, христіанскій рационализмъ въ исторіософіи — отъ блаж. Августина до Боссюета — потерпѣлъ въ свое время такой же крахъ, какъ и послѣдовавшій за нимъ рационализмъ секулярной исторіософіи, извѣстный подъ именемъ «теоріи прогресса». Надо, конечно, признать, что и панлогизмъ Гегеля и богословскій и философскій рационализмъ въ исторіософіи надолго дискредитировали самый замыселъ разысканія «логоса» въ исторіи. Христіанская идея Промысла въ исторіи, религиозно живая и нынѣ, богословски оказалась надолго отброшенной, не общающей ничего для философіи исторіи. Но крахъ упрощеннаго рационализма въ исторіософіи не означаетъ бесплодности самой идеи Промысла въ исторіи, т. е. не упраздняетъ права выходить за предѣлы исторической эмпирии и искать ключа къ разгадкѣ запутанныхъ историческихъ темъ въ сверхисторической инстанціи... Я не буду входить здѣсь въ дальнѣйшій анализъ этой идеи, но утверждаю, что въ исторіософской темѣ о еврействѣ мы имѣемъ полное право, въ качествѣ гипотезы, исходить и изъ христіанской концепціи исторіи. И если эта концепція поможетъ намъ понять темную и таинственную судьбу еврейства, это лишь укрѣпитъ нашу позицію.

Тема еврейства освящена съ исключительной и единственной глубиной Ап. Павломъ; величавая картина, нарисованная имъ, навсегда входитъ въ наше сердце, если мы дадимъ себѣ трудъ вникнуть въ нее *). Ап. Павелъ какъ никто другой былъ призванъ къ тому, чтобы столковать судьбу еврейства, — онъ былъ вѣрнымъ сыномъ своего народа, горячо и страстно любившимъ его, очень глубоко и болѣзненно переживавшимъ его страданія. Но какъ христіанинъ, какъ «Апостолъ языковъ», онъ съ меньшей болѣзненностью переживалъ религиозную драму еврейства, не принявшаго Христа. Онъ самъ пишетъ (посланіе къ Римлянамъ): «великая печаль для меня и непрестанное мученіе сердцу моему: я желалъ бы самъ быть отлученнымъ отъ Христа за братьевъ моихъ, родныхъ мнѣ по плоти». Этотъ вопль, напоминающій страстные слова Моисея, свидѣтельствуется о томъ, какъ болѣзненно переживалъ Ап. Павелъ религиозную драму еврейства, не узрѣвшаго во Христѣ Мессію. Вся

*) Изъ книгъ, посвященныхъ анализу этихъ мѣстъ, особенно отмѣчу *Erik Petersen*: «*Le mystère des Juifs et des Gentiles dans l'Eglise*» (trad. de l'allemand). Paris. См. также статьи Влад. Соловьева.

душа, неустанныя молитвы Ап. Павла направлены на вопросъ о спасеніи Израиля, — его мучило то, что христіанство съ такой силой распространялось среди язычниковъ, а большія массы еврейства оставались внѣ христіанства. Но Ап. Павелъ глубоко чувствуетъ, что эта религіозная драма внутри еврейства не разорвала связей еврейства съ Богомъ; онъ категорически говоритъ (Римл. II, 1): «Богъ не отвергъ Израиля». Этого мало: Ап. Павелъ дальше пророчесствуетъ, что «весь Израиль спасется», — а ожесточеніе Израиля противъ Христа — только «до времени». Дальше находимъ еще болѣе сильныя и даже страшныя, непостижимыя слова: ожесточеніе еврейства противъ христіанства оказывается фактомъ провиденціальнымъ. Эта идея сразу кажется такой странной, что и самъ Ап. Павелъ, заканчивая эту главу, обращаетъ вниманіе на неисповѣдимость для насъ путей Божіихъ. «О, бездна богатства и премудрости вѣдѣнія Божія, восклицаетъ онъ: какъ непостижимы судьбы Его и неизслѣдимы пути Его!». «Не хочу оставить васъ, братія, писать онъ, въ невѣдѣніи о тайнѣ сей — чтобы вы не мечтали о себѣ: ожесточеніе произошло въ Израилѣ отчасти, до времени — пока войдетъ полное число язычниковъ». Въ этихъ послѣднихъ словахъ Ап. Павла и дано указаніе на «провиденціальность» ожесточенія Израиля; въ свѣтѣ его словъ должны мы признать, что по христіанской концепціи исторіи, какъ она раскрыта у Ап. Павла, Израиль до нынѣ (хотя и негативно) служитъ таинственному дѣлу спасенія всего человѣчества. Чтобы подчеркнуть эту именно мысль, Ап. Павелъ нѣсколько разъ выражаетъ ее въ различныхъ формахъ. «Въ отношеніи къ благовѣстію, читаемъ тутъ же, они (т. е. Израиль) враги ради васъ (т. е. язычниковъ)»; и дальше: «какъ и вы нѣкогда были непослушны Богу (т. е. впали въ язычество), а нынѣ помилованы, по непослушанію ихъ (т. е. Израиля), такъ и они теперь непослушны для помилованія васъ». Къ этимъ словамъ Ап. Павелъ добавляетъ таинственную общую мысль: «всѣхъ заключилъ Богъ въ непослушаніе, чтобы всѣхъ помиловать».

Чтобы исторіософски изъяснить идеи Ап. Павла и показать, что здѣсь дѣйствительно снимается покрывало съ тайны Израиля, для этого нужно въ центрѣ исторіософіи поставить понятіе спасенія міра, иначе говоря связать весь историческій процессъ съ идеей грѣхопаденія и первороднаго грѣха. Какъ известно, эта библейская идея не получила надлежащаго развитія въ ветхозавѣтномъ богословіи; хотя библейскій мессіаниззмъ въ

сущности непонятенъ безъ нея, но богословская обработка понятія первороднаго грѣха связана уже съ христіанствомъ *). Въ этомъ своеобразіи именно христіанской философіи исторіи, основнымъ и центральнымъ событіемъ въ которой является Боговоплощеніе. Вся теорія искупленія, столь существенная для христіанскаго истолкованія внутренняго логоса исторіи, немыслима безъ идеи первороднаго грѣха **), — а раскрытіе послѣдней идеи ведетъ къ тому принципу, который былъ выдвинутъ уже Ап. Павломъ и до сихъ поръ остается недостаточно богословски развитъ — принципу е д и н о с у ш і я ч е л о в ѣ ч е с т в а. Здѣсь не мѣсто входить въ изложеніе этой доктрины ***), однако намъ важно отмѣтить, что только она дѣлаетъ понятнымъ то положеніе, къ которому смутно всегда стремилась исторіософія, — а именно то, что субъектомъ исторіи являются не о т д ѣ л ь н ы е н а р о д ы, а ч е л о в ѣ ч е с т в о в ѣ ц ѣ л о м ѣ — какъ въ его эмпирическомъ единствѣ, такъ и сверхэмпирическомъ «единосущіи». Въ исторической эмпириі чело- вѣчество выступаетъ скорѣе какъ чисто внѣшняя «сумма» отдѣльныхъ народовъ, чѣмъ какъ единый субъектъ «всемірной» исторіи. И все же эта исторіософская конструкція, безъ которой невозможно понять основныя идеи христіанской философіи исторіи, мыслима и можетъ быть защищаема: только при принятіи ея и можно истолковывать процессъ всемірной исторіи какъ путь къ спасенію, только при этомъ и возможно связать съ проблемами исторіософіи дѣло Спасителя на землѣ, которое открыло путь спасенія не только каждому отдѣльному чело- вѣку, но и всему чело- вѣчеству — и только потому и всякому чело- вѣку...

Въ свѣтѣ этихъ построеній указанія Ап. Павла о судьбѣ Израиля пріобрѣтаютъ исключительную значительность для исторіософіи: снимаемая «покрывало» съ тайны Израиля, они освѣщаютъ тайну всей исторіи, ибо, по Ап. Павлу, еврейство и нынѣ диалектически связано съ совершающимся въ исторіи и черезъ исторію спасеніемъ міра. Именно потому Ап. Павелъ и предупреждаетъ христіанъ не отъ Израиля, чтобы они «не превозносились», ибо «если Богъ не пощадилъ природныхъ

*) См. объ этомъ, напр., въ книгѣ *N. P. Williams: «The ideas of the Fall and Original Sin».*

**) См. мою статью на эту тему въ Пути № 56 («Зло въ чело- вѣкѣ»).

***) См. мой очеркъ антропологии въ книгѣ «Вопросы воспитанія въ свѣтѣ христіанской антропологии».

вѣтвей, то смотри, пошадитъ ли Онъ тебя...» (Римл. II, 21). «Ожесточеніе» еврейства оказывается провиденціальнымъ, — будучи допущено для «возбужденія ревности» у язычниковъ, и потому оно не означаетъ окончательнаго отверженія Израиля, о которомъ Ап. Павелъ пророчествуетъ, что «Израиль весь спасется». А это значитъ, что съ точки зрѣнія Ап. Павла (очевидно обязательной для христіанскаго сознанія) историческая, точнѣе говоря, сверхисторическая миссія еврейства еще не кончена. По діалектикѣ спасенія міра, какъ ее строитъ Ап. Павелъ, еврейство еще остается мистической закваской міровой исторіи, «пока не войдетъ полное число язычниковъ»... Я хорошо знаю, какъ много есть христіанъ, которые никакъ не хотятъ принять прямыхъ и ясныхъ указаній Ап. Павла. Они вновь закрываютъ для себя покрываломъ тайну Израиля, не замѣчая того, что тѣмъ самымъ закрываютъ покрываломъ и тайну исторіи вообще и своего спасенія въ частности! Изъ темной глубины сознанія встаетъ у многихъ христіанъ гнѣвное противленіе указаніямъ Ап. Павла, — а затѣмъ по логикѣ, которой подчинено все злое въ человѣкѣ, изъ этого противленія, изъ отверженія нашей мистической связи съ еврействомъ вырастаетъ отрицаніе священности для христіанъ Вѣтнаго Завѣта или выдумка нелѣпыхъ теорій объ «арійствѣ» Спасителя. Еврейство же, уже по другимъ мотивамъ, тоже не хочетъ принять указаній Ап. Павла и строитъ метафизику своей загадочной исторіи внѣ діалектическаго связыванія судебъ еврейства съ дѣломъ Христа, съ христіанствомъ. Образецъ этого мы видѣли въ размышленіяхъ Гершензона... Такъ покрывало надъ тайной Израиля и остается не снятымъ для обѣихъ сторонъ, угасаетъ трепеть передъ священной тайной, совершающейся въ исторіи. Религіозное воспріятіе исторіи, проникновеніе въ смыслъ историческихъ движеній, скрытый за эмпирической оболочкой исторіи, и религіозное освѣщеніе этого смысла представляются нынѣ огромному большинству незаконнымъ мистицизмомъ въ исторіософіи или смѣшной наивностью. Неудивительно, что въ трактованіи темы о еврействѣ и друзья и враги еврейства обычно не возвышаются надъ исторической эмпиріей, не ощущаютъ всей запредѣльной существенности этой темы. Схватки между друзьями и врагами еврейства не идутъ дальше сферы права и оттого остаются безплодными: побѣда одной или другой стороны одинаково не доходитъ до основнаго религіознаго пласта, и исторія попрежнему движется для нихъ внѣ основнаго и единственнаго принципа, въ свѣтѣ котораго раскрывается таинствен-

ная значительность еврейства въ исторіи. Не отрицая реальности исторической эмпири, не ослабляя значенія всего, что дѣлается для регуляціи отношеній въ пластѣ исторической эмпири, мы должны осознать, что общій смыслъ исторіи непостижимъ внѣ темы спасенія, внѣ мессіанскихъ чаяній, внѣ ихъ осуществленія въ Спасителѣ, внѣ дѣйствія Церкви въ мірѣ. Въ томъ и заключается особая, въ извѣстномъ смыслѣ единственная значительность темы о еврействѣ, что она представляетъ (внѣ указанного истолкованія) неразрѣшенную загадку — и для исторіософскаго позитивизма и упрощеннаго раціонализма, — и для того расплывчатого внѣхристіанскаго мистицизма, который мы видѣли у Гершензона. Для раскрытія тайны еврейской судьбы нужно вспомнить забытое пророчество, забытыя слова Ап. Павла, — они одни только и дадутъ освѣщеніе этой тайны, удовлетворяющее наше сознание. Тема о еврействѣ безъ преувеличеній является *experimentum crucis* и въ планѣ конкретной политики и въ планѣ исторіософскомъ. Видно, исторіи предстоитъ еще долго дѣлаться, если не только для еврейства, но и для подавляющаго большинства христіанъ указанія Ап. Павла остаются втунѣ: слова его забыты, покрывало остается не снятымъ, сердца наши остаются косными къ пониманію того, что скрыто въ письменахъ исторіи...

В. В. Зѣньковскій.

Чѣмъ можетъ быть сейчасъ соціализмъ ?

Уже Эд. Бернштейнъ, и тому 45 лѣтъ, писалъ, что социализмъ становится неяснымъ и туманнымъ понятіемъ. Позднѣе Гриффитъ насчиталъ чуть-ли не полтораста весьма отличающихся другъ отъ друга опредѣлений социализма. Строительство по марксистской схемѣ социализма въ Россіи и копированіе его во множествѣ пунктовъ фашизмомъ внесли новую огромную смуту въ умы. Понятіе социализма совсѣмъ стало туманнымъ. Россійскій экспериментъ — карриатура на социализмъ! — съ возмущеніемъ заявляютъ тысячи социалистовъ. Въ рядахъ протестующихъ находятся и тѣ, которые подъ знаменемъ «революціонно - пролетарской идеологіи» стремятся сдѣлать невозможное, т. е. обойти совѣтскій социализмъ съ «лѣвой» стороны. Если присмотрѣться къ тому, что въ качествѣ «истиннаго» социализма они противопоставляютъ социализму ложному, придется ужаснуться людской слѣпотѣ. Основныя, руководящія идеи у нихъ оказываются тождественными съ тѣми, что на практикѣ приводятъ и не могутъ не приводить къ русскійскимъ результатамъ. Различіе сводится лишь къ словеснымъ нюансамъ, слобренныхъ самомнѣніемъ: у насъ-то навѣрное все вышло бы прекрасно!

Подавляющее большинство социалистовъ не занимаетъ и этой позиціи. Ихъ социализмъ ограничивается более или менѣе удачной, болѣе или менѣе широкой, но безперспективной эмпирикой дня. Есть стремленіе къ лучшему, позовъ къ измѣненію существующаго строя, сопровождаемый обычнымъ, какъ сказалъ Де Манъ, «орнаментомъ» изъ словъ объ «освобожденіи угнетеннаго человечества», о «полномъ равенствѣ», и «безклассовомъ обществѣ». Старое «бebelевское» представленіе о социализмѣ явно умерло. Старыя формулы обветшали, висятъ, какъ ключья разорванной одежды. Но это не значитъ, что умеръ социализмъ. Наоборотъ, никогда онъ еще не былъ такъ могучъ, живъ, убѣдителенъ, не было такой ведущей силы. Нужно толь-

ко понять, во что онъ превратился и чѣмъ онъ сейчасъ можетъ быть.

Россійскій экспериментъ и практика фашизма вынудили социалистовъ къ переоцѣнкѣ цѣнности «буржуазныхъ свободъ» и принциповъ «буржуазной демократіи». Увидѣвъ воочию, что несетъ ихъ потеря, они по-иному ихъ начинаютъ цѣнить. Растетъ пониманіе, не у всѣхъ глубокое ощущение, что послѣдовательное проведеніе въ жизнь, скажемъ для краткости, «Декларациіи правъ человѣка и гражданина», не просто «средство» достиженія социализма, а есть самый социализмъ. Есть его содержаніе, его форма, его неотемлемая органическая часть, его воздухъ, климатъ, безъ которыхъ никакого социализма быть не можетъ. Соціальное движеніе нашей эпохи не довольствуется однимъ «климатомъ» демократіи. Къ «Декларациіи правъ человѣка и гражданина» оно прибавляетъ «Декларацию правъ трудящагося человѣчества». Въ этомъ и заключается основная, специфическая черта социализма. Политическая демократія дополняется у него соціальной демократіей, опертой на идею права на жизнь, на идею уничтоженія эксплуатаціи человѣка человѣкомъ. Эту формулу, чтобы не оставаться въ туманѣ, мы немедленно самымъ детальнымъ образомъ должны расшифровать. Въ нее нужно внести полную ясность, оставаясь на землѣ, въ мирѣ прозаическихъ вещей, не улетая въ небо философскихъ и моральныхъ спекуляцій. «Равенство», «безклассовое общество», «братство» — прекрасныя слова; но мы совсѣмъ не желаемъ, чтобы нашъ вопросъ былъ утопленъ даже въ прекрасныхъ словахъ...

Отвѣчая на вопросъ, мы говоримъ: уничтоженіе эксплуатаціи человѣка человѣкомъ, воплощеніе въ жизнь дѣйствительнаго права на жизнь, фактически осуществляется введеніемъ въ структуру общества слѣдующихъ конкретныхъ правъ. Право на трудъ (уничтоженіе безработицы) и максимальное вознагражденіе всякаго производительнаго труда, будь то трудъ рабочаго, служащаго, ученаго, крестьянина, чиновника, ремесленника, администратора, торговца. Высота вознагражденія зависитъ отъ объема народнаго дохода, величины матеріальныхъ ресурсовъ общества, естественныхъ богатствъ національной территоріи. Когда общественный трудъ мало производителенъ, нѣтъ секрета, нѣтъ средствъ (не считая грабежа сосѣда) слѣлать бѣльшимъ его вознагражденіе. Право на самый короткій рабочий день. Но за длиною ея стоятъ объективныя условія. Она зависитъ отъ имѣющейся у общества техники, организаціи его энергоресурсовъ, умѣнія замѣнить тяжелый физиче-

скій трудъ механическими двигателями, работою силъ природы. Еще недавно существовалъ каторжный рабочий день. Въ 60-хъ годахъ 19-го вѣка индустріальные рабочіе Франціи, какъ почти всюду въ мірѣ, работали 12-13 часовъ. Съ 1900 г. сталъ распространяться 10 часовою рабочей день. Съ 1919 г. онъ замѣняется 8 часовымъ. Огромная социальная реформа могла имѣть мѣсто только потому, что ей предшествовала и сопутствовала техническая революція, накопленіе техническихъ ресурсовъ. Мощность механическихъ двигателей въ индустріи Франціи, составлявшая въ 1860 г., всего на всего, 350.000 киловаттъ, поднялась до 1.713.000 въ 1900 г. и до 11.340.000 въ 1931 г. Это и обезпечило переходъ на болѣе короткій рабочий день, уходъ отъ каторжнаго труда. Право всѣхъ трудящихся, не обладающихъ прожиточнымъ минимумомъ, имѣть, послѣ извѣстнаго возраста, пенсію, достаточно обезпечивающую дни старости. Въ наше время такое требованіе должно быть поставлено впереди желанія сокращеннаго рабочаго дня. Культура общества, его гуманность, его мораль опредѣляются больше всего тѣмъ, какъ оно относится къ старымъ, больнымъ и дѣтямъ. Разумѣется, чѣмъ значительнѣе національная продукція и прибавочный продуктъ, тѣмъ большую часть его можно направить на пенсіи. И чѣмъ выше техника и производительность общественнаго труда, тѣмъ раньше работники смогутъ уйти на отдыхъ. При высокой производительности труда нужно меньшее количество работниковъ, чтобы поддерживать и повышать уровень національнаго производства.

Право каждого и всѣхъ на образованіе, на приобщеніе ко всему, что создается и уже накоплено человѣческимъ коллективомъ въ многовѣковомъ развитіи науки, техники, искусства. Отсюда необходимость максимальнаго, матеріально обезпеченнаго, продолженія обязательнаго школьнаго возраста и созданія фондовъ стипендій для лицъ, получающихъ высшее образованіе. Право всѣхъ людей на всемірную охрану ихъ жизни и здоровья. Право на ежегодный отдыхъ и отпускъ отъ работы. Право на возможность имѣть разумныя развлечения. Это предполагаетъ доступный всѣмъ входъ въ театры и музеи, охватывающую страну сѣть социальнаго страхованія, социальной гигиены, медицины, организацію народнаго туризма и всѣхъ видовъ спорта, распространеніе домовъ отдыха и народныхъ клубовъ. Это предполагаетъ кипучую дѣятельность государства, департаментовъ, городовъ, сельскихъ коммунъ, направленную на то, чтобы сдѣлать удобнѣе, разумнѣе, красивѣе коллективный очагъ, обезпечить его водой, свѣтомъ, тепломъ, транспор-

томъ, канализаціей, зеленью, скверами, цвѣтами, музеями, общественными зданіями. Право женщины-матери и ребенка на особое вниманіе общества, ихъ поддержку и защиту, что требуетъ организациі медицинскихъ консультацій и помощи, доступныхъ родильныхъ домовъ, субсидій при рожденіи ребенка, субсидіи на его содержаніе, распространенія яслей, дѣтскихъ садовъ, разныхъ учрежденій дошкольнаго и школьнаго возраста. Право «на кровъ», на жилище, на максимумъ жилой площади, снабженной удобствами, гигиеной, комфортомъ эпохи. «Культура народа измѣряется качествомъ его жилищъ». Жилище, послѣ одежды, является какъ бы второй внѣшней оболочкой челоуѣка. Нигдѣ личность не можетъ развернуться съ такой свободой и полнотой, безъ помѣхи ее стѣсняющей воли другихъ людей, какъ въ этомъ коконѣ, въ этомъ, и лучше всего, ей полностью принадлежащемъ жилищѣ. Еще недавно старій французскій девизъ «être chez soi dans une maison à soi» вызывалъ презрительную улыбку въ кругахъ иныхъ «строителей будущей жизни». Въ немъ видѣли проявленіе ограниченнаго, собственническаго инстинкта мелкаго буржуа. «Не нужно никакой собственности, все получите изъ общаго котла». Времена измѣнились. Способствовать рабочимъ, служащимъ, ремесленникамъ, чиновникамъ и т. д. приобрести «une maison à soi» нынѣ входитъ въ число государственныхъ заботъ. Потребность въ собственномъ жилищѣ, отвѣчающемъ индивидуальному вкусу, становится такой-же сильной, какъ потребность имѣть одежду, бѣлье, обувь. Увы, челоуѣчество еще очень далеко отъ рѣшенія жилищнаго вопроса...

По необходимости слишкомъ кратко, мы очертили конкретное выраженіе права на жизнь. Кто хочетъ, насъ пойметъ. Рѣчь идетъ не о бредняхъ, сказкахъ, мифахъ, недоказуемыхъ формулахъ, а вещахъ реальныхъ, понятныхъ, осязаемыхъ. Глупецъ скажетъ, что рѣчь идетъ о «слишкомъ уже простыхъ вещахъ». На самомъ же дѣлѣ, въ жизни, эти «простыя вещи» крайне сложны. Совокупность этихъ требованій — происхожденія весьма недавняго. Это продуктъ самой последней стадіи нашей эпохи. Ихъ характерная черта та, что эти требованія не отдѣльныхъ лицъ, а массы, д е с я т к о в ь м и л л и о н о в ь л ю д е й. Тутъ, какъ въ зеркалѣ, отражается міровоззрѣніе эпохи. На осуществленіе этого права на жизнь, конкретно представленнаго въ перечисленныхъ пунктахъ, на осуществленіе режима демократіи, «климата» свободъ, политическаго и гражданскаго равенства и направляется все современное социальное движеніе. Въ этомъ и есть с о ц и а л и з м ъ. Въ этомъ и

есть его главный нервъ. Не что либо другое, не измѣненіе титуловъ собственности, «не социализация средствъ производства», а именно это составляетъ реальную, жизненную, коренную суть социализма, осуществляющагося и осуществляемаго не черезъ 200 лѣтъ, не черезъ 70 лѣтъ, а сейчасъ, сегодня, завтра.

Въ содержаніи цѣлей нѣтъ ничего предѣльнаго, конечнаго. За рабочей недѣлею въ 40 часовъ можетъ послѣдовать недѣля въ 30 часовъ. Минимальная заработная плата можетъ быть не X единицъ, а 2X или 3X. Обязательный школьный возрастъ можетъ быть вмѣсто 15 лѣтъ продолженъ до 18. Уходъ на пенсію будетъ происходить не въ 55 лѣтъ, а въ 45 лѣтъ. Желаніемъ миллионновъ людей будетъ не обладаніе автомобилемъ, а самолетомъ. Никакого конца желаніямъ нѣтъ, какъ нѣтъ и конца социальнаго и технического прогресса. Въ который разъ нужно повторять — «конечная цѣль ничто, движеніе все»? И чѣмъ полнѣе и глубже въ этомъ непрерывномъ движеніи впередъ претворяется въ жизни очерченная совокупность желаній, тѣмъ радикальнѣе измѣняется самая структура общества, дѣлаясь социалистической. Каждый шагъ въ этомъ направленіи, измѣняя условія жизни и взаимоотношенія людей, постепенно ограничиваетъ эксплуатацію чело-вѣка чело-вѣкомъ. Растетъ равенство въ пользованіи благами жизни. Они все болѣе становятся для всѣхъ доступными. Если массы трудящихся имѣютъ комфортабельное жилище, хороший заработокъ, короткій рабочий день, отпускъ, позволяющій имѣть досугъ, заниматься искусствомъ, спортомъ, самообразованиемъ или путешествіемъ, если дни ихъ старости обезпечены пенсіей, если въ дни болѣзни они получаютъ всю необходимую помощь и т. д., вопросъ объ эксплуатаціи чело-вѣка чело-вѣкомъ фактически исчезаетъ, и отпадаетъ. Эксплуатация въ этихъ условіяхъ просто перестаетъ ощущаться, переводясь скорѣе въ область отвлеченныхъ теоретическихъ вопросовъ.

Куски подлиннаго, живого социализма, большей или меньшей величины, уже повсюду вкраплены въ толщу современнаго «капиталистическаго» строя. Въ Америкѣ, во многихъ отрасляхъ промышленности, рабочіе, благодаря высокой техникѣ, имѣютъ возможность уже сейчасъ работать только 32 часа въ недѣлю. Развѣ это не кусокъ социализма? Въ 1940 году максимальная рабочая недѣля во всей индустріи Америки будетъ не больше 40 часовъ, а минимальная заработная плата, согласно принятому закону, должна достигнуть 40 центовъ въ часъ. Въ

годъ это около 29.000 нынѣшнихъ франковъ — высота невѣдомая экономикѣ болѣе слабой Европы! Развѣ это уже не частица социализма? Въ Даніи каждый человекъ, достигшій 65 лѣтъ, имѣющій доходъ ниже прожиточнаго, довольно высокаго, минимума, получаетъ пенсію. Десятки тысячъ престарѣлыхъ пенсионеровъ, среди которыхъ въ скандинавскихъ странахъ весьма нередки 80-лѣтніе, живутъ въ специально для нихъ построенныхъ, красивыхъ, комфортабельно оборудованныхъ отеляхъ. Ихъ кормятъ, одѣваютъ, обуваютъ, организуютъ для нихъ развлечения, выдаютъ карманные деньги. Эта забота о старыхъ развѣ не социализмъ? Въ Новозеландіи правительство Саважъ пошло еще дальше въ обезпеченіи старости. Каждая чета, въ которой мужъ достигъ 60 лѣтъ, имѣетъ право на пенсію въ размѣрѣ 78 новозеландскихъ фунтовъ стерлинговъ, т. е. свыше 16.000 французскихъ франковъ. Развѣ это не социализмъ? Въ Норвегіи теперь минимальное число хилыхъ дѣтей. Растетъ здоровое, физически крѣпкое и интеллектуально развитое юное поколѣніе. За 1920-1935 гг. средній ростъ мальчиковъ и дѣвочекъ въ 14 лѣтъ, обучающихся въ первоначальныхъ школахъ, увеличился на 7 сантиметровъ. Такому «чуду» нація обязана четыремъ специальнымъ мѣрамъ. 93% дѣтей, а сейчасъ, вѣроятно, процентъ подходит къ 100, подвергаются систематическому медицинскому контролю и наблюденію. Въ школахъ практикуется разумно руководимый спортъ. Проводится принципъ, что въ странѣ ни въ одной семьѣ не можетъ быть ребенка, который не провелъ-бы по меньшей мѣрѣ недѣлю на пляжѣ, въ горахъ, въ деревнѣ, въ лѣсу. Дѣти получаютъ въ школахъ особый завтракъ: «завтракъ Осло». Онъ состоитъ изъ хлѣба съ масломъ и сыромъ, поллитра неснятого молока, сырой моркови, половины яблока или апельсина. Эта прекрасная забота о юномъ поколѣніи — развѣ это не социализмъ? Въ Англіи съ 1919 по 1937 г. произошла настоящая жилищная революція. За эти годы выстроено три съ половиной милліона новыхъ многоэтажныхъ домовъ, виллъ, коттеджей. Въ 1935 г. каждый день появлялась, въ среднемъ, тысяча новыхъ домовъ. Множество рабочихъ, чиновниковъ, служащихъ сдѣлались собственниками коттеджей. Въ новостроенные дома, свѣтлые, отвѣчающіе требованіямъ гигиены, снабженные ванными и всякимъ комфортомъ, изъ старыхъ, сырыхъ темныхъ квартиръ и норъ переселилась треть населенія Англіи и Уэльса! Разве это не подлинный социализмъ, хотя никакой «социализаціи средствъ и орудій производства» въ Англіи, какъ и въ остальныхъ всѣхъ странахъ, нѣтъ?

Мы дали первые поправки под руку примѣры. Ихъ можно было-бы безъ конца умножать, приводя иллюстраціи того, что въ смыслѣ выполненія «права на жизнь» сдѣлано и дѣлается въ Финляндіи, Швеціи, Голландіи, Люксембургѣ, Франціи, Австраліи, Канадѣ, задавленной Чехословакіи, не забывая, конечно, что очень много интереснаго въ этой области есть подъ тяжкимъ колакомъ авторитарныхъ и фашистскихъ странахъ — Россіи, Германіи, Италіи, даже Турціи и Португаліи. Миръ, который называется «капиталистическимъ» и «буржуазнымъ», находится въ процессѣ мощной и ускоренной трансформации. Изъ поръ капитализма пробивается и растетъ социализмъ. Мы стоимъ на грани двухъ эпохъ. Одна исчезаетъ. Другая все болѣе надвигается. «Двѣ эпохи» не означаютъ двухъ абсолютно несравнимыхъ социальныхъ, техническихъ, культурныхъ содержаній. Такого противоположенія никогда не бываетъ въ исторической дѣйствительности. Новая эпоха — никогда не появляется съ субботы на воскресенье, какъ *deus ex machina*. Формула Ф. Энгельса о «скачкѣ изъ царства необходимости въ царство свободы» чистѣйшая метафизика. Всѣ элементы новой жизни всегда, въ томъ или иномъ количествѣ, находятся въ нѣдрахъ старой жизни. И крайне трудно опредѣлить, въ какой моментъ количество этихъ новыхъ элементовъ переходитъ уже въ качество...

Множество социалистическихъ Симеоновъ столпниковъ не видятъ и не цѣнятъ происшедшихъ грандіозныхъ измѣненій. Они попрежнему твердятъ только шпаргалки о царствующемъ капиталѣ и поѣданіи имъ прибавочнаго продукта. Здѣсь нѣтъ мѣста анализировать глубокую эволюцію современнаго промышленнаго капитализма, о которой, повидимому, столпники имѣютъ весьма плохое представленіе. Ограничусь только одной иллюстраціей этой эволюціи. Въ 1937 г. 260 крупнѣйшихъ акціонерныхъ обществъ Франціи сдѣлали оборотъ въ 19.852 милліона франковъ. Новая цѣнность, созданная въ процессѣ производства и подлежащая распредѣленію, равнялась 7.497 милліоновъ франковъ. Какъ она была распредѣлена? Львиную долю — **67,2%** получили рабочіе и служащіе въ видѣ заработной платы и добавки къ ней въ формѣ расходовъ акціонерныхъ обществъ на социальные нужды. Изъ новосозданной цѣнности на нужды государства, оплату чиновниковъ, пенсіи, разныя социально-культурныя цѣли и, увы, на неизбѣжное пока вооруженіе, взято разными налогами **23,6%**. Акціонерамъ и облигационерамъ этихъ обществъ осталось **9,6%**. При здоровомъ веденіи дѣла эти 9,6% не могутъ цѣликомъ пойти въ потребленіе капи-

талистовъ. Изъ нихъ часть должна уйти въ накопленіе на расширение производства. Представивъ распределеніе доходовъ въ видѣ часовъ работы, получимъ такую пропорцію. Изъ недѣли въ 40 часовъ, существовавшей всюду въ этихъ обществахъ въ 1937 г., рабочій работаль на себя 26 часовъ 52 минуты. На государство, т. е. фактически и для себя, 9 часовъ 16 минутъ. На капиталъ онъ работаль — 3 часа 52 минуты. Это весьма не похоже на то, что было, напр., въ срединѣ 19-го вѣка, когда Марксъ писалъ свой «Капиталь». Происходитъ нѣчто обратное тому, что онъ утверждалъ и это значить, что формулы, бывшія вѣрными во времена Маркса, сейчасъ требуютъ полного пересмотра. Въ ходѣ новѣйшей эволюціи, даже при полной и формальной неприкосновенности частной собственности, созданный продуктъ все болѣе социализируется, уходитъ изъ рукъ капиталистовъ. Въ малыхъ и среднихъ предпріятіяхъ прибавочный продуктъ уже почти совсѣмъ ускользаетъ отъ ихъ владѣльцевъ. То, что они зарабатываютъ, представляетъ собою гораздо болѣе вознагражденіе за административную функцію, за управленіе предпріятіемъ, чѣмъ прибыль, присвоеніе прибавочнаго продукта. Въ крупныхъ предпріятіяхъ акціонернаго типа также все болѣе падаетъ доля капитала и, наоборотъ, все болѣе растетъ доля, изымаемая съ помощью разныхъ налоговъ и поступающая въ руки государства, городовъ, коммунъ на социальныя и культурныя цѣли общества. Несчастье, что основные и важнѣйшіе процессы современной эволюціи у многихъ людей заслонены пыльными очками теорій, переставшихъ отражать факты жизни, отставшихъ отъ нея.

Идея права на жизнь, въ странахъ, охваченныхъ современной цивилизаціей, культурой, вступившихъ въ новую стадію эволюціи, все болѣе принимаетъ характеръ властнаго категорическаго императива, моральнаго принципа, неопровержимаго, безспорнаго. Въ этомъ сила социализма. Не быть социалистомъ сейчасъ стыдно. Только нужно условиться, что подъ этимъ понимать. Нынѣ никто уже не осмѣлится, какъ Мандевилль, не стѣсняясь, заявлять, что «для счастья однихъ нужно, чтобы огромное большинство народа оставалось въ бѣдности и невѣжествѣ», что «есть классы, обреченные на трудъ и другіе, имѣющие право наслаждаться жизнью». Цѣли социализма, повторяю, безспорны, что же касается матеріальныхъ средствъ ихъ осуществленія, мѣропріятій конкретныхъ, практическихъ, то здѣсь нѣтъ чего либо безспорнаго, окончательнаго, повѣрен-

наго. Рузвельтъ правъ: «эпоха соціального піонерства только начинается». Мѣра, годная въ одной странѣ, непримѣнима къ другой. Средства нужно искать. Ихъ нужно создавать. Ихъ нужно творить, причѣмъ даже въ наиболѣе революціонныя, наименѣе культурныя головы, вопреки ихъ воли, понемногу проникаетъ мысль, что социализмъ можетъ быть построенъ не въ обстановкѣ остревѣлой классовой борьбы, не въ процессѣ гражданской войны, разрушающей экономику, а потому и ресурсы социализма, — а въ условіяхъ соціального мира. И другое условіе. Его нельзя построить безъ одновременнаго приведенія въ порядокъ международныхъ отношеній. Впрочемъ, это такая огромная, жгучая, сложная проблема, упирающаяся въ необходимость новой организациі мірового хозяйства, что лучше ее совсѣмъ не затрагивать въ рамкахъ статьи, цѣликомъ посвящаемой другой сторонѣ социализма.

. Зафиксированныя цѣли социализма, совершенно очевидно, требуютъ для ихъ реализаціи большихъ матеріальныхъ средствъ. Гдѣ и какъ ихъ взять Безъ отвѣта на это, социализмъ превращается въ нуль. Можно очень много и красиво говорить о пенсіяхъ старымъ работникамъ, но если одновременно не указать, сколько для этого требуется средствъ и изъ какого источника, получится, въ лучшемъ случаѣ, отвлеченная пропаганда, но не практическое строительство социализма. Но можетъ быть уже теперь современное общество такъ богато, что вопросъ о средствахъ есть только вопросъ распредѣленія? Это неврѣно и вотъ примѣръ. Въ годы своего процветанія, 1928-1929, когда, кстати, и затраты на вооруженіе были невелики, Германія и Франція, двѣ большія передовыя страны, имѣли на душу всего около 6.000 фр. національнаго дохода. Какія-бы уравнительныя операціи внутри этого дохода ни производить, изъ него больше 6.000 франковъ на душу все равно не извлечь. А этого для удовлетворенія колоссально выросшихъ и ставшихъ острыми соціальныхъ потребностей и желаній совершенно недостаточно. Необходимость увеличенія національнаго дохода стоитъ рѣшительно всюду, но такая проблема ставится нынѣ иначе, чѣмъ до войны. Исторія положила конецъ прежнему, слѣпому, стихійному экономическому развитію. Людей, считающихъ, что все должно остаться попрежнему, можно перечислить по пальцамъ. Въ каждой странѣ нынѣ долженъ быть государственныи, національныи, планъ жизни, т. е. увеличенія продукціи, народнаго дохода, планъ конкретныхъ мѣропріятій, преобразующихъ жизнь, повышающихъ народное благосостояніе, продуманныхъ съ точки зрѣнія соціальной, финансовой, экономической и техниче-

ской. Если у социализма официального толка такого плана нѣтъ, если на самый кардинальный вопросъ вопросовъ — какъ повысить национальный доходъ? — ему отвѣтить нечего, — онъ не ведущая творческая сила. У него тогда практическихъ идей нѣтъ. Онъ банкротъ, онъ пустошвѣтъ. Такой социализмъ исторія выброситъ въ мусорный ящикъ, какъ нѣчто ненужное. Социализмъ, а отъ него все равно никуда не уйдешь, будетъ построенъ, только другими людьми, себя социалистами въ нынѣ принятомъ смыслѣ не называющими. Такъ вотъ, есть-ли у социализма такая конструктивная программа?

У Рузвельта, сугубо подчеркивающего, что онъ не социалистъ, былъ планъ борьбы съ кризисомъ. Онъ выработанъ при участіи президента «трестомъ мозговъ», не имѣвшихъ никакого касательства къ официальному социализму, тѣмъ болѣе уже къ американскому, продолжающему быть маленькой сектой. У Саважъ, возглавляющаго социалистическое правительство Новой Зеландіи, былъ и есть планъ. Только, какъ и «планъ» Блюма, онъ имѣлъ въ виду рядъ социальныхъ мѣропріятій, а отнюдь не планъ реконструкціи жизни съ помощью умноженія ресурсовъ, нужныхъ для покрытія социальныхъ потребностей. Около плана Генриха де Манна въ Бельгіи было большое движеніе. Однако, планъ не пошелъ дальше постулированія нѣсколькихъ весьма общихъ теоретическихъ положеній и отивѣлъ, не успѣвши расцвѣсть. Франція за послѣднія 5 лѣтъ была страной, гдѣ въ лѣвыхъ кругахъ не было недостатка въ дебатахъ о планахъ. Каковы результаты? Два правительства Народнаго Фронта (второе — Шотана, было легкомысленно, въ угоду коммунистамъ, опрокинуто входившими въ него социалистами) провели серію крайне цѣнныхъ мѣропріятій. Настоящаго плана, тѣмъ не менѣе, у нихъ и въ поминѣ не было. Да могъ-ли, хотя-бы тотъ-же Л. Блюмъ, имѣть реалистическій планъ, когда его основной посылкой была раздѣлявшаяся всѣмъ Народнымъ Фронтомъ мысль, что при сильно упавшемъ доходѣ и низкомъ промышленномъ производствѣ можно namного увеличить заработную плату, а работу сократить до 5 дней въ недѣлю! При вторичномъ появленіи у власти, предъ вторичнымъ своимъ паденіемъ, Л. Блюмъ представилъ ему программу, въ которой есть кое-какіе намеки на планъ. Но ядро этого плана гнилое. Онъ хотѣлъ опереть его на милитарныя работы, исходя изъ того, что «опытъ другихъ націй доказываетъ, что страна, имѣя базой усиленные затраты на вооруженіе, можетъ если не благоденствовать дѣйствительно, то, по крайней мѣрѣ, имѣть интенсивную активность».

Принято вѣрить и утверждать, что если у кого и есть настоящій планъ, такъ это у французской конфедераціи труда — СЖТ. Внимательное знакомство съ ея планомъ приводитъ къ убѣжденію, что онъ сшитъ изъ разноцвѣтныхъ кусочковъ стелкивающихся системъ и принциповъ. Общая конструкция его отдаетъ крайней наивностью. Замѣчательна, напр., идея вести индустриальныя предприятия съ помощью многоголовыхъ совѣтовъ съ участіемъ «потребителей». Планы, обычно излагаемые Жуо отъ имени СЖТ, какъ двѣ капли воды похожи на планы Жиромскихъ, а мудрость послѣднихъ сводится къ тому, чтобы стучать по столу кулакомъ и требовать немедленной націонализаціи «тяжелой индустріи (какой, всей?), электричества (?), транспортовъ (какихъ?), рудниковъ, химическихъ продуктовъ (какихъ?), carburants (??), воды, газа и такъ далѣе». Такъ и написано: «и такъ далѣе»: эта замѣчательная формула гуляетъ почти по всѣмъ важнымъ документамъ французской партіи! Достаточно бросить бѣглый взглядъ на приведенный сумбурный перечень, чтобы понять, что составители подобныхъ «плановъ» люди несерьезные и никакого плана составить не могутъ. Въ социализаціяхъ - націонализаціяхъ (для различенія ихъ приняты субтильныя объясненія Блюма) они видятъ самую ультра-специфическую суть социализма. У нихъ это буквально «Сезамъ, отворись». Только имъ невдомекъ, что голыя измѣненія титула собственности, одинъ только актъ превращенія частнаго предприятия въ государственное, ровно еще ничего не говорятъ и не даютъ. Важно, что съ национализированнымъ объектомъ хотятъ дѣлать? Въ этомъ суть вопроса о націонализаціяхъ. Допустимъ, что вы национализируете «электричество», нужно полагать, электрическую сѣть и станціи. Скажите, киловаттчасъ национализированнаго электричества будетъ стоить дороже или дешевле? Если дешевле, покажите насколько и какимъ образомъ вы этого добьетесь. Коэффициентъ эксплуатаціи электростанцій Франціи, особенно термическихъ, очень низокъ. Покажите, какими мѣрами вы его намѣрены повысить, дайте необходимые хотя бы приблизительные расчеты. Франція нуждается въ постройкѣ гидростанцій, освобождающихъ ее отъ тяжелаго импорта угля, это общепризнанная истина. Какія гидростанціи, какой мощности вы, национализировавъ «электричество», намѣрены построить? Какъ вы эти гидростанціи свяжете съ другими гидростанціями и тѣми, что работаютъ на углѣ и газѣ въ металлургическихъ районахъ? Национализируя «электричество», намѣрены-ли вы его экспроприовать безъ всякаго вознагражденія и есть-ли для этого у

лась силы? Если вы намѣрены платить за национализированное электричество, то сколько? Кроме того, вообще дайте общій подсчетъ расходовъ по постройкѣ гидростанцій, переоборудованію сѣти, укажите, изъ какого источника и какъ вы получите необходимыя средства?

Вотъ какого характера сугубо практическіе, финансовыя, техническіе вопросы ставитъ всякій настоящій планъ во всѣхъ областяхъ. Ихъ ставитъ и націоналізація предприятий, поскольку она кладется въ основу плановъ. Планъ требуетъ продуманнаго измѣренія того, что есть, новой схемы взаимоотношеній экономическихъ отраслей, общей идеи и картины новой экономики. Въ своей второй стадіи онъ требуетъ уже точныхъ цифръ и подсчетовъ, а въ третьей стадіи — ставитъ вопросы о томъ, какъ отъ идеи перейти къ исполненію. Если на все это нѣтъ намека (ни въ планѣ Де Манна, ни у СЖТ, ни въ планахъ-программахъ Жиромскихъ), — тогда планамъ цѣна невеликая*). Они являются лишь агитационнымъ сотрясеніемъ воздуха.

Мысленно переносясь съ берега демократіи на берегъ тоталитарныхъ странъ, мы тамъ встрѣтимся съ другимъ отношеніемъ къ планамъ. Въ странахъ диктатуръ и авторитарной власти есть планы развитія народнаго хозяйства, планы повышенія народнаго дохода, обновленія національной техники, планы максимальнаго (даже въ объемѣ автаркіи) использования естественныхъ ресурсовъ національной территоріи. Россія имѣетъ генеральный планъ. Германія тоже имѣетъ планъ, такъ же какъ Италія. Пятилѣтній планъ есть у Турціи. Планы проводятся въ Португаліи и почти плановую политику ведетъ Японія для эксплуатаціи естественныхъ богатствъ Манжуко. Отсутствіе народно-хозяйственныхъ плановъ въ странахъ демократіи и наличность ихъ въ странахъ диктатуръ — о чемъ это говорить? По мнѣнію очень многихъ это говорить о томъ, что плановое хозяйство несомнѣннѣе съ режимомъ демократіи. Оно требуетъ послѣдовательно проводимаго принципа принужденія и, устраняя экономическую свободу, оно неизбежно должно убить и свободу политическую. Остается только выбрать цвѣтъ диктатуры: красный или коричневый, коммунизмъ или фашизмъ?

Бросимъ взглядъ на плановое хозяйство при коммунизмѣ.

*) Изъ французскихъ плановъ заслуживаютъ вниманія только «Le Plan français», изданіе съ предисловіемъ М. Деа (1935 г.) и «Notre Plan» фронтистовъ, написанный Г. Бержери (изданіе 1939 г.). Въ нихъ есть реалистическія мысли.

Когда тѣ или иные націонализации — а это вопросъ чисто конкретный и практической — подсказываются ситуацией и обосновываются ображеніями финансовыми, экономическими, техническими, они, конечно, полезны и крайне желательны. Национализация французскихъ желѣзныхъ дорогъ, произведенная безъ всякихъ потрясеній и сантимовъ затратъ правительствомъ Шотана, намъ представляется типомъ такихъ мудро проведенныхъ націонализаций. Но вѣдь коммунизмъ или ему подобный социализмъ хочетъ не этого. Не ту или иную націонализацию и даже не комплексъ ихъ, а всеобщую национализацию, социализацию всѣхъ средствъ и орудій производства. Онъ хочетъ уничтоженія частной собственности. Надъ всѣмъ вещей тогда дѣлается одинъ хозяинъ-государство. Надъ всѣмъ царствуетъ единая воля-государство. Все въ государствѣ, ничего внѣ государства. Легкость планированія экономики, хозяйства, всей жизни получается въ теоріи чудесная. Все двигается единой волей. Десятилѣтіями социализмъ доказывалъ, и мы тому вѣрили, что когда все будетъ у государства и оно станетъ всѣмъ, это совсѣмъ не страшно, это принесетъ только счастье и удобство. «Когда государство, — поэтически живописалъ г. Бергерэ у Анатоля Франса, — будетъ всѣмъ, оно будетъ ничѣмъ. Оно будетъ безъ желаній, какъ боги. Оно будетъ имѣть все и въ то же время ничего. Мы не будемъ его чувствовать. Оно будетъ неотъемлемо отъ насъ. Оно будетъ какъ-бы несуществующимъ». Не изъ книжекъ, гипотезъ и теорій, а изъ фактовъ жизни, изъ практики тоталитарныхъ странъ мы теперь познали, что когда государство дѣлается всѣмъ, оно совсѣмъ не умираетъ, дѣлается не богомъ безъ желанія, а всемогущимъ тираномъ. Оно беретъ за горло личность. Дѣлаетъ ее своимъ рабомъ. Когда все въ государствѣ и ничего внѣ государства, личности некуда уйти. У нея не остается даже маленькаго собственнаго угла. Мы не знаемъ, что будетъ въ очень далекомъ будущемъ, да, признаться, имъ и не интересуемся. Но мы увѣрены, что въ какой-бы, самой передовой странѣ теперь ни было-бы введено огосударствленіе всего хозяйства, а только такой видъ можетъ получить социализация всѣхъ средствъ и орудій производства, результаты получились-бы для свободы, для личности самые плачевные. За исключеніемъ наименѣе культурно развитой части пролетаріата, глубинно расположенной къ воспріятію всякаго рода тоталитарныхъ, «муравейныхъ», коллективнистическихъ идеологій, психологія современнаго демократическаго общества несовмѣстима съ рабской тоталитарностью. По существу своего функционированія, съ

нею несовмѣстимы и широчайшія области экономики. Чтобы удержать искусственное образование на базѣ «соціализаціи всѣхъ средствъ производства и обмѣна» отъ распада, равно какъ установить, заложить его, требуется огромное насилие — свирѣпая диктатура. У диктатуры же есть свои законы развитія. Она стремится обожествить себя и увѣковѣчиться и, въ концѣ концовъ, уничтожаетъ личность. Въ своей рѣчи въ Лионѣ 14 іюня 1937 г. генеральный секретарь французской соціалистической партіи, тогда министръ правительства Народнаго Фронта, — Поль Форъ говорилъ: «нашей цѣлью остается соціализація всѣхъ средствъ и орудій производства, но это не большевизмъ, мы за свободную демократію». Мы такъ же долго, какъ Поль Форъ, думали, что то и другое возможно вмѣстѣ. Мы поняли, что до сихъ поръ не понялъ Форъ: при соціализаціи всѣхъ средствъ производства и обмѣна свободной демократіи сейчасъ быть не можетъ. Можетъ быть, это станетъ возможнымъ чрезъ 200 лѣтъ, но говорить о томъ, что будетъ чрезъ 200 лѣтъ, просто неловко, а еще глупѣе возможности «чрезъ 200 лѣтъ» передвигать въ область практическихъ проблемъ сегоднешняго дня. Сейчасъ эти двѣ категоріи—свободная демократія и соціализація всѣхъ средствъ производства — несовмѣстимы.

Послушаемъ теперь, какъ разрѣшаетъ проблему планового хозяйства фашизмъ. Полное уничтоженіе частной собственности, говоритъ онъ, бессмысленно. Согласны. И прибавимъ: уничтоженіе частной собственности и патроната въ Россіи показало, что эту историческую машинку, имѣющую функціей накопленіе и поддержаніе порядка, легче разрушить, чѣмъ замѣнить. Проблема кадровъ, замѣны частнаго патроната въ Россіи до сихъ поръ не рѣшена. Въ рукахъ государства, продолжаетъ фашизмъ, на правахъ собственности должны быть лишь командныя области — вродѣ банковско-кредитной системы. Не возражаемъ. Частную собственность, декларируетъ фашизмъ, нужно реформировать. У нея должны быть не одни права, но и обязанности. Она можетъ быть связана лишь съ полезной для общества функціей, назначенной и диктуемой общимъ планомъ государства. Если-бы фашизмъ говорилъ только это, никакого глубиннаго отталкиванія отъ него не было-бы. Онъ говоритъ гораздо большее. Весь міръ новыхъ отношеній долженъ поддерживаться авторитарной властью, диктатурой, возглавленной вождемъ. Все общество должно быть сквано одной обязательной для всѣхъ идеологіей-религіей, указующей всѣмъ, какъ дѣйствовать, какъ мыслить, какъ чувствовать, совершенно такъ

же, какъ въ коммунизмѣ. «Все въ государствѣ, ничто противъ государства, ничего внѣ государства». Оно должно, говорить Муссолини, «проникнуть въ интимный душевный міръ индивида такъ же, какъ въ сердце дѣловаго человѣка, мыслителя, артиста или ученаго». Вождь, возглавляющій фашистское государство, всегда правъ. Отъ массы требуется лишь ему «вѣрить, повиноваться, исполнять». Въ нѣкоторыхъ лѣвыхъ кругахъ, пропитанныхъ слоганами, утверждаютъ, что фашизмъ есть не болѣе, какъ инструментъ и орудіе господствующаго крупнаго капитала. Какая чепуха! «Со времени захвата власти Гитлеромъ, — писалъ въ своей предсмертной статьѣ К. Каутскій, — приходится все болѣе и болѣе убѣждаться, что диктатура не терпитъ рядомъ съ собою никакого другого хозяина и требуетъ и отъ самыхъ крупныхъ капиталистовъ рабскаго подчиненія». Коммунизмъ и фашизмъ — сіамскіе близнецы. Коммунизмъ все социализируетъ и, чтобы выполнять планъ и направлять народъ на путь матеріальнаго благосостоянія, охватываетъ всю страну тисками диктатуры и камзолемъ единой для всѣхъ обязательной тоталитарной идеологіи. Фашизмъ социализируетъ очень мало, но чтобы страна маршировала въ сторону большаго матеріальнаго довольства, беретъ народъ въ тиски такой-же диктатуры и въ мѣшокъ обязательной для всѣхъ государственной идеологіи.

Ни коммунизма, ни фашизма! Они топчутъ самое святое, самое цѣнное, что создано многовѣковымъ развитіемъ міровой цивилизаціи и культуры: свободную личность. Есть третій путь для рѣшенія вопросовъ нашей эпохи. Мы укажемъ сейчасъ его наиболѣе существенныя вѣхи, оговорившись, что рамки статьи не позволяютъ этого сдѣлать съ желательной полнотой.

Коммунизмъ исходитъ въ своихъ построеніяхъ отъ вещей: социализированная фабрика, заводъ, копи, земля. Ему прежде всего нужна въ руки вещь, но, захвативъ ее, онъ не знаетъ, что съ нею дѣлать и часто просто уничтожаетъ ее. Не отъ вещей, а отъ людей нужно исходить. Отъ организаціи людей. Немыслимо осуществленіе никакого плана новой жизни, покуда общество состоитъ изъ сотенъ тысячъ, милліоновъ хозяйствующихъ индивидуумовъ, несвязанныхъ другъ съ другомъ, подобныхъ, воспользуемся выраженіемъ Маркса, картофелинамъ въ мѣшкѣ. Ихъ не охватитъ никакой планъ. Проведеніе общаго плана, слагающагося изъ совокупности спеціальныхъ плановъ (по металлургіи и химіи, жилищному строительству и электрификаціи, развитію медицинской сѣти и высшихъ школъ, кана-

лизации городовъ и реорганизации сельскаго хозяйства и т. д.), требуетъ людей, ихъ усилій, ихъ работы, специальныхъ навыковъ, знаний, специальнаго труда, короче говоря — организованныхъ профессій. Современная нація, строящая социализмъ и практикующая для этого плановое хозяйство, не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ только совокупностью организованныхъ экономическихъ профессій — рабочихъ фабрикъ, железнодорожныхъ служащихъ, инженерно-техническихъ кадровъ, индустриальнаго патроната, торговцевъ, ремесленниковъ, домовладѣльцевъ, чиновниковъ, крестьянъ, сельскихъ рабочихъ, либеральныхъ профессій. Приступъ къ строительству социализма предполагаетъ мощную организацию населенія въ самыхъ различныхъ формахъ. Общество должно представлять собою не классы, раздираемые борьбою полной ненависти, а сотрудничество социальныхъ профессій, всѣхъ выполняющихъ ту или иную полезную социальную функцію. Коммунизмъ и фашизмъ ихъ напавляютъ на «плановую» работу насиліемъ и терроромъ. Демократіи ихъ нужно организовать въ свободной обстановкѣ, пользуясь ей присущими методами, отнюдь не исключаящихъ тамъ, гдѣ это нужно, принужденія.

Новая структура общества, въ видѣ сѣти горизонтально и вертикально хорошо организованныхъ профессій, а изъ нея естественно выпадаютъ «не имѣющіе профессій», не сѣющіе и не жнущіе, паразитическіе элементы, — не выдумка, не химера. Она отчасти существуетъ — возьмите Швецію, Норвегію. И не только ихъ. Всѣ современныя страны — Англія, Бельгія, Франція, Голландія, Канада, Америка и т. д. обнаруживаютъ эволюцію въ ту же сторону, съ каждымъ годомъ увеличиваютъ число и составы профессиональныхъ организаций — отъ рабочихъ синдикатовъ до крестьянскихъ кооперативовъ и всякихъ другихъ корпоративныхъ объединеній. Нужно отдать себѣ ясный отчетъ въ этой совершающейся эволюціи, куда она влечетъ, что она можетъ дать, каковъ ея смыслъ, какую новую ситуацию она объективно создастъ. Она прежде всего ведетъ къ установленію новыхъ методовъ въ распредѣленіи національнаго дохода, самой существенной, послѣ производства, социальной функціи. Въ капиталистическомъ обществѣ чистаго типа распредѣленіе дохода имѣетъ мѣсто въ обстановкѣ злой борьбы, конкуренціи, стачекъ, локаутовъ. Каждый, не считаясь съ сосѣдомъ, стремится урвать себѣ большій кусокъ. Сильный заѣдаетъ слабого. Въ обществахъ тоталитарнаго типа (Россія, Германія, Италія) классовая борьба за

кусочек пирога національного дохода властью подзывается. Распределение подчиняется общему плану, устанавливаемому диктатурой. Не спрашивая никого, не съ кѣмъ не совѣтуясь, вѣруя въ свою непогрѣшимость, власть безапелляціонно назначаетъ сколько долженъ получать рабочій, служащій, администраторъ, крестьянинъ. Въ демократическомъ обществѣ-модернѣ, признающемъ святое право всѣхъ на жизнь, распределение дохода должно сопровождаться обсужденіемъ, рѣшаться путемъ соглашеній, взаимныхъ уступокъ, сговоровъ, компромиссовъ, находящихъ себѣ выраженіе въ широчайшемъ примѣненіи разнообразныхъ коллективныхъ договоровъ, требующихъ организаци и необходимаго арбитража. Это подлинно демократическій и социалистическій методъ. Только слѣпота, создаваемая устарѣлыми теоріями, не позволяетъ видѣть, что распространеніе такого обычая уже выводитъ насъ изъ капиталистическаго общества.

Новая структура общества, вмѣстѣ съ тѣмъ, подводитъ базу подъ производство, могущее подвергаться планированію. Два слова, впрочемъ, о планахъ вообще. Мысль о нихъ должна освободиться отъ ложныхъ представленій, навязанныхъ практикой плановаго хозяйства тоталитарныхъ странъ. У нихъ планъ неизбежно означаетъ тяжелую жизнь и необходимость лишений, смягчить которыя должны вѣра и энтузіазмъ. Ихъ планъ обычно есть выматываніе силъ населенія въ цѣляхъ достиженія непосильныхъ цѣлей (безмѣрный процентъ накопленія для грандіозныхъ капитальныхъ работъ, непомерныя затраты на вооруженіе). Но мы-то не должны смотрѣть на планъ, какъ на нѣкое средство, заставляющее населеніе съ высунутымъ языкомъ, обливаясь потомъ, бѣжать по секундомѣру къ намѣченной приказомъ цѣли. Настоящій, хорошій планъ будетъ ощущаться населеніемъ не стороною лишений, а обратнымъ: повышеніемъ здоровья тонаса жизни, увѣренности въ завтрашнемъ днѣ, слаживаніемъ противорѣчій и столкновеній, признаками, пусть медленно, но растущаго коллективнаго и индивидуальнаго благополучія. Ядро плана, основныя заданія его, должны быть выработаны государствомъ въ специальномъ органѣ, оцифровываемся на хорошо поставленную статистику и имѣющимъ достаточные нггалы свѣдущихъ людей (ученыхъ, техниковъ, экономистовъ). Этотъ скелетъ плана, чтобы облечься въ плоть и кровь, долженъ быть спущенъ сверху внизъ для корректированія, проверки, дополненій въ профессиональныя группы — инженерныя кадры, рабочіе синдикаты, объединенія патроновъ. Только здѣсь,

въ каждой специальной области, а изъ нихъ слагается общій генеральный планъ, задания плана могутъ получить практически реализуемый видъ.

Грубѣйшая ошибка утверждать, какъ то принято, что въ капиталистическомъ обществѣ совсѣмъ нѣтъ плановъ. Предпріятія государства, желѣзныя дороги, заводы и фабрики, электрическія фирмы, тресты, концерны, даже и мелкіе крестьянскіе дворы имѣютъ свои планы, и, болѣе чѣмъ часто, смѣлые, широкіе, интересные и очень большой общественной цѣнности. Но они разрознены, не обезпечиваются средствами, не связаны воедино, откуда анархическая конкуренція, расточеніе силъ, дублированіе. Коммунизмъ, какъ это было въ Россіи, приходя къ власти, уничтожая патронатъ и связанные съ нимъ слои крупныхъ специалистовъ, уничтожаетъ ихъ планы и живую лабораторію цѣнныхъ плановъ. Онъ оказывается въ итогѣ у пустаго мѣста. Ему приходится не расширять, не продолжать и улучшать показанія уже созданнаго опыта, а все начинать сначала. При мирной социальной эволюціи нѣтъ мѣста такому бессмысленному акту. Въ накопленный опытъ, въ существующіе частные планы общегосударственной плачъ внести связь, расширение, гармонию, поправки, денежную поддержку, исходя изъ общей перспективы. Государственный планъ регулируетъ кредитъ, финансированіе, заказы, распредѣленіе работы, что дѣлается въ широкомъ масштабѣ сейчасъ при выполненіи плановъ вооруженія. Концентрація производства, существующая во всѣхъ передовыхъ странахъ, равно какъ наличность, тоже всюду, монополистическихъ объединеній и трестовъ, облегчаетъ и выработку плановъ и ихъ практическое выполненіе, особенно когда государство будетъ разумно руководить и контролировать банковско-кредитную систему. Планъ придаетъ частнымъ предпріятіямъ характеръ *service public*.

Огромное значеніе, которое при выполненіи и разработкѣ плановъ должны получить разнообразныя экономическія организованныя профессіи, естественно, логично приводитъ къ какому-то центральному органу, представляющему и дѣловымъ образомъ объединяющему эти профессіи — корпорации. Одно указаніе на корпорации вызываетъ нѣчто ародѣ корни у руководителей французской СЖТ. «Это фашизмъ!» Тутъ, очевидно, проявленіе болѣзненной мысли. Ничего нельзя заимствовать у великаго ученаго Маркони. Онъ фашистъ. Ничему не нужно учиться у великаго организатора производства Форла. Онъ «феодалъ индустріи». Однако, существующій во Франціи *Conseil National économique* является несомнѣннымъ эмбрио-

номъ именно такого корпоративнаго представительства. Это представительство налицо и въ планѣ СЖТ, когда онъ образуетъ будущій Conseil Supérieur de l'Économie изъ наиболѣе выдающихся представителей именно корпорацій. Не будемъ дѣтьми. Изъ Россіи, гдѣ наиболѣе разработана теорія планированія, демократія должна взять наиболѣе цѣнное изъ опыта планированія, не стѣняясь тѣмъ, что страна живетъ подъ тоталитарнымъ сапогомъ Сталина. Изъ Италіи можно заимствовать идею корпоративнаго представительства, не превращаясь оттого въ фашистовъ. То и другое демократія должна приспособить къ своему климату. А это означаетъ, что нужное для плановаго хозяйства корпоративное представительство можетъ дополнить парламентъ, но не замѣнить общеполитическаго представительства, выразителя суверенной воли націи. Такая мысль возникаетъ лишь въ мозгу диктатуры. Ей парламентъ не нуженъ. Она замѣняетъ его собою.

Организованныя профессіи, особенно рабочіе синдикаты, были до сихъ поръ главнымъ образомъ органами борьбы, защиты групповыхъ интересовъ. Безсмысленно думать, что эта ихъ функція должна теперь совершенно исчезнуть. Безъ этого толкача не было-бы социальнаго прогресса. Демократія не можетъ имѣть рабочіе синдикаты въ томъ рабскомъ видѣ, какой они получили въ тоталитарныхъ странахъ: Россіи, Германіи, Италіи. Жизнь не мертвое кладбище, безъ движенія, борьбы, столкновенія страстей и интересовъ. Сътъ мощныхъ свободныхъ рабочихъ союзовъ является одной изъ важнѣйшихъ опоръ создающагося новаго строя. Признавая необходимость и право за ихъ борьбой, тѣмъ не менѣе, нужно придать ей иныя, культурныя формы. Измѣнившееся положеніе рабочаго класса должно вести къ прекраснѣи методоѣ борьбы, имѣвшихъ мѣсто, когда рабочіе были темными, невѣжественными, придавленными, безправными паріями. Современное законодательство вводитъ синдикальную борьбу въ новое русло. Въ этомъ отношеніи французская система коллективныхъ договоровъ и арбитража, заложенная правительствомъ Блюма, дополненная статутомъ труда и регулированія стачекъ, проведеннымъ правительствомъ Шолана, представляетъ собою, кажется, самое совершенное изъ всего того, что пока создано въ этой области социальнаго права.

Профессиональные союзы не могутъ ограничиваться только функціями борьбы. Они не могутъ нынѣ быть органами борьбы въ старомъ пониманіи слова. Это значило-бы твердить задъ. Отъ высшей достигнутой стадіи общественнаго развитія тащить назадъ. Съ позиціи безответственной «оппозиціи», предъ-

являющей «къ капиталистамъ» требованія часто внѣ фактической возможности ихъ удовлетворить, только съ цѣлью, какъ это имѣютъ въ виду коммунисты и въ хвостъ ихъ идущіе социалисты, поддерживать все время лихорадочную агитацію, «разлагать» и «разрушать» буржуазное общество, они должны вложиться въ русло конструктивной, творческой работы. Вмѣстѣ съ другими социальными группами, они должны поставить себѣ цѣлью упорядочить народное хозяйство, увеличить национальный доходъ. Безъ этого нѣтъ и не можетъ быть удовлетворенія повышенныхъ социальныхъ и культурныхъ нуждъ. Главная задача творческаго социализма теперь заключается въ томъ, чтобы въ каждой странѣ призвать всѣ живыя силы націи устыться за «круглымъ столомъ», обсудить, какъ сдѣлать лучшей жизнь въ общемъ всѣмъ, для всѣхъ дорогомъ домѣ коллективности. Задачей должна быть организація сотрудничества подъ знаменемъ — национальная солидарность! Памятуя о правѣ на жизнь всѣхъ націй, нужно одновременно, путемъ договоровъ и сговоровъ, придти къ «коллективнымъ договорамъ» между націями, къ тѣсному сотрудничеству націй.

Разумъ и самыя простыя практическія соображенія подсказываютъ, что социализму не должно быть труднымъ представить и доказать выгоды тѣснѣйшаго сотрудничества и солидарности между различными группами демократіи. Благоденствіе каждаго звена въ этой цѣпи прямо, тѣсно, функціонально зависитъ отъ благоденствія другихъ.

Что мѣшаетъ этому? Марксистскій социализмъ до сихъ поръ требовалъ обязательнаго «перехода» среднихъ классовъ «на точку зрѣнія революціоннаго пролетаріата». Онъ не допускалъ возможности за среднимъ классомъ имѣть какіе-либо взгляды и оцѣнки, отличные отъ имѣющихся у Сталиныхъ, Троцкихъ, Торресовъ, Браке и Жиромскихъ. Отличающіяся воззрѣнія онъ всегда объявлялъ реакціей. Въ стремленіи мовизировать воззрѣнія одной только «точкой зрѣнія пролетаріата», онъ логично пришелъ въ Россіи къ созданію тяжелыхъ формъ обязательной, деспотической, тоталитарной идеологіи, по аналогіи съ которой позднѣе были построены фашистскія тоталитарныя идеологіи. Марксизмъ изображалъ рабочаго фабрики и завода въ видѣ своего рода высшей набранной расы, сосудомъ полнымъ неслыханныхъ моральныхъ и социальныхъ добродѣтелей, классомъ, призваннымъ къ великой исторической миссіи. Отсюда и родилась мораль, которую особенно проповѣдывалъ Ленинъ и Сталинъ: ради интересовъ избраннаго класса, надѣленнаго особой высшей

миссией, можетъ быть допущена самая большая гнусность: цѣль оправдываетъ средства. Пока рабочій былъ придавленнымъ, безправнымъ илотомъ, вливаніе въ него марксистскаго мессіанизма, повышая достоинство рабочаго, его вѣру въ себя, выпрямляя его, на нашъ взглядъ было даже полезнымъ. При измѣнившихся условіяхъ такая точка зрѣнія нелѣпа и реакціонна. Рабочему нечего становиться на ходули «избранной расы», чтобы сверху внизъ сморгнуть на презрѣннаго мелкаго буржуа, на средніе классы. Фактически, рабочій во многихъ отношеніяхъ хочетъ быть именно зажиточнымъ мелкимъ буржуа. Онъ хочетъ имѣть свой домикъ и мебель, какъ мелкій буржуа. Имѣть автомобиль, какъ мелкій буржуа. Его жена хочетъ одѣваться, носить шляпы и чулки, какъ жена мелкаго буржуа. Онъ хочетъ питаться, имѣть удовольствія, какъ зажиточный мелкій буржуа. Онъ хочетъ, чтобы его дѣти воспитывались, какъ у мелкаго буржуа.

Когда я констатирую эти безспорные факты, хочу-ли тѣмъ сказать, что рабочій, забывая свою «великую историческую миссію», разставаясь съ высочайшими добродѣтелями, скатился съ высшей точки зрѣнія на низшую, сталъ хлебать изъ котла презрѣнныхъ мелкобуржуазныхъ матеріальныхъ благъ? Конечно, нѣтъ. Въ созданіи и расширеніи культурной среды обшества, живущей какъ этотъ самый «зжиточный мелкій буржуа», усматриваю главный смыслъ, главную цѣль, самое большое историческое достиженіе въ происходящей въ передовыхъ странахъ эволюціи (отсылаю къ моей статьѣ «О тенденціяхъ общественнаго развитія въ новѣйшее время», въ предыдущей книгѣ «Современныхъ Записокъ»). Это есть начало или самое осуществленіе социализма. Въ эволюціонномъ процессѣ постепенно сокращается часть обшества, живущая эксплоатаціей чужого труда и непомѣрно возмшающаяся надъ среднимъ уровнемъ. Наоборотъ, постепенно, ранняясь на высшій уровень, вверхъ подтягиваются низы обшества, жившіе до сихъ поръ въ крайней нуждѣ. Чтобы всѣ имѣли доходъ какъ крупный капиталистъ, какъ Рокфелеръ — это сказки и утопія. А вотъ чтобы всѣ достигли уровня очень зажиточной жизни культурнаго мелкаго буржуа — задача хотя и трудная, но возможная. Въ пей, и въ работѣ надъ ней и заключается социализмъ, освобожденный отъ словеснаго идеологическаго хлама. Въ тяготѣнн бюджетовъ, доходовъ, уровней жизни народныхъ массъ къ уровню обезпеченной, культурной среды обшества, въ прозаической, «земной» формѣ и реализуется поэтическая, парящая въ небѣ, мечта о полномъ равенствѣ.

Но подобная уравнилельная тенденція не имѣетъ ничего общаго съ «уравниловкой», производившейся въ Россіи, т. е. насильственнымъ поравненіемъ на самый низкій и жалкій уровень жизни. При развивающемся въ плановомъ хозяйствѣ ростѣ культуры, благосостоянія, при отказѣ отъ накачиванія въ головы пролетаріата всяческихъ слогановъ, ничто не можетъ мѣшать тѣсной связи и солидарности рабочихъ и среднихъ классовъ — ремесленниковъ, торговцевъ, чиновниковъ, крестьянъ, либеральныхъ профессій. Жоресъ всегда говорилъ о такомъ демократическомъ блокѣ. А если есть тѣсная солидарность интересовъ широчайшихъ социальныхъ группъ, — социализмъ долженъ расширить свою опору и изъ узкой классовой партіи превратиться въ партію всѣхъ трудящихсяъ, ставя на первый планъ не интересы класса, а интересы всего народа, всего общества. Только гдѣ двигаясь въ эту сторону, а официальный социализмъ робкими зигзагами сюда идетъ, онъ станетъ гигантской силой, которая облегчитъ и ускоритъ построение по плану новаго общества. Только выражая и защищая высшіе интересы націи, социализмъ окажется способнымъ поднять, мобилизовать націю, ея живыя и творческія силы, всѣхъ сгрудить около плана новой жизни и новаго хозяйства.

Солидарность рабочаго класса и среднихъ классовъ можетъ быть вполне и прочно налажена, но можетъ-ли, и, главное, должна-ли она, въ какой-то мѣрѣ, быть распространена дальше и на группы крупнаго патроната? Отвѣтить нѣтъ, значило-бы начать сказку сказывать сначала, скатиться съ принятой нами точки зрѣнія социальной эволюціи и социального міра къ точкѣ зрѣнія необходимости революціи и гражданской войны, т. е. работать на коммунизмъ и на фашизмъ. Говоря о крупномъ патронатѣ, «капиталѣ», нужно усвоить себѣ три положенія. Первое. Крайне неумно утверждать, что всѣ крупные патроны — паразиты. Именно потому, что они не были паразитами, многіе изъ нихъ и стали очень крупными патронами и крупными людьми. Нужно-ли называть имена? Второе. Слѣдуетъ возможно скорѣе оставить наипную демагогическую социологію о «200 семействахъ», или нѣсколькихъ трестахъ, хозяевахъ страны, подобныхъ нѣкоему уродливому ногтю, отрѣзаемому однимъ движеніемъ революціонныхъ ножницъ. Вокругъ «200 семействъ» совсемъ не пустота, а рядъ концентрически расположенныхъ и съ ними тѣсно связанныхъ широкихъ социальныхъ круговъ. И въ этихъ кругахъ находятся ученые, крупные спеціалисты, представители культуры, знаній, дѣловыхъ навыковъ, практическихъ умѣній. Какъ разъ тѣ силы, которыми крайне бѣдны партіи

официального социализма и который обязательно необходимо привлечь для самой успешности выполнения и ведения планируемой экономики. Третье. У средних классов много причин ссориться и драться с крупным капиталом, у них, вместе с тем, с ним гораздо больше интимной солидарности, чем это утверждает официальная социалистическая доктрина, упрощающая сложную связь частей современного общества. При большом революционном нажиме на капитал затрагиваются интересы средних классов, они становятся на дыбы и тогда пролетариат будет неизбежно разбит. Даже там, где он составляет (статистически) большинство населения.

В реалистической концепции социализма, нами защищаемой, вопрос о крупном патронате весьма ясен. Для построения нового общества в условиях социального мира необходимо его деятельное и заинтересованное сотрудничество. Вопрос в том, как, на какой практической почве это может быть сделано? Принципиальный, общий ответ на этот большой вопрос я дам с помощью цифр. Выше приводилось, что 260 крупнейших французских акционерных обществ в 1937 году создали 7.497 миллионов франков новой ценности, подлежащей распределению. Из нея 67,2% — 5.040 миллионов получили рабочие и служащие, 23,6% — 1.739 миллионов путем налогов взяли государство, муниципалитеты, коммуны, 9,6% — 718 миллионов досталось акционерам и облигационерам. Для простоты допустим, что все акционеры представляют крупный капитал и что вся распределяемая сумма идет только в потребление. Представим себе, что дружными, совместными усилиями рабочих, служащих, инженерных кадров, патронов, направленными на выполнение плана, производство очень быстро повышается. Созданная ценность, идущая в распределение будет уже на 7.497 миллионов, а положим 10.000 миллионов франков. Допустим, что рабочие из нея получают не 67,2%, как в 1937 г., а меньше — 66%, но взятый от большей суммы, этот процент дает 6.600 миллионов фр. Рабочие и служащие реально, в тех же ценах, станут получать на 31% больше, чем в 1937 г. Предположим, а такая тенденция времени, коллективность повысила свои притязания на распределяемый доход. Она хочет платить больше чиновникам, учителям, хочет расширить круг пенсионеров, выстроить больше больниц, санаторий, школ, научных институтов т. д. Она стала брать не 23,6%, а 26% — 2.600 миллионов франков, т. е. на 49% больше, чем в 1937 г. Акционерным и облигационерным круп-

нымъ капиталамъ вмѣсто 9,6% остается только 8%, но отъ 10.000 милліоновъ франковъ, это означаетъ 800 милліоновъ, т. е. все-таки на 10% больше, чѣмъ въ 1937 г. На такой практической почвѣ въ обстановкѣ коллективныхъ договоровъ, и можетъ имѣть мѣсто выгодное для всѣхъ сотрудничество. Тѣ, кто прежде имѣли меньше, увеличиваютъ свои доходы въ большой степени. Тѣ, кто имѣлъ много, не все теряютъ, а даже увеличиваютъ свой доходъ, но въ падающей прогрессіи, тѣмъ не менѣе, они, какъ и всѣ, весьма заинтересованы, чтобы онъ не падалъ абсолютно.

Если продолжить нашу схему дальше — получится такой результатъ. Доходъ крупнаго патрона будетъ постепенно (нельзя установить сроки, это зависитъ отъ множества обстоятельствъ) сводиться только къ вознагражденію за веденіе и управленіе предпріятіемъ. Нужда въ немъ будетъ опредѣляться только его способностями, талантами. Вся остальная создаваемая цѣнность пойдетъ въ руки рабочихъ, служащихъ и черезъ каналы налоговъ въ руки остальныхъ группъ демократіи, въ пользу коллективности. Ею распоряжается общество. Въ какой моментъ юридическая социализація оформитъ уже свершившуюся, уже осуществляющуюся фактическую социализацію продукта — право, не такъ ужъ важно.

Мы знаемъ, что для множества социалистовъ «официальнаго толка», конечно, неприемлема защищаемая нами концепція. Утѣшаемъ себя фразой Плеханова, сказанной въ 1917 г.: «въ концѣ концовъ вы идете туда же, куда идемъ мы. Но мы приближаемся къ нашей цѣли, повернувшись къ ней лицомъ, а вы подвигаетесь къ ней, обернувшись затылкомъ»...

Е. Юрьевскій.

«Фронтъ мира» и Россія

Въ то время, какъ пишется эта статья, англо-франко-совѣтскіе переговоры все еще продолжаются. Какъ иронически замѣчаетъ одна англійская газета, Чемберленъ выпускаетъ уже двѣнадцатымъ «изданіемъ» свою формулу англо-совѣтскаго пакта.

Никогда еще — за все время существованія Совѣтской власти — ея международный вѣсъ не былъ такъ великъ. Англія и Франція, желая во что бы то ни стало заключить соглашеніе трехъ, идутъ на всяческія уступки и измѣненія своихъ первоначальныхъ предложеній. Германія, стремясь отвлечь Совѣты отъ Англіи, увѣряетъ ихъ — по слухамъ, проникшимъ въ газеты — что она совѣтъ и не помышляетъ больше объ Украинѣ и готова поддерживать съ Совѣтской властью самыя мирныя отношенія. Гитлеръ, забывъ о томъ, что онъ паладинъ Анти-Коминтерна, въ послѣднихъ своихъ рѣчахъ ни словомъ не упоминаетъ ни о Совѣтахъ, ни о своемъ рѣшеніи идти на нихъ походомъ. Италия рукоплещетъ при извѣстіи о каждой новой затяжкѣ переговоровъ между Англіей и Совѣтами. Весь міръ съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдитъ за этими переговорами. А Совѣты не спѣшатъ со своими отвѣтами, требуютъ новыхъ уточненій. Когда, чтобы ускорить переговоры, англичане и французы просятъ пріѣхать въ Женеву Потемкина, Потемкинъ оказывается занятымъ неотложными дѣлами дома. Когда Ворошилова приглашаютъ и ждутъ на маневры въ Англіи, онъ не можетъ прибыть, ибо у него какъ разъ въ это время собственные маневры. Приходится отправлять въ Москву спеціальнаго посланца съ особыми полномочіями. Совѣтская Россія прекрасно учитываетъ свое выгодное положеніе и используетъ его.

Несмотря на все наше враждебное отношеніе къ Совѣтской власти, мы не можемъ не испытывать нѣкотораго національнаго удовлетворенія, когда возстанавливается въ глазахъ Европы міровое значеніе Россіи, не можемъ не согласиться и съ большинствомъ контръ-требованій, предъявляемыхъ Совѣтской властью англичанамъ.

Не надо забывать, что еще года не прошло со времени

Мюнхена, гдѣ Совѣтская Россія третировалась, какъ *quantité négligeable*, куда — къ великой радости нашихъ горе-патриотовъ — Совѣтскую Россію даже не пригласили, гдѣ пытались организовать миръ безъ нея и, можетъ быть, за ея счетъ. Пусть такъ поступали съ намъ ненавистной, «не нашей», властью — расплачиваться за это стала бы не эта власть, а Россія. Теперь, наконецъ, — не безъ помощи Гитлера, начавшаго слишкомъ безцеремонно создавать для Германіи «жизненное пространство» — убѣдились, что безъ и внѣ Россіи европейскаго, мірового равновѣсія не создашь.

Не надо забывать также, что «первое изданіе» пакта, предложенное Чемберленомъ Совѣтской власти, создавало неравенство условій для двухъ договаривающихся сторонъ, оставляло много недоговореннаго и порою вызывало опасеніе, не предназначаютъ ли Россіи роль таскающаго для другихъ изъ огня каштаны. Требованіе ясныхъ и точныхъ формулировокъ, требованіе равенства были при такихъ обстоятельствахъ вполне умѣстны со стороны Совѣтской власти.

Разумѣется, требованіе не заключать сепаратнаго мира — въ случаѣ совмѣстнаго участія въ войнѣ — со стороны авторовъ «похабнаго» мира, сепаратно заключеннаго въ Брестъ-Литовскѣ — достаточно цинично. Но, какъ бы мы ни оцѣнивали моральную физиономію носителей власти, волею судьбы представляющей нынѣ Россію, для Россіи это требованіе необходимо.

Несомнѣнны также жизненные интересы Россіи въ охранѣ независимости отъ Германіи Прибалтійскихъ странъ. Германія на-дняхъ заключила съ нѣкоторыми изъ нихъ пактъ о ненападении. Но мы знаемъ, какъ можетъ при случаѣ истолковать этотъ пактъ Гитлеръ. И если Финляндія, Латвія и Эстонія отказались отъ гарантій трехъ договаривающихся державъ, то никто не сомнѣвается, что отказъ этотъ продиктованъ только страхомъ передъ Германіей, а отнюдь не увѣренностью въ своемъ завтрашнемъ днѣ. Этотъ отказъ создаетъ затрудненія, но не отрицаетъ необходимости для Россіи быть дѣйствительно увѣренной, что эти страны не станутъ для германскаго империализма новой добычей и новымъ плацдармомъ для нападенія.

Столь же правильны и нежеланіе Совѣтской власти, чтобы вопросъ о реальной взаимной помощи рѣшался нынѣшней Лигой Націй, и ея настоянія на возможно большемъ уточненіи формъ и размѣровъ этой помощи. Правильны — не въ интересахъ этой власти, а въ интересахъ Россіи.

Можно было бы, такимъ образомъ, вполне одобрить теле-

решенною дипломатическую акцію Совѣтской власти, если бы только не отсутствіе увѣренности въ истинныхъ намѣреніяхъ этой власти. Хочетъ ли она дѣйствительно пакта трехъ и своими требованіями стремится лишь въ наибольшей степени обезпечить интересы страны? Или за требованіями, предъявленными теперь, послѣдуютъ новыя, и на самомъ дѣлѣ всѣ эти длительные переговоры ведутся только для того, чтобы сдѣлать невозможнымъ соглашеніе, сваливъ затѣмъ вину за неудачу на головы Англии и Франціи? Стремятся ли въ Москвѣ дѣйствительно обезпечить миръ и защитить Россію и Европу отъ покушеній «агрессора», или готовы толкнуть западно-европейскія державы на войну, пытаясь разыграть при этомъ роль «третьяго радующагося» и мечтая, при благоприятныхъ условіяхъ, «раздуть міровой пожаръ», пожертвовавъ для этой цѣли и Россіей, и самыми жизненными ея интересами?

Многія изъ этихъ сомнѣній разрѣшить ближайшее будущее. Утверждать, что Совѣтская власть никоимъ образомъ и никогда не можетъ дѣйствовать въ интересахъ Россіи было бы близоруко: какъ бы ни была чужда странѣ и ненавистна народу власть, она ради собственнаго самосохраненія, въ силу объективной необходимости иногда бываетъ вынуждена такъ дѣйствовать. Но рискованно было бы утверждать для даннаго случая и обратное, такъ какъ интересы страны и народа никогда не были прямой задачей Совѣтской власти.

Въ русскихъ антисовѣтскихъ кругахъ пактъ Англии-Франціи и Совѣтской Россіи не встрѣчаетъ одинаковой оцѣнки.

Мы не говоримъ о тѣхъ, кто разъ навсегда замѣнилъ понятіе отечества понятіемъ вотчины и, мечтая о «реституціяхъ», готовъ пойти на поводу у каждаго, отъ кого надѣется этихъ реституцій добиться. Или о тѣхъ, кто — по корыстнымъ или безкорыстнымъ побужденіямъ — до хрипоты возглашаютъ осанну Гитлеру и Муссолини и увѣряютъ своихъ наивныхъ сторонниковъ въ томъ, что Гитлеръ — идеалистъ, стремящійся спасти Россію и миръ отъ «дьявольской» власти большевиковъ, не добиваясь для германскаго имперіализма никакой «интересной прибыли». Разбирать ихъ взгляды нельзя по той простой причинѣ, что здѣсь взгляды замѣнены въ лучшемъ случаѣ аппетитами и зоологической ненавистью.

Однако и въ кругахъ подлинной антисовѣтской общественности, болѣющихъ остро за судьбу Россіи и понимающихъ, что освобожденіе ея должно быть дѣломъ ея самой, настроенія далеко не единодушны. Это понятно: слишкомъ сложно положеніе, слишкомъ много неизвѣстныхъ, слишкомъ много недоувѣрія

къ Совѣтской власти, ея планамъ и намѣреніямъ. Но, какъ ни трудно порою разобраться въ противорѣчащихъ другъ другу положеніяхъ, это не устраняетъ необходимости все же найти отвѣтъ.

Какое значеніе имѣеть тотъ или иной отвѣтъ въ устахъ эмиграціи? — спрашиваютъ одни. Каковъ бы онъ ни былъ, объективной значимости онъ не имѣеть, вліянія никакого и ни на кого оказать не можетъ. Наше дѣло — анализировать положеніе, уяснить его себѣ и другимъ, и этимъ ограничиться.

Нѣтъ сомнѣнія, что ни мнѣнія, ни рѣшенія эмиграціи никакой реальной силы имѣть не могутъ. Что бы она ни говорила, событія пойдутъ своимъ чередомъ. Но у эмиграціи не только остались глаза, чтобы плакать, но и голова и сердце, чтобы думать и желать. Думать о тѣхъ путяхъ, которыми можетъ пойти Россія и желать максимально возможнаго при данныхъ условіяхъ торжества ея интересовъ. Этимъ всегда жила эмиграція — не можетъ она не жить этимъ въ особенности теперь, когда рѣшается, быть можетъ, судьба нашей страны.

Но, говорятъ другіе, «комбинація Гитлеръ-Сталинъ, какъ и Чемберленъ-Даладь-Сталинъ одинаково чужды интересамъ національной Россіи» *). И это говорятъ люди, которые понимаютъ, что «споръ между двумя блоками вовсе не «чуждъ» для насъ, такъ какъ отъ исхода его зависятъ и судьбы Россіи, причемъ побѣда германизма была бы для нея жестокимъ ударомъ». Однако дѣло мѣняется, какъ только ставится вопросъ о привлеченіи въ тотъ или иной блокъ Совѣтской Россіи.

Развѣ Россія, въ какомъ бы внѣшнемъ обличій она ни являлась нынѣ, не остается для насъ все же Россіею? И если побѣда Германіи нанесетъ ей жестокой ударъ (съ чѣмъ мы совершенно согласны), развѣ возможно не желать, чтобы въ союзъ съ нею были такія силы, которыя отвели бы этотъ ударъ? Развѣ не необходимо созданіе такой международной обстановки, при которой Россія — въ своей возможной борьбѣ съ Германіей — была бы не покинута Европой, а активно поддержана ею? Если побѣда Германіи — жестокой ударъ для Россіи, то и союзъ Гитлеръ-Сталинъ, т. е. отдачіе Россіи въ эксплуатацію Германіи безъ войны, тоже ударъ для нея. Стало быть, единственно желателенъ союзъ съ Англійей и Франціей. О, разумѣется, мы всѣ хотѣли бы, чтобы власть, представляющая Россію, была «національной», т. е. дѣйствительно и несомнѣнно преслѣдовала бы осуществленіе интересовъ Россіи, служила бы

*) Письмо въ редакцію А. И. Деникина. «Посл. Нов.» № 6642.

только имъ. И не только «національной», но и народной — пользующейся довѣріемъ народа, съ нимъ связанной, имъ созданной, демократической. Но нельзя принимать «желаемое и ожидаемое за настоящее». Такой Россіи пока нѣтъ, и мы не знаемъ, когда будетъ, а великая угроза нависла надъ ней сейчасъ, въ ея теперешнемъ положеніи. И мы не понимаемъ, какъ можно этой — пусть захваченной большевиками — но реальной Россіи противопоставлять пока лишь мѣстную, «національную», интересамъ которой чужды «комбинаціи», которыя могутъ или помочь русскому народу, или нанести ему жестокой ударъ.

Россія вовсе не стоитъ передъ дилеммой: примкнуть или къ одному блоку или къ другому, говорятъ нѣкоторые. Есть третій выходъ — нейтралитетъ. «Государственный интересъ Россіи въ ея теперешней ситуации соответствуетъ умѣренно (?) изоляционистской и глубоко мирной внѣшней политикѣ. Россія пережила слишкомъ много испытаній, чтобы ввязываться въ новую войну. Россія заслужила право эгоистически заняться своими внутренними дѣлами, такъ какъ она слишкомъ много занималась послѣднія два столѣтія дѣлами посторонними. Нужно сдѣлать все, чтобы не вовлечь Россію въ войну и не лить болѣе русской крови»*).

Именно для того, чтобы возможно больше оградить Россію отъ войны, и нуженъ, по нашему мнѣнію, не нейтралитетъ, а пактъ съ Англійей и Франціей. Если Англія, Франція и группирующіяся вокругъ нихъ страны въ чемъ-нибудь кровно заинтересованы, то только въ одномъ: въ сохраненіи мира. И лишь Гитлеръ и Муссолини твердятъ — для внутренняго употребленія — о стремленіи этихъ странъ «окружить» ихъ. Война не только субъективно отвергается народами этихъ странъ, какъ величайшее бѣдствіе, — война и объективно не нужна имъ. У нихъ нѣтъ домогательствъ, которыя можно разрѣшить только войной: онѣ — «удовлетворенныя» страны. Война можетъ угрожать только съ одной стороны — со стороны германитальянскаго блока. Тамъ культивируется ея пафосъ, тамъ проповѣдуется воинствующій «динамизмъ». Единственный шансъ остановить надвигающуюся катастрофу — въ созданіи максимальной угрозы тѣмъ, кто попытается открыть современный ящикъ Пандоры со всѣми его ужасами и несчастьями, т. е. въ образованіи — въ противовѣсъ агрессивному блоку — наиболее мощнаго блока защиты. Присоединеніе Россіи къ этому

*) Н. Н. Алексѣевъ, «Новая Россія» № 68.

«фронту мира» увеличить въ какой-то мѣрѣ его силу и, слѣдовательно, помочь ей — насколько это объективно возможно — не быть вовлеченной въ войну.

Наоборотъ, изоляція Россіи, хотя бы и «умѣренная», увеличитъ шансы войны, ослабивъ фронтъ мира и тѣмъ придавъ силы фронту войны. Но если столкновение великихъ державъ произойдетъ, оно быстро приобрететъ міровой характеръ. Россія все равно рано или поздно будетъ вовлечена въ конфликтъ, и русская кровь все равно прольется. Въ *mutatis mutandis* предъ великой войной 1914 года германскій «динамизмъ» былъ въ значительной степени развязанъ потому, что ему во время не было противопоставленъ со всею рѣшительностью блокъ мира. Если бы Англія не играла тогда такъ долго въ «умѣренный изоляціонизмъ», если бы заранее было извѣстно, что она активно будетъ выступать на сторонѣ Франціи, — Германія на войну, быть можетъ, и не рѣшилась бы.

Изоляціонистская политика Россіи въ настоящій моментъ не только облегчитъ возможность войны. Она чревата и иными — весьма тяжкими — послѣдствіями для самой Россіи. Если война все же вспыхнетъ между англо-французскимъ и нѣмецко-итальянскимъ блоками и если перевѣсъ окажется на сторонѣ тоталитарныхъ государствъ и они выйдутъ побѣдителями изъ этой борьбы, тогда Россія окажется совершенно одинокой передъ упоенной только что одержанной побѣдой Германіей и ея союзницей Японіей. Тогда встанетъ вопросъ о самомъ существованіи Россіи: изолированная, безъ союзниковъ, безъ мірового сочувствія, она станетъ добычей искателей «жизненныхъ пространствъ».

Впрочемъ, можетъ быть и другое. Если Россія совершенно опредѣленно пойдетъ къ изоляціонизму, если англо-французы окончательно утратятъ надежду на союзъ съ нею, у нихъ могутъ возникнуть сомнѣнія, не будетъ ли она въ дальнѣйшемъ играть двойную игру. Риску войны и пораженія они могутъ предпочесть поиски «жизненнаго пространства» для нѣмцевъ на востокъ. Уже если нуженъ компромиссъ съ Германіей, не лучше ли попробовать заключить его за счетъ восточнаго ея сосѣда? Пусть Германія займется Украиной: «осваивать» ее придется долго. Это дастъ новый выигрышъ времени и новую возможность еще болѣе вооружиться. Свидѣтелями такихъ настроеній мы не такъ давно были здѣсь. Не такъ давно были и мюнхенскіе разговоры, на которыхъ Россія отсутствовала, и предложенія Гитлера о двадцатипятилѣтней гарантіи мира на западъ цѣной развязанныхъ рукъ на востокъ. Недавно мы чи-

тали въ газетахъ о выступленіяхъ Галифакса и Чемберлена опять съ какими-то туманными авансами Германіи, весьма взволновавшими французскую прессу и часть англійской. Быть можетъ, это первое предостереженіе Совѣтской Россіи и реакція на ея медлительность?

Сторонники изоляціонизма говорятъ о правѣ Россіи на «эгоизмъ». Разумѣется, каждая страна имѣетъ право (даже и «заслуживать» его не надо — оно естественно) на «эгоизмъ», иными словами, каждая страна прежде всего должна дѣйствовать, соображаясь со своими жизненными интересами. Но Россія давно — и вовсе не по романтическимъ побужденіямъ, а именно во имя своихъ и н т е р е с о в ъ — «вошла» въ Европу и «изолироваться» отъ нея не можетъ. Послѣ тяжелыхъ разочарованій послѣвоеннаго времени, вызванныхъ поведеніемъ бывшихъ союзниковъ Россіи, психологически понятно наше чувство большой горечи по отношенію къ нимъ. Психологически понятно, поэтому, и подчеркиваніе законности «эгоизма», законности права на то, чтобы «замкнуться въ себѣ». Но нельзя дѣлать политическихъ выводовъ, руководствуясь эмоціями. Россія поступитъ совершенно правильно, если въ европейскомъ концертѣ будетъ настойчиво защищать и гарантировать свои интересы. Она — существенно европейская держава. Политическое «евразійство» ей не дано, «уходить» изъ Европы ей некуда.

Противъ союза Англія-Франція-Россія дѣлаются возраженія и другого порядка: Россія никакой силы этому союзу не прибавитъ — она слишкомъ хозяйственно дезорганизована; армія ея не оборудована технически, лишена хорошаго команднаго состава, деморализована репрессивными мѣрами правительства. Болѣе того, — вступленіе Россіи въ союзъ съ англо-французскимъ блокомъ рискуетъ только ослабить его, ибо можетъ лишить блокъ его восточныхъ союзниковъ, боящихся Совѣтской Россіи.

Должны сознаться, что мы ничего не знаемъ о дѣйствительномъ военномъ потенциалѣ красной арміи, не имѣемъ никакого точнаго представленія о ея боеспособности, какъ, впрочемъ, и тѣ, кто категорически ставятъ свои диагнозы, опираясь якобы на «неоспоримыя данныя». Неоспоримыхъ данныхъ нѣтъ ни у кого изъ насъ: есть разнообразныя свѣдѣнія и рассказы, часто весьма разнящіеся другъ отъ друга.

Однако, если бы красная армія была только «блеффомъ» и Совѣтская Россія дѣйствительно была бы совершенно безсильна, было бы непонятно, почему всѣ такъ заинтересованы въ томъ, чтобы имѣть ее на своей сторонѣ. Пусть англичане и

французы очень мало освѣдомлены и заблуждаются насчетъ истинной силы красной арміи и поэтому такъ хотѣтъ получить Совѣтскую Россію въ качествѣ союзницы. Но нѣмцы и итальянцы (а первые-то навѣрное о красной арміи имѣютъ совершенно точныя свѣдѣнія) тоже весьма заинтересованы въ Россіи: они прилагаютъ всѣ усилія къ тому, чтобы, если не завлечь ее въ свой лагерь, то по крайней мѣрѣ добиться ея нейтралитета. Очевидно, сводить русскую силу — даже въ ея теперешнемъ состояніи — къ нулю было бы неправильно.

Даже если расцѣпывать эту силу не высоко, къ чему склонны и мы на основаніи общаго представленія о состояніи теперешней Россіи, то и тогда союзъ Россіи съ Англіей и Франціей не безразличенъ при учетѣ соотношенія силъ. Дѣло не только въ арміи, но и въ томъ сырьѣ, резервуаромъ котораго является Россія и котораго такъ недостаетъ германо-итальянскому блоку уже теперь и будетъ катастрофически не хватать во время войны. Рынокъ Россіи — союзницы Англіи и Франціи — будетъ закрытъ для Германіи и открытъ для восточныхъ союзниковъ англо-французскаго блока. Не учитывать этого въ будущей затажной борьбѣ — невозможно. Ради этого одного понятны тѣ усилія, которыя дѣлаются демократическими державами, чтобы привлечь Совѣтскую Россію на свою сторону.

А какихъ дѣйствительныхъ или возможныхъ союзниковъ на востокѣ теряютъ англичане и французы благодаря союзу съ Совѣтами? Турція, какъ сообщалось одно время, ставила заключеніе своего союза съ Англіей въ зависимость отъ заключенія англо-русскаго пакта. Во всякомъ случаѣ, она желаетъ и привѣтствуетъ его. Польша и Румынія заявили о своемъ согласіи на него. Остаются Венгрія, Югославія, Болгарія. Но отношеніе этихъ странъ къ англо-французскому блоку диктуется, конечно, не той или иной позиціей Совѣтовъ, а или ихъ симпатіями къ Германіи (какъ у Венгріи), или страхомъ передъ ней.

Нѣкоторые изъ противниковъ англо-франко-русскаго пакта возражаютъ противъ него съ точки зрѣнія защиты демократіи. Англія и Франція, говорятъ они, въ борьбѣ съ германско-итальянской «осью» подчеркиваютъ необходимость защиты свободы и демократіи и въ то же время въ качествѣ союзника привлекаютъ злѣйшаго врага и демократіи, и свободы, представителя наиболѣе, быть можетъ, жестокаго изъ всѣхъ существующихъ тоталитарныхъ режимовъ. Какой чудовищный парадоксъ, какая профанация идей свободы и демократіи!

Франція и Англія въ основу своей международной политики, какъ онѣ это много разъ заявляли, кладутъ въ настоящее

время совѣтъ не борьбу идеологическихъ блоковъ. Ихъ основная цѣль — сохраненіе мира, созданіе барьера противъ новыхъ захватовъ «агрессоровъ». Для осуществленія этой цѣли онѣ пытаются объединить наибольшее количество государствъ, совершенно не руководствуясь соображеніями о томъ, какой режимъ существуетъ въ той или иной странѣ. Имъ важно прежде всего оздоровить международную атмосферу, отравленную въ настоящій моментъ съ одной стороны стремленіемъ къ насилию надъ слабѣйшими, а съ другой паническимъ страхомъ передъ силой, не считающейся ни съ чѣмъ. На этомъ основаніи привлекли онѣ въ свою орбиту и Польшу, и Румынію, и Турцію, режимы которыхъ, конечно, нельзя поставить наравнѣ съ совѣтскимъ, но которыхъ тоже весьма далеки отъ демократіи. На этомъ же основаніи онѣ пытаются привлечь и Совѣтскую Россію. Это — во-первыхъ, даже съ точки зрѣнія борьбы за демократію, союзъ Англіи и Франціи съ Совѣтской Россіей, Польшей, Турціей и т. д. при ближайшемъ разсмотрѣніи не такъ уже парадоксаленъ. Пока Англія и Франція — двѣ великихъ европейскихъ демократіи — продолжаютъ играть прежнюю роль, тотъ особый, европейскій климатъ свободы и уваженія къ человѣческой личности, который дорогъ намъ, какъ демократамъ и еврепейцамъ, продолжаетъ существовать, каковы бы ни были потери и пораженія демократій въ цѣломъ рядѣ странъ. Нынѣ изъ великихъ европейскихъ странъ только эти двѣ «ручатся» за Европу и ея культуру. Сохраненіе ихъ значенія и вліянія — не въ силу какого-то специфическаго англо- или франко-фильства, а во имя охраны челоѣка и челоѣчности — неизмѣримо важно. Побѣда Германіи и Италіи въ той международной кровавой схваткѣ, которая, можетъ быть, предстоитъ Европѣ, означаетъ гибель дорогой намъ европейской культуры, уничтоженіе — полное и всеобъемлетное — свободы и правъ челоѣка, распространеніе на всю Европу единой тоталитарной системы удумленія. Наоборотъ, побѣда Англіи и Франціи — въ союзѣ съ кѣмъ бы то ни было — есть сохраненіе духовнаго достоинства не однихъ только этихъ странъ, но европейскаго челоѣчества вообще.

Говорить и другое: Совѣтская Россія, союзница западно-европейскихъ демократій, — Троянскій конь въ ихъ крѣпости. Проникнувъ сюда подъ личиной друга, она поведетъ здѣсь свою обычную политику разложенія и взрыванія извнутри, она вѣдрится сюда со своими агентами ГПУ, со своими методами дѣйствія. Примѣръ передъ глазами: «помощь» Совѣтской Рос-

сіи республиканской Испаніи, главнымъ образомъ и привелъ къ гибели республиканскаго фронта.

Мы отнюдь не закрываемъ глазъ на опасности, которыя могутъ принести съ собою «данайшы». Мы совсѣмъ не хотимъ изображать тройственный пактъ, какъ нѣкую идиллію. Мы не прониклись довѣріемъ къ Совѣтской власти. Уже выше говорили мы, что даже теперь трудно сказать, какія шѣли въ дѣйствительности она преслѣдуетъ. За всѣмъ тѣмъ, однако, Франція и Англія — не Испанія. Въ Испаніи шла гражданская война; правительство было дезорганизовано и слабо; отдѣльные слои населенія, враждебные Франко, враждовали часто и между собою. Въ этой привычной для нихъ сферѣ внутренней междоусобицы представители Совѣтской власти плавали, какъ рыба въ водѣ. Тамъ они легко могли заводить свои ГПУ и практиковать свои методы. Совсѣмъ другую обстановку и другое умонастроеніе они найдутъ здѣсь. Эту сторону совѣтской «помощи» здѣсь хорошо знаютъ и имѣютъ достаточно силъ ее парировать. Но если опасность и есть, чего мы не отрицаемъ, то это все же лишь возможная опасность, тогда какъ нападеніе тоталитарныхъ державъ «оси» — опасность дѣйствительная и несомнѣнная. Совѣтскіе «дѣятели» могутъ нести съ собою опасность разложенія. Но не большей ли опасностью грозитъ поражение? Что произойдетъ во Франціи, можетъ быть, и въ Англіи въ случаѣ побѣды германо-итальянскаго блока? Какія стихіи могутъ тогда разыгратъ здѣсь? Кромѣ того, эта опасность, которой можетъ грозить союзъ съ Совѣтской Россіей, возникнетъ лишь въ случаѣ войны. Но союзъ этотъ, усиливая мощь мирныхъ странъ, можетъ прежде всего предотвратить самое возникновеніе войны.

Наконецъ, послѣднее возраженіе — самое тяжкое. Вы здѣсь, говорятъ сторонникамъ англо-совѣтскаго пакта, сидя въ относительно европейскомъ уютѣ, далекіе отъ современной россійской дѣйствительности, «желаете» англо-франко-совѣтскаго союза, который, какъ вы надѣетесь, предотвратитъ войну, но можетъ и повлечь Россію въ мировую схватку. И въ этой схваткѣ вы «желаете», чтобы Совѣтская Россія оказалась въ концѣ концовъ въ станѣ побѣдителей. А тамъ, въ Россіи, народъ, если и думаетъ о войнѣ, то только, какъ о средствѣ избавиться отъ нечестивой власти, и готовъ идти на какое угодно пораженіе, отдаться кому угодно, лишь бы уйти изъ-подъ власти Сталина и его «аппарата».

Мы не можемъ отрицать, что изъ Россіи доходятъ свѣдѣнія, которыя говорятъ о такихъ настроеніяхъ. Нерѣдко приходится

слышать, что внутреннее пораженчество не выдумка, а трагическая дѣйствительность. Однако и здѣсь мы должны сдѣлать поправку на наше незнаніе подлиннаго настроенія населенія Россіи. Но даже если бы это было и такъ, мы все же не можемъ во имя Россіи и ея интересовъ думать иначе, чѣмъ думаемъ.

Мы хотимъ прежде всего мира — мира достойнаго, мира свободныхъ людей, а не рабовъ. Но если несмотря на всѣ усилія мирныхъ державъ, война все же вспыхнетъ, мы хотимъ, чтобы Россія не была разбита. Но не можетъ ли это временно укрѣпить Совѣтскую власть, отдалить часъ ея паденія и тѣмъ увеличить страданія населенія? Мы думаемъ иначе: народъ, ощутившій свою силу въ борьбѣ съ внѣшнимъ врагомъ, болѣе способенъ къ борьбѣ за свои права и внутри страны, чѣмъ народъ, деморализованный пораженіемъ. Однако мы должны признать, что возможно и первое предположеніе. Но и при этомъ предположеніи иначе отвѣтить не можемъ. Ибо власть — преходяща и случайна, какъ бы мучительно долго не казался ея вѣкъ тѣмъ, кто терпитъ ея жестокости, — сама же Россія для насъ въ своей самоцѣнности не преходяща.

Никто, конечно, не смѣетъ бросить и тѣни упрека тѣмъ, кого страданія, нами не пережитыя, привели къ такому безвыходному, «пораженческому» душевному состоянію. Но аргументомъ въ политическомъ спорѣ эти страданія служить не могутъ. Для насъ ясно, что въ этомъ случаѣ люди, уходя въ ужасъ отъ огня, бросаются въ полямя. Бесильные сбросить съ себя невыносимое ярмо Совѣтской власти, они ждутъ «освобожденія» отъ нѣмецкихъ, японскихъ и т. д. завоевателей. Но побѣда этихъ завоевателей принесетъ лишь горшее рабство, ибо съ Россіей они поступаютъ такъ же, какъ поступаютъ нынѣ съ Чехіей. Если бы населеніе Россіи въ большинствѣ дѣйствительно было настроено пораженчески, это было бы самоубійствомъ Россіи, добровольнымъ согласіемъ ея на расчлененіе, распадъ.

Но мы увѣрены, что, каково бы ни было нынѣ настроеніе тѣхъ или иныхъ слоевъ населенія, въ трагическую минуту, когда станетъ вопросъ о самомъ существованіи Россіи, историческій разумъ народа побѣдитъ, онъ найдетъ вѣрный путь, — путь не государственной гибели, а спасенія.

Этотъ путь, по которому Россія должна пойти, по нашему глубокому убѣжденію, рука объ руку съ Англіей и Франціей, будетъ и путемъ мира, демократіи и подлинной Европы.

Н Авксентьевъ.

Конец ссылки *)

Б. Вольное странствованіе.

.....

Мы ѣхали благополучно до Омска, гдѣ предстояло пересаживаться на магистраль и вновь слѣдовало компостировать билеты. Первый и второй классы прослѣдовали благополучно; распоряженіе касалось только третьяго, такъ называемаго «жесткаго». На вокзалѣ нашей ошарашенной толпѣ объяснили, что надо встать въ очередь и получить номерокъ — слѣдующій поѣздъ возьметъ пассажировъ, волноваться нечего. На дѣлѣ оказалось, что мы съ моимъ спутникомъ получили № № 823, 824, что въ сутки проходило два-три поѣзда и брали они чело-вѣкъ по 20-25; поѣзда-же непосредственно изъ Омска отмѣне-ны за недостаткомъ подвижнаго состава. На истерическіе вопли пассажировъ — гдѣ-же ждать? гдѣ-же очередь? — желѣзнодорожное начальство невозмутимо указывало на дворъ и гнало изъ станціонныхъ помѣщеній.

Дворъ былъ полонъ такъ, что при всемъ моемъ опытѣ къ общимъ камерамъ и баракамъ, мнѣ показалось, что буквально некуда ступить: это было сплошное, кочковатое пространство сникшихъ головъ, мѣшковъ, сундуковъ, спинъ, устало торчащихъ плечей. Кто спалъ, кто ѣлъ, кто ругался съ сосѣдомъ. Повсюду плакали и скулили ребята; грудные заливались громче всѣхъ. Отъ напора новой толпы вся эта масса загудѣла, зашевелилась и мы какъ-то втиснулись. Мой юноша прикончилъ уже свой хлѣбъ и печенье; денегъ у него не было, но онъ не унывалъ, увѣрялъ меня что, — ничего, проживемъ, — сейчасъ-же раздобылъ у кого-то чайникъ, принесъ кипятку и вообще чувствовалъ себя такъ, какъ на пикникѣ. Впрочемъ, лагерь такой нуждѣ учить, что всякой волѣ радъ будешь.

На счастье, погода стояла сухая и теплая. Правда насъ засыпало пескомъ и пылью какъ въ пустынѣ, но подъ дождемъ было-бы хуже.

*) «Совр. Зап.» № № 66, 67, 68.

Утромъ, оставивъ моего спутника съ вещами, я пошелъ побродить по городу. Все было, видимо, не лучше чѣмъ пять лѣтъ назадъ: развалившіеся, покосившіеся дома, грязныя улицы, очевидная грязь во дворахъ и въ квартирахъ. На базарѣ, какъ когда-то въ Туапсе и Новороссійскѣ, была масса народу и очень мало товара. Разница была только въ томъ, что въ лавкахъ свободно продавали хлѣбъ — черный 1 р. кило и бѣлый — 2 р. кило. На базарѣ-же кромѣ картошки, прошлогодней кислой капусты и зажелтѣвшаго свиного сала ничего не было. Впрочемъ, было еще молока — 60 коп. бутылка и яйца — 1 р. пара. Купивъ пару яицъ, я вернулся на станціонный дворъ — въ городѣ тоже радости было мало. Сосѣди съ любопытствомъ взглянули на меня, не досталъ-ли я чего съѣстного, и равнодушно отвернулись.

— Вотъ яйца, рубль пара, вездѣ такъ? — спросилъ я рабочаго изъ Верхнеудинска, съ которымъ мы сидѣли рядомъ.

— Вездѣ, — отвѣчалъ онъ неохотно.

— И какъ, ничего, живете?

— Живемъ. 180 рублей выколачиваю. Самъ съ женой, да двое ребятъ — четыре рта. Одного хлѣба на 60 рублей, больше на его и налегаемъ.

— Трудно?

— Сами-то откуда будете? — заинтересовалась его жена.

— Изъ лагеря. Пять лѣтъ отбылъ.

— Я такъ и подумала, — сочувственно зашептала она, склоняясь ко мнѣ. — Брать-то у меня тоже, знаете, тамъ... Теперь у всѣхъ такъ-то... Что простой народъ, что господа, никому житья нѣтъ.

Мужъ сурово глянулъ на нее и она замолкла. Вообще говорили мало — усталость-ли брала или каждый опасался сосѣда, но всѣ сидѣли съ зажатыми ртами, пустымъ, ничего не выражающимъ взоромъ.

Шелъ уже четвертый день нашего сидѣнья. Народу во дворѣ становилось все больше, а продвигались мы медленно. За часъ за два до предполагаемаго прихода поѣзда весь дворъ приходилъ въ волненіе: собирали пожитки, вставали въ хвостъ, толкались къ выходу, ругались, кричали, будто въ ближайшій моментъ всѣмъ предстояло ринуться въ поѣздъ и занимать мѣста. Женщины поднимали плачь, умоляли пропустить внѣ очереди; другіе кричали — не помирать-же тутъ! съ голодудохнемъ который день! — Ребята или застывали въ страхъ или орали, захлебываясь отъ собственного крика. Тутъ-же, въ сутолокѣ, кто-нибудь непременно терялъ свои вещи и вопилъ, что его обо-

краси. Затѣмъ приходилъ поѣздъ, на кассъ объявлялось число свободныхъ мѣстъ, кондуктора быстро выпускали 17-20 человекъ и, отсчитавъ сколько полагается, вталкивали послѣднихъ, непопавшихъ, назадъ во дворъ, орудуя локтями, кулаками и ногами. Иногда при этомъ поднимался душу раздирающій крикъ, потому что часть семьи оставалась за бортомъ, но ж. д. черберы, безъ долгихъ разбирательствъ, мгновенно рѣшали, подкинуть-ли лишняго или впихнуть назадъ уже пролѣзшаго, и послѣ краткаго заключительнаго броженія, оставшаяся масса опять осѣдала, поникала и погружалась въ дремотную тоску ожиданія.

На пятый день дѣло стало подходить къ нашимъ номерамъ. Должны были начать съ № 810, у насъ были 823-824. Вся бѣда могла оказаться въ одной или двухъ цифрахъ. Кассиръ вывѣсилъ — 14!

Съ рискомъ, что у насъ вырвутъ билеты изъ рукъ, мы все-таки пробились къ кассъ и втиснулись въ поѣздъ, хотя только революціонный опытъ желѣзно-дорожниковъ могъ опредѣлить, что свободныхъ мѣстъ въ поѣздѣ 14. На простой, человѣческой взглядъ казалось, что онъ переполненъ свыше всякой нормы: полки всѣ завалены людьми, включая багажную, между лавками, на сундукахъ, корзинахъ и просто на полу, сидѣли, тѣсно сдвинувшись другъ къ другу, подъ нижними скамьями тоже лежали. Поѣздъ шелъ, часами застревая на разъѣздахъ, и ничто такъ не выводило изъ себя желѣзно-дорожную бригаду, какъ вопросы, когда будетъ такая-то станція.

— Прибудемъ, такъ объявлю. Всегда объявляемъ, — огрызнулся кондукторъ. — Не «Красная Стрѣла», а поѣздъ дальняго слѣдованія.

Несмотря на то, что нельзя было пошевелинуться, послѣ каждой большой станціи провѣрялись документы и билеты: производилось это и днемъ, и ночью, и по нѣскольку разъ. Ничего подозрительнаго какъ будто не обнаруживалось, но въ Челябинскѣ вдругъ исчезъ мой компаньонъ: вышелъ на станціи, уставъ лежать подъ скамейкой, и не вернулся. Что съ нимъ случилось — не могъ-ли онъ опять сѣсть въ поѣздъ, или его арестовали, я такъ и не узналъ.

6. Проѣздомъ черезъ Москву.

Въ Москву поѣздъ пришелъ не на десятыя сутки, какъ мы считали, а на четырнадцатыя. Пришелъ онъ кромѣ того не

утромъ, какъ полагалось по расписанію, а полночь. Первымъ моимъ намѣреніемъ, когда я вылѣзъ наконецъ изъ лагона, было взять такси и ѣхать въ финское консульство, но проходя по ярко-освѣщенному вокзалу, я случайно увидѣлъ себя въ зеркалѣ, и всю мою рѣшимость какъ рукой сняло. Видъ у меня былъ какъ у бѣлаго каторжника: грязный, худой, обросшій дикими клоками волосъ. Даже если-бы меня впустилъ швейцаръ въ консульствѣ, меня не повезъ-бы ни одинъ таксистъ, если-бы я не заплатилъ ему впередъ, а денегъ у меня почти не осталось.

Я рѣшилъ провести ночь на вокзалѣ: купилъ газету, заказалъ себѣ стаканъ чаю и сѣлъ за столикъ. Только я расположился, какъ съ противоположнаго конца буфетной залы появилось двое геупеустовъ, начавшихъ опросъ пассажировъ и проверку документовъ. Меня охватила паника — вдругъ арестуютъ!.. Основанія къ этому никакого не было; я только что пріѣхалъ, поѣзда на Волоколамскъ не было до утра, бумаги были у меня въ порядкѣ, но кто ихъ знаетъ?.. Бросивъ недопитый стаканъ чая, я захватилъ чемоданъ, сдалъ его на храненіе и вышелъ на улицу.

Куда было идти? Я не имѣлъ даже представленія, въ какомъ направленіи центръ, гдѣ окраины? Кромѣ внутренности двухъ иоремъ я въ Москвѣ ничего не зналъ. Судя по тому, что улицы, по которымъ я шелъ, становились все пустыниѣе, дома бѣднѣй и плоше, это былъ конецъ города.

Когда стало свѣтать, я вышелъ къ скверу, неподалеку отъ вокзала. Нѣсколько человекъ спали на скамьяхъ, ежась отъ утренняго холода. Сторожъ шаркалъ обломанной метлой по дорожкамъ, разгоняя по сторонамъ мусоръ и не обращая никакого вниманія на спавшихъ постояльцевъ сквера. Миѣ стало покойнѣе. Я сѣлъ на пустую скамью, надвинулъ на глаза кепку и заснулъ, какъ убитый. Проснулся я поздно. Мимо, съ отчаяннымъ звономъ, неслись трамваи; торопливо шли люди. Ночные оборванцы всѣ исчезли со скамей, но на меня никто не обращалъ вниманія — всѣмъ было некогда.

Сосчитавъ деньги, я рѣшилъ, что могу зайти къ парикмахеру, особенно если выбрать заведеніе попроще.

— Сколько стоитъ постричься и побриться? — освѣдомился я въ парикмахерской, показавшейся миѣ достаточно просто-народной.

— Рубль двадцать и деньги впередъ, — крикнулъ, не огляываясь, парикмахеръ.

— Пожалуйста, — сказалъ я, садясь въ кресло.

Онъ долго, хотя и не очень деликатно, возился съ моею головой. Потомъ я почувствовалъ теплую пѣну на лицѣ и, наслаждаясь знакомымъ, давно невѣданнымъ ощущеніемъ, закрылъ глаза. Случайно пріоткрывъ ихъ, я замѣтилъ, что пласты пѣны, которые парикмахеръ снималъ съ бритвы, были темны отъ грязи, что парикмахеръ брезгливо морщился. Мнѣ было все равно: я снова закрылъ глаза и продолжалъ наслаждаться.

На это удовольствіе ушла половина оставшихся у меня денегъ, но я почувствовалъ себя другимъ человѣкомъ. Въ скверѣ я выпилъ воды, сполоснулъ руки, вытеръ ихъ носовымъ платкомъ и рѣшилъ, что лучше всего будетъ отправиться въ консульство пѣшкомъ: просто итти и спрашивать ту улицу. Дорога оказалась не ближняя, но все-таки добрался я благополучно и съ гордостью свернулъ въ ворота консульства какъ разъ въ тотъ моментъ, когда на меня уставился городовой.

Я вошелъ въ домъ, заговорилъ по-фински.. За пять лѣтъ я впервые почувствовалъ себя въ безопасности.

Меня ждали. Для меня была готова комната, ванна, кофе.. сколько еще въ жизни было божественныхъ наслажденій?.. Я проспалъ весь день какъ младенецъ. Вечеромъ обѣдалъ съ консуломъ и говорилъ о своихъ дѣлахъ.

Надо было въ тотъ-же вечеръ ѣхать въ Волоколамскъ, чтобы не нарваться на какую-нибудь неприятность, но у меня снова были въ рукахъ финскій паспортъ, обѣщаніе консула допустить мнѣ разрѣшеніе на выѣздъ, была возможность послать своимъ телеграмму въ Финляндію.

Консулъ снабдилъ меня деньгами, папиросами; распорядился, чтобы шоферъ отвезъ меня на вокзалъ, проводилъ до вагона, подождалъ, пока отойдетъ поѣздъ, чтобы быть, по крайней мѣрѣ, увѣреннымъ, что въ Москвѣ со мной ничего не случилось. Но и онъ, и я, прекрасно знали, что можно будетъ быть спокойнымъ за мою судьбу, только когда меня выпустятъ въ Финляндію.

7. Совѣтская провинція.

Въ Волоколамскъ я пріѣхалъ ночью. Узнавъ, что до города 5 миль и никакихъ способовъ передвиженія, кромѣ случайныхъ, обратныхъ грузовиковъ, я сѣлъ на лавочку въ станціонномъ садикѣ и просидѣлъ до разсвѣта, вмѣстѣ съ двумя-тремя другими пассажирами. Часовъ въ 5 появился первый грузовикъ, который и отвезъ насъ въ городъ.

Дорога шла какъ въ деревнѣ, среди полей картошки, капусты, овса, льна. Отъ города вдали виднѣлись только колоколь-

ни и купола, но инферъ презрительно говорилъ, что на эти «пережитки» нечего смотрѣть — въ соборѣ ссыпной пунктъ зерна, а въ церквахъ — гдѣ овощные склады, гдѣ клубы. Вообще городъ совѣтскій, какъ полагается, и не маленькій — 3.500 жителей! Получивъ мзду, 3 руб. съ каждаго, которую онъ считалъ своимъ правомъ вѣзти въ свою пользу, хотя грузовикъ принадлежалъ кооперативу и самъ онъ тамъ состоялъ на службѣ — онъ ссадилъ всѣхъ на базарной площади, сообщивъ мнѣ, что теперь довсюду близко.

— А гостиница гдѣ? — спросилъ я, слѣзая.

— Нѣту гостиницы — не старый режимъ.

— А «Домъ Крестьянина»?

— Нѣту крестьянъ теперь. «Домъ Колхозника» — вонъ на углу, гдѣ былъ трактиръ, — буркнулъ онъ, чѣмъ-то недовольный, торопливо скидывая мой чемоданъ.

Подъ линючей, трижды перемазанной вывѣской «Дома Колхозника» стоялъ маленькій, смѣшной стариканъ съ сѣдой бородкой и острымъ, худымъ, желтымъ носомъ. Завидѣвъ меня, или вѣрнѣе мой заграничный костюмъ, только что полученный мной въ консульствѣ, онъ испуганно всталъ въ дверяхъ, съ явнымъ намѣреніемъ лечь костыми, но не допустить иноземнаго нашествія.

Началу разговора помогли финскія папиросы и обѣщаніе бутылки водки, если онъ поможетъ найти мнѣ комнату, а пока пустить въ «Домъ Колхозника».

— Документы! — потребовалъ онъ, едва пропустивъ меня въ дверь.

— У насъ — на одну ночь. Болѣе не полагается, — добавилъ онъ сурово.

Думая, что его нежеланіе пускать меня относится къ тому, что я только-что выпущенъ изъ концлагеря, я сталъ объяснять ему свое положеніе.

— Знаю, знаю, — прервалъ онъ меня. — У меня у самого сынъ тамъ. Что иностранный гражданинъ вы, вотъ въ чемъ дѣло...

Онъ все-таки впустилъ меня и мигомъ устроилъ все насчетъ квартиры: есть у него другъ-пріятель, столяръ, живетъ не на виду — край города, и свой домъ, можетъ безъ хлопотъ прописать, и такъ далѣе.

Другъ этотъ объявился на другой день утромъ; пьяный върызгъ и въ отвратительномъ состояніи духа. Дѣло было въ томъ, что пріѣхалъ онъ въ городъ купить гвоздей для колхозной стройки; гвоздей не нашель, а колхозныя деньги пропилъ.

Съ трудомъ понявъ, причемъ тутъ я, онъ забралъ насъ обоихъ на колхозную телѣгу и повезъ домой, гдѣ предполагалось всприснуть сдѣлку. Мы уже почти доѣхали до мѣста, какъ пьяный столяръ завопилъ, словно его фѣзали.

— Назадъ! Вертай назадъ! — кричалъ онъ, выхватывая вожжи у старикана. — Знаю, гдѣ гвозди! Гражданинъ, выкладывай деньги! Поѣхали гвозди покупать! Колхозъ, ударное дѣло, во! Назадъ! — оралъ онъ, хотя мы уже неслись обратно, скашивая углы, налетая на тумбы и камни, такъ что телѣга грозила вотъ-вотъ разбиться или задавить прохожихъ на смерть.

Къ удивленію, гвозди онъ, дѣйствительно, нашель и мы благополучно доставились домой, хотя онъ все время гналъ лошадь по чемъ зря.

Домъ оказался прибраннымъ; хозяйка — спокойной, приятливой женщиной.

— Володька! — крикнулъ онъ сыну, парнишкѣ въ призывномъ возрастѣ, но, несмотря на свое комсомольство, больше состоявшему при матери. — Володька, завтра зарегистрируешь гражданина-жильца. Прощевайте! Гвозди досталь! На работу! На стройку-у-у! Впередъ!

Жена и сынъ очевидно считали, что при немъ лучше помалкивать, и когда онъ, распивъ бутылку, умчался, тарыхтя на колхозной телѣгѣ, они принялись за мое устройство на жительство и за разговоры. Впрочемъ, главнымъ любителемъ разговоровъ былъ Володька.

— Я, знаете, очень интересуюсь насчетъ заграничныхъ земель, — объяснялъ онъ мнѣ съ такимъ видомъ, будто это было необычайно дерзостно. — Города, моря, вообще все иностранное. Одно, конечно, нехорошо, свободы у васъ тамъ нѣтъ. — неожиданно заключилъ онъ свою длинную и косноязычную рѣчь.

— Почему нѣтъ?

— Извѣстно почему — капиталисты! — усмѣхнулся онъ снисходительно.

— Ну и что-жь? Они сами по себѣ, мы сами по себѣ. Деньги есть — покупай, что хочешь.

— Это ужъ я никогда не повѣрю! — оскорбленно воскликнулъ онъ. — Этого быть не можетъ! У насъ планъ, пятилѣтка. и то, то того, то этого нехватка. А у нихъ, у капиталистовъ — хаосъ! Можетъ тамъ богачамъ и вдоволь, а рабочему развѣ что купишь? Голодовка опредѣленная. Крестьянинъ тоже —

рабъ, крѣпостной, что у него есть? Поди все еще на барщину гонять!

Я понялъ, что и съ сыномъ лучше не спорить. Одно подумалось — такихъ дураковъ въ лагеряхъ мало.

Весь слѣдующій день прошелъ въ безплодныхъ хлопотахъ по канцеляріямъ милиціи, угрозыска и ГПУ. Володя безропотно ходилъ съ домовой книгой отъ одного «стола» къ другому, изъ одного административнаго учрежденія въ другое, но все упиралось въ то, что прописывать долженъ былъ лично домохозяинъ. Гдѣ-же было его взять, когда онъ уѣхалъ въ колхозъ, на стройку?

И вдругъ, выйдя изъ «Адм-Отдѣла», откуда насъ чуть-ли не вытолкали въ шею, мы встрѣтились со столярюмъ носъ къ носу. Онъ пріѣхалъ съ колхозниками въ городъ «по дѣламъ». Всѣ были пьяны; всѣ галдѣли и ругались. Не успѣлъ Володя подойти къ отцу и сказать ему въ чемъ дѣло, какъ онъ заоралъ такъ, что другіе стихли. — Прописывать?! Иностраннаго гражданина! Къ черту! Катись ты къ...! Это ты что, родного отца подъ разсѣрѣлъ?! Иностраннаго гражданина въ домъ пускать!.. — Другую квартиру можете искать; моя вамъ неподходяща, — гордо бросилъ онъ въ мою сторону и удалился.

Пытаться переубѣждать его было безнадежно. Это паническое отношеніе къ иностранцамъ было совершенно ново для меня: ни во время моей работы на Кавказѣ, ни въ лагерѣ, я не видалъ ничего подобнаго. Но если это дошло до такого города, какъ Волоколамскъ, значить ГПУ «брало въ работу» — и въ серьезномъ масштабѣ.

Жить все-же гдѣ-нибудь надо было. Кромѣ того и ГПУ отказывалось регистрировать меня, пока я не укажу своего адреса, грозя, въ противномъ случаѣ, выслать въ другой городъ.

— Всегда у васъ отецъ такой? — спросилъ я Володю, грустно шагая съ нимъ къ дому.

— Съ прошлаго года. Какъ лошадь у него отобрали, такъ и запыль. Но вы не безпокойтесь, мамаша у меня не изъ такихъ — деньги, однимъ словомъ, вернетъ. Квартира тоже найдется. Какъ-нибудь ужъ устроимъ, — говорилъ онъ понуро.

Мать его была еще въ бѣльшемъ горѣ: и деньги отдай, которыхъ она и не видала, и чай-сахаръ тоже верни, которые я ей далъ для знакомства.

Чтобы утѣшить ее, я сказала, что чай и сахаръ она можетъ оставить себѣ, если поможетъ найти мнѣ комнату.

— Веди къ тетѣ Прашѣ, — немедленно распорядилась она.

Тетя Праша жила неподалеку, въ облѣзломъ, развалившемъ

домишкѣ, но сама она была женщина хозяйственная и дѣловая. Первымъ вопросомъ ея, послѣ того какъ Володя краснорѣчиво описалъ ей всѣ мои достоинства, было: — Молоко-то покупать будешь? — Буду. — Ну живи, тогда.

На слѣдующій-же день, одѣвъ воскресное платье, тетя Праша двинулась въ городъ меня прописывать. Сдѣлала она это быстро и безъ всякихъ затрудненій.

— Знакомые мы, съ начальникомъ-то, — объяснила она мнѣ. — Сливочекъ, сметанки снесешь — ну и знаетъ.

Заглянувъ, отъ нечего дѣлать, въ ея домовую книгу, я увидалъ, что за годъ у нея перебивало человѣкъ двадцать пять.

— Прописываю, что дѣлать, надо людямъ помочь, — сказала она со вздохомъ. — Не пропишешь, имъ документовъ не получить. Благодарны бывали. Кто по 25, по 30, а татаринъ одинъ 50 рублей далъ. Безъ запросу — только пропиши, сами даютъ. Жить тоже нужно, вдова я, — заключила она жалостнымъ, но не очень убѣдительнымъ, тономъ.

Кромѣ меня у старухи жила еще работница съ текстильной фабрики Нина, и дочь Надежда, служившая уборщицей въ поѣздахъ и потому проводившая дома только три ночи въ недѣлю.

У Нины былъ ребенокъ трехъ мѣсяцевъ, чаклый и несчастный, котораго она не спускала съ рукъ и брала съ собой на фабрику. Какъ она, хрупкая, слабенькая, вообще могла жить, было совершенно непонятно. Получала она 80 руб. въ мѣсяцъ, если бывали сверхурочные; за квартиру платила 20 руб. Я никогда не видалъ, чтобъ она ѣла что-нибудь кромѣ хлѣба и молока, но и это должно было обходиться не меньше 50 руб. По вечерамъ она ходила полоть огороды, беря что дадутъ — немного картошки, неудавшійся кочанъ капусты, пожелтѣвшіе огурцы. Когда я разъ купилъ селедку, она вызвалась выстирать мнѣ бѣлье, если я отдамъ ей селедочную голову.

Дочери, Надеждѣ, было лѣтъ 24-25. Бѣлобрысая, толстая, лѣнивая, она была занята одной мыслью — вернется-ли мужъ? Счастье, повидимому, было кратковременнымъ; былъ ребенокъ, но скоро умеръ; мужъ бросилъ, уѣхавъ въ Москву къ новой женѣ. Теперь весь интересъ, весь смыслъ ея жизни былъ въ томъ, какъ-бы заполнить его назадъ. Какъ только она возвращалась съ работы, она сейчасъ-же бросалась къ картамъ и начинала гадать — за этимъ проходило ея свободное время. Картамъ доставалась такая работа, что по всему дому валялись совершенно истрепанныя колоды, хотя каждый мѣсяцъ она привозила новую. Всѣ ея мысли были погружены въ то, что ска-

жуть карты: если выходило, что «вернется», у нея глаза и щеки загорались отъ счастья; если нѣтъ — она зѣвала во весь ротъ и валилась спать не раздѣваясь. Разговаривать она была не охотница: спросишь что — мыкнетъ или кивнетъ. Но разъ я что-то мелькомъ замѣтилъ насчетъ картъ, разложенныхъ на столѣ и съ тѣхъ поръ она ухватила за меня такъ, что немислимо было отъ нея отдѣлаться. Ни извиненія, что мнѣ некогда, ни саркастическія замѣчанія насчетъ картъ и предсказаній, ничто не помогало. Какъ только она ловила меня и заставляла братья за карты, сама она застывала какъ окаменѣлая на своемъ стулѣ, и, сжавъ кулаки отъ напряженія, слѣдила за каждой картой какъ завороченная.

Кромѣ гаданья, Надежда интересовалась только платьями: весь ея заработокъ уходилъ на нихъ. Но накупивъ и налюбовавшись ими, она складывала ихъ въ сундукъ, мечтая о томъ, что когда-то они можетъ-быть и пригодятся, теперь-же кому какое дѣло, въ какой грязной рвани она ходитъ.

Странный типъ была эта Надежда: суевѣрная и утратившая всякую религію; сентиментальная и циничная до предѣла. Ни до чего въ жизни ей не было дѣла кромѣ нея самой, да и то — либо въ томъ прошломъ, которое она считала счастливымъ, либо въ будущемъ, о которомъ она не уставала гадать. Именно гадать, а не мечтать. .

Тетя Праца была совсѣмъ иная: настоящій типъ умной бабы — упрямой и себѣ на умѣ. Когда мужъ умеръ, оставивъ ее съ двумя дочерьми-дѣвченками, она сама повела хозяйство, держала лошадь, трехъ коровъ, огородъ, запашку. Когда-же при коллективизации отобрали все, кромѣ худой коровенки, она опять сообразила, что дѣлать, какъ уцѣпиться за новую жизнь. Избу свою она отстояла, но понимая, что въ деревнѣ ея не сохранить, добилась разрѣшенія перенести ее въ черту города, гдѣ фабрика, заинтересованная въ томъ, чтобы имѣть поблизости дешевыя рабочьи руки, раздавала крошечные надѣлы. Въ огородѣ она съ трудомъ могла засадить двѣ-три пряды, но ставъ пролетаркой, а не крестьянкой, она сразу получила право держать корову, свинью и куръ, безъ риска быть зачисленной въ «кулачки». При этомъ домъ ей перевезъ и собралъ брать; старую корову она ухитрилась смѣнить на молодую; теленка, котораго требовалось растить, чтобы слать государству, она рассчитывала во время спустить на мясо, задобивъ кого нужно. Любопытенъ былъ ея способъ добычи корма для скотины. Всѣ поля кругомъ были колхозныя, но придорожныя канавы — ничьи. Она ставила свою корову на длинной веревкѣ, привязан-

ной къ небольшому колышку. Если корова выдергивала коль и уходила въ подсолнечное поле или на колхозный покосъ, чья тутъ была вина? Развѣ за такой скотиной усмотришь? А смотрѣла за ней тетя Праша изъ своей избенки, больше поглядывая, не показался-ли на горизонтѣ кто изъ колхозниковъ. Тогда, всплеснувъ руками, она опрометью бросилась къ коровѣ, призывая Господа Бога и обзывая корову самыми невозможными словами. Корова, спѣшно дожевывая подсолнухъ или сочный клокъ травы, пускалась вглубь поля, хватая что попадетъ. Пока шла погоня, ругань и споры, корова еще успѣвала что-то сжевать. Такой-же политики держалась тетя Праша и со своей свиньей. Содержалась она въ хлѣву, за домомъ, но свинья ловко и привычно уходила оттуда, безшумно направлялась въ колхозное картофельное поле и, вспахивая ряды носомъ, быстро хрупала молодую картофель. Если ей удавалось остаться незамѣченной, она, наѣвшись, сама мирно возвращалась въ хлѣвъ. Кромѣ того она обычно рыла въ разныхъ мѣстахъ, такъ что трудно было опредѣлить много-ли она нашкодила. Свинья была безусловно умнѣй коровы, но обѣ онѣ прекрасно понимали политику своей хозяйки. У нея-же эта своеобразная борьба за существованіе прекрасно совмѣшалась съ усерднымъ благочестіемъ. Передній уголь ея домишка былъ полонъ иконъ, передъ ними всегда горѣла лампадка; на молитву она становилась по нѣскольку разъ въ день, но отговаривала ихъ съ такой быстротой, какъ дробь по барабану, отъ времени до времени прерывая ихъ замѣчаніями о погодѣ, дороговизнѣ продуктовъ и другихъ городскихъ событіяхъ. Однажды, только она стала на молитву, какъ увидела въ окно, что теленокъ оторвался отъ привязи и сосетъ свою мамашу, которая нѣжно его облизываетъ, наслаждаясь рѣдкимъ счастьемъ покормить свое дитя. Не теряя времени, тетя Праша схватила метлу, бросилась различать идилическую пару, наносившую уронъ ея хозяйству, и, наведя порядокъ, опять вернулась въ свой уголь кончать молитвы, вставляя въ нихъ возмущенныя замѣчанія: — Ишь, бестія паршивая! Вонъ чего затѣяла, прости Господи! — и т. д.

Такъ, мирно и буднично, я снова входилъ въ жизнь. Первую недѣлю я отсыпался, пилъ молоко съ хлѣбомъ, ѣлъ яйца, картошку, стараясь подправиться передъ возвращеніемъ домой. Старуха, жалѣя меня, щедро сливала мнѣ устой со всѣхъ крынокъ, считая, что другимъ потребителямъ и такъ сойдетъ. Потомъ я сталъ бродить по городу, заходить въ лавки, на базаръ. Каждая покупка была настоящимъ предпріятіемъ. Бумагу и конверты, напр., я дня два искалъ по всему городу, начиная съ

писчебумажной до скобяной лавки. Наконецъ мнѣ объяснили, что единственное мѣсто, гдѣ продаются такія вещи, это почта. Тамъ мнѣ продали одинъ листикъ и одинъ конвертъ, сказавъ, что въ виду бумажнаго кризиса больше въ однѣ руки продавать не полагается. На этомъ листкѣ я тотчасъ написалъ письмо въ финское консульство, прося снабдить меня этимъ рѣдкимъ товаромъ, недостача котораго была мнѣ знакома еще со времени моей службы на Кавказѣ, лѣтъ 5-7-10 тому назадъ.

Затѣмъ мнѣ вздумалось купить зубную щетку и лишній носовой платокъ. Въ виду проводившейся тогда «кампаніи» за повышение культурно-бытового уровня, вездѣ были выставлены коробки съ разноцвѣтнымъ, ѣдко-пахнущимъ туалетнымъ мыломъ (мыла для стирки не было), пудрой въ соблазнительныхъ коробочкахъ и духами въ дикой формы и окраски флаконахъ, но зубныхъ щетокъ нигдѣ не было. Въ мануфактурныхъ отдѣлахъ матерій появлялись только спорадически; нераспроданнымъ оставалось только дамское бѣлье фантастическихъ, больше зеленого и фіолетоваго, цвѣтовъ съ настроенными завилонами дешеваго кружева. Носового платка найти не удалось — говорили, что, вѣроятно, пришлютъ къ зимнему сезону. Товаръ не изсякалъ только въ госспиртѣ, гдѣ бойко выкачивались деньги изъ колхозныхъ и частныхъ обитателей.

Съ ѣдой тоже обстояло плохо. Рыбы не было никакой. Мясо стоило отъ 7-12 руб. кило. Яйца появлялись какъ рѣдкость, поштучно. А когда я разъ купилъ пару бараньихъ котлетъ и зажарилъ ихъ въ кухнѣ у тети Праши, то это событіе обсуждала вся улица, а изъ косточекъ Нина сварила себѣ «мясной супъ». Въ общемъ населеніе жило на картонкѣ, капустѣ и огурцахъ, съ опаской поджидая зимы, когда и того не будетъ.

Жизнь все-же казалась мнѣ божественной отъ одного того, что я могъ спать въ постели и не ѣсть тюремной баланды. Письмо отъ Заботинскаго, которое я получилъ въ отвѣтъ на свое и въ благодарности за посылки, присланныя еще на мое имя въ Политическій Красный Крестъ и переадресованныя мной на лагерь, казалось мнѣ пришедшимъ изъ какого-то несуществующаго міра, плода мрачныхъ кошмаровъ.

Жизнь въ грязномъ домишкѣ, до такой степени зараженномъ клопами, что спастись отъ нихъ можно было только на чердакѣ, въ этой провинціальной дырѣ, гдѣ, несмотря на всего сотню километровъ отъ Москвы, существовали такъ, какъ въ глуши Сибири, все-же была жизнь, потому что была какая-то надежда на будущее. Для меня это будущее заключалось все въ мысли о визѣ, о разрѣшеніи выѣхать, наконецъ, изъ СССР.

Иногда, по ночамъ, я просыпался, слушалъ какъ по крышѣ стучитъ легкой, лѣтній дождь, какъ на разсвѣтѣ мычить корова, какъ охая и поминая Господа Бога, встаетъ тетя Праша, но все это существовало въ моемъ представленіи только какъ подтвержденіе того, что чья-то жизнь идетъ, что, можетъ быть, и для меня она возобновится когда-нибудь тамъ, въ Финляндіи, на родинѣ.

Вѣсть эта пришла только въ концѣ августа. Но все-таки пришла! Это была телеграмма финскаго консула, что разрѣшеніе на выѣздъ получено.

— Боже мой, Боже мой! — заахала тетя Праша. — Уѣзжаешь? А Надеждѣ-то кто гадать будетъ?! Ну, Господь съ тобой, поѣзжай. Своя жена тоже есть, сынокъ, мамаша. Привыкли мы, хорошій ты человекъ, не гордый.

Ея оханья и напутствія удесятирились, когда я отдалъ ей остатки продуктовъ — крупы, чаю и сахару.

— Вотъ ужъ спасибо! Вѣкъ за тебя буду Богу молить.

Но не успѣлъ я уложиться, какъ услышалъ, что она ходитъ по дому, ворчитъ, въ сердцахъ бросая то кочергу, то метлу. Я спустился со своего чердака узнать, въ чемъ дѣло.

— Въ чемъ дѣло? Да вотъ, уѣзжаешь, а мнѣ какъ быть?! — говорила она, сидя на колченогомъ стулѣ и пересчитывая испрепанные бумажки и мѣдяки, высыпанные въ колѣни. — 28 руб. 40 коп., а поросенокъ стоитъ 40 рублей. Сторговала, сговорила, а теперь что дѣлать?! Поросенка съ осени подрастила-бы, старую свинью къ Рождеству заколола-бы. Пожилъ-бы съ мѣсяць, я такъ ужъ рассчитывала! Откуда теперь столько денегъ взять? 11 руб. 60 коп. говоришь? Больше червонца. Гдѣ ихъ наскреести? Надежда не дастъ, а поросенка сейчасъ брать надо, эта тетка ждать не будетъ, другому продастъ.

Пришлось приплатить ей на поросенка. Я чувствовала себя счастливецемъ, а у старушки всѣ морщинки заулыбались, когда она увидѣла, что ея мечты исполняются какъ по волшебству.

8. Домой!

Только получивъ визу, я сталъ мечтать о томъ, что было для меня запретнымъ до послѣдняго момента.

Гельсингфорсъ. Тамъ ждали меня жена и сынъ. Въ послѣдній разъ я видѣлъ ихъ въ 1929 г., почти шесть лѣтъ тому назадъ. Всѣ эти годы они прожили въ Англии. Сынишкѣ тогда было 4; теперь — 10. Большой мальчикъ. Вѣрно, настоящей маленькій англичанинъ. Забытъ и финскій, и русскій, а можетъ-

быть, забыть и отецъ. Нѣтъ, этого не могло быть, слишкомъ тепло и искренне звучали его ребячьи письма, гдѣ все было такъ просто, ясно. Милый мальчишка!.. И мать свою я не видалъ уже почти 12 лѣтъ. За эти годы моей тюрьмы и ссылки ей пришлось трудно, и все-же она мнѣ помогала, за меня хлопотала. Можетъ быть это она меня и выручила, не давая финскимъ властямъ забыть о неудачномъ гражданинѣ... Какъ тоже будетъ съ работой?

Въ финскомъ консульствѣ настроеніе по поводу моего освобожденія было самое праздничное. Въ Финляндію была уже послана телеграмма моей матери, что я выѣзжаю. Съ Ленинградскимъ отдѣломъ финскаго консульства уже снеслись и условились, какъ обезпечить мой проѣздъ. Изъ Москвы было заказано спальное мѣсто въ «Красной Стрѣлѣ» и меня проводили до самага купэ, съ наставленіями не выходить на станціяхъ. Въ Ленинградѣ меня встрѣтили на вокзалѣ и, доставивъ въ консульство, посовѣтовали далеко не уходить — кто знаетъ, бывали случаи, что люди исчезали и въ послѣдній моментъ. Съ такими-же совѣтами меня опять проводили до вагона, гдѣ была уже интернаціональная толпа туристовъ — финны, норвежцы, шведы, всѣ въ восторгѣ отъ поѣздки въ СССР, всѣ веселые и многіе навеселѣ. Я былъ единственнымъ пассажиромъ не изъ Интуриста и единственнымъ, кого въ Бѣлоостровѣ, на границѣ, обыскали до послѣдней нитки.

Я вернулся въ поѣздъ послѣднимъ; на всѣхъ подножкахъ уже стояли гепеусты съ ружьями. По свистку, поѣздъ медленно сталъ двигаться къ мосту черезъ пограничную Сестру-рѣку. Поляны, березовыя роши, небо въ лучахъ заходящаго солнца — все выглядело такъ красиво и мирно. Кто могъ знать, что за жизнь идти въ этой странѣ? Но все-же, когда поѣздъ шель по мосту, когда онъ задержался почти до полной остановки, когда гепеусты спрыгнули и вмѣсто нихъ вошла финская стража, — притихли всѣ, даже самые подвыпившіе. Чувствовалось, что мы переѣзжаемъ не просто изъ одного государства въ другое, а изъ одного міра въ другой.

Что творилось со мной, я не могу описать. Сердце колотилось, горло сжалось отъ спазмы, меня трясло какъ въ жестокой лихорадкѣ. 10 лѣтъ!.. Изъ нихъ пять лѣтъ тюрьмы и ссылки, когда не было увѣренности ни въ одномъ днѣ!.. Какимъ вернулся я на родину? Что еще мнѣ осталось въ жизни?

Поѣздъ плавно подошелъ къ станціи Рајајокі. Вошли спокойные, медлительные финскіе таможенники: любезно попросили предъявить паспорта, быстро ихъ проверили. Мнѣ они ска-

зали, что на мое имя получены деньги и что мнѣ придется задержаться въ Теріокахъ для бесѣды съ финскими властями. Въ Теріокахъ я сошелъ съ поѣзда и думалъ, меня уже ждетъ полиція, но на платформѣ никого не было. Я прошелъ въ буфетъ и уже начиналъ думать, что это какое-то недоразумѣніе, какъ увидѣлъ подъѣзжавшій къ станціи автомобиль и фигуру чиновника полиціи, въ штатскомъ, но опредѣленно такого типа. Онъ любезно извинился, что опоздалъ и предложилъ сѣсть въ автомобиль.

— Извините, что мы васъ задерживаемъ; у насъ такое правило — опрашивать всѣхъ возвращающихся послѣ долгаго пребыванія въ СССР.

Опросъ затянулся до поздней ночи: естественно, что финскимъ властямъ были интересны условія моей жизни въ СССР. Мать мою извѣстили по телефону, что я выѣду только на слѣдующій день, чтобъ она не беспокоилась, но она тотчасъ сѣла въ поѣздъ и, послѣ ночного путешествія, рано утромъ уже привѣтствовала меня отъ лица всей семьи. Къ этому времени формальности уже всѣ были кончены; мнѣ оставалось только — обязательный визитъ въ финскую баню, и я сталъ снова вольнымъ, финскимъ, полноправнымъ гражданиномъ.

Только тутъ, когда кончилось все это напряженное волненіе, я увидалъ, что дѣлается вокругъ меня. На чисто выметенныхъ улицахъ стояли чистенькіе, основательно покрашенные дома, съ ярко сіявшими, натертыми стеклами. Садики полны цвѣтовъ. Дороги — въ безукоризненномъ порядкѣ. Ни крику, ни ругани, ни шума — даже на вокзалахъ. Жизнь, видимо, течетъ размеренно, спокойно и обильно. Вокзальный буфетъ такъ красиво устроенъ, что страшно было нарушить эту своеобразную прелесть блюдо съ розовой семгой, желтовато-бѣлыми порціями цыпленка, ветчины, всякаго рода колбасами, рыбой жареной, заливной и маринованной. Что это могло стоить? Что можно было спросить? Но пока я раздумывалъ, моя мать уже заказала массу угошенья, про которое она говорила: — «такъ, закусить немножко съ дороги», — а я уже давно забылъ и видъ, и вкусъ этихъ яствъ. Съ нѣкоторымъ страхомъ я подумывалъ, хватить-ли намъ расплатиться, но оказалось, что мы вдвоемъ не сѣли на 25 марокъ, а еще пили чудный кофе со сливками.

Въ поѣздѣ, несмотря на всѣ удобства, свѣжее бѣлье, покой и тишину, сопровождаемую только мѣрнымъ стукомъ колесъ, я не могъ спать. Слишкомъ все было волнительно, слишкомъ хотѣлось видѣть все: не пропустить ни красныхъ домиковъ

поль соснами, ни стрыхъ гранитныхъ глыбъ, ни коровъ, спокойно разгуливавшихъ цѣлыми стадами.

Гельсингфорсъ, куда мы пріѣхали рано утромъ, поразила меня такъ, что казалось я никогда и не узнаю въ немъ прежняго города. Это была теперь настоящая столица, съ превосходными зданіями, построенными по послѣднему слову архитектуры и техники, съ массой автомобилей, прекрасными автобусами, которые, судя по обозначеніямъ направленій, обслуживали всю страну. За десять лѣтъ, онъ видимо выросъ во много разъ и приобрѣлъ тотъ своеобразный, финскій, независимый стиль, котораго въ немъ раньше не было.

Я все еще не могъ опомниться, когда автобусъ, въ который мы пересѣли съ поѣзда, оказался за городомъ, среди сосенъ, елей и уютно поставленныхъ между ними дачекъ. Мать показала мнѣ, куда свернуть. Я открылъ калитку. Передо мной былъ садъ; прямая дорожка, усыпанная желтымъ пескомъ, вела къ балкону. На балконѣ стояло двое, такіе-же нарядные и праздничные, какъ все кругомъ.

— Daddy! daddy! — въ восторгъ закричалъ темноглазый, черноглазый, крѣпкій мальчуганъ, бросаясь мнѣ на шею.

— My dear... — услышалъ я, какъ въ туманѣ, срывающійся голосъ жены.

Кончено, горе, разлука, бессмысленныя муки. Я дома! Я счастливъ, готовъ былъ крикнуть я, когда, гдѣ-то въ глубинѣ, съ болью отозвалось воспоминаніе — заключенные за проволокой, мой бѣдный другъ Заботинскій, Сибирь...

О. Фельтгеймъ.

КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ

Петербургскія пророчества

«Зіяли триумфальныя арки, какъ мосты, разоренныя слишкомъ тяжелой провѣдною пошпиной. Бездомныя псы поднимали ногу на коринфскія колонны. Пулеметы изрѣзали аконфы бѣлыми звѣздами. Посинѣвшіе отъ холода прохожіе — молчаливые призраки, обутые въ галоши — казались подъ щиплющимъ снѣгомъ такими же оштукатуренными, какъ стѣны мокрыхъ домовъ, съ которыхъ въ вышину человѣческаго роста облѣзла краска. Изъ трубъ, вмѣсто дыма, подымалась одна лишь черная бумага сожженныхъ писемъ; задѣланныя ржавымъ желѣзомъ двери отворялись неохотно, а по вечерамъ не отворялись совсѣмъ; разговоры можно было вести только за семью замками у себя дома или въ тюремной камерѣ. Подъ низкимъ небомъ, конныя статуи, позелѣвшія, какъ стилитонскій сыръ, скакали по линии горизонта и не могли ее перескочить.»

Такимъ увидѣлъ Петербургъ французскій писатель, провѣдомъ заглянувшій туда лѣтъ черезъ пять послѣ «октября». Онъ говорить о невмытыхъ стеклахъ «окна въ Европу», о прекраснѣйшемъ, быть можетъ, изъ европейскихъ городовъ, уподобляемомъ

нынѣ Венеціи, Равеннѣ или Пастуму, съ которыми сравнилъ его Уэльсъ. Впечатлѣнія обветшалого величія, которыя вынесъ Поль Моранъ изъ разоренной и заброшенной столицы, возникали въ тѣ годы у всѣхъ посѣтителей ея; о нихъ-же, хоть и не столь цвѣтстыми языкомъ, повѣствуетъ нѣмецъ Блумбергъ, посѣтившій ее немного позже. «Сѣверная Пальмира» показала ему старѣющей предестинницей, облеченной въ неприятное «неглиже». Даже на Невскомъ замѣтилъ онъ немало домовъ съ окнами безъ стеколъ, сквозь которыя видѣлись полусорванные обои и пустыя отверстія дверей. Снятыя съ петель двери пошли на топливо. Многія крыши провалились. Одни дома сохранили только фасадъ, скрывавшій уже давнія развалины; другіе стали необитаемы вслѣдствіе порчи печей и водопровода; третьи съ трудомъ удалось привести въ жилой, но неприглядный видъ. Зимній дворецъ, облѣзлый и дряхлый, увидѣлъ онъ вохожимъ на принеудий изъ упадокъ усадебный домъ какого-нибудь разорившагося помѣщика. И только Исаакіевскій соборъ показался ему неколебимымъ, небовающимся невзгодъ въ гранитной сво-

ей одеждъ, съ высокимиъ порталами, гдѣ еще сіяли золотыя буквы: «Господи, волею Твоею да возвеличится царь». Онъ не зналъ, что свай подъ нимъ давно подгнили и что укрѣпить его нѣтъ возможности.

Когда Федотову, разбитую парализуемъ, везли, уже при новыхъ господахъ, по московскимъ улицамъ, мимо Малаго театра, она заплакала и сказала: «Милый, какой ты сталъ грязный, какой скверный». Такъ и мы скажемъ, еще и сейчасъ, если доведется намъ увидѣть Петербургъ, хоть его должно быть и поштукатурили съ тѣхъ поръ, починили, вычистили... Не въ одной штукатуркѣ дѣло.

На конвертѣ съ заграничной маркой мы ставимъ глупыя четыре буквы и партійную кличку ставшаго безмяннымъ города. Мы адресуемъ письмо куда-нибудь на проспектъ Володарскаго или на Вторую улицу Деревенской Бѣдноты и съ трудомъ представляемъ себѣ, что почтальонъ понесетъ его вдоль портиковъ Адмиралтейства, вдоль обгорѣлыхъ стѣнъ Окружного Суда, мимо деревяннаго домика Петра Великаго. Развѣ не призрачными стали — даже не для насъ, а именно для оставшихся тамъ — Петропавловская крѣпость, Растреллиевое чудо въ Смольномъ, Академія, Биржа, Инженерный замокъ, Александринскій театр? Наводнение сдѣлало свое дѣло; пла и тина, интесенныхъ нимъ, не смоютъ никакіе реставраторы. Какъ бы ни подгоняли, ни перекрашивали этихъ куполовъ, спилей и колоннъ, — съ каждымъ годомъ они все невозвратнѣй становятся тѣ-

нями самихъ себя. Нынѣшній Версаль — только тѣнь Версаля; будущій Петербургъ будетъ лишь тѣнью нашего. Онъ уже дремлетъ и сейчасъ на родномъ болотѣ, опустившійся, заброшенный, окруженный ничтожествомъ не умѣющей его наполнить жизни. Трагическій обликъ его, въ первые годы революціи, — окровавленный, голодный и порфирокосный, — понемногу смѣняется другимъ, болѣе обыденнымъ, болѣе житейскимъ, такимъ, что лишь неистребленная его архитектура и неистребимое дерзновеніе его замысла мѣшаютъ ему стать, подобно другимъ русскимъ городамъ, всего на всего обезвѣченнымъ, уравниненнымъ, затоптанымъ совѣтскимъ захолустьемъ. Судьба Петербурга и петербургской Россіи предчувствовалась давно; на нашихъ глазахъ она свершилась.

«Петербургъ быть пусту». Пророчества иногда сбываются. Ихъ было много — отъ самыхъ давнихъ, приписываемыхъ тому времени, когда еще только закладывался городъ, до полу-предвидѣній, полу-проклятій З. Н. Гиппіусъ въ 1909 году:

Нѣтъ, ты утонешь въ тинѣ черной,

Проклятый городъ, Божій врагъ,
И червь болотный, червь упорный

Изъѣсть твой каменный ко-
стикъ.

Камень, правда, не изъѣденъ, но въѣды и въ стихахъ не о камнѣ идетъ рѣчь, и, если взять ихъ основной смыслъ, они — лишь

конечный выводъ изъ разрастающейся отъ поколѣнія къ поколѣнію тревоги, изъ непрерывно углублявашагося сомнѣнія. Возрастаніе это началось, однако, не сразу; пророчества и предчувствія сперва дремали подъ спудомъ добрый вѣкъ. О нихъ почти не помнили при Екатеринѣ, при Александрѣ I-омъ. Казалось, что новой столицѣ скоро суждено врати въ чуждую ея замыслу страну, что рака, нанесенная разрывомъ съ прошлымъ, уже зарубцевалась. Залогомъ новой жизни казалась самая память о вѣчномъ бунтарѣ, память — не въ примѣръ мапзолею на Красной площади — приуроченная къ жилищу, а не къ могилѣ. О домикѣ на Петербургской сторонѣ прусскій генераль Фридрихъ фонъ Гагернъ замѣтилъ въ 1839 году: «Ему придали видъ часовни, въ которой великому челоуѣку поклоняются, какъ святому», а три года спустя Герценъ писалъ: «Въ Петербургѣ одинъ и есть мощи — это домикъ Петра». Характерно впрочемъ, что Герценъ ошибался: онъ забылъ о Лаврѣ, гдѣ въ огромной, неимовѣрной тяжести ракъ изъ литого серебра хранились мощи Александра Невскаго. Къ сороковымъ годамъ этотъ символъ возстановленной преемственности между старой и новой Россіей, уже померкъ и никто не предвидѣлъ, что черезъ сто лѣтъ разрушители и наследники петербургской Россіи попытаются вновь его использовать. Было время однако, когда онъ ощущался живымъ и дѣйственнымъ, и недаромъ именно въ своихъ «Стихахъ св. Александру Невскому»

Сумароковъ съ такой ничѣмъ не омраченною надеждою призывалъ:

Ликуйте вы, Петровы стѣны,
Играйте, Невски берега!

Другой, болѣе прославленный призывъ, «Красуйся, Градъ Петровъ...», звучитъ уже не такъ, не столь безоблачно: торжественнѣй, но и тревожнѣй. Пушкинъ въ 1833 году болѣе, чѣмъ когда-либо, пріемлетъ Петра и утверждаетъ Петербургъ, но и яснѣй, чѣмъ прежде, видитъ, что ихъ судьба еще не рѣшена, что борьба еще не кончена. Призывъ похожъ на заклинанье, рожденное ощущеніемъ опасности:

Красуйся, Градъ Петровъ, и стой
Неколебимо, какъ Россія.

Да умирится же съ тобой
И побѣжденная стихія, —

а что если не умирится? Да и впаднѣ ли она побѣждена? И вѣдь не объ одной природной стихіи, не объ однихъ «финскихъ волнахъ» идетъ рѣчь. Правда Евгения не уничтожена, не превращена въ ложь правдою Петра, его города, его Россія. Въ «Мѣдномъ Всадникѣ», какъ это бываетъ лишь въ величайшихъ твореніяхъ искусства, совмѣщены два казалось бы исключаютъ другъ друга переживания. Въ немъ — восторгъ передъ «державцемъ полуміра», благословеніе его дѣлу, страстная вѣра во власть государственной узды надъ хаосомъ бунта и наводненія; но въ немъ и другое:

Судьба съ невѣдомымъ извѣ-
стьемъ,

Какъ съ запечатаннымъ пись-
момъ,

пустынный островъ на взморѣ,
«домишка ветхій», раздавленная

человѣческая жизнь. «Горделивый истуканъ», «кумиръ на бронзовомъ конѣ» врядъ ли вполне равнозначенъ неотразимо живому, излучающему жизнь Петру «Полтавы». «Стихія» покорена, побѣжденъ Евгений, но пророческимъ ужасомъ содрогается поэтъ при мысли о «силѣ черной», рвущейся истребить искусственный городъ, искусственную Россію Петра. Нѣтъ гимна Петербургу, который сравнился бы съ «Мѣднымъ Всадникомъ», но потому, какъ разъ, что онъ — трагическій гимнъ, что не безмятежное преносеніе въ немъ дано, а впервые схвачена и навѣкъ запечатлѣна трагедія Петербурга, Петра, Россіи.

Самое равновѣсіе — т. е. художественное здоровье его — трагично, ибо основано на равноцѣнности двухъ правдъ, изъ коихъ одна, ни въ чемъ не измѣняя себя, все же терзаетъ и насилуетъ другую. Бронзовый Петръ и гранитный Петербургъ одновременно увидѣны тутъ въ своей предѣльной красотѣ и въ роковой неравности своей съ несправдливостью, страданіемъ и смертью. Но созерцать трагедію не всякому дано, а непрерывно ее переживать и вообще недоступно человѣку. Неповторимъ былъ къ тому же и тотъ историческій моментъ, когда еще съ полнымъ торжествомъ звучало «да», но и «сѣсть» уже было произнесено, и когда явился Пушкину замыселъ его поэма. За нѣтъ лѣтъ до того онъ и самъ положилъ начало, не сличію отрицанія и утвержденія, огня и льда, а болѣе односторонне: холодку, сомнѣнію, ироніи.

Городъ пышный, городъ бѣдный,
Духъ неволи, стройный видъ,
Сводъ небесъ зелено-блѣдный,
Скука, холодъ и гранитъ;

стихи эти переходятъ въ мадригалъ и до нѣкоторой степени они случайны; думаю, однако, что они все же показательны. Черезъ четыре года послѣ нихъ и за годъ до пушкинской поэмы, Хомяковъ уже писалъ въ петербургскій альбомъ С. Н. Карамзиной стихи, начинающіеся такъ:

Здѣсь, гдѣ гранитная пустыня
Гордится мертвой красотой...

и снабженные двумя вымышленными элиграфами на англійскомъ языкѣ и на французскомъ: «Быть въ Петербургѣ, имѣя душу и сердце, — истинное одиночество» и «Я увидѣлъ городъ, гдѣ все изъ камня: дома, деревья и горожане. Въ самый годъ, когда писался «Мѣдный Всадникъ», Печеринъ работалъ надъ своей драматической поэмой «Торжество смерти», гдѣ нѣкая неправедная столица погибаетъ отъ наводненія, согласно никогда окончательно не исчезавшимъ повѣрьямъ о Петербургѣ. А два года спустя молодой балтійскій иѣмецъ Викторъ Генъ писалъ брату: «Ты спрашиваешь, какъ мнѣ понравился Петербургъ? Холодное великолѣпіе. Гигантскія строенія безъ души. Въ этомъ каменномъ городѣ нѣтъ живого, горячаго кровообращенія, какъ въ Лондонѣ и въ Парижѣ. Онъ построенъ въ сѣверной пустынѣ и, быть можетъ, скоро будетъ похожъ на пустынные развалины Балъбека и Пальмиры. Петербургъ — искусственный городъ, возникшій необычайно быстро, и когда

российское государство распадет-ся, онъ исчезнетъ съ такой же быстротой*)).

Чувство Петербурга у русскихъ и у иностранцевъ мѣняется одно-временно. Къ концу тридцатыхъ годовъ тѣ и другіе преимуще-ственно воспринимаютъ въ немъ чужеродность, каменность, холод-ность, — а также непрочность: ожидаютъ его гибели. Въ знамени-томъ описаніи Жозефа де Мэ-стра, предпосланномъ первой бесѣдѣ «Петербургскихъ вечеровъ» и отнесенномъ авторомъ къ 1809 году, только и читаешь о вели-колѣпнн города и величии его твор-ца, о полноводной Невѣ, гранит-ныхъ набережныхъ, зеленыхъ островахъ: «*Tout ce que l'oreille entend, tout ce que l'œil con-temple sur ce superbe théâtre n'existe que par une pensée de la tête puissante qui fit sortir d'un marais tant de monuments pompeux. Sur ces rives désolées, d'où la nature semble avoir exilé la vie, Pierre assit sa capitale et se créa des su-jets*». Кюстинъ черезъ тридцать лѣтъ уже не вѣритъ въ дѣло Петра и не слишкомъ восторга-ется его городомъ. По его сло-вамъ «*personne ne croit à la durée de cette merveilleuse ca-pitale*», да и чудесна она для не-го только въ самомъ буквальномъ смыслѣ слова: онъ не находитъ ничего прекраснаго въ ея роско-ши и классическія формы ея архи-тектуры кажутся ему неумѣстны-ми на невскихъ берегахъ. Произ-полъ Петра по де Мэстру оправ-данъ, по Кюстину онъ только и

держится произволомъ его на-слѣдниковъ. Онъ предвидитъ ко-нецъ въ духѣ старыхъ проро-чествъ или мнѣнія Гена: «*Que cette capitale sans racines ni dans l'histoire, ni dans le sol, soit oubliée du souverain, un seul jour; qu'une politique nouvelle porte ailleurs la pen-sée du maître, le granit caché sous l'eau s'émiette, les basses terres inondées rentrent dans leur état naturel et les hôtes de la solitude reprennent posession de leur gîte.*»

Если вѣрить графу Соллогубу, Лермонтовъ любилъ «чертить перомъ и даже кистью видъ разъя-реннаго моря, изъ-за котораго подымалась оконечность Алексан-дровской колонны съ вѣнчающимъ ее ангеломъ». Черезъ годъ послѣ смерти Лермонтова Герценъ пи-салъ: «Жизнь Петербурга только въ настоящемъ; ему не о чемъ вспоминать кромѣ о Петрѣ I, его прошедшее сколочено въ одинъ вѣкъ, у него нѣтъ исторіи, да нѣтъ и будущаго; онъ всякую осень можетъ ждать шквала, ко-торый его потопитъ». «Въ судь-бѣ Петербурга есть что-то траги-ческое, мрачное и величествен-ное. Онъ — блестящій, удивительный, одинъ изъ самыхъ кра-сивыхъ городовъ въ мірѣ», одна-ко въ немъ есть официальность и мертвенность, которая Герце-ну невыносима и потому «любить Петербургъ нельзя», хотя онъ и чувствуетъ (какъ западникъ), что «не сталъ бы жить ни въ какомъ другомъ городѣ Россіи». Петер-бургъ вбить сваями «не въ рус-скую, а въ финскую землю». «Пе-тербургъ не разлитъ жизни около себя; и не могъ, наоборотъ, по-

*) Th. Schiemann. Viktor Hehn. 1894, стр. 25.

черпнуть жизненныхъ соковъ изъ сосѣдства; и въ этомъ опять его трагическій характеръ». Для Герцена весь онъ «сжимается, лѣпится, сосредоточивается около Зимняго дворца», въ согласіи съ фразой Гена изъ уже приводившагося письма: «Petersburg ist nichts durch sich selbst, durch seine Lage, seine Geschichte, sondern alles als Residenz der russischen Kaiser». Петербургъ — основной символъ императорской Россіи; связь между знакомъ и тѣмъ, что онъ знаменуетъ, не только не ослабѣла, но еще усилилась съ годами; отсюда помертвѣніе символа и приобретаетъ всю свою значительность.

Въ «Литературныхъ и житейскихъ воспоминаніяхъ» Тургенева замѣчательно рассказано о переломѣ, произошедшемъ въ серединѣ тридцатыхъ годовъ и окончательно опредѣлившемся къ началу сороковыхъ, о паденіи того, что онъ называетъ «ложно-величавой школой» съ ея риторической государственной моши въ духѣ Марлинскаго, Кукольника, Загоскина, Бенедиктова и о наступленіи новой эры, связанной прежде всего съ именами Бѣлинскаго и Гоголя. Самое интересное въ этомъ рассказѣ то, что по Тургеневу дѣло тутъ отнюдь не ограничивалось Кукольниковъ или Марлинскимъ; онъ говоритъ безъ обиняковъ: «„Мѣднымъ Всадникомъ“ нельзя было любоваться въ одно время съ „Шинелью“». Свидѣтельство это несложно: самый глубокій переломъ во всей русской исторіи отъ Петра до Ленина совершился именно тогда, двумя датами, 1833 и 1842, можно обозначить его начало и ко-

нецъ, а такъ какъ съ нимъ связана судьба петербургской Россіи, то и судьба Петербурга не можетъ быть отъ него оторвана. На первый взглядъ Акакій Акакіевичъ отъ Евгенія не такъ ужъ далекъ, хотя этотъ — захудалый дворянинъ, а тотъ — безродный разночинецъ, — различіе въ историческомъ отношеніи немаловажное; однако они и вообще принадлежатъ къ двумъ разнымъ политическимъ мірамъ, къ двумъ противоположнымъ образамъ Россіи. Пушкинъ смотритъ на нее какъ бы съ той гранитной глыбы, на которой воздвигнутъ фальконетовскій Петръ; Гоголь смотритъ — или по крайней мѣрѣ хочетъ смотрѣть — и на Россію, и на Петра глазами ничтожнаго, потеряннаго, раздавленнаго человѣка. Когда читаешь:

И онъ по площади пустой

Бѣжитъ и слышитъ за собой... не легко представляешь себѣ, что въ томъ же городѣ есть другая площадь, гдѣ «какіе-то люди съ усами» снимаютъ шинель съ туллярнаго совѣтника Башмачкина. Для Евгенія Петербургъ еще имѣетъ смыслъ — тотъ же, что для Петра —, хотъ и приносить ему гибель; для Акакія Акакіевича (и Гоголя) это всего лишь департаментъ, будочникъ, «значительное лицо», т. е. нѣчто, въ чемъ вообще нѣтъ смысла.

Съ «Шинели» идетъ рѣшительное развѣнчаніе Петербурга, которое затѣмъ ширится и углубляется изъ года въ годъ. Предпочтеніе, отдаваемое славянофилами Москвѣ, отнюдь не заставляетъ западниковъ восторгаться Петербургомъ. Формулъ Гоголя (изъ «Петербургскихъ записокъ» 1836

года) «Москва нужна для Россіи, для Петербурга нужна Россія» какъ будто противостоятъ формула Герцена «необходимость Петербурга и ненужность Москвы», но вѣдь Герценъ въ той же самой статьѣ своей «Москва и Петербургъ», какъ мы уже видѣли, заявилъ, что любить необходимый этотъ городъ онъ не въ силахъ. Не любилъ его и Тургеневъ, и въ началѣ шестидесятыхъ годовъ (въ «Призракахъ») именно онъ, а не какой-нибудь фанатикъ «исконныхъ началъ» и Москвы, описалъ его такъ: «Эти лустыя, широкія, сѣрыя улицы; эти сѣро-бѣловатые, желто-сѣрые, сѣро-лиловые, оштукатуренные и облупленные дома, съ ихъ впалыми навѣсами надъ крыльцами и деревянными овошными лавчонками; эти фронтоны, надписи, будки, колонны; золотая шапка Исаакія; ненужная, пестрая биржа; гранитная стѣна крѣпости и взломанная деревянная мостовая; эти барки съ сѣномъ и дровами; этотъ запахъ пыли, капуста, рожи и конюшни, эти окаменѣлые дворники въ тулупахъ у воротъ, эти скорченные мертвымъ сномъ извозчики на продавленныхъ дрожжахъ, — да, это она, наша Сѣверная Пальмира».

Дѣло тутъ не въ идеологіяхъ и не въ личныхъ вкусахъ, а въ вытѣриваніи смысла, въ увяданіи надеждъ, въ ощущеніи непрочности петербургской Россіи. Всего выразительнѣй раскрывается это у Достоевскаго, если прослѣдить, какъ измѣнялось съ годами столь острое у него чувство Петербурга — вплоть до оцѣнки его пейзажа, его архитектуры — вмѣстѣ

съ ростомъ тревоги о его судьбѣ.

Въ одномъ изъ фельетоновъ «Санктъ-Петербургскихъ Вѣдомостей» за 1847 годъ, озаглавленныхъ «Петербургская Лѣтопись» и подписанныхъ буквами Ф. Д., встрѣчаются такія строки: «Не помнимъ, когда случилось намъ прочитать одну французскую книгу, которая вся состояла изъ взглядовъ на современное состояніе Россіи. Конечно, ужъ извѣстно, что такое взглядъ иностранцевъ на современное состояніе Россіи; какъ-то упорно не поддаемся мы до сихъ поръ на обмѣрку насъ европейскимъ аршиномъ. Но несмотря на то, книга пресловутаго туриста прочлась всей Европой съ жадностью. Въ ней, между прочимъ, сказано было, что нѣтъ ничего безхарактернѣе петербургской архитектуры; что нѣтъ въ ней ничего особенно поражающаго, ничего національнаго, и что весь городъ одна смѣшная карикатура нѣкоторыхъ европейскихъ столицъ; что, наконецъ, Петербургъ, хотя бы въ одномъ архитектурномъ отношеніи, представляетъ такую странную смѣсь, что не перестаешь ахать, да удивляться на каждомъ шагѣ. Греческая архитектура, римская архитектура, византійская архитектура, архитектура рококо, наша парвославная архитектура, — все это, — говоритъ путешественникъ, — сбито и скомкано въ самомъ забавномъ видѣ, и, въ заключеніе, — ни одного истинно прекраснаго зданія».

Эти взгляды французскаго путешественника, въ которомъ легко узнать Кюстина, еще за пять лѣтъ до статьи Достоевскаго впол-

нѣ раздѣлялись Герценомъ, писавшимъ: «Оригинальнаго, самобытнаго въ Петербургѣ ничего нѣтъ (...) Петербургъ тѣмъ и отличается отъ всѣхъ городовъ европейскихкихъ, что онъ на всѣ похожъ», и еще: «въ немъ даже русскія церкви приняли что-то католическое». Достоевскій, однако, горячо возражаетъ Кюстину: «Петербургъ — глава и сердце Россіи. Мы начали объ архитектурѣ города. Даже вся эта разнохарактерность ея свидѣтельствуеетъ объ единствѣ мысли и единствѣ движенія. Это зданіе въ растреллевскомъ вкусѣ напоминаетъ Екатерининскій вѣкъ, это — въ греческомъ и римскомъ стилѣ, позднѣйшее время, но все вмѣстѣ напоминаетъ исторію европейской жизни Петербурга и цѣлой Россіи. И до сихъ поръ Петербургъ — въ пыли и въ мусорѣ; онъ еще создается, дѣлается; будущее его еще въ идеѣ, и идея эта принадлежитъ Петру I, она воплощается, растетъ, укореняется съ каждымъ днемъ не въ одномъ петербургскомъ болотѣ, но во всей Россіи, которая вся живетъ однимъ Петербургомъ...»^{*)}. Далѣе Достоевскій развиваетъ мысль, что если Москва знаменуетъ собой національное прошлое Россіи, то Петербургъ, это — ея не менѣе національное настоящее и будущее. Удареніе ставитъ онъ на будущемъ, и въ этомъ, незамѣтно для себя, переключается со своимъ противникомъ Кюстиномъ: «All-

^{*)} См. В. А. Комаровичъ. «Фельетоны сороковыхъ годовъ». 1930. Тамъ же приводимые далѣе тексты изъ черновыхъ записей Достоевскаго.

leurs on a fait de grandes villes en mémoire des grands faits du passé (...) Saint Pétersbourg avec sa magnificence et son immensité est un trophée élevé par les Russes à leur puissance à venir; l'espérance qui produit de tels efforts me paraît sublime!» Зато, когда надежда ослабѣетъ, когда померкнетъ вѣра въ будущее Петербурга, тогда и отношеніе Достоевскаго къ нему кореннымъ образомъ измѣнится.

Черезъ шестнадцать лѣтъ, въ годъ тургеневскихъ «Призраковъ», «Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ» вновь упоминаютъ о екатерининскомъ, о «растреллевскомъ» вѣкѣ: «Однимъ словомъ, вся эта заказная и приказанная Европа удивительно какъ удобно уживалась у насъ, тогда, начиная съ Петербурга, — самаго фантастическаго города, съ самой фантастической исторіей изъ всѣхъ городовъ земного шара». Фантастическій, это значить «несамодѣлишный», призрачный, иллюзорный, не оправдавшій положительныхъ надеждъ; и Европа здѣсь — только заказная, приказанная Европа. Еще десять лѣтъ спустя, въ «Маленькихъ картинкахъ», включенныхъ въ «Дневникъ писателя», Достоевскій высказываетъ взглядъ на петербургскую архитектуру вполне совпадающій съ тѣмъ мнѣніемъ о ней «пресловутаго туриста», которое онъ когда-то такъ ревностно оспаривалъ. Въ архитектурномъ отношеніи Петербургъ ему представляется теперь отраженіемъ «всѣхъ архитектуръ въ мірѣ, всѣхъ періодовъ и модъ; все постепенно заимствовано и все по своему перековеркано». Ему уже не яра-

вится ни «безхарактерная архитектура церквей прошлаго столѣтїа», ни классицизм Имперїи, ни византїйскїя стїлизаціи Тона, ни подражанїя венеціанскимъ или римскимъ дворцамъ Возрожденїя и барокко. Строителямъ этихъ дворцовъ «слишкомъ ужь крѣпкимъ и ободрительнымъ казался установившїйся (...) шорядокъ вещей, и въ появленїи этихъ палаццо какъ бы выразилась вся вѣра въ него: тоже вѣка собирались прожить. Пришлось, однако же, все это почти наканунѣ крымской войны, а потомъ и освобожденїя крестьянъ...»

Въ черновой записи 1876 года Достоевскїй возвращается къ той же темѣ: «Говорятъ, австрїйскїй императоръ похвалилъ нашъ городъ: «Красивъ, хорошо выстроень». Я этого не понимаю, хотя очень люблю архитектуру. Красивыхъ зданїй дѣйствительно, довольно, но до того все это разнхарактерно выстроено, что другого такого города, я думаю, нѣтъ на свѣтѣ. Всѣ типы архитектуры, рядомъ съ полной безхарактерностью, увидите чуть-ли не на каждой улицѣ. Если бы вдругъ мы перенеслись на тысячу лѣтъ спустя, и Петербургъ какъ-нибудь сохранился, какъ Помпея, то всякій бы спросилъ: «какой это такой народъ жилъ въ этомъ городѣ? Какая у него была идея, какой былъ у него характеръ?» Все было, всѣ характеры, и ничего, значить, не было...»

Отчасти мысли эти объясняются не только тѣмъ, что измѣнился Достоевскїй, но и тѣмъ, что измѣнился Петербургъ. Въ качествѣ примѣра «безхарактерности» его архитектуры онъ совершенно

справедливо приводитъ «княжескїй домъ» на Невѣ. Домъ этотъ, по его словамъ, претендуетъ подобно своимъ итальянскимъ образцамъ на «заявленїе независимости, силы, твердаго убѣжденїя. И вотъ, ничему этому я не вѣрю, никакой силѣ, никакому твердому убѣжденїю. Мнѣ даже кажется, что владѣлецъ палаццо до сихъ поръ рѣшительно больше любить юрту, палатку, деревяннїй домншко, который можно сейчасъ снести, а что палаццо эти только такъ у насъ, для моды...» Далѣе идутъ излюбленныя мысли тѣхъ лѣтъ о томъ, что занесенная въ Россїю западная цивилизація не можетъ съ ней органически срастись, что она приноситъ съ собой формулы, для Россїи не имѣющїя смысла. Однако измѣнившееся отношенїе Достоевскаго къ Петербургу не объясняется полностью ни влїанїемъ славянофильства, ни архитектурнымъ безвременьемъ, ни какой бы то ни было переменной личныяго вкуса. Онъ Петербурга не разлюбилъ: объ этомъ свидѣлствуютъ страницы, посвященныя ему въ «Преступленїи и наказанїи», «Идиотѣ», «Подросткѣ», «Вѣчномъ мужѣ». Городъ сроднился навсегда съ его душой, но видитъ онъ его теперь безъ прикрасть, во всей его наготѣ: «это самый угрюмый городъ, какой только можетъ быть на свѣтѣ» (1873). Тема о призрачности Петербурга, намѣченная еще въ раннихъ разсказахъ, теперь проявляется все чаще, мѣняется свой первоначальный смыслъ, приобретаетъ трагическую глубину, становится пророческимъ видѣнїемъ. Герой и рассказчикъ «Подростка» говорить:

«— Мнѣ сто разъ, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: «А что, какъ разлетится этотъ туманъ и уйдетъ къверху, не уйдетъ ли съ нимъ вмѣстѣ и весь этотъ гнилой, склизкій городъ, подымется съ туманомъ и исчезнетъ, какъ дымъ, и останется прежнее финское болото, а посреди него, пожалуй, для красы, бронзовый всадникъ на жарко дышащемъ, загнанномъ конѣ?». Кто-нибудь вдругъ проснется, кому все это грезится — и все вдругъ исчезнетъ».

Но отчего же разлетится туманъ, какой катаклизмъ уничтожить городъ? Объ этомъ ничего не сказано въ «Подручкѣ», но объ этомъ говорится въ одномъ изъ черновыхъ набросковъ 1873 года къ «Дневнику писателя»; и Достоевскій самъ подчеркнул въ этой записи слова «переворотъ» и послѣднія два слова:

«Я часто спрашивалъ себя: какъ безъ **переворота** можно согласиться бросить такіе дворцы — кстати, что будетъ съ Петербургомъ, если бросить? Уцѣлѣютъ нѣмцы, множество домовъ безъ поддержки, безъ штукатурки, дырья въ окнахъ, а посреди — **памятникъ Петра**».

«Ужо тебѣ...» Мы узнаемъ облъзлые дома и выбитыя стекла поруганной столицы. Можно ее отстроить, но воскресить пельзя; столицей ей не быть; вѣкъ ея промель; петербургскій апокалипсисъ исполнился. Свершилось торжество многоголоваго, безликаго Еленія надъ Мѣднымъ Всадникомъ, создателемъ Петербурга. Смиренный Акакій Акакіевичъ,

возставъ изъ гроба, снималъ шинели со всѣхъ «значительныхъ лицъ». И не только штукатурка облупилась и дворцы пошли на показъ или на сломъ, но передъ лицомъ исторіи городъ и въ самомъ дѣлѣ «исчезъ, какъ дымъ», и мы всѣ, кому онъ снился много лѣтъ, проснулись.

Теперь, когда глянешь назадъ, кажется, что въ такомъ концѣ вообще никто не сомнѣвался, какъ не сомнѣваются въ смерти, хотя каждый, въ мигъ ея прихода, можетъ сказать, что жилъ и не думалъ умирать. Этому не противорѣчить возвратъ восхищенія, гордости Петербургомъ, начавшійся въ девяностыхъ годахъ и захватившій первые годы революціи. Оправданіе петербургской красоты, которымъ обязаны мы живописцамъ и поэтамъ, новой жизни — хотя бы только въ искусствѣ — ему не принесло. Съ оцѣнкой петербургской архитектуры у Кюстина, въ «Призракахъ», въ «Дневникѣ писателя» никто уже теперь не согласится; но если Россія была послѣднимъ гениемъ европейской архитектуры, то подражаніе ему такъ и осталось подражаніемъ. Исправленіе вкуса — еще не обновленіе творчества, и любовь къ прошедшему не всегда имѣетъ власть надъ настоящимъ. Никогда еще такъ не любили Петербурга, Пушкина, Петра, какъ въ годы, которые мы всѣ помнимъ, но у людей съ воображеніемъ, у имѣвшихъ глаза, чтобы видѣть, любовь эта была неразрывна съ чувствомъ и предчувствіемъ трагедіи. Тому свидѣтельство — «Петербургъ» Бѣлаго, стихи Блока (особенно изъ цикла «Городъ»), мучительныя строчки Анненскаго,

какъ бы написанныя для того, что-бы намъ ихъ припоминать, когда не спится ночью:

Желтый паръ петербургской зимы,
Желтый снѣгъ, облипающій длиты...

и дальше:

Только камни намъ даль чародѣй,

Да Неву буро-желтаго цвѣта,
Да пустыни вѣмныхъ площадей.

Гдѣ казнили людей до разсвѣта.
А что было у насъ на землѣ,

Чѣмъ вознесся орелъ нашъ двуглавый,

Въ темныхъ лаврахъ гигантъ на скалѣ, —

Завтра станеть ребячьей забавой...

и еще:

Ни кремлей, ни чудесъ, ни святыхъ

Ни миражей, ни слезъ, ни улыбокъ...

Только камни изъ мерзлыхъ пустынь,

Да сознанье проклятой ошибки.

Какъ же благоденствовать странѣ, у которой такая столица? И какъ столицѣ самой не уйти, не исчезнуть въ туманѣ, когда о ней пишутъ такіе стихи?

Но раньше, чѣмъ разсѣялся сонъ и развѣялось марено Петербурга, намъ дано было увидѣть

нашъ городъ въ такомъ сіяніи правды, въ такомъ неподкупномъ, чистомъ, горнемъ свѣтѣ, какихъ онъ еще не зналъ и знать не могъ. Когда все было рѣшено, все кончено, все заколочено и пусто, и бездомными высились вдалекѣ тѣни фабричныхъ трубъ, — въ осень, когда умеръ Блокъ, когда прохожій, бредя посреди мостовой, выходилъ на безбрежную необитаемую площадь и сажени сырыхъ дровъ закрывали съ Невы фасадъ Дворца, — въ тѣ дни Петербургъ былъ прекрасенъ, какъ никогда, широко раскинутый, царственный, ненужный. Арка Главнаго Штаба безкорыстно замыкала свой полетъ, Биржа за рѣкой стала и вправду храмомъ, игла крѣпости свѣтилась въ легкихъ небесахъ; изъ времени онъ вернулся къ вѣчности. Подолгу, подолгу съ моста можно было смотрѣть на линію дворцовъ, и казалось, что стѣны ихъ источаются, свѣтлѣютъ, что проступаютъ сквозь нихъ тощія деревца, чухонскія болота, а потомъ лѣса, нажити, разливы, степи, вся равнинная русская нескончаемая даль, что вся Россія просвѣчивается, и ужъ навсегда теперь, сквозь ставшіе прозрачными камни Петербурга.

В. Вейдле.

Явленіе вальса

Мнѣ постоянно приходитъ въ голову: какое впечатлѣніе отъ нашего времени получить будущій его историкъ. Столько неожиданностей, такіа невообразимыя, казалось-бы, перемѣны во всѣхъ

областяхъ жизни: въ государственныхъ режимахъ, въ быту, нравахъ, въ сознаніи; и каждый день — «сенсаціи», каждый день все новые сюрпризы; и начинаешь думать, что категория «невѣ-

роятного» должна быть вычеркнута; ибо все — возможно, и если что-либо совершенно дикое, идиотское, возмутительно-жестокое не случилось сегодня, то это — простая лишь случайность, и нѣтъ никакого ручательства, что оно не случится завтра. Когда я прочелъ «Изобрѣтеніе Вальса» Сирина, я былъ пораженъ совпадениемъ: какъ разъ въ послѣднее время мнѣ навязывалась мысль: а что если кто-нибудь придума-етъ такой аппаратъ, при помощи котораго можно будетъ уби-вать на любомъ разстояніи мас-сы людей, разрушать города, — однимъ словомъ, который будетъ дѣйствовать точно такъ, какъ тотъ, что дѣйствуетъ «въ груди» Сиринскаго персонажа? И если изобрѣтатель воспользуется имъ, чтобы возстановить справедлив-ность, положить конецъ насиль-ственнымъ режимамъ, заставить людей «любить и уважать» другъ друга, и управлять свободно и законосообразно — въ против-номъ случаѣ заставляя ихъ испы-тать на себѣ дѣйствіе этого аппарата? Какой-бы это былъ ужасъ!

Жить сейчасъ — страшно, жут-ко, тревожно, какъ никогда, мо-жетъ быть, раньше и тѣмъ са-мымъ — интересно. Но я пред-ставляю себѣ человѣка, который будетъ вознамеривать эту нашу жизнь на основаніи историче-скихъ матеріаловъ, сидя спокойно «въ тиши ученаго кабинета». Извѣстно-же, что, какъ сказала Ларошфуко, «у насъ никогда нѣтъ недостатка въ мужествѣ для того, чтобы вынести чужія стра-данія», — а тѣмъ болѣе страданія людей, отдѣленныхъ отъ насъ пространствомъ или временемъ.

Будь мы лишены этого превос-ходнаго свойства, исторія какъ наука была-бы невозможна: исто-рики сходили-бы съ ума, читая документы, относящіеся къ эпо-хѣ террора или ко времени похода противъ Альбигойцевъ и т. п.; и мы сходили-бы съ ума, читая въ газетахъ о воздушныхъ налет-кахъ въ Китаѣ или въ Испаніи; или о томъ, что дѣлается въ рус-скихъ, а сейчасъ и нѣмецкихъ концлагеряхъ. Насъ это волнуетъ, потому что въ любой день жерт-вами какой-нибудь внѣшней или внутренней войны можемъ стать и мы сами. Но тотъ историкъ, котораго я воображаю себѣ жи-вущимъ въ условіяхъ приблизи-тельно такихъ, въ какихъ жили мы въ Европѣ лѣтъ 25 тому на-задъ, будетъ, мнѣ кажется, зна-комъ со всѣмъ тѣмъ, что мы сейчасъ переживаемъ, испыты-вать прежде всего чувство гне-тущей скуки. Во всѣхъ этихъ сдвигахъ, переломахъ, ликвида-ціяхъ стараго и выработкахъ но-ваго, онъ не найдетъ ничего, что сообщаетъ всякой исторіи вооб-ще, сколько-бы ни совершалось въ ней отвратительнѣйшихъ зло-дѣяній, гадостей, подлостей, ея привлекательность, ея своеобраз-ную красоту: наліція творческаго, человѣческаго, индивидуаль-наго начала. Агентомъ исторіи, съ тѣхъ поръ какъ существуетъ исторія, всегда былъ **человѣкъ** — все равно, дурной или хоро-шій, злой или добрый, даровитый или бездарный. И сколь-бы ни тяготѣли надъ человѣкомъ про-изволъ деспотовъ, или нормы при-вычнаго житейскаго ритуала, или догматы той или иной идеологій, — всегда оставались какія-то зо-ны жизни, гдѣ человѣкъ могъ

быть — и былъ — человѣкомъ. Сейчасъ вездѣ, насильственнымъ образомъ, или «эволюционнымъ» путемъ, человѣкъ вытѣсняется чѣмъ-то неназываемымъ, безыменнымъ, опредѣляемымъ только мѣстоименіемъ — *оп*, *тап*, «грамматическимъ» словомъ, въ предложенія **ничего не значущимъ**, лишеннымъ самости. «Каждая личность мало-по-малу подпадаетъ подъ власть анонимата міра «оп», — такъ формулируетъ нынѣшнее состояніе одинъ современный мыслитель *).

Нѣчто подобное находимъ уже у Амизля. «Ународовъ, у которыхъ очень развито начало общественнойности, писалъ онъ въ своемъ дневникѣ (27 февр. 1874), индивидуумъ боится прежде всего быть смѣшнымъ; а быть смѣшнымъ это значитъ оказаться оригинальнымъ... Верховная власть это «всѣ», и зовется она *оп*... Это *оп*, чтобы бы оно ни дѣлало, всегда право. Подданные *оп* распластываются предъ нимъ такъ, какъ не распластываются на Востоку рабы передъ Падшахомъ...» Но Амизль говоритъ только о засильи общественного мнѣнія, моды, вкуса, коллективныхъ сужденій и о добровольномъ сообразованіи со всѣмъ этимъ со стороны тѣхъ, кто не хочетъ прослыть чудакомъ. Амизлевское «оп» это — мы сами. Убѣжденія, вѣрованія, стили, вкусы, житейскіе навыки творятся людьми, усваиваются другими — и безъ этого жизнь была-бы невысказана. Не будь, напримеръ, общаго языка, какъ было-бы возможно общеніе? Меж-

ду этимъ «оп» и Я существуетъ взаимозависимость, и *оп*, наша среда, нами-же творится.

«Оп» нашего времени, «оп» народовъ, охваченныхъ идеей тоталитарности, нѣчто совершенно другое. Это «оп» не творится, а дѣлается, фабрикуется, или — почитается уже сдѣланнымъ, готовымъ и въ такомъ видѣ имѣющимъ пребывать вѣчно. Я всего лишь его дробь, его «экспонентъ». Сообразование съ «оп», съ его «духомъ», его стилемъ, участіе въ его жизни — если только это можно назвать жизнью — обязательно. Кто осмѣлился утаить въ своей душѣ хоть частицу своего собственнаго Я, подлежить карѣ, подобно Цинциннату Ц. изъ «Приглашенія на казнь». Его «непроницаемость» является достаточнымъ доказательствомъ его «несозвучности» требованіямъ «оп», его притязаніямъ на то, чтобы имѣть свое лицо, между тѣмъ какъ обладаніе такимъ лицомъ — фикція, небывальщина. «Оп» — мѣстоименіе, замѣститель имени. Безымянное вмѣстѣ и безлично, безлико, подобно чорту, который безликъ — согласно меткому опредѣленію Д. И. Чижевскаго въ его статьѣ о гоголевской «Шинели» (№ 67-ой «Совр. Зап.»). Безликое можетъ скидываться любыми «харьями», — какъ опять-таки у Сирина: то это «Родиснъ», то «Родригъ Иззновичъ», и не случайно у него столько персонажей имѣютъ своихъ двойниковъ.

Чортъ — Анти-Христъ, противоположность Христа. Христосъ — чистѣйшее воплощеніе личнаго начала: начала творческаго, начала свободы отъ всякаго ритуализма, всякихъ условностей, «идоловъ», всякаго автоматизма, слѣ-

*) E. Mounier, Révolution Personnaliste et Communautaire, 1935.

ного, рабскаго сообразованія съ чѣмъ-бы то ни было. Христось, божественный Логось, какъ чистая идея Личности, не могъ не воплотиться въ конкретномъ, живомъ челоуѣкѣ. Анти-Христъ, въ силу опредѣленія, не можетъ олицетвориться. Средневѣковые толкователи Апокалипсиса, ожидавшіе наступленія «послѣднихъ временъ», тщетно въ томъ или иномъ врагѣ Церкви угадывали Антихриста, и когда оказывалось, что они ошиблись въ расчетахъ, отдѣлялись тѣмъ, что объявляли такого лже-антихриста всего только «мистическимъ антихристомъ», т. е. прообразомъ грядущаго, настоящаго Антихриста. Истинной природы его, его безличности, бездушности, люди не могли понять, ибо челоуѣку свойственно всякую идею, всякую «субстанцію» представлять себѣ по своему образу и подобию. На Антихриста въ силу этого переносились всѣ вообще отрицательныя челоуѣческія свойства, все относимое къ категоріи Зла. Отсюда — привычное смѣшеніе двухъ видовъ Зла, грѣха и порока. Между тѣмъ грѣхъ и порокъ далеко не одно и то же. Оба они противостоятъ Добру, но различнымъ образомъ. Они находятся между собою въ состояніи полярности. Грѣхъ непременно есть **чей-нибудь** грѣхъ. Грѣховность — челоуѣческое качество. Въ немъ проявляется то, что въ челоуѣкѣ челоуѣчно: его личность, съ ея недостатками, съ ея влеченіемъ къ Добру и съ ея незнаніемъ, что такое Добро. Покуда челоуѣкъ грѣшитъ, онъ еще можетъ спастись, такъ какъ «Господь не хочетъ смерти грѣшника»; такъ какъ въ грѣшникѣ еще живо че-

лоуѣческое, т. е. **божественное**, начало, сколь-бы слабо оно выражено ни было. Порочность — начало Антихристово, начало имбѣстѣ безбоженности и безчелоуѣчности, т. е. **безличности**. Порочность не имѣетъ ничего общаго съ гордыней, самоуиженіемъ, самовозвеличеніемъ, — со всѣмъ тѣмъ, что приводитъ челоуѣка ко грѣху. Это — утрата Я, самообезличеніе, порабощеніе себя иишнему, «матеріи», отсюда — впаденіе въ автоматизмъ, въ животность. Это, слѣдовательно, уже — смерть, отъ которой освобожденія нѣтъ и не можетъ быть; слеза дурной безконечности, изъ которой нѣтъ выхода. Скупой рыцарь — грѣшникъ: онъ избралъ дурныя, мучающія его собственную совѣсть, средства, для вящаго утвержденія своего Я. Его жизнь преступна, но это все-таки жизнь, и завершается она трагично. Трагическій же исходъ — освобожденіе отъ зла. Плюшкинъ — пороченъ. Онъ накопляетъ ради накопленія; пользованіе средствами, ставши его привычкой, обратилось въ самоцѣль — и его куча растетъ автоматически и уже, такъ сказать, независимо отъ его воли, — подобно раковой опухоли; не онъ хозяинъ своихъ богатствъ, — какъ Скупой Рыцарь: они владѣютъ имъ, и освободиться отъ нихъ онъ не можетъ. «Влюбившійся» въ свою Шинель Акакій Акакіевичъ (сошлюсь снова на замѣчательную статью Д. Чижевскаго) тѣмъ самымъ обрѣтаетъ своеобразное «антихристово» безсмертіе, состоящее въ томъ, что онъ возвращается на землю въ поискахъ шинели.

Порочность есть неспособность зрелосаго челоуѣка жить иначе,

чѣмъ младенецъ, еще только вступившій въ жизнь, для котораго еще не существуетъ времени, или пережившій себя, впадшій въ дѣтство, совершающій еще ежедневно физиологическія отправления (чѣмъ для него можетъ быть и чтеніе и даже писаніе), но уже вышедшій изъ времени старикъ. Для младенческаго сознанія характерно цѣненіе всего на свѣтѣ съ одной точки зрѣнія — возможности или, что то-же, пріятности, подведение всего подъ категорію **вещности** — такъ-же, какъ и для сознанія впадшаго въ дѣтство старика. Чтѣ въ младенцѣ трогательно, чтѣ въ старикѣ — прощительно, то отвратительно во взросломъ, **порочно**. Порочное сознаніе не въ силахъ примириться со всѣмъ разнообразіемъ, со всѣмъ богатствомъ жизни, съ жизнью какъ таковой, т. е. непрестаннымъ измѣненіемъ, вѣчными метаморфозами: **нормальное** состояніе всего даннаго для него именно состояніе, *status*, неизмѣняемость и связанная съ этимъ структурная **однородность**. Состояніе, а не становленіе, однообразіе, а не единство — вотъ чего **требуетъ** порочный чело-вѣкъ.

Для каждаго историческаго момента показателемъ его сущности служить его идеалъ чело-вѣка. Это святой, подвижникъ Средневѣковья, «художникъ своей жизни» Ренессанса, «герой» классическаго вѣка, «добрый чело-вѣкъ» XVIII-го вѣка; въ новое время — Фаустъ, Манфредъ, титанъ, революціонеръ, Сверхчело-вѣкъ. И въ наши дни «вождь» представляется воплощеніемъ этого идеала дерзновенной, диктующей міру свою волю, ниспровер-

гающей старые идолы и создающей новую жизнь личности. Но рядомъ съ нимъ выдвигается и все больше и больше заслоняетъ его другой идеальный чело-вѣкъ, М-сье Пьеръ, симпатичный, влюбленный въ свое дѣло, глубоко-уважаемый палачъ. Въ немъ какъ разъ самъ «вождь» видитъ идеалъ чело-вѣка, и на него онъ возлагаетъ самую высокую, самую отвѣтственную обязанность — **чистки**.

Это перерожденіе идеала Чело-вѣка обусловлено всей структурой того «оп», надъ выработкою котораго трудится Антихристъ. Такъ еще въ одномъ отношеніи оправдывается истинность апокалипсическаго міоу: полная побѣда надъ жизнью Антихристу не дана. Обратитъ всѣхъ людей въ только экспоненты расы, Націи, пролетаріата, сдѣлать ихъ абсолютно «проницаемыми», никакъ невозможно. Остается — чистка, и увлеченіе чисткою становится его, Антихриста, смятающею воплотиться въ «оп» — ибо только въ этомъ **безликомъ** онъ и можетъ **олицетворить** себя — основнымъ порокомъ, заводящимъ его въ ту новую дурную безконечность, какой онъ не предвидѣлъ. Здѣсь надо сдѣлать поправку къ апокалипсическому міоу. Всякій мнѣ какъ-то идеализируетъ, прикрашиваетъ, тѣ образы въ которыхъ выражается сущность его истины. Антихриста всегда себѣ представляли въ образѣ чрезвычайно привлекательномъ, надѣляли его множествомъ положительныхъ качествъ — и во всякомъ случаѣ никогда не сомнѣвались въ его гениальности. На самомъ дѣлѣ онъ прежде всего — феноменально **глупъ и-тупъ**. Его си-

да — едва-ли не только въ его туломъ упорствѣ разъ заведенной машины. Глупость — отсутствіе способности пониманія. Антихристъ не понимаетъ — и не можетъ понять — основы жизни. Жизнь — безконечная смѣна настроеній, влеченій, воззрѣній, безконечная борьба противорѣчій. Для Антихриста, повторяю, это все — «ненормальность». На каждомъ шагу онъ натывается на «вопросы» и его цѣль — всё ихъ «разрѣшить» и притомъ такъ, чтобы покончить съ ними — разъ и навсегда, т. е. путемъ «чистки».

Повторяю: подлинный Антихристъ не можетъ воплотиться въ Человѣкъ. Гоголевскіе персонажи не-Люди. «Чистаго» Плюшкина никогда не было на свѣтѣ. Человѣкъ въ состояннн только приблизиться къ Антихристу. Это — его предѣлъ, какъ, въ другомъ направленнн — Богъ. Среди «мистическихъ» антихристовъ попадаютъ поэтому люди далеко не бездарные, тупые, звѣроподобные. Но съ человѣкомъ, подчинившимъ себя антихристовой идеѣ «дурной безконечности», идеѣ «совершеннаго состояннн», сфабрикованнаго посредствомъ насилія, происходитъ, сколь-бы онъ ни былъ даровитъ, уменъ, жизнеспособенъ, нѣчто аналогичное тому, что сталося съ Плюшкинымъ. Его душевная природа, можетъ быть, остается прежней; онъ можетъ и сохранить свое «золотое сердце»; но достаточно ему вступить на путь «чистки» для осуществленнн своего идеала совершеннаго состояннн, какъ этагъ идеаль постепенно, неуклонно и закономѣрно, непредотвратимо, тускнѣеть, опошляется, извращается. Это оттого, что антихристовъ путь —

выходъ изъ жизни, изъ міра реальностей. Человѣкъ, давшій Антихристу соблазнить себя, утрачиваетъ чутье дѣйствительности; поступивъ на службу къ идиоту, каковъ подлинный антихристъ, человѣкъ вынуждается выполнять его идиотскія требованнн. Достаточно напомнить о трагеднн Огюста Конта. Онъ былъ безспорно однимъ изъ величайшихъ мыслителей ХІХ вѣка. Но онъ увѣровалъ, что «позитивная стадія» — окончательная, послѣдняя, и разработалъ въ множествѣ подробностей планъ устройства человечества въ этой «стаднн». Все предусмотрѣно: новый календарь съ именами «позитивистскихъ» святыхъ, праздники, весь обиходный житейскій ритуаль. Когда читаешь эти мѣста его трудовъ, охватывается чувство тошноты и вмигъ жути: въ этомъ есть что-то, чего органически невозможно переварить, отъ чего отблевываешь, и что въ то-же время переживается какъ нѣкоторая въ какомъ-то иномъ планѣ существующая реальность; ощущается «реальное присутствіе» его, Антихриста. Можно-ли вообразить себѣ, что Христосъ былъ-бы способенъ включить въ свое Евангеліе требннкъ, молитвенникъ, катехизисъ, правило иноческаго житія и иное прочее, что возникло въ процессѣ историческаго развитія Его Церкви какъ творческое осмысленнн и приспособленнн къ жизни тайны Его міаа, какъ отвѣты жизни на Его открытеннн?

Но для Антихриста, для идиота, для котораго творческаго, жизненнаго начала въ жизни нѣтъ, и котораго хваленый «динамизмъ» сводится къ послѣдности и безплощадности, съ какими онъ занима-

ется своимъ главнымъ дѣломъ, «чисткою», — въ этой «плановой» выработкѣ — и притомъ, опять-таки, разъ навсегда — ритуала, кодекса правилъ, догматовъ, подробнѣйшаго житейскаго этикета, ничего чудовищнаго, недѣлаго нѣтъ. Съ этой точки зрѣнія весьма показателенъ путь, продѣлываемый фашистской Италией. Въ муссолиниевской революціи было много положительнаго и требовавшагося жизненными интересами Италиі. Но послѣ того какъ Муссолини упрочилъ свою власть, какъ онъ счелъ, что онъ можетъ добиться еще очень многого — стѣбитъ только распорядиться, — ему стало хотѣться все большаго и большаго. Вообразивъ себя какимъ-то воплощеніемъ «духа» Италиі, того «духа», какимъ она должна обладать, въ качествѣ легитимной наслѣдницы Римской Имперіи, и рѣшивъ покончить безъ остатка съ недавней Италией, измѣнившей этому своему «духу», съ Италией мандолинистовъ, лацарони, *orga-buffa* (такъ приблизительно онъ самъ выражается въ одной изъ своихъ послѣднихъ статей), и отдѣлать ее наново въ томъ видѣ, въ какомъ она была въ вѣкъ Августа, — онъ кончилъ тѣмъ, что сталъ издавать декреты, опредѣляющіе правила поведенія въ обиходныхъ отношеніяхъ, соответствующія этому итальянскому подлинному «духу», предписывающіе романистамъ, какія темы они обязаны разрабатывать и какихъ не смѣютъ касаться. И, наконецъ, занялся чисткой Италиі отъ не-арійскихъ элементовъ. Фашистская культура, національ-социалистическая культура, пролеткультъ, — все это, въ представленіи Антихриста, впол-

нѣ готовая вещь, сработанный по заранѣе вычерченному во всѣхъ мелочахъ плану, — и культурная дѣятельность, вслѣдствіе этого, сводится въ сущности къ выполненію соответствующихъ обрядовыхъ, такъ сказать, дѣявій, а малѣйшее отступленіе отъ предписаннаго ритуала расцѣпляется какъ «уклонизмъ», измѣна такому-то и такому-то «духу» и влечетъ за собою чистку.

Все это — лишь одинъ изъ аспектовъ «Антихриста». Эта сторона антихристовъ духа сказывается, естественно, у тѣхъ индивидуумовъ, въ тѣхъ социальныхъ слояхъ, у тѣхъ народовъ, которые имѣютъ основаніе считать себя обиженными, обойденными, лишенными своего «мѣста подъ солнцемъ». У другихъ, «удовлетворенныхъ», антихристовъ духъ проявляетъ себя иначе. Переходъ въ дурную безконечность уже состоялся. Все хорошо, все обстоитъ благополучно, — и дай Богъ, чтобы это блаженное состояніе эвфоріи длилось вѣчно. Трагической основы жизни, — что составляетъ ея благородство и ея смыслъ, Антихристъ не знаетъ и просто — не видитъ. Для этого у него нѣтъ соответствующаго органа. О страданіяхъ, о смерти, о какихъ-либо неизбѣжныхъ жизненныхъ антагонизмахъ, Антихристъ избѣгаетъ говорить, или же выражается эвфемизмами. Циничнату смертный приговоръ объявляется «сообразно съ закономъ» шопотомъ и на ухо. Да и вообще, въ вѣкъ гуманности, всеобщаго счастья, возможна-ли смертная казнь? Конечно-же нѣтъ. Только — «высшая мѣра наказанія». Когда представитель державы, приготовившей поживиться

на счетъ другой, шантажируетъ ея уполномоченнаго, переговоры «происходятъ въ атмосферѣ искренней сердечности»; причемъ «стороны констатируютъ полное совпаденіе взглядовъ и стремленій обоихъ народовъ, связанныхъ узами вѣковой дружбы»; за этимъ слѣдуетъ возложеніе вѣнка на могилу неизвѣстнаго солдата, спектакль-гала и, наконецъ, ужинъ, меню котораго сообщается въ газетахъ. До чего это похоже на чествованіе Цинципината передъ его казнью отцами города! Эвфемизмы, банкеты, иллюминаціи — все это прекрасныя средства, чтобы прикрыть то, что есть въ жизни ужаснаго, безобразнаго, жестокаго. И если кто-либо осмѣливается обратитъ на это вниманіе, если кто-либо позволяетъ себѣ противопоставитъ мѣшанской, ни къ чему не обязывающей, «сердечности» требованія христіанской caritas, его въ наше время, «плѣромы», «исполненія сроковъ», торжества Антихриста, тамъ, гдѣ методы чистки еще не упрочились въ обиходѣ, гдѣ «статическое» жизненпосиманіе преобладаетъ надъ «динамическимъ», или вѣжливо замалчиваютъ, или тихонокко и «гуманно» устраниаютъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ одишь калядскій крестьянинъ, узнавъ о релігіозныхъ преслѣдованіяхъ въ Россіи, отправился туда, чтобы заступиться за вѣру и гонимыхъ за нее. Газеты удовлетворились коротенькой замѣткой объ этомъ подвигѣ, и въ немъ, кажется, никто не обратилъ вниманія. Недавно, въ одной изъ статей К. Парчевскаго въ «Посл. Нов.» было упомянуто о молодомъ еврей, который принялъ христіанство и пошелъ въ монастырь; но и мо-

нашеская жизнь не удовлетворила его: онъ вернулся въ міръ, чтобы жить въ немъ въ качествѣ послѣдняго изъ людей — подобно св. Франциску. Въ прежнее время такой человекъ сталъ бы основателемъ массоваго релігіознаго движенія, и его-бы либо причислили къ лику святыхъ, либо — сожгли на кострѣ какъ опаснаго еретика. Сейчасъ дѣло разрѣшилось проще: никакихъ послѣдователей у него не оказалось, а его самого признали «ненормальнымъ» — и съ полнымъ основаніемъ: какіе-же подвижники, святые, мученики за вѣру, «нормальны»? — и заперли въ домъ умалишенныхъ. Современные варианты легенды о Великомъ Инквизиторѣ.

Антихристъ — безликъ. Воплотиться въ конкретной человѣческой личности ему не дано. И вмѣстѣ съ тѣмъ онъ — реальность. Лишь въ планѣ художественнаго творчества, создающаго свои реальности, какихъ нѣтъ въ мірѣ эмпириі, можетъ быть обнаруженъ его образъ, его, если допустимо такъ выразиться, безликій ликъ. Это удалось Сирину. Его Сальваторъ Вальсъ, эта помѣсь Бэла-Куна съ Хлестаковымъ («вѣдь для того и живешь, чтобы срывать цвѣты удополствія» — предѣлъ желаній этого «Сальватора, Спасителя человечества») — нѣчто абсурдное, бессмысленное, казалось-бы невозможное, и вмѣстѣ съ тѣмъ все же реально, поскольку оно художественно убѣдительно. Тѣмъ самымъ въ Вальсѣ — ключъ къ пониманію природы Антихриста. Антихристъ — воплощеніе начала автоматизма, видѣнія всего sub specie aeternitatis въ смыслѣ

дурной безконечности, реализация абсолютнаго Ничто; все то, что, когда мы встречаемъ его тамъ, гдѣ мы ожидаемъ проявленія начала свободы, личнаго почина, вызываетъ въ насъ — это гениально выяснилъ Бергсонъ — эмоцію смѣха. Смѣхъ освобождаетъ отъ гнета вещности, «матеріи», автоматичности, и тѣмъ самымъ — убиваетъ (*le ridicule tue*) то, чѣмъ онъ былъ вызванъ. Въ этомъ разгадка проблемы нашего времени. Антихристъ смѣшонъ, но дѣла его — ужасны. Ибо для того, чтобы добиться всеобщаго блаженства, онъ не останавливается ни передъ чѣмъ. И если что-либо мѣшаетъ ему безмятежно срывать цѣпты удовольствія, нарушаетъ хоть сколько-нибудь состояніе экстаза, — Хлестаковъ скидывается Вэла-Куномъ. «Демократическіе» народы возмущаются гонениями на евреевъ въ Германіи. Но когда на дняхъ въ Англіи былъ введенъ дополнительный налогъ на билеты въ театры и кино въ пользу еврейскихъ бѣженцевъ, это вызвало сразу антисемитскія демонстраціи. Покуда подлинная природа Антихриста не усмотрѣна, покуда люди не сообразили, въ чемъ источникъ всего давящаго, мертващаго, разлагающаго ткань «живой одежды божества», покуда они поддаются соблазнамъ Антихриста, покуда вѣрятъ, что можно устроить рай на Землѣ, или что онъ уже устроенъ, имъ не спастись отъ безчеловѣчныхъ, всеуничтожающихъ войнъ, отъ несущихъ муки и смерть милліонамъ беззащитныхъ, беспомощныхъ дѣтей и матерей апокалипсическихъ всадниковъ. Антихристъ не

владѣетъ собою. Будучи полнымъ ничтожествомъ, онъ подчиняется автоматизму, побуждающему его обратить въ ничто — всѣхъ и все. Спастись отъ него путемъ резолюцій, конференцій, ни даже все новыхъ и новыхъ вооруженій нельзя. Всѣмъ этимъ люди только лишь все болѣе и болѣе вовлекаются въ его, антихристову, работу. Это все равно, что вмѣсто средства противъ болѣзни искать средства противъ ея симптомовъ. Единственное спасеніе — увидѣть Антихриста въ себѣ, въ каждомъ изъ насъ — методъ Гоголя, который, по его словамъ, изъ себя вытраплялъ своихъ героев, свои воплощенія антихристовы начала; увидѣть, какъ онъ смѣшонъ — и тогда, какъ въ Сириискоемъ «Истребленіи тирановъ», царству его придетъ конецъ. Ибо подобно Царству Божію и царство антихристово — внутри насъ. И если сейчасъ столько «мистическихъ антихристовъ», большихъ и малыхъ, расплодилось въ обитаемомъ мірѣ, если такъ свободно они дѣлаютъ антихристово дѣло, то это только потому, что подавляющее множество людей желаетъ служить Антихристу; что люди словно разучились смѣяться — почему, это особый вопросъ; — что имъ нравится жить въ дурной безконечности, которую они принимаютъ за жизнь вѣчную; что они повѣрили въ изобрѣтеніе Вальса и готовы имъ воспользоваться; спорятъ-же между собою только о томъ, кому на эту машину принадлежитъ «право» и противъ кого слѣдуетъ пустить ее въ ходъ.

М. К.

Философія и психологія въ СССР.

Втеченіе первыхъ двухъ-трехъ лѣтъ большевической революціи преподаваніе философіи въ университетахъ и печатаніе философскихъ книгъ продолжалось еще почти съ тою же свободою, какъ и до революціи. Ослабленіе философской дѣятельности за этотъ періодъ объясняется чрезвычайнымъ истощеніемъ интеллигенціи въ 1918-20 гг., отъ голода и отъ холода въ квартирахъ. Философскіе журналы погибли, философскія общества перестали устраивать засѣданія. Но уже въ 1921 г., благодаря НЭПу и продовольственнымъ посылкамъ изъ Зап. Европы и Америки, которыя стали получать многія лица отъ своихъ друзей черезъ посредство АРА, силы интеллигенціи стали восстанавливаться и умственная дѣятельность ея оживляться. Въ Петроградѣ философское общество возобновило свои засѣданія и основало журналъ «Мысль», начавшій выходить въ 1922 г. Ученія, весьма далекія отъ марксизма съ его диалектическимъ и историческимъ матеріализмомъ, свободно высказывались въ печати и съ кафедры. Мало того, среди самихъ большевиковъ были лица, подводившія подъ марксизмъ нематеріалистическое философское обоснованіе, напр., А. Богдановъ, вышедшій подъ конецъ изъ партіи большевиковъ, и Луначарскій. Ближкіе къ Авенаріусу и Маху.

Въ то самое время, когда дѣятельность инъ-революціонной интеллигенціи стала возрождаться, большевицкая власть начала рѣ-

шительно вмѣшиваться въ университетскую жизнь, съ цѣлью отстранить отъ преподаванія студентамъ всѣхъ лицъ, идеологія которыхъ несогласна съ марксизмомъ. Осенью 1921 г. множество профессоровъ и доцентовъ было удалено изъ университетовъ и замѣнено лицами, назначенными совѣтскою властью. Въ Петроградскомъ университетѣ по кафедрѣ философіи были удалены проф. Лосскій и шесть или болѣе доцентовъ. Изъ прежнихъ профессоровъ философіи остались кантіанцы А. И. Введенскій (ум. въ 1925 г.) и И. И. Лапшинъ, и въ дополненіе къ нимъ были назначены профессоромъ молодой человекъ Боричевскій, научныя заслуги котораго сводились лишь къ тому, что онъ изучалъ изданныя фрагменты философіи Эпикура, читалъ публичныя лекціи, въ которыхъ доказывалъ, что философія Спинозы есть матеріализмъ, и опубликовалъ книгу «Введеніе въ философію науки» (критика идеализма Когена и эмпириокритицизма, борьба съ метафизикою).

Въ слѣдующемъ 1922-мъ г. Зиновьевъ обратилъ вниманіе совѣтскаго правительства на то, что интеллигенція усилила свою активность и даже основала нѣсколько журналовъ въ различныхъ областяхъ наукъ. Лица, объединившіяся вокругъ этихъ журналовъ, со временемъ, указывалъ онъ, могли бы вступить въ союзъ другъ съ другомъ и тогда это движеніе пріобрѣло бы значительную силу. Чтобы предупре-

дять эту возможность, советская власть закрыла нѣсколько журналовъ, между прочимъ журналъ «Мысль» и въ августѣ 1922 года арестовала въ различныхъ городахъ Россіи болѣе 125 ученыхъ, литераторовъ и общественныхъ дѣятелей, идеологія которыхъ была признана не соответствующею видамъ власти. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ эти лица были высланы за границу и теперь живутъ въ различныхъ странахъ Зап. Европы и Америки. Среди нихъ находятся философы о. С. Булгаковъ, Н. Бердяевъ, И. Ильинъ, Л. Карсавинъ, И. Лапшинъ, Н. Лосский, С. Франкъ. Уже раньше этого времени эмигрировали изъ Россіи философы Н. Арсеньевъ, Б. Вышеславцевъ, С. Гессенъ, Г. Д. Гурвичъ, В. Зѣньковский, П. Новгородцевъ, В. Сеземанъ, Ф. Степунь, Г. Флоровскій, Д. Чижевскій, Л. Шестовъ, Б. Яковенко. Въ условіяхъ гражданской войны отъ сыпного тифа погибли: Д. В. Болдыревъ (въ госпиталѣ при военной тюрьмѣ въ Иркутскѣ), специалистъ по философіи буддизма О. Розенбергъ, кн. Е. Трубецкой.

Изъ философовъ, выдающихся своею оригинальностью и творческою энергіею, остались въ СССР только о. П. Флоренскій (авторъ книги «Столпъ и утвержденіе истинны», бывший профессоръ исторіи философіи въ Московской Духовной Академіи), гегельянецъ А. Лосевъ и нѣсколько профессоровъ Духовной Академіи, которые послѣ закрытія этихъ учебныхъ заведеній, лишенные права читать публичныя лекціи и печатать свои произведенія, приведены къ полному бездѣйствію.

Отецъ П. Флоренскій, ученый съ обширною эрудиціею не только въ области наукъ о духѣ, но и въ области математическаго естествознанія, принужденъ былъ работать для цѣлей техники, именно поступилъ на службу въ Глав-электро (Глав. управ. электрическою промышленностью), гдѣ занимался вопросомъ объ электрическихъ поляхъ и діэлектрикахъ и даже напечаталъ результаты своихъ изслѣдованій. Однако оригинальный, самостоятельно мыслящій человекъ, даже и далекій отъ всякой политики, негоденъ советской власти: о. Флоренскій былъ почему-то сосланъ въ Солонецкій концентраціонный лагерь.

А. Лосевъ развилъ религиозное міропониманіе на основѣ своеобразнаго гегельянства, въ которомъ особенно подчеркнуть моментъ конкретности, какъ это вообще характерно для русской философіи. По какой-то счастливой случайности ему удалось напечатать нѣсколько своихъ работъ и въ 1927 г. даже опубликовать четыре большихъ труда: Античный космосъ и современная наука; Философія имени; Діалектика художественной формы; Музыка какъ предметъ логики. Вскорѣ послѣ этой удачи онъ подвергся общей участи всѣхъ людей, выдѣляющихся изъ толпы, именно былъ сосланъ, кажется, въ какой-то изъ приволжскихъ городовъ.

Упомяну еще о появившемся въ 1926 г. сборникѣ «Пути реализма», содержащемъ въ себѣ статьи Б. Бабынина, Ф. Березкова, А. Огнева и П. Попова. Точнѣе они называютъ свое направленіе словомъ **интуитивистическій реализмъ**, имѣя въ виду родъ

ство интуитивизма Лосского съ англо-американскимъ нео-реализмомъ S. Alexander'a, Laird'a, Montague и др., поскольку оба направления утверждаютъ, что воспринимаемые предметы вступаютъ въ кругозоръ сознания познающаго индивидуума самолично въ подлинникъ и потому познаются такъ, какъ они существуютъ независимо отъ акта знания.

Перечисленные произведения представляютъ собою все главное, что принадлежитъ къ области свободной философской мысли въ течение первыхъ десяти лѣтъ революціи. Все остальное вплоть до настоящаго времени принадлежитъ къ составу казенной материалистической философіи марксизма.

Цензура, начиная съ 1922 г., стала стѣснять философскую литературу все строже и строже. Гуссерлианецъ Г. Шпетъ, бывший проф. Московскаго университета, могъ еще въ 1922 г. напечатать I-й т. своего труда «Очеркъ развитія русской философіи», но продолженіе его уже не могло увидѣть свѣта. Не только печатаніе книгъ стало подвергаться все болѣе строгому надзору, даже и храненіе въ бібліотекахъ книгъ опредѣленныхъ категорій и выдача ихъ обыкновеннымъ читателямъ подверглись строгой регламентации. Въ январѣ 1926 г. Главполитпросвѣтъ издалъ декретъ для бібліотекъ, обслуживающихъ народную массу. Изъ содержанія его сообщу лишь то, что относится къ философіи. Согласно декрету, изъ бібліотекъ, обслуживающихъ нужды обыкновенныхъ читателей, слѣдуетъ удалить въ секцій философіи, психологіи и этики всѣ книги, написанныя въ ду-

хѣ «идеалистической философіи, оккультизма, теософіи, магіи, оракулы, сонники» и т. п. Въ декретѣ данъ также примѣрный списокъ философовъ, произведения которыхъ слѣдуетъ удалить изъ бібліотекъ. Въ немъ мы найдемъ слѣдующія имена: иностранныя — Декартъ, Кантъ, Махъ, Платонъ, Спенсеръ, Шюленгауеръ, «Исторія материализма» Ланге, «Психологія» Джемса; русскія — Лопатинъ, Лосскій, Вл. Соловьевъ, Челпановъ. Сочиненія Платона попали въ СССР въ одинъ рядъ съ оракулами, сонниками и т. п. Сочиненія и біографіи идеалистическихъ философовъ, серьезныя книги по исторіи философіи, введенія въ философію и т. п. могутъ быть, пояснено въ декретѣ, сохранены въ большихъ бібліотекахъ подъ условіемъ, что они будутъ выдаваться не массовому читателю, а ученымъ для научныхъ и литературныхъ изслѣдованій.

До 1925 г. многіе совѣтскіе писатели, особенно натуралисты, подчеркивая свою вѣрность марксизму, все же не особенно ясно отдавали себѣ отчетъ въ различіи діалектическаго и механистическаго материализма. Въ 1925 г. впервые была напечатана рукопись Энгельса «Диалектика природы» (написана въ 1873, 1878-1882 гг., но оставалась ненапечатанною до нашего времени), которая вызвала рѣзкій расколъ совѣтскихъ марксистовъ на «диалектиковъ» и «механистовъ». Разгорѣлась фанатическая борьба «на два фронта» — противъ «меньшествующаго идеализма и механистическаго материализма». Очертанія діалектическаго материализма опредѣлились ясно.

Безъ всякихъ доказательствъ діалектики - матеріалисты утверждаютъ: «матерія есть все существующее», «бытіе по самому существу своему есть категория матеріальная» (Деборинъ); бытіе, независимо отъ сознанія, есть матерія. Поэтому они могутъ, слѣдуя требованіямъ современной науки и философіи, приписывать «бытію» самыя разнообразныя проявленія, свойства и способности, весьма далекия отъ матеріальности, и тѣмъ не менѣе называть свое ученіе матеріализмомъ, ссылаясь на то, что вѣдь «матерія есть все существующее».

Діалектики - матеріалисты отрицаютъ существованіе неизмѣнныхъ тождественныхъ мельчайшихъ частицъ матеріи и не допускаютъ сведенія качественныхъ различій къ количественнымъ: матерія непрерывно измѣнива; количество и качество не могутъ существовать другъ безъ друга; количественныя измѣненія, дойдя до опредѣленной ступени, приводятъ къ скачкообразному измѣненію качества и обратно.

Измѣничивость всего существующаго обусловлена двумя законами, которые установлены Гегелемъ и лежатъ въ основѣ его ученія о діалектическомъ процессѣ: это — законъ взаимнаго проникновенія противоположностей и законъ отрицанія отрицанія. «Миръ есть раздвоенное въ себѣ единство, единство противоположностей, носитель внутреннихъ противорѣчій», утверждаетъ Быховскій.

Согласно Лессину, діалектическое развитіе имѣетъ творческій характеръ; оно есть имманентное «спонтанное» самодвиженіе, содержащее «внутренніе импульсы».

Вслѣдствіе творческаго характера развитія высшія ступени мірового бытія качественно глубоко отличны отъ низшихъ и потому не могутъ быть поняты, какъ только все болѣе усложняющіеся агрегаты низшихъ, простѣйшихъ элементовъ. Эта мысль особенно подчеркнута въ современномъ совѣтскомъ діалектическомъ матеріализмѣ. Она рѣзко ограничиваетъ его отъ механистическаго матеріализма. «Сводитъ сложное къ простому, значитъ — отказаться отъ пониманія сложнаго», говоритъ Быховскій. Механисты сводятъ органическіе законы къ механическимъ, «а вмѣстѣ съ тѣмъ и социальные законы, сведенные къ біологическимъ, тоже растворяются въ закономѣрностяхъ механики». Для него социология превращается въ коллективную рефлексологию (Бехтеревъ). Между тѣмъ, въ дѣйствительности, каждая высшая ступень подчинена своимъ особымъ законамъ, эти «специфическія закономѣрности, над-механическіе виды развитія не противорѣчатъ механическимъ законамъ и не исключаютъ ихъ наличія, а возвышаются надъ ними, какъ второстепенными, подчиненными» (Быховскій). Эти ученія діалектическаго матеріализма сходны съ тѣмъ, что въ современной литературѣ называется *emergent evolution*.

Матеріализмъ — философія, логически не обоснованная, столь явно несостоятельная и поверхностная, что объяснить упорство, съ которымъ главные представители русскаго большевизма держатся за него, и фанатическую нетерпимость, проявляемую ими при защитѣ его, можно только

какими либо глубокими психологическими мотивами и страстями, держащими ихъ въ плѣну. Главный изъ этихъ мотивовъ тотъ, что материализмъ всего прочяе и пряме связанъ съ атеизмомъ; онъ наиболѣе пригоденъ для разрушенія всѣхъ христіанскихъ религіозныхъ представлений и чувствъ и потому особенно привлекателенъ для большевиковъ, страстно ненавидящихъ христіанство. Всѣ основныя положенія діалектическаго материализма, отличающія его отъ механицизма, обезпечиваютъ, по словамъ диалектиковъ, единство теоріи и революціонной практики. Обвиненіе въ разрывѣ теоріи и практики принадлежитъ къ числу особенно тяжкихъ въ СССР. Поэтому стараемся понять, какое значеніе имѣютъ специфическія особенности діалектическаго материализма для революціонной практики.

Диалектической материализмъ особенно подчеркиваетъ ученіе объ измѣчивости всякаго бытія и о пониженіи все новыхъ ступеней его, качественно отличныхъ отъ предыдущихъ и обладающихъ своею новою закономѣрностью; въ этомъ ученіи большевики находятъ надежное оружіе для революціоннаго разрушенія дѣйствительности. Ученіе механистовъ о субъективности качествъ, говорятъ диалектики, при послѣдовательномъ развитіи его приводитъ къ субъективному идеализму. Признаніе объективности только количественныхъ измѣненій въ сочетаніи съ механистическимъ пониманіемъ движенія и равновѣсія приводитъ къ отрицанію революціоннаго развитія скачками, къ утверженію не-

прерывности всякаго измѣненія; эволюція понимается при этомъ только какъ непрерывный ростъ, а не какъ скачкообразное развитіе. Такой эволюціонизмъ есть «отрицаніе революціи и обоснованіе реформизма»; отсюда получается право - оппортунистическій уклонъ, примиренческая политика, надежда на «востаніе кулака въ социализмъ».

Присматриваясь къ такимъ чертамъ діалектическаго материализма, какъ ученіе о творческомъ характерѣ развитія подъ вліяніемъ «внутреннихъ импульсовъ», многоступенчатость природы и т. под., нѣкоторые философы, напр., В. Сеземанъ, пришли къ мысли, что діалектической материализмъ есть философія, способная къ плодотворному развитію. На дѣлѣ никакого развитія философіи не получилось; наоборотъ, въ теченіе послѣднихъ шести лѣтъ замѣчается явственный упадокъ ея. Борьба диалектиковъ «на два фронта», т. е. противъ идеализма и механизма, неизмѣнно солутствуется политическими обвиненіями въ ревизионизмѣ, въ контрреволюціонности, прислуживаніи буржуазіи и т. п., такъ что всякая самостоятельная мысль становится опасною. Даже заслуженные марксисты, занимающіе видное положеніе въ СССР, подвергаются опасности, становясь мишенью злобной критики. Характернымъ примѣромъ является судьба Деборина. До октября 1930 г. онъ былъ отвѣтственнымъ редакторомъ философскаго и общественно - экономическаго журнала «Подъ знаменемъ марксизма». Въ концѣ 1930 г. журналъ былъ обвиненъ въ разрывѣ между теоріею и практикою, а такъ-

же въ «смелыишевиствующемъ идеализмѣ». Деборинъ былъ лишенъ мѣста отвѣтственнаго редактора. Въ коммунистической Академіи въ преніяхъ по докладу М. Митина о діалектическомъ матеріализмѣ Деборинъ публично покалялся въ своихъ прегрѣшеніяхъ, призналъ, что онъ былъ склоненъ къ меньшевиствующему идеализму, къ отрыву теоріи отъ практики и къ оппортунизму на основѣ ошибочнаго ученія о «примиреніи противоположностей»; онъ выразилъ при этомъ признательность ЦК «и прежде всего вождю нашей партіи тов. Сталину, что они своевременно насъ одернули». Другой очень видный большевикъ Бухаринъ подвергся нападению за склонность къ механицизму. М. Селекторъ написалъ специально для обличенія заблужденій Бухарина большую книгу «Діалектической матеріализмъ и теорія равновѣсія» (1934). Въ самомъ началѣ ея онъ заявляетъ: «методической базой праваго уклона, представляющаго собою кулацкую агентуру внутри нашей партіи, является теорія равновѣсія»; механистическая теорія равновѣсія ведетъ къ затушевыванію классовыхъ противорѣчій.

Живя въ атмосферѣ сыска и доноса, діалектики - материалисты, несмотря на гибкость основныхъ понятій своего направленія, оказались неспособными къ дальнѣйшей творческой дѣятельности. Они по опыту знаютъ, что малѣйшее дополненіе къ словамъ канонизованныхъ авторовъ можетъ повлечь опасное обвиненіе въ идеалистической «ереси». Поэтому въ теченіе ряда лѣтъ они толчутся на мѣстѣ, повторяя на разные лады сказанное Марксомъ,

Энгельсомъ, Ленинымъ или — теперь — Сталинымъ. Даже и въ борьбѣ другъ съ другомъ за правильное пониманіе діалектическаго матеріализма они занимаютъ не изслѣдованіемъ бытія, строенія міра и т. п., а доказываютъ свою мысль цитатами изъ основоположниковъ марксизма.

Самое безопасное — это найти какую-либо рукопись одного изъ вождей и опубликовать ее. Такъ, въ 1934 г. были напечатаны подъ редакціею Адоратскаго и Сорина «Философскія тетради Ленина. Это большой томъ (472 страницы) въ красномъ переплетѣ. Въ немъ напечатаны тетради Ленина съ конспектами книгъ, читанныхъ имъ, и краткими замѣтками его о нихъ. Держа въ рукахъ этотъ томъ, ужасаешься тому, какъ легкомысленно расстрачиваютъ большевики средства голодающаго народа на печатаніе макулатуры.

Въ теченіе послѣднихъ шести лѣтъ упадокъ философской литературы въ СССР особенно яственъ. Просматривая «Книжную лѣтопись», мы находимъ въ ней очень мало заглавій серьезныхъ философскихъ работъ, но зато десятки названій литографированныхъ школьныхъ руководствъ по діалектическому матеріализму; издаются эти руководства всевозможными учебными заведеніями, напр., Ленинградскимъ машиностроительнымъ институтомъ, Ленинградскимъ электро - механическимъ учебнымъ комбинатомъ желѣзно - дорожнаго транспорта и т. п. Теперь впрочемъ и эта литература почти вымерла.

Нѣкоторый притокъ свѣжей мысли получается благодаря печатанію переводовъ, образующихъ

«Библиотеку материализма»: въ нее входятъ фрагменты Демокрита, избранныя сочиненія Гоббса, Ламетри, Гольбаха, Гельвеція, Дидро, Пристли и др. Предпринято полное собраніе сочиненій Гегеля, за исключеніемъ его Философій религіи; печатаются поемногу переводы діалоговъ Платона, сочиненія Спинозы, появилась «Метафизика» Аристотеля, «О причинѣ, началѣ и единомъ» Джордано Бруно, избранныя сочиненія Николая Кузанскаго. Можно надѣяться, что возрожденіе философской мысли въ Россіи начнется по линіи изученія исторіи философіи.

Положеніе психологіи въ СССР нѣсколько лучше, чѣмъ философіи. Нѣкоторые видные ученые въ революціонной культурѣ могли продолжать свою дѣятельность втеченіе всей революціи. Двѣ школы, имѣвшія уже съ начала XX вѣка большое вліяніе и громадное количество сотрудниковъ, именно физиологическое направленіе И. Павлова (ум. въ 1936 г.) и рефлексологія В. Бехтерева (ум. нѣсколько лѣтъ тому назадъ), стали получать отъ совѣтскаго правительства большія средства для оборудованія своихъ институтовъ. Во время революціи они чрезвычайно расширили свою дѣятельность и публикуютъ множество трудовъ. Замѣчательный зоопсихологъ В. А. Вагнеръ (ум. въ 1935 г.), развивавшій своеобразное ученіе о различіи инстинкта и разума, продолжалъ свои изслѣдованія, опубликовалъ съ 1927 г. въ рядѣ выпусковъ свой трудъ «Возникновеніе и развитіе психическихъ способностей», трудъ «Этюды по сравнительной психо-

логіи» и др. Психіатръ Крогиусъ, продолжая свои наблюденія и эксперименты надъ слѣпыми, напечаталъ въ 1926 г. книгу «Психологія слѣпыхъ и ея значеніе для общей психологіи и педагогикѣ». Проф. А. П. Нечаевъ неутомимо продолжаетъ свои экспериментальныя изслѣдованія, посвященныя проблемамъ утомленія, памяти и т. п. Молодой психологъ Кравковъ опубликовалъ въ 1922 году трактатъ «Самонаблюденіе», содержащій въ себѣ цѣнный соображенія объ изученіи интенціональныхъ психическихъ актовъ.

Превосходно оборудованный Институтъ Экспериментальной психологіи, созданный при Московскомъ университетѣ въ 1912 г., продолжалъ свою плодотворную работу подъ руководствомъ опытнаго изслѣдователя проф. Г. И. Челпанова. Однако при большевикахъ ему недолго удалось работать въ немъ. Въ 1923 г. онъ былъ уволенъ въ отставку; на мѣсто его былъ назначенъ директоромъ бывшій сотрудникъ Института К. Н. Корниловъ. Уже въ первые годы революціи Корниловъ сначала отлитографировалъ свой трудъ «Реактологія», а въ 1921 г. напечаталъ его подъ заглавіемъ «Ученіе о реакціяхъ человѣка съ психологической точки зрѣнія (Реактологія)». Все поведеніе человѣка, по его мнѣнію, состоитъ только изъ реакцій, т. е. отвѣтныхъ движеній на раздраженіе извнѣ, когда нарушается равновѣсіе между индивидомъ и средой. Психологія, по Корнилову, есть «часть физики», — то, что мы именуемъ психологическими процессами есть не больше, какъ особый видъ физической энергіи. Въ 1923 г. на Всероссийскомъ психо-

неврологическомъ сѣздѣ Корниловъ выступилъ съ требованіемъ строить «марксистскую научную психологию» и образцомъ таковой считалъ свое реактологическое ученіе. Проповѣдуя діалектичскій синтезъ объективнаго и субъективнаго методовъ изученія реакцій, Корниловъ подчеркивалъ, что субъективный методъ слѣдуетъ примѣнять подъ контролемъ объективнаго.

Мѣсто директора Института Корнилову удалось занять, но возвести свою реактологию въ рангъ официально признаннаго ученія онъ не смогъ. Противъ него посыпалось множество возраженій прежде всего изъ лагеря сторонниковъ «рефлексологическаго марксизма», т. е. лицъ, склонныхъ къ механицизму (напр., Черановскій, Струминскій). Не одобрили концепцію Корнилова и матеріалисты - діалектики. Они ищутъ опредѣленія марксистской психологій, въ которомъ было бы учтено качественное своеобразие той ступени развитія природы, на которой стоитъ человѣкъ; они усматриваютъ его въ томъ, что поведение человѣка обусловлено не только біологически, но и социалью. Въ противоположность рефлексологамъ, желающимъ совсѣмъ устранить психическое изъ области научныхъ изслѣдованій, они настаиваютъ на значимости психическаго процесса и говорятъ, что согласно діалектическому матеріализму существуетъ единство, но не тождество физическаго и психическаго (см., напр., проф. З. Чучмаревъ «Марксизмъ, психо-физиологія, условные рефлексъ», 1930 годъ). Мысль, что психическій аспектъ поведения не доступенъ научному изслѣдованію, они от-

вергаютъ, какъ антимарксистскій «позитивнистическій агностицизмъ». Критикуя изслѣдованія школы Павлова, Чучмаревъ указываетъ на то, что явленія, описанныя Павловымъ подъ именемъ ориентировочнаго рефлексъ, явнымъ образомъ указываютъ на вниманіе животнаго къ новымъ условіямъ съ участіемъ сознанія. Чучмареву, между прочимъ, принадлежитъ заслуга выработки метода изслѣдованія условныхъ слюнныхъ рефлексовъ не только на животныхъ, но и на человѣкѣ.

Засиліе рефлексологій въ СССР однако до послѣдняго времени было очень велико. Это видно изъ множества статей, посвященныхъ защитѣ ея или, наоборотъ, борьбѣ съ нею діалектиковъ-матеріалистовъ. Еще раньше діалектиковъ началъ отстаивать психологию противникъ матеріализма проф. Челпановъ (ум. въ 1936 г.). Въ брошюрѣ «Психологія и марксизмъ» (1924 г.) онъ показывалъ, что Марксъ признавалъ наличие психическихъ процессовъ и необходимость изученія ихъ, отдавая предпочтеніе ученію о природѣ Бекона передъ механистическимъ матеріализмомъ Гоббса. Челпановъ опубликовалъ также брошюры «Объективная психологія въ Россіи и Америкѣ», 1925 г., «Психологія или рефлексологія?», «Соціальная психологія или условные рефлексъ?», 1926 г.

Въ статьѣ о Научно-Исслѣдовательскомъ институтѣ Психологій*) (такъ называется теперь Московскій экспериментальный Психологическій институтъ) сообще-

*) См. книгу «Университеты и Научныя учрежденія», 1935, стр. 398.

но о некоторых увлечениях, которые были пережиты большевскими психологами в 1923-30 годах: «такими были замыслы некоторых „теоретиков“ о сближении фрейдизма с марксизмом, объявление гештальтпсихологии и персонализма Штерна едва ли не последним словом материалистической психологии». Стремление фрейдизма стать целью мировоззрением скоро оказалась несовместимым с такими же притязаниями марксизма. Где марксисты ссылаются на экономические причины явления, там фрейдисты отыскивают сексуальные источники. Столяров, напр., приподит такой образец нелѣпых увлечений фрейдизмом: советскій проф. М. Рейснеръ пришелъ къ мысли, что авіация имѣетъ инфантильное эротическое происхождение, — изъ желанія летать во снѣ, которое въ свою очередь есть выраженіе стремленія быть способнымъ къ половой дѣятельности. Все ученіе школы Фрейда о твореніи человѣкомъ культурныхъ цѣнностей путемъ сублимации сексуальной энергіи основывается, какъ правильно указываютъ советскіе философы, на ложной механистической теоріи, согласно которой общество есть только сумма людей.

Gestaltpsychologie показала марксистамъ подозрительнымъ отпрыскомъ нѣмецкой натурфилософій (Чучмаревъ). Однако поскольку эта школа, подобно диалектическому материализму, признаетъ существованіе цѣностей, которыя не суть только агрегатъ входящихъ въ ихъ составъ элементовъ, она оказала полезное вліяніе на советскую психологию.

Послѣ ряда увлечений и разо-

чарованій сотрудники Московскаго Института Психологій предприняли въ 1931 г. «обсужденіе реактологической концепціи проф. К. Н. Корнилова» съ цѣлью выработать «болѣе четкое опредѣленіе новыхъ принципиальныхъ установокъ». Проф. Корниловъ пересталъ быть директоромъ Института, въ которомъ произведена была не только «смѣна руководства», но и «смѣна направленія работы», съ цѣлью построения марксистско - ленинской научной психологій, «проводящей большевизскую партійность въ наукѣ, отвѣчающей требованіямъ социалистической практики».

Работа многихъ психологовъ приобрѣла практическій характеръ уже съ самаго начала революціи, соответственно склонности большевиковъ строить всю жизнь по рецептамъ, выработаннымъ въ научныхъ лабораторіяхъ. Психотехника, педологія, разработка тестовъ и примѣненіе ихъ въ школѣ, въ арміи и на производствѣ привлекли къ себѣ много молодыхъ силъ. И. Шпильрейнъ, рассказываетъ въ брошюрѣ «Психотехника въ реконструктивный періодъ» (1930 г.) о слѣдующихъ трехъ періодахъ въ исторіи рационализациі производства въ СССР: 1) въ 1920-22 гг. вниманіе было направлено на количественную производительность труда и въ связи съ этимъ разгорѣлся споръ между тэйлористами и антитэйлористами; 2) въ эпоху НЭП'а и восстановительнаго періода промышленности совершено было переходъ отъ Тэйлора къ Форду; задачей была организациія труда черезъ организацию среды; 3) наконецъ, теперь, въ реконструктивномъ періодѣ вниманіе

сосредоточено на плановости. Критикуя применение тестовъ для оцѣнки одаренности, Шпильрейнъ и другіе совѣтскіе психотехники рекомендуютъ вводить «классовые коррективы». Вопросамъ психотехники посвященъ журналъ «Советская психотехника».

Чрезмѣрная сосредоточенность на «классовыхъ» принципахъ и мелкій утилитаризмъ очень понижаетъ цѣнность многихъ экспериментальныхъ изслѣдованій въ СССР. Частными практическими задачами нерѣдко обременяютъ Институтъ Психологии государственныя учреждения. Такъ, Академія коммунистическаго хозяйства проситъ институтъ разработать вопросъ о рационализациі уличнаго освѣщенія, Третьяковская картинная галлерей — вопросъ объ условіяхъ воспріятія картинъ, Институтъ Архитектуры — проблему окраски школьныхъ зданий.

Несмотря на тяжелыя условія работы ученаго, обязаннаго считаться съ идеаломъ «марксистской» психологии и производить изслѣдованія, удовлетворяющія

практическимъ нуждамъ, въ СССР появилось нѣсколько цѣнныхъ трудовъ въ этой области. Особенно слѣдуетъ отмѣтить книгу проф. Л. Выготскаго «Мышленіе и рѣчь», 1934 г. Она содержитъ въ себѣ критику теорій и экспериментовъ, главнымъ образомъ Пиаже и В. Штерна, кромѣ того Леви Бруля, Блейлера, Фрейда, К. и Ш. Бюлеръ, Н. Ахъ, Б. Келера, Уотсона, Торндайка и др., а также теоретическое и экспериментальное изслѣдованіе, произведенное Выготскимъ вмѣстѣ съ группою его сотрудниковъ. Къ сожалѣнію, Выготскій умеръ въ возрастѣ 38 лѣтъ въ іюнѣ 1934 г. раньше, чѣмъ книга его появилась въ печати.

Укажу еще на трудъ П. П. Блонскаго «Память и мышленіе» (1935 г.) и на цѣнный сборникъ статей «Зрительныя ощущенія и воспріятія» (подъ ред. проф. С. Кравкава и Б. Теплова, 1935 г.), содержащій въ себѣ изслѣдованія взаимодействия ощущеній и т. под.

Н. Лосскій.

Конецъ Зарубежья

Духовныя основы эмиграціи опредѣлились обстоятельствами ея возникновенія: въ большинствѣ своемъ она родилась не изъ самой революціи, но изъ гражданской войны. Лишь немногіе сознательно покинули Россію, спасая свое матеріальное благополучіе или духовную свободу, или же не желая мириться съ политическими противниками. Основная масса бѣженцевъ составила изъ

тѣхъ, кто съ оружіемъ въ рукахъ боролся противъ большевиковъ (или отсиживались въ тылу борозшихся); они не эмигрировали, а «эвакуировались», т. е. отступили за-границу, со своими воинскими частями, начальниками, канцеляріями и т. д.

Эта эвакуація носила характеръ выхода государства изъ своей территоріи: явленіе непредусмотрѣнное юридическими теоріями,

но не безпримѣрное; судьба Бельгии и Сербии во время Великой войны оставались еще свѣжа въ памяти.

Такъ возникла государствообразная форма бытія русской эмиграціи. Покинувъ родную землю, бѣглецы вовсе не считали, что покинули родное государство: они унесли его съ собой. Яркій интернационализмъ, которымъ была проникнута въ то время официальная идеологія совѣтской власти, значительное участие въ ней нерусскихъ — не только инородческихъ, но даже иностранных — элементовъ, подкрѣпляли такіа построения; русская территорія оказалась «оккупированной» враждебными силами, но истинная Россія ушла. Русскіе на чужбинѣ — не разрозненныя толпы, но нѣкоторое единство, символически представляющее весь русскій народъ и образующее государство безъ территоріи: Зарубежье.

При всей своей фантастичности, эта концепція находила опору въ цѣломъ рядѣ позитивныхъ фактовъ. Почти во всѣхъ столицахъ продолжали существовать русскія дипломатическія представительства, официально признанныя и располагающія значительными средствами. Въ Турціи, Манджуріи, Китаѣ, Болгаріи, Сербіи выплывали обломки русскихъ казенныхъ вѣдомствъ, самоуправлений, общественныхъ союзовъ, съ остатками своей прежней организаціи. Иностранцы могли игнорировать ихъ, или же считать частными обществами и предприятиями: для русскаго сознанія это были учрежденія, т. е. куски государства, перешедшіе въ Зарубежье и наглядно доказывающіе преемствен-

ную связь съ прежнимъ правопорядкомъ. Но, разумеется, предствленія объ унесеніи съ собой государства могли по настоящему укорениться и развиваться лишь тамъ, гдѣ прочнѣе всего сохранилась прежняя іерархія — то есть въ арміи.

Бѣлая армія три года вела войну съ большевиками. Ея командование реально осуществляло власть на огромныхъ пространствахъ освобожденной территоріи; только оно могло претендовать, хотя бы посредствомъ сложныхъ юридическихъ конструкций, на нѣкоторую преемственную связь съ всероссійской властью. Совершенно естественно, что именно остатки арміи стали средоточіемъ мысли о Зарубежьи, какъ подлинномъ русскомъ государствѣ, сохраненномъ и прикровенно продолжающемъ свое бытіе, въ чаяніи грядущаго возрожденія.

Идея охраненія тлѣющаго свѣтильника истинной государственности налагала тяжелыя обязательства надпартийности и безстрастія. Обычно, въ безвоздушномъ пространствѣ эмиграціи легко происходитъ заостреніе и дифференціація политическихъ теченій, въ поискахъ того волшебнаго слова, которое послужило бы ключемъ къ дверямъ роднаго дома. Фикція зарубежной государственности требовала совершенно иного: формулъ нейтральныхъ, всепримиряющихъ, ничего не предвѣщающихъ, никого не отталкивающихъ. Въ принципѣ Зарубежье должно было всѣхъ объединить: въ его предѣлы теоретически вмѣщались монархисты, республиканцы, демократы, даже социалисты; всѣ являлись участни-

ками общаго дѣла — освобожденія родной земли отъ «оккупированнаго ея третьяго интернаціонала».

Такое построение — элементарное, хотя и крѣпкое въ своей стройности, было, разумѣется, неприемлемо для круговъ съ опредѣленной и дифференцированной политической установкой. Оно съ самаго начала встрѣтило глухое, но упорное сопротивление со стороны крайне-правыхъ, питающихся гораздо болѣе заостренными лозунгами, да къ тому же ведущихъ свою линію преемственности отъ другого момента русской исторіи. Еще болѣе рѣзкое и отчетливое отрицаніе неизбежно должно было послѣдовать слѣва.

Конечно, къ ненормальностямъ прежней русской жизни нужно отнести то, что организованныя партіи существовали только на одномъ лѣвомъ флангѣ. Но какъ бы тамъ ни было, ими былъ накопленъ и богатый опытъ политической борьбы и обширный арсеналъ политическихъ формулъ. Уцѣлѣвшіе послѣ крушенія обломки партійныхъ штабовъ сравнительно легко могли оцѣнить и грандіозность происшедшаго обвала, и связь его съ глубинными процессами русской народной жизни и необходимость ориентироваться на дальнѣйшій ходъ этихъ процессовъ. Прогнозы часто оставались наивными, рецепты — поверхностными; но все-же политическая подготовка этихъ круговъ была достаточна, чтобы сознать невозможность и бесполезность продолженія прежней формы борьбы, неизбежность изысканія новыхъ тактическихъ путей.

Такъ идея Зарубежья, въ основѣ своей надпартійная, въ дѣй-

ствительности осталась удѣломъ лишь одного умѣренно-праваго сектора. Зато для массы людей, чуждыхъ всякой политической рефлексіи, неожиданно для самихъ себя оказавшихся на чужбинѣ въ мучительной и отвѣтственной роли политическихъ эмигрантовъ, эта идея долгое время сохраняла неотразимую притягательную силу: ея нейтральность освобождала отъ обязанности самоопредѣленія, а фикція государственности создавала призрачную рамку для продолженія прежняго духовнаго быта.

Между тѣмъ, та надпартійность и терпимость (вѣрнѣе безразличіе) къ политическимъ взглядамъ, какая связывалась съ идеей Зарубежья, наталкивалась на одно ограниченіе: гражданинъ Зарубежья долженъ былъ быть ему вѣренъ. Въ этомъ вопросѣ не могло быть никакихъ компромиссовъ, какъ не можетъ ихъ быть въ рядахъ воюющей арміи: кто не признаетъ и колеблется на фронтѣ авторитетъ начальства, превращается въ союзника непріятеля, въ его агента; онъ опаснѣе, чѣмъ непріятель, и долженъ быть уничтоженъ или изолированъ въ первую очередь. Такъ концепція Зарубежья, какъ государства, при всей своей нейтральности, неизбежно приводила къ рѣзкимъ разграниченіямъ и къ безысходной борьбѣ, притомъ не съ политическими противниками, а съ тактически инакомыслящими.

**

Принципальное и послѣдовательное отрицаніе не только ложной сатанинской власти, но и всякаго явленія — хотя бы по существу своему положительнаго —

рождающагося при этой власти и слѣдовательно отъмѣннаго печатью Антикриста; уходъ и образование тѣснаго прикрытаго содружества вѣрныхъ, избѣгающихъ всякаго соприкосновенія съ источникомъ зла: такое состояніе духа не новость въ нашей исторіи. Есть глубокое внутреннее родство между умонастроеніемъ раскола и Зарубежья. Какъ и расколъ, Зарубежье крѣпко силою пассивнаго сопротивленія. Люди, которые съ отвращеніемъ отказываются смотрѣть совѣтскій фильмъ или съѣсть совѣтскую кильку, понимаютъ, конечно, что не наносятъ этимъ удара большевикамъ; они знаютъ, что ихъ дѣйствіе, даже возведенное въ категорическій императивъ, какъ общій принципъ поведенія, не взорветъ стѣнъ непрителеской крѣпости. Они лишь слѣдуютъ правилу соблюденія собственной чистоты, подобно тѣмъ, кто отказывался ѣсть изъ одной посуды съ никоніанами.

Представленіе о Зарубежьи, какъ подобіи государства, въ которомъ продолжаютъ дѣйствовать не только прежнія религиозно-нравственныя начала жизни (естественно всюду уносимыя людьми съ собою), но и совокупность прежнихъ социальныхъ нормъ, опредѣляющихъ общественное положеніе людей, іерархическія градации, взаимоотношенія и т. п. — такое представленіе установилось конечно потому, что оно было духовной потребностью для огромнаго числа эмигрантовъ. Очень легко прощически улыбаясь, слушая, какъ чернорабочіе именуютъ себя полковниками и капитанами, какъ «чины министерства финансовъ» или «вѣдомства императрицы Маріи» титулуютъ другъ дру-

га превосходительствами, обсуждаютъ на чашкахъ чая программы будущей дѣятельности, или воспламеняются идеей зарубежнаго парламента. Достаточно однако хоть на минуту задуматься надъ судьбою людей, потерявшихъ все на свѣтѣ и проведшихъ половину сознательной жизни въ угольныхъ шахтахъ, безнадежныхъ инвалидовъ общежитіяхъ или у рабочаго станка въ чужой странѣ, чтобы понять, какой необходимой опорой являлась для нихъ идея принадлежности къ единому цѣлому, воплощающему все то, что ушло изъ реального бытія. Сознаніе этой связи и мѣста занимаемаго въ своемъ, для чужихъ незримомъ, мірѣ, опредѣляло самочувствіе челоуѣка и позволяло ему тянуть существованіе, не опускаясь на дно. Увѣренность въ томъ, что эта связь равносильна участію — хотя бы въ какой-то мельчайшей долѣ (напр., въ формѣ копѣчныхъ сборовъ) — въ непрекращающейся борьбѣ, придавала жизни смыслъ, который въ противномъ случаѣ былъ бы ею совершенно утраченъ.

**

Такимъ образомъ, иллюзія государственно-подобнаго бытія эмиграціи была полезна съ точки зрѣнія духовной гигиены. Но для достиженія задачъ не бытовыхъ, а политическихъ, идея Зарубежья могла быть только обузой.

Дѣйствительно, если, несмотря на утрату территорій, сохраняются элементы государства, то очевидно долгъ продолженія борьбы падаетъ на остатки государственной власти. Такъ какъ однако

единственная форма борьбы свойственная государству есть война, и такъ какъ сидя за-границей настоящей войны вести нельзя, то пребываніе въ эмиграціи превращается въ состояніе временнаго и вынужденнаго покоя — нѣчто вродѣ сильно затянувшейся стоянки арміи на зимнихъ квартирахъ между двумя кампаніями. Опасность этого состоянія заключается во вредной иллюзіи выполненнаго долга. Тяжесть борьбы, перенесенная на начальство, тѣмъ самымъ снимается съ отдѣльнаго человѣка, который можетъ себя чувствовать свободнымъ отъ обязанности проявлять какую-либо самостоятельную дѣятельность въ этомъ направленіи.

Что же касается той борьбы, возможность которой для эмиграціи не исключена а пріорі — т. е. борьбы революціонно - политической — то и въ этой области концепція продолжающейся войны, ведомой соответствующими компетентными органами, породила ошибочныя и вредныя представленія. Таково, напр., представленіе о необходимости объединенія и концентрации силъ передъ началомъ сраженія: идея самоочевидная и элементарная въ стратегіи и тактикѣ, но совершенно ложная въ сферѣ прямого революціоннаго дѣйствія, гдѣ напротивъ тѣсно спаянныя и воодушевленныя маленькія группы всегда имѣли и будутъ имѣть преимущество передъ обширными коалиціями. А между тѣмъ сколько усилій, если не душевныхъ, то словесныхъ, потрачено было на «объединеніе» эмиграціи, какъ будто бы разрѣшеніе этой эфемерной задачи (именно въ планѣ политическомъ, а не бытовомъ)

могло хоть на шагъ подвинуть по пути къ главной цѣли.

Революціонная дѣятельность, понимаемая не какъ политическая борьба, но какъ продолженіе и дополненіе войны, естественно возникаетъ въ развѣдку или въ разрушеніе непріятельскихъ тыловъ, т. е. въ дѣйствія сами по себѣ (въ войнѣ) не имѣющія смысла. Къ этому неизбежно и должна была свестись революціонная дѣятельность Зарубежья.

Здѣсь мы касаемся области, о которой можно говорить лишь съ величайшей осторожностью, ограничиваясь тѣмъ, что сочли нужнымъ сообщить непосредственные участники борьбы или ихъ сотрудники и вдохновители. Нѣтъ нужды распространяться насчетъ техническихъ трудностей подобнаго рода активности въ нынѣшнихъ условіяхъ. Люди, метавшіе бомбы въ царскихъ миניстровъ въ семидесятыхъ и девяностыхъ годахъ, представлялись эпическими героями и служили объектомъ полуприкрытаго культа. Однако ихъ мужество, при всей подлинности, не можетъ быть сравниваемо съ мужествомъ людей, шедшихъ въ наше время не только на смерть, но и на пытки, и притомъ не въ атмосферѣ общественаго сочувствія и восторговъ, а при общемъ гробовомъ молчаніи. Дѣятельность такихъ людей, какъ Захарченко-Шульцъ, Петерсъ (сынъ знаменитаго чекиста), Радкевичъ и многіе другіе является предѣломъ героизма и самопожертвованія. При всемъ томъ, нельзя отрицать, что политическіе результаты террористической дѣятельности, развитой изъ Зарубежья, оказались ничтожны.

Не слѣдуетъ думать, будто ан-

ти-большевистскій терроръ вообще никогда не имѣлъ послѣдствій. Напротивъ, въ исторіи совѣтскаго режима убійство Урицкого, убійство Мирбаха, раненіе Ленина, взрывъ въ Леонтьевскомъ переулкѣ, убійство Кирова были подлинными политическими событиями. Особенно покушеніе на Ленина относилось именно къ категоріи тѣхъ дѣйствій, которыя способны вызвать крушеніе режима. Но акты такого значенія оказались недоступны для зарубежныхъ революціонеровъ: не по недостатку инициативы или смѣлости, а въ слѣдствіе полной ихъ отчужденности отъ той среды, въ которой имъ приходилось дѣйствовать. Они проникли въ родную землю какъ въ чужой лагерь и подобно партизанамъ на войнѣ, обращали свои дѣйствія на ближайшіе, случайные объекты. Въ то же время, боевая революціонная организація, какъ придатокъ къ остаткамъ организаціи военно-административной, естественно замыкалась въ кругу задачъ техническихъ, а не политическихъ: она не могла опереться въ своей работѣ на яркую, рѣзко-очерченную политическую платформу, связанную съ нынѣшними представленіями и настроеніями Россіи; тѣмъ самымъ, ея дѣйствія обречены были остаться безъ резонанса въ странѣ.

**

Идея Зарубежья, хотя по замыслу не «правая» и не «лѣвая», а нейтральная, въ дѣйствительности съ самаго начала была идеей реставраціонной, т. е. направленной на возстановленіе прошлаго.

Надо условиться о точномъ

смыслѣ словъ. «Реставраціонный» не значить непременно «монархическій». Можно быть монархистомъ, т. е. желать установленія монархіи, не стремясь къ возстановленію прошлаго. Можно быть и реставраторомъ, не будучи монархистомъ.

Зарубежное представленіе объ остановившейся жизни, т. е. принципиальное отрицаніе и игнорированіе (начиная съ извѣстнаго историческаго момента) перемѣнъ, происходящихъ въ дѣйствительности, ведетъ къ тому, что разнища между реальнымъ временемъ и тѣмъ, какое показываютъ эмигрантскіе часы, непрерывно возрастаетъ. Консерваторы по-прежнему пекутся объ охранѣ существующаго, прогрессисты соглашаются на разумныя преобразованія, но одни желаютъ сохранить, а другіе преобразовать то, чего давно уже нѣтъ. При этомъ споры ведутся съ точки зрѣнія пользы или вреда того или иного института, т. е. носятъ такой-же характеръ, какой имѣла бы полемика о положительныхъ и отрицательныхъ сторонахъ городовыхъ магистратовъ, мѣстническихъ книгъ или удѣльнаго строя.

Наиболѣе законченнымъ примѣромъ подобнаго отношенія къ дѣйствительности служить проблема правописанія. Есть глубокий смыслъ въ томъ, что именно правописаніе много лѣтъ было проблемнымъ камнемъ зарубежной благонадежности и употребленіе новой грамоты считалось вѣрнымъ признакомъ большевизма: именно въ такомъ вышнемъ, техническомъ вопросѣ особенно ярко сказывалось принципиальное игнорированіе всякаго новшества, свя-

заннаго съ ненавистнымъ и начисто отрицаемымъ строемъ. Если же проблема правописанія подвергалась обсужденію, то лишь въ формѣ сравненія старой и новой системы, какъ будто бы обѣ онѣ были дѣйствующими и можно было выбирать между ними: тогда какъ въ дѣйствительности, худо это или хорошо, дѣйствующая система только одна — новая; можетъ быть она плоха и придется ее измѣнить или замѣнить какой-либо третьей, но странно было бы при этомъ просто воскресить — со всеми достоинствами и недостатками — то, что давно исчезло.

Воспріятіе идеологій Зарубежья приводить къ тому, что и по всемъ инымъ проблемамъ разсужденія строятся аналогичнымъ способомъ; рѣчь идетъ о томъ, нужно-ли сохранить или уничтожить известное установление, норму, обычай (существовавшие двадцать лѣтъ назадъ); въ большинствѣ случаевъ легко доказать, что особой необходимости въ уничтоженіи не было, и что во всякомъ случаѣ то, что пришло на смѣну, хуже прежняго; отсюда выводъ: слѣдуетъ остаться при старомъ.

Во всехъ этихъ разсужденіяхъ (какъ и въ разсужденіи о правописаніи) упускается изъ виду главное: стараго нѣтъ и, слѣдовательно, остаться при немъ невозможно; можно лишь, если угодно, положить своей задачей восстановленіе (реставрацію) стараго.

Достаточно, конечно, поставить вопросы такимъ образомъ, чтобы вскрыть безнадежность подобной задачи. Дѣло вѣдь совсѣмъ не въ

томъ, лучше-ли или хуже новое, чѣмъ старое. Какое бы ни было тотъ строй, который установится въ Россіи послѣ революціи, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ онъ будетъ вѣроятно лучше прежняго: напр., можно надѣяться, что въ немъ не будетъ гибельнаго раздѣленія «господъ» и «простонародья», крѣпче будетъ духовная связь населенія съ государствомъ и т. д.; во многихъ другихъ отношеніяхъ этотъ строй будетъ конечно хуже прежняго: напр., та ступень правосудія и административнаго порядка, на которой Россія (по крайней мѣрѣ городская) находилась до войны, вѣроятно останется недостижимымъ идеаломъ не только для насъ, но и для нашихъ дѣтей.

Какъ бы однако ни сложилась будущая русская жизнь, въ одномъ можно быть увѣреннымъ: она совсѣмъ не будетъ такой, какъ прежняя; идеалъ реставраціи есть самый недостижимый и безпредметный изъ всехъ идеаловъ.

Не было необходимости разрушать до тла вѣковой дѣдовскій домъ: при всей его старомодности и при всехъ недостаткахъ, еще долгія поколѣнія могли бы жить въ немъ, постепенно его обновляя и перестраивая; но теперь, когда онъ разрушенъ, сентиментальные планы его восстановленія въ прежнемъ видѣ — пустое ребячество. Постройка такого рода была бы подобна поддѣльнымъ готическимъ замкамъ, воздвигаемымъ разбогатѣвшими самодурами: въ ней не было бы ни уюта, ни очарованія, ни крѣпости подлинной старины. Впрочемъ, много разъ было отмѣче-

но, что реставрационная идеология вовсе не является монополией тѣхъ круговъ эмиграции, которые называютъ «правыми» или «реакціонными». Стремленіе къ прошлому и игнорированіе настоящаго есть состояніе духа, почти неизбежное для эмигранта. Во всякомъ случаѣ, этой болѣзни подвержены всѣ эмигрантскіе круги, не исключая и «лѣвыхъ».

**

Противоположностью идеологии Зарубежья является не «лѣвизна», но такая духовная установка, которая не отрицаетъ настоящаго, а, напротивъ, изъ него исходитъ въ своихъ предвидѣніяхъ будущаго. Медленная, но несомнѣнная эволюція Зарубежья и заключается въ томъ, что противъ своей воли, съ отвращеніемъ, оно все же воспринимаетъ такую установку. Не малой въ этой эволюціи Зарубежья оказалась роль младороссовъ, несмотря на всю механичность ихъ попытки сочетать принципы легитимизма и «проволюціонности». Младоросское движеніе, въ годы своего расцвѣта, имѣло замѣтное воздѣйствіе на состояніе умовъ въ кругахъ казалось бы герметически замкнутыхъ въ неподвижномъ благомысліи и благонадежности. Адептовъ новой секты оказалось немного, но нѣкоторыя изъ распространяемыхъ ими мыслей не пропали для Зарубежья безслѣдно. Такова была, напр., мысль о необходимости пристально изучать социальные процессы, развивающіеся въ Россіи: идея, при всей своей элементарности, долгое время казавшаяся въ этихъ кругахъ крамольной.

И все-же, настоящей причиной сдвиговъ въ Зарубежьи являются не какія-либо идейныя воздѣйствія, а просто неумолимый бѣгъ времени. Чѣмъ дальше идутъ годы, тѣмъ яснѣе становится, даже для самаго не-критическаго сознанія, что нельзя бывшее сдѣлать небывшимъ и начать наново жизнь; оборвавшуюся два десятика лѣтъ назадъ. Все фантастичнѣе дѣлаются и представленія о томъ, будто гдѣ-то подъ слоємъ совѣтскихъ людей продолжаютъ существовать прежніе русскіе люди; все больше въ Россіи становится численный перевѣсъ тѣхъ, которые просто не видѣли и не знаютъ прошлаго. Не требуется много воображенія для того, чтобы сдѣлать отсюда неизбежный выводъ: когда эти новые люди вырвутся изъ-подъ нынѣшняго гнета, они создадутъ какую-то новую Россію, вѣроятно грубую и неотесанную, во всякомъ случаѣ совсѣмъ не похожую на прежнюю.

* Передъ бѣгомъ времени не можетъ устоять и прежняя концепція роли эмигрантовъ. За-границу ушли по преимуществу люди въ возрастѣ отъ 20 до 40 лѣтъ. Въ толпѣ, которая наполняла отпывавшіе транспорты, пожилыхъ людей было мало, стариковъ и дѣтей — единицы. Теперь основная масса эмиграции находится въ возрастѣ 40-60 лѣтъ; за нею слѣдуетъ глубокой провалъ и далѣе, на большомъ разстояніи, рѣдкая заграничная поросль. Очевидно, у людей, переехавшихъ черезъ середину жизненнаго пути, мало шансовъ стать строителями новой Россіи. Во всякомъ случаѣ, ихъ физическое участіе въ этомъ стро-

ительствъ (съ винтовкой или съ молотомъ въ рукахъ) не могло бы имѣть серьезнаго значенія.

Такимъ образомъ, оказывается непригодной болѣе схема, широко распространенная еще нѣсколько лѣтъ назадъ, согласно которой Зарубежье ждетъ благоприятнаго момента (война, народныя возстанія), чтобы образовать ядро освободительной силы, вокругъ котораго объединятся въ Россіи всѣ тѣ, кто не пріялъ настоящаго и духовно живетъ прошлымъ. Съ разрушеніемъ этой схемы падаетъ и идея Зарубежья, какъ призречнаго государства. Эмигрантамъ не суждено было стать ни освободителями, ни организаторами своей родины. Если еще воз-

можно рисовать себѣ картины политическаго воздѣйствія со стороны эмиграции въ будущемъ, то очевидно такое воздѣйствіе могло бы быть только идейнымъ; воздѣйствовать пришлось бы на обладателей реальной силы, т. е. на тѣхъ невѣдомыхъ людей, которые народились за эти годы въ Россіи.

Но очевидно, для этого идея «Зарубежья», съ стремленіемъ къ вѣшнему единству, съ боязнью яркихъ формулъ и съ непоправимымъ смѣшеніемъ бытовыхъ и политико - революціонныхъ задачъ, является совершенно непригодной.

Ю. К. Рапопортъ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ

Амари (М. Цетлинъ). Кровь на снѣгу. Изд. «Домъ Книги» и «Современныя Записки». Парижъ.

Книга М. О. Цетлина не просто сборникъ стихотвореній, и нельзя ее должнымъ образомъ оцѣнить, если считать ее такимъ сборникомъ. Заглавіе ея внушено знаменитымъ стихотвореніемъ Тютчева о декабрьскомъ возстаніи, изъ котораго четыре стиха служатъ ей эпиграфомъ:

Едва дымясь, она сверкнула
На вѣковой громадѣ льдовъ,
Зима желѣзная дохнула —
И не осталось и слѣдовъ.

Подзаголовокъ ея гласитъ «Стихи о декабристахъ»: этимъ обозначена ея тема и намѣчено все ея содержаніе. Она — какъ бы стихотворное дополненіе, лирический отголосокъ превосходной книги того же автора «Декабристы», посвященной исторіи нашей дворянской революціи и судьбѣ главныхъ участниковъ ея.

Съ этой судьбой авторъ повидимому такъ сроднился, что не могъ ограничиться однимъ лишь изученіемъ, изложеніемъ, истолкованіемъ ея: сочувствіе, которое она вызывала въ немъ, должно было получить другое, лирическое выраженіе. Тѣ, кто читалъ «Декабристовъ», съ особеннымъ интересомъ прочтутъ это стихотворное послѣсловіе къ исторической работѣ. Тѣ, кто ихъ не читалъ, захотятъ прочесть, и во всякомъ случаѣ каждое стихотвореніе здѣсь выросло изъ историческаго созерцанія и книга въ цѣломъ ведетъ или возвращаетъ своего читателя именно къ нему.

Стихотворная техника автора гибка, но въ ней нѣтъ рѣзкихъ личныхъ особенностей. При другой задачѣ это было бы недостаткомъ; но задача такова, что вниманіе наше обращено въ другую сторону. Конечно, о «чистой» поэзіи тутъ не можетъ быть и рѣчи; но книгу читаешь съ волненіемъ; съ ней легко подружиться; ее можно полюбить. Хорошо!

Станиславъ Романовичъ Лепарскій,
Послѣдствій на службѣ царской,
Конно-егерскій, не гусарскій
Генераль кавалеристъ...

который говоритъ о себѣ:

«Что карьеръ? Я ужъ старъ для карьера,
 Хоть не русскому офицеру,
 И не анненскому кавалеру
 Быть игрушкой модныхъ идей,
 Не боюсь осужденія людского,
 Не боюсь царя земного
 И не буду — шляхетное слово! —
 Мучить сихъ благородныхъ людей!»

Хороши и многіе другіе портреты, — образы Николая I, Наташи Рылѣвой, Сперанскаго. Одна изъ самыхъ трагическихъ, но изъ самыхъ достойныхъ страницъ русской исторіи развернута тутъ не со своей фактической, но внутренней, эмоциональной стороны. Сдѣлать это иначе, чѣмъ въ стихотворной формѣ, было трудно, или, быть можетъ, невозможно.

В. Вейдле.

Георгій Адамовичъ. «На Западѣ». Изд. «Совр. Записки». 1939.

Почти всѣ стихотворенія, пошедшія сюда, можно назвать вмѣстѣ «философскимъ діалогомъ», въ духѣ петрарковскихъ: бесѣда души со сродными душами — невзирая на всѣ различія индивидуальностей, моментовъ, стилей. Эта «диалогичность» стиховъ Г. Адамовича проявляется, всегда въ согласіи съ формой и замысломъ, на самые разнообразныя лады. То это прямая, хотя и отрывочная «цитата» изъ Пушкина (стр. 7, нач. и конецъ), Лермонтова (Патронъ за стойкою, 3-ья строфа), то использование чужихъ образовъ, звучаній, рѣчечевого строя, причемъ иногда такъ, что въ одномъ стихотвореніи осуществляется со-гласіе двухъ или нѣсколькихъ «голосовъ». Такъ, напр., 1-ое стихотвореніе начинается прямой парфразой Блока («Ни съ кѣмъ не говори. Не пей вина. Оставь свой домъ, оставь жену и брата»), а заканчивается совершенно некрасовски звучащимъ стихомъ: «крестъ деревянный и вѣнокъ терпový» (Блокъ навѣрно сказалъ-бы вѣнецъ); конецъ вполнѣ «блоковского» сонета (Звенитъ гармоника) — «и смертная печаль здѣсь сѣмячки лущить...» удивительно близко по строенію къ концу одного изъ сонетовъ Анненскаго: «...и съ пояснымъ поклономъ страхъ намъ свѣчи раздастъ». Пушкинъ, Лермонтовъ, Некрасовъ, Анненскій, Блокъ бесѣдуютъ у Адамовича съ Бодлеромъ — единственнымъ, кажется, изъ «чужихъ». Что касается «своихъ», то бѣтъ въ глаза отсутствіе еще двухъ великихъ: Баратынскаго и Тютчева. Это — ключъ къ пониманію поэзіи Адамовича. Всякое искусство рождается изъ «тревоги» и является своего рода спасеніемъ отъ нея посредствомъ перехода въ «иной планъ бытія», касанія «иныхъ міровъ». Но есть различныя виды «тревоги» и различныя способы видѣнія «иного міра». Баратынскій и Тютчевъ — метафизики. Они обрѣли-бы успокоеніе отъ своего «искуса» (Тютчевъ), если-бы «Всемирный Духъ» открылъ имъ себя, или — если-бы кто-нибудь имъ доказалъ, что у «Сфинкса», дѣйствительно, «никакой отъ вѣка загадки

нѣтъ и не было». Тревога тѣхъ, съ которыми ведетъ свою бесѣду Адамовичъ, совершенно иной природы. Это прежде всего тревога совѣсти — индивидуальной и коллективной, тревога бл. Августина, ужасъ передъ однажды совершившимся и непоправимымъ зломъ, тема Маленькихъ Трагедій, Бориса Годунова, Пиковой Дамы, Евгения Онѣгина, Русалки. Есть вещи, съ которыми примириться, которыхъ понять — не «разумомъ», а вѣтъ своимъ существомъ, **нельзя**. Нельзя понять измѣны Фонъ Палена (с. 52); нельзя примириться со смертью Пушкина. Стихотвореніе объ этомъ («По широкимъ мостамъ...»), самое волнующее и самое значительное изъ всего, помѣщенного въ сборникъ, выражаетъ то, что, должно быть, каждый испытываетъ, перечитывая біографію Пушкина или-же, напр., эпизодъ о смерти Пети Ростова: **знаемъ навѣрно, чѣмъ кончится, и все-таки — до послѣдняго момента не вѣримъ**. Переживаніе, изъ котораго вышла вся философія Шестова съ ея постулатомъ, обращеннымъ къ Богу: «сдѣлать бывшее небывшимъ». Но въ чемъ наше спасеніе? Въ выходѣ изъ жизни? Въ смерти? Но это не исходъ, а — **бѣгство**. Только въ томъ, о чемъ говоритъ Адамовичъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній:

Одинъ сказалъ: Намъ этой жизни мало.
 Другой сказалъ: Недостижима Цѣль.
 А женщина привычно и устало,
 Не слушая, качала колыбель.
 И стертая веревка такъ скрипѣли,
 Такъ умолкали — каждый разъ нѣжнѣй! —
 Какъ будто ангелы ей съ неба пѣли
 И о любви бесѣдовали съ ней.

Это выходъ не изъ жизни, а изъ того, что мы привычно отождествляемъ съ жизнью, изъ «исторіи», съ ея неизбежными злодѣяніями, насиліями ради «достиженій»; это — способность понять, что кромѣ этого плана жизни, въ которомъ «намъ этой жизни мало», есть другой, но все-же **жизненный**, а не «метафизическій», тотъ, въ которомъ пребываетъ **Мать** — воплощеніе начала Вѣчно-женственного, начала ничего не требующей, никакой награды не ждущей Любви. Показательно для этого стихотворенія, что въ немъ нѣтъ ни одной «цитаты», ни одной реминисценціи; а также, что оно построено, въ отличіе отъ другихъ вещей Адамовича, для которыхъ характерно пользование современнымъ синтаксисомъ поэтического языка («придаточныя» предложенія безъ «главныхъ» и т. п.), въ соответствии со строемъ обычной, повседневной рѣчи. Это не случайно, и опять-таки эстетически осмысленно: это усугубляетъ впечатлѣніе освобожденія отъ усилий, отъ тревоги, впечатлѣніе «выхода», «катарзиса», обрѣтенія того, въ поискахъ чего металась душа.

П. Бицилли.

И. А. Бунинъ. Лица. Изданіе «Петрополисъ», Брюссель.

Это случай рѣдчайшій, если не безпримѣрный. Кажется, всякій писатель съ годами достигаетъ отпущеннаго ему природой предѣла: дальше подниматься нельзя, возможно только болѣе или менѣе медленное пониженіе. Бунинъ — едва ли не единственное исключеніе: онъ пишетъ все лучше и лучше. На мой взглядъ, самыя прекрасныя изъ произведеній, написанныхъ имъ въ Россіи, во многомъ уступають созданному имъ за рубежомъ, — наглядное опроверженіе правила (въ общемъ, быть можетъ, и близкаго къ истинѣ), будто «писатель не можетъ творить за предѣлами родины», будто онъ «какъ Антей, теряетъ силу, отрываясь отъ матери-земли» и т. д. Но и за границей Бунинъ написалъ уже немало книгъ. Изъ нихъ «Жизнь Арсеньева» еще лучше «Митиной Любви», а «Лица» еще совершеннѣе, чѣмъ предшествующій, первый томъ «Жизни Арсеньева».

Къ чему можетъ сводиться рецензія о книгѣ, почти каждая страница которой есть недостижимый образецъ изобразительной силы? Бунинъ называли «писателемъ для писателей». Вѣрно то, что нѣкоторыя его особенности по настоящему могутъ оцѣнить лишь писатели. Это однако не помѣшало собранію его сочиненій въ приложеніи къ «Нивѣ» разойтись въ огромномъ количествѣ экземпляровъ. Въ сущности задача рецензіи о «Ликѣ» должна была бы сводиться къ выбору цитатъ, — а цитаты можно было бы брать почти наудачу, съ любой страницы. Я такъ и поступаю, съ искреннимъ сожалѣніемъ, что гдѣ-то надо цитату начать, гдѣ-то кончить, тогда какъ слѣдовало бы привести и предшествующее, и слѣдующее. Вотъ нѣсколько строкъ изъ описанія провинціальной редакціи: «Потомъ приходилъ коротконогий старичекъ въ изумленныхъ очкахъ, иностраннѣйшій обозрѣватель; въ прихожей онъ снималъ казакинчикъ на заячьемъ мѣху и финскую шапку съ наушниками, послѣ чего, въ своихъ сапожкахъ, шароварчикахъ и фланелевой блузѣ, подпоясанной ремешкомъ, оказывался такимъ маленькимъ и шуплымъ, точно ему было десять лѣтъ; густые сѣро-сѣдые волосы его торчали очень грозно, высоко и въ разныя стороны, дѣлали его похожимъ на дикообраза: грозны были и его блестящіе очки; онъ приходилъ всегда съ двумя коробками въ рукахъ, коробкой гильзъ и коробкой табаку, и за работой все время набивалъ папиросы: привычно глядя въ столичную газету, накладывалъ, наминалъ въ машинку, въ ея мѣдную створчатую трубочку, свѣтлаго, волокнистаго табаку, разстѣянно нашаривалъ гильзу, ручку машинки выкалъ себѣ въ грудь, въ мягкую блузу, а трубочку — въ папиросную дудку гильзы и ловко стрѣлялъ на столъ. Потомъ заходили метранпажъ, корректоръ. Метранпажъ входилъ спокойно, независимо; онъ былъ удивителенъ по своей вѣжливости, молчаливости и непроницаемости; былъ необыкновенно худъ и сухъ, поцыгански черенъ волосомъ, лицомъ оливково-зеленъ, съ черными усиками и гробовыми тепельными губами, одѣтъ всегда съ крайней аккуратностью и чистоплотностью: черныя брючки, синяя блуза, большой

крахмальный воротникъ, лежавшій поверхъ ея ворота, — все блистало чистотой, новизной; я иногда разговаривалъ съ нимъ въ типографіи: тогда онъ нарушалъ свою молчаливость, ровно и пристально смотрѣлъ мнѣ въ глаза своими темными глазами и говорилъ, какъ заведенный, не повышая голоса и всегда одно и то же: о несправедливости, царящей въ мірѣ, — всюду, вездѣ, во всемъ». Вотъ зимняя поѣздка Арсеньева, — «коренникъ точно на одномъ мѣстѣ трясеть дугой», и «неподвижно бѣлѣетъ низкая, мутная съ морозу луна, широко и мистически-печально охваченная радужно-туманнымъ кольцомъ». Вотъ церковный сторожъ: «онъ еле таскаетъ разбитыя ноги, въ одномъ мѣстѣ поправляя наклонившуюся и слишкомъ жарко тающую свѣчу, въ другомъ дуетъ на догорающую, распространяя запахъ гари и воска, потомъ тиская ее въ старческомъ кулакѣ въ одинъ вострой комокъ съ прочими огарками, — и видно, какъ глубоко надоѣло ему все это наше непонятное земное существованіе и всѣ таинства его»... Вотъ маленькая сценка въ парикмахерской: «Парикмахеръ зашилъ душитымъ пульверизаторомъ, легонько похлопалъ по мокрымъ щекамъ нетопыря салфеткой. — Пожалуйте-сь, — сказалъ онъ четко, раскидывая базахонъ. И нетопырь всталъ и оказался довольно страшень: черепъ угастый, большой, лицо худое и широкое, красно-сафьянное, глаза послѣ бритья младенчески блестящи, дыра рта черна, а самъ низокъ, плечистъ, туловище короткое, паучиной, ноги тонки и по-татарски, по-наѣзднически кривы. Сунувъ парикмахеру на-чай, онъ надѣлъ отличное черное пальто и котелокъ, закурилъ сигару и вышелъ. Парикмахеръ обратился ко мнѣ: — Знаете, кто это? Первѣйшій богачъ, купецъ Ермаковъ. Знаете, сколько онъ всегда даетъ на-чай? Вотъ-сь. Онъ раскрылъ ладонь и, весело смѣясь, показалъ: — Ровно двѣ копѣйки!»

Лучше писать просто невозможно. Я сказалъ бы, что изъ совокупности этихъ шедевровъ изобразительнаго искусства создается удивительная картина Россіи того времени. Но знаю, что этой цѣли авторъ себѣ не ставилъ. Бунинъ разсказалъ «исторію одной любви», — какъ разсказалъ! Съ какой свѣжестью чувства, съ какой нѣжностью, съ какой поэзіей! Очень много писателей въ мірѣ всячески стараются лишить поэтическаго обаянія то, что, казалось бы, исполонъ нѣжковъ для такого обаянія предназначалось. Бунинъ творить поэзію изъ всего, о чемъ бы онъ ни писалъ.

Эта книга показываетъ, что для большого художника нѣтъ использованныхъ темъ: есть вѣчныя темы. Существуют ли тутъ общія правила? Намъ извѣстны превосходныя созданія искусства, написанныя на темы новыя. «Актуальныя». Въ русской литературѣ «Воскресеніе» «актуально», какъ и многое другое у Толстого, какъ очень многое у Достоевскаго, у Чехова, какъ почти все галливое у Тургенева. Въ «Лики» актуальнаго нѣтъ ничего. Бунинъ пишетъ не о новомъ, не о старомъ, а о вѣчномъ. Можно было бы сказать, что самой жизнью автора дана такъ называемая «нить» фабулы (охъ, ужъ эта нить, даже если она и не «красная»). Нѣкоторыя мысли «Лики» (хо-

ти бы мысли о театрѣ и артистахъ на стр. 46-8) Арсеньевъ не могъ бы высказать, если-бы не сидѣлъ въ немъ будущій Бунинъ, — да и при этой оговоркѣ онъ у столь молодого человѣка удивителен. Однако отождествлять автора съ Арсеньевымъ не приходится. Фабула просто Буину не нужна, — ему одному изъ очень немногихъ въ современной литературѣ.

По своему, очень по своему, и заключаетъ авторъ книгу, хоть кончается она цитатой. Есть въ ней и вопросъ, и утверженіе (непріятны книжныя слова, — что-жъ дѣлать?). Но вся эта чудесная книга по существу дѣлаетъ еще болѣе горькимъ и скорбнымъ тотъ вѣчный вопросъ, который остается и за «утверженіемъ».

М. Алдановъ.

М. А. Алдановъ. Начало конца. Изд. «Русскія Записки». 1939 г.

Передъ нами только первая часть новаго романа Алданова. Полностью его замыселъ раскроется только, когда онъ будетъ законченъ. Мы ограничимся поэтому пока лишь только нѣсколькими бѣлыми замѣчаніями о немъ. Алдановъ давно уже отъ исторіи перешелъ къ современности, къ недавнему прошлому. О немъ, о предвоенныхъ годахъ, о самой войнѣ писали многіе беллетристы (хотя бы Мартенъ дю Гаръ, или Жюль Ромэнъ). Но никто еще не писалъ въ художественномъ произведеніи о вчерашнемъ, почти о сегодняшнемъ, а иногда, кажется, даже о завтрашнемъ днѣ. Рѣшиться на это было большой смѣлостью. Автора подстерегали упреки въ погонѣ за новизной, въ газетной злободневности. Здѣсь былъ несомнѣнный рискъ, на который Алдановъ пошелъ, и его ждала удача.

Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не рискованно вывести въ романѣ советскаго полпреда и его окруженіе, командарма изъ военныхъ стараго режима, члена коммунистическаго Интернационала? Изобразить пріемъ советскаго посольства въ одномъ изъ королевскихъ дворцовъ, объѣдъ, даваемый полпредомъ знатнымъ иностранцамъ въ парижскомъ ресторанѣ, первыя впечатлѣнія молоденькой советской секретарши въ Парижѣ, ужинъ командарма въ кафѣ Куполь? Алданова прежде всего спасло то, что онъ подошелъ ко всему этому какъ строгій художникъ, ни въ чемъ не измѣнившій своей «художнической совѣсти», оставшіяся вѣрнымъ самому себѣ. То, что это такъ, — ясно каждому читателю и, можетъ быть, особенно ясно потому, что всюду и въ романахъ историческихъ, и въ романахъ о современности и въ этомъ романѣ его манера письма, его методы и пріемы, по существу, хотя и утончаясь отъ книги къ книгѣ, остались все тѣ же. Критика уже отмѣчала, что къ современности Алдановъ подошелъ отчасти какъ историческій романистъ. Мало того, связанные единствомъ личности ихъ автора его герои имѣютъ порой нѣчто схожее между собой, извѣстный *air de famille*. Вислиценусъ немного похожъ на Робеспьера, Кангаровъ на Кременецкаго, Тамаринъ на Яшен-

ко. Это тоже смягчаетъ необычность и неожиданность этой книги и ея темы. Но спасаетъ Алданова не только это, не только то обстоятельство, что новая книга свободно и по праву входитъ въ серію его книгъ. Въ ней, пожалуй, еще сосредоточеннѣе и глубже чѣмъ прежде выразилось то горькое чувство странности человѣческой жизни, тщеты и жалкой суетности ея, чувство, которое въ сущности и придаетъ книгамъ Алданова ихъ единственный, неповторимый колоритъ. Въ этой книгѣ это чувство, никогда не покидавшее Алданова, еще осложняется чувствомъ близящагося и неизбежнаго распада и уничтоженія, тѣмъ, что авторъ выразилъ словами заглавія, «начало конца». Эта вещь, читающаяся съ неослабвающимъ увлеченіемъ, одна изъ самыхъ захватывающихъ книгъ Алданова, — написана не для развлеченія читателя, а чтобы сказать ему, что и онъ и всѣ мы, весь міръ, вся наша культура обречены и находятся наканунѣ гибели!

Выразителемъ этой теоріи о скорой гибели міра является въ романѣ старый французскій писатель Вермандуа, едва ли не «proté ragole» самого автора. «Ему показалось, что къ концу идетъ вся цивилизация. Будетъ, вѣроятно, новая, но дрянная, еще неизмѣримо болѣе скверная, чѣмъ нынѣшняя. Если же этой новой цивилизаціи не будетъ, то развѣ лишь потому, что наука обо всемъ позаботится и дастъ дикарямъ возможность уничтожить рѣшительно все, въ томъ числѣ и самихъ себя...» — такъ думалъ Вермандуа и то же самое, но болѣе углубленно, въ тонѣ блестящей застольной бесѣды, подробно развиваетъ онъ за обѣдомъ у совѣтскаго посла. Приводя библейскія цитаты изъ Исаяи и другихъ пророковъ, онъ говоритъ: «нѣтъ злободневнѣе публицистовъ, чѣмъ библейскіе пророки: вѣдь это написано точно о нынѣшнемъ днѣ». Не будемъ сравнивать Алданова съ этими «злободневными публицистами». Но и его «злободневность» достаточно насыщена горечью и болью, чтобы быть оправданной и искупленной.

Можетъ быть, самыя сильныя страницы книги — не эти разсужденія Вермандуа, а переживанія члена Коминтерна Вислиценуса. Страницы о посѣщеніи имъ въ Парижѣ тѣхъ мѣсть, гдѣ онъ жилъ когда-то въ молодости вмѣстѣ съ Ленинымъ — незабываемы. Вислиценусъ переживаетъ не «конецъ міра», не гибель цивилизаціи, а только провалъ большевистскаго опыта. Но это для него (да, можетъ быть, и не только для него) то же самое. Онъ еще хватается за соломенку надежды: «надо довести дѣло до конца и довести его до конца скоро... Какъ ни ужасенъ нашъ опытъ, его надо распространить на весь міръ... затяжка... поведетъ за собою моральную гибель человѣчества». Но онъ понимаетъ, что большевизмъ пришилъ «моральный сифилисъ человѣчеству», хотя и утѣшаетъ себя надеждой, что этотъ сифилисъ не наследствененъ. «Опытъ произведенъ. Оказалось, что человѣческая душа не выдерживаетъ того предѣльнаго гнета, которому мы ее подвергли, — подъ столь безграничнымъ давленіемъ люди превращаются въ слизи. Мы разлагали ихъ во имя социалистическаго идеала, они разложились просто». Разочарованіе въ дѣлѣ, которому онъ служилъ всю жизнь, неизбежно должно при-

вести Вислищенуса къ насильственному концу раньше даже, чѣмъ безнадежная болѣзнь приведетъ его къ концу естественному. Намеки на это есть въ романѣ. Эти страницы книги достигаютъ совершенно исключительной силы и напряженія.

М. Цетлинь.

Антонинъ Ладинскій. Голубь надъ Понтомъ. Таллинъ. 1938.

Юбилейный, или полуюбилейный, годъ 950-лѣтія со дня крещенія Руси принесъ намъ вмѣсто историческихъ изслѣдованій — историческій романъ, въ которомъ князю Владимиру удѣлено почетное мѣсто. Вѣроятно, это первый романъ о кн. Владимирѣ — во всякомъ случаѣ, единственный, который останется. А оѣ, несомнѣнно, останется и войдетъ въ русскую воспитательную національно-историческую библиотеку.

Романъ о кн. Владимирѣ — изъ эпохи, отъ которой намъ ничего не осталось, кромѣ легендъ, — кажется дерзкимъ предпріятіемъ. Авторъ съ большимъ тактомъ разрѣшилъ свою задачу. Онъ подошелъ къ загадочной варяго-славянской Руси отъ Византіи, и описываетъ событія въ Херсонесѣ и на Днѣпрѣ словами патріота-romeя, ихъ очевидца и участника. Не Русь, а Византія заполняетъ главное поле романа, и о побѣдахъ Владимира рассказываетъ намъ его врагъ и соперникъ, Ираклій Метафрастъ, влюбленный въ царевну Анну. Этотъ приемъ даетъ автору право смѣло набросать портретъ грубаго варварскаго вождя, не смятая жестокихъ красокъ, и въ то же время дать почувствовать будущій образъ, если не святого, то свѣтлаго князя, сливающегося для насъ съ образомъ Россіи. Византія дана съ необычайнымъ богатствомъ археологическихъ деталей. Отъ императорскаго дворца до рынка и лупанара, — съ главнымъ вниманіемъ на военно-морскомъ бытѣ. Можетъ быть, специалистъ найдетъ кое-какія неточности въ обиліи всѣхъ этихъ историческихъ деталей. Не будучи византинистомъ, я не могу ихъ указать. Нельзя не удивляться лишь тому, что археологическій грузъ не давитъ романа, почти лишеннаго фабулы въ обычномъ смыслѣ слова. Мы читаемъ его съ глубокимъ вниманіемъ, переживая въ немъ нашу собственную трагедію — трагедію культуры.

Ладинскій подошелъ къ Византіи съ тѣмъ же основнымъ интересомъ, съ какимъ онъ изучалъ Римъ III вѣка. Для него это историческія отраженія нашего жестокаго времени, съ основной темой: гибель Запада, или, точнѣе, мужественная борьба за послѣдніе дни жизни великой, но уже пережившей себя культуры. «Стихи о Европѣ» — вѣроятно, лучшее изъ всего, что написалъ Ладинскій, — даютъ ключъ къ его историческимъ романамъ. Они пронизаны острымъ романтизмомъ умирающаго Рима, неотразимымъ для людей до-военнаго поколѣнія, но совершенно несозвучнымъ нашему времени. Созвученъ ли онъ Византіи X вѣка? Въ этомъ главный вопросъ историка поэту. Возстановить вполне убѣдительно лицо Византіи за всей внѣшней оболочкой ея культуры — задача нелегкая, доселѣ никѣмъ

не испробованная. Ладнскій волеяъ предложить свою интерпретацію: Византия — это Римъ, запоздавшій со своею смертью на тысячелѣтіе. Но признаться, мнѣ плохо вѣрится въ такіа длительныя перекииванія. Византия представляется скорѣе типомъ окончательно нашедшей себя, въ себѣ до конца увѣренной, самодовлѣющей культуры. Въ ея тяжеломъ великолѣпнн, въ абсолютной ортодоксальности какъ будто вовсе нѣтъ мѣста романтизму. Не случайно она не оставила намъ ни одного поэта. Даже ея литургическая поэзіа закончилась къ X вѣку — эпохѣ ея апогея. Ея искусство, — особенно иконописное — непрерываемо. Но есть ли въ немъ хоть капля романтизма или душевности? Я сомнѣваюсь. Сравненіе съ утонченной культурой Китая напрашивается само собою.

Иракліи Метафрастъ — римлянинъ IV вѣка, заблудившійся въ X-омъ, — или, что одно и то же, поэтъ XX вѣка, перенесшій себя въ вѣкъ македонской династіи. Въ концѣ концовъ, это право поэта. Но поэтъ чувствуетъ себя воиномъ. Для него нѣтъ образа болѣе волнующаго, чѣмъ вѣковые дубы въ степяхъ — все равно Панионіи или Скиеи. Съ гибелью Византии онъ примиряется, глядя на бревенчатыя стѣны Кіева. Торжествующее варварство несетъ для него не одну тоску, а образъ встающей Россіи. И мы чувствуемъ: въ гибели нашей Европы для него не все потеряно. Образъ грядущей Россіи утѣшаетъ его мужественную и нѣжную музу.

Г. Федотовъ.

Ирина Одоевцева. Зеркало. Романъ. Изд. Petropolis (Bruxelles).

Новый романъ И. Одоевцевой представляетъ собою безусловно шагъ впередъ на ея творческомъ пути. Послѣ «Ангела Смерти», произведенія удачнаго для начинающаго писателя, И. Одоевцева во второй своей книгѣ («Изоляда») нѣсколько померкла; сейчасъ, своимъ третьимъ романомъ «Зеркало» она выходитъ на первыя мѣста молодой эмигрантской литературы.

Оспонная тема «Зеркала» — любовь. Люка уходитъ отъ своего мужа къ знаменитому кино-режиссеру Ривуару, который «сіяетъ споей электрической улыбкой». Эта «электрическая улыбка», въ разныхъ формахъ проходящая черезъ каждую главу романа, могла бы очень раздражать, если-бы не вся атмосфера книги — синема, студія, рестораны, салонъ-вагоны, дансинги и пр., — оправдывающая такіе образы и эффекты. Въ этомъ собственно вся необычность книги. Все, что происходитъ въ романѣ, происходитъ какъ въ зеркалѣ; мы, читатели, смотримъ въ ровню отполированный кусокъ зеркала и видимъ: край неба, вокзалъ, людей, гостиницу, Люку въ ваннѣ, въ постели, въ студіи.

Обычный путь искусства: нашу амеренцію, то, что преломляетъ нашъ «кристалликъ», повторить, воспроизвести въ книгѣ, полотнѣ, музыкѣ, перенести туда жизнь (или одинъ изъ ея аспектовъ). И. Одоевцева продѣлываетъ какъ разъ обратное; она выкачиваетъ весь жизненный воздухъ, истребляетъ всякое послѣдіе реальности изъ своего

произведенія, она строитъ «Зеркало», гдѣ въ одномъ планѣ, вдвойнѣ удаленные отъ насъ, движутся, скользятъ, страдаютъ силуэты, залитые «электрическимъ сіяніемъ». Подчасъ эти искусственныя, стеклянные улыбки, цвѣта и запахи даже удручаютъ, но это сдѣлано искусно, авторъ самъ назвалъ свое произведеніе **Зеркаломъ**: онъ именно этого хотѣлъ. И надо признать; то, что было имъ задумано, выполнено отлично.

Ривуаръ смотритъ, какъ играетъ Люка и рѣшаетъ: бездарна. Онъ ее прогоняетъ отъ себя. Люка умираетъ, трогательно, какъ въ Тра-віатѣ; тутъ планы перепутаны, ибо въ томъ фильмѣ, что они «крутили», Люка тоже умираетъ: крылатымъ, хрупкимъ ангеломъ возносится на небо. Послѣ самоубійства Люки, Ривуаръ смотритъ этотъ фильмъ, видитъ крылатую Люку, понимаетъ вдругъ, что онъ ее любилъ и любитъ; въ результатъ — второе самоубійство: Ривуара. Мелодрама? Можетъ быть. Но сдѣлано это такъ, что къ концу испытываешь подлинное волненіе, и это несмотря на всю раздражающую искусственность изобразительныхъ средствъ.

В. Мирный.

Арсеній Формаковъ. Фаина. Романъ. Рига.

Арсеній Формаковъ съ латвійскимъ паспортомъ съѣздитъ въ Москву и Ленинградъ. Естественно, ему захотѣлось записать свои впечатлѣнія. Если бы онъ это сдѣлалъ безъ всякихъ беллетристическихъ ухищреній (почему — романъ?) и безъ многочисленныхъ рѣзкованыхъ иллюстрацій собственнаго сочиненія, мы бы были ему благодарны за этотъ трудъ. Ибо что можетъ быть для насъ, эмигрантовъ, интереснѣе этой темы? Уже одинъ перечень нѣкоторыхъ главъ возбуждаетъ нашъ интересъ: «Мѣсто смерти Пушкина», «Въ гостяхъ у Блока», «У Есенина», «Хамовники», «Реставрація Василя Блаженнаго». Арсеній Формаковъ поклонился праху Ленина; вотъ описаніе: «На Ленинѣ защитнаго цвѣта лопенькій френчъ съ орденомъ Краснаго Знамени на груди. Онъ кажется очень небольшимъ по росту и черзчуръ рыжимъ. Нѣтъ и характерной монгольской усмѣшки, обязательной на портретахъ, и потому лицо производитъ впечатлѣніе вполнѣ обыденнаго. Останавливаться нельзя. Только одинъ кѣвлянинъ поднимаетъ сыночка повыше и шепчетъ: — Смотри, вотъ дядя Ленинъ, за стеклышкомъ!.. — Это «дядя Ленинъ» — чудесная деталь. Къ сожалѣнію, такихъ мѣстъ въ «романѣ» немного.

В. С. М.

Борисъ Зайцевъ. Москва. 1939 годъ. Изд. «Русскія Записки».

Множество книгъ написано о времени совѣмъ близкомъ, но такъ стремительно ушедшемъ въ глубь исторіи, что объ этомъ прошломъ позволительно говорить въ формѣ сказа: «Жили-были»..

Описанную Зайцевымъ эпоху вспоминали въ мемуарахъ, біогра-

фильмъ, памфлетахъ, романахъ, повѣстяхъ, фельетонахъ: съ древнѣйшихъ временъ творчество всѣхъ плѣнныхъ и изгнанныхъ было осязано крыломъ богини памяти. И хотя въ книгѣ Зайцева описаны тѣ же событія, тѣ же люди, та же Москва, но звучитъ все это по иному. Дѣло не въ словесной ткани — легкой, безыскусственной, мѣстами чуть-чуть прѣсной, приближающейся къ самой границѣ банальнаго, но никогда этой границы не переступающей. Ткетъ ее писатель опытный, съ безошибочнымъ вкусомъ, въ простотѣ его нѣтъ нарочитости и сквозь прозрачность не видна потуга автора. Свообразие книги въ ея особомъ «зайцевскомъ» тонѣ. Ужасаясь бездѣльнымъ и бессмысленнымъ страданіямъ, скорбя о разрушеніи и гибели, Зайцевъ все же сумѣлъ взглянуть на все это съ какой-то благостойной и цѣлительной высоты. Онъ не оправдываетъ и многого не пріемлетъ. Но нѣтъ злобы въ его неприятии, нѣтъ отчаянія и черной безнадежности. Какъ ни глубоко — иногда нелерходимъ — разрывъ между прошлымъ и настоящимъ, какіе-то лучи идутъ издалека, минуя всѣ пропасти, проникая сквозь глухія стѣны. Что-то основное, непередаваемое словами связываетъ людей разныхъ поколѣній и разной жизни. Основная ткань не можетъ оборваться.

Воспоминанія Б. Зайцева рѣзко отличны отъ тысячъ подобныхъ, потому что независимо отъ воли или измѣреній автора одаряютъ читателя ощущеніемъ просвѣта: въ распадѣ и гибели необъяснимо чувствуется неизбежность воскресенія. Не совсѣмъ обычно для книгъ такого рода и содержаніе: нѣтъ широкихъ «евросероссийскихъ» или «планетарныхъ» обобщеній о войнѣ и революціи — авторъ остался въречь себѣ и своей темѣ — и описана имъ подлинная Москва, а не переживанія литераторовъ, литературнаго кружка или направленія, что обычно является крупнымъ недостаткомъ воспоминаній писателей. Былымъ литературнымъ теченіямъ и судьбѣ отдѣльныхъ писателей посвящена лишь треть книги и рассказано о нихъ такъ, что живая, многоликая Москва не только этимъ рассказомъ не заслоняется, но какъ то ладно и прочно сливается съ ихъ исканіями и съ ихъ жизнью — въ радости и бѣдѣ. Въ этой части блестяще удались автору характеристики Андреева, Айхенвальда и Брюсова.

Самое ощущеніе Москвы далеко отъ обычнаго шаблона. Проф. Кизеветтеръ лѣтъ 10 тому назадъ прочелъ въ Берлинѣ нѣсколько лекцій, посвященныхъ Москвѣ. По стилю, содержанію и почти пророческому пафосу — это лучшее изъ всего, что создано покойнымъ. Имъ была особенно затѣчена трагическая судьба Москвы, историческій рокъ надъ ней и той тиготьющей и ее иждѣляющей. Москва въ дыму и заревѣ татарскихъ набѣговъ, страшная Москва смутнаго времени и польскою «сидѣніемъ», горящая Москва 12-го года, Москва — символъ для всего міра жестокаго соціального опыта, коминтерна и Лубянки... Императорскій призрачный, нарочитый Петербургъ былъ исторически воплощеніемъ благополучія и спокойствія въ сравненіи съ Москвой. Тревожное ощущеніе Москвы было и у не менѣе ее любившаго Чехова. Въ повѣсти «Три года», написанной 45 лѣтъ тому на-

завдъ, Ярцевъ, говоря о своей любви къ Москвѣ, неожиданно добавляетъ: «Москва — это городъ, которому придется еще много страдать». Чувствомъ беспокойной, мятущейся «исторической» Москвы окрашена вся книга Б. Зайцева.

Для пореволюціонныхъ настроеній очень характерна своеобразная переоцѣнка Италиі: «Не забудешь Италиі и не разлюбишь ее. Но нельзя ужъ забыть «человѣка», его скорбнаго взора, его преступлений и бѣдъ, крестнаго его пути... У меня есть своя правда. Ни вамъ, да и никому вообще я ее не отдамъ...»

Съ какой жадностью будутъ всматриваться въ правдивыя, легкія, пронизанныя свѣтомъ зарисовки очевидца Бориса Зайцева будущія поколѣнія москвичей. Прекрасная книга.

С. Савельевъ.

В. Ф. Ходасевичъ. Некрополь. — Изд. Петрополисъ. Брюссель.

Книга эта — собраніе воспоминаній о писателяхъ, нынѣ покойныхъ, знаменитыхъ и незнаменитыхъ, которыхъ авторъ лично зналъ: о Нинѣ Петровской, о Брюсовѣ, о Бѣломъ, о Муні (С. В. Киссинѣ), о Гумилевѣ и Блокѣ, о Гершензонѣ, о Сологубѣ, о Есенинѣ, о Горькомъ. Впрочемъ, обо всѣхъ нихъ говорится тутъ не какъ о писателяхъ, а какъ о людяхъ, хотя по существу темы литературное не всегда можно было отдѣлить отъ жизненнаго и житейскаго. Лишь глава о Есенинѣ основана на истолкованіи его поэзіи больше, чѣмъ на непосредственныхъ впечатлѣніяхъ о его личности, но и въ этомъ случаѣ истолкованіе произведено не съ литературной, а съ біографической точки зрѣнія. Для жизнеописанія и характеристики тѣхъ, о комъ онъ пишетъ, Ходасевичъ даетъ матеріалъ первостепенной важности. Ни одинъ будущій біографъ Брюсова, Бѣлаго или Горькаго безъ его книги не сможетъ обойтись. Но, конечно, не въ одномъ этомъ ея значеніе и интересъ, и величайшей несправедливостью было бы о ней сказать, что она всего лишь сборникъ матеріаловъ.

Прежде всего, въ ней есть единство; это не просто, подъ одной обложкой, девять отдѣльныхъ очерковъ. Можно сказать даже, что ей присущи всѣ три единства, обязательныхъ для классической трагедіи: мѣста (литературная и интеллигентская Россія), времени (предгрозовое затихше и первыя молвіи разразившейся грозы), дѣйствія (чисто-духовнаго, но предвѣщающаго революцію или сопутствующаго ей). Глава о Есенинѣ очень пригодится историку мечтаній о мужицкой революціи и крестьянской Россіи. Глава о Горькомъ даетъ ключъ къ пониманію политической психологіи Горькаго. И ужъ конечно нѣтъ ничего, что позволяло бы точнѣе представить себѣ душевную и жизненную основу русскаго символизма, чѣмъ главы, посвященные Нинѣ Петровской («Конецъ Ренаты»), Муні, Брюсову и Бѣлому.

«Мы живи въ реальномъ мірѣ — и въ то же время въ какомъ-то особомъ, туманномъ и сложномъ его отраженіи, гдѣ все было «то, да не то». Каждая вещь, каждый шагъ, каждый жестъ какъ бы отражался условно, проектировался въ иной плоскости, на близкомъ, но неосвяза-

своим экраном. Явления становились видными. Каждое событие, сверх своего явного смысла, еще обрѣтало второй, который надобно было расшифровать. Онъ не легко давался, но мы знали, что именно онъ и есть настоящий. Это воспоминаніе о жизни «въ двухъ мірахъ» связано съ памятью друга молодости, Муня; но развѣ не даетъ оно вдохнуть самый воздухъ, которымъ дышала русскій символизмъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ не рисуетъ ли оно тотъ коконъ, изъ котораго вылучились впоследствии стихи «Тяжелой лиры», да и вся вообще зрѣлая лирика Ходасевича? Такъ переплетено въ его книгѣ личное съ тѣмъ, что принадлежитъ друзьямъ, времени, Россіи. Въ этомъ и очарованіе ея, уже не какъ «памятника эпохи», а какъ художественнаго произведенія.

Несмотря на свое заглавіе, на кладбище она не похожа; это не городъ мертвыхъ, а селеніе живыхъ. Живыми показаны всѣ, кто въ ней изображенъ; съ одинаковымъ искусствомъ обрисована духовная среда, къ которой они принадлежатъ и сами они, какъ живыя лица. Всего лучше, т. е. творчески сильнѣй, Ходасевичъ изобразилъ тѣхъ, кого не только зналъ, но и любилъ: Муня, Гершензона, Бѣлаго, Горькаго. Прикрасть ему не понадобилось и для нихъ. По искусству характеристики и мастерству описанія, по силѣ и зоркости нравственной оцѣнки, портретъ Горькаго навѣрное лучший въ книгѣ. Но въ ней радуешь отъ начала до конца, въ любой страницѣ, неподкупная правда и необольстимый умъ.

В. Вейдле.

Walter Schubart. Europa und die Seele des Ostens. (Vita Nova Verlag, Luzern). — Nadejda Gorodetzky. The Humiliated Christ in Modern Russian Thought (S.P.C.K., London). — Nicolas Berdiaev. Les sources et le sens du communisme russe (Gallimard, Paris).

Всѣ три книги эти — нѣмецкая, англійская и французская — посвящены важнѣйшимъ вопросамъ русской духовной жизни, главнымъ образомъ въ той ея наиболѣе зрѣлой и можно сказать рѣшающей формѣ, какую она приняла въ минувшемъ столѣтіи. Всѣ три предназначены въ первую очередь для не-русскаго читателя, но и русскаго не могутъ не заинтересовать. Двѣ написаны русскими авторами, третья нѣмецкѣ, но хорошо знающимъ Россію и русскій языкъ. Сама одновременность ихъ появленія кажется неслучайной, такъ какъ подчеркиваетъ ихъ внутреннюю связь и единство того образа Россіи, который, при всѣхъ индивидуальных отбѣнкахъ, онѣ рисуютъ сходными чертами и который, можно надѣяться, отбѣчаетъ истинѣ.

Вальтеръ Шубартъ живетъ въ Ригѣ (если не ошибаюсь онъ — профессоръ Рижскаго университета), его книга издана въ Люцернѣ; въ современной Германіи она бы появилась не могла, — и не только потому, что ея авторъ явно не сочувствуетъ ни теоріи расизма, ни идеѣ тоталитарнаго государства, но и потому, что онъ категорически предпочитаетъ европейскій востокъ европейскому западу и выразительницей худшаго, что есть на этомъ западѣ, считаетъ какъ

разъ Германію въ той ея исторической традиціи, что создала нынѣшній національный обликъ нѣмецкаго народа. Лучшія страницы его книги именно тѣ, что вдохновлены борьбой съ этимъ, какъ онъ его называетъ, нѣмецкимъ «Sachmenschentum», т. е. подчиненіемъ чело-вѣка вещамъ и внѣположнымъ по отношенію къ его личности дѣ-лямъ, а также тѣ, гдѣ въ порядкѣ этой борьбы онъ указываетъ на противоположную концепцію, справедливо считаемую имъ едва ли не главной основой русскаго національнаго характера. Задачи кни-ги, однако, гораздо шире, чѣмъ можетъ простираться анализъ этого контраста. Для автора, «Востокъ» это Россія, которую онъ, вполне усвоивъ и даже, пожалуй, и обостривъ идущую отъ славянофиловъ мессіанскую традицію, противопоставляетъ гибнущему Западу и счита-етъ единственной возможной его наслѣдницей, а значить и спаси-тельницей христіанской культуры вообще. Кое-что въ рисуемой имъ картинѣ набросано слишкомъ ужъ широкой кистью, и если «душа Востока» ни что иное, какъ русская душа, то едва ли слѣдовало такъ часто цитировать китайскихъ мудрецовъ, рискуя растворить русское въ неопредѣленно-азиатскомъ. Цѣнность книги, однако, несомнѣнна, ибо она не просто излагаетъ, въ слегка обобщенной формѣ, хорошо извѣстную намъ идеологию, русскаго происхожденія, но свидѣтель-ствуетъ о личномъ духовномъ опытѣ и о личномъ отношеніи къ ка-ждому изъ затронутыхъ въ ней вопросовъ. Многія наблюденія ав-тора — о русскомъ чувствѣ братства, о связи освободы со свободой, о сходствѣ Россіи и Испаніи — самостоятельны, многія формулиров-ки остроумны, и вся книга его проникнута подкупающей сердеч-ностью и страстностью.

Работу Н. Д. Городецкой надо разсматривать прежде всего какъ обширное и тщательное собраніе матеріаловъ, — цѣнное отнюдь не для одного только иностраннаго читателя, — на тему чрезвычайно важную для пониманія Россіи и русской литературы, но которую у насъ, въ планѣ описательномъ и историческомъ, не разрабатывалъ еще никто. Идею кенозиса, образъ уничиженнаго Христа авторъ про-слѣживаетъ отнюдь не въ одной только богословской наукѣ или ду-ховной письменности, — этой задачѣ посвящены лишь послѣднія двѣ главы книги, первыя же три носятъ заглавія: «Принятіе уничиженія, какъ національнаго идеала», «Идеаль святости у русскихъ писателей» и «Христіанскія черты революціоннаго движенія». Отсюда видно на-сколько широкой полагаетъ авторъ сферу распространенія того, что можно назвать кенотическими представленіями и чувствами. Тѣ стра-ницы, на которыя онъ ссылается у Некрасова и Тютчева, у Достоев-скаго и Лѣскова, у Толстого и Тургенева, всѣмъ знакомы (чего не-льзя въ той же мѣрѣ сказать о примѣрахъ заимствованныхъ у Слѣп-цова, Левитова и Златовратскаго), но уже то, что онѣ собраны во-едино, позволяетъ отчетливѣй видѣть и правильнѣй о нихъ судить. Отъ этихъ стихійныхъ проявленій чего-то вродѣ національнаго ин-стинкта тѣмъ интереснѣе переходъ къ болѣе доктринальнымъ фор-мулировкамъ у св. Тихона Задонскаго, у Бударева, у Тарѣева, у о. Сергія Булгакова. Авторъ быть можетъ недостаточно освѣтилъ всю

сложную диалектику своей темы, не показала всего, что соотносительно съ мотивомъ уничтоженія въ русской мысли и въ русскомъ чувствѣ жизни, но этого онъ сдѣлать и не могъ: передъ нимъ была работа пюнера, а не завершителя; для расчистки пути дальнѣйшему изслѣдованію и размышленію, онъ сдѣлалъ во всякомъ случаѣ очень много.

Книга Н. А. Бердяева излагаетъ исторію русскаго коммунизма, какъ національнаго явленія, въ широкой рамкѣ исторіи русской социальной мысли и общественныхъ теченій, начиная съ образованія интеллигенціи и раскола западниковъ и славянофиловъ. Тема ея не коммунизмъ, какъ таковой, и не источники русской революціи, какъ конкретнаго историческаго событія, а то въ коммунизмѣ, что отвѣчало извѣстнымъ чертамъ русской мысли и русскаго характера, и то въ духовной исторіи Россіи XIX вѣка, что открывало дорогу коммунистической революціи. Въ ея центрѣ не коммунизмъ, а Россія и та ея «особенная статья», которую — не безъ вліянія Н. А. Бердяева — старались разгадать и авторы двухъ книгъ, о которыхъ только что была рѣчь. Особенно интересной, съ этой точки зрѣнія, намъ показалась глава о марксизмѣ классическомъ и марксизмѣ русскомъ, а также страницы, посвященныя Ткачеву и Желязову. Бердяевъ не историкъ, а философъ, и всю его книгу проникаютъ обще-философскія и социально-философскія концепціи, которыя могутъ вызвать критику, но критиковать которыя умѣстно лишь въ связи съ болѣе глубокими ихъ предпосылками, о которыхъ въ данной книгѣ рѣчи нѣтъ. Однако съ чисто-исторической стороны книга построена превосходно и всѣ идейныя нити, затронутыя въ ней, прослѣжены съ неукоснительнымъ вниманіемъ и ясностью. Жаль, что переводъ ея не безупреченъ. Слѣдуетъ пожелать, чтобы былъ опубликованъ ея русскій текстъ.

В. Вейдле.

Прот. С. Четвериковъ. Молдавскій старецъ Паисій Величковскій. Вып. I и II. Стр. 135 и 125. Petseri, 1938.

Новая книга прот. С. Четверикова, извѣстнаго знатока и изслѣдователя русскаго старчества, появилась нѣсколько лѣтъ назадъ на румынскомъ языкѣ и только сейчасъ вышла въ русскомъ изданіи — къ сожалѣнію, въ сильно сокращенномъ видѣ. Книга прот. С. Четверикова посвящена виднѣйшему дѣятелю въ духовномъ русскомъ возрожденіи XVIII и XIX в. — старцу Паисію Величковскому и является чрезвычайно цѣннымъ вкладомъ въ исторію русской Церкви. Въ первой части превосходно обрисованъ старецъ Паисій, вторая же часть даетъ исключительно цѣнный, во многомъ совершенно новый обзоръ многочисленныхъ вліяній старца Паисія на русскіе монастыри. Нельзя только не пожалѣть, что въ русскомъ изданіи выпали указанія из источника. — это во многомъ умаляетъ его значеніе.

Книга прот. С. Четверикова написана очень легко и живо и прекрасно вводитъ читателя въ русскій церковный бытъ и духовныя исканія XVIII в.

В. В. З.

Объ одной книжкѣ.

Германецъ, если онъ «наци», можетъ не возбуждать въ насъ никакихъ особенныхъ чувствъ. Другое дѣло, когда такимъ «националистомъ» становится русскій, постепенно вбирая въ себя характерныя черты известной «идеологiи». Заранѣе можно сказать, что это человѣкъ или вообще не способный относиться съ пониманiемъ и уваженiемъ къ русскимъ культурнымъ цѣнностямъ, или потерявшій эту способность. Эти цѣнности — явленiя и люди — годятся ему лишь для того, чтобы «использовать» то или другое имя, искаживъ образъ человѣка, его носившаго.

Примѣръ такого использования — берлинская тоненькая книжка «Розановъ въ послѣднiе годы» неизвѣстнаго русскаго автора. Задача ясна: показать, что «Розановъ — нашъ!», такъ какъ былъ яростнымъ «антисемитомъ» и «православнымъ».

Съ авторомъ я, конечно, разговаривать не буду. Но хочу обратиться къ тѣмъ, кому книжка попадетъ въ руки и кто Розанова, можетъ быть, мало знаютъ (кто нынче — что знаетъ!). Не защитите Розанова передъ ними хочу я, а скорѣе ихъ защитить отъ искаженнаго образа одного изъ гениальныхъ нашихъ писателей, притомъ исключительно своеобразнаго. Я, конечно, понимаю, что о такомъ сложномъ явленiи, какъ Розановъ въ нѣсколькихъ строкахъ не расскажешь. Ограничусь, поэтому, самымъ главнымъ, безъ чего къ Розанову подойти нельзя, и что надо помнить: это былъ человѣкъ величайшихъ и самыхъ рѣдкихъ внутреннихъ антиномiй («ноуменальныхъ», какъ онъ онъ говорилъ). А при томъ необходимо еще знать, что писанье у него было не писательствомъ, а, по его выраженiю, функцией, какъ бы дыханьемъ, «выговариванiемъ» полноты ощущенья каждой своей минуты. Такъ онъ самъ опредѣлялъ; и потому «стиль» его (если это стиль) воистину не подражаемъ: читаешь не разсужденiя писателя, а слышишь человѣчeskій голосъ. («Развѣ я разсуждаю? Я только плачу и смѣюсь».)

Если, при глубинѣ антиномичности, «выговаривается» у него каждая его минута, — не ясно ли, что ловкимъ подборомъ цитатъ можно сдѣлать изъ Розанова что угодно?

Вотъ еврейскiй вопросъ. Всю жизнь Розановъ ходилъ около евреевъ, какъ замороженный. Не забудемъ: весь онъ жилъ только Богомъ — и миромъ, Его плотью, Его теплотой. Въ еврейской религiи для Розанова такъ ощутительна была связь Бога съ плотью мира, съ поломъ, съ рожденiемъ, что евреи не могли его не влечь къ себѣ. Онъ былъ къ евреямъ «страстенъ»... часто пристрастенъ.

А Христось? Къ Личности Его онъ тоже былъ страстенъ. Тоже, какъ къ евреямъ, то прилипалъ — то отталкивался отъ Него. Онъ, казалось Розанову, обидѣлъ людей, отнял у мира его свѣтлость и теплоту. Выгналъ изъ дома въ стужу: иди, не оглядываясь, оставь жену, мать, дѣтей... Отсюда его христорборчество, книга «Темный Ликъ».

Церковь? Православие? Духовные отцы считали его «еретикомъ», иные «безбожникомъ», но относились къ нему съ благодушной пріязнью: онъ любилъ плоть Церкви (обряды), жена такая православная; самъ Розановъ, пророчески предсказавъ, что умереть «съ ними», добавилъ: «...конечно, духовенство мнѣ всѣхъ (сословій) милѣе... Но, среди нихъ умирая, я все-же умру съ какой то мукой о нихъ».

И вотъ мое послѣднее утвержденіе: Розановъ, какимъ всю жизнь былъ — такимъ и остался до смертной минуты. Внѣшнія катастрофы, и тяжкія личныя, и та общая, русская, которая и убила его, — только углубляли внутреннюю трагедію этой души. Для тѣхъ, кто вздумаетъ повѣрить, что если, молъ, Розановъ и былъ «когда-то» за евреевъ, то въ послѣдніе годы покаяться, измѣнился, перешелъ въ православіе и сталъ убѣжденнымъ гонителемъ евреевъ, — я приведу два свѣдѣтельства, два «выговариванья» его души:

«Услуги еврейскія, какъ гвозди въ руки мои, ласковость еврейская, какъ пламя обжигаетъ меня. Ибо пользуясь этими услугами, погибнетъ народъ мой, ибо обвиняемый этой ласковостью, задохнется народъ мой».

Не написано ли это послѣ «раскаянія», въ Лаврѣ? О, нѣтъ! До войны, въ самый разгаръ розановскаго «юдофильства», до Флоренскаго (умнаго и жестокаго лаврскаго священника, о немъ Розановъ сказалъ однажды: «въ немъ что-то ползучее...»). А что писалось-выговаривалось въ Лаврѣ, въ послѣдніе мѣсяцы жизни?

«Евреи — самый утонченный народъ въ Европѣ. Все европейское грубо, жестко по сравненію съ еврейскимъ... И вездѣ они несутъ благородную и святую идею «грѣха» (я плачу), безъ которой нѣтъ религіи... Они. Они. Они. Они... всунули въ руки пресловутому человѣчеству въ руки молитвенникъ: на, болванъ, помолись. Дали псалмы. И чудная Дѣва изъ евреекъ... Соціализмъ? Но вѣдь онъ выражаетъ мысль о братствѣ народовъ, и они въ него уперлись».

Что-же, перемѣнился Розановъ? Нѣтъ, онъ вѣрнѣ себя. Авторъ берлинской книжки не приводитъ, конечно, этой предсмертной цитаты. Ему нужна одна первая. Ему нуженъ Розановъ-юдофобъ; вѣрнѣе — нужна юдофобія, а повалось «имя», которымъ кое-какъ можно ее подпереть — тѣмъ лучше.

Порадуемся, что подобныя книги у насъ рѣдки. Слишкомъ все это чуждо не только розановской, но каждой русской душѣ.

Антонъ Крайній.

Annales de l'Institut Kondakov. (Seminarium Kondakovianum). IX, X. Praha, 1937, 1938.

Передъ нами два новыхъ выпуска «Семинарія». Одинъ изъ нихъ юбилейный, посвященный А. А. Васильеву. За 11 лѣтъ мы привыкли

къ этимъ замѣчательнымъ, и по внѣшности, и по содержанію, сборникамъ. Ограничимся, для недавно вышедшихъ, лишь наиболѣе интереснымъ для читателя-неспеціалиста.

Статьи Н. Е. Андреева и Д. Расовскаго являются продолженіемъ работъ, начатыхъ въ предыдущихъ сборникахъ. Статья Андреева посвящена реформѣ русской иконописи въ XVI-омъ столѣтіи. Авторъ связываетъ ее съ общекультурной обстановкой эпохи — съ совершавшейся тогда эволюціей Москвы во вселенское средоточіе православія и всерусскій политическій центръ. Всѣ мѣстные культурныя сокровища переносились теперь въ Москву и здѣсь, на соборахъ, утверждались какъ общенациональное достояніе. Иконописные сюжеты и трактовки переживаютъ ту же судьбу: мѣстное (въ данномъ случаѣ, по преимуществу, псковское) становилось русскимъ, московскимъ. Статьи Расовскаго устанавливаютъ на этотъ разъ границы средневѣковой «Команиі» — «одного изъ величайшихъ, по отзыву географа 13-го вѣка, государствъ когда-либо существовавшихъ на землѣ». Оно тянулось отъ Тянь-Шаня до Дуная, отъ средней Оки до Черного моря. Специально «Готамъ на Синемъ (Азовскомъ) морѣ» посвящена, въ 9-омъ сборникѣ, статья А. В. Соловьева. Этотъ мацеевскій крымскій отпрыскъ готскаго племени обнаружилъ здѣсь удивительную устойчивость своего народнаго типа: языкъ готовъ еще въ 16-омъ вѣкѣ былъ здѣсь живымъ, а этнической готскій типъ дожилъ до велико-россійскихъ временъ... Совсѣмъ иной оказалась, описанная въ статьѣ И. Дуйчева судьба дунайскихъ болгаръ. Подобно приволховскимъ и приднѣпровскимъ варягамъ, они въ теченіе какого-нибудь столѣтія утратили среди покоренныхъ ими славянскихъ племенъ и народность свою, и языкъ. Нѣмецкая статья В. Андреева о «сѣверномъ изобразительномъ искусствѣ» на добрую половину относится къ Rossica. Въ ней выдвинутъ замѣчательный фактъ свыше тысячелѣтняго (съ первыхъ вѣковъ нашей эры) господства среди финнскихъ, славянскихъ, сѣверо-германскихъ, тюркскихъ и монгольскихъ племенъ «Евразіи» занесенныхъ сюда скинами древне-персидскихъ вліяній. Какъ всегда богатъ въ сборникахъ византийскій отдѣлъ. Здѣсь привлекаютъ вниманіе англійская статья А. А. Васильева объ англо-саксонской иммиграціи въ Византію, нѣмецкая Ф. Долигера о византийскомъ легитимизмѣ, французская А. Грегуара о партійной ориентаціи императора Маврікія, Ф. Дворника о дѣлѣ патріарха Фотія, В. А. Мошина о поземельномъ холоствѣ, какъ институтѣ византийскаго земельного права... Особое, по темѣ, мѣсто занимаетъ въ послѣднемъ сборникѣ новая статья М. И. Ростовцева о расколкахъ въ Дура-Европосъ — единственномъ доселѣ, по выраженію автора, документальномъ ключѣ къ разумнѣйшимъ истокамъ великой эллинистической цивилизаціи, общей матери европейскихъ цивилизацій отъ римской и византийской до нашей велико-россійской включительно.

Ив. Херасковъ.

Владимірскій сборникъ въ память 950-лѣтія крещенія Руси. Бѣлградъ, 1939.

Сборникъ этотъ состоитъ изъ статей различныхъ категорій. Это, во-первыхъ, изслѣдованія по вопросамъ спеціальнаго свойства (Д. А. Расовскій, Русь и кочевники въ эпоху св. Вл.; проф. Розовъ, Личность Вл. Св. въ русск. литературѣ, проф. Федотовъ, Канонизація св. Вл.; И. Н. Окунева, Изображенія св. Вл.; проф. Соловьева, Вл. Св. въ изображеніи польскаго историка XVI в.; К. Н. Николаевъ, Памятники эпохи св. Вл. на Вольни; А. А. Никольскій, Начало храмостроительства на Руси). Во-вторыхъ, статьи болѣе общаго историческаго характера, проливающія свѣтъ на пути проникновенія христіанства въ Россію, на связь между религіознымъ и политическимъ развитіемъ Кіевской Руси, а вмѣстѣ съ тѣмъ и на ея мѣсто въ тогдшнемъ христіанскомъ мірѣ. Такъ, напр., проф. Острогорскій (Вл. Св. и Византія) отмѣчаетъ, какое значеніе имѣлъ для Византіи X в. союзъ съ Кіевской Русью; русско-варяжскія дружины оказывали военную помощь византійскимъ царямъ; этимъ объясняется тотъ исключительный шагъ, на который рѣшился царь Василій II — выдать замужъ за «варвара»-Владимира свою сестру. Въ статьѣ проф. Грабара (Крещеніе Руси въ ист. Искусства) процессъ проникновенія христіанскаго искусства въ Россію (гл. об. византійскаго, а также отчасти и Западнаго) прослѣживетъ, какъ одинъ изъ аспектовъ общаго процесса храмостроительства, съ особенной силой развивающагося во всемъ христіанскомъ мірѣ съ XI в., въ связи съ религіознымъ подъемомъ и съ усиленіемъ миссіонерской дѣятельности. (Чрезвычайно цѣнныя его замѣчанія о различіи пониманія религіозной функціи искусства у латинскихъ и вост.-православныхъ миссіонеровъ той эпохи). Л. М. Сухотинъ («Брачные союзы ближайшихъ потомковъ св. км. Владимира») собралъ множество данныхъ объ этихъ союзахъ русскихъ князей и княженъ съ иноземными князьями и князьями, показавъ связь между тѣмъ, гдѣ въ той или иной моментъ русскія династіи искали для своихъ членовъ жениховъ и невестъ, съ различными ориентаціями той «оск», вокругъ которой складывалось первоначальное русское государство: сперва — с Сѣвера на Югъ, позже — съ Востока на Западъ. Очень интересно изслѣдованіе проф. бар. Таубе, «Родовой знакъ семьи Вл. Св.», гдѣ авторъ не ограничивается разрѣшеніемъ (повидимому окончательнымъ) сложнаго и спорнаго вопроса о происхожденіи и первоначальномъ «смыслѣ» этого знака, «трезубца», встрѣчающагося во множествѣ на монетахъ и др. археологическихъ памятникахъ (знакъ этотъ не «іероглифъ», а просто геометрической орнаментъ, имѣвшій сперва магическій характеръ; появился сперва въ Скандинавіи), но также отмѣчаетъ значеніе этого знака въ общественномъ и государственномъ бытѣ Руси: его всеобщее употребленіе указываетъ на силу сознанія династическаго единства, а также единства «Земли Русской; тотъ-же фактъ, что онъ былъ въ употребленіи также и внѣ предѣловъ земель фюрингова дома, въ «лимитрофахъ», указываетъ на культурное единство варяго-русскаго міра. Особнякомъ стоятъ статьи проф. Карташева о національно-культурномъ

значенія крещенія Руси и проф. Спекторскаго, «Своеобразіе крещенія Руси», — историко-философскаго характера (также — предисловіе митр. Анастасія). Оба автора отмѣчаютъ православный, въ нѣкоторомъ смыслѣ болѣе чистый христіанскій, обликъ всей русской культуры по сравненію съ западной. Проф. Спекторскій подчеркиваетъ при этомъ значеніе того, какъ было ужасно христіанство на Руси: во-первыхъ, — это «произошло безъ вишняго давленія и внутренняго насилія», во-вторыхъ, это было «рѣшительнымъ разрывомъ съ языческимъ прошлымъ». Проф. Карташевъ держится сходнаго взгляда. Къ сожалѣнію, ни тотъ ни другой авторъ не остановился надъ вопросомъ: почему христіанизация Россіи произошла именно такъ? Думается, потому, что у русскихъ славянъ (т. е. большинства населенія) еще не было тогда собственной языческой вѣры, со сколько-нибудь разработаннымъ культомъ, символикой и проч. Съ этой точки зрѣнія весьма цѣнна статья проф. Погодина, «Варяжскій періодъ въ жизни кн. Вл.», подъ чѣмъ онъ разумѣетъ періодъ, когда Владиміръ, до крещенія, пробовалъ опираться болѣе на варяжскіе элементы чѣмъ на славянскіе. Попытка «языческой реставраціи», о которой говоритъ лѣтопись, связана съ этимъ. Правда, авторъ другой, сходной по предмету, статьи, проф. Мошинъ, «Христіанство въ Россіи до св. Вл.», утверждаетъ, что эта реставрація была проявленіемъ не варяжской, а славянской ориентаціи Владиміра: «вѣдь воздвигнуты были идолы не норманскихъ, а славянскихъ боговъ». Однако, какъ разъ славянское происхожденіе этихъ боговъ оспаривается рядомъ современныхъ исследователей. Иные изъ нихъ были не норманскими, а, повидимому, финскими. Важно не это, а то, что, какъ отмѣтилъ проф. Погодинъ, культовые особенности этой «реставраціи» (человѣческія жертвоприношенія) были свойственны именно скандинавамъ. Проф. Спекторскій придаетъ значеніе также и тому, что рѣшеніе кн. Владиміра креститься было результатомъ сознательнаго выбора. На дѣлѣ — сказаніе объ «испытаніи вѣры» — такъ наз. бродячая легенда. Есть въ сборникѣ еще одна статья, Б. Н. Сергѣевского, «Время Вл. Св.», посвященная вообще говоря, особому вопросу, а именно о томъ, каковъ былъ «духовный процессъ, приведшій Владиміра ко Христу». Оговариваясь, что здѣсь «приходится основываться лишь на догадкахъ», авторъ, въ качествѣ основной, выдвигаетъ ту, что Владиміръ былъ «дѣйствительнымъ сыномъ народа своей матери», т. е., что у него была русская душа, которой свойственно отъ «глубокихъ паденій» переходить ко «взлетамъ на горнія высоты». Въ этомъ вкусѣ написана вся статья. Завершается сборникъ длинной (4 стр.) «Балладой о быломъ» Г. Гребенщикова. Вотъ наудачу одна изъ ея строфъ:

И вѣтры Сѣвера вздуваютъ домотканныхъ,
Цвѣтистыхъ ларусовъ крутяя груди.
.. Какъ стаю лебедей въ лазури первозданной,
Ведутъ флотилію Садковы люди.

Эта примѣсь «юбилейщины» въ такомъ серьезномъ и строго-научномъ сборникѣ только портитъ общее впечатлѣніе. П. Бицилли.

Извѣстія Академіи Наукъ СССР. Отдѣленіе общественныхъ наукъ.
№ 5 — 1937 г., № 1-2 — 1938 г., № 5 — 1938 г.

Мы, надо признаться, мало знаемъ и плохо представляемъ себѣ то, что дѣлается въ Академіи Наукъ СССР, а между тѣмъ въ этомъ учрежденіи, славномъ въ своемъ прошломъ, ярче всего, можетъ быть, отразился общій духъ жизни Совѣтской Россіи. Впечатлѣніе отъ чтенія перечисленныхъ въ заголовкѣ томовъ опредѣленно жуткое. Изъ нихъ ясно видно, до какой степени униженія доведены русскіе ученые, до какой степени неслыханной и невиданной цензуры дошла опека большевицкой власти въ области мысли и научныхъ занятій. Конечно, это краснорѣчивѣе всего сказывается въ области гуманитарныхъ наукъ. Полной новостью является помѣщеніе въ Извѣстіяхъ Академіи наукъ — въ научномъ органѣ высшаго ученаго учрежденія страны — статей и рѣчей, рѣшительно никакого отношенія къ наукѣ не имѣющихъ. Каждый томъ открывается подобнымъ матеріаломъ: «Объ ошибкахъ партorganizаций при исключеніи коммунистовъ изъ партіи», «Рѣчь тов. Сталина на предварительномъ собраніи избирателей сталинскаго избирательнаго округа гор. Москвы» и т. п.

Особенно интересенъ томъ (№ 5, 1937 г.), гдѣ помѣщены итоги научной дѣятельности въ СССР въ области гуманитарныхъ наукъ за 20 лѣтъ существованія большевицкой власти. По словамъ президента Академіи В. Л. Комарова (въ статьѣ «Наука сталинской эпохи»), въ до-революціонной Россіи Академію Наукъ только терпѣли, никто ея работами не интересовался, теперь же всѣ про нее знаютъ, такъ какъ общее число научныхъ работниковъ Академіи достигаетъ 4.100, а число «боевыхъ» научныхъ силъ — 41.000. Онъ же перечисляетъ выдающихся «совѣтскихъ» ученыхъ: И. П. Павловъ, А. П. Карпинскій, Н. Я. Марръ, К. Д. Глинка, К. К. Гедройцъ, В. И. Вернадскій, А. Е. Ферсманъ, А. Е. Фаворскій, Н. Д. Зелинскій и т. д. Но всѣ, или почти всѣ, эти ученые были уже извѣстными до революціи и никакъ не могутъ быть названы учеными совѣтской формации. Гдѣ же «собственные Платоны и быстрые разумомъ Невтоны» большевицкаго періода? Академикъ Г. М. Крижановскій заявляетъ, что совѣтскіе экономисты могли бы рядомъ «убѣдительныхъ» цифръ показать необыкновенный подъемъ страны Совѣтовъ и установить, что въ происходящей теперь борьбѣ двухъ міровъ — буржуазнаго и социалистическаго — побѣдитъ, конечно, страна, гдѣ нѣтъ эксплуатаціи человѣка человѣкомъ, гдѣ руководитъ всѣмъ Сталинъ съ его «геніальнымъ» умомъ, являющийся «сочетаніемъ научнаго гения и стальной воли борца за благо и счастье народа». Врядъ-ли теперь эта риторика когнѣнибудь можетъ обмануть. Какія бы «убѣдительныя» цифры ни сочиняли совѣтскіе экономисты, факты оказываются убѣдительнѣе ихъ. Въ «могучей, богатой» совѣтской странѣ съ ея «чудесными богатствами» со Сталинымъ во главѣ, населеніе съ величайшей трудностью находитъ самые обычные предметы потребленія, въ которыхъ не имѣютъ недостатка страны, «порабощенныя и эксплуатируемыя ка-

питалистическими хищниками». И если признать, что въ Россіи побѣдилъ социализмъ, какъ это силится доказать разные совѣтскіе ученые, то рекомендація для социализма убійственная.

Но что же сдѣлано за 20 лѣтъ въ области гуманитарныхъ наукъ?

Итоги изученія русской исторіи не блещутъ богатствомъ. Повидимому, опубликовано довольно много матеріаловъ, но обобщающихъ работъ почти нѣтъ. Впрочемъ, о работахъ этихъ очень трудно судить: статья акад. Грекова «Итоги изученія исторіи СССР» написана такъ обще и бездоказательно, что сдѣлать какіе-либо выводы невозможно. Среди именъ, упоминаемыхъ имъ, главную роль играютъ ученые, дѣятельность и таланты которыхъ расцвѣли въ до-революціонную эпоху и частью уже давно умершіе (Шахматовъ, Истринъ, Прѣсняковъ и др.). Правда, акад. Грековъ указываетъ на причины, мѣшавшія нормальному развитію совѣтской исторической науки: вредоносная школа Покровскаго, оказывавшая свое вліяніе вплоть до 1934 г., а въ Малороссіи и Бѣлороссіи — националистическое направленіе ученыхъ и вредительство. — Но едва ли не самое зловредное вліяніе заключается въ той марксистско-ленинской теоріи, которую такъ усердно восхваляютъ несчастные совѣтскіе ученые и которая, по словамъ акад. Грекова, «освѣщаетъ» путь ихъ науки въ послѣднее время. Когда читаешь (№ 1-2, 1938 г.) «Схему пятитомника по исторіи СССР», предполагаемаго къ изданію, ясно видишь, въ какихъ условіяхъ протекаетъ разработка исторической науки: «Марксъ объ имперіи Рюриковичей», «Ленинъ о закабаленіи смердовъ», «Марксъ о характерѣ татарскаго ига», онъ же «о результатахъ побѣды на Чудскомъ озерѣ», «Сталинъ объ образованіи централизованныхъ феодальныхъ государствъ въ Восточной Европѣ», «Марксъ, Энгельсъ, Ленинъ, Сталинъ о крестьянскихъ войнахъ» и т. д., и т. д. Казалось бы, что тутъ естественно видѣть ссылки на мнѣнія Ключевскаго, Платонова, Милюкова, Сергѣевича, Дьяконова и др. извѣстныхъ русскихъ ученыхъ, разработывавшихъ русскую исторію, но, конечно, ни одного изъ этихъ именъ не встрѣтишь на протяжении всей схемы, занимающей 36 страницъ. Получается впечатлѣніе, что надъ русской исторіей работали главнымъ образомъ Марксъ, Энгельсъ, Ленинъ и Сталинъ.

Переходя къ разсмотрѣнію работъ за 20 лѣтъ по всеобщей исторіи, видимъ, что итоги изученія древняго Востока, если не считать богатаго наслѣдства знаменитаго до-революціоннаго ученаго Б. А. Тураева и нѣкоторыхъ ученыхъ экспедицій, чрезвычайно скромны. Но зато, по словамъ акад. В. В. Струве, этой научной области предстоитъ блестящее будущее, такъ какъ наблюдается «переломъ», чему способствуетъ интенсивное усвоеніе марксизма-ленинизма, которое приведетъ къ тому, что «совѣтскіе историки древняго Востока смогутъ сдѣлать на основѣ марксистско-ленинской методологіи полноценный вкладъ» во всемірную исторію и ихъ трудъ «станетъ тогда на уровень великой сталинской эпохи». Слѣдовательно, приходится ждать. Статья акад. Жебелева говоритъ объ итогахъ изученія античности. Здѣсь кое-что сдѣлано: послѣ значительнаго пере-

рыва возобновлены раскопки на мѣстѣ расположения милетской колоніи Ольвіи (при устьѣ р. Буга), которая систематически велась съ 1901 по 1914 г. под руководствомъ Ю. В. Фармаковского. Въ Херсонѣ (около Севастополя) съ 1926 г. также возобновились раскопки, начатыя еще въ 1888 г. Производились раскопки и на Керченскомъ полуостровѣ. Есть труды по отдѣльнымъ вопросамъ античной культуры, причемъ нельзя не отмѣтить появленія ряда молодыхъ ученыхъ. Итоги научной разработки исторіи Среднихъ вѣковъ оказались довольно бѣдными, несмотря на то, что, какъ отмѣчаетъ проф. Косминскій въ своей статьѣ, въ Москвѣ въ настоящее время образовалась цѣлая школа учениковъ акад. Д. М. Петрушевскаго, а въ Петербургѣ школа проф. И. М. Гревса и О. А. Добіашъ-Рождественской. Но работѣ вредили «антимарксистскія установки» Покровскаго. Впрочемъ за послѣднее время появилось «здоровое» направление, основанное на учении Маркса, Энгельса, Ленина, и «поставлена сложная задача созданія подлинно марксистской исторіи Среднихъ вѣковъ». Успѣхъ обезпеченъ, «надо только использовать... представителей буржуазной науки». Изучение Новой исторіи, несмотря на указанія въ этой области гг. Сталина, Кирова и Жданова, находится въ жалкомъ состояніи. Исключеніе составляетъ упомянутая безъ всякой оцѣнки работа стараго ученаго проф. Е. В. Тарле «Наполеонъ» (1936), и «Рабочій классъ во Франціи въ первыя времена машиннаго производства» (1928 г.) — работы дѣйствительно интересныя и цѣнныя. Проф. Молокъ, подводящій итоги въ области Новой исторіи, объясняетъ ихъ бѣдность «вредительскими дѣйствіями враговъ народа — троцкистовъ, бухаринцевъ, зинovieвцевъ, гнусныхъ предателей своей родины, подлыхъ агентовъ японо-германскихъ фашистскихъ развѣдокъ».

Советское литературовѣдѣніе за 20 лѣтъ пестро: есть, съ нашей точки зрѣнія, цѣнныя работы старыхъ ученыхъ — Сакулина, Келтуялы и др., но всѣ онѣ подвергаются осужденію, какъ немарксистскія. Новыя же пока болѣе *in spe*, но онѣ будутъ, по словамъ отчетовъ, такъ какъ побѣдоносно развивается «процессъ усвоенія классиковъ марксизма — Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина». Повидимому хорошо усвоилъ этихъ классиковъ проф. Пиксановъ, который утверждаетъ (въ статьѣ «Итоги изучения новой русской литературы»), что «единственно-научный методъ — Марксизм-ленинизмъ», благодаря которому советское литературовѣдѣніе «завоевываетъ ведущую (sic!) роль во всей европейской наукѣ», что «марксистско-ленинско-сталинская методологія» самая глубокая и т. п. И если и были задержки въ движеніи советскаго литературовѣдѣнія, то въ этомъ виноваты «предательскія тенденціи меньшевизма, троцкизма, левыхъ оппортунистовъ». Пиксановъ высказываетъ сожалѣніе, что советское литературовѣдѣніе запоздало съ изученіемъ возрѣвѣвшей на искусство и литературу Маркса, Энгельса и Ленина, но мы съ удовольствіемъ отмѣчаемъ, что несмотря на это запозданіе, а можетъ быть и благодаря ему, ученые СССР могутъ гордиться издвѣніемъ огромнаго количества историко-литературныхъ матеріаловъ, прекрас-

нымъ, хотя и далеко еще незаконченнымъ юбилейнымъ изданіемъ сочиненій, писемъ и дневниковъ Л. Толстого, развитіемъ литературныхъ музеевъ и т. п. Статья проф. Якубовича подводитъ итоги пушкиновѣднія за 20 лѣтъ. Въ этой области сдѣлано, дѣйствительно, много: чрезвычайно разрослось хранилище Пушкинскаго Дома Академіи Наукъ, пересмотрѣны всѣ тексты Пушкина, опубликовано много матеріаловъ, относящихся къ Пушкину и его эпохѣ, начато изданіе полного собранія сочиненій Пушкина и т. д. Къ сожалѣнію, и сюда внесены тлетворный духъ марксизма. Мы всѣ отлично помнимъ классическіе комментаріи Саитова и Модзалевскаго къ письмамъ и дневникамъ Пушкина, теперь имъ «противопоставлена необходимость созданія Комментарія марксистскаго». Высказывается также сожалѣніе, что «нѣтъ еще единой авторитетной и детальной біографіи Пушкина въ марксистскомъ освѣщеніи». Къ счастью, это направленіе обезврежено тѣмъ, что за 20 лѣтъ Пушкинъ изданъ въ СССР въ 22 милліонахъ экземпляровъ, а непосредственное знакомство съ Пушкинымъ безъ труда очистить его отъ всякаго рода марксистскихъ толкованій. Въ области изученія древне-русской литературы имена изслѣдователей все старья, но ихъ работы не могли, конечно, оказаться «полноцѣнными» съ точки зрѣнія марксизма-ленинизма. Однако авторъ обзора, акад. А. С. Орловъ, утверждаетъ, что теперь все готово «для созданія дѣйствительно научной» исторіи русской литературы, такъ какъ «замѣчанія Сталина, Кирова и Жданова освободили совѣтскихъ историковъ отъ оковъ безсодержательнаго схематизма».

Итоги изученія общаго языковѣднія очень незначительны. Здѣсь все ограничивается «великимъ совѣтскимъ лингвистомъ» Марромъ, «весь ростъ совѣтскаго языковѣднія связанъ съ его именемъ». Лингвистическія же фантазіи Марра оцѣнены по достоинству весьма извѣстными, хотя и «буржуазными» учеными и соблазна вызываютъ мало. Романо-германская лингвистика въ до-революціонной Россіи стояла, благодаря А. Н. Веселовскому и его школѣ, очень высоко, но проф. Жирмунскій, хотя и вышелъ изъ этой школы, горячо привѣтствуетъ «революціонную перестройку лингвистики на основѣ ученія Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, что открывастъ передъ нами широчайшія перспективы для плодотворнаго научнаго творчества». Но такъ какъ мы стоимъ только въ началѣ этой перестройки, то, слѣдовательно и тутъ надо ждать. Изученіе кавказскихъ языковъ было поставлено за истекшіе 20 лѣтъ на широкую ногу, но главнымъ образомъ какъ средство пропаганды. Арабистика въ Россіи имѣла славное прошлое. Но и въ СССР въ этой области сдѣлано очень много. Содержательная статья акад. Крачковскаго даетъ яркую и убѣдительную картину успѣховъ, достигнутыхъ въ этой области. Особенно много сдѣлано по изученію памятниковъ. Значительными надо считать и достиженія монголовѣднія. Трудно только повѣрить проф. Поппе, автору «Итоговъ» въ данной области, что эти успѣхи связаны съ «указаніями» тт. Сталина, Кирова, Жданова.

Какъ мы видимъ, въ общемъ — итоги научной дѣятельности въ СССР въ области гуманитарныхъ наукъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ

отдѣловъ, довольно жалки. Надо впрочемъ удивляться не этому, а тому, что и при каторжномъ строе СССР, при страшной, съ общечеловѣческой точки зрѣнія, зависимости отъ цензуры и необходимости пѣть акафисты Ленину, Сталину, Кирову и Жданову, мысль и наука не погибли на нашей несчастной родинѣ, а продолжаютъ, несмотря ни на что, жить и даже развиваться. Очевидно,

Надъ вольной мыслью Богу неугодны

Насилье и гнѣтъ:

Она, въ душѣ рожденная свободно,

Въ оковахъ не умретъ.

Часть книги № 1-2, 1938 г., посвящена Некрасову. Открывается томъ рѣчью о Некрасовѣ президента Академіи Комарова. Едва-ли какая-либо Академія Наукъ слышала подобающую рѣчь — верхъ банальности, бессодержательности и пошлости. Статьи проф. Евгеньева-Максимова и Чуковского тоже не представляютъ интереса, если не считать оригинальнаго тезиса Чуковского, что «явленіе въ русской литературѣ Некрасова было пророчествомъ о неотвратимости октябрьскихъ дней». Въ противоположность этимъ статьямъ очень интересны статьи А. И. Борисова и Е. Э. Вертельса объ Авиценнѣ, прямо представлятели арабской культуры средневѣковаго Востока. По этимъ статьямъ, какъ и по упомянутому выше обзору по арабистикѣ, можно судить, что востоковѣды работаютъ много и плодотворно. Изъ остальныхъ статей этого тома болѣе интересны статьи Поршнева «Возстаніе въ Байонѣ въ 1641 г.» и Мартынова «Разложеніе родового строя на территоріи верхняго Поволжья».

Весь № 5, 1938 г., если не считать рѣчей Сталина и Молотова, посвященъ Горькому. Этотъ «святоточъ челоуѣческаго гения, величайшій писатель» воспѣвается на разные голоса: «только многія поколѣнія изслѣдователей въ состояніи будутъ опредѣлять мѣсто его гения въ культурѣ челоуѣчества», Горькій «положилъ начало новой эпохи въ исторіи не только русской, но и міровой литературы» и т. п. Объ этихъ статьяхъ не стоитъ и говорить. Только статья Балухатаго, «Творческий путь Горькаго», несмотря на ея чрезмѣрно хвалебный тонъ, наиболѣе содержательна: въ ней есть интересный биографическій матеріалъ.

Н. Кульманъ.

Pierre Pascal. Avvakum et les débuts du rascol. La crise religieuse au XVII^e siècle en Russie. Centre d'études russes «Istina».
Paris, 1938. p. XXV+618.

Книга проф. Паскаля во многихъ отношеніяхъ поистинѣ замѣчательна. Изъ всѣхъ работъ, посвященныхъ критическому періоду русской церкви XVII в., по глубинѣ эрудиціи и широкому охвату темы съ ней можетъ быть сопоставленъ только талантливѣйшій двухтомный

трудъ проф. Н. Ф. Каптерева «Патріархъ Никонъ и царь Алексѣй Михайловичъ» (1909-1912 гг.).

Съ автобіографіей протопопа Аввакума П. Паскаль познакомила впервые въ 1928 г. въ Москвѣ. Съ тѣхъ поръ и началась систематическая и серьезнѣйшая научная работа автора надъ громадной научной и документальной русской литературой, освѣщающей начальную исторію русскаго раскола. Уже одинъ только библиографическій указатель, занимающій въ книгѣ проф. Паскаля 24 страницы, представляетъ собой весьма значительный интересъ. Не будучи абсолютно исчерпывающимъ, онъ тѣмъ не менѣе перечисляетъ всѣ печатные документальные сборники и всю главнѣйшую оригинальную научную литературу, связанную съ темой о русскихъ церковныхъ событіяхъ XVII в. Нерѣдко при этомъ авторъ напоминаетъ въ своемъ указателѣ о незаслуженно забытыхъ или полузабытыхъ произведенияхъ о цѣнныхъ трудахъ, покоящихся въ разнаго рода малодоступныхъ и рѣдкихъ провинціальныхъ изданіяхъ. Не ограничившись печатнымъ матеріаломъ, авторъ не устранился и сложныхъ архивныхъ изысканій и сблалъ въ этой области рядъ цѣнныхъ открытій. Наконецъ, слѣдуя «по стопамъ Аввакума», онъ постѣтилъ рядъ мѣстъ, гдѣ разыгрывались описываемая имъ событія, — Григорово, Княгинино, Лысково, Нижній-Новгородъ, Волгу до св. Макарія, популярнѣйшіи очаги «старой вѣры» Керженецъ.

Книга П. Паскаля — достойный памятникъ громаднаго затраченнаго на нее труда и рѣдкой научной проникательности. Ключъ этой проникательности, моментами для автора-иностранца особенно поразительной, лежитъ въ значительной степени въ нисколько нескрываемой авторомъ любви къ простодушной, наивной, но тѣмъ не менѣе крѣпкой вѣрѣ московскаго простолюдина. Отсюда — это правильное пониманіе П. Паскалемъ многихъ сторонъ московской религіозной старины. «Повседневная жизнь въ московской Руси, и религія, — пишетъ онъ, — смѣшивались и такъ глубоко проникали другъ въ друга, что религія никогда не воспринималась какъ философская и моральная система, существующая сама по себѣ, въ сторонѣ или надъ событіями сегодняшняго дня. Христіанская вѣра и старые языческіе предрасудки, предписанія Евангелія и человѣческія страсти, интересы общины и прихода, всѣ эти элементы воздействовали другъ на друга и въ концѣ концовъ такъ смѣшивались, что ихъ нельзя было раздѣлить...»

Протопопъ Аввакумъ именно потому такъ близокъ и дорогъ сердцу П. Паскаля, что вплоть до своей мученической смерти онъ неустанно и героически проповѣдывалъ принципъ о тождествѣ религіи и жизни. Одухотворяя его книгу, превращая ее изъ строгаго научнаго фоліанта въ полное жизненнаго интереса повѣствованіе о трагедіи ищущаго человѣческаго духа, явное пристрастіе П. Паскаля къ своимъ «положительнымъ» героямъ свидѣтельствуетъ о томъ, что авторъ разбираемой книги не только осторожный научный изслѣдователь, но убѣжденный исповѣдникъ опредѣленной религіозной идеи.

По отношенію къ описываемымъ имъ событіямъ и людямъ у ав-

тора имѣются двѣ мѣрки, — одна для Аввакума и остальныхъ «отцовъ» старой вѣры, другая — для патріарха Никона и его сподвижниковъ. Между тѣмъ два главнѣйшихъ виновника церковнаго раскола XVII в., Никонъ и Аввакумъ, во многомъ исключительно похожи одинъ на другого. Та же властность характера и нетерпимость къ чужимъ мнѣніямъ, тотъ же фанатизмъ духовнаго вождя, то же смѣшеніе буквы съ сущностью, обряда съ догматомъ, то же рѣшительное осужденіе западно-европейскихъ новшествъ, то же, наконецъ, стремленіе воздѣйствовать на религиозную совѣсть вѣрующаго приемами внѣшняго устрашенія.

Конечно, ужасны гоненія и муки, которымъ подвергали никоніане сторонниковъ «старой вѣры». Еще болѣе ужасны костры, на которыхъ сжигали «еретиковъ»-старообрядцевъ московскіе палачи или на которыхъ жертвы правительственнаго и церковнаго преслѣдованія сжигали сами себя. Но при всемъ томъ П. Паскаль, повидимому, не достаточно учелъ, какіе жаркіе и сколь безчисленные костры зажегъ бы во всемъ лицу московской земли самъ протопопъ Аввакумъ, если бы въ затянувшейся борьбѣ ему въ концѣ концовъ удалось побѣдить «еретиковъ»-никоніанъ.

Правда, въ своемъ «Житіи» Аввакумъ пишетъ: «мой Христосъ не приказалъ нашимъ апостоламъ такъ судить, еже бы огнемъ, да кнутомъ, да висѣлицею въ вѣру приводить». Но это совѣтъ, который отъ дасть своимъ торжествующимъ противникамъ, въ дѣйствительной же жизни Аввакуму не разъ приходилось приводить въ свою вѣру противившихся и строптивыхъ кулакомъ, костью и плетью. Бывали въ его жизни и еще болѣе характерные случаи. Въ Пустозерскѣ, въ подземной тюрьмѣ, разойдясь по нѣкоторымъ богословскимъ вопросамъ со своимъ бывшимъ религиознымъ единомышленникомъ и другомъ, дьякономъ Федоромъ, заключеннымъ въ сосѣдней подземной тюрьмѣ, Аввакумъ доноситъ стрѣльцкому сотнику на Федора, который выползъ ночью изъ слухового окошка на тайное свиданіе съ нимъ, протопопомъ. Несчастнаго Федора по этому доносу хватаютъ, тутъ же на снѣгу, нагого, стегаютъ дубовыми прутьями и затѣмъ на два часа оставляютъ на морозѣ. Аввакумъ не только со смѣхомъ слѣдитъ за происходящимъ, но при помощи стрѣльцовъ выкрадываетъ еще у Федора написанное имъ съ величайшимъ трудомъ, въ ужасающихъ не только для писанія, но и вообще для жизни условіяхъ, исповѣданіе старой вѣры, утверждая впослѣдствіи, что это исповѣданіе было имъ получено «съ помощью Божьей». Вся эта удручающая сцена разыгралась незадолго до того, что обоимъ ея участникамъ, Аввакуму и Федору, пришлось погибнуть на одномъ кострѣ.

Если бы даже и не было этихъ случаевъ въ жизни Аввакума, однихъ его челобитій «великому государю» вполне достаточно для того, чтобы составить себѣ представленіе о его подлинныхъ взглядахъ на методы борьбы съ «еретиками». «Перестань же насъ мучить тѣмъ, — пишетъ отъ царю Алексѣю Михайловичу, — возьми ерети-

ковъ тѣхъ, никоніанъ, погубившихъ душу твою и пережги ихъ, скверныхъ собакъ, латынниковъ и жидовъ, а насъ распусти, природныхъ своихъ. Право будетъ хорошо». «А то, государь-царь, — пишетъ Аввакумъ на этотъ разъ уже царю Федору Алексѣевичу, — кабы ты мнѣ далъ волю, я бы ихъ, что Илья пророкъ всѣхъ перепласталъ въ одинъ день. Не осквернилъ бы рукъ своихъ, а освятилъ, чаю... Перваго бы Никона того, собаку, разсѣкъ бы начетверо, а потомъ бы никоніанъ тѣхъ».

П. Паскаль правильно оцѣнилъ Аввакума, какъ исключительную личность и неустаннаго борца за «старую вѣру», но онъ чрезмѣрно идеализировалъ его по сравненію съ его врагами никоніанами, отчего и весь образъ знаменитаго протопопа вышелъ у него гораздо болѣе одностороннимъ по сравненію съ тѣмъ, который данъ до него въ русской исторической литературѣ, хотя бы въ популярныхъ произведеніяхъ В. А. Мякотина и С. П. Мельгунова.

Въ значительной степени идеализированы П. Паскалемъ въ пользу представителей «старой вѣры» и сами причины церковнаго раскола XVII в. Всѣ расхожденія между никоніанами и поборниками «старой вѣры» дѣйствительно носили церковно-богословскій характеръ, являлись отраженіемъ различныхъ христіанскихъ міросозерцаній. Но эти расхожденія, всегда и всюду въ той или иной формѣ болѣе или менѣе неизбежныя, выливались въ форму церковнаго раскола по причинамъ, возникшимъ внѣ сферы чисто религиозныхъ проблемъ.

Эпоха гуманизма въ Россіи началась по сравненію съ западной Европой съ большимъ запозданіемъ, — только во второй половинѣ XVII вѣка. Тогда-то и произошло столкновение двухъ совершенно непримиримыхъ міропониманій. За фанатической преданностью старообрядцевъ старымъ книгамъ, двуперстному крестному знаменію, сугубой аллилуйѣ, восьмиконечному кресту и т. д. скрывается также и протестъ противъ самой сущности гуманизма — свѣтской культуры и свѣтской государственности. Не случайно, конечно, духовные ученики Аввакума встали во главѣ столь ненавистныхъ Петру Вел. «бородачей», упорно противившихся его реформѣ. Если, въ силу присущихъ ему личныхъ свойствъ, и не самъ Никонъ, то, по крайней мѣрѣ, его ближайшіе преемники, оставаясь въ сферѣ чисто религиозныхъ вопросовъ, могли бы еще прийти къ соглашенію со старообрядцами. Одно время, послѣ ухода Никона отъ власти, возможность такого соглашенія намѣчалась даже фактически. Но когда для всѣхъ сдѣлалось очевиднымъ, что церковная реформа не только поддерживается, но и непосредственно проводится въ жизнь свѣтской властью, уже во вторую половину царствованія Алексѣя Михайловича рѣшительно вступившей на путь гуманизма, то всѣ не соглашавшіеся идти по этому пути и стремившіеся всю земную жизнь человѣка подчинить цѣлямъ спасенія его души, категорически отказались отъ какого бы то ни было компромисса со «слугами антихриста».

Такимъ образомъ, благодаря значительной запоздалости русскаго историческаго процесса одновременно съ церковной реформой и,

фактически, въ тѣсной связи съ нею, передъ русскимъ человѣкомъ всталъ вопросъ, уже задолго до того рѣшенный на Западѣ, быть или не быть свѣтской жизни, свѣтскому государству, свѣтской наукѣ. Авакумъ и его друзья съ полной категоричностью на этотъ вопросъ отвѣтили: «не быть». Поэтому представляется болѣе чѣмъ сомнительнымъ и неоднократно встрѣчающееся у Паскаля сопоставленіе французскихъ «отшельниковъ» Поръ-Ройяля XVII в. съ русскими старообрядцами той же эпохи. Если съ высоты своей большой научной культуры кружокъ Поръ-Ройяля и осуждалъ «науку, чуждую добродѣтели», то любой изъ отцовъ «старой вѣры», отрицавшій всю свѣтскую науку цѣликомъ, съ полной и правдивой откровенностью могъ сказать про себя: «еллинскихъ борзостей не текохъ, ни риторскихъ астрономъ не читахъ, ни съ мудрыми философы въ бесѣдѣ не бывахъ».

Питая горячую симпатію къ отцамъ «старой вѣры», Паскаль естественно съ большимъ отрицаніемъ относится ко всей послѣ-никоновской церкви, въ особенности къ синодальному періоду ея жизни. «Въ Россіи послѣ Никона, — заявляетъ авторъ, — церкви болѣе не существуетъ».

О великихъ грѣхахъ и крупныхъ дефектахъ русской синодальной церкви неоднократно и убѣдительно писали, какъ свѣтскіе ученые и публицисты, такъ и многіе видные іерархи русской церкви. Тѣмъ не менѣе, столь категорическое осужденіе П. Паскалемъ всей послѣ-никоновской церкви, конечно, въ самомъ корнѣ своемъ глубоко ошибочно, хотя бы по одному тому, что именно послѣ Никоновской реформы, взятой гуманистически настроенной русской властью подъ свою защиту, опасность культурнаго одичанія, угрожавшая до того высоко подвижнической, но богословски глубоко невѣжественной русской церкви, миновала навсегда. Уже при царѣ Федорѣ Алексѣевичѣ въ Москвѣ, какъ извѣстно, было основано первое высшее богословское учебное заведеніе, славяно-греко-латинская академія. Со времени Петра В. успѣхи богословскаго просвѣщенія сдѣлались еще болѣе осозательными. Силой посадивъ русскихъ людей на школьную скамью, Петръ В. положилъ прочное основаніе и для развитія будущей русской самостоятельной богословской науки и самостоятельной богословской мысли. Тѣмъ самымъ русская церковь получила для себя новую и притомъ совершенно необходимую для ея дальнѣйшаго развитія внутреннюю, духовную опору. Самъ П. Паскаль указываетъ, что и Галликанская церковь была въ свое время спасена отъ угрожавшаго ей цезарепализма только благодаря наличію у нея культурныхъ традицій и обилію очаговъ самостоятельной богословской научной мысли.

Въ этихъ условіяхъ можно предполагать, что въ столь исключительномъ по своей категоричности сужденіи о всей послѣ-никоновской церкви лишній разъ нашла свое отраженіе не психологія спокойнаго научнаго изслѣдователя, а страстная душа религіознаго исповѣдника. Повидимому, тѣми же настроеніями продиктована и по-

слѣдняя, нѣсколько двусмысленная, фраза, завершающая интереснѣйшей трудъ П. Паскаля: «новая русская церковь будетъ болѣе чистой, болѣе святой и болѣе католической (въ оригиналѣ последнее слово подчеркнуто) по сравненію съ прежней».

Д. Одинецъ.

Е. Тарле. Нашествіе Наполеона на Россію. 1812 годъ. Академія Наукъ СССР. Институтъ Исторіи. 1938.

Авторъ этого труда — одинъ изъ наиболѣе видныхъ и талантливыхъ нашихъ историковъ старой школы. Онъ не специалистъ по русской исторіи, но почти естественно, что изысканія о Наполеонѣ привели его къ эпохѣ Отечественной войны. Можно было а priori сказать, что работа Тарле представить значительный интересъ. Такого сжатого научнаго очерка, рассчитаннаго къ тому же по формѣ изложенія на широкую читательскую массу, въ литературѣ, посвященной 1812 году, не было. Нѣтъ его и среди юбилейныхъ изданій, которыя были выпущены къ Столѣтію войны. Но все-таки авторъ, можетъ быть, и не совсемъ основательно игнорируетъ, выѣшне по крайней мѣрѣ, юбилейную литературу (и болѣе раннихъ своихъ предшественниковъ, напр., ценнѣйшіе очерки А. Н. Попова). Авторъ привлекъ и новый архивный матеріалъ — правда, далеко неоднороднаго значенія — не всегда неизданный отрывокъ мемуара можетъ замѣнить собой болѣе яркую выдержку изъ уже опубликованнаго документа.

Читатель съ несомнѣннымъ интересомъ прочтетъ рассказъ о томъ, какъ «протекали событія войны» — въ сущности этой внѣшней сторонѣ и посвящена книга, ибо подчасъ только попутно и дѣйствительно «вкратцѣ» отмѣчается связь событій съ внутренней политикой и жизнью страны. Но научное значеніе работы въ значительной степени сведено на нѣтъ посторонними официальными заданиями, полученными авторомъ въ духѣ новѣйшихъ сталинскихъ директивъ о возрожденіи «патріотизма» въ народѣ. Такое задание относитъ работу проф. Тарле къ тѣмъ пресловутымъ исторіямъ Отечественной войны, которыя въ былыя времена писались, по выраженію автора, «по повелѣнію». Возвращаться къ эпохѣ некритическаго патріотизма въ исторіографіи Отечественной войны значить дѣлать шагъ назадъ по сравненію съ тѣмъ, что было достигнуто въ юбилейной научной литературѣ 1912 г. Тарле начинаетъ съ той опасности, которая вынѣ грозитъ «соціалистическому государству» отъ беззащитныхъ враговъ, готовящихся къ нападенію и расчлененію Совѣтскаго Союза и наводнившихъ Союзъ неимовернымъ количествомъ «шпіоновъ, вредителей и диверсантовъ». «Народы СССР», однако, находятся въ полной матеріальной готовности защищать «соціалистическое отечество». Историческое изслѣдованіе, предпринимаемое Тарле, должно опровергнуть басни «германской фашистской прессы» и «гитлеровскихъ учебниковъ», будто въ 1812 г. спасла Россію лишь «случайно» морозная погода. И авторъ придаетъ наукообразную форму нѣкоторымъ

выводамъ прародительской исторіографіи, возвращается ко времени Липранди, чтобы доказать, что «не морозъ и не пространство Россіи побѣдила Наполеона, его побѣдило сопротивление русскаго народа». Для установленія такого тезиса вовсе не надо переходить на стезю фальшиваго патриотизма и отрицать, напр., роковое значеніе для наполеоновскаго войска преждевременныхъ и довольно необычныхъ осеннихъ морозовъ. Нежданные морозы 26-28 сентября при отсутствіи фуража нанесли непоправимый ударъ именно наполеоновской конницѣ — главной силѣ отступающей арміи. Не только французы, но и болѣе привычные русскіе жестоко пострадали при отсутствіи продовольствія и фуража — вѣдь главная армія самого Кутузова потеряла въ процессѣ пути отъ Тарутино до Вильно болѣе 2/3 своего состава.

Истинный патриотизмъ не требуетъ сусальной позолоты. И вовсе не требуется окутывать флеромъ слащаваго сентиментализма то, что принято называть «народной войной». Тамбовскіе крестьяне, плясавшіе отъ радости, что ихъ забираютъ въ солдаты, — всегда останутся грубымъ лубкомъ. Подъ «народной войной» принято подразумевать не дѣйствующую армію, а специфическія партизанскія выступленія самопильныхъ крестьянскихъ отрядовъ. Въ традиціонное представленіе о роли, которую въ стратегическомъ отношеніи сыграла «народная война», объективная исторія давно уже внесла существенныя коррективы — это была жестокая борьба съ отступающими мародерами, разорявшими страну, борьба съ обезсилѣвшимъ тыломъ арміи — и только. Отдѣльные дѣятели Отечественной войны въ общекъ Тарле получаютъ такой же специфическій характеръ. Ему надо противопоставить «царской» политикѣ народную позицію, олицетворяющую Кутузовымъ. Народъ вель лишь оборонительную войну, Кутузовъ не желалъ проливать русской крови для низверженія міровой имперіи Наполеона, паденіе которой было неизбежно... Дѣятельность Кутузова, выпустившаго Наполеона изъ Россіи, въ послѣдній періодъ войны подвергалась критикѣ со стороны многихъ современниковъ. Какъ ни расцѣпывать тактику Кутузова, нельзя забывать, что до послѣдняго момента основное ядро наполеоновской гвардіи, 30 тыс., сохранившія боеспособность, представляли силу, которую не такъ легко было сломить ослабленной русской арміи. Ярче всѣхъ это положеніе формулировалъ знаменитый партизанъ Давыдовъ, написавшій въ своихъ воспоминаніяхъ: «Гвардія Наполеона прошла посреди казаконъ нашихъ, какъ 100-пушечный корабль между рыбацкими ладьями»...

1812 годъ оставилъ «глубокій слѣдъ во всемірной исторіи», «Точная формула» Ленина: «декабристы пробудили Герцена» (при чемъ тутъ Ленинъ?) можетъ быть дополнена, по мнѣнію историка: «дѣнадцатый годъ въ своихъ ближайшихъ послѣдствіяхъ — пробудилъ декабристовъ». Могучій толчекъ, который побѣда дала русскому народу, несомнѣнно отозвался на первомъ революціонномъ сознаніи. Однако, для Россіи война имѣла и другія послѣдствія. Съ такимъ же правомъ можно сказать: 12-ый годъ привелъ къ тѣмъ годамъ мрачной

реакціонной мистики конца царствованія Александра I, которая и заставила, въ концѣ концовъ, декабристовъ выступить на Сенатской площади.

С. Мельгуновъ.

А. И. Фенинъ, Воспоминанія инженера. Изд. Русск. Института въ Прагѣ. 1938.

Книжка Фенина читается съ большимъ интересомъ. Можно желать и ея продолженія, и подражанія ей въ другихъ профессіяхъ. Подобныя воспоминанія удачно дополняютъ картину Россіи съ той ея стороны, которая оставалась въ тѣни. Подзаголовокъ книги называется — къ исторіи общественнаго и хозяйственнаго развитія Россіи (1883-1906). Она поучительна сочетаніемъ этихъ словъ. Въ жизни «общественности» политика занимала первое мѣсто; интересъ къ хозяйственной жизни оставался на «обывателей». Фенинъ же съ гордостью заявляетъ о принадлежности къ тому именно слою «интеллигенціи», которая «нашла свой пафосъ въ хозяйственномъ созидательномъ трудѣ». Этотъ пафосъ былъ не менѣе полезенъ Россіи, чѣмъ тотъ политическій пафосъ, который заслонилъ остальное.

Въ этомъ направленіи Фенина сыграла роль его личность, среда и время, когда пришлось ему жить. Онъ вспоминаетъ студенчество, начало 80-хъ годовъ. Тогда начиналась «реакція». Студенчество отвергивалось отъ прежней «политики. Одни становились «прожигателями жизни», «стяжателями», «карьеристами», другіе продолжали искать новой «вѣры». Фенинъ представляетъ собой иную, привлекавшую къ себѣ мало вниманія разновидность молодежи — зараженныхъ пафосомъ «дѣла». Его специальность инженера — только подробность. Тотъ же пафосъ можно было увидѣть въ другихъ практическихъ сферахъ, медицинѣ, наукѣ, земской работѣ и т. д. Онъ есть и въ совѣтской Россіи. Такой пафосъ часто миритъ съ уродливыми формами жизни. Молодежь вродѣ Фенина была даже охвачена «пафосомъ національной гордости, гордостью Россіей, ея талантами, мощью, непоколебимымъ спокойствіемъ ея государственнаго бытія, ея царственной силой среди другихъ народовъ, ея Царемъ — такимъ сильнымъ, справедливымъ и величаво-спокойнымъ». Такъ и аполитичные дѣятели совѣтской Россіи восхваляютъ удобства, которыя имъ даетъ совѣтская жизнь. Но зато какъ непохожи настроенія Фенина на картину болѣе позднѣяго времени. Они заглохли въ новомъ политическомъ увлеченіи; потому интересно увидѣть одного изъ ихъ представителей, и просмотрѣть на немъ ихъ судьбу.

Людямъ специальности Фенина повезло въ эти годы; ихъ настроенію открывалось широкое примѣненіе. «Начиналась, какъ выражается Фенинъ, эпоха небывалаго хозяйственнаго строительства — огромная работа экономическихъ и социальныхъ реформъ Витте... На наше поколѣніе легла задача почти первому вступить на путь большого реального труда». Хозяйственный подъемъ земледѣлія почти не коснулся. Его наибольшая часть была подъ прессомъ специальныхъ крестьянъ-

скихъ законовъ; а помѣщики являли признаки оскудѣнія. Зато новая жизнь закипѣла въ промышленной сферѣ и особенно въ области разработкѣ природныхъ богатствъ. Началось оживленіе Юга. Страницы, посвященныя этому, наиболѣе интересны; разсказъ не многословенъ, но содержателенъ. Передъ нами проходятъ фигуры живыхъ людей, имена которыхъ стали извѣстны. Мы видимъ, какъ складывались новыя отношенія — «интеллигента» къ «народу», и къ предпринимателямъ. Закладывалось основаніе класса «спецовъ», безъ которыхъ ни при какихъ условіяхъ дѣло не можетъ идти. Эти «новшества» не были сразу оцѣнены русской общественностью. «Наши аграріи, говоритъ Фенингъ, относились къ идеѣ насажденія въ Россіи большой промышленности вообще отрицательно. Но и наша передовая интеллигенція, по другимъ причинамъ, этому движенію сочувствія не давала. Въ этомъ, по мнѣнію Фенинга, сказывалась исконная непріязнь интеллигента къ промышленности, къ подозрѣваемому богатству. Въ этомъ было много легкомыслія, незнанія и нежеланія знать». А какъ послѣдствіе этого «въ области государственной экономики, единственнымъ европейцемъ въ Россіи оказалось русское правительство». Фенингъ иллюстрируетъ это положеніе особой главой, подъ заголовкомъ: «Краткій обзоръ хозяйственнаго состоянія Россіи конца XIX-го и начала XX-го вѣка. Реформа Александра III». Принято считать царствованіе Александра III началомъ того рокового пути, на которомъ Россія пришла къ катастрофѣ. Фенингъ на опытѣ своей специальности видитъ другую сторону этого царствованія.

Мы здѣсь и подходимъ къ тому, что въ его книгѣ наиболѣе интересно: къ сочетанію хозяйственнаго подъема Россіи этихъ годовъ съ политическимъ «освободительнымъ движеніемъ». Они совпадали по времени; но между ними была и внутренняя связь; оба должны были быть другъ другу полезны. Промышленный подъемъ Россіи велъ къ реформамъ въ политикѣ; «хозяйственники» это понимали отлично. Самъ вдохновитель подъема Витте почувствовалъ раньше другихъ, что оживленіе промышленности требуетъ увеличенія рынка, которое опредѣляется благосостояніемъ крестьянства. Отсюда неожиданный, но логичный переходъ Витте къ вопросу крестьянскому, въ его знаменитой росписи 1897 года, въ созданіи «Особаго Комитета», подъ его предѣлательствомъ въ 1903 году, и отсюда же его рѣшающее столкновеніе съ Плеве, какъ съ представителемъ стараго.

Одновременно шло и то движеніе, которое называется «освободительнымъ». Фенингъ его не описываетъ; это не нужно. Онъ смѣлѣе на него издали; это и интересно. Промышленные дѣятели сочувствовали борьбѣ за новый государственный строй. Онъ былъ имъ нуженъ. Въ этомъ была его непреодолимая сила, а не въ идейной полемикѣ интеллигенціи. Въ 1905 году Фенингъ оказался даже членомъ кадетской партіи, и только болѣзнь помѣшала ему стать депутатомъ. Это характерно. Онъ не былъ кадетомъ и кадетской программы не раздѣлялъ. Онъ этого не скрываетъ. «Вопросъ о политическихъ программахъ партій, пишетъ онъ, занималъ минимумъ вни-

манія со стороны лицъ, примыкающихъ къ партіи. Программы не учитывались всерьезъ, какъ явно неисполнимыя, годныя для отдаленнаго будущаго... Этого не признавали наши руководители, находя, что ихъ побѣда на выборахъ была побѣдой кадетской программы. А население просто искало въ кадетахъ, по выраженію Фенина, «партіи центра», т. е. реформъ, а никакъ не Революціи.

Отсюда разномысліе между Фенинымъ и тогдашними вождями въ оцѣнкѣ событій. Фенинъ доволенъ и земскимъ съѣздомъ, и Указомъ 12 декабря, и Петергофской рѣчью кн. С. Н. Трубецкого; онъ жалѣеть, что «земцы не умѣютъ пользоваться единственной въ Россіи организованностью, которую они все же имѣли. «Рѣчь Трубецкого намъ не казалась слишкомъ умѣренной»... «Настроеніе всей харьковской общестственности было много умѣренное столичнаго — во всякомъ случаѣ не было такъ взбудоражено». Инженеры не оставались въ сторонѣ отъ движенія. Въ эпоху «союзовъ» они черезъ свои профессиональные союзы, имѣли возможность къ нему пріобщиться; могли бы оказать на него умиротворяющее вліяніе. Политики могли бы понять силу поддержки, которую подъемъ хозяйственной жизни давалъ новымъ государственнымъ формамъ. Но «политики» къ нему относились враждебно. Фенинъ рисуетъ картину этого времени. Инженеры въ своихъ представителяхъ не узнавали себя, какъ крестьяне не узнавали себя въ интеллигентскомъ Крестьянскомъ Союзѣ, какъ земскіе дѣятели отрекались отъ Земскихъ Съѣздовъ. Наверху все приносилось въ жертву «политикамъ», и отъ имени всѣхъ говорили только они. Живой иллюстраціей этого былъ знаменитый Лутугинъ, подлинный двуликий Янусъ, превосходный инженеръ по спеціальности, терявшій устойчивость, когда попадалъ въ среду политическихъ дѣятелей. Лутугинъ былъ настолько яркой фигурой, что въ оцѣнкѣ его сошлись одинаково и Фенинъ и Милуковъ. Фенинъ описываетъ разочарованіе дѣятелей хозяйственнаго подъема отъ соприкосновенія съ политической верхушкой столицы. «Смутно, тревожно, утомительно отъ общей, казавшейся во многомъ излишней, политической смуты, съ трескотней аналогичныхъ резолюцій, принимаемыхъ многочисленными собраніями. Угнетали переполненные, несмотря ни на что, рестораны и несомнѣнное разливное море кутежей и пьянства, которые охватили тогда часть русскаго общества».

Фенинъ не дѣлаетъ политическихъ выводовъ; онъ только отиѣчаетъ свои впечатлѣнія. Но они общи не однимъ инженерамъ. Они были разлиты въ глубинѣ той Россіи, которою наверху въ это время владѣла «политика». И они многое объясняютъ въ ея неудачѣ. Полезно и поучительно, пока не поздно, ихъ зафиксировать. Это и дѣлаетъ Фенинъ.

В. Маклаковъ.

В. Вонлярлярскій. Мои воспоминанія. 1852-1939. Русское Национальное Издательство. Берлинъ. 1939.

Воспоминанія Вонлярлярскаго примыкаютъ къ обширной уже серии мемуаровъ, опубликованныхъ въ эмиграціи дѣятелями стараго режима. «Дѣятельность» г. В., впрочемъ, была особаго рода. Имя отставнаго гвардейскаго полковника, впоследствии шталмейстера Вонлярлярскаго приобрѣло всероссійскую извѣстность впервые въ началѣ девятисотыхъ годовъ. Это онъ, вмѣстѣ съ статсъ-секретаремъ Безобразовымъ и контръ-адмираломъ Абазой, были вдохновителями темной авантюры въ Корей, послужившей послѣднимъ толчкомъ къ злополучной русско-японской войнѣ 1904 г.

По происхожденію и родственнымъ связямъ своимъ В. принадлежалъ къ придворной аристократіи. Ему дано было жить на протяженіи царствованія четырехъ императоровъ, — его восприемниками при крещеніи были императрица, жена Николая I, и наслѣдникъ цесаревичъ, будущій имп. Александръ II. В. несомнѣнно могъ бы рассказать много интереснаго изъ своего бурнаго прошлаго, — больше, чѣмъ онъ сдѣлалъ въ своей книгѣ; къ тому же не все въ его воспоминаніяхъ равноцѣнно. Съ интересомъ, и безъ тлгостнаго чувства, читаются первыя главы книги, — въ нихъ немало характерныхъ чертъ изъ быта верховъ русскаго общества того времени. Блестящій кавалергардъ, берущій призы на офицерскихъ скачкахъ (эти скачки въ Красномъ Селѣ 1874 г. описаны Толстымъ въ «Аннѣ Карениной»), ординарецъ вел. кн. Николая Николаевича старшаго во время русско-турецкой войны и его адъютантъ послѣ нея, В. въ самомъ началѣ 80-хъ годовъ, изъ-за сложной семейно-романтической исторіи, былъ вынужденъ оставить военную карьеру и на долгіе годы поселиться въ своемъ имѣніи. Лишь съ началомъ царствованія имп. Николая II для безпокойнаго духа В. вновь открывается широкое поприще. Его захватываетъ горячка гюндерства. Используя придворныя связи, онъ выступаетъ въ роли учредителя эфемерныхъ обществъ, ищетъ золото на Уралѣ и въ Сибири, нефть на Кавказѣ; съ окончаніемъ великаго сибирскаго пути, открывшаго передъ авантюристами всѣхъ ранговъ грандіозныя перспективы, В. переноситъ свою дѣятельность туда. Не слѣдуетъ впрочемъ забывать, что тѣмъ же духомъ авантюры была въ тѣ годы проникнута и политика самого русскаго правительства въ Китаѣ: пресловутымъ «концессіямъ на р. Ялу» гг. Безобразова и Вонлярлярскаго предшествовалъ прямой захватъ русскимъ правительствомъ (въ нарушение договора съ Китаемъ!) Ляодунскаго полуострова.

Исторія уже произнесла свой приговоръ надъ высокопоставленными аферистами, приведшими Россію къ пораженію въ японской войнѣ. Тщетны попытки В. представить теперь дѣло такъ, что затѣянная имъ сомнительная операція въ Корей имѣла дѣлюю именно «предотвратить войну съ Японіей». Относящаяся къ этой эпохѣ главы книги В. производятъ особенно неприятное впечатлѣніе. Ста-

раясь выгородить себя, онъ винить во всемъ другихъ, не щадя и памяти трагически погибшаго императора. Показанія В. подтверждаютъ полностью весьма неприглядную картину того, что Витте называлъ «придворно-камарильнымъ режимомъ». Въ книгѣ приведена переписка Безобразова и В. съ царемъ. Характерно уже то, что сношенія эти были тайны, для чего, съ согласія царя, былъ установленъ въ Зимнемъ дворцѣ конспиративный способъ передачи писемъ, черезъ лакея В. царскому камердинеру. Поражаетъ крайне низкій культурный уровень обоихъ корреспондентовъ царя. Вся трагедія русскаго самодержавія въ XX в. объясняется для нихъ «происками» министра финансовъ Витте, который, находясь подъ влияніемъ «интернациональныхъ темныхъ силъ», скупится на казенныя субсидіи имъ, русскимъ «патріотамъ»; такія выраженія, какъ «жидовскій кагалъ», съ вариациями, украшаютъ письма этихъ, по рожденію, аристократовъ къ ихъ императору, — безъ того, повидимому, чтобы это шокировало Николая II.

Послѣднія главы, относящіяся къ жизни В. подъ властью большевиковъ (до 1925 г.), совсемъ не интересны. В. и въ эту пору остается вѣренъ себѣ, пытаясь использовать смутное время для осуществленія двусмысленной «комбинаціи»: въ расчетѣ на скорое паденіе большевиковъ и въ надеждѣ стать «однимъ изъ богатѣйшихъ людей въ Россіи», этотъ «патріотъ» организовалъ — при соучастіи иностранцевъ! — компанію по скупкѣ за безцѣнокъ акцій национализированныхъ заводовъ и банковъ... «Это была моя лебединая пѣсня», съ наивной гордостью говоритъ В. Но — большевики утвердились въ Россіи и «лебединая пѣсня» окончилась для В. такъ же, какъ когда-то «концессія на Ялу» — полной неудачей.

В. Рудневъ.

К. В. Озолъ. Мемуары посланника. Изд. Дома Книги. Парижъ. 1939.

Латышъ по національности, инженеръ по профессіи, К. Озолъ въ прошломъ — лояльный русскій чиновникъ, представитель своего министерства на Путиловскомъ заводѣ; во время войны — членъ правительственной комиссіи по закупкѣ снаряженія въ Америкѣ. Россію онъ по своему любитъ, хотя и воспринимаетъ ее немного какъ иностранецъ, — по настоящему онъ преданъ только своей Латвіи. Пока чувства къ этимъ двумъ родинамъ не вступаютъ въ его душѣ въ коллизію, онъ послѣ октябрьскаго переворота остается на антибольшевнической, общей съ демократической русской эмиграціей позиціи. Но времена мѣняются. Большевики укрѣпились у власти, Англія усиленно толкаетъ балтійскія окраины на отдѣленіе отъ Россіи. У О. складывается новая, болѣе отвѣчающая измѣняющейся обстановкѣ психологія. Онъ, конечно, противъ бѣлага движенія, поскольку оно идетъ подъ знаменемъ единства прежней Россіи; онъ стоитъ за скорѣйшее признаніе большевиковъ Европой, — разумѣется, послѣ отпаденія отъ Россіи всѣхъ желающихъ «самоопредѣлиться» окраинъ (вплоть до

Кавказа, — здѣсь, впрочемъ, О. готовъ великодушно предоставить Россіи «концессіи»). Цѣлостный латышскій патриотизмъ легко уживается у него съ примирительнымъ отношеніемъ къ новому режиму въ Россіи. Скоро О. оказывается въ составѣ официальной латышской делегации для переговоровъ съ большевиками о мирѣ, а въ 1923 г. ѣдетъ въ Москву въ качествѣ посланника Латвіи.

Книга О. нѣсколько перегружена собственными разсужденіями автора, въ отношеніи Россіи не всегда свидѣтельствующими о достаточномъ знаніи ея. Читатель, напр., съ удивленіемъ прочтетъ, что совѣтскій строй вполнѣ отвѣчаетъ духу русскаго народа, — его «коммунистическая» сущность давно доказана существованіемъ въ Россіи рабочихъ артелей и земельной общины; что покорность народныхъ массъ свирѣпому режиму вытекаетъ изъ ихъ глубокаго убѣжденія въ «спасительности мученичества и страданій», и т. п. Но цѣнность мемуаровъ О. — не въ отвлеченныхъ разсужденіяхъ о смыслѣ русской катастрофы, а въ простомъ, безискусственномъ и тѣмъ не менѣе яркомъ разказѣ обо всемъ видѣнномъ и пережитомъ имъ на посту посланника въ Москвѣ за годы 1923-1929. Посвященныя этому главы книги представляютъ немалый политическій и историческій интересъ. Авторъ даетъ краткія характеристики совѣтскихъ сановниковъ, съ которыми ему приходилось имѣть дѣло — Чичерина, Карахана, Литвинова и др., а также своихъ коллегъ по иностранному дипломатическому корпусу. Но ярче всего удалось автору передать на рядѣ фактовъ, крупныхъ и мелкихъ, ту ужасающую, заражающую предательствомъ атмосферу, которая создана большевиками вокругъ и даже внутри иностранныхъ посольствъ. Въ этомъ Наркоминдѣлъ является орудіемъ въ рукахъ ГПУ. Отъ шпіонажа и провокаціи невозможно избавиться даже въ самомъ зданіи посольствъ, — агентами ГПУ оказывались не только низшіе служащіе, но подчасъ и весьма ответственные работники посольскаго аппарата. ГПУ довело до виртуозности методъ заагентуренія нужныхъ ему посольскихъ чиновниковъ, сначала вовлекая ихъ въ дѣйствія способныя скомпрометировать, а затѣмъ подчиняя ихъ волѣ угрозы разоблаченія. Въ результатѣ такихъ именно махинацій покончилъ съ собой въ тѣ годы въ Москвѣ японскій военный атташе. Но не стѣсняется ГПУ прибѣгать и къ мѣрамъ прямого воздѣйствія, — конечно, только въ отношеніи дипломатовъ малыхъ государствъ. Неугодившаго ГПУ эстонскаго посланника А. Бирка ГПУ просто на просто арестовало и держало много мѣсяцевъ въ заключеніи, сумѣвъ въ то же время убѣдить эстонское правительство, будто Биркъ — изменникъ въ отношеніи самой Эстоніи. Только удачный лоббѣжъ Бирка изъ-подъ ареста и вмѣшательство старшины дипломатическаго корпуса, германскаго посла гр. Брокдорфа спасли жизнь оклеветанному посланнику. Самъ О. тоже въ концѣ концовъ оказался неугоденъ ГПУ своей независимостью и вынужденъ былъ оставить свой постъ.

В. Рудневъ.

B. H. Sumner. Russia and the Balkans. 1870-1880. P. 582. Oxford (Clarendon-Press), 1937.

Авторъ поставилъ себѣ задачей изображеніе всей пестроты представлений партій, группъ и лицъ, имѣвшихъ отношеніе къ военной и политической сторонѣ событій 1870-1880 гг. на Балканахъ и вліявшихъ на развитіе этихъ событій. Центральное мѣсто отводится русскимъ персонажамъ и теченіямъ, но подлѣ наблюденіе взяты и другія причастныя страны. Авторъ предупреждаетъ, что его выводы должны почитаться неокончательными, такъ какъ онъ не работалъ въ русскихъ архивахъ. Основной его источникъ — печатные матеріалы, русскіе, балканскіе и иные. Ему удалось, избѣгая опасной систематизаціи, нарисовать общую, тщательно отдѣланную въ подробностяхъ картину. Задача автора осложняется разногласіями въ средѣ отдѣльныхъ правительствъ и въ общественномъ мнѣніи, съ монархической властью, то ищущей компромисса, какъ русской императоръ, то стремящейся навязать свою политику, какъ это едва не удалось воинственной королевы Викторіи. Объ этомъ Сумнеру, послѣ книги проф. Ситонъ-Уатсона (Дизраэли, Гладстонъ и Восточный вопросъ), распространяться уже не пришлось. Зато kaleidoscope взглядовъ и стремлений среди русскаго правительственнаго персонала занимаетъ вниманіе автора больше всего. Если Ситонъ-Уатсонъ находилъ нѣсколько подлѣ шармомъ гр. Шувалова, Сумнера какъ-бы плѣняетъ гр. Игнатьевъ талантомъ и опредѣленностью политической линіи, столь трудно уловимой въ лагерѣ русскихъ. Въ большой вводной главѣ «Русскій фонъ» элементы неустойчивости уже чувствуются. Внутреннее положеніе страны, личный составъ Министерства Ин. Дѣлъ, Средняя Азія, Славянская идея и Союзъ Трехъ Императоровъ — это слагаемая роковыхъ диссонансовъ. Россія не можетъ добыть европейскаго мандата на умиротвореніе балканскихъ народовъ. Ея освободительныя намѣренія расшифровываются какъ намѣренія завоевательныя. Слѣдующая глава знакомитъ съ «Балканскимъ фономъ». Освободительное движеніе далеко не укладывается въ русскія формулы, даже тамъ, гдѣ православіе и славянство совпадаютъ, имѣются подчасъ демократическія, революціонныя и западническія тенденціи. Затѣмъ слѣдуютъ три главы, надъ которыми витаетъ прятракъ Австріи — «Герцеговина и нота Андраши», «Берлинскій Меморандумъ» и «Сербія и Панслависты». Узелъ все крѣпче завязывается. Александръ II проникается мыслью объ освободительной миссіи, на которую онъ еще пробуетъ получить согласіе всѣхъ державъ. Глава «Ливадія» даетъ мѣру литературнаго таланта автора въ филигранной его работѣ. Слѣдующія четыре главы переносятъ дѣйствіе въ стадію уговариванія, безуспѣшнаго — въ Константинополь («Конференція пословъ»), условно успѣшнаго въ Лондонѣ («Лондонскій Протоколъ») и удовлетворительнаго въ Вѣнѣ («Австро-венгерскія военная и политическія Конвенціи»). Глава «Конвенціи съ Румыніей», представляетъ не слишкомъ пріятное чтеніе для русскаго читателя, не освободившагося еще отъ преданности «славному» прошлому. По-

нять проницески веселый тонъ, съ которымъ англійскій историкъ пишетъ о томъ, какъ «прикарманили» островъ Кипръ, а также подшучиваніе надъ самыми «священными» чувствами королевы Викторіи не такъ легко.

Пока Россія воюетъ, Австрія и въ особенности анти-русская часть Англии ощущаютъ тревогу, когда у русскихъ успѣхъ. Три главы — «Плевна», «Адріанополь» и «Константинополь» — живо рисуютъ параллелограммъ силъ военныхъ и дипломатическихъ. Приведенныя въ приложеніи донесенія британскаго полковника Уэльзлея особенно цѣнны, такъ какъ, въ отличіе отъ королевы Викторіи, Александръ II оставилъ повидимому ничтожное количество личныхъ записей, дневниковъ или писемъ. Санъ-Стефано не соответствовало средней параллелограмма силъ. Авторъ посвящаетъ дѣтищу гр. Н. П. Игнатьева особую главу. Ни Вѣну, ни Лондонъ ни, разумѣется, Букарестъ не удалось убѣдить въ умѣренности русско-турецкаго мира. Объ этой подготовительной стадіи къ Берлинскому конгрессу повѣствуютъ три особыя главы. Англійское правительство готово было итти на войну за «политическую независимость» Турціи, хотя-бы вопреки желанію самихъ турокъ. Предпоследняя глава, «Берлинскій Конгрессъ», между прочимъ указываетъ на пассивную роль Турціи, слѣпо, послѣ нѣкотораго колебанія, довѣрившейся своимъ гарантамъ. Последняя глава «Послѣ Берлина» перечисляетъ задержки въ проведеніи въ жизнь постановленій конгресса, даетъ краткій очеркъ возобновленія союза трехъ императоровъ, и подчеркиваетъ одновременное охлажденіе русскаго двора къ остальнымъ подъ влияніемъ личныхъ моментовъ и національной тяги въ самомъ обществѣ.

Ученый аппаратъ работы Б. Х. Сумнера — безукоризненный. Она дышетъ той политической безстрастностью, которая въ англійскихъ университетахъ культивируется лучшими представителями исторической науки.

А. Мейендорфъ.

Basil Paneyko. Autour du problème ukrainien. Paris. 1939.

Имя автора извѣстно русскому читателю. Бывшій министръ иностранныхъ дѣлъ перваго «западно-украинскаго правительства», представитель Украины на Версальской мирной конференціи и долготѣлнй редакторъ львовскаго «Ціла», надо думать, лучше другихъ осведомленъ объ украинскихъ дѣлахъ. Мысли, высказанныя В. Панейко, заслуживаютъ поэтому вниманія. Онѣ помогутъ разобраться въ нѣкоторыхъ сторонахъ украинскаго вопроса, вообще неяснаго для огромнаго большинства русскихъ людей.

В. Панейко подвергаетъ украинскую проблему анализу въ трехъ ея аспектахъ: русскомъ, польскомъ и германскомъ.

За Россіей, по его словамъ, сохранилась прочная репутация гонительницы украинскаго національнаго движенія. Какъ бы ни была обоснована репутация, нужно все-таки «имѣть въ виду эпоху и характеръ гоненій». В. Панейко напоминаетъ, что «возрожденіе украин-

ской литературы въ концѣ XVIII столѣтія, не встрѣтило первоначально никакой враждебности въ русскомъ обществѣ и даже въ русскомъ правительствѣ того времени. Если великій украинскій поэтъ Шевченко, радушно принятый, чествуемый и покровительствуемый петербургскимъ обществомъ, былъ сосланъ затѣмъ Николаемъ I въ дальній гарнизонъ простымъ солдатомъ, то этому наказанію онъ подвергся не за свой языкъ и свои украинскія чувства, а за рѣзкіе отзывы о личности самодержавнаго царя. Ничего чрезвычайнаго не было также въ карахъ, наложенныхъ на членовъ тайнаго, федералистскаго и панславистскаго украинскаго Кирилло-Мефодіевскаго братства; русскіе и польскіе заговорщики того времени карались гораздо строже. Только послѣ Крымской кампаніи и второго польскаго возстанія (1863) имперское законодательство начало принимать радикальныя мѣры противъ украинства, дойдя до запрещенія (1876) украинскаго языка въ школахъ и въ печатн.

Въ политикѣ СССР авторъ статьи различаетъ два періода. Во время перваго (ленинскаго) украинская государственность поощрялась Москвой. Галичане-націоналисты массами шли въ Кіевъ и Харьковъ съ надеждой осуществить совѣтскими руками «сборную Украину» путемъ присоединенія къ УССР западныхъ украинскихъ земель. Такая политика была смертельной угрозой для Польши. В. Панейко утверждаетъ, что именно поляки спровоцировали совѣтскій процессъ «Союза освобожденія Украины». Начался второй періодъ совѣтской политики (сталинскій), и Москва «растеряла моральный и политическій капиталъ, собранный Ленинымъ въ пользу СССР широкой и дальновидной національной политикой».

Поэтому итогъ русско-украинскихъ отношеній представляется В. Панейко, «при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, отрицательнымъ»: отношенія «двухъ народовъ, очень близкихъ по происхожденію и по языку, сильно испорчены по винѣ режима СССР». Испорчены они, по другимъ причинамъ, и въ эмигрантскихъ кругахъ. Здѣсь, «молодой, узкій и агрессивный, лишенный малѣйшаго политическаго опыта, націонализмъ съ украинской стороны», столкнулся съ «безплоднымъ упорствомъ въ отрицаніи украинской національности» съ русской стороны. Мы видимъ, что въ характеристикѣ этой русской стороны въ эмиграціи авторъ не проявилъ ни достаточной освѣдомленности, ни надлежащей объективности.

Отмѣтивъ историческія причины разрыва «внутри восточнаго славянства», котораго, по его мнѣнію «можно было избѣгать», авторъ тѣмъ болѣе скорбитъ о нихъ, что «нѣтъ никакихъ серьезныхъ разногласій, которыя раздѣляли бы оба народа и оба государства» (?). Наоборотъ, полагаютъ онъ, «множество интересовъ первостепенной важности должно было бы влечь ихъ не только къ доброму сосѣдству, но къ тѣсному союзу». Среди многихъ причинъ, В. Панейко отмѣчаетъ главную:

«Нѣтъ естественной границы между зонами русскаго и украинскаго расселенія; на протяженіи 3.000 километровъ не имѣется сколь-

ко-нибудь защитимой стратегической границы между двумя образуемыми государствами, русским и украинским. Чтобы защитить 300 километров своей границы противъ Германии, Франция вынуждена расходовать миллиарды на укрѣпленія пересѣченной мѣстности, т. е. сравнительно «удобной». Что же должно будетъ сдѣлать молодое украинское государство, чтобы укрѣпить 3.000 километровъ своихъ, повсюду плоскихъ, границъ съ Россіей? Неудобство для Украины вѣчной враждебности съ Россіей тѣмъ болѣе велико, что Украина является страной частично перенаселенной и не можетъ найти иныхъ мѣстъ для расселенія и колонизаціи, какъ въ Центральной Азіи и на Дальнемъ Востокѣ. Слѣдуетъ ли ей отказываться отъ драгоцѣннаго преимущества, которое далъ бы ей союзъ съ Россіей, кондоминіумъ въ имперіи, охватывающей весь Сѣверъ и необъятную богатую Азію? Это было бы противно здравому смыслу и жизненнымъ интересамъ украинцевъ».

На польскомъ аспектъ украинской проблемы В. Панейко останавливается особенно подробно. Польская политика — авторъ настаиваетъ на ея исторической традиціи — стремится къ физическому устраненію украинскаго населенія въ Вост. Галиціи и замѣнѣ его польскимъ. Разумѣется, ничего общаго въ Россіи никогда не бывало, и авторъ, кстати, напоминаетъ, что «россійскій имперскій режимъ никогда не преслѣдовалъ украинское населеніе, какъ таковое».

Другое дѣло — Польша. Она старается, прежде всего, упразднить украинское населеніе на бумагѣ: по официальнымъ польскимъ даннымъ, украинцы въ Галиціи составляютъ всего 5.200.000 душъ, тогда какъ, по самымъ скромнымъ подсчетамъ, его не меньше 7 милліоновъ. Авторъ рассказываетъ, какими страшными притѣсненіями и терроромъ сопровождалась перепись. Передъ зрѣлищемъ «замиренія Галиціи» въ 1930 году блѣднѣютъ картины насильственной коллективизаціи въ СССР. Нигдѣ въ Европѣ не происходитъ такихъ издѣвательствъ надъ человѣкомъ. О мирномъ польско-украинскомъ сожителствѣ поэтому не можетъ быть рѣчи. Сожительство стало бы возможнымъ только при условіи, если бы Польша «пересмотрѣла свое національное сознание», свою «политическую волю» и превратилась бы «въ своего рода швейцарскую конфедерацію», перемѣнивъ самое свое имя. Это, конечно, невозможно, — авторъ не строитъ никакихъ иллюзій на этотъ счетъ.

Отмѣтимъ попутно, что авторъ находитъ «федеративную идею, самое по себѣ, превосходной». Онъ, очевидно, готовъ признать ее и въ отношеніи Россіи. Жаль, что эта мысль недостаточно развита имъ въ статьѣ.

На вопросъ о первыхъ двухъ аспектахъ украинской проблемы у В. Панейко есть отвѣтъ — категорически отрицательный въ отношеніи Польши и условно-отрицательный въ отношеніи Россіи. Въ отношеніи третьяго — германскаго — у него отвѣта нѣтъ.

Уступая, очевидно, настроеніямъ въ украинской средѣ, В. Панейко касается злободневной и, можетъ быть, роковой для украинства

темы не въ мѣру кратко и неопредѣленно. Онъ ограничивается тѣмъ, что ставить вопросы, предоставляя будущему дать отвѣтъ и самъ какъ бы умывая руки. Куда двинется Германія, на берега Чернаго моря и въ Малую Азію по Дунаю или черезъ Карпаты на украинскую равнину? Согласны ли западно-европейскія державы предоставить ей «свободу рукъ» въ одномъ изъ этихъ направлений? Присоединить ли Германія Польшу къ своему походу на Двѣрпъ и рискнетъ ли навлечь этимъ на себя самое «ту ненависть, съ какой украинское населеніе относится къ полонизму»? Или же примѣнить первоначально къ самой Польшѣ тотъ принципъ самоопредѣленія народовъ, который нынѣ «громко провозглашаютъ Гитлеромъ»?

Эту серію вопросовъ — въ самой постановкѣ которыхъ, какъ будто, заключается намекъ на отвѣтъ — В. Панейко сопровождаетъ предостереженіемъ, облеченнымъ также въ форму вопроса: «Такъ ли ужъ можно быть увѣреннымъ въ сокрушительной побѣдѣ надъ СССР, который, что бы ни говорить, является наслѣдникомъ той же Россіи и той же Украины, гдѣ столь многіе завоеватели пробовали свои силы: монголы, шведы Карла XII, великая армія Наполеона? Не говоря ужъ о полякахъ Пилсудскаго въ 1920 году?»

Н. Вакаръ.

СПИСОКЪ КНИГЪ, ПОСТУПИВШИХЪ ДЛЯ ОТЗЫВА.

Путь. № 59. Парижъ. 1939. — Православное дѣло. № 1. Парижъ. 1939. — Русскія Записки. кн. XIV-XIX. Парижъ. — Н. Туроевъровъ. Стихи. Парижъ. 1937. — Н. Рѣзникова. Пѣсни земли. Стихи. Харбинъ. 1937. — Л. Хаиндрова. Ступени. Стихи. Харбинъ. 1938. — М. Веча. Майоръ въ минорѣ. Стихи. Изд. Объед. Изд. Парижъ. 1939. — Амари (М. Цетлицъ). Кровь на сѣвѣ. Стихи. Изд. «Совр. Зап.» и Домъ Книги. Парижъ. 1939. — Вл. Дагестанъ. Сердце. Стихи. Парижъ. 1939. — С. Прегель. Полдень. Стихи. Изд. «Совр. Зап.» и Домъ Книги. Парижъ. 1939. — А. Гингергъ. Жалоба и Торжество. Стихи. Изд. «Совр. Зап.» и Домъ Книги. Парижъ. 1939. — А. Формаковъ. Фаина. Романъ. Рига. 1938. — И. Дьяковъ. «Здѣсь» и «тамъ». Романъ. Шанхай. 1939. — А. Сердюкова. Святая Русь. Мистерія. Новый Садъ. 1939. — Ф. Цѣваловскій. Церонъ. Романъ. Бѣлградъ. 1936. — Его же: Черная рѣка. Романъ. — Его же: Ступени жизни. — Ф. Оцуль. Беатриче въ аду. Изд. Домъ Книги. Парижъ. 1939. — Б. Зайцевъ. Москва. Изд. «Русск. Зап.», 1939. — А. Бемъ. Литература въ русскихъ журналахъ. Отд. отд. изъ Slavica. Прага. 1939. — С. Франкъ. Непостижимое. Изд. «Совр. Зап.» и Домъ Книги. Парижъ. 1939. — Л. Шестовъ. Киркегардъ. Изд. «Совр. Зап.» и Домъ Книги. Парижъ. 1939. — Н. Бердяевъ. О рабствѣ и свободѣ человѣка. Изд. УМСА-Press. Парижъ. 1939. — М. Курдюмовъ. Римъ и Православная Церковь. Парижъ. 1939. — М. Спасовскій. В. Розановъ въ послѣдніе годы своей жизни. — Владимірскій Сборникъ въ память 950-лѣтія крещ. Руси. Бѣлградъ. 1939. — А. Ласковскій. Литва и Бѣлоруссія въ возстаніи 1863 г. Изд. «Арзамасъ». Берлинъ. 1939. — В. Вонлярлярскій. Мои воспоминанія. Берлинъ. 1939.

основанный Н. Д. Авксентьевымъ, Н. И. Бунаковымъ, М. В. Вишнякомъ,
А. И. Гукоскимъ (†), В. В. Рудиевымъ.

Въ вышедшихъ по настоящее время книжкахъ «Современныхъ Записокъ» напечатаны беллетристическія произведенія: М. Алданова, Л. Андреева, Н. Берберовой, И. Бунина, А. Бълаго, Б. Вышеславцева, Г. Газданова, Г. Гребенникова, Г. Евангулова, Е. Замятина, Л. Зурова, Б. Зайцева, М. Иванникова, Г. Иванова, А. Куприна, Д. Мережковского, С. Мишурова, П. Муратова, М. Осоргина, Г. Пескова, А. Ремизова, В. Сирина, Д. Скобилова, Ф. Степуна, И. Сургучева, Б. Темряева, гр. А. Толстого, В. Федорова, С. Федорченко, Ю. Фельзена, Е. Чирикова, Н. Чмелева, С. Юшкевича, В. Яновскаго и др. — Стихотворенія: Г. Адамовича, Амари, К. Бальмонта, Н. Берберовой, И. Бунина, М. Волошина, А. Герцакъ, Э. Гиппиусъ, И. Голенищева-Кузузова, А. Головиной, В. Злобина, Вяч. Иванова, Г. Иванова, Д. Кнута, Г. Кузнецовой, А. Ладискаго, Ю. Мандельштама, Н. Олуца, Б. Лоплатинскаго, С. Прегель, А. Присмановой, В. Смоленскаго, Ф. Сологуба, Ю. Софьева, Ю. Терапиано, Тэффи, В. Ходасевича, М. Цвѣтаевой, Э. Черницевой, Л. Чернянской, А. Шейгера и др. — Личности и воспоминанія: И. Бицибина, Е. Брешковской, Н. Ге, А. Герцена, О. Грузенберга, Е. Джанумовой, кн. П. Долгорукова, К. Ельцовой, В. Зензинова, С. Лифаря, А. Керескаго, В. Маклакова, кн. В. Оболенскаго, Т. Поллера, И. Рѣпина, Ал. Толстой, Л. Толстого, кн. О. Трубенкой, О. Фельтгейма, В. Ходасевича, М. Цвѣтаевой, А. Цилиги, Ф. Шаляпина, кн. С. Шербитова и др. — Статьи по вопросамъ литературы, искусства, философіи, политики, экономическимъ и социальнымъ: Н. Авксентьева, Г. Адамовича, М. Алданова, А. Бема, Н. Бердяева, П. Бицилинъ, М. Брайкевича, Б. Бруцкуса, В. Булгакова, И. Бунакова, В. Вейдле, П. Виноградова, М. Вишняка, В. Воловозова, кн. С. Волковскаго, В. Войтинскаго, Б. Вышеславцева, М. Гершензона, С. Гессена, В. Гефдингга, Э. Гиппиусъ, Н. Головина, М. Гофмана, К. Грионвальда, А. Гукоскаго, К. Гулькевича, Р. Гуля, Г. Гурвича, Ю. Данилова, Ю. Делевскаго, Н. Демидова, Дюнео, В. Ельциевича, С. Загорскаго, С. Завадскаго, К. Зайцева, В. Зыньковскаго, А. Изюмова, Ст. Ивановича, С. Иванова, Л. Карсакина, А. Каргашева, С. Карцевскаго, К. Качаровскаго, А. Керескаго, А. Кизеветтера, С. Кобыкова, А. Койранскаго, И. Кологривова, В. Короленко, С. Корфа, А. Крайняго, К. Крофты, Н. Кузьмана, Е. Кусковой, А. Левинсона, Э. Ленскаго, А. Леоньева, Г. Ловикаго, Н. Лосскаго, С. Лурье, А. Мандельштама, С. Маслова, С. Мельгунова, Н. Мельниковой-Папоушекъ, С. Метальникова, П. Милокова, Н. Минскаго, А. Михельсона, К. Мочульскаго, П. Муратова, В. Мокотина, С. Николаева, Б. Николаевскаго, бар. Б. Нольде, Л. Одина, М. Осоргина, Я. Папоушекъ, П. Пильскаго, А. Пинехонова, Ю. Рапопорта, Ф. Родичека, М. Ростомова, В. Руднева, Л. Сабаньева, С. Сазонова, Ю. Сазоновой, Д. Свитовольк-Мирскаго, П. Сорокина, Ф. Степуна, Н. Тимашева, Н. Ульянова, Г. Федотова, Г. Флоровскаго, Н. Гераскова, М. Цвѣтаевой, М. Петлина, Т. Чернянцовой, Д. Чилевскаго, А. Чупрова, С. Шермана, Л. Шестова, Б. Шнейдера, Е. Юрьевскаго и др.

Цѣна отдѣльнаго номера 35 франковъ.

Адресъ Редакціи и Конторы:

6, Rue Daviel, Paris (XIII^e).

Téléphone: Gobelins 48-87

Imp. Unlon, 13, rue Méchain.

Le gérant Chalt.